МАКС ФРИШ

мастера современной прозы

МАКС ФРИШ

МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1975

Редакционная коллегия:

Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Марков Д. Ф., Мицкевич Б. П., Мулярчик А. С., Палиевский П. В., Челышев Е. П.

МАКС ФРИШ

homo ФАБЕР

РОМАН

НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН

РОМАН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

Предисловие Н. Павловой
Редактор И. Бобковская

Ф 70304—849 / 006 (01)—75 130—76

© Составление и предисловие «Прогресс», 1975.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

«Настоящий писательский труд всегда есть участие в продумывании и проигрывании возможностей человека» — так определил существо своей работы современник и соотечественник Макса Фриша известный швейцарский писатель Фридрих Дюрренматт. Эта несомненная истина, относящаяся ко всей литературе, стала особенно актуальной в XX в. Потрясения века активизировали в людях способность к сопротивлению политической реакции, дух солидарности и героизма. Однако тогда же стала очевидней и способность человека к утрате под давлением обстоятельств своего лица, несомненная усредненность, шаблонность множества человеческих судеб, обкатанных и уравненных гнетом капиталистической действительности.

Еще на рубеже XX в., в годы «непроходимого благополучия», как иронически обозначил Томас Манн время до начала первой мировой войны, литература с особой интенсивностью занялась темой изменчивости человека. Проблема решалась далеко не камерно: нравственная аморфность, так же как и душевная стойкость, были признаны весьма немаловажными для путей истории. О «лице» человека и подменявшей его «маске» размышлял и писал Александр Блок. Еще раньше, в творчестве Достоевского, были предугаданы многие роковые превращения, происшедшие с человеком и человечеством десятилетия спустя. В Австрии тот же вопрос волновал Рильке и навсегда приковал внимание Р. Музиля. Он же определил проблематику и структуру экспериментальной драматургии итальянца Луиджи Пиранделло, а отчасти и театра Бертольта Брехта.

Макс Фриш (род. в 1911 г.), несомненно, многим обязан своим предшественникам. Но влияния остались бы поверхностными, если б не ложились на вспаханное поле собственных размышлений Фриша. Именно к нему, больше чем к кому-либо другому из современных писателей,

приложимы процитированные слова Дюрренматта: прозаик и драматург Фриш постоянно «продумывает» и «проигрывает» возможности человека.

В своем последнем романе — «Назову себя Гантенбайн» — Фриш настаивает на исходной многовариантности жизни героев: часто перед человеком маячат два пути, но только один из них воплощается в действительность, а другой — не менее реальный — можно прожить лишь в воображении. В пьесе «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (1953), в своей «малой прозе» — «Вильгельм Телль для школы» (1971) — Фриш иронически переосмыслил классические легенды: совсем иными могли быть герои, их «лица», иными мотивы их поступков. Но и гораздо раньше, в произведениях, написанных в годы второй мировой войны, — отрывках из дневника «Листки из вещевого мешка» в романе «J'adore ce qui me brûle, или Трудные люди» (1943) — начинается разработка важнейшей для Фриша темы.

В то время самому Фришу виделись возможности разных «биографий». После двухлетних занятий германистикой в Цюрихском университете он оставил филологию, служил репортером в газетах, потом успел получить до начала войны еще одно — архитектурное образование (архитектором был и отец Фриша). Несколько лет он проводит солдатом на границе. Но и потом, в послевоенные годы, его жизнь течет по разным руслам. Сразу после войны он много ездит, смотрит, размышляет. Собственными глазами видит бывшие нацистские концлагеря в Польше и развалины Берлина. Феномен фашизма, ослепленность немецкого народа становятся предметом его напряженных раздумий. В ближайшие годы он публикует среди других произведений пьесы «Опять они поют» (1945) и «Китайская стена» (1946), призывающие к ответственности человека за ход истории. Но одновременно продолжает заниматься архитектурой. В 1949 г. в Цюрихе было завершено строительство созданного по проекту Фриша бассейна. Как следует из его воспоминаний, он возил осматривать этот бассейн Бертольта Брехта, жившего тогда около года в предместье Цюриха. Беседы с Брехтом оказались очень существенными для молодого писателя.

В 1950 г. были опубликованы «Дневники» Фриша, охватывающие четыре предшествовавших года. В следующем году, имея за спиной эту важную для его дальнейшего творчества книгу, Фриш навсегда оставил архитектуру. В отличие от многих своих персонажей он выбрал свой путь, когда уяснил, в чем состоит его истинное призвание, выбрал вопреки обстоятельствам, отказавшись от прочного положения известного архитектора. «Дневники 1945—1949 гг.» содержали замыслы почти всех зрелых произведений Фриша. Здесь можно найти страницы, послужившие отправной точкой для будущего «Гантенбайна»; фрагмент пьесы «Граф Эдерланд»; свернутый в короткую историю сюжет пьесы «Андорра»; здесь наталкиваешься и на мотив «Дон Жуана». Но главное —

все это перемежается с размышлениями автора, подводящими нас с разных сторон к главной теме его творчества. Тогда, в «Дневниках», Фриш писал, например: «Не сотвори себе кумира. Примечательно, что именно о человеке, которого мы любим, мы меньше всего можем сказать, что мы знаем его. Мы просто его любим... Любовь освобождает его от закостенелого образа... Убеждение, что мы кого-нибудь знаем, всегда есть конец любви...»

Тонкое, но как будто частное замечание. Однако в 1954 г. в свет вышел известный советскому читателю роман Фриша «Штиллер», первый из трех лучших его романов, поднимающих близкие проблемы («Homo Фабер», 1957, «Назову себя Гантенбайн», 1964). И заповедь «не сотвори себе кумира» приобрела гораздо более широкий смысл, чем в дневниковой записи.

«Я не Штиллер!» — настаивает главный герой романа. Он утверждает это несмотря на заклинания жены и друзей, несмотря на приведенные доказательства абсолютного тождества с человеком по имени Анатоль Штиллер, скульптором, долгие годы жившим в Цюрихе, а потом исчезнувшим шесть лет назад. Утверждает на всем протяжении начатого против него долгого и кропотливого судебного процесса. Лишь в конце следует капитуляция.

Как вся зрелая проза Фриша, книга написана на одном дыхании. В ней есть та свободная широта замысла, которая создает напряженность этого небогатого событиями и прикованного к одному месту — камере, где содержится во время следствия Штиллер, — повествования. Одиссея фришевского героя имеет не только реально-событийное воплощение — это прежде всего одиссея человеческого духа. Совмещаются разные временные пласты. Стены комнаты раздвигаются воспоминаниями Штиллера и рассказами о небывалых приключениях, происшедших с ним во время шатаний по Новому Свету. Рассказы эти полуреальны, полувыдуманы, но одинаково значительны в книге, ибо речь идет о метаниях души, о почти истерической потребности героя вырваться из устоявшихся форм социальной жизни и из своего образа, накрепко усвоенного окружающими. Швейцарский литературовед Эмиль Штайгер, скептически настроенный по отношению к современной литературе, приветствовал роман Фриша именно потому, что перескоки действия, совмещения времен «и как там еще называются все эти приемы, которые обычно и остаются только приемами», наполнены здесь смыслом, необходимы. Герой хочет уйти от механической предопределенности жизни, где людей приводят к стандартной роли, как дроби приводят к общему знаменателю. Он пытается нащупать ту исходную многовариантность — свободу выбора, которой должен располагать человек, если он хоть в какой-то мере хозяин своей судьбы.

Поставленная Фришем проблема коренилась в действительности XX века. Если роман классического реализма в конечном счете приводил героев к утверждению собственной личности, обогащенной жизнью, то духовная авантюра фришевского героя терпит крах из-за невозможности отделаться от облика, жестоко и насильственно навязанного человеку и не отражающего личность в ее способности к изменению. Роман зафиксировал опустошенность человека, который получает жизнь из вторых рук, через сложившийся уклад, а не познает ее непосредственно — через собственный или исторический трудный опыт. Важный мотив «Штиллера» — неприятие стабильной действительности собственной страны. «Швейцарцы боятся всего нового», — с горечью писал Фриш.

Но тема «Штиллера» была сейсмографически точным откликом писателя не только на сегодняшнюю реальность Швейцарии. Видимо, поэтому, а не только благодаря несомненному мастерству автора роман сразу получил общеевропейский и мировой резонанс. Ведь приблизительно через десять лет на улицы многих городов Западной Европы и США вышли сотни тысяч молодых людей, отнюдь не напоминавших «внешними данными» героя Фриша, но одержимых тем же стремлением — «выскочить» из предписанного им образа, существовать вне установлений, отмести буржуазные нормы — государственные, правовые, нравственные, эстетические. Однако Фриш предвидел и гораздо большее.

В «Штиллере», как раньше в пьесе «Граф Эдерланд» (1951), а позже в романе «Назову себя Гантенбайн», он показал, что человек не может обрести свое настоящее «я» путем произвольного, анархистского, в конечном счете эгоцентричного бунта.

Невероятный случай переворачивает жизнь преуспевающего прокурора — героя пьесы «Граф Эдерланд». Почти неожиданно для себя он повторяет преступление обвиняемого (тоже совершенное по внезапному импульсу), а потом становится главой разбойничьей шайки. Мотивы преступления неуловимы. Единственная их причина — выхолощенность существования, отсутствие в жизни смысла. «Бывают минуты, — произносит герой Фриша, — когда скорее удивляешься тем, кто не берет в руки топор». Разрыв человека со своей средой, с утвердившимися в течение долгих лет представлениями о самом себе достигается ценой эксцесса. Но что же приносит такого рода освобождение? Мечта о светлом острове Санторин, о том, чтобы «просто жить, здесь и сегодня», оказывается не только неосуществимой, но, кроме того, бессодержательной. Человеку не хватает чего-то более существенного, чем изменения обстоятельств и своей в них роли. Прокурор может стать графом Эдерландом, главой таких же, как он, разорвавших личные и социальные связи аутсайдеров, а Штиллер — объявить себя Уайтом и уехать скитаться в Америку — и все же они не уйдут от самих себя и действительности, не изменят, по существу, ни своей, ни чужой жизни.

Но предположим на минуту другое, допустим, что человеку дано изменяться совершенно свободно. Такое допущение открывает перспективу прояснить важный для Фриша вопрос о некоторых особенностях сознания современного человека. Анализ возможностей личности в сегодняшнем западном мире продвинется тогда на шаг дальше по сравнению со «Штиллером» и «Графом Эдерландом». Из этого допущения и родился роман «Назову себя Гантенбайн», а отчасти и предшествующий — «homo Фабер», прямо противоположный по подходу к той же проблеме, а вместе с тем по стилистическому, художественному решению.

Начнем с романа «Назову себя Гантенбайн» — одной из самых необычных книг Макса Фриша. Когда-то все в тех же «Дневниках 1946—1949 гг.» Фриш написал об интересной возможности применить в прозе драматургическую технику Брехта, разрушавшую для зрителя иллюзию фатальности разворачивавшегося на сцене действия. Из творчества Фриша не следует вывода о необходимости коренного социального переустройства мира, к которому исподволь подводит читателей и зрителей писатель-марксист Брехт. Фриш считает своей целью лишь «задавать вопросы». Но, как и Брехт, он стремится показать читателю вероятность разного хода жизни и заставить задуматься в этой связи о назначении человека.

Уже структура романа подсказывает сомнение относительно непреложности судьбы человека. В своей прозрачной и легкой прозе Фриш исходит из сложной задачи, не решавшейся до него романистами с такой смелостью. Он заставляет героя проживать сразу несколько жизней, ставит одновременно несколько опытов на одной и той же исходной площадке. В романе нет неотступно развивающегося действия, как нет и постепенно раскрывающихся характеров. Автор занят другим. Некое условное лицо — рассказчик, ведущий повествование, — придумывает себе, а заодно и персонажам, с которыми он порою сливается, возможные биографии и «воплощения». Здесь нет тяжелого сопротивления реальности, которое так ощутимо, например, в «Штиллере», — в этом романе как будто можно попробовать все. Сюжет распадается на отдельные истории, и каждая из них имеет по нескольку вариантов. Опробываются по меньшей мере два пути: «налево пойдешь... — направо пойдешь...».

Мужчина и женщина расстаются после проведенной вместе ночи. Дальше возможны две версии: герой уезжает и так обрывает начатую «историю» или она становится его жизнью. В каждом случае он превратится в одного из двух существенно не похожих друг на друга людей: угаснут одни способности, разовьются другие. И, увидев на минуту кадр из собственной будущей жизни, человек поймет, кем же он стал, узнав женщину, которая будет ждать его через много лет на аэродроме: если у нее черные волосы и серые глаза, то я тот, кто не уехал тогда.

Фриш не дает «досмотреть» судьбы своих героев до их естественного конца. Дело, полагает он, не столько в них, сколько в том видимом и невидимом в человеке, что является его сутью. В поисках сути он свободно меняет истории персонажей, меняет, по собственному признанию, как платья.

Роман возвращает нас к «Дневникам 1946—1949 гг.» не только высказанными уже там мыслями об изменчивости человека. «Гантенбайн», как и все творчество Фриша, в какой-то мере воспроизводит сам принцип дневниковой записи. Входящие в его состав «истории» включены в скрытый поток размышлений автора. Их повторения в разных вариантах освещают с разных сторон больную для писателя проблему.

В романе рассказано, например, о знаменитой актрисе Лиле, женщине талантливой, прелестной и беспорядочной. Но позже рассказчик изменяет свое намерение: Лиля становится просто хозяйкой дома, потом врачом и даже итальянской графиней. Он меняет занятия Лили и ее связи с людьми так же легко, как цвет ее волос. Где же, когда и в каком случае Лиля больше всего она сама?

Или еще вариант: некто увидел в газете собственный некролог. Для всех и даже для себя он умер, ибо присутствовал на собственных похоронах. Что осталось тогда от его судьбы, жизни, связей, роли, которую он привык играть, наконец, от него самого? Кем он ходит теперь по свету — «голый человек на голой земле»?

Роман основан на принципе «а что, если?» — на том самом условии, которое, как в детской игре, высвобождает возможности, дает простор воображению, а попутно — это имеет первостепенное значение — позволяет автору воплотить в свободно меняющихся конкретных ситуациях сложнейшие реальные проблемы существования человека в современном буржуазном обществе.

Именно Фриш основательней, чем любой другой современный писатель, не только поставил, но и всесторонне проанализировал в своем творчестве проблему «неидентичности» — несоответствия человека самому себе, насильственной отштампованности его судьбы, убеждений, утраты им самого себя — одно из самых болезненных следствий отчуждения личности в капиталистическом мире. Фриш, несомненно, писатель философствующий. Он пишет не столько о разных людях, сколько об общем случае — «*человек*». Но его творчество не было бы выдающимся явлением литературы, а «Гантенбайн» — высоким образцом современной художественной прозы, если бы автор не обладал в то же время даром пластического воплощения «абстрактных» проблем, неистощимым запасом выдумки — всем тем, что превращает экспериментальный роман на философскую тему в живое, образное слово о современном мире.

Вот, например, одна из блестящих находок автора — история о том,

как герой начинает играть роль слепого. Лиля и ее муж — «слепой» Гантенбайн. «Слепой», сознательно и великодушно не замечающий через темные очки ее измен и обманов. «Слепой», незаметно ведущий заброшенное хозяйство и подбирающий потерянные женой вещи. Но тот же образ существенно обогащает замысел Фриша: слепой — это тот, кто поневоле принимает людей такими, какими они хотят казаться, тот, перед кем легко играть любую роль. И с помощью этой фигуры в романе расщепляется правда и ложь — начиная со лжи людей о самих себе до лжи в широком политическом плане. «Он встретит господина, который только что говорил о свободе культуры, и спросит, находится ли в зале также другой господин, который играл столь же ведущую роль при Гитлере, и не увидит, что господин-то это тот самый».

Ну а сам «слепой», «слепота» как шанс Гантенбайна, как надежда освободиться от пошлой ревности, подозрительности, эгоизма, развить лучшие стороны своей личности? Остановимся здесь на минуту, посмотрим на случай «слепого» с другой стороны. Может быть, иной подход осветит иначе этот казус, а заодно и смысл романа.

Гантенбайн прощающий, Гантенбайн любящий... Но если речь идет о любви, то, как спрашивает один раз сам рассказчик, «к чему притворство?». Ведь и просто силой любви, без оскорбительного розыгрыша, можно прощать, забывать себя и быть, несмотря ни на что, счастливым. В романе живет и чувствует актриса Лиля. Лицедействует — Гантенбайн.

В существовании персонажей романа мало обязательного. Гантенбайн может стать, а может не стать «слепым» (он долго колеблется, выбирая). Он, кажется, любит (и это трогательно), но, может быть, и не очень любит — мы в этом усомнились. Гантенбайн уклончив. Он «растекается» между возможными вариантами своей жизни; он так же неуловим, как занимающий видное место в романе другой персонаж — ученый-филолог Эндерлин.

Обретя свободу выбора в щадящих условиях романа (нужных, как мы помним, чтобы выяснить некоторые особенности сознания современного человека вне давления на него обстоятельств), ни один из героев не находит пути, который был бы подсказан внутренней необходимостью — склонностями, чувствами, убеждениями. Перефразируя Лютера, каждый из них мог бы сказать: «Здесь я стою, но могу и совершенно иначе». Задача жить полноценной жизнью оказывается трудноразрешимой в нарисованном Фришем мире даже при утопическом условии бесконечного разнообразия предложенных человеку дорожек и возможностей изменения. Очевидно, для этого нужны какие-то иные реальные условия и иные стимулы...

По сравнению со многими другими произведениями Фриша, например со «Штиллером», а еще больше — с шедшей на советской сцене пьесой-памфлетом «Бидерман и поджигатели», «Гантенбайн»

кажется спокойной, легкой книгой. Но такое впечатление поверхностно. «Назову себя Гантенбайн» — произведение трагически-горькое. Особенно горькое потому, что написано оно о явлениях обыденных, распространенных, а значит, имеющих далеко идущие следствия. Автор намеренно пишет о ситуациях вполне банальных, он, по видимости, занят частным существованием людей — теми проблемами семьи, любви, ревности, которые касаются всех. Фриш не хочет давать своим читателям возможность отстраняться от стоящих в мире вопросов. «Люди, — писал он в «Дневниках», — всегда пытаются найти локальную, точную причину каждого происшествия. Они стремятся все поставить в ряд и радуются достигнутой ясности». «Не потому ли, — спрашивает он в другом месте, — мы так любим рассуждать о фашизме в Германии и его причинах: немецкие «причины» не соответствуют нашим, и это успокаивает». Начиная с малого, со сферы личного, Фриш ведет анализ взаимодействия: человек и «другой человек» в нем самом («роль»); человек и бытующие мнения о нем. И дальше — шире: человек и общество; человек и официальная идеология. Малое связывается в анализе Фриша с большим; сознание отдельного человека — с путями страны. Сделано это в «Гантенбайне» весьма ненавязчиво. Вот эпизод, когда рассказчик мучительно вспоминает о как будто бы незначительном случае из своего прошлого — восхождении на одну из малых вершин швейцарских Альп, совершенном им в 1942 г. во время однодневного отпуска с гарнизонной службы на швейцарско-немецкой границе. В отрешенном спокойствии высокогорья он неожиданно встречает человека, в котором сразу же признает спесивого представителя фашистского рейха (прочность нейтралитета между Германией и Швейцарией была в те годы весьма сомнительной: она целиком зависела от произвола гитлеровской «стратегии»). Никаких рациональных оснований для столкновения между попутчиками не было. Однако впоследствии рассказчик узнает, что именно в том районе и в то самое время производились обследования местности с целью возможного размещения фашистских концлагерей. Был ли тот неопытный альпинист, гордо обвешанный атрибутами горного снаряжения, одним из присланных сюда «специалистов», осталось неизвестным. Но никогда впоследствии героя не покидало тяжелое чувство тайной капитуляции перед реальностью, от которой он предпочел уйти в мир видимостей и масок («два спортсмена»).

А вот еще один столь же ненавязчиво поданный эпизод. Постукивая палочкой, Гантенбайн появляется на заседании суда, где, как он знает, только он может доказать невиновность человека, подозреваемого в убийстве: «слепой» видел его мирно кормящим лебедей в тот самый момент, когда совершилось преступление. Чтобы спасти человека, нужно выйти из роли и выполнить обязательства, которые диктуются принятыми каждым представлениями об общественных и нравственных нор-

мах. Но Гантенбайн и тут неуловим. Все с той же мягкой улыбкой, беспомощной улыбкой слепого, он покидает зал суда, не сказав правды. «Миру как раз и нужны такие люди, как Гантенбайн, которые никогда не говорят, что они видят, и начальники будут его высоко ценить; за материальными следствиями такой высокой оценки дело не станет... Он сделает политическую карьеру».

Гантенбайн как модель атрофии личности, атрофии общественного сознания и вытекающего отсюда приспособленчества к любой навязанной обстоятельствами и собственной выгодой роли.

Рассуждая о судьбе своей родины, Фриш писал о проявившейся в годы мировой войны готовности определенных слоев общества воспринять фашистскую идеологию и о столь же явном нежелании сознаться в этом впоследствии (публицистическая книга «Общественность как партнер», 1967). Швейцария избежала в XX в. трагических потрясений истории. Ее обошли две мировые войны. Там никогда не было концентрационных лагерей. Большинство населения страны не стояло перед необходимостью решительного выбора. Ставя своих героев перед решением, швейцарские писатели Фриш и Дюрренматт, как правило, обобщают исторический опыт Европы («Визит старой дамы» Дюрренматта; «Андорра» Фриша) или исследуют сознание современников (роман «Назову себя Гантенбайн») в пока не соприкоснувшихся с историей, но уже достаточно определившихся чертах. Через пять лет после романа Фриш написал пьесу «Биография». В ходе действия выявлялась неспособность героя — интеллигента, ученого — прожить по-новому свою жизнь. Получив заманчиво-несбыточную возможность переиграть все сначала, герой не в силах преодолеть давление общественных и личных обстоятельств, определяющих его поведение, как не в силах увидеть цель и смысл в сложившемся для него существовании. Что из того, что решающая ситуация повторится еще раз? Структура личности уже оштампована. Что из того, что множества людей не коснулось испытание историей? Недостаточность в общественном сознании соотечественников выявлена Фришем точно. Напряженно-внимательное, творческое отношение к жизни заменяется стереотипными реакциями и поступками. В безличностном существовании, какое ведут его герои, Фриш видит общественную опасность.

Этой же главной для Фриша проблеме посвящен и написанный между «Штиллером» и «Гантенбайном» роман «Homo Фабер».

В уже разобранных романах Фриша человек с самого начала показан снявшимся с места. Опущен один из самых трудных для художественного анализа и в то же время напряженнейших моментов — момент, когда для героя (как в «Штиллере») или для рассказчика (как в «Гантенбайне») становится ясной ложь и притворство «нормальной» жизни. Действие начинается с судорожных поисков иного пути, новой истории,

биографии, роли — с бегства. В «homo Фабере» показан процесс осознания человеком недостаточности и пустоты его жизни. Та же книга наиболее убедительно проясняет подтекст всего творчества Макса Фриша — его глубочайшее убеждение, что человек не есть лишь конгломерат навязанных ему извне свойств, что личность — неуничтожима (живет в ней, во всяком случае, эта способность к упорному сопротивлению), что слово «я» не есть, как полагают писатели-модернисты, величайшая ложь в устах современных людей, а твердая, хоть и меняющаяся реальность. «Хорошие люди — это те, — писал в одном из своих стихотворений Бертольт Брехт, — которые изменяются, но, изменяясь, все больше становятся самими собой».

Инженер Вальтер Фабер, живущий в США и работающий по заданию ЮНЕСКО, — довольный собой человек. К пятидесяти годам он достиг результата, который, в общем, не очень часто дается людям: он живет как будто так, как считает нужным и как хочет. Ему, «техническому человеку» XX века, неведомо смятение страстей. Техника для него не нечто стороннее. Ее точность, рассчитанность — часть его собственной души и жизненного уклада. Инженер Фабер уверен, что ничто не навязывает ему его «лица». Он видит в себе творческого человека, человека производящего — homo faber, как это звучит по-латыни. И вот с ним-то — уверенным, современным, подтянутым — случаются происшествия, своей ужасающей неотвратимостью явно напоминающие жестокость древнего античного рока. Фаберу предстоит узнать любовь, не сравнимую по глубине ни в чем, испытанным им до сих пор. И почувствовать приближение смерти.

Фабула романа построена Фришем как опровержение мифа, созданного героем о себе самом. Его холодная неуязвимость рушится под напором предложенных автором испытаний. Захватившая его любовь стечением обстоятельств оказалась кровосмесительной связью с собственной дочерью от брошенной когда-то Ганны. Развитие действия встречается с потоком воспоминаний Фабера о прошлом. И поступки, представавшие когда-то логичными, начинают вызывать нарастающие сомнения. Как при наведенном фокусе, все яснее становится скудость человека в личных отношениях — здесь нередко встречается соответствие — его полная общественная индифферентность.

Но больше, чем прошлому, Фабер удивляется тем превращениям, которые происходят с ним в настоящем. Он не перестает удивляться: как может он, деловой человек, совершать неожиданные для него самого поступки? Что приковало его к незнакомой девочке по имени Сабет? И почему распахнулся, раздвинулся, открылся заново мир?

Это только так кажется (Фаберу, а может, и некоторым читателям романа), что вначале он абсолютно свободен, что, как и герои «Гантенбайна», он располагает выбором: иметь или не иметь любовницу, менять

друзей, как и место жительства, быть хозяином себе и своей работе... Начисто лишен он только одной способности — жить, если понимать под жизнью не то поверхностное существование, которое ведет Фабер вплоть до своих пятидесяти лет. Обретение самого себя — а это и начинает происходить с героем — как раз исключает возможность различных «биографических» вариантов. Реальность столкнула Фабера с событиями, которые перевоссоздали суть его личности. Они поставили его в связь с людьми, которым он раскрылся и отдался целиком. Дальнейшая игра вариантами противоестественна и невозможна. Человек выбрал себя. Правда, случилось это для Фабера трагически поздно...

В конце книги герой не располагает никакой внешней свободой. Больной раком, он обречен на смерть. Сабет погибла. Между Фабером и Ганной — эта могила и собственная судьба Ганны, исковерканная им дважды. И тут случается почти невозможное, но понятное и объяснимое. Реализуется свобода и сила человеческого духа. Через все случившееся люди протягивают друг другу руки. «Но я не один. Ганна мой друг, и я не один», — пишет Фабер.

В романе Фриша есть страницы удивительной пластической выразительности. Белые и черные краски Греции, где происходит трагическая развязка романа. Белые горы и камни древних зданий. Черная горячая земля. Цветы, уже через час высыхающие на могиле. Черные и белые платья Ганны, в которых она приходит к умирающему Фаберу. Все контуры как будто предельно прояснены — краски сгустились до ослепительных контрастов света и тени, белого и черного, мир наполнился звуками, веяниями, запахами. Именно теперь умирающий homo Фабер открыл, что означает слово «жить».

Ни в одном из романов Фриша судьбы героев не связаны непосредственно с событиями истории. Не связаны, хотя одним из главнейших своих поражений Штиллер считает трусость, проявленную им в годы гражданской войны в Испании. Не связаны, хотя образ Ганны в «homo Фабере» весомо противостоит Вальтеру, в частности и потому, что она занимала гораздо более последовательную и смелую позицию по отношению к фашизму в Германии.

В других произведениях Фриша, в пьесах «Андорра», «Бидерман и поджигатели», «Граф Эдерланд», написанных в форме условной параболы, показано взаимодействие частного сознания с путями истории. Но и романы Фриша имеют, по существу, ту же главную цель. Они приводят читателя к выводу, что история не фатальна. Для нее, как и для каждого из нас, могут быть проложены разные пути. Ответственное, «зрячее» существование человека, дающееся с большим трудом осуществление личности, противостоящее социальному гнету независимое общественное сознание имеют к этому прямое касательство.

И. Павлова

homo ФАБЕР



homo FABER

Frankfurt am Main
1957

Перевод Л. Лунгиной

Перевод на русский язык впервые опубликован в издательстве «Молодая гвардия» в 1967 г.



ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА

Мы вылетели из аэропорта Ла Гуардиа, Нью-Йорк (на самолете «суперконстэллейшин»), с трехчасовым опозданием из-за снежной бури. Эту линию всегда обслуживают «суперконстэллейшин». Заняв свое место, я сразу же откинул спинку кресла, чтобы спать — было уже поздно. Но еще минут сорок, не меньше, самолет стоял на взлетной дорожке в ожидании старта, снег метался в лучах прожекторов, мелкая снежная крупа вихрем вздымалась над бетонированной площадкой, и меня раздражало и мешало мне уснуть не то, что стюардесса разносила газеты — First Pictures of World's Greatest Air Crash in Nevada[1], сообщение об этом я уже прочитал за обедом,— а вибрация машины с запущенными турбинами да еще, пожалуй, мой сосед, молодой немец, которого я сразу приметил, сам не

[1] Первые снимки крупнейшей в мире авиационной катастрофы в Неваде *(англ.).— Прим. перев.*

знаю почему; я глядел на него, когда он снимал пальто и усаживался в кресле рядом со мной, высоко подтягивая брюки на коленях, чтобы не помять складки; и, даже когда он просто сидел, ничего не делая, ожидая, как и все мы, взлета, я почему-то не мог отвести от него глаз. Это был розовокожий блондин, и он представился мне сразу, еще до того, как мы успели пристегнуться. Его имени я не расслышал — разогревали моторы, одна за другой включались турбины и ревели на полном газу.

Я смертельно устал.

В течение всех трех часов, пока мы ждали посадки на самолет, Айви без умолку болтала, хотя уже знала, что я наверняка на ней не женюсь.

Я был рад, что остался один.

Наконец самолет тронулся...

Мне еще ни разу не приходилось взлетать в такой снегопад; едва наша машина оторвалась от белой дорожки, как разом пропали желтые ряды наземных сигнальных огней, а потом даже над Манхэттеном ни блика, ни отсвета фонарей — густой снег поглотил все. Я видел лишь мерцающий зеленый огонек на крыле, которое все время качалось, а иногда и прыгало; на какой-то миг туман поглощал и этот зеленый огонек, и тогда казалось, что вдруг слепнешь...

Погасло табло. Теперь можно было закурить.

Мой сосед летел из Дюссельдорфа и был вовсе не так уж молод, лет тридцати, но все-таки моложе меня. Путь он держал, как он мне тут же сообщил, в Гватемалу, по делам, насколько я понял.

Нас изрядно болтало.

Он предложил мне сигарету, но я закурил свою, хотя курить мне вовсе не хотелось, поблагодарил его и взял уже просмотренную газету, не испытывая ни малейшего желания заводить знакомство. Вероятно, я вел себя невежливо, но позади была тяжелая неделя, каждый день заседания, я устал от людей, и мне хотелось покоя. Потом я вынул из портфеля протоколы и принялся было работать, но тут, как назло, стали разносить бульон, и мой немец (он сразу заметил, что я швейцарец, стоило мне только в ответ на его фразу на ломаном английском языке заговорить с ним по-немецки) уже не закрывал рта. Он говорил о снежной буре — вернее, о радарах, в которых мало что понимал, затем перешел, как повелось после второй мировой войны, на европейское содружество. Я больше молчал. Покончив с бульоном, я повернулся к иллюминатору, хотя в нем ничего не было видно, кроме зеленого огонька на мокром крыле,

время от времени снопа искр да темно-красного, раскаленного сопла турбины. Мы все еще набирали высоту...

Потом я задремал.

Болтанка прекратилась.

Не знаю почему, но мой сосед меня раздражал, его лицо казалось мне знакомым — типичное немецкое лицо. Я припоминал, закрыв глаза — тщетно... Тогда я попытался больше не думать о его розовом лице, и мне это удалось, я проспал, наверно, часов шесть — я был переутомлен, — а проснувшись, снова почувствовал, что он меня раздражает.

Он как раз завтракал.

Я сделал вид, что еще сплю.

Мы находились (правым глазом я искоса глянул в иллюминатор) где-то над Миссисипи, летели на большой высоте, пропеллеры сверкали в лучах утреннего солнца, будто стеклянные диски, они были четко видны, а сквозь них была видна слепящая плоскость крыла, неподвижно висевшего в пустоте — ни малейшего колебания, мы, казалось, застыли в безоблачном небе; короче, полет как полет, таких у меня было уже сотни, моторы исправно рокотали.

— Добрый день, — сказал он.

Я кивнул в ответ.

— Выспались? — спросил он.

Внизу, несмотря на дымку, я увидел разветвленные рукава Миссисипи — они блестели на солнце, словно отлитые из латуни или бронзы. Было еще очень рано — я это знал, потому что не раз летал по этой линии, и закрыл глаза, чтобы спать дальше.

Он читал книжонку серии «Ро-ро-ро» [1].

В общем, закрывать глаза теперь не было смысла — я проснулся, проснулся окончательно, и сосед мой почему-то занимал меня, я видел его, так сказать, и с закрытыми глазами. Я заказал завтрак... В Штатах он был, как я и предполагал, впервые. Однако уже успел составить себе о них окончательное суждение и при этом не мог не признать (в целом он находил американцев некультурными), что у них все же есть и кое-что положительное — например, дружелюбное отношение большинства американцев к немцам.

Я не стал с ним спорить.

Ни один немец не желает ремилитаризации, но русские тол-

---

[1] «Ро-ро-ро» — карманная серия книг издательства «Ровольт» в Гамбурге. — *Прим. перев.*

жают Америку на гонку вооружений, и это трагично. Я, швейцарец (он произнес «свейцарец»), не в состоянии этого понять, потому что я никогда не был на Кавказе, а ему довелось побывать на Кавказе, и уж кто-кто, а он-то знает Ивана, которого вразумишь только оружием. Да, уж кто-кто, а он-то прекрасно знает Ивана! Это он повторил несколько раз.

— Только оружием! — сказал он. — Все остальное не производит на Ивана никакого впечатления.

Я чистил яблоко.

— Делить людей на сверхчеловеков и недочеловеков, как это делал старик Гитлер, конечно, чушь, но азиаты есть азиаты!

Я ел яблоко.

Потом я достал из портфеля электрическую бритву, чтобы побриться, а главным образом чтобы хоть пятнадцать минут побыть одному. Я не люблю немцев, хотя Иоахим, мой друг, тоже был немцем... В туалете я стал прикидывать, не пересесть ли мне на другое место. Я не испытывал никакого желания ближе познакомиться с этим господином, а до Мехико-сити, где ему предстояла пересадка, было еще не меньше четырех часов лету. В конце концов я твердо решил поменять место, ведь не все кресла были заняты. Когда, побрившись, я вернулся в пассажирский салон, чувствуя себя уже свободней и уверенней (не выношу быть небритым), он протянул мне пачку моих протоколов, которые, как он выразился, он позволил себе поднять с пола, чтобы на них никто не наступил. Одним словом — воплощенная вежливость. Я сунул протоколы в портфель и поблагодарил его, видимо, слишком сердечно, потому что он сразу же воспользовался этим и задал новый вопрос.

Не работаю ли я в системе ЮНЕСКО?

Я чувствовал тяжесть в желудке, как, впрочем, часто последнее время, точнее, даже не тяжесть и уж никак не боль, а просто я все время ощущал, что у меня есть желудок — дурацкое ощущение. Быть может, именно поэтому я был такой раздражительный. Я сел на свое старое место и принялся рассказывать, чтобы скрыть свое состояние, чем я занимаюсь, — «Техническая помощь слаборазвитым странам». Я научился говорить об этом, думая совсем о другом. Впрочем, не знаю, о чем я думал. Слово ЮНЕСКО, видно, произвело на него впечатление, как все международное, он перестал ко мне относиться как к «свейцарцу» и слушал с таким вниманием, будто я бог весть кто; он казался заинтересованным до подобострастия, что, впрочем, не мешало ему по-прежнему меня раздражать.

Я был рад, что самолет пошел на посадку.

Мы выпили вместе, и в ту минуту, когда мы расстались перед таможней, я вдруг понял, о чем думал все время: его лицо, пухлое, розовое, почему-то вызвало в памяти Иоахима, хотя тот никогда не был ни пухлым, ни розовым...

Потом я снова забыл об этом.

Мы находились в Хустоне, штат Техас.

Из таможни, после обычной перепалки насчет моей кинокамеры, с которой я объездил уже полсвета, я направился в бар, чтобы выпить, но, заметив, что мой дюссельдорфец уже сидит за стойкой и даже занял соседний табурет — видимо, для меня, — кинулся в туалет, где за неимением других занятий тщательно помыл руки.

Стоянка двадцать минут.

Мое лицо, отраженное в зеркале, пока я долго мылю, смываю, а потом вытираю руки, бледное как полотно, вернее, изжелта-серое, с лиловыми жилками, отвратительное, как у трупа. Я решил, что это из-за неоновой лампы, и продолжал вытирать руки — тоже желто-фиолетовые. Тут раздался голос из репродуктора — радио было проведено во все помещения, в том числе и сюда: «Your attention, please, your attention, please» [1]. Я не понимал, что со мной случилось, — мои руки покрылись испариной, хотя в подвале было скорее прохладно, во всяком случае, не так жарко, как на улице. Знаю только одно: когда я пришел в себя, возле меня на коленях стояла толстая негритянка-уборщица, которую я прежде не заметил; я увидел ее лицо в невероятной близости от себя — ее приоткрытые черные губы и розовые десны; радио орало, а я все еще был на четвереньках.

— Plane is ready for departure [2].

И снова два раза подряд:

— Plane is ready for departure.

Долбят без конца одно и то же:

— All passengers for Mexico — Guatemala — Panama... [3]

Послышался гул запускаемых турбин.

— Kindly requested (снова гул турбин), gate number five. Thank you [4].

Я поднялся.

Негритянка все еще стояла на коленях...

Я дал себе клятву никогда больше не курить и попытался

---

[1] Прошу внимания *(англ.)*.

[2] Внимание, начинается посадка *(англ.)*.

[3] Всех пассажиров, следующих рейсом Мехико — Гватемала — Панама... *(англ.)*.

[4] Просят пройти в сектор пять. Благодарю за внимание *(англ.)*.

сунуть лицо под струю воды, но мешала раковина. Пустяки. Приступ слабости, и ничего больше, да, всего лишь приступ слабости и головокружение.

-- Your attention, please.

Я сразу почувствовал себя лучше.

— Passenger Faber, passenger Faber!

Это я.

— Please to the information-desk [1].

Я все это слышал, но не двинулся с места, а сунул голову прямо в раковину: я надеялся, что самолет уйдет без меня. Но вода не освежила меня, она была ничуть не холоднее пота; я не мог понять, почему негритянка вдруг расхохоталась, груди ее дрожали от неудержимого смеха, как студень; разверстый в хохоте рот, ослепительные белки черных глаз, жесткие спирали волос — короче, Африка крупным планом. И снова:

Passenger Faber, passenger Faber!

Я вытер лицо платком, а негритянка тем временем смахнула капли воды с моих брюк. Я даже причесался — только бы протянуть время, — громкоговоритель все передавал и передавал всевозможные объявления о посадках и вылетах; потом снова:

— Passenger Faber, passenger Faber!

Негритянка отказалась принять у меня деньги, для нее радость (pleasure), что я жив, господь услышал ее молитву. Я положил купюру на стол, но она выбежала за мной на лестницу, куда ей, как негритянке, вход был запрещен, и сунула мне ее назад.

В баре было пусто...

Я взгромоздился на табурет, закурил и стал глядеть, как бармен, кинув в запотевший стакан маслину, привычным жестом наполнил его — большим пальцем он придерживал ситечко смесителя, чтобы кусочки льда не попали в стакан. Я положил на стойку купюру, которую мне вернула негритянка, а за окнами бара проплывал тем временем «суперконстэллейшн», выруливая на взлетную дорожку, чтобы подняться в воздух. Без меня! Я как раз потягивал свой мартини, когда громкоговоритель снова заскрипел: «Your attention, please». Некоторое время ничего не было слышно, потому что ревели турбины стартующего «суперконстэллейшн», потом он пронесся над нами с обычным воем, и тогда снова раздалось:

— Passenger Faber, passenger Faber!

---

[1] Пассажир Фабер, пассажир Фабер! Подойдите, пожалуйста, к справочному бюро *(англ.)*.

Никто здесь не мог знать, что Фабер — это я, и, решив, что они не станут меня дольше ждать, я направился на террасу, чтобы взглянуть на наш самолет. Он стоял, готовый к отлету, автоцистерны с горючим уже отъехали, но винты еще не вращались. Я вздохнул с облегчением, когда увидел, что стайка наших пассажиров идет по пустому полю к самолету, и впереди всех — мой дюссельдорфец. Я ждал запуска турбин, а громкоговоритель и здесь хрипел не унимаясь:

— Please to the information-desk.

Но теперь это меня уже не касалось.

— Miss Sherbon, Mr. and Mrs. Rosenthal... [1]

Я все ждал и ждал, но четыре пропеллера почему-то не двигались, я не выдержал этого ожидания, снова спустился в нижний этаж, скрылся в туалете и защелкнул за собой дверь кабинки, когда опять загромыхало радио.

— Passenger Faber, passenger Faber!

Это был женский голос. Я снова весь покрылся испариной и был вынужден сесть, потому что у меня закружилась голова, а ноги мои все равно были видны из-под двери.

— This is our last call [2].

Два раза подряд.

— This is our last call.

Не знаю, почему я, собственно говоря, спрятался. Мне стало стыдно. Обычно я не позволял себе опаздывать. Но я не покидал своего убежища, пока не убедился, что громкоговоритель в самом деле оставил меня в покое, — я ждал не меньше десяти минут. Просто у меня не было ни малейшей охоты лететь дальше. Так я сидел за запертой дверью, пока не раздался вой стартующего самолета «суперконстэллейшн» — я безошибочно определяю его по звуку, — тогда я потер щеки, чтобы не привлекать внимания своей бледностью, и вышел из туалета как ни в чем не бывало, что-то насвистывая. Я постоял в вестибюле, потом купил газету — я понятия не имел, что мне делать в этом Хустоне, штат Техас. Как странно получилось: самолет улетел без меня. Я всякий раз настораживался, когда начинало говорить радио, а потом, чтобы чем-то заняться, направился на почту: решил послать телеграмму насчет багажа, который без меня летел в Мехико, затем телеграмму в Каракас, чтобы на сутки отложить начало монтажа, и телеграмму в Нью-Йорк. Я как раз прятал в карман шариковую ручку, когда стюардесса

---

[1] Мисс Шербон, мистер и миссис Розенталь... *(англ.)*.

[2] Приглашаем вас в последний раз *(англ.)*.

нашего самолета, со списком пассажиров в руке, схватила меня за локоть.

— There you are! [1]

Я лишился дара речи.

We're late, mister Faber, we're late! [2]

Я шел за ней, держа в руке уже ненужные телеграммы, и бормотал невнятные объяснения, которые никого не интересовали. Я шел как человек, которого ведут из тюрьмы в здание суда, шел, уперши взглядом в землю, потом — в ступеньки трапа, который отъехал, едва я ступил на борт.

— I'm sorry,— сказал я.— I'm sorry [3].

Пассажиры — они все уже успели пристегнуться ремнями — повернули ко мне головы, но никто не проронил ни слова, а мой дюссельдорфец, о котором я и думать забыл, сразу же уступил мне место у окна и участливо спросил, что со мной случилось.

Я сказал, что у меня остановились часы, и тут же принялся их заводить.

Взлетели нормально...

То, о чем мой сосед заговорил на этот раз, было мне интересно. Вообще теперь, когда я перестал ощущать тяжесть в желудке, он показался мне несколько симпатичнее. Он признал, что немецким сигарам еще далеко до мирового класса, потому что предпосылка хорошей сигары, сказал он,— хороший табак.

Потом он развернул карту.

Земли, на которых его фирма предполагала разбить плантации, лежали, как мне показалось, на краю света. Территория эта принадлежала Гватемале, но из Флореса туда можно было добраться только верхом на лошади, зато из Паленке (Мексика) можно легко проехать на «джипе». Даже «нэш», уверял он, однажды проехал по этим дорогам.

Сам он летит туда впервые.

Население — индейцы.

Мне все это было интересно, поскольку я тоже занимаюсь вопросами освоения экономически отсталых районов. Мы сразу же нашли общий язык — сошлись на том, что прежде всего надо строить дороги, может быть, даже небольшой аэродром — ведь в конечном счете все упирается в транспорт. Ближайший порт — Пуэрто-Барриос. Мне показалось, что эта затея риско-

---

[1] Вот вы где! *(англ.)*

[2] Мы опаздываем, мистер Фабер, мы опаздываем! *(англ.)*

[3] Прошу прощения *(англ.)*.

вашая, но не лишенная смысла; быть может, и в самом деле в этих плантациях — будущее немецкой сигары.

Он сложил карту.

Я пожелал ему удачи.

На его карте (1 : 500 000) все равно ничего нельзя было понять: ничейная земля, белое пятно, две голубоватые змейки, реки, между зелеными — государственными границами; единственные надписи, набранные красным шрифтом, но так мелко, что разобрать можно только с лупой, обозначают развалины древних городов майя...

Я пожелал ему удачи.

Его брат, который вот уже много месяцев живет в тех краях, никак не может там акклиматизироваться, и я вполне это себе представляю — низина, тропики, палящий зной, невыносимая влажность в сезон дождей.

На этом наш разговор кончился.

Я закурил, бросил взгляд в иллюминатор: под нами лежал Мексиканский залив — на зеленоватой воде лиловые тени от стаек облаков, обычная игра красок, я уже тысячу раз снимал это своей кинокамерой, — я закрыл глаза, чтобы хоть как-то наверстать те часы сна, которые у меня отняла Айви; полет больше не нарушал моего покоя, сосед тоже.

Он углубился в роман.

Для меня романы ровно ничего не значат, как, впрочем, и сны, а приснилась мне как будто Айви, во всяком случае, я почувствовал себя подавленным; мы находились в игорном баре в Лас-Вегасе (в действительности я там никогда не был), вокруг пьяный разгул, да еще орут громкоговорители, выкликая почему-то мое имя, куда ни глянь — синие, красные и желтые автоматы, в которых выигрывают деньги, лотерея, и я в толпе совершенно голых людей жду своей очереди на развод (в действительности я не женат); каким-то образом туда забредает и профессор О., мой почтенный учитель из Швейцарского политехнического института, человек на редкость сентиментальный, у которого все время глаза на мокром месте, хотя он и математик — точнее, профессор электродинамики; все это мне неприятно, но самое нелепое вот что: оказывается, я женат на дюссельдорфце... Я хочу протестовать, но не могу разжать губ, не прикрыв рта рукой, потому что у меня — я это чувствую — выпали все зубы и перекатываются во рту, как морские камешки...

Едва проснувшись, я сразу понял, в чем дело.

Под нами — открытое море...

Из строя вышел левый мотор; неподвижный пропеллер, как крест, четко вырисовывался на фоне безоблачного неба — вот и все.

Под нами, как я уже говорил, Мексиканский залив.

Наша стюардесса, девушка лет двадцати, еще совсем ребенок (на вид по крайней мере), дотронулась до моего плеча, чтобы меня разбудить, но я все понял прежде, чем она объяснила, протягивая мне зеленый спасательный жилет; мой сосед как раз застегивал на себе такой жилет, и это напоминало учебную тревогу.

Мы летели на высоте двух тысяч метров, не меньше.

Зубы у меня, конечно, не выпали, даже тот, вставной, что на штифте — верхний, четвертый справа; и я сразу почувствовал облегчение, чуть ли не радость.

Спереди, в проходе, стоял капитан:

— There is no danger at all... [1]

Все это лишь мера предосторожности, наш самолет может лететь и с двумя моторами, мы находимся на расстоянии 8,5 мили от мексиканского берега, держим курс на Тампико. Просьба ко всем пассажирам сохранять спокойствие и пока не курить. Thank you.

Все сидели, как в церкви, на всех были зеленые спасательные жилеты, а я проверял языком, действительно ли у меня не качаются зубы — больше меня ничего не волновало.

Время 10.25.

— Не задержись мы при вылете из-за снежной бури, мы бы уже совершили посадку в Мехико-сити, — сказал я своему дюссельдорфцу, чтобы что-нибудь сказать. Терпеть не могу торжественного молчания.

Ответа не последовало.

Я спросил, который теперь час по его часам.

Ответа не последовало.

Моторы — три остальных — работали исправно, авария никак не ощущалась. Я отметил, что мы идем на прежней высоте, потом показался берег, окутанный дымкой, что-то вроде лагуны, а за ней — болота. Но Тампико еще не было видно. В Тампико я уже бывал, и он у меня накрепко связан с отравлением рыбой, которого я не забуду до конца своих дней.

— Тампико, — сказал я, — это самый гнусный город на свете, нефтяной порт; там вечно воняет либо нефтью, либо рыбой, вы сами убедитесь...

---

[1] Нет никакой опасности... *(англ.)*

Он все ощупывал свой спасательный жилет.

— В самом деле, я вам советую, — сказал я, — не ешьте там рыбы, ни при каких обстоятельствах не ешьте.

Он попытался улыбнуться.

— У местных жителей выработался, конечно, иммунитет, — сказал я, — а вот наш брат...

Он кивнул, не слушая меня. Я прочел ему настоящий доклад о бактериях, а попутно и о гостиницах Тампико; как только я заметил, что мой дюссельдорфец перестает меня слушать, я хватал его за рукав, хотя обычно я себе этого не позволяю, более того, я сам ненавижу, когда кого-либо хватают за рукав. Но иначе он меня просто не слушал. Я рассказал ему во всех подробностях скучную историю моего отравления рыбой в Тампико в 1951 году, то есть шесть лет назад. Тем временем мы летели, как вдруг выяснилось, вовсе не вдоль берега, а почему-то в глубь страны. Значит, все-таки не в Тампико! Я разом потерял охоту болтать и тут же решил спросить у стюардессы, в чем дело.

Снова разрешили курить!

Быть может, аэродром в Тампико слишком мал, чтобы принять наш «суперконстэллейшн» (в тот раз я летел на «ДК-4»), либо они получили указание держать курс, несмотря на поломку одного из моторов, прямо на Мехико-сити; меня это крайне удивило, нам ведь предстояло перелететь через восточные отроги Сьерры-Мадре. Но нашей стюардессе — я и ее схватил за локоть, чего обычно, я уже это говорил, я себе не позволяю, — некогда было мне отвечать: ее вызвали к капитану.

Мы и в самом деле набирали высоту.

Я пытался думать об Айви...

Мы все подымались.

Под нами, как и прежде, тянулись болота — блеклая гладь мутной, зацветшей воды, кое-где разорванная узкими языками земли и песка, гнилая топь, то покрытая зеленой ряской, то красноватая, то почему-то совсем алая, словно губная помада, собственно говоря, вовсе не болота, а лагуны; и там, где на поверхности воды играло солнце, они посверкивали, как серебряные конфетные бумажки или кусочки станиоля — одним словом, отсвечивали каким-то свинцовым блеском, а те, что лежали в тени, были водянисто-голубые (как глаза Айви), с желтыми отмелями и чернильными, фиолетовыми отливами, видимо из-за водорослей; промелькнуло устье реки тошнотворного цвета американского кофе с молоком, и снова на протяжении сотни

квадратных миль — ничего, кроме лагун. Дюссельдорфцу тоже казалось, что мы набираем высоту.

Пассажиры снова стали разговаривать.

Приличной карты, такой, как в самолетах швейцарской авиакомпании, здесь не было, и меня раздражало лишь то обстоятельство, что нам сделали это идиотское сообщение, будто мы держим курс на Тампико, хотя самолет явно летел в глубь страны, все набирая высоту, как я уже говорил; работали три мотора, я глядел на три вращающихся диска, которые время от времени вдруг словно застывали — оптический обман в чистом виде — и тут же снова приходили в движение, мелькали черные тени, как обычно. Причин для тревоги не было; странным казался только вид неподвижного креста — бездействующего пропеллера на летящем самолете.

Мне было жаль нашу стюардессу.

Ей полагалось ходить от кресла к креслу с белозубой рекламной улыбкой и осведомляться у каждого пассажира, удобно ли ему сидеть в спасательном жилете; стоило кому-нибудь ответить ей шуткой, как улыбка тотчас сползала с ее лица.

— Разве можно плавать в горах? — спросил я.

Приказ есть приказ.

Я взял ее за руку, эту девчонку, которая по возрасту могла быть моей дочкой, вернее, за запястье, и сказал ей (конечно, в шутку!), грозя пальцем, что она принудила меня продолжать этот полет, да, да, только она, и никто другой; стюардесса ответила:

— There is no danger, Sir, no danger at all. We're going to land in Mexico-City in about one hour and twenty minutes [1].

Эту фразу она повторяла всем по очереди.

Я отпустил ее руку, чтобы девушка снова начала улыбаться и выполнять то, что ей полагалось, — следить, все ли пристегнулись ремнями. Вскоре стюардесса получила приказ разносить завтрак, хотя время завтрака еще не настало. К счастью, и тут, над материком, стояла хорошая погода, небо было почти безоблачным, но все же нас болтало, как обычно над горами, — оно и понятно, законы теплообмена. Нашу машину швыряло из стороны в сторону, она качалась, как на волнах, пока вновь не обретала равновесие и не набирала высоту, чтобы вскоре опять провалиться в воздушную яму. Несколько минут нормального

[1] Нет никакой опасности, сэр, совсем никакой. Мы приземлимся в Мехико-сити через час двадцать минут *(англ.)*.

полета — и снова толчок, крылья дрожат, и опять нас болает, пока машина еще раз не выровняет курс и не наберет высоту; кажется, теперь уже все в полном порядке — и в ту же секунду мы снова проваливаемся в яму, — так, впрочем, бывает всегда, когда болтает.

Вдали показались голубоватые горы.

Сьерра-Мадре — восточные отроги.

Под нами красная пустыня.

Когда спустя некоторое время (нам, то есть мне и моему дюссельдорфцу, только принесли завтрак — как обычно, сок и белоснежный сандвич с зеленым салатом) вдруг отказал и второй мотор, поднялась, естественно, паника; это неизбежно, даже если на коленях поднос с завтраком. Кто-то вскрикнул.

С этого мгновенья все пошло очень быстро...

Видимо, капитан, опасаясь, что откажут и остальные моторы, решил идти на вынужденную посадку. Во всяком случае, мы явно снижались, а громкоговоритель так хрипел и скрипел, что из тех инструкций, которые нам давали по радио, почти ни слова нельзя было разобрать.

Моя первая забота — куда девать завтрак?

Мы стремительно снижались, хотя двух моторов — нам ведь это было прежде объявлено — вполне достаточно для полета, и уже выпустили пневматическое шасси, как обычно перед посадкой, а я поставил поднос с завтраком прямо на пол, в проходе; впрочем, до земли было еще не меньше пятисот метров.

Нас перестало болтать.

— No smoking [1].

Я прекрасно понимал грозящую нам опасность — при вынужденной посадке самолет может разбиться или загореться — и удивлялся своему спокойствию.

Я ни о ком не думал.

Все произошло очень быстро, как я уже говорил; под нами — песок, равнина, окаймленная как будто скалистыми холмами, все кругом голо, пустыня...

Собственно говоря, было просто интересно, чем все это кончится.

Мы спускались, словно под нами была посадочная площадка; я прижался лицом к иллюминатору — ведь площадку можно увидеть всегда только в самую последнюю минуту, после того как выпущены закрылки. И я удивлялся, что закрылки все не выпускали. Самолет явно боялся сделать малейший вираж, что-

[1] Не курить *(англ.)*.

бы не «провалиться»; и мы летели и летели над равниной, а тень наша все приближалась к нам, она мчалась быстрее нас — так, во всяком случае, казалось, — серый лоскут скользил по красноватому песку и колыхался, как знамя.

Потом показались скалы.

Мы снова стали подыматься.

Вскоре, к счастью, скалы опять сменились песком, но теперь на песке росли агавы; оба мотора работали на полной мощности. Несколько минут мы шли на высоте многоэтажного дома, потом снова убрали шасси. Значит, посадка на брюхо! Мы летели так, как летят на большой высоте — самолет шел ровно и без шасси, — но на высоте многоэтажного дома, это я уже говорил; и, хотя я по-прежнему прижимался лицом к иллюминатору, я знал, что посадочной площадки не будет.

Вдруг мы снова выпустили шасси, но площадки не было видно, и закрылки тоже выпустили — ощущение такое, будто ударили кулаком в живот, торможение и падение, как в лифте; в последнюю минуту у меня нервы не выдержали — я успел только увидеть стреловидные агавы по обе стороны самолета и закрыл лицо руками; вынужденная посадка оказалась слепым ударом, толчком вперед — в бессознание.

Наступила тишина.

Нам чертовски повезло, вот все, что я могу сказать; никто не открыл дверцу запасного выхода, я тоже ее не открыл, никто не тронулся с места, мы как бы висели, наклонившись вперед, на спасательных поясах.

— Go on, — сказал капитан, — go on! [1]

Никто не шелохнулся.

— Go on!

К счастью, машина не загорелась. Надо было сказать людям, что можно отстегнуться, дверь стояла распахнутой, но трапа, естественно, не подали, и это было очень непривычно; зато к нам ворвалась жара, раскаленный воздух — словно открыли дверцы печки.

Я не был ранен.

Наконец спустили веревочную лестницу.

Все без всякого приказа собрались под крылом, в тени, и стояли там молча, словно говорить в пустыне строго запрещалось. Наш «суперконстэллейшн» чуть наклонился вперед, совсем немного, — передние шасси не держали машину, но не потому, что они сломались, — просто увязли в песке. Четыре

[1] Выходите! *(англ.)*.

креста-пропеллера сверкали на фоне ослепительного голубого неба так же, как и три хвостовых руля. Никто, как я уже говорил, не шевелился; все явно ждали, чтобы капитан корабля что-нибудь сказал.

— Well,— сказал он,— there we are! [1]

И засмеялся.

Вокруг ничего, только агавы, песок, красноватые горы вдалеке — они оказались гораздо дальше, чем мне представлялось в самолете, но главное — песок и раскаленный воздух; воздух — как жидкое стекло.

Время: 11 часов 05 минут.

Я завел часы.

Экипаж вынес из самолета шерстяные одеяла, чтобы закрыть ими от солнца пневматические баллоны шасси, а мы стояли вокруг в зеленых спасательных жилетах и только глазели. Не знаю почему, но ни один человек не снял с себя жилета.

Я не верю ни в роковое стечение обстоятельств, ни в судьбу. Как инженер, я привык иметь дело с точными формулами теории вероятности. При чем здесь роковое стечение обстоятельств? Я согласен: не случись вынужденной посадки (2.IV) в Тамаулипасе, все было бы иначе. Я бы не познакомился с молодым Хенке, и, может быть, никогда ничего не услышал бы вновь о Ганне, и до сих пор понятия не имел бы о том, что я отец. Даже представить себе невозможно, насколько все было бы по-другому, не случись этой вынужденной посадки в Тамаулипасе. Возможно, и Сабет была бы жива. Конечно, то, что произошло, нельзя считать простым совпадением — это целая цепь совпадений. Но почему я должен видеть в этом роковое стечение обстоятельств? Мне незачем обращаться к мистике, чтобы поверить в реальность невероятного случая, для этого мне достаточно математики.

Итак, выразим это математически.

Вероятный случай (например, если 6 000 000 000 раз бросить обычную игральную кость, то единичка выпадет приблизительно 1 000 000 000 раз) отличается от невероятного (например, если шесть раз бросить одну и ту же игральную кость, единичка выпадет шесть раз) не сущностью, а только частотой; причем то, что случается чаще, наперед кажется более правдоподобным. Однако, когда все же случается невероятное, нечего это

[1] Ну вот, мы и прибыли! *(англ.)*

считать проявлением потусторонних сил, каким-то чудом или чем-то в этом роде, как всегда хочется думать. Поскольку мы говорим о вероятном, мы тем самым включаем в это понятие и невероятное — как крайний случай возможного; и, когда оно вдруг происходит, это невероятное, у нас нет никаких причин изумляться, потрясаться, предаваться мистике.

В этой связи советую посмотреть: Эрнст Мэлли, «Вероятность и закон», затем «Теорию вероятности» Ганса Рейхенбаха, затем Уайтхед и Рассел, «Principia mathematica», затем «Вероятность, статистика и достоверность» Мизеса.

Мы провели в пустыне Тамаулипас (Мексика) четыре дня и три ночи, всего восемьдесят пять часов, и рассказывать здесь особенно не о чем; во всяком случае, эта посадка не была увлекательным приключением, как все почему-то ожидают, стоит мне о ней заговорить. Куда там при такой-то адовой жаре! Конечно, я тут же вспомнил диснеевский фильм — вот он действительно увлекателен — и вытащил свою кинокамеру; но о сенсационных съемках и речи быть не могло, время от времени пробегала ящерица, всякий раз меня пугавшая, да еще попадались особого вида науки — песчаники, вот и все.

Нам оставалось только одно — ждать.

Первое, что я сделал в пустыне Тамаулипас,— представился дюссельдорфцу, потому что он проявил интерес к моей камере: я охотно показал ему оптику и дал все необходимые разъяснения.

Остальные читали.

К счастью, как вскоре выяснилось, он тоже играл в шахматы, а я никогда не ездил без дорожных шахмат, так что мы были спасены; он сразу же раздобыл два ящика из-под кока-колы; и, чтобы не слушать общей болтовни, мы уселись в сторонке, в тени хвостовых рулей, сняв с себя все, кроме ботинок (песок был раскален) и трусов.

Время до вечера пролетело незаметно.

Незадолго до того, как начали сгущаться сумерки, появился военный самолет, долго кружил над нами, так ничего не сбросив, и улетел (я это заснял) к северу, в направлении Монтеррея.

На ужин нам дали сандвич с сыром и полбанана.

Я люблю шахматы, потому что они позволяют часами молчать. Более того, позволяют даже не слушать того, что говорят другие. Глядишь себе на доску, и никто не сочтет тебя

невежливым, если ты при этом не проявишь никакого желания вступить с партнером в разговор,— ты просто поглощен игрой.

— Ваш ход,— сказал он.

То обстоятельство, что он не только знает Иоахима, моего друга, которого я уже лет двадцать как потерял из виду, а просто-напросто его брат, выяснилось совершенно случайно...

Когда над горизонтом между черными агавами взошла луна (это я тоже заснял), можно было продолжать играть в шахматы — так было светло, но внезапно стало холодно; мы отошли подальше от самолета, чтобы покурить, углубились в пески, и я признался ему, что пейзаж вообще-то меня не волнует, а тем более здесь, в пустыне.

— Не верю, что вы это всерьез! — сказал он.

Он считал наше происшествие настоящим приключением.

— Пошли-ка лучше спать! — сказал я.— Гостиница «суперконстэллейшн», Holiday In Desert With All Accomodations [1].

Мне было холодно.

Я часто спрашивал себя, что, собственно говоря, люди имеют в виду, когда говорят о приключениях. Я инженер и привык видеть вещи такими, какие они есть. Все, о чем они говорят, я вижу очень точно: я ведь не слепой. Я вижу луну над пустыней Тамаулипас — она светит ярче, чем где бы то ни было, согласен, но ведь луна — это небесное тело, массу которого можно вычислить, и вращается она вокруг нашей планеты, подчиняясь законам гравитации,— интересно, пожалуй, но при чем здесь приключение? Я вижу причудливые контуры черных скал, оттененных лунным светом; возможно, они напоминают причудливые силуэты доисторических животных, но ведь я знаю: это скалы, горная порода, должно быть, вулканического происхождения, впрочем, чтобы установить точно, надо было бы поглядеть на них вблизи. Но почему я должен испытывать страх? Доисторических животных больше нет. Почему я должен вообразить их? Я не вижу и окаменелого ангела, весьма сожалею, но не вижу; и демонов, увы, тоже; я вижу то, что вижу: обычные последствия эрозии да мою длинную тень на песке, но никаких привидений. Почему я должен все воспринимать, как институтка? Потоп? Да при чем тут потоп, просто песок, залитый лунным светом и разметанный ветром,— похоже на застывшие волны, но меня это не удивляет; для меня это явление не фантастическое, а объяснимое. Я не знаю, как выглядят души греш-

[1] Воскресный отдых в пустыне со всеми удобствами *(англ.)*.

ников, быть может, как черные агавы ночью в пустыне. Но то, что я вижу,— это агавы, растения, которые цветут только один раз, а потом умирают. И еще я знаю, что я не первый и не последний человек на земле (даже если сейчас мне это кажется). И меня не может потрясти предположение, что я — последний человек, поскольку это не так. К чему доводить себя до истерики? Горы есть горы, даже если они при известном освещении, я это вполне допускаю, похожи на что-то другое, но все равно это Сьерра-Мадре, ее восточные склоны, и мы находимся не в царстве мертвых, а в пустыне Тамаулипас, в Мексике, примерно в шестидесяти милях от ближайшего шоссе, что, конечно, весьма печально, но, повторяю, при чем здесь приключение? Самолет для меня это самолет, и, глядя на него, я вижу не доисторическую птицу, а всего лишь «суперконстэллейшн» с отказавшими моторами, и лунный свет здесь ничего не меняет. Почему я должен воображать то, чего нет? Не могу я согласиться и с тем, что слышу здесь поступь вечности. Я ничего не слышу, кроме скрипа песка при каждом шаге. Я трясусь от холода, но знаю: через семь-восемь часов снова взойдет солнце. Конец света! Да почему? Я не могу внушать себе всякую чушь, только чтобы пережить приключение. Я вижу у края песков, примерно милях в двадцати отсюда, горизонт, белесый в зеленой ночи, но я не понимаю, почему там, в направлении Тампико, должен начинаться потусторонний мир. В Тампико я бывал. Я отказываюсь испытывать страх из чистой фантазии — вернее, из чистого страха становиться фантазером, чуть ли не мистиком.

— Пошли,— сказал я.

Герберт стоял неподвижно, весь еще во власти «приключения».

— Да, кстати,— сказал я,— не находитесь ли вы случаем в родстве с неким Иоахимом Хенке, который в свое время учился в Цюрихе?

Сам не знаю, почему я вдруг задал ему этот вопрос, когда мы, опустив руки в карманы и подняв воротники пиджаков, стояли у самолета, перед тем как подняться в кабину.

— Иоахим? — переспросил он.— Это мой брат.

— Не может быть! — сказал я.

— Ну да, брат,— подтвердил он.— Я ведь вам рассказывал, что еду к брату в Гватемалу.

Мы не смогли удержаться от смеха.

— До чего же мир тесен!

Ночи мы проводили в самолете, дрожа от холода, несмотря

на пальто и шерстяные одеяла. Пока не кончилась вода, нам давали чай.

— Иоахим... Как он поживает? — спросил я.— Вот уже двадцать лет как я о нем ничего не слышал.

— Спасибо,— сказал он,— спасибо...

— Когда-то,— сказал я,— мы очень дружили.

То, что я узнал о нем, было самым обычным: женитьба, ребенок (это я явно прослушал, иначе не стал бы потом переспрашивать), война, плен, возвращение в Дюссельдорф и так далее,— я был поражен, как бежит время, как мы стареем.

— Мы тревожимся за него,— сказал он.

— Почему?

— Он там единственный белый, а вот уже два месяца мы не имеем от него никаких вестей.

Он продолжал свой рассказ.

Большинство пассажиров уже спали, приходилось разговаривать шепотом, свет на потолке салона давно потушили, и, чтобы не расходовать батарей, попросили погасить и маленькие лампочки у кресел; было совсем темно, только в иллюминаторе я видел песок — от него как бы исходил слабый свет — да крыло самолета, залитое луной,— оно холодно поблескивало.

— Почему вдруг бунт? — спросил я.

Я попытался его успокоить.

— Почему вдруг бунт? — повторил я.— Быть может, его письма просто пропали.

Кто-то нас попросил замолчать.

Сорок два пассажира спят в «суперконстэллейшн», но он не летит, а стоит в пустыне, моторы его укутаны шерстяными одеялами (чтобы защитить от песка), и пневматические шасси — тоже; пассажиры откинулись так же, как во время полета,головы склонились набок, рты открыты, но притом мертвая тишина, а снаружи — четыре блестящих креста-пропеллера, белесый лунный отсвет на крыльях и полная неподвижность — все это производило весьма комическое впечатление.

Кто-то разговаривал во сне.

Утром, когда я, проснувшись, поглядел в иллюминатор и увидел песок — насколько он близок! — меня на секунду охватил безотчетный страх.

Герберт снова читал свой роман серии «Ро-ро-ро».

Я вытащил записную книжку.

3.IV — монтаж в Каракасе!

На завтрак дали сок и два печенья, а к ним в придачу — заверения, что съестные припасы уже в пути к нам и напит-

ки — тоже, так что нет никаких оснований тревожиться. Уж лучше бы они ничего не говорили, а то весь день, естественно, прислушиваешься, не летит ли самолет.

Снова адская жара!

В салоне воздух накалился еще больше...

Что до звуков, так вот что мы слышали: вой ветра, время от времени писк мышей, которых, впрочем, нам так и не удалось увидеть, шуршание ящериц по песку. Но главное — несмолкающий ветер, который не вздымал песок, как я уже говорил, а как бы струил его по поверхности, неизменно заметая наши следы; и все время казалось, что здесь не ступала нога человека, и уж никак нельзя было допустить присутствия многолюдного общества — сорока двух пассажиров и пяти человек экипажа.

Мне хотелось побриться.

Снимать было решительно нечего.

Небритым я всегда чувствую себя как-то неловко, не из-за людей, а из-за собственного ощущения, будто я становлюсь чем-то вроде растения, и я невольно то и дело провожу рукой по подбородку. Я вытащил свою электрическую бритву и попробовал сделать все возможное — точнее, невозможное, поскольку без тока ведь с ней делать нечего, это я прекрасно знаю; мне действовало на нервы как раз то, что в пустыне нет ни тока, ни телефона, ни розетки — одним словом, ничего.

Как-то раз в полдень послышался шум моторов.

Все, кроме Герберта и меня, стояли под палящим солнцем и вглядывались в лилово-синее небо, раскинувшееся над желтоватым песком, серым чертополохом и красноватыми горами; еле уловимый гул так и не стал громче, где-то вдали, на большой высоте, поблескивал обыкновенный «ДС-7» — он казался белым как снег и держал курс на Мехико-сити, где и мы должны были приземлиться вчера в это же время.

Настроение было премерзкое, хуже, чем когда бы то ни было.

К счастью, у нас были шахматы.

Многие пассажиры последовали нашему примеру, разделись и остались лишь в трусах и ботинках. Сложнее обстояло дело у дам. Некоторые все же отважились и сидели, высоко подобрав юбки, в голубых, белых и розовых бюстгальтерах, соорудив на головах из блузок нечто вроде тюрбанов.

Большинство жаловалось на головную боль.

Кое-кого рвало.

Мы с Гербертом снова устроились в сторонке, в тени, отбрасываемой хвостовым рулем; но даже и тут плоскости крыльев

и элероны хвоста, отражая освещенный солнцем песок, сверкали так ярко, что нам казалось, на нас направлены прожекторы; и, как всегда, за шахматами мы почти не разговаривали. После длительного молчания я спросил:

— Так Иоахим, значит, не женат?

— Нет,— ответил он.

— Развелся?

— Да,— сказал он.

— Мы тогда частенько играли с ним в шахматы.

— Ясно,— сказал он.

Односложность его ответов подействовала на меня.

— На ком же он был женат?

Я спросил это просто так, чтобы убить время; меня нервировало, что нельзя было курить, я держал во рту незажженную сигарету. Герберт слишком долго думал, хотя давно уже было ясно, что положение ему не спасти: у меня был лишний конь, и, как раз в ту минуту, когда я окончательно оценил свое бесспорное преимущество, он после длительного молчания, так же мимоходом, как я спросил, назвал имя Ганны.

— На Ганне Ландсберг, она из Мюнхена, полуеврейка.

Я ничего не сказал в ответ.

— Ваш ход,— напомнил он.

Мне кажется, я не выдал себя. Я только машинально зажег сигарету, что было строжайше запрещено, и тут же ее потушил. Я делал вид, что обдумываю ходы, и терял фигуру за фигурой.

— Что с вами? — спросил он со смехом.— Что это с вами?

Мы не доиграли партию — я сдался... и, повернув доску, принялся заново расставлять фигуры. Я даже не решался спросить, жива ли еще Ганна. Мы играли много часов кряду, не проронив ни слова, и только время от времени передвигали наши ящики из-под кока-колы в погоне за тенью, а это значило, что мы вновь и вновь попадали на раскаленный песок, с которого только что убрало солнце. Пот катил с нас градом, как в финской бане; мы безмолвно сидели, склонившись над моими дорожными кожаными шахматами, на которых, к сожалению, оставались следы от капелек пота.

Пить было уже нечего.

Почему я не спрашивал, жива ли еще Ганна, не знаю — может быть, из страха узнать, что она погибла.

Я подсчитал про себя, сколько ей теперь лет.

Я не мог себе представить, как она выглядит.

Уже к вечеру, перед тем как начало темнеть, прилетел наконец обещанный самолет — машина спортивного типа; она

долго кружила над нами, перед тем как сбросить парашюты с грузом: три мешка и два ящика, которые приземлились в радиусе трехсот метров от нашего лагеря; мы были спасены: Carta Blanca, Cerveza Mexicana — хорошее пиво; этого не мог не признать даже немец Герберт, когда мы стояли с консервными банками пива в руках посреди пустыни — целое общество в бюстгальтерах и трусах, да еще на фоне заката, который я, кстати сказать, заснял своей камерой.

Ночью мне снилась Ганна.

Ганна — сестра милосердия и почему-то верхом на лошади!

На третий день в нашем лагере сел наконец вертолет, чтобы увезти, слава богу, мамашу-аргентинку с ее двумя детьми и письма — он ждал целый час, пока мы их напишем.

Герберт тут же написал в Дюссельдорф.

Все сидели и писали.

Писать было просто необходимо, хотя бы для того, чтобы люди не приставали с вопросами: «Разве у вас нет ни жены, ни матери, ни детей?» Я достал свою портативную машинку (фирмы «Гермес» — она и сегодня еще полна песка) и вставил лист — точнее, два листа — с копиркой, так как предполагал написать Вильямсу, отстукал дату, а потом, строчкой ниже, обращение:

«My dear» [1].

Итак, я писал Айви. Давно уже я испытывал потребность во всем разобраться, поставить точки над «и». Наконец-то я обрел необходимый для этого покой — покой бескрайней пустыни.

«My dear».

Чтобы сообщить, что я очутился в пустыне, в шестидесяти милях от дорог и жилья, много времени потребовалось. Потом я добавил, что здесь очень жарко, что погода отличная, что я не ранен, ну ни царапинки, и так далее, и даже привел для наглядности несколько подробностей: ящик из-под кока-колы, трусики, вертолет, знакомство с шахматистом,— но всего этого еще было мало, чтобы получилось письмо. Что же еще написать? Голубоватые горы вдали... Еще что? Вчера дали пива... Еще что? Не мог же я попросить ее об услуге — скажем, отправить мои пленки, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что Айви, как всякую женщину, интересуют только мои чувства, на худой конец мои мысли, если уже нет чувств, а ход моих мыслей был мне совершенно ясен: я не женился на Ганне, которую любил,

[1] Моя дорогая *(англ.)*.

так почему же я должен жениться на Айви? Но сформулировать это, не обидев ее, оказалось чертовски трудно, потому что она ведь ничего не знала о Ганне и была хорошей бабой, но, увы, принадлежала к той категории американок, которые считают, что каждый мужчина, с которым они спят, должен стать мужем. К тому же Айви была замужем, уж не знаю, в который раз, и ее муж, чиновник в Вашингтоне, вовсе не собирался давать ей развод, потому что любил Айви. Догадывался ли он, почему Айви регулярно летала в Нью-Йорк, я не знаю. Она говорила ему, что ходит к психоаналитику; она в самом деле к нему ходила. Так или иначе, ко мне он ни разу не заявлялся; и я никак не мог понять, почему Айви, у которой во всех других вопросах была вполне современная точка зрения, хотела во что бы то ни стало превратить нашу связь в брак; ведь и так последнее время у нас были одни только скандалы, скандалы по любому, самому пустячному, как мне кажется, поводу. Скандал, например, из-за машины — «студебеккер» или «пэш»! Стоило мне только все это вспомнить, как пальцы так и забегали по клавишам,— более того, мне даже пришлось поглядывать на часы, чтобы закончить письмо до того, как вертолет пойдет на старт.

Мотор уже завели.

«Студебеккер» понравился не мне, а Айви — вернее, его цвет (она считала, что он красный, как томат, я — что он малиновый) отвечал ее вкусу, а не моему, ну а технические качества машины ее, собственно говоря, мало интересовали. Айви была манекенщицей, она выбирала платья в соответствии с цветом машины, цвет машины — в соответствии с цветом губной помады или наоборот, точно сказать не могу. Зато могу точно сказать, в чем она меня вечно упрекала: у меня совсем нет вкуса и я не хочу на ней жениться. При этом она, как я уже сказал, была славная баба. Но мое намерение продать ее «студебеккер» она считала чудовищным и очень для меня типичным — я совершенно не думаю о ее туалетах, которые сшиты специально для малинового «студебеккера» и без него ей не нужны, да, все это очень для меня типично, потому что я эгоист, жестокий человек, дикарь во всем, что касается вкуса, изверг по отношению к женщине. Упреки эти я знаю наизусть и сыт ими по горло. Что я не намерен жениться, это я ей говорил достаточно часто, во всяком случае, давал понять, а в последний раз и прямо сказал — как раз в аэропорту, когда нам пришлось три часа ждать «суперконстэллейшн». Айви даже плакала, слушая, что я ей говорю. Но может быть, ей надо, чтобы это было написано

черным по белому. Ведь если бы самолет сгорел при этой вынужденной посадке, ей бы все равно пришлось жить без меня, писал я ей (к счастью, под копирку) весьма недвусмысленно, чтобы, как я рассчитывал, избежать еще одной встречи и объяснения.

Вертолет был готов к старту.

У меня уже не хватило времени перечитывать письмо, я только успел сунуть лист в конверт и сдать его. Потом я глядел, как стартует вертолет.

Постепенно все мужчины обросли щетиной.

Я тосковал по электричеству...

В конце концов все это осточертело; собственно говоря, это было просто неслыханное дело, настоящий скандал; подумать только, всех нас — сорок два пассажира и пять человек экипажа — до сих пор не вызволили из этой пустыни. А ведь большинство летело по срочным делам.

Как-то раз я все же спросил:

— А она еще жива?

— Кто? — спросил он.

— Ганна, его жена.

— А...— Вот и все, что я услышал в ответ.

Он явно думал только о том, каким ходом парировать мою атаку (я разыгрывал гамбит), да при этом снова засвистел — а свист его меня и так раздражал, тихий свист без всякой мелодии, похожий на шипение какого-то клапана, совершенно непроизвольный,— и мне пришлось еще раз спросить:

— Где же она теперь?

— Не знаю,— ответил он.

— Но она жива?

— Я полагаю.

— Ты этого точно не знаешь?

— Нет,— сказал он,— но полагаю, что жива.

И он повторил, как свое собственное эхо:

— Полагаю, что жива.

Наша партия в шахматы была для него куда важнее.

— Быть может, все уже упущено,— сказал он после длительной паузы.— Быть может, все уже упущено.

Это относилось к шахматам.

— Она успела эмигрировать?

— Да,— сказал он,— успела.

— Когда?

— В тридцать восьмом году,— сказал он,— в последнюю минуту.

— Куда?

— В Париж,— сказал он,— а потом, видимо, дальше, потому что два года спустя и мы вошли в Париж. Кстати, это были лучшие дни моей жизни! До того, как меня отправили на Кавказ. Sous les toits de Paris [1].

Больше мне спрашивать было нечего.

— Знаешь,— сказал он,— мне кажется, если я сейчас не рокируюсь, мое дело — дрянь.

Мы играли все с меньшей охотой.

Как потом стало известно, восемь вертолетов американской армии трое суток прождали у мексиканской границы разрешения властей вылететь за нами.

Я чистил свою машинку. Герберт читал.

Нам оставалось только одно — ждать.

Что касается Ганны...

Я ведь не мог жениться на Ганне; я был тогда, с 1933 по 1935 год, ассистентом в Швейцарском политехническом институте, в Цюрихе, работал над своей диссертацией («О значении так называемого максвелловского демона») и получал триста франков в месяц, о браке и речи быть не могло, хотя бы из-за материальных соображений, не говоря уже обо всем остальном. И Ганна меня ни разу не упрекнула в том, что мы тогда не поженились. Я ведь был готов. По сути, это сама Ганна не захотела тогда выйти за меня замуж.

Решение изменить маршрут, прервать деловую поездку и махнуть в Гватемалу только затем, чтобы повидаться с другом юности,— это решение я принял на новом аэродроме в Мехико-сити, причем в самую последнюю минуту; я стоял уже у барьера, начиналась посадка, я еще раз пожал руку Герберту и попросил его передать от меня привет брату, если Иоахим меня еще помнит, и снова по радио раздался обычный призыв:

— Your attention, please. Your attention, please! [2]

Лететь надо было снова на «суперконстэллейшн».

— All passengers for Panama — Caracas — Pernambuco... [3]

Мне было просто противно снова садиться в самолет, снова пристегиваться ремнем; Герберт сказал:

---

[1] Под крышами Парижа *(франц.)*.

[2] Прошу внимания. Прошу внимания! *(англ.)*

[3] Все пассажиры на Панаму — Каракас — Пернамбуко... *(англ.)*

— Старик, тебе пора!

Во всем, что касается служебных дел, меня считают человеком очень добросовестным, чуть ли не педантичным; во всяком случае, мне никогда еще не случалось из прихоти затягивать деловую поездку, а тем более менять маршрут, но час спустя я уже летел с Гербертом.

— Ну, старик,— сказал он,— это ты здорово придумал!

Сам не знаю, что на меня нашло.

— Пусть теперь турбины меня подождут,— сказал я,— мне не раз приходилось ждать турбины, пусть теперь они меня подождут.

Конечно, так рассуждать нелепо.

Уже Кампече встретил нас зноем — солнце в мареве, липкий воздух, вонь гниющих болот; а когда вытираешь пот с лица, то кажется, что сам воняешь рыбой. Я не сказал ни слова. В конце концов перестаешь вытирать пот, сидишь с закрытыми глазами, дышишь, не разжимая губ, прислонившись головой к стене и вытянув ноги. Герберт был совершенно уверен, что поезд идет каждый вторник — так по крайней мере черным по белому значилось в путеводителе, привезенном из Дюссельдорфа, но после пяти часов ожидания вдруг выяснилось, что мы приехали не во вторник, а в понедельник.

Я не сказал ни слова.

В гостинице есть хоть душ и полотенца, пахнущие, правда, камфарой, как, впрочем, всегда в этих краях; а когда стоишь под ослизлой от сырости занавеской, на тебя падают какие-то жуки длиной в палец; я их сперва топил, но спустя некоторое время они вновь выползали из стока, и в конце концов мне пришлось давить их пяткой, чтобы спокойно принять душ.

Ночью мне снились эти жуки.

Я решил бросить Герберта и улететь на следующий день назад — в полдень был самолет, а что до товарищества...

Я снова почувствовал, что у меня есть желудок.

Я лежал совершенно голый.

Всю ночь стояла невыносимая вонь.

Герберт тоже лежал совершенно голый.

Кампече как-никак все же город, населенный пункт, где есть электричество, так что можно побриться, есть телефон; но на всех проводах там сидят рядком грифы и ждут, пока не сдохнет с голоду собака, или падет осел, или зарежут лошадь, и тогда они слетают вниз... Мы подошли как раз в тот момент, когда они рвали на части кучу внутренностей — целая стая

черно-фиолетовых птиц с кусками окровавленных кишок в клювах; их ничем нельзя было спугнуть, даже машины они не боялись, просто перетаскивали падаль подальше, не взлетая, а только перепрыгивая с места на место, и все это — посреди базара.

Герберт купил ананас.

Я твердо решил, как уже сказал, лететь назад в Мехико-сити. Я был в отчаянии. Почему я этого не сделал, не знаю.

Вдруг оказалось, что уже полдень...

Мы стояли на молу, где меньше воняло, зато еще больше пекло солнце, потому что совсем не было тени, и ели ананас; нам пришлось наклониться вперед — он был такой сочный, что с него просто текло, а потом перегнуться через перила, чтобы сполоснуть липкие пальцы; теплая вода тоже оказалась липкой, но, правда, не сладкой, скорее, соленой, и пальцы воняли водорослями, мазутом, ракушками, какой-то гнилью, так что их пришлось тут же вытереть платком. Вдруг гул мотора! Я стоял оцепенев. Мой «ДС-4», который должен был доставить меня в Мехико-сити, пролетел как раз над нами, потом круто повернул в открытое море и там растворился в раскаленном небе, как в синей кислоте...

Я не сказал ни слова.

Не знаю, как прошел тот день.

Но он прошел...

Наш поезд (Кампече — Паленке — Коатцокоалкос) оказался лучше, чем можно было ожидать: тепловоз и четыре вагона с кондиционированным воздухом — мы тут же забыли про жару, а вместе с ней и про нелепость этого путешествия.

Помнит ли меня Иоахим?

Поезд то и дело останавливался в ночи, почему — понять было невозможно, нигде ни огонька, только далекие зарницы позволяли разглядеть, что вокруг джунгли и болота, мы видели вспышки сквозь сплетения черных деревьев, наш тепловоз гудел и гудел в темноту, а открыть окно, чтобы посмотреть, в чем дело, нельзя было. Потом мы вдруг снова трогались, ехали со скоростью тридцати километров в час, хотя колея шла по равнине и была прямая как стрела. Все же мы были рады тому, что хоть как-то движемся вперед.

Я вдруг спросил:

— А почему они, собственно говоря, разошлись?

— Не знаю,— сказал он,— она как будто стала коммунисткой.

— Из-за этого?

Он зевнул.

— Не знаю,— повторил он.— Что-то не ладилось. Я никогда не расспрашивал.

Когда поезд остановился в очередной раз, я подошел к двери вагона, чтобы выглянуть наружу. Меня обдало зноем, про который мы забыли, и сыростью; темень и тишина. Я опустился на подножку. Тишина и зарницы. На прямой как стрела колее стоял буйвол — вот и все. Он стоял неподвижно, как чучело, его ослепил прожектор нашего тепловоза. У меня сразу же выступил пот на лбу и шее. А тепловоз все гудел и гудел... Вокруг непроходимые заросли — и только. Через несколько минут буйвол (может, это был и не буйвол) вышел из полосы света; потом я услышал шорохи в зарослях, хруст веток, топот, всплеск воды, которой не было видно в темноте.

Мы снова тронулись.

— У них есть дети? — спросил я.

— Дочь.

Мы расположились ко сну — куртки сунули под головы, ноги вытянули, примостив их на пустые сиденья напротив.

— Ты ее знал?

— Да,— сказал я.— А что?

Вскоре он заснул.

Когда стало светать, мы все еще ехали среди зарослей, над плоским горизонтом джунглей взошло солнце; множество цапель, завидев наш медленно приближающийся поезд, белыми стаями взметнулись к небу; заросли без конца и без края, иногда несколько индейских хижин, полускрытых за деревьями, изредка — одинокая пальма, но в основном — лиственный лес, акации и незнакомые мне растения, чаще всего — кусты и какой-то допотопный папоротник; чаща, кишащая желтыми, как сера, птицами, солнце словно сквозь матовое стекло, струящийся воздух, зной.

Мне снились сны... (Не Ганна!)

Когда мы снова остановились посреди джунглей, выяснилось, что это и есть Паленке, богом забытая станция, где никто не вошел и никто, кроме нас, не вышел; небольшой навес рядом с колеей, сеньор — вот и все, нет даже второй колеи (если мне не изменяет память); мы трижды переспросили, действительно ли это Паленке.

Пот сразу покатил с нас градом...

Поезд тронулся, а мы сиротливо стояли возле багажа, словно здесь был конец света и, уж во всяком случае, конец цивилизации, а «джипа», который должен был ждать господина из Дюс-

сельдорфа, чтобы сразу же везти его на плантацию, конечно, и в помине не было.

— There we are! [1]

Я рассмеялся.

Там все же было какое-то подобие дорожки; после получаса ходьбы, когда мы уже совсем вымотались, из-за кустарника появились дети, а потом и погонщик ослов, конечно индеец, который взял наш багаж, у меня в руках осталась только моя желтая папка на молнии.

Пять дней мы провисели в Паленке.

Мы висели в гамаках (пиво всегда стояло рядом, до него можно было дотянуться рукой) и потели — потели так, словно это было целью нашей жизни,— совершенно не в силах принять какое-либо решение, пожалуй, даже очень довольные, потому что пиво здесь оказалось превосходным — «Юкатека», куда лучше, чем бывает у нас на родине; мы висели в гамаках, пили, чтобы потеть дальше, и я не знал, чего же мы, собственно говоря, хотим.

Мы хотели достать «джип».

Если это все время не повторять, то забываешь, а мы почти не говорили. Странное состояние.

«Джип», да, но где его взять?

От разговоров еще больше хотелось пить.

У хозяина нашей крохотной гостиницы (Лакруа) была машина «лэндровер» — очевидно, единственная в Паленке; и она ему была нужна, чтобы привозить с вокзала пиво и приезжих — любителей пирамид, туристов, интересующихся развалинами индейских памятников; в те дни там был только один такой любитель, молодой американец, который слишком много говорил, но, к счастью, уходил на целый день осматривать руины, которые, как он считал, и мы должны обязательно посетить.

Я не собирался этого делать!

От каждого шага обливаешься потом, который тут же приходится возмещать пивом; и чувствуешь себя сносно, только если висишь в гамаке, не шевелясь, и куришь; единственно возможное состояние — полная апатия; даже слух, будто плантация по ту сторону границы вот уже два месяца как заброшена, нас не взволновал; мы с Гербертом только переглянулись и продолжали потягивать пиво.

Наш единственный шанс: «лэндровер»!

---

[1] Вот мы и прибыли! *(англ.)*

Целыми днями он стоял перед гостиницей...

Но хозяин, как я уже говорил, не мог без него обойтись.

Только после захода солнца (точнее, солнце здесь не заходит, а постепенно пропадает в мареве) становилось немного прохладней, хотя бы настолько, что можно было болтать всякий вздор. О будущем немецкой сигары, например! Я считал, что наше путешествие и вообще все это — курам на смех. Бунт туземцев! В это я не верил ни одной минуты. Для этого здешние индейцы слишком мягки, миролюбивы, чуть ли не ребячливы. Вечерами они молча сидят на корточках в своих белых соломенных шляпах прямо на земле, недвижимо, словно грибы, не испытывая даже потребности зажечь огонь. Они вполне довольствуются тем светом, который получают от солнца и луны,— какой-то немужественный народ, они неприветливы, но при этом совершенно безобидны.

Герберт спросил, что же я в таком случае думаю.

— Ничего!

— Что же нам делать? — спросил он.

— Принять душ...

Я принимал душ с утра до вечера; я ненавижу пот, потому что из-за него чувствуешь себя больным (я в жизни не болел, если не считать кори). Я думаю, Герберт нашел, что это не по-товарищески — вообще ничего не думать, но было просто слишком жарко, чтобы что-нибудь думать, или тогда уже думалось невесть что — как Герберту.

— Пошли в кино,— сказал я.

Герберт всерьез поверил, что в Паленке, где были одни только индейские хижины, есть кино, и пришел в ярость, когда я рассмеялся.

Дождя так ни разу и не было.

Каждую ночь полыхали зарницы — это было наше единственное развлечение; в Паленке есть, правда, движок, а значит, и электричество, но в 21.00 его выключают, так что вдруг погружаешься в темень. Ночь, джунгли, а ты висишь себе и видишь только вспышки зарниц, голубоватые, как свет кварцевой лампы, да красные светлячки, потом всходит луна, но она всегда затянута дымкой; звезд вообще не видно, для этого здесь слишком много испарений. Иоахим не пишет просто потому, что слишком жарко, я это могу понять; он висит в своем гамаке, как мы, и зевает; либо он умер; тут думать нечего, считал я, надо только ждать, пока мы раздобудем «джип», чтобы переехать границу и узнать, в чем дело.

Герберт наорал на меня:

— «Джип»! Да где его взять?

Вскоре раздался его храп.

Как только движок переставал работать, обычно наступала тишина; лошадь паслась при свете луны, в том же загоне беззвучно щипала траву косуля, поодаль копошилась черная свинья, индюк, не выносивший зарниц, пронзительно кричал; он растревожил гусей, и они загоготали — поднялся переполох, потом снова воцарилась тишина, вспыхивали зарницы над плоской равниной — лишь насущную лошадь было слышно всю ночь.

Я думал об Иоахиме.

Но что именно?

Я просто не мог уснуть.

Только наш любитель развалин болтал без умолку; и если вслушаться в его болтовню, то даже становилось интересно — он говорил о толтеках, запотеках и ацтеках, которые, хоть и строили храмы, не знали, что такое колесо. Он приехал из Бостона и был музыкантом. Иногда, правда, он становился невыносимым, как, впрочем, все художники, считающие себя натурами более утонченными и глубокими, нежели простые смертные, лишь потому, что не имеют понятия, что такое электричество.

Наконец я тоже заснул.

Утром всякий раз меня будил странный звук, то ли чисто механический, то ли все же музыкальный — какое-то стрекотанье, негромкое, но назойливое, напоминающее треск цикад, однако более металлическое, монотонное; видимо, это был все же звук машины, но я не узнавал его, а когда мы позднее шли завтракать в селенье, этого звука уже не было слышно, и я не обнаруживал ничего, что могло бы быть его источником. Мы были единственными посетителями единственной здесь харчевни, где мы всегда заказывали одно и то же блюдо — huevos a la mexicana [1], чудовищно острое, но как будто невредное, к нему tortilla [2] и пиво. Хозяйка-индианка, матрона с черными косами, принимала нас за ученых-исследователей. Ее волосы напоминали оперение — иссиня-черные, с зеленым отливом,— зубы у нее были цвета слоновой кости, сверкавшие в улыбке, а глаза тоже черные, бархатистые.

— Спроси-ка ее,— сказал Герберт,— не знает ли она моего брата и давно ли она его видела.

---

[1] Яйца по-мексикански *(исп.)*.

[2] Лепешки *(исп.)*.

Мы мало что узнали.

— Она помнит, здесь проезжала какая-то машина. Вот и все,— сказал я.

Попугай тоже ничего не знал.

— Gracies, hi-hi! [1]

Я ответил ему по-испански:

— Hi-hi, gracies, hi-hi!

На третий или четвертый день, когда мы, как обычно, завтракали, окруженные толпой индейских ребятишек, которые, к слову сказать, ничего не клянчили, а просто стояли у стола и время от времени смеялись, у Герберта появилась навязчивая идея, что в этой жалкой деревушке все же должен быть «джип», нужно только получше поискать — наверняка он притаился у какой-нибудь хижины, за банановыми пальмами, в зарослях тыквы и маиса. Я его не останавливал. Правда, я считал, что это вздор, как, впрочем, и все остальное, но мне было наплевать; я висел себе в гамаке, а Герберт исчез на весь день.

Даже кинокамеру было лень вытащить.

Пиво «Юкатека» — превосходное, что и говорить,— к сожалению, кончилось, и в Паленке теперь можно было разжиться только дрянным ромом да кока-колой, которую я терпеть не могу.

Я пил ром и спал.

Во всяком случае, я часами ни о чем не думал.

Герберт вернулся уже в сумерках, бледный от усталости; он обнаружил неподалеку ручей и даже купался в нем, затем увидел двух мужчин, которые шли по маисовым зарослям, прорубая себе дорогу кривыми саблями (так, по крайней мере, он утверждал),— индейцы в белых штанах и белых соломенных шляпах, точно такие же, как и все мужчины в селенье, но с кривыми саблями в руках.

О «джипе», конечно, и речи не было.

Мне показалось, что он малость струхнул.

Я решил побриться, пока еще не выключили электричество. Герберт снова стал рассказывать, как он воевал на Кавказе, всякие ужасы про Ивана, которые я уже по многу раз слышал; потом, поскольку пива больше не было, мы отправились в кино — нас туда повел любитель руин, знавший Паленке как свои пять пальцев; там, на удивление, действительно было кино — навес из гофрированной жести. Вместо журнала нам показали короткометражку сорокалетней давности, с Гарольдом

[1] Спасибо, хи-хи *(исп.)*.

Ллойдом, где он карабкался, как тогда полагалось, по фасаду здания, а потом фильм из жизни «высшего света» в Мехико — жгучие страсти и супружеская измена с «кадиллаками» и брауншвигами на фоне мрамора и вечерних туалетов. Мы умирали со смеху, а пять или шесть индейцев в своих огромных соломенных шляпах сидели неподвижно на корточках перед морщинистым куском полотна, заменяющим экран; были ли они довольны зрелищем или нет — кто знает, этого понять никогда нельзя: они непроницаемы, как азиаты. Наш новый друг, музыкант из Бостона, как я уже говорил, американец французского происхождения, был в восторге от Юкатана и никак не мог понять, почему мы не интересуемся развалинами; он спросил нас, что мы здесь делаем.

Мы пожали плечами.

Мы с Гербертом поглядели друг на друга, и каждый из нас выжидательно молчал, охотно уступая другому право сказать, что мы ждем «джип».

Не знаю уж, за кого нас принял наш новый знакомый.

Ром обладает тем преимуществом перед пивом, что после него не обливаешься потом, но зато наутро трещит голова,— как раз в те минуты, когда раздается этот непонятный звук, нечто среднее между тихой игрой на пианино и дальней стрельбой из пулемета, аккомпанирующий невнятному пению, всегда между 6.00 и 7.00; и я всякий раз решаю выяснить наконец, в чем дело, но забываю об этом в течение дня.

Здесь все забываешь.

Однажды мы решили искупаться, но Герберт никак не мог вновь обнаружить тот сказочный ручей, и мы случайно вышли к развалинам — мы застали нашего музыканта за работой. В каменном завале, который должен был являть собой остатки древнего храма, была адова жара. Он был озабочен только одним: как бы капля пота с лица не упала на его бумаги! Он едва поздоровался с нами, мы ему явно мешали. Работа его заключалась в следующем: он расстилал кальку на каменных рельефах и часами водил по ней углем, чтобы получить копии орнамента,— дурацкое занятие. Но он уверял, что эти иероглифы и рожицы богов почему-то нельзя фотографировать — ничего не выйдет. Мы не стали ему мешать.

Я мало что смыслю в истории искусств...

Потом от нечего делать мы полезли на пирамиду (ступени ее оказались невероятно крутыми, обратное соотношение высоты и ширины, так что почти сразу начинаешь задыхаться); когда я спустился, у меня кружилась голова; я прилег в тени

одного из так называемых храмов, раскинув руки и ноги, учащенно дыша.

Влажный воздух...

Солнце в мареве...

Что до меня, то я твердо решил возвращаться, если до завтрашнего утра не будет «джипа»... Парило больше, чем когда-либо, земля была мшистой и волглой, со свистом проносились стаи птиц с длинными синими хвостами; кто-то превратил развалины храма в уборную, поэтому мухи не давали покоя. Я все же попытался заснуть. Вокруг жужжало и звенело, как в зоопарке, когда не знаешь, кто, собственно, трещит, свистит и верещит; звуки эти напоминали современную музыку, возможно, это голосили обезьяны, возможно, птицы, возможно, какие-то представители семейства кошачьих, кто знает; орали они от страсти или в смертельном страхе, кто знает...

Я снова почувствовал, что у меня есть желудок (я слишком много курил!).

Давным-давно, не то в одиннадцатом, не то в тринадцатом веке, здесь как будто был большой город, сказал Герберт, город народа майя.

Возможно, но мне от этого ни тепло ни холодно.

На мой вопрос, верит ли Герберт по-прежнему в будущее немецкой сигары, он не ответил: он уже храпел, хотя только что говорил о религии майя, об искусстве и тому подобном.

Я оставил его в покое — пусть храпит.

Я снял ботинки — черт с ними, со змеями! — мне нечем было дышать, от жары у меня началось сердцебиение; я не переставал изумляться музыканту с калькой — как это он мог работать под таким палящим солнцем, и к тому же тратить свой отпуск и все сбережения на то, чтобы привезти домой копии иероглифов, которые никто не в силах расшифровать...

Чудно устроены люди!

Вот взять хотя бы такой народ, как эти майя,— колеса они не знали, но воздвигали пирамиды и храмы в тропической чащобе, где все поросло мхом и лишайником от сырости. Зачем?

Я сам себя не понимал.

Неделю назад я должен был попасть в Каракас, а сегодня (самое позднее) снова вернуться в Нью-Йорк, а вместо этого торчу здесь только ради того, чтобы повидаться с другом юности, который к тому же женился на девушке, которую я любил.

Зачем?

Мы ждали «лэндровер», который каждое утро привозил сюда любителя руин, а вечером увозил его вместе с кальками назад,

в гостиницу. Я решил разбудить Герберта и сказать ему, что уезжаю с первым же поездом, уходящим из Паленке.

Неумолчный птичий щебет!

И ни одного самолета!

Когда поворачиваешь голову, чтобы не видеть этого белесого неба, похожего на купол из матового стекла, то кажется, что находишься где-то на море, пирамида — остров или корабль, а вокруг плоские серо-зеленые заросли, безбрежные, как океан, одни только заросли.

А над всем этим среди бела дня висит лиловый диск луны.

Герберт по-прежнему храпел.

Просто удивительно, как они смогли приволочь сюда эти гигантские каменные плиты — раз они не знали колеса, значит, не знали и подъемных блоков. И сводов тоже! Если не считать орнаментов, которые мне все равно не нравятся, потому что я сторонник предметного искусства, я нахожу эти храмы весьма примитивными строениями в отличие от нашего друга, любителя развалин, который без ума от искусства майя именно потому, что они не располагали никакими техническими средствами, зато поклонялись множеству богов; особенно привлекало его то обстоятельство, что каждые пятьдесят два года у них начиналось новое летосчисление: они разбивали всю имеющуюся утварь, гасили все очаги, выносили священный огонь из храма и принимались лепить новые горшки; странный народ, который вдруг ни с того ни с сего снимается с насиженных мест и покидает свои города (не разрушая их) исключительно из религиозных побуждений и через пятьдесят или сто миль в тех же самых джунглях воздвигает новый город-храм! Бостонец видел в подобном образе жизни великий смысл, считал его хоть и бесхозяйственным, но чуть ли не гениальным, во всяком случае исполненным глубокого значения — profond,— и все это совершенно серьезно.

Мысли мои все снова и снова возвращались к Ганне.

Когда я разбудил Герберта, он тут же вскочил на ноги:

— Что случилось?

Убедившись, что ничего не случилось, он снова захрапел, чтобы убить время.

Как я ни вслушивался, гул мотора ниоткуда не доносился!

Я попытался себе представить, что было бы, если бы вдруг не стало никаких моторов, как во времена майя. Надо же было о чем-то думать. Что касается доставки плит, то изумление по

этому поводу мне кажется детским: они просто-напросто сооружали своего рода мостки и волокли по ним каменные глыбы с тем идиотским пренебрежением к человеческим силам, которое как раз и свидетельствует о примитивности их культуры. С другой стороны, их астрономия! По их календарю солнечный год насчитывает, как сообщил нам любитель развалин, 365,2420 дня вместо 365,2422 по современному исчислению; и все же, несмотря на свои успехи в математике, которые нельзя не признать, они не создали никакой техники и тем самым были обречены на гибель.

Наконец прикатил «лэндровер».

Чудо произошло, когда наш любитель руин услышал, что нам нужно перебраться через границу, в Гватемалу. Он пришел от этого в неописуемый восторг. Он тут же вытащил свою записную книжку, чтобы подсчитать, сколько дней отпуска у него еще осталось. В Гватемале, сказал он, полным-полно городов майя, многие из них еще почти не раскопаны, и, если мы согласны взять его с собой, он постарается, используя свою дружбу с нашим хозяином Лакруа, получить «лэндровер», хотя нам его дать отказались. И ему это действительно удалось. (За сто песо в день.)

Мы стали собираться в дорогу. Это было как раз воскресенье, знойная ночь с расплывшейся луной; и тут выяснилось, что странный шум, будивший меня каждое утро, был музыкой — бренчанием на старинной маримбе,— странной музыкой, похожей на стук молотка, начисто лишенный мелодичности, ужасающей музыкой, способной довести до эпилептического припадка. Они справляли какой-то праздник, связанный с полнолунием. Оказывается, каждое утро, перед тем как отправиться на полевые работы, они репетировали, чтобы этой ночью аккомпанировать танцам; и вот теперь пять индейцев остервенело били молоточками по инструменту — это был своего рода ксилофон, длинный, как стол. Я проверял мотор, чтобы избежать аварии в джунглях, и мне было некогда глядеть на эти танцы: я лежал под «лэндровером». Индианки сидели рядами на площади, почти все с младенцами, сосавшими их шоколадные груди, а танцоры исходили потом и пили кокосовое молоко. В течение ночи народу сходилось все больше, сюда стекались целые племена; девушки не были в национальных костюмах, как обычно, а нарядились для празднования полнолуния в американское готовое платье, и это обстоятельство привело в негодование Марселя, нашего музыканта-бостонца: несколько часов он никак не мог успокоиться. У меня были другие заботы: как пускаться в путь

без оружия, без компаса, без самых необходимых вещей! К фольклору я был равнодушен. Я загружал наш «лэндровер» — кто-то же должен был этим заняться, а я это делал с охотой, чтобы поскорей двинуться дальше.

Ганне пришлось покинуть Германию, и она стала изучать историю искусств у профессора Вельфлина. Предмет этот был мне чужд, но в остальном мы сразу же нашли общий язык. О браке мы тогда и не помышляли. Ганна тоже не думала о браке. Мы оба были для этого слишком молоды. И дело здесь было вовсе не в моих родителях, которые находили Ганну очень симпатичной, но опасались, что моей карьере помешает женитьба на полуеврейке,— страхи, которые меня не только злили, но прямо-таки приводили в бешенство. Я был готов жениться на Ганне, я чувствовал себя обязанным это сделать, именно исходя из настроений тех лет. Ее отца, профессора в Мюнхене, арестовали; это было время, когда самые чудовищные слухи подтверждались, и для меня и речи быть не могло о том, чтобы бросить Ганну на произвол судьбы. Я не был трусом, да к тому же мы действительно любили друг друга. Я прекрасно помню те дни, съезд нацистской партии в Нюрнберге, мы слушали радио, когда объявляли закон о чистоте расы. Собственно говоря, это Ганна не захотела тогда выйти за меня замуж, я был готов. Когда она сказала мне, что ей предписано в течение двух недель покинуть Швейцарию, я был в Туне на офицерских сборах. Я тотчас же поехал в Цюрих, чтобы пойти с ней в полицию, и хотя моя форма мало чему, конечно, могла помочь, но все же к начальнику нам пробиться удалось. Помню, как сейчас, он уперся взглядом в бумагу, которую ему предъявила Ганна, и сразу приказал принести ее досье. Ганна сидела, я стоял. Затем последовал доброжелательный вопрос: является ли фрейлейн моей невестой? И наше замешательство. Мы должны понять, что Швейцария — маленькая страна и не может принять бесчисленных беженцев. Право убежища? Да, конечно, но фрейлейн вполне успеет уладить все свои дела и подготовиться к отъезду. Наконец принесли досье, и тут выяснилось, что извещение было послано вовсе не Ганне, а какой-то другой эмигрантке, ее однофамилице, которая уже успела отбыть за океан. Все почувствовали облегчение. В приемной, когда я брал со стола свои перчатки и офицерскую фуражку, Ганну снова подозвали к окошечку — Ганна побледнела как полотно. Но оказалось, ей надо всего лишь уплатить десять раппов — почтовые

расходы на повестку, которую по ошибке послали на ее адрес. Ее возмущение не знало предела! Мне это показалось просто анекдотом. К сожалению, я в тот же вечер должен был вернуться в Тун, к моим новобранцам; в ту поездку я принял решение жениться на Ганне, если власти вздумают лишить ее права на жительство в Швейцарии. Вскоре после этого случая (насколько я помню) умер в тюрьме ее престарелый отец. Я готов был жениться, как я уже сказал, но почему-то это не получилось. Я сам, собственно, не знаю почему. Ганна всегда была очень впечатлительна, неуравновешенна и темпераментна, ее реакции трудно было предугадать; как говорил Иоахим, маниакально-депрессивный склад психики. А ведь Иоахим видел ее всего раз или два — она не хотела встречаться с немцами. Я ей поклялся, что мой друг Иоахим не нацист, но все было напрасно. Я понимал ее недоверие, однако мне от этого было не легче, не говоря уже о том, что наши интересы не всегда совпадали. Я звал ее фантазеркой, музой. А она меня в отместку — homo Фабер. Нам случалось всерьез ссориться — например, когда мы шли из театра, куда она меня всякий раз тащила силком. С одной стороны, у Ганны была склонность к коммунизму, а я этого не выносил, с другой — к мистике, чтобы не сказать к истерии. А я человек трезвый, я стою обеими ногами на земле. Тем не менее мы с Ганной были очень счастливы, так мне, во всяком случае, кажется, и я действительно не знаю, почему мы тогда не поженились. Просто как-то до этого дело не дошло, вот и все. В отличие от моего отца я никогда не был антисемитом — так я считаю; но я был еще слишком молод, как большинство мужчин до тридцати лет, слишком незрел, чтобы самому стать отцом. Я работал над своей диссертацией, как я уже говорил, и жил у своих родителей, чего Ганна решительно не понимала. Встречались мы всегда у нее. Как раз в то время пришло предложение от фирмы «Эшер — Висс», для молодого инженера это была неслыханная удача, и единственным «но» я считал вовсе не багдадский климат, а тревогу за Ганну, остающуюся в Цюрихе. Она ждала ребенка. Она сообщила мне это как раз в тот день, когда я вернулся после первого разговора с представителем «Эшер — Висс» и решил со своей стороны принять предложение и как можно скорее отправиться в Багдад. И сегодня я еще готов оспаривать ее утверждение, будто я до смерти испугался того, что она мне сказала; я только спросил: «Ты уверена?» Что там ни говори, вполне деловой и разумный вопрос. Я растерялся лишь от той безапелляционности, с какой она мне сообщила эту новость; я спросил: «Ты была у

врача?» Тоже вполне деловой и дозволенный вопрос. У врача она не была. Она и так знала! Я сказал: «Подождем еще две недели». Она рассмеялась, потому что была абсолютно уверена; и мне стало ясно, что Ганна уже давно это знала и все же молчала; только потому я и был так растерян. Я взял ее руку в свою, но не нашелся что сказать, это правда; я пил кофе и курил. До чего же она была разочарована! Я не плясал от радости, что стану отцом, это правда, для этого международное положение было чересчур серьезным. Я спросил: «У тебя есть врач, к которому ты можешь обратиться?» Конечно, я имел в виду только осмотр. Она кивнула. «Это вещь немудреная,— сказала она,— это устроить нетрудно». Я спросил: «Что ты имеешь в виду?» Потом Ганна утверждала, будто я почувствовал облегчение, как только узнал, что она не хочет ребенка, и даже пришел от этого в восторг — поэтому я и обнял ее за плечи, когда она заплакала. Но она сама, да, именно она не захотела больше об этом говорить; и тогда я ей рассказал о фирме «Эшер — Висс», о месте в Багдаде, вообще о перспективах инженера. Все это ни в какой мере не было направлено против ребенка. Я даже сказал, сколько буду зарабатывать в Багдаде. И добавил дословно следующее: «Если ты все же хочешь родить этого твоего ребенка, то нам, конечно, надо будет пожениться». Потом она упрекала меня в том, что я сказал «надо будет». Я спросил ее без обиняков: «Ты хочешь, чтобы мы поженились? Отвечай прямо: да или нет?» Она только покачала головой, и я так и не понял, чего она хочет. Я подробно обсудил это с Иоахимом, когда мы играли с ним в шахматы; он объяснил мне, что дело это несложное ни с медицинской точки зрения, ни с юридической, если только запастись необходимыми бумагами; затем он набил трубку и задумался над положением фигур — советов он принципиально не давал. Он обещал оказать нам помощь (Иоахим учился на последнем курсе медицинского факультета, сдавал государственные экзамены), если в ней будет нужда. Я был ему очень благодарен, хотя и несколько смущен, был рад, что он отнесся ко всему так просто. Он заметил: «Твой ход!» Я передал Ганне, что все это, оказывается, вовсе не проблема. Не я, а она решила вдруг со всем покончить. Она уложила чемоданы, ей взбрела в голову безумная идея — вернуться в Мюнхен. Я подошел к ней, чтобы ее образумить; она ответила мне одним только словом: «Кончено!» Я сказал «твоего ребенка», вместо того чтобы сказать «нашего ребенка». Вот чего мне Ганна никогда не могла простить...

Расстояние между Паленке и плантацией по прямой не составило бы и семидесяти миль; по дороге, если бы она была, скажем, миль сто — сущий пустяк, но дороги, конечно, не было, единственная дорога в нужном нам направлении кончалась у развалин, она попросту терялась во мху и папоротниках.

И все же мы двигались вперед.

В первый день мы проехали тридцать семь миль.

Мы поочередно вели машину.

За второй день мы сделали девятнадцать миль.

Мы ориентировались по солнцу, ехали, конечно, зигзагами, чтобы пробраться сквозь чащу; впрочем, заросли оказались не такими густыми, как выглядели издали, почти везде были прогалины, кое-где нам попадались даже стада — правда, без пастухов; к счастью, большие болота не преграждали нам путь.

Зарницы...

Но до дождя дело ни разу не дошло.

Меня раздражало, пожалуй, только громыхание канистр; я то и дело останавливал машину, укреплял канистры, но после получасовой тряски по корням да поваленным гниющим стволам они снова начинали громыхать.

Марсель насвистывал.

И хотя он сидел сзади, где его нещадно подбрасывало, он свистел, как мальчишка, радовался, как школьник на экскурсии, и часами распевал французские детские песенки:

Il était un petit navire [1].

Герберт смолк намного раньше.

Об Иоахиме мы почти не говорили...

Герберт совершенно не выносил грифов; мы знали, что они нас не тронут, пока мы не околеем, но они так чудовищно смердят, и тут нечему удивляться — ведь это стервятники; они отвратительны и всегда держатся стаями, их не спугнешь, когда они жрут мертвечину, сколько ни сигналь, они только взмахивают крыльями да скачут вокруг падали... Однажды (Герберт как раз сидел за рулем) он вдруг прямо зашелся от бешенства, дал полный газ и с ходу врезался в самую гущу стаи — тучей взметнулись черные перья!

Вся эта мерзость прилипла к колесам.

Невыносимая сладковатая вонь сопровождала нас много часов, пока наконец мы, преодолев отвращение, не принялись пальцами выковыривать из бороздок шин гнусное кровавое ме-

[1] Жил-был на свете маленький кораблик *(франц.)*.

сиво... Мы выскребывали бороздку за бороздкой... К счастью, у нас был ром!.. Без рома, я думаю, мы бы давно повернули назад, на третий день уж во всяком случае, а то, может, и раньше... не из страха, а из благоразумия.

Мы не имели ни малейшего представления о том, где находимся. Где-то на 18-м градусе широты...

Марсель все пел «Il était un petit navire», либо болтал чуть ли не до рассвета о Кортесе и Монтесуме (это еще куда ни шло — все-таки исторические факты) и о закате белой расы (было чересчур жарко и влажно, чтобы ему возражать), о роковой и мнимой победе западноевропейской техники (Кортеса он считал представителем мира техники только потому, что тот знал порох!) над индейской душой и еще невесть что, целые доклады о неизбежности возврата к старым богам (после того, как сбросят водородную бомбу), об умерщвлении смерти (он выразился буквально так!) благодаря пенициллину, об изгнании души во многих цивилизованных странах, о душе «маки» и тому подобное. Герберт проснулся на слове «маки», которое он понял, и спросил: «О чем это он говорит?» Я ответил: «Чепуха, бред художника». И мы не стали оспаривать его теорию насчет Америки, у которой нет будущего, «The American Way of Life» [1] — это попытка косметическими методами приукрасить жизнь, но жизнь не терпит косметики.

Я старался уснуть.

Терпение у меня лопнуло только тогда, когда Марсель принялся высказываться по поводу моей деятельности — вернее, по поводу ЮНЕСКО: инженер как белый миссионер новой формации; индустриализация как новейшее издание евангелия вымирающей расы, стандарт жизни как эрзац смысла жизни...

Я спросил, уж не коммунист ли он?

Марсель стал уверять меня, что нет.

На третий день пути, когда мы снова продирались сквозь кустарник без какого-либо ориентира, просто стараясь держать направление на Гватемалу, я понял, что с меня довольно.

Я был за то, чтобы повернуть назад.

— Ехать так, наобум, пока не израсходуем горючее, просто идиотизм,— сказал я.

Герберт вытащил карту.

Больше всего меня почему-то раздражали саламандры — в каждом бочажке, да что там в бочажке, в каждой крохотной лужице ими кишмя кишело; и повсюду какая-то вакханалия со-

[1] Американский образ жизни *(англ.)*.

вокуплений, вонь стояла несусветная — запах размноженья или там разложенья, черт его разберет!

Бушующее плодородие: плюнь на землю — и тотчас пробьется росток.

Карту эту я уже видел: масштаб 1 : 500 000, даже с лупой ничего не разглядеть — белая бумага, на ней голубоватая линия реки, линия границы, ровная, как по линейке, и параллель — вот и все...

Я был за то, чтобы повернуть назад. Я не боялся (чего бояться!), но эта затея явно не имела смысла. Только ради Герберта мы все же двинулись дальше, и зря, потому что вскоре мы действительно выехали к реке, которая не могла быть ничем, кроме Рио-Усумансинта — границей Мексики и Гватемалы — точнее, к ее руслу, кое-где пересохшему, а кое-где заполненному стоячей водой,— во всяком случае, течения видно не было. Переправиться на тот берег было делом нелегким, даже если найти брод, но все же, как нам казалось, возможным, и Герберт гнал нас вперед, не давая ни минуты роздыха, хотя мне очень хотелось выкупаться; он повел машину по берегу, пока мы не нашли место, где можно было переправиться и где, как потом выяснилось, переправлялся и Иоахим.

Я полез в воду.

Марсель тоже стал купаться. Отплыв от берега, мы перевернулись на спину и лежали, плотно сжав губы, чтобы не хлебнуть зацветшей воды — она была мутная, теплая, вонючая, и от каждого движения на поверхность вздымались пузырьки, но все же это была вода, и наслаждаться купаньем мешали только мириады стрекоз, Герберт, который безудержно рвался вперед, да мысль, что здесь могут быть змеи.

Герберт остался на берегу.

Наша машина по оси увязла в рухляке (или в чем-то еще — в общем в какой-то жирной глине); Герберт заливал в бачок горючее.

Тучи бабочек дрожали в воздухе.

Вдруг я увидел в воде ржавую канистру, из чего можно было заключить, что Иоахим (а кто же другой?) тоже заправлялся когда-то здесь горючим, но я промолчал и продолжал купаться, а Герберт тем временем пытался вывести машину из липкого рухляка.

Я был за то, чтобы повернуть назад.

Из реки я не вылезал, но внезапно меня охватило отвращение — сонмы гнусных насекомых, пузырьки и тусклые блики солнца на гнилой воде; а когда лежишь на спине, небо кажется

миской, полной диковинных овощей: узорчатые опахала метровых листьев, филигрань акации, какие-то лишайники да переплетения лиан — все это застыло в неподвижности, и лишь изредка пролетает красноперая птица; мертвая тишина (конечно, в те минуты, когда Герберт не выжимает полный газ), блекло-голубое небо, солнце в радужном кольце, словно пробивается сквозь вату, жжет, липнет к телу, хотя и окутано маревом.

Я был за то, чтобы повернуть назад.

— Чушь, бессмыслица,— сказал я,— мы все равно никогда не найдем этой проклятой плантации...

Я предложил голосовать.

Марсель тоже был за то, чтобы повернуть назад, потому что отпуск его кончался; и, когда Герберту все же удалось наконец вырваться из топкой глины и переправить машину на тот берег, оставалось только убедить его, что нелепо ехать дальше вот так, на авось. Сперва он меня обругал, потому что не мог опровергнуть мои доводы, затем умолк и стал слушать, не перебивая; и я бы его, конечно, убедил, если бы не Марсель.

— Voilà,— воскликнул он,— les traces d'une Nash! [1]

Мы сочли это за шутку.

— Mais regardez,— воскликнул он,— sans blague! [2]

Заскорузлые колеи были заполнены водой, и можно было предположить, что их оставили колеса какой-нибудь телеги, но кое-где почва хранила рубчатые оттиски автомобильных шин.

Таким образом, мы могли теперь уверенно двигаться по следу.

Не случись этого, я бы, как уже говорил, ни за что не поехал дальше, и все, наверно,— я не могу отделаться от этой мысли — сложилось бы по-другому...

Теперь уже поздно было поворачивать назад.

(К сожалению!)

На четвертый день пути, утром, мы увидели на лугу двух индейцев с какими-то кривыми саблями в руках, точно таких же индейцев Герберт встретил в Паленке и принял их за разбойников; впрочем, кривые сабли при ближайшем рассмотрении оказались мачете.

Вскоре появились первые табачные плантации.

Надежда доехать до места прежде, чем стемнеет, гнала нас вперед, и мы нервничали больше, чем когда-либо. Стояла невероятная жара, справа и слева от нас раскинулись табачные плантации с прокопанными между рядами ровными, как по ни-

[1] Вот следы от автомобиля! *(франц.)*

[2] Да глядите, я серьезно! *(франц.)*

точке, каналами — дело рук человеческих, но ни одного человека вокруг.

Вдруг след куда-то пропал...

Снова начались поиски отпечатков шин!

Солнце уже катилось к горизонту. Мы забрались на крышу нашей машины и, засунув пальцы в рот, принялись свистеть что было мочи. Мы наверняка находились совсем близко от жилья. Мы свистели и кричали, а солнце, подернутое пеленой и какое-то вспухшее, стремительно погружалось в зеленый табак и торчало из него, похожее не то на кровавый волдырь, не то на только что вырезанную почку — одним словом, оно было омерзительное.

Взошла луна, ничуть не лучше солнца.

Не хватало только одного — потерять друг друга в темноте, ведь мы разбрелись в разные стороны в поисках автомобильных следов. Каждому из нас полагалось осмотреть определенный участок, и тот, кто обнаружит на земле нечто похожее на отпечаток шины, должен был свистнуть.

Свистели только птицы...

Так мы блуждали при свете луны, пока Герберт не набрел на стаю грифов, потрошивших дохлого осла; он заорал благим матом и, страшно ругаясь, в пароксизме бешенства принялся швырять камни в черных птиц. Зрелище и впрямь было ужасное. Глаза они уже успели выклевать, на их месте зияли две кровавые дыры, язык тоже вырвали; и, пока Герберт метал в них камни, они пытались вытащить кишки через задний проход.

Так началась наша четвертая ночь...

Питья больше не было.

Я смертельно устал; земля за день накалилась как печка, все вокруг было залито голубоватым лунным светом; я присел на корточки, уткнув голову в руки; я исходил потом. Воздух искрился от светляков.

Герберт ходил взад-вперед.

Только Марсель спал.

В какой-то момент я вдруг перестал слышать шаги и поднял голову — Герберт стоял поодаль, перед дохлым ослом; он уже не кидал камни в птиц, рвущих падаль, он просто стоял и глядел.

Они жрали падаль всю ночь...

Когда луна наконец скрылась в побегах табака и поля, подернутые влажной дымкой, уже не казались залитыми молоком, я все же заснул, но ненадолго.

Снова солнце!

Осел валялся с разорванным брюхом, а птицы, нажравшись до отвала, неподвижно, словно чучела, сидели на деревьях вокруг; мы двинулись дальше, так и не обнаружив следов машины. Герберт, как представитель фирмы «Хенке — Бош», которой принадлежали эти плантации, и племянник ее владельца, взял на себя всю ответственность и сел за руль; по-прежнему не проронив ни слова, он повел машину прямо по посадкам, что было полным идиотизмом — позади нас полосами стлались раздавленные стебли, но другого выхода все равно не было, потому что, сколько мы ни сигналили и ни свистели,— никакого ответа.

Солнце поднялось уже высоко.

Наконец мы увидели группу индейцев — рабочих с плантаций фирмы «Хенке — Бош», Дюссельдорф, и они сказали нам, что их сеньор умер. Мне пришлось это перевести — ведь Герберт не понимал по-испански. То есть как это умер? Они пожали плечами. Их сеньор умер, повторили они, а один вызвался указать нам дорогу и побежал рысцой рядом с машиной.

Остальные продолжали работать.

Бунтом, значит, здесь и не пахло!

Строение, которое мы увидели вдалеке, оказалось американским бараком, крытым гофрированной жестью. Единственная дверь была изнутри заперта на задвижку. Там играло радио. Мы принялись кричать и стучать, требуя, чтобы Иоахим открыл.

— Nuestro Señor ha muerto [1].

Я принес из машины гаечный ключ, и Герберт взломал дверь. Иоахима я не узнал. К счастью, он проделал это, предварительно закрыв окна,— грифы сидели на деревьях вокруг, на крыше барака, но окна были плотно закрыты, и черные птицы не могли проникнуть внутрь. Мертвец был хорошо виден в окно, и все же индейцы каждое утро отправлялись на работу, и им даже в голову не приходило выломать дверь и вынуть из петли удавленника — он повесился на проволоке. Меня удивило, откуда его радиоприемник, который мы тут же выключили, получал питание, но это было сейчас не самое важное...

Мы сфотографировали труп и похоронили его.

Индейцы (как я, к слову сказать, отметил в докладе административному совету фирмы) беспрекословно выполняли все указания Герберта, хотя тогда он еще не говорил по-испански, и

[1] Наш сеньор умер *(исп.)*.

сразу же признали в нем хозяина... Я пожертвовал еще полутора днями, стараясь убедить Герберта, что о бунте здесь не могло быть и речи, что его брат просто не выдержал этого климата и лично меня это не удивляет; не знаю, что Герберт вбил себе в голову, но отговорить его не было никакой возможности, он твердо решил «выдержать» этот климат. Мы с Марселем торопились уехать. Конечно, нам было жаль Герберта, но оставаться дольше мы действительно не могли, да к тому же это и не имело никакого смысла; Марселю пора было возвращаться в Бостон — отпуск его кончался, да и мне нужно было как можно скорей добраться до Паленке, а оттуда через Кампече в Мехико, чтобы лететь дальше, не говоря уже о том, что мы обязались не позднее чем через неделю вернуть автомобиль любезному хозяину гостиницы. Меня ждали мои турбины. Не понимаю, на что Герберт рассчитывал, ведь он, как я уже говорил, совсем не знал испанского. Я находил, что оставлять его одного среди индейцев не по-товарищески и даже как-то безответственно.

Мы заклинали его уехать с нами. Тщетно! Правда, теперь в распоряжении Герберта был «нэш-55», который я осмотрел; машина стояла в индейской хижине, защищенная от дождя только крышей из пальмовых листьев; ею, видимо, давно не пользовались, она была запущена, вся в грязи, но на ходу. Я лично проверил мотор, тогда он был еще в полном порядке, хоть и забит илом, я завел его — он работал, имелся и запас газолина. Не будь этой машины, мы, само собой разумеется, никогда не оставили бы Герберта одного. Мы просто больше не располагали временем: ни Марсель, ни я; Марсель должен был вернуться в свой симфонический оркестр; что бы там Герберт ни думал, у каждого из нас были, в конце концов, свои обязательства; он пожимал плечами, ни слова не возражая, и едва кивнул нам, когда мы, уже сидя в машине, все еще ждали его; он только покачал головой. К тому же небо обложило со всех сторон — казалось, вот-вот хлынет ливень, надо было ехать, пока потоки воды не смыли наших следов.

И сегодня для меня все еще загадка, как вышло, что Ганна и Иоахим поженились, и почему они не сообщили мне, отцу ребенка, что этот ребенок появился на свет.

Я могу рассказать только то, что знаю.

Настало время, когда паспорта евреев оказались недействительны. Я поклялся, что ни за что не брошу Ганну на произвол

судьбы, и не нарушил этой клятвы. Иоахим согласился быть нашим свидетелем при регистрации брака. Мои родители, добропорядочные бюргеры, одержимые всевозможными страхами, были довольны, что мы не намерены справлять шумную свадьбу с каретами и торжественным обедом; только Ганна все еще сомневалась, хорошо ли, что мы женимся,— хорошо ли это для меня. Я отнес наши бумаги туда, где регистрируют браки, и поместил извещение в газете. Даже если мы потом и разведемся, говорил я себе, Ганна останется швейцарской подданной и у нее будет паспорт. Дело не терпело отлагательства, потому что я должен был выехать в Багдад на работу. Я помню это субботнее утро, когда мы после идиотского завтрака у моих родителей, которым все же сильно не хватало церковного звона, отправились наконец в ратушу, чтобы зарегистрировать наш брак. Там толпилось множество женихов и невест, как всегда в субботу, поэтому пришлось долго ждать. Одетые по-будничному, мы сидели в приемной, среди белых невест и женихов, похожих на официантов. Когда Ганна вышла из приемной, я ничуть не встревожился, мы с Иоахимом продолжали болтать и курить. Когда же наконец чиновник отдела записи актов гражданского состояния выкликнул наши имена, Ганны не оказалось на месте. Мы побежали ее искать, она стояла на набережной, и нам не удалось заставить ее вернуться в ратушу, она решительно отказалась идти регистрироваться. Она не может! Я тщетно уговаривал ее под бой курантов — все башенные часы в городе били одиннадцать,— я просил Ганну отнестись к этому по-деловому, но тщетно, она только мотала головой и плакала. Я ведь женюсь лишь для того, чтобы доказать, что я не антисемит, твердила она, и тут уж ничего нельзя было поделать. Вся следующая неделя, последняя, которую я провел в Цюрихе, была ужасной. Ганна, именно Ганна, не хотела выходить за меня замуж, а у меня выбора не было — я не мог не ехать в Багдад, я был связан договором. Ганна провожала меня, мы попрощались на вокзале. Она обещала мне сразу же после моего отъезда пойти к Иоахиму, который предложил ей медицинскую помощь. На этом мы и расстались; было решено, что наш ребенок не появится на свет.

Больше я никогда ничего не слышал о Ганне.

Это было в 1936 году.

Я спросил тогда Ганну, какое впечатление на нее произвел в тот день Иоахим, и она сказала, что он ей кажется вполне симпатичным. Но никогда бы мне не пришла в голову мысль, что Ганна и Иоахим могут пожениться.

Мое пребывание в Венесуэле (с тех пор прошло уже два месяца) длилось только два дня, потому что турбины не перевезли с пристани, все оборудование было еще запаковано в ящиках и ни о каком монтаже не могло быть и речи.

20/IV — вылет из Каракаса.

21/IV — прибытие в Нью-Йорк. Айдлуайлд.

Айви встречала меня на аэродроме. Оказывается, она выяснила, когда я прилетаю, и отделаться от нее было невозможно. Разве она не получила моего письма? Вместо ответа она меня поцеловала; она уже знала, что через неделю мне предстоит лететь по делам службы в Париж; от нее пахло виски.

Я не проронил ни слова.

Айви села за руль, и наш «студебеккер» помчался по направлению к моему дому. О моем письме из пустыни — ни звука. Айви встречала меня цветами, хоть я и равнодушен к цветам, омаром и сотерном, чтобы отпраздновать мое счастливое возвращение. И снова поцелуи, пока я просматривал свою корреспонденцию.

Я ненавижу объяснения.

Я не рассчитывал когда-либо снова увидеть Айви, и уж во всяком случае не в этой квартире, которую она называла «нашей».

Возможно, я и в самом деле слишком долго принимал душ.

Ссора началась с того, что Айви ворвалась в ванную с махровой простыней, а я ее выставил за дверь, применив, увы, силу, а она любит, когда к ней применяют силу, потому что это дает ей право меня укусить...

К счастью, затрещал телефон!

Звонил Дик. Он поздравил меня с вынужденной посадкой в пустыне, я тут же напросился к нему сыграть партию в шахматы; и тогда Айви обозвала меня нахалом, эгоистом, чудовищем и бесчувственным чурбаном.

В ответ я, естественно, рассмеялся.

Она принялась колошматить меня кулаками, громко всхлипывая, но на сей раз я поостерегся применять силу, ведь только этого она и ждала.

Возможно, Айви меня любит.

(В женщинах я никогда не мог до конца разобраться.)

Четверть часа спустя, когда я позвонил Дику и предупредил его, что, к сожалению, не могу еще выехать, Дик сказал, что он уже расставил фигуры на доске. Я извинился — это было очень неприятно,— ведь я не мог ему толком объяснить, в чем дело,

и лишь невнятно пробормотал, что я гораздо охотнее играл бы сейчас с ним в шахматы...

Айви принялась снова всхлипывать.

Было 18.00, и я точно знал, каким мучительным будет этот долгий вечер, если мы куда-нибудь не пойдем; я предложил сперва французский ресторан, потом китайский, потом шведский. Все напрасно! Айви уверяла, что она нисколько не голодна. «Зато я голоден!» — возражал я. Тогда Айви пустила в ход как довод омара в холодильнике, а потом — свое спортивное платье, в котором неловко пойти в приличный ресторан. Кстати, нравится ли мне это платье? Я уже держал омара в руках, чтобы вышвырнуть его в мусоропровод: я не мог допустить, чтобы какой-то омар к чему-либо меня принуждал...

Тогда Айви поклялась, что будет благоразумна.

Я водворил омара назад в холодильник, Айви согласилась ехать в китайский ресторан. Но у нее было заревànное лицо — что правда, то правда,— и, не прибегая к помощи косметики, она выйти не могла.

Пришлось ждать.

Моя квартира в районе Сентрал-парка уже давно казалась мне не по карману — две комнаты с садом на крыше, да еще в таком изумительном месте, что и говорить, но явно не по карману — ведь деньги не считаешь, только пока влюблен.

Айви спросила, когда я лечу в Париж.

Я не ответил.

Я стоял на крыше и приводил в порядок кассеты с отснятыми пленками, чтобы дать их проявить,— надписывал картонные футлярчики, как обычно... Смерть Иоахима... рассказывать об этом мне не хотелось, ведь Айви его не знала, а Иоахим был моим единственным настоящим другом.

— Чего это ты играешь в молчанку? — спросила Айви.

Вот Дик, например, очень мил, тоже шахматист, человек образованный — как мне кажется, во всяком случае, куда образованней меня,— очень остроумный, я им просто восхищаюсь (только в шахматах я чувствую себя с ним на равных) и даже завидую ему: он один из тех, кто, не задумываясь, спасет тебе жизнь, но и после этого отношения с ним не станут интимней.

Айви все еще причесывалась.

Я начал рассказывать о вынужденной посадке.

Айви красила ресницы.

Несмотря на наш разрыв, объявленный мною к тому же в письменном виде, мы с Айви снова вместе отправляемся в рес-

торан — одно это приводило меня в неистовство. Но Айви вела себя так, будто не знала, что между нами все кончено.

И вдруг у меня лопнуло терпение...

Айви покрывала лаком ногти и что-то напевала.

Я схватил телефонную трубку и как бы со стороны услышал, что справляюсь о билетах на трансатлантический рейс, любой теплоход, любой линии, лишь бы он уходил побыстрее.

— Почему вдруг теплоход? — спросила Айви.

Было мало надежды получить в это время года билет на теплоход, отправляющийся в Европу, и я сам не знаю, почему мне внезапно (быть может, только потому, что Айви напевала и делала вид, будто ничего не произошло) пришла мысль не лететь, а отправиться на теплоходе. Я сам был удивлен этим решением. Мне повезло — как раз только что освободилось одно место второго класса. Айви, услышав, что я заказываю билет, вскочила, чтобы прервать мой разговор, но я уже успел повесить трубку.

— It's okay! [1] — сказал я.

Айви лишилась дара речи — мне это доставило немалое наслаждение; я закурил. Айви слышала мой разговор и поэтому знала, когда я отплываю.

— Eleven o'clock tomorrow morning [2].

Я повторил час отплытия.

— You're ready? [3] — спросил я и подал Айви пальто, как всегда, когда мы куда-нибудь шли.

Айви уставилась на меня, потом вырвала пальто и швырнула его в другой конец комнаты, она топала ногами вне себя от бешенства... Айви настроилась провести в Манхэттене неделю, теперь она мне в этом призналась, и мое внезапное решение не лететь в Париж, как обычно, а отправиться теплоходом, чтобы провести эту свободную неделю в пути, разрушало все ее планы.

Я поднял с пола ее пальто.

Я ведь ей черным по белому написал, что все кончено. Она просто в это не поверила. Она рассчитывала, что я ее раб навеки, что стоит нам пожить неделю вместе, и все пойдет по-старому, да, она явно на это рассчитывала — и потому я не мог сдержать смеха.

Возможно, это было подло с моей стороны.

Но Айви вела себя не лучше...

---

[1] Все в порядке! *(англ.)*

[2] Завтра в одиннадцать часов утра *(англ.)*.

[3] Вы готовы? *(англ.)*

Ее предположение, будто я боюсь лететь, было просто тро-гательно, и, хотя я в жизни не испытывал страха перед самолетом, я разыграл этот страх. Я решил хоть в этом пойти ей навстречу, мне не хотелось быть подлецом в ее глазах. Я безбожно врал, чтобы объяснить понятными для нее доводами мое решение: я описал ей (уже во второй раз) нашу вынужденную посадку в Тамаулипасе и как близок я был к...

— Oh honey, stop it! [1] — воскликнула она.

Маленькая неисправность в моторе — конечно, такие вещи не должны случаться. Достаточно самой пустячной неполадки, сказал я, и — привет! И что толку, если из тысячи полетов девятьсот девяносто девять прошли благополучно. Какое мне дело до того, что в тот день, когда мой самолет рухнет в море, девятьсот девяносто девять других благополучно приземлятся на аэродромах!

Лицо Айви стало задумчивым.

Почему бы мне и в самом деле не отправиться один раз на теплоходе?

Я приводил всевозможные цифры до тех пор, пока Айви мне не поверила; она даже села и призналась, что никогда не производила подобных расчетов, и согласилась с моим решением не лететь.

Она попросила у меня прощения.

За свою жизнь я пролетел, думаю, не меньше ста тысяч миль без каких-либо происшествий. О страхе перед полетом и речи быть не могло. Я просто разыгрывал эту комедию до тех пор, пока Айви не попросила меня никогда больше не летать.

Мне пришлось поклясться ей в этом.

Никогда в жизни!

Какая смешная эта Айви! Ей вдруг захотелось посмотреть линии моей руки; она всерьез поверила, что я боюсь лететь, и начала опасаться за мою жизнь! Мне стало ее жаль — обнаружив, что линия жизни у меня очень короткая (а ведь мне уже пятьдесят!), она как будто всерьез разволновалась и даже заплакала; и, когда она снова склонилась над моей левой ладонью, я правой погладил ее по голове, что явно было ошибкой.

Под пальцами я ощутил теплую округлость ее затылка.

Айви было двадцать шесть лет.

Я обещал пойти наконец к врачу и почувствовал ее слезы на моей ладони — я казался себе бессовестным трепачом, но отступать было поздно; Айви была легко возбудима и тут же

---

[1] О дорогой, перестань! *(англ.)*

начинала верить во все, что сама говорила; и, хотя я, само собой разумеется, нисколько не верю во всякого рода предсказания, мне пришлось ее утешать, словно я уже потерпел катастрофу в воздухе, разбился в лепешку и обуглился до неузнаваемости; я, конечно, смеялся, но все же гладил ее, как гладят и утешают молодую вдову, и даже поцеловал...

Короче, произошло все то, чего я не хотел.

Час спустя мы сидели рядом — Айви в халатике, который я подарил ей на рождество,— ели омара и запивали его сотерном; я ее ненавидел.

Я ненавидел самого себя.

Айви что-то напевала, словно в насмешку.

Ведь я написал ей, что между нами все кончено, и это письмо лежало у нее в сумочке (мне это было ясно).

Теперь она мстила.

Я был голоден, но омар вызвал у меня отвращение, меня от него мутило, Айви находила его божественным; и нежность ее вызвала у меня отвращение,— ее рука на моем колене, ее ладонь на моей руке и то, что она обнимала меня, ее плечо, упершееся в мою грудь, ее поцелуй, когда я разливал сотерн,— все это было невыносимо; в конце концов я выпалил, что ненавижу ее.

Айви не поверила.

Я стоял у окна, исполненный ненависти ко всему, что было со мной здесь, в Манхэттене, и прежде всего к этой квартире. Я был готов ее поджечь! Когда я отошел от окна, Айви все еще не начала одеваться. Она разрезала два грейпфрута и спросила, не хочу ли я кофе.

Я попросил ее одеться.

Когда она прошла мимо меня, чтобы поставить на огонь воду для кофе, она игриво щелкнула меня в нос. Как дурачка какого-то. Не хочу ли я пойти в кино, спросила она меня из кухни, словно готова была выйти на улицу, как была, в одних чулках и в халатике.

Она играла в кошки-мышки.

Я совладал с собой, промолчал и, схватив в охапку ее туфли, белье, все барахло (видеть не могу все эти розовые тряпки!), швырнул в соседнюю комнату, чтобы Айви снова принялась за свой нескончаемый туалет.

Да, я хочу в кино!

После кофе я почувствовал себя лучше.

Теперь я окончательно решил отказаться от этой квартиры и сообщил об этом Айви.

Айви не стала возражать.

Мне захотелось побриться — не потому, что в этом была необходимость, а просто так, чтобы не ждать Айви. Но моя электрическая бритва не работала. Я переходил от одной розетки к другой — бритва не гудела.

Айви считала, что я и так выгляжу вполне прилично.

Но ведь дело было не в этом!

Айви уже стояла в пальто и шляпе.

Конечно, я выглядел вполне прилично, не говоря уже о том, что в ванной у меня была еще одна бритва, старая; однако, как я уже сказал, дело было совсем не в этом, и я сел, чтобы разобрать отказавшую бритву. Любой электроприбор может вдруг отказать, и меня раздражает, если я не знаю почему.

— Walter,— сказала она,— I'm waiting [1].

Словно я ее никогда не ждал!

— Technology! [2] — сказала она, не только проявляя полное непонимание (чего другого можно ждать от женщины, к этому я уже давно привык), но еще и издеваясь, что, впрочем, не помешало мне полностью разобрать бритву; я хотел знать, в чем дело.

И снова все то, что произошло потом, объясняется чистой случайностью — какой-то нейлоновой ниточкой, попавшей в бритву,— ведь только из-за нее мы еще не ушли, когда раздался телефонный звонок (до этого уже звонили час назад, видимо оттуда же, но я не смог снять трубку, а это был решающий звонок.) Касса сообщала, что мой билет в Европу будет зарегистрирован только в том случае, если я немедленно — одним словом, не позднее двадцати двух часов — явлюсь туда с паспортом. Я хочу вот что сказать: не разбери я бритву, звонок не застал бы меня дома, а это значит, я не попал бы на трансатлантический теплоход, во всяком случае, на тот, на котором оказалась Сабет, и мы бы никогда не встретились, моя дочь и я.

Час спустя я сидел в баре на берегу Гудзона с билетом в кармане; настроение у меня улучшилось, как только я увидел теплоход — гигантская баржа с освещенными окнами, мачтами, лебедками и красными трубами в ярком свете прожекторов.

---

[1] Вальтер, я жду *(англ.)*.

[2] Технология! *(англ.)*

Я радовался жизни, как мальчишка, как не радовался уже давным-давно. Мое первое путешествие на теплоходе! Я выпил кружку пива и съел бифштекс, я чувствовал себя словно в холостяцкой компании. Бифштекс и побольше горчицы — стоило мне остаться одному, как у меня появлялся аппетит; я сдвинул шляпу на затылок, слизнул с губ пену и стал смотреть бокс по телевизору; вокруг меня толпились докеры, в большинстве негры. Я закурил и спросил себя, что же, собственно говоря, мы ждем от жизни в юности?..

Айви ждала меня дома.

К сожалению, мне надо было вернуться туда упаковать вещи, но торопиться было незачем, и я заказал себе второй бифштекс.

Я думал об Иоахиме...

У меня возникло ощущение, что я начинаю новую жизнь, быть может только потому, что я никогда еще не плавал на теплоходах; так или иначе, я радовался предстоящему путешествию.

Я просидел в баре до полуночи.

Я надеялся, что Айви устанет меня ждать, что у нее лопнет терпение и она, рассердившись, не захочет больше находиться в моей квартире, ведь я вел себя как хам (я это знал); но иначе мне не удалось бы от нее отделаться; я расплатился и пошел домой пешком, чтобы убить еще полчаса и тем вернее не встретиться с Айви. Я знал, что она упряма, но, по правде говоря, кроме этого, я мало что знал о ней: только то, что она католичка, работает манекенщицей и готова хохотать над любым анекдотом, лишь бы он не касался папы римского; да еще что она, вероятно, лесбиянка либо просто начисто лишена темперамента: ей доставляло удовольствие соблазнять меня только потому, что она считала меня жутким эгоистом, монстром; дурой Айви никак не назовешь, но она склонна к разврату — так, во всяком случае, мне кажется, а вообще-то она забавная и, как говорится, «свой парень», пока дело не доходит до вопросов секса... Когда я поднялся к себе, я застал ее в пальто и шляпе; она сидела, улыбалась, не бросила мне ни слова упрека, хотя прождала меня больше двух часов.

— Everything okay? [1] — спросила она.

В бутылке еще оставалось немного вина.

— Everything okay! — ответил я.

Пепельница была полна окурков, глаза заплаканы. Я разлил.

[1] Все в порядке? *(англ.)*

вино в стаканы, стараясь налить в оба поровну, и извинился за все, что было. Забудем об этом! Я знаю, что становлюсь невыносимым, когда переутомлен, а переутомлен я почти всегда.

Сотерн оказался тепловатым.

Когда мы чокнулись нашими до половины наполненными бокалами, Айви пожелала мне (она для этого встала) счастливого пути и вообще счастливой жизни. Без поцелуев. Мы выпили стоя, как на дипломатическом приеме. В конце концов, сказал я, мы недурно прожили это время. Айви согласилась с этим — взять хотя бы наши уикенды за городом, в Файр-Айленде, и наши вечера вот здесь, в этом садике на крыше...

— Забудем об этом! — сказала Айви.

Она теперь казалась воплощенным благоразумием и к тому же была очень хороша: фигура у нее мальчишечья, только грудь женщины, а бедра узкие, как и положено манекенщице.

Так мы стояли и прощались. Я ее поцеловал.

Она отстранилась, не отвечая на мой поцелуй.

Я крепко прижимал ее к себе, не помышляя ни о чем, кроме прощального поцелуя, но Айви отворачивала голову; и тогда я стал целовать ее назло, а она упрямо курила сигарету; я целовал ее в ухо, в упругую шею, в висок, в терпкие волосы...

Айви стояла будто манекен.

Она не только сосредоточенно курила сигарету, до самого фильтра, словно это была последняя, но и еще держала в другой руке пустой бокал.

Не знаю, как это снова на меня нашло...

Я думаю, Айви хотела, чтобы я себя возненавидел, и соблазняла меня только ради этого; вся ее радость и заключалась в том, чтобы меня унизить,— впрочем, это была единственная радость, которую я мог ей дать.

Иногда я ее просто боялся.

Снова та же мизансцена, что несколько часов назад.

Айви хотела поскорее лечь спать.

Когда я еще раз позвонил Дику — ничего другого я не смог придумать, чтобы прервать невыносимый для меня tête-à-tête,— было уже далеко за полночь, у Дика сидели гости, и я попросил его приехать ко мне со своей компанией. Что это была за компания, я слышал по телефону — до меня доносился неразборчивый гул пьяных голосов. Я умолял его, но Дик был неумолим. И только когда трубку взяла Айви, Дик смирился перед неизбежностью дружеской услуги — не мог же он оставить меня одного с Айви.

Я смертельно устал.

Айви в третий раз причесывалась.

В конце концов я уснул в качалке; и тогда они ввалились: их было не то семь, не то девять мужчин, причем трое были пьяны в стельку — их пришлось, словно калек, выносить из лифта. Один тип, услышав, что здесь есть женщина, начал скандалить: одна женщина, твердил он, это либо слишком много, либо слишком мало. И хотя он едва держался на ногах, он, громко ругаясь, пошел вниз — шестнадцать этажей.

Дик знакомил:

— This is a friend of mine...[1]

Мне кажется, он и сам толком не знал тех, кого привел, во всяком случае кого-то он явно недосчитался. Я объяснил, что один ушел, Дик чувствовал себя ответственным за то, чтобы никто не потерялся, и принялся всех пересчитывать, тыкая в каждого пальцем; после длительной возни он окончательно убедился, что одного недостает.

— He's lost,— сказал он,— anyhow...[2]

Конечно, я пытался относиться ко всему с юмором, даже тогда, когда разбили индейскую вазу, которая к тому же принадлежала не мне.

Айви все же считала, что у меня не хватает чувства юмора.

Час спустя я не имел еще ни малейшего понятия, что это за люди. Один из них был якобы знаменитым циркачом. В доказательство он рвался сделать стойку на перилах моего балкона, а я ведь живу на шестнадцатом этаже; его, правда, удалось отговорить, но во всей этой кутерьме скатилась за перила бутылка виски,— да и никакой он не артист, мне это просто так сказали, для смеха, зачем — не знаю. К счастью, бутылка ни в кого не попала. Я тут же бросился вниз, ожидая увидеть на улице толпу людей, «скорую помощь», лужу крови, полицейских, которые меня арестуют. Ничего похожего. Когда же я снова поднялся к себе, меня встретил взрыв хохота — и гости стали уверять, будто вообще ничего не падало...

Так я и не узнал, упала ли вниз бутылка или нет.

Когда я пошел в уборную, оказалось, что дверь закрыта изнутри. Я принес отвертку и отодвинул задвижку. Какой-то тип сидел на кафельном полу и курил; он спросил меня, кто я такой...

---

[1] Это мой друг... *(англ.)*

[2] Потерялся как-то... *(англ.)*

И так — всю ночь.

— В вашем обществе можно умереть,— сказал я,— и никто из вас этого не заметит, дружбой здесь и не пахнет, да, да, умереть можно в вашем обществе,— уже кричал я,— умереть! И вообще, зачем мы разговариваем друг с другом,— кричал я,— зачем, хотел бы я знать (я сам слышал, как кричал), и зачем мы все собрались вместе, если можно умереть, и никто из вас этого не заметит?..

Я был пьян.

Пили до самого утра. Не помню, когда они ушли и как; только Дик лежал и спал.

К 9.30 заканчивалась посадка на теплоход.

У меня болела голова; я складывал вещи и был рад, что Айви мне помогала, было уже поздно, но я попросил ее еще раз сварить кофе — она это делала отлично; Айви вела себя трогательно и даже проводила меня на причал. Она, конечно, плакала. Был ли у нее кто-нибудь на свете, кроме меня, если не считать мужа, я не знаю; об отце и матери она никогда не упоминала, помню только ее забавную реплику: «I'm just a dead-end-kid» [1]. Родом она была из Бронкса, а вообще-то я и в самом деле ничего не знал об Айви; сперва я думал, что она балерина, потом — что проститутка, но и то и другое неверно, скорей всего, Айви и в самом деле работает манекенщицей.

Мы стояли на палубе.

Айви в своей шляпке из перьев...

Айви обещала уладить все мои дела — и с квартирой, и со «студебеккером». Я оставил ей ключи. Когда теплоход загудел и громкоговоритель настойчиво попросил провожающих сойти на берег, я поблагодарил ее за все, потом поспешно поцеловал, так как и в самом деле уже пора было идти — сирены не умолкали, приходилось даже затыкать уши. С трапа Айви сошла последней.

Я махал ей рукой.

Мне надо было сделать усилие, чтобы совладать с охватившим меня волнением, хотя я и обрадовался, когда лебедки стали втягивать на борт тяжелые канаты. День стоял безоблачный. Я был доволен, что моя поездка не расстроилась.

Айви тоже махала.

«А все-таки она «свой парень»,— думал я, хотя никогда ее толком не понимал; я встал на станину лебедки, когда черные буксиры потащили нас кормой вперед из гавани и все си-

---

[1] Я дитя трущоб *(англ.)*.

рены снова загудели; я вынул свою камеру (с новым телеобъективом) и снимал махающую мне Айви до тех пор, пока еще можно было различить лица невооруженным глазом; потом я стал снимать выход теплохода в открытое море, а когда скрылся из виду Манхэттен, принялся ловить в объектив провожающих нас чаек.

Тело Иоахима надо было не в землю зарыть (я часто об этом думаю), а сжечь. Но теперь уж ничего не поделаешь. Марсель был совершенно прав: огонь — вещь чистая, а земля от ливня — от одного-единственного ливня — превращается в жидкую грязь (как мы в этом убедились на обратном пути), она начинает шевелиться от бесчисленного множества личинок, становится скользкой, как вазелин, а в свете зари кажется гигантской лужей зловонной крови, месячной крови, кишащей головастиками, посмотришь — в глазах рябит от их черных головок и дергающихся хвостиков — точь-в-точь сперматозоиды, в общем — ужасающая картина. (Я хочу, чтобы меня непременно кремировали.)

На обратном пути мы почти не останавливались, не считая, правда, ночевок,— без луны было слишком темно, чтобы ехать. Ливень не затихал всю ночь, все вокруг бурлило, мы не выключали фар, хотя и стояли на месте, гул не смолкал, словно начинался потоп, земля клубилась перед фарами — дождь хлестал как из ведра, и казалось, этому не будет конца; ветра не было, ни малейшего дуновения. В конусах света наших фар — застывшие растения и сплетения лиан, которые блестели, словно кишки. Я был рад, что не один, хотя, если рассуждать здраво, опасности не было, вода уходила в землю. Но мы не сомкнули глаз. Мы разделись догола, как в бане, потому что сидеть в мокрой, прилипающей к телу одежде было невыносимо. Но ведь дождь — всего-навсего вода, как я без конца себе повторял, ничего отвратительного в нем нет. Под самое утро дождь вдруг перестал — внезапно, словно выключили душ. Но с листьев в лесу продолжало капать, и шум стекающей воды не умолкал. А потом рассвет! Никакой прохлады, утро было жаркое, от земли шел пар, солнце едва пробивалось сквозь марево, листья блестели, мы были мокрые от дождя и какие-то сальные и липкие от пота, скользкие, как новорожденные. Я сидел за рулем. Понятия не имею, как нам удалось переправиться на нашем «лэндровере» через реку, но, так или иначе, это удалось. Трудно было поверить, что мы по своей воле полезли купаться в эту гнилую

тепловатую воду и плавали среди омерзительных слизистых пузырей. Когда машина мчалась по лужам, грязь веером вылетала из-под колес — лужи были кроваво-красные от зарева восхода. Марсель сказал мне: «Tu sais que la mort est femme» [1]. Я взглянул на него. «Et que la terre est femme» [2],— добавил он, и тут я его понял — в самом деле, похоже — и невольно громко рассмеялся, словно услышал непристойность.

Светловолосую девушку с конским хвостом я увидел впервые вскоре после отплытия, когда всех пассажиров попросили собраться в столовой, чтобы распределить места за столиками. Мне, собственно говоря, было безразлично, кто будет сидеть вместе со мной, но я все же надеялся, что окажусь в мужском обществе — меня устраивал любой язык. Но о выборе и речи быть не могло! Стюард разложил перед собой план — типичный французский бюрократ,— и, если вы с ним не могли объясниться по-французски, он едва отвечал, но с французами болтал без умолку, был charmant, так и рассыпался без конца в любезностях, а мы ждали, выстроилась целая очередь; передо мной стояла совсем молодая девушка в черных джинсах, она была почти моего роста, наверное, англичанка или скандинавка, лица ее я не видел, а только ее конский хвост с чуть рыжеватым отливом, который вздрагивал всякий раз, когда она поводила головой. Конечно, я, как и все, оборачивался, разглядывал очередь — нет ли знакомых, ведь это было вполне вероятно. Мне в самом деле хотелось оказаться за столом в мужском обществе. А на девушку я обратил внимание только потому, что ее конский хвост раскачивался у меня перед глазами не меньше получаса. Лица ее, как уже сказал, я не видел. Я попытался его себе представить, чтобы как-то убить время, точно так же, как решают кроссворд. Молодежи, кстати, вообще почти не было в очереди. На ней был (я это точно помню) черный свитер с высоким воротом — в экзистенциалистском вкусе, простые деревянные бусы, а на ногах — матерчатые тапочки; все вещи довольно дешевые. Она курила сигарету, зажав под мышкой какую-то толстую книгу, а из заднего кармана джинсов торчала зеленая расческа. Из-за этого нескончаемого ожидания я был просто вынужден ее разглядывать; видно, она была и в самом деле очень молода: пушок на шее, угловатые движения, малень-

[1] Знаешь, ведь смерть — женщина *(франц.)*.
[2] И земля — тоже женщина *(франц.)*.

кие уши, ставшие пунцовыми, когда стюард позволил себе отпустить какую-то шутку,— в ответ она только пожала плечами; она сказала, что ей безразлично, в какую очередь есть — в первую или вторую.

Она попала в первую, я — во вторую.

Тем временем полоска американского берега, которую долго было видно — Лонг-Айленд,— уже окончательно скрылась из виду, и вокруг нас, куда ни глянь, была одна вода; я отнес камеру к себе в каюту, и тут впервые увидел своего соседа — молодого человека атлетического сложения; он представился: звали его Лейзер Левин, был он из Израиля и занимался земледелием. Я уступил ему нижнюю койку. Он уже успел занять верхнюю, согласно своему билету; но, когда он перебрался на нижнюю и принялся там распаковывать свое барахло, мы оба, как мне кажется, почувствовали себя как-то спокойней. Не человек, а настоящая глыба! Я решил побриться — ведь в утренней спешке у меня до этого руки не дошли. Я включил бритву, ту самую, которую вчера разбирал, она работала исправно. Мистер Левин возвращался домой из Калифорнии, где изучал сельское хозяйство. Я брился почти молча.

Потом я снова вышел на палубу.

Глядеть было не на что, вокруг — вода; я стоял у перил и наслаждался тем, что здесь я для всех недосягаем, вместо того чтобы, не теряя времени, добывать себе шезлонг.

Я ведь не знал всех этих пароходных порядков.

Стая чаек кружила над кормой.

Как можно провести пять суток на таком теплоходе, я себе не представлял. Я ходил по палубе, засунув руки в карманы, и ветер то гнал меня вперед, почти нес, то, когда я шел в обратную сторону, толкал в грудь, останавливал, и мне приходилось наклонять голову, и брюки трепетали, словно флаги. Я диву давался, откуда у других шезлонги; на каждом кресле была бирка с фамилией владельца; когда же я наконец обратился к стюарду, он сказал, что все шезлонги уже разобраны.

Сабет играла в пинг-понг.

Она играла отлично: тик-так, тик-так, шарик летал взад-вперед, одно удовольствие глядеть. А я уж много лет не брал в руки ракетки.

Она меня не узнала.

Я ей кивнул.

Она играла с каким-то молодым человеком. Возможно, это был ее друг или жених. Она успела за это время переодеться; теперь на ней была юбка колоколом из оливковой шерсти — по-

моему, юбка ей больше шла, чем мальчишеские штаны, конечно, при условии, что это вообще была та же девушка, которую я видел прежде.

Во всяком случае, ту, в штанах, я нигде не мог обнаружить.

В баре, куда я случайно забрел, не было ни души. В библиотеке оказались только романы, в каком-то салоне стояли ломберные столики, что тоже навевало скуку; на палубе гулял ветер, но все же там было менее томительно, чем в других местах,— ощущалось движение.

Хотя, собственно говоря, казалось, что движется только солнце...

Где-то вдали, у самой линии горизонта, иногда проходило грузовое судно.

В четыре часа пили чай.

Время от времени я останавливался у стола для пинг-понга и всякий раз, глядя на нее, снова удивлялся и спрашивал себя, действительно ли это та самая девушка, чье лицо я пытался себе представить, когда мы ждали, чтобы распределили места в столовой. Я стоял у большого окна застекленной палубы, курил и делал вид, что любуюсь морем. Если смотреть сзади, со стороны рыжеватого конского хвоста, то это была наверняка она, но спереди она меня чем-то поражала. Глаза у нее оказались серые, как часто бывает у рыжих. Она сняла шерстяную кофточку — игру она проиграла — и засучила рукава блузки. Один раз она, метнувшись за шариком, чуть не налетела на меня. И даже не извинилась. Она меня просто не замечала.

Я пошел дальше.

На палубе сильно похолодало, стало даже сыро от долетавших сюда клочьев пены, и стюард начал складывать шезлонги. Океан гудел куда громче, чем прежде, да еще стук целлулоидного шарика о стол для пинг-понга на нижней палубе — тик-так, тик-так! Потом закат солнца. Меня знобило. Когда я направился в каюту, чтобы надеть плащ, мне снова пришлось пройти через застекленную палубу; я подал ей упавший шарик как бы невзначай, не навязываясь, она коротко поблагодарила по-английски (вообще-то она говорила по-немецки); вскоре раздался удар гонга: обед первой очереди.

Первый день близился к концу.

Когда я шел из каюты уже в плаще и с кинокамерой, чтобы заснять закат, обе ракетки для пинг-понга лежали на зеленом столе.

Я ничего не подозревал, не мог подозревать, это легко доказать, но что от этого меняется? Я погубил своего ребенка, и исправить уже ничего нельзя. Да и к чему все рассказывать? Я не был влюблен в девочку с рыжеватым конским хвостом, просто она почему-то привлекла мое внимание, вот и все. Как я мог предположить, что она моя дочь, раз я не знал, что я отец? При чем тут судьба? Я не был влюблен, напротив, как только мы с ней заговорили, она показалась мне более чужой, чем любая другая девушка, и лишь в силу неправдоподобной случайности мы вообще заговорили друг с другом, моя дочь и я. С тем же успехом мы могли молча пройти мимо. При чем тут судьба? Все могло бы сложиться совсем иначе.

Уже в первый день, вечером, после того как я отснял заход солнца, мы с ней играли в пинг-понг — в первый и последний раз. Разговаривать было трудно: я уже почти забыл, что человек может быть таким молодым. Сперва я объяснял ей устройство моей кинокамеры, но ей было скучно слушать все, что я говорил. С пинг-понгом дело у меня пошло лучше, чем я ожидал, ведь я не играл уж бог весть сколько лет. Только подача у нее была более резкая, и она ловко гасила. Раньше я тоже умел гасить, но теперь мне не хватало тренировки, да и реакция стала слишком замедленная. Она пыталась всякий раз гасить, но не всегда ей это удавалось; я оборонялся как мог. В пинг-понге главное — это верить в свои силы, вот и все. Я был не так уж стар, как эта девчонка предполагала, она явно рассчитывала расправиться со мной с сухим счетом, но это у нее не получалось — постепенно я сообразил, как надо принимать ее подачу. Впрочем, ей, наверно, все же было скучно со мной. Ее прежний партнер, молокосос с усиками, играл, конечно, куда более лихо. Вскоре я стал красный как рак, потому что мне все время приходилось нагибаться за шариками, но и ей стало жарко — пришлось снова снять шерстяную кофточку и даже засучить рукава блузки, чтобы меня обыграть; нетерпеливым движением откинула она на спину свой рыжеватый конский хвост. Когда появился ее друг с усиками и, засунув руки в карманы, приготовился глазеть — видно, ему захотелось посмеяться,— я тут же кончил игру и положил ракетку; она поблагодарила меня, но не предложила доиграть партию до конца; я тоже поблагодарил и взял свою куртку.

Бегать за ней я не собирался.

Я разговаривал с разными людьми, больше всего с мисте-

ром Левином — не с одной только Сабет,— даже со старыми девами, которые сидели со мной за одним столом, стенографистками из Кливленда, считавшими своим долгом увидеть Европу, и с американским проповедником — баптистом из Чикаго, что, впрочем, не мешало ему быть славным малым.

Я не привык ничего не делать.

Перед тем как лечь спать, я каждый вечер гулял по всем палубам. Один. Когда я ее случайно встретил в темноте — рука об руку с ее другом, игроком в пинг-понг,— она сделала вид, будто не замечает меня; словно мне ни в коем случае нельзя было знать, что она влюблена.

Мне-то какое дело?

Я гулял, как уже говорил, чтобы подышать свежим воздухом.

Она думала, я ревную.

На следующее утро, когда я стоял на палубе, она подошла ко мне и спросила, где мой друг. Меня не интересовало, кого она считала моим другом, израильского фермера или чикагского проповедника; ей, видно, показалось, что я чувствую себя одиноко, и захотелось проявить ко мне какое-то внимание, и она не отошла до тех пор, пока мы не разговорились — о навигации, о радарах, о кривизне горизонта, об электричестве, об энтропии, о которой она еще никогда не слышала. Нет, глупой ее никак нельзя было назвать. Немногие из тех, кому я пытался объяснить суть так называемого демона Максвелла, схватывали все так быстро, как эта совсем юная девушка, которую я называл Сабет, потому что имя Элисабет показалось мне немыслимым. Она мне нравилась, но флиртовать с ней я не стал. Слушая меня, она улыбалась, и я испугался, уж не говорю ли я с ней как школьный учитель. Сабет ничего не знала о кибернетике, и, как всегда, когда рассказываешь об этих вещах неосведомленным людям, пришлось высмеять ее детское представление о роботе, доказать несостоятельность неприязни человека к машине — это меня всегда раздражает, ибо свидетельствует об ограниченности; обычный пошлый аргумент — человек, мол, не машина. Я объяснил ей, что именно понимает современная наука под термином «информация»: наши действия не что иное, как ответы на полученную нами так называемую информацию — вернее, это импульсы, возникающие автоматически, в большинстве случаев помимо нашей воли, рефлексы, которые могут возникать в машине с тем же успехом, что и у человека, если не лучше. Сабет нахмурила брови (как всегда, когда шутка приходилась ей не по вкусу) и рассмеялась. Тогда я

сослался на книгу Норберта Винера «Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, M. I. T., 1948» [1].

Само собой разумеется, я имел в виду не тех роботов, что рисуют в иллюстрированных журналах, а скоростную счетную машину, именуемую также «электронным мозгом», потому что она состоит из вакуумных электронных ламп,— машину, которая уже сегодня в известном смысле превосходит любой человеческий мозг. За одну минуту она может произвести два миллиона сложений или вычитаний, вычислять интегралы и дифференциалы, а логарифмирует она быстрее, чем человек успевает читать полученный результат; задача, на которую иной математик потратил бы всю свою жизнь, решается машиной за несколько часов, причем решается гораздо более точно, ибо машина не может ничего забыть и всю вновь поступающую информацию охватывает более полно, чем это в состоянии сделать человеческий мозг. А главное — вот что: машина ничего не переживает, она не знает ни страха, ни надежды, которые только мешают. У нее нет никакой предвзятости по отношению к возможному результату, она работает, руководствуясь чистой логикой; поэтому я утверждаю: робот познает мир точнее, чем мы, он больше нас знает о будущем, ибо высчитывает его, он не рассуждает и не мечтает, а руководствуется полученными данными («feed back» [2]) и не может ошибиться; робот не нуждается в предчувствиях...

Сабет сочла меня чудаком.

И все же, мне кажется, она испытывала ко мне какую-то симпатию, во всяком случае, она мне кивнула, когда в следующий раз увидела меня на палубе,— она лежала в своем шезлонге и тут же снова уткнулась в книгу, но кивнула и сказала:

— Хэлло, мистер Файбер!

Она звала меня мистер Файбер, потому что я, привыкший к английскому звучанию своей фамилии, ей так представился. Но говорили мы с ней по-немецки.

Я ей не надоедал.

По-настоящему мне следовало бы работать...

Путешествовать вот так на теплоходе — это какое-то странное состояние. Пять дней без машины! Я привык либо работать, либо сидеть за рулем. Для меня нет отдыха без движения, а все непривычное меня только нервирует. На теплоходе я ра-

---

[1] «Кибернетика или управление и связь в животном и машине» *(англ.)*.

[2] Обратная связь *(англ.)*.

ботать не мог. Плывешь себе и плывешь, моторы включены денно и нощно, их слышишь, их чувствуешь, плывешь безостановочно, но двигается только солнце или луна. А может быть, наша уверенность, что мы плывем — иллюзия; сколько бы нас ни качало, какие бы волны ни резал наш теплоход, горизонт остается на месте, и сам ты все время находишься в центре круга, словно зафиксированный в одной точке, только волны бегут — уж не знаю, какова их скорость, сколько узлов в час — во всяком случае, довольно быстро. Но ничего решительно не меняется — вот только становишься старше!

Сабет играла в пинг-понг или читала.

Я бродил полдня по палубе, хотя здесь невозможно встретить человека, который не находится на борту. За десять лет я не прошел столько километров, сколько за эти пять дней на теплоходе; иногда баптист соглашался поиграть со мной в детскую игру — мы передвигали деревянные чурки по квадратам, чтобы хоть как-то убить время, никогда в жизни у меня еще не было столько свободного времени, и все же я не успевал проглядеть газету, ежедневно выходившую на теплоходе.

— News of Today [1].

Только солнце двигалось.

— President Eisenhower Says... [2]

Пусть себе говорит!

Важно только передвинуть деревянную чурку в нужную клетку и быть уверенным, что здесь неожиданно не появится человек, которого не было до сих пор на борту, скажем Айви,— ты здесь для нее недосягаем!

Погода стояла хорошая.

Как-то утром, когда я завтракал с баптистом, Сабет подсела к нам за столик, чему я искренне обрадовался. Сабет в своих черных джинсах. Вокруг было немало пустых столиков — я хочу сказать, ей незачем было к нам подсаживаться, если бы я был ей неприятен. Да, я искренне обрадовался. Они заговорили о парижском Лувре, в котором я никогда не был, а я тем временем чистил яблоко. Она отлично объяснялась по-английски. И снова меня ошеломила ее молодость. В такие минуты спрашиваешь себя, был ли ты сам когда-нибудь таким молодым. А ее взгляды! Человек, который не посетил Лувра только потому, что искусство его не интересует,— нет, такого не может быть! Сабет считала, что я ее разыгрываю, просто смеюсь над

---

[1] Новости дня *(англ.)*.

[2] Президент Эйзенхауэр говорит... *(англ.)*

ней. А на самом-то деле смеялся баптист — и надо мной.

— Mister Faber is an engineer,[1] — сказал он.

Меня разозлили, конечно, не его дурацкие шутки над инженерами, а его ухаживанье за этой девчонкой, которая не ради него подсела за наш столик, его рука, которую он бесцеремонно положил сперва на ее руку, потом на ее плечо, потом снова на ее руку, его мясистая рука. Что он все ее хватает! Только потому, что он знаток Лувра?

— Listen,— все повторял он,— listen[2].

Сабет:

— Yes, I'm listening[3].

Ему нечего сказать, этому баптисту, весь этот треп насчет Лувра только предлог, чтобы хватать девочку за руку, так сказать, по-отечески — знаем мы эту манеру! — да еще он смеет надо мной подшучивать!

— Go on,— сказал он мне,— go on[4].

Я считаю, что профессия инженера, который господствует над материальным миром, уж во всяком случае — мужская профессия, если вообще не единственная мужская; я обратил их внимание на то, что мы все находимся на теплоходе, а теплоход тоже творение техники...

— True,— сказал он,— very true![5]

При этом он все время касается ее руки, изображает внимание, крайнюю заинтересованность — только ради того, чтобы не снимать своей ладони с ее руки.

— Go on,— сказал он,— go on!

Девочка хочет меня поддержать и переводит разговор со статуй Лувра, которых я не знаю, на моего робота; но у меня нет охоты об этом говорить, и я ограничиваюсь лишь одним замечанием: скульптура и все тому подобное (для меня) не что иное, как предки роботов. На примитивном этапе развития художники пытались преодолеть смерть, запечатлевая человеческое тело, а мы стремимся к тому же, подменяя это тело. Техника взамен мистики!

К счастью, появился мистер Левин.

Когда выяснилось, что мистер Левин тоже еще ни разу не был в Лувре, разговор за столом перешел, слава богу, на другую тему. Мистер Левин сказал, что посетил вчера машинное

---

[1] Мистер Фабер — инженер *(англ.)*.
[2] Послушайте *(англ.)*.
[3] Да, я вас слушаю *(англ.)*.
[4] Продолжайте *(англ.)*.
[5] Верно, очень верно! *(англ.)*

отделение нашего теплохода,— на этом общий разговор прервался. Баптист и Сабет продолжали обсуждать Ван Гога, а Левин и я говорили о дизельных двигателях; причем я, хотя дизельные двигатели меня интересовали, не выпускал из поля зрения Сабет: она внимательно слушала баптиста и вдруг взяла его руку и положила на стол, словно салфетку.

— Why do you laugh? [1] — спросил он меня.

Я не мог сдержать смех.

— Van Gogh is the most intelligent fellow of his time,— сказал он мне.— Have you ever read his letters? [2]

А Сабет:

— Он в самом деле очень много знает.

Но как только мы с мистером Левином заговорили об электричестве, выяснилось, что наш баптист знает не так уж много, он не смог вставить ни слова в наш разговор,— пастал его чередчистить яблоко да помалкивать.

В конце концов разговор перешел на Израиль.

Позже, уже на палубе, Сабет (без всякого давления с моей стороны) сказала, что ей хотелось бы как-нибудь спуститься в машинное отделение, причем именно со мной; я только сказал, что тоже собираюсь осмотреть двигатели. Меньше всего мне хотелось бы ей навязываться. Она удивилась, почему у меня нет шезлонга, и тут же предложила мне свой — она условилась идти играть в пинг-понг.

Я поблагодарил, и она убежала...

С тех пор я часто сиживал в этом кресле. Едва завидев меня, стюард вытаскивал ее шезлонг и расставлял его; при этом он называл меня не иначе как «мистер Пайпер», потому что на бирке шезлонга было написано: «Мисс Э. Пипер».

Я убеждал себя, что, видимо, любая молоденькая девушка будет мне напоминать Ганну. В эти дни я снова стал чаще думать о Ганне. Что считать сходством? Ганна была брюнеткой, у Сабет волосы были светлые — вернее, даже рыжеватые; и я сам думал, что всякая попытка найти здесь сходство притянута, так сказать, за волосы. Я занимался этим исключительно от нечего делать. Сабет очень молода — и Ганна была тогда очень молода,— и говорит она на том же литературном верхненемецком языке, что и Ганна, но ведь в конце концов (убеждал я себя) целые районы говорят на верхненемецком. Я подолгу ле-

---

[1] Чему вы смеетесь? *(англ.)*

[2] Ван Гог — самый умный человек своего времени. Вы когда-нибудь читали его письма? *(англ.)*

жал в ее кресле, уперев ноги в белые перила, которые все время подрагивали, и глядел на море. К сожалению, я не захватил с собой технических журналов, а романов я читать не могу. Я предпочитал размышлять о том, что является причиной этой вибрации, можно ли ее избежать, или принимался высчитывать, сколько лет теперь Ганне — интересно, поседела ли она? Я лежал с закрытыми глазами, стараясь уснуть. Будь Ганна здесь, на теплоходе, я, без сомнения, ее тотчас же узнал бы. Я думал: а вдруг она тут! Вскакивал и метался между шезлонгами, не рассчитывая, впрочем, всерьез, что она может здесь оказаться. Надо же было как-то убить время! И все же (не могу этого отрицать) я опасался, а вдруг она и вправду объявится на теплоходе? И я пристально вглядывался в лица разных дам, которые давно уже перестали быть юными девицами. Когда ты в черных очках, в этом нет ничего неприличного. Стоишь себе, покуриваешь и смотришь в упор, а те, кого ты разглядываешь, этого даже не замечают. Можно их разглядывать не спеша, по-деловому. Я старался определить их возраст, что было отнюдь не простой задачей. Я меньше обращал внимания на цвет волос, чем на ноги — в тех случаях, когда они были видны,— а особенно на руки и губы. У иной губы оказывались еще вполне сочные, но шея была вся в складках, как у черепахи. И я представлял себе, что Ганна может быть еще очень красивой, я хочу сказать, очень привлекательной. К сожалению, мне не удавалось разглядеть ничьих глаз — их скрывали темные очки, без очков здесь никто не обходился. На солнышке грелось немало отцветших красавиц, еще больше было таких, которые, видно, вообще никогда не цвели — в основном американки, шедевры косметики. Я знал только одно: так Ганна никогда не будет выглядеть.

Я снова улегся в шезлонг.

Ветер гудел в трубе.

Пенились волны.

На горизонте показался грузовой пароход.

Мне было скучно, только поэтому мысли мои часто блуждали вокруг Ганны; я лежал, упираясь ногами в белые перила, которые все время вибрировали. Того, что я знал про Ганну, хватило бы для описания ее примет полиции, но той Ганны ведь здесь нет, и, значит, обращаться в полицию бессмысленно. Как я уже говорил, я не мог себе ее представить, даже когда закрывал глаза.

Двадцать лет — это много...

Вместо нее я снова увидел (я открыл глаза потому, что кто-

то тронул мое кресло) юное существо, которое зовется Элисабет Пипер.

Игра в пинг-понг закончилась.

Больше всего меня поражало, как Сабет в разговоре, чтобы показать свое несогласие, резким движением откидывала конский хвост (а ведь Ганна вообще никогда не носила конского хвоста!) и как она пожимала плечами — ей, мол, все равно,— хотя ей было далеко не все равно. Из одной только гордости! Но самым удивительным было, как она внезапно на миг хмурила брови, когда, смеясь моей шутке, все же находила ее плоской. Меня это поражало, но не занимало моих мыслей, хотя и нравилось. Ведь бывают жесты, которые нравятся только потому, что ты видел их прежде. К разговорам о сходстве я всегда отношусь скептически — по личному опыту. Сколько раз мы с братом хохотали до упаду, когда люди, ничего не зная, охали и ахали по поводу нашего поразительного сходства — мой брат был приемным сыном моих родителей. Если кто-нибудь при мне потрет правой рукой (к примеру) левый висок, то меня это поразит, я сразу вспомню отца, но не стану считать этого человека братом отца только потому, что он так чешется. Я руководствуюсь разумом. Я не баптист и не спиритуалист. Как может прийти в голову, что какая-то девушка, которую зовут Элисабет Пипер,— дочь Ганны? Если бы мне тогда на теплоходе (или потом) хоть на секунду представилось, что между этой девушкой и Ганной, к которой я после истории с Иоахимом все время мысленно возвращался, есть какая-то связь, я бы, само собой разумеется, тут же ее спросил, кто ее мать. Как ее зовут? Откуда она родом? Не знаю точно, как бы я себя вел, но, во всяком случае, иначе, это само собой разумеется, я ведь нормальный человек, я относился бы к дочке как к дочке, у меня нет противоестественных наклонностей.

Все развивалось так естественно.

Невинное дорожное знакомство...

Как-то раз Сабет укачало; вместо того чтобы подняться на палубу, как это рекомендуется, она вздумала пойти к себе в каюту, в коридоре ей стало дурно, началась рвота, и парень с усиками взял ее на руки и уложил на койку, словно свою жену. К счастью, я оказался там. Сабет в черных джинсах лежала не шевелясь, так, как ее положили: ноги были беспомощно раскинуты, голова свесилась набок, потому что конский хвост мешал лежать прямо, в лице не было ни кровинки. Он держал ее за руку. Я тут же отвинтил иллюминатор, чтобы увеличить приток воздуха, и налил ей воды.

— Большое спасибо,— сказал он, присев на край ее койки. Он развязал шнурки на ее тапочках, желая, видно, поиграть в самаритянина. Словно ей стало дурно оттого, что она была в тапочках.

Я остался у нее в каюте.

Ее красный пояс слишком туго стягивал талию, это было заметно, но я считал, что не наше дело расстегивать ей пояс...

Я представился.

Едва мы успели пожать друг другу руки, как он снова уселся на ее койку. Быть может, он и в самом деле был ее другом. Когда Сабет вот так лежала, я видел, что она уже не ребенок, а взрослая женщина; я взял одеяло с верхней койки — Сабет, возможно, знобило — и накрыл ее.

— Спасибо,— сказал он мне.

Я дождался той минуты, когда молодой человек счел, что больше нам здесь делать нечего, что Сабет нужно дать отдохнуть.

— Чао,— сказал он.

Я видел его насквозь: едва очутившись на палубе, он хотел было от меня отделаться, чтобы вернуться к ней в каюту одному. Но я пригласил его на партию в пинг-понг... Он оказался не таким болваном, как я полагал, хотя решительно никакой симпатии не вызывал. Как можно носить такие усики! В пинг-понг нам сыграть не удалось, потому что оба стола были заняты; вместо этого я втянул его в разговор — конечно, на чистейшем немецком! — о турбинах; по профессии он был художником-графиком, но показался мне дельным малым. Как только он заметил, что живопись, театр и тому подобное не по моей части, он стал рассуждать, как деловой человек, не без смущения, правда, но вполне толково. Вдобавок он оказался швейцарцем.

Не знаю, что Сабет в нем нашла.

У меня нет никаких оснований для комплекса неполноценности, я не гений, конечно, но все же занимаю определенное положение, однако я совершенно не выношу такого рода молодых людей, их тон, их претензии на гениальность — они упоены собой, хотя за душой у них пока еще ничего нет, кроме неосуществленных замыслов, и им наплевать, что мы уже кое-что действительно создали на этом свете, а напомнишь им об этом — вызовешь только усмешку.

— Не буду вас задерживать,— сказал я.

— Да, извините, мне нужно идти...

— Всего доброго,— сказал я.

Когда я принес Сабет таблетки, которые мне помогли, она не захотела пустить меня к себе. Чудная какая-то, ведь она была одета, я это увидел в щель чуть приоткрытой двери. Я обещал ей занести лекарство и только поэтому пришел. Кончилось тем, что я просунул таблетки в эту щель. Был ли он в каюте, не знаю. Я убедительно попросил Сабет все же принять таблетки. Я ведь хотел только одного — помочь ей; а держать за руку да развязывать тапочки — вряд ли этим поможешь. Меня на самом деле ничуть не интересовало, была ли такая девчонка, как Сабет (ее непосредственность всегда оставалась для меня загадкой), уже в близких отношениях с мужчиной, я просто спрашивал себя: что же я о ней знаю?

Оказалось, вот что.

Проучилась один семестр в Yale, scholarship[1], едет теперь домой, к маме, которая живет в Афинах, а господин Пипер живет в Восточной Германии, потому что продолжает верить в коммунизм; больше всего ее беспокоило в эти дни, найдет ли она в Париже дешевую гостиницу; затем она собиралась при помощи «автостопа» (я считал это просто безумием) добраться до Рима; кем она будет, она еще не решила — то ли детским врачом, то ли художницей (ее интересовало прикладное искусство), то ли еще кем-нибудь в этом духе, а может быть, вовсе стюардессой, чтобы много летать. Но при всех обстоятельствах она мечтает попасть в Индию и Китай. Сабет (в ответ на мой вопрос) дала мне сорок лет, но, узнав, что мне скоро стукнет пятьдесят, не удивилась. Ей было двадцать. Самое большое впечатление, пожалуй, произвело на нее то, что я лично помнил, как Линдберг совершил первый трансатлантический перелет (1927 год),— мне тогда было двадцать лет, она сама это высчитала, прежде чем поверить. Видимо, после этого я показался Сабет уж таким старым, что она не удивилась бы, расскажи я ей как очевидец о наполеоновских войнах. Обычно я стоял у перил — ведь нельзя было допустить, чтобы Сабет (чаще всего она была в купальном костюме) сидела прямо на досках палубы, а я в это время разлеживался бы в шезлонге, как дядюшка, но и наоборот: Сабет в кресле, а я рядом на корточках — тоже выглядело бы смешно.

Я ни в коем случае не хотел ей навязываться.

Я играл в шахматы с мистером Левином, все мысли которого были сосредоточены на сельском хозяйстве, или с другими пассажирами, которым делал мат не позже чем на двадцатом

[1] Йельском университете, получала стипендию *(англ.)*.

ходу; это было скучно, но я предпочитал скучать сам, нежели наводить скуку на девочку — иными словами, я говорил с нею, только когда мне было что ей сказать.

Я запретил ей идти в стюардессы.

Чаще всего Сабет сидела, уткнувшись в свою толстую книгу, и, когда она говорила о Толстом, я спрашивал себя, что, собственно, такая девчонка может знать о мужчинах. Толстого я не читал. Конечно, она откровенно дразнила меня, когда говорила:

– Сейчас вы снова рассуждаете, как Толстой.

При этом она искренне восхищалась Толстым.

Однажды в баре я рассказал вдруг — сам не знаю почему — о своем друге, который повесился, и о том, как мы его увидели: к счастью, он сделал это, предварительно закрыв все двери и окна, а не то грифы выпотрошили бы его, как дохлого осла.

Сабет нашла, что у меня нет чувства меры.

Я потягивал перно, третью или четвертую рюмку, посмеивался и рассказывал, как это выглядит, когда человек болтается на проволоке: ноги не касаются пола, словно он парит в воздухе...

Стул, с которого он спрыгнул, валялся тут же.

Сам он оброс бородой.

Понятия не имею, зачем я все это рассказывал. Сабет сочла меня циником, потому что я говорил об этом со смехом. Но он и в самом деле был негнущийся, словно деревянная кукла...

Я курил одну сигарету за другой.

Его лицо почернело от застоявшейся крови.

Он раскачивался на проволоке, словно огородное пугало на ветру.

К тому же он смердел.

Ногти у него были фиолетовые, руки серые, а ладони белесые — цвета губки.

Я не узнал его.

Язык у него тоже был синеватый...

Собственно говоря, тут и рассказывать нечего, банальное происшествие — он раскачивался в струях теплого воздуха, шея его набрякла над проволочной петлей...

Впрочем, я вовсе не собирался все это рассказывать.

Его руки... прямые, словно палки...

К сожалению, моя гватемальская пленка еще не проявлена, описать это все равно невозможно, это надо увидеть своими глазами.

Сабет в синем вечернем платьице...

Несколько раз за вечер он внезапно возникал передо мной — мой друг, качавшийся в проволочной петле, возникал так явственно, будто мы его и не похоронили, быть может, потому, что в баре бормотало радио, точь-в-точь как там, у него в бараке — ведь он даже не выключил свой приемник.

Вот так оно было.

Когда мы его обнаружили, радио, как я уже сказал, что-то бормотало. Негромко. Сперва мы даже подумали, что говорят в соседней комнате, но никакой соседней комнаты не оказалось; мой друг жил совершенно один; и только когда заиграла музыка, мы сообразили, что это приемник; конечно, мы его тут же выключили, потому что это было совсем некстати — играл джаз.

Сабет расспрашивала меня.

Почему он это сделал?

Он нам этого не сказал, он висел, как деревянная кукла, и смердел, как я уже говорил, и качался от сквозняка...

Вот так оно было.

Когда я встал, я уронил стул. Грохот. Все обернулись, но Сабет, нимало не смутившись, подняла его и сказала, что проводит меня до каюты, но я не хотел.

Я хотел на палубу.

Я хотел быть один.

Я был пьян.

Назови я тогда его имя и фамилию — Иоахим Хенке, все тотчас изменилось бы, но я, как видно, не назвал даже его имени, а просто рассказывал о своем друге, который повесился в Гватемале, о трагическом несчастном случае.

Однажды я снял ее своей кинокамерой.

Когда наконец Сабет заметила, что я ее снимаю, она высунула язык, но я продолжал ее снимать и с высунутым языком до тех пор, пока она, всерьез рассердившись, не отругала меня. Что это мне взбрело в голову? Она спросила меня напрямик:

— Что вы, в конце концов, от меня хотите?

Было это утром.

Мне бы отшутиться и спросить, уж не мусульманка ли она, раз ее нельзя снимать, или, может быть, она просто суеверна? Да и вообще, что она вообразила? Я был готов вытащить эту несчастную пленку (ту самую, на которую я через телеобъектив снимал махавшую мне на причале Айви) из кассеты и засветить ее. Пожалуйста! Больше всего я злился на себя: до самого обеда меня мучило, что она говорила со мной таким тоном; за кого же она меня принимает, думал я, если позволила себе

сказать: «Вы все время следите за мной, мистер Файбер, мне это неприятно».

Я был ей несимпатичен.

Это было очевидно; и я не питал никаких надежд, когда вскоре после обеда напомнил ей о своем обещании взять ее с собой, если пойду осматривать машинное отделение.

— Сейчас? — спросила она.

Она хотела дочитать главу.

— Пожалуйста,— сказал я.

Я не настаивал. Я нисколько не обиделся. Я никогда не обижаюсь в таких случаях; терпеть не могу быть в тягость другим людям, я никогда не позволял себе волочиться за женщинами, которым не нравился, да, откровенно говоря, у меня и не было в этом нужды... Машинное отделение такого огромного теплохода — это целый завод: основное место занимают в нем гигантские дизельные двигатели, вплотную к ним примыкают электрогенераторы, котлы отопления и горячего водоснабжения, вентиляционные установки. Даже если специалист не увидит здесь ничего особенного, мне все же кажется, что композиция всех этих агрегатов, обусловленная формой корабля, стоит того, чтобы на нее посмотреть, не говоря уже о том, что один вид работающих машин всегда доставляет радость. Я объяснил устройство распределительного щита, не входя в подробности; однако мне пришлось слегка коснуться таких понятий, как киловатт, гидравлика, ампер — все это Сабет, конечно, знала со школьной скамьи, но потом забыла, а сейчас без труда вспомнила. Наибольшее впечатление на нее произвело множество различных труб вне зависимости от того, чему они служат, да еще шахта с железным трапом, пронизавшая машинное отделение на пять или шесть этажей и заканчивающаяся застекленной решеткой, сквозь которую светится голубое небо. Ей показалось странным, что лоснящиеся от пота механики, которых она, впрочем, нашла очень приветливыми, всю свою жизнь проводят на море, не видя моря. Я заметил, что они глазели на девочку (они явно принимали ее за мою дочь), когда она поднималась и спускалась по железным лестницам.

— Ça va, mademoiselle, ça va? [1]

Сабет карабкалась как кошка.

— Pas trop vite, ma petite! [2]

Мне казалось, что они нагло улыбаются ей, но Сабет ничего

---

[1] Ну как, мадемуазель, ну как? *(франц.)*

[2] Не спешите так, детка! *(франц.)*

этого не замечала, Сабет в черных джинсах, простроченных некогда белой ниткой, с зеленой расческой, торчащей из заднего кармана, со свисающим с затылка рыжеватым хвостом, колючими лопатками под черным свитером, худой, гибкой спиной, узкими бедрами, голенастыми ногами, обтянутыми до икр черными подвернутыми джинсами, острыми косточками щиколоток — я находил ее красивой, но не соблазнительной. Очень красивой, и только. Мы стояли перед окошечком в кожухе дизеля, и я давал краткие пояснения. Я сознательно засунул руки в карманы, чтобы невзначай не коснуться руки или плеча Сабет, как это делал баптист за завтраком.

Мне не хотелось дотрагиваться до этой девушки.

Я вдруг почувствовал себя стариком...

Я взял ее за талию, когда она тщетно пыталась нащупать ногой последнюю перекладину железной лесенки, поднял на воздух и поставил на пол. Она была удивительно легка и вместе с тем упруга, то же ощущение я испытывал, когда клал руки на руль своего «студебеккера»,— упруга и грациозна; все это длилось не долее секунды, и вот она уже стояла на ажурном железном листе переходной площадки; нисколько не смутившись, она поблагодарила меня за оказанную ей, хотя и ненужную, помощь и вытерла руки пестрой ветошью. Для меня в этом прикосновении тоже не было ничего волнующего, и мы пошли дальше к огромным винтовым валам, которые я еще хотел ей показать. Проблемы кручения, коэффициент трения, усталость металла от вибрации и тому подобное — обо всем этом я думал про себя: под такой грохот машин едва можно было разговаривать. Я только объяснил Сабет, что мы сейчас стоим как раз в том месте, где валы винтов выходят из корпуса корабля и, отталкиваясь от воды лопастями, дают движение теплоходу. Приходилось кричать. Мы были, по моим расчетам, приблизительно на восемь метров ниже уровня воды. Хотелось быть точным. «Приблизительно! — кричал я.— Возможно, только шесть». Объяснять, какое давление воды приходится выдерживать этой конструкции, было бы слишком сложно — я толковал о запасе прочности, а ее детская фантазия уже выпорхнула за пределы корабля, туда, к рыбам. «Вот, глядите!» — крикнул я и положил ее руку на шляпку семидесятимиллиметровой заклепки, чтобы она поняла мои объяснения. Акулы? Я не разобрал остальные слова. При чем тут акулы? Я крикнул в ответ: «Не знаю!» — и вновь указал ей на машины. Она уже глядела без внимания.

Мне хотелось ее чем-то заинтересовать.

Наше путешествие подходило к концу, и я жалел об этом; на большой карте Атлантического океана сиротливо торчал теперь один-единственный флажок — вдруг оказалось, что от всего нашего маршрута остался жалкий отрезок в семь сантиметров; в переводе на время это означало: вечер, ночь и утро.

Мистер Левин уже упаковывал вещи.

Разговоры о чаевых...

Я представляю себе, как мы через сутки будем прощаться, желать друг другу всего доброго,— рукопожатия, пожелания счастья, шутки: «Всего доброго, мистер Левин, желаю вам успехов в сельском хозяйстве!» И нашему баптисту: «Всего доброго, желаю вам успехов в Лувре!» А девушке с рыжеватым конским хвостом и с туманным будущим я скажу просто: «Желаю счастья!..» Мне было горько думать, что мы никогда ничего друг о друге не узнаем.

Я сидел в баре...

Эти дорожные знакомства!

Я становился сентиментальным, что, вообще говоря, не в моем духе. Предстоял бал — видимо, такова традиция, ведь это был наш последний вечер на теплоходе,— и по случайному совпадению — день моего рождения, пятьдесят лет, но об этом я, конечно, никому не сказал ни слова.

В этот вечер я впервые в жизни сделал предложение.

Собственно говоря, я сидел за столиком с мистером Левином, который тоже был вполне равнодушен к балам и танцам; я пригласил его (конечно, не выдавая истинного повода) на бутылку бургундского — лучшее из того, что было здесь в буфете. «Ведь только однажды исполняется пятьдесят лет!» — думал я. Beaune 1933 года, великолепный букет; правда, оно оказалось недостаточно терпкое да, к сожалению, немного мутноватое, но мистер Левин, которому по вкусу даже калифорнийское бургундское, не придал этому никакого значения. Меня же вино (честно говоря, я представлял себе празднование моего пятидесятилетия несколько иначе) разочаровало, но тем не менее я был доволен. Сабет прибегала только на минуту, чтобы глотнуть лимонного сока и тут же убежать со своим кавалером, чаще всего им был художник с усиками, но иногда и офицер из команды в парадной форме со сверкающими позолотой галунами, словно в оперетте; Сабет была все в том же синем вечернем платьице — правда, не безвкусном, но очень дешевом и, пожалуй, чересчур детском... Я подумывал о том, не пойти ли мне спать. Я снова чувствовал, что у меня есть желудок, и к тому же мы сидели слишком близко от оркестра, музыка оглушала,

а тут еще, куда ни глянь, пестрота и бестолочь карнавала: разноцветные лампионы, расплывающиеся в табачном дыме — точь-в-точь как солнце в Гватемале, повсюду бумажные драконы, ленты, переплетение гирлянд — мишурные джунгли — да еще господа в смокингах, черные, как грифы, оперенье которых отливает тем же атласным блеском.

Но про это мне думать не хотелось.

Послезавтра Париж — вот единственное, о чем я могу думать в таком шуме. Все же надо будет пойти к врачу и выяснить наконец, что же у меня с желудком.

Странный это был вечер.

Мистер Левин заметно повеселел — он ведь не привык пить и, вдруг осмелев, пригласил Сабет танцевать — этакий телеграфный столб! Лицо Сабет приходилось ему чуть выше пояса, и, чтобы не цепляться за хвосты бумажных драконов и змей, он все время старательно нагибал голову. Сабет, разговаривая с ним, становилась на цыпочки и вся устремлялась ввысь. У мистера Левина не было темного костюма, танцуя, он то и дело сбивался на мазурку, потому что он родился в Польше, провел детство в гетто и тому подобное. Чтобы дотянуться до его плеча, Сабет приходилось задирать руку, как школьнице в трамвае. Я сидел, держал в руке бокал бургундского и, твердо решив не впадать в сентиментальность из-за дня моего рождения, пил. Немцы все до одного заказывали сект, то есть шампанское, и мысли мои невольно вернулись к Герберту, к будущему немецкой сигары (каково-то ему, Герберту, одному среди индейцев?).

Потом я вышел на палубу.

Я нисколько не опьянел, и, когда Сабет разыскала меня на палубе, я ей сразу же сказал, что она может простыть здесь, на ветру, в своем тоненьком платьице. Она хотела узнать, не грустно ли мне, ведь я не танцую. Мне нравятся современные танцы, смотреть на них забавно — это какие-то экзистенциалистские прыжки, где каждый танцует сам по себе, выламывается как умеет, путается в собственных ногах, трясется словно в лихорадке, все это слегка смахивает на эпилептический припадок, но все очень весело, темпераментно — это я должен признать, но я так не умею.

Почему я должен грустить?

Английский берег еще не показался...

Я накинул ей на плечи свой пиджак, чтобы она не простудилась. Ветер был такой сильный, что ее рыжеватый конский хвост все время трепетал где-то у щеки.

Красные трубы, подсвеченные прожекторами...

Сабет была в диком восторге от этой ночи на палубе, когда ветер свистел в натянутых тросах, все скрипело и трещало, хлопали брезентовые чехлы на спасательных шлюпках, а из труб рвались клочья дыма.

Музыка здесь была едва слышна.

Мы говорили о звездах, как обычно говорят ночью, пока не станет ясно, что один из собеседников понимает в звездах еще меньше, чем другой, но все остальное не более чем настроение, а я этого не выношу. Я показал ей комету, которую можно было видеть в те дни в северной части небосклона. Еще немного, и я признался бы ей, что у меня день рождения. Поэтому, дескать, и появилась комета! Но это было неверно даже в шутку — ведь комета была видна уже несколько дней, правда не так явственно, как в эту ночь,— во всяком случае, видна с 28 апреля. И я решил ничего не говорить о своем дне рождения.

— По случаю нашего расставания,— сказал я ей,— я пожелаю себе две вещи: во-первых, чтоб вы не стали стюардессой...

— А во-вторых?

— Во-вторых,— сказал я,— чтобы вы не ехали в Рим при помощи «автостопа». Нет, серьезно, уж лучше я вам куплю билет на поезд или на самолет...

В то время мне и в голову не приходило, что мы можем поехать в Рим вместе, Сабет и я, да и что мне было делать в Риме?

В ответ она только рассмеялась.

Она меня не так поняла.

После полуночи подали холодный ужин, как обычно, и я стал утверждать, что голоден, чтобы повести Сабет вниз, потому что, несмотря на мой пиджак, ее трясло от холода — я это видел, у нее дрожал подбородок.

Бал внизу все еще продолжался.

Ее предположение, что мне грустно оттого, что я один, меня расстроило. Я привык разъезжать по свету один. Я живу работой, как всякий настоящий мужчина. Более того, я не хочу ничего другого и почитаю за счастье жить одному; по моему глубокому убеждению — это единственная сносная форма жизни для мужчин; просыпаться одному и не быть вынужденным разговаривать — для меня истинное наслаждение. Где найти женщину, которая способна это понять? Даже вопрос, как я спал, мне досаждает, потому что в мыслях своих я уже ушел вперед, я привык думать о будущем, а не о прошлом, привык строить

планы... Всякие там нежности по вечерам — это еще куда ни шло, но утром, нет уж, благодарю покорно: провести с женщиной больше трех или четырех дней подряд всегда было для меня, говоря откровенно, началом лицемерия. Чувства по утрам — этого не может вынести ни один мужчина. Уж лучше самому мыть посуду!

Сабет смеялась.

Завтракать с женщиной в виде исключения во время отпуска — пожалуйста, завтракать на балконе, но не дольше трех недель кряду; ни одного дня сверх этого я, честно говоря, вытерпеть не могу, и то во время отпуска, когда и так не знаешь, куда себя деть, но после трех недель, самое большее, я начинаю тосковать по своим турбинам; утренняя неторопливость женщин — ее не в силах вынести ни один мужчина; женщина способна, встав утром с постели и не успев одеться, начать перебирать цветы в вазе и при этом болтать о любви и браке... Нет, только отпетый лицемер скажет, что он готов это вынести. Я невольно вспомнил Айви. «Айви» в переводе значит плющ, и для меня это обобщенное имя всех женщин... Нет, я хочу быть один! Сам вид комнаты на двоих, не двойного номера в гостинице, откуда можно быстро съехать, а именно комнаты на двоих, как постоянного жилья, для меня так невыносим, что я всерьез начинаю подумывать — уж не лучше ли завербоваться в Иностранный легион...

Сабет сказала, что я циник.

Но я говорил сущую правду.

Я не стал продолжать, хотя мистер Левин, мне кажется, так меня и не понял; когда я потянулся, чтобы налить ему вина, он прикрыл свой стакан ладонью, а Сабет, обозвавшую меня циником, увели танцевать... Я не циник. Я всегда только трезвый человек, но женщины этого не выносят. Я отнюдь не чудовище, как уверяет Айви, и никогда не высказываюсь против брака, чаще всего сами женщины находят, что я решительно не гожусь для этого. Я не могу все время испытывать какие-то чувства. Быть одному — для меня единственная приемлемая форма жизни, потому что я не имею ни малейшего желания сделать женщину несчастной, а женщины ведь так склонны чувствовать себя несчастными. Я признаю: быть одному не всегда весело, не всегда бываешь в должной форме. Впрочем, теперь я по опыту знаю, что женщины тоже теряют форму, как только мы оказываемся не в форме. Стоит им заскучать, и тотчас начинаются обвинения в недостатке чувства. В таком случае я предпочитаю скучать один. Я признаю: и мне не всегда

хочется смотреть телевизор (хотя я убежден, к слову сказать, что в ближайшие годы телепередачи значительно улучшатся), и я бываю не в духе, но именно тогда и приятно оказаться одному. К самым счастливым минутам моей жизни принадлежат те минуты, когда я покидаю компанию друзей, сажусь в свою машину, захлопываю дверцу, поворачиваю ключ зажигания, настраиваю радио, прикуриваю от автозажигалки и ногой нажимаю на акселератор. Быть на людях даже в мужском обществе для меня всегда утомительно. Что же касается дурного настроения, то я, как уже сказал, особого внимания на него не обращаю. Иногда вдруг размякнешь, но потом вновь берешь себя в руки. Признаки усталости! Как у металла. Чувства, по моему определению, суть не что иное, как признаки усталости,— во всяком случае у меня. Бывают минуты слабости. И сколько тогда ни пиши писем, чтобы не чувствовать себя одиноким, все равно не поможет. Ничего этим не изменишь; все равно потом опять слышишь только свои собственные шаги в пустой квартире. И что еще хуже, чей-то голос по радио расхваливает патентованный собачий корм или сухие дрожжи — какая разница! — а потом желает спокойного сна и умолкает, а времени всего два часа ночи. И тогда выручает джин — хотя, вообще-то говоря, джин я не люблю,— и с улицы доносятся голоса, гудки машин, лязганье подземной дороги или гул самолета, что, в конце концов, безразлично. Случается, что я засыпаю в кресле с газетой на коленях, уронив на ковер потухшую сигарету. Я пытаюсь взять себя в руки. Зачем? Какая-то ночная станция передает симфонический концерт, я выключаю приемник. Что делать дальше? Я стою со стаканом, наполненным джином, которого я не люблю, и пью; я стою, чтобы не слушать звука шагов в квартире — моих собственных шагов. Все это ничуть не трагично, просто как-то тягостно, ведь сам себе не скажешь спокойной ночи...

Но неужели из-за этого стоит жениться?

Сабет, прибежавшая между танцами, чтобы выпить лимонного сока, тронула меня за руку: мистер Левин, этот телеграфный столб, спал и улыбался, словно он и с закрытыми глазами видел всю эту веселую кутерьму — бумажные драконы и разноцветные воздушные шарики в руках танцующих; причем каждый норовил хлопнуть по шарику соседа, чтобы шарик с треском лопнул.

О чем же я все время думаю? — спросила она.

Я не знал, что ей ответить.

А она о чем думает? — спросил я.

Сабет сразу сказала:

— Вам надо жениться, мистер Файбер.

Но тут появился ее друг, который обежал все палубы, чтобы найти ее и пригласить на танец. Он вопросительно взглянул на меня.

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал я.

У меня осталась только ее сумочка.

Я прекрасно знал, о чем я думал. Но этого не скажешь словами. Я поднял бокал и вдохнул запах вина, я не хотел думать о том, как это бывает между мужчиной и женщиной, и все же невольно эта картина возникла у меня перед глазами. Я испытал изумление и испуг, словно в полусне. Почему это происходит именно так? Если подойти к этому отстраненно — почему это происходит так, как происходит? Когда сидишь и поглядываешь на танцующие пары и вдруг представляешь себе этот акт во всей его плотской конкретности, возникает ощущение, что это не по-человечески. Почему именно так? Абсурд какой-то; когда желанье, инстинкт не побуждают к этому, кажешься себе сумасшедшим только оттого, что такая идея могла прийти тебе в голову, это представляется даже каким-то извращением...

Я заказал пива.

Может быть, это только я так ощущаю?

А танцующие между тем играли в странную игру: каждая пара двигалась так, чтобы удержать носами апельсин...

Интересно, а как относится к этому Лейзер Левин? Он и в самом деле храпел, с ним не поговоришь; рот у него был полуоткрыт — точно красноватый рот рыбы за зеленым стеклом аквариума.

Я думал об Айви.

Когда я обнимаю Айви, мне в голову лезет самое разное: надо отдать проявить пленку, не забыть позвонить Вильямсу! Айви бормочет: «I'm happy, o dear, so happy, o dear, o dear» [1], а я могу в это время решать в уме шахматную задачу. Я чувствую ее ладони на своем затылке, я вижу, как в эпилептической гримасе счастья искажается ее рот, и отмечаю про себя, что картина на стене снова висит косо, улавливаю шум лифта, пытаюсь вспомнить, какое нынче число, слышу ее вопрос: «You're happy?» [2] — и закрываю глаза, чтобы сосредоточиться на Айви, которую обнимаю, и по рассеянности целую свою собственную руку. Потом все как бы забывается. Я забываю по-

---

[1] Я счастлива, милый, так счастлива, милый, милый *(англ.)*.

[2] Ты счастлив? *(англ.)*

звонить Вильямсу, хотя все время только об этом и думал. Я стою у открытого окна и выкуриваю наконец сигарету, а Айви на кухне готовит чай. И вдруг я вспоминаю, какое нынче число. Но ведь это совершенно неважно. Словно ничего и не было!.. Потом я слышу, что кто-то вошел в комнату, оборачиваюсь и вижу Айви в халате — она несет две чашки чаю; я подхожу к ней и говорю: «Айви!» И целую ее, потому что она — «свой парень», хотя и не понимает, что я предпочел бы остаться один...

Внезапно наш теплоход остановился.

Мистер Левин вдруг проснулся, хотя я не произнес ни слова, и спросил, не прибыли ли мы в Саутгемптон.

За бортом множество огней.

Наверное, Саутгемптон.

Мистер Левин встал и вышел на палубу.

Я пил пиво и старался вспомнить, казалось ли мне все это с Ганной (тогда) тоже абсурдным, всегда ли это было абсурдным.

Все вышли на палубу.

Когда Сабет вернулась за своей сумочкой в зал, украшенный бумажными драконами, она меня сильно удивила: отослала своего друга, который сразу скис, и села рядом со мной. Детское выражение ее лица так напомнило мне в эту минуту Ганну.

Сабет взяла сигарету и снова пристала ко мне: о чем я все время думаю? А что-то мне ведь надо было сказать ей в ответ. Я протянул зажигалку, вспыхнувшее пламя вырвало из тьмы ее юное лицо, и я спросил: не выйдет ли она за меня замуж?

Сабет покраснела.

— Это всерьез?

— А почему бы и нет!

Началась выгрузка, и это зрелище почему-то никому нельзя было пропустить; каждый считал для себя делом чести стоять на палубе, несмотря на пронизывающий холод; дамы дрожали в своих вечерних туалетах; туман, ночь, подсвеченная тысячами огней, мужчины в смокингах, прижимающие к себе дам, чтобы хоть немного их согреть, все в пестрых бумажных колпаках, скрип кранов — туман и мерцание тусклых огней на берегу.

Мы оба стояли, не касаясь друг друга.

Я сказал ей то, чего совсем не должен был говорить, но что сказано, то сказано, и теперь я наслаждался нашим мол-

чанием. Я совсем протрезвел, однако не знаю, о чем я думал тогда, скорее всего ни о чем.

Моя жизнь была в ее руках.

К нам подошел мистер Левин, но он не помешал, напротив, я был ему рад. Сабет, как мне показалось, тоже; я держал ее за руку, и мы болтали с мистером Левином, который выспался и тоже совсем протрезвел, словно и не пил бургундского; мы обсуждали, сколько и кому нужно оставить на чай и тому подобное. Теплоход стоял на якоре не меньше часа, уже начало светать. Когда мы снова остались одни, совсем одни на мокрой палубе, и Сабет еще раз спросила меня, всерьез ли я это сказал, я поцеловал ее в лоб, потом поцеловал холодные вздрагивающие ресницы, она задрожала всем телом, потом поцеловал в губы, и сам испугался. Ни одна девушка не была мне такой чужой. Ее чуть приоткрытый рот — нет, это невозможно! Я целовал мокрые от слез щеки, говорить было нечего — нет, это невозможно!

На другой день мы прибыли в Гавр.

Шел дождь, и я стоял на верхней палубе, когда чужая девочка с рыжеватым конским хвостом спускалась по трапу. Обе ее руки были заняты вещами, поэтому она не могла мне помахать на прощанье.

Мне кажется, она увидела, что я ей машу. Мне было жаль, что я не снимаю это на пленку; я продолжал махать, даже когда потерял ее в толпе.

Потом в таможне, как раз в ту минуту, когда я открывал свой чемодан, я опять мельком увидел ее рыжеватые волосы; она кивнула мне и улыбнулась. Обе руки ее были заняты, она экономила на носильщике и поэтому тащила весь свой багаж сама, хотя ей это было явно не под силу, но я не смог ей помочь, она тут же затерялась в толпе. Наша дочь! Но ведь тогда я не мог этого знать; и все же у меня сжалось сердце, когда она растворилась в людском потоке. Я к ней привязался — вот все, что я знал. В парижском экспрессе я мог бы, конечно, обойти все вагоны. Но зачем? Ведь мы простились.

В Париже я сразу же позвонил Вильямсу, чтобы хоть устно доложить о делах; он поздоровался со мной («Хэлло!»), но времени меня выслушать у него не нашлось. Я даже подумал, уж не случилось ли чего. Париж, как всегда, означал для меня неделю заседаний. Как всегда, я поселился в отеле на набережной Вольтера, занял свою всегдашнюю комнату с окнами на Сену и Лувр, в котором я никогда не был, хотя он и находился как раз напротив.

Вильямс разговаривал со мной как-то странно.

— It's okay,— сказал он.— It's okay [1],— повторял он, пока я отчитывался о своей короткой поездке в Гватемалу, которая, как это выяснилось в Каракасе, нимало не задержала нашей работы, поскольку наши турбины все равно не были подготовлены к монтажу, не говоря уже о том, что на парижскую конференцию я не опоздал, а именно она-то и была важнейшим мероприятием этого месяца.— It's okay! — сказал он, когда я стал рассказывать ему об ужасном самоубийстве моего друга юности,— it's okay! — А в конце разговора спросил: — What about some holidays, Walter? [2]

Я его не понял.

— What about some holidays? — сказал он.— You're looking like... [3]

Нас прервали:

— This is Mr. Faber, this is... [4]

Обиделся ли Вильямс на то, что я не летел как всегда, а прибыл на этот раз — заметьте, в виде исключения — на теплоходе, не знаю; его намек, будто я очень нуждаюсь в отдыхе, мог звучать только иронически — я загорел, как никогда, да и худощавость моя несколько сгладилась после обжорства на теплоходе, и к тому же, повторяю, я загорел...

Вильямс разговаривал со мной как-то странно.

Потом, когда кончилось заседание, я пошел в ресторан, где прежде никогда не бывал, пошел один; стоило мне подумать о Вильямсе, как у меня портилось настроение. Вообще-то он не был мелочен. Неужели он думает, что в Гватемале или в другом каком-нибудь месте я завел любовную интрижку (love-affair)?

Его смешок меня обидел — ведь, как я уже говорил, во всем, что касалось работы, я был воплощенной добросовестностью; никогда еще — и Вильямс это отлично знал — я из-за женщины не опаздывал ни на полчаса. Но больше всего меня злило то, что его недоверие, или как там это еще назвать (почему он все твердил: «It's okay»?), меня задело и уязвило настолько, что я не мог думать ни о чем другом, официант стал обращаться со мной как с идиотом.

— Beaune, monsieur, c'est un vin rouge [5].

---

[1] Ладно, ладно *(англ.)*.

[2] Что, если вам пойти в отпуск, Вальтер? *(англ.)*

[3] Вид у вас такой, будто... *(англ.)*

[4] Это мистер Фабер, это... *(англ.)*

[5] Бон, месье, это красное вино *(франц.)*.

— It's okay,— сказал я.

— Du vin rouge,— сказал он,— du vin rouge avec des poissons? [1]

Я просто забыл, что заказал, у меня было другое в голове, и тут не из-за чего заливаться краской, но меня взбесило, что этому официанту (словно он обслуживает какого-то варвара) удалось меня смутить. В конце концов, у меня нет никаких оснований для комплекса неполноценности, со своей работой я справляюсь, я не гонюсь за лаврами изобретателя, но, уж во всяком случае, занят, как мне кажется, не менее нужным делом, чем баптист из Огайо, который все смеялся над инженерами, я руковожу монтажом турбин, стоящих миллионы, и построил уже немало электростанций, работал в Персии и в Африке (Либерия), в Панаме, Венесуэле и Перу, и я вовсе не витаю в небесах, как, видимо, считает официант.

— Voilà, monsieur [2].

Это всегда целый спектакль — торжественно приносят бутылку, тут же откупоривают ее, наливают глоток на пробу и непременно спрашивают:

— Il est bon? [3]

Ненавижу чувство неполноценности.

— It's okay,— сказал я, но не оттого, что дал себя запутать, я отчетливо уловил запах пробки, просто не хотел ввязываться в спор.

Голова моя была занята другим.

Я оказался единственным посетителем — было еще рано,— и меня крайне раздражало зеркало напротив моего столика, зеркало в золоченой раме. Стоило мне поднять глаза, как я видел свое отражение, похожее на старинный фамильный портрет: Вальтер Фабер, улетающий салат, в золоченой раме. У меня были круги под глазами, и только, но в остальном я выглядел — я уже это говорил — просто отлично: черный от загара и не такой худущий, как обычно. Я ведь мужчина во цвете лет (это я знал и без зеркала) — правда, седой, но зато со спортивной фигурой. Я не завидую красавцам. То, что мой нос немного длиннее, чем надо, волновало меня лишь в годы полового созревания, а с тех пор нашлось достаточное количество женщин, которые помогли мне избавиться от ложного чувства неполноценности; и раздражал меня теперь только

---

[1] Красное вино, красное вино к рыбе? *(франц.)*

[2] Вот, месье *(франц.)*.

[3] Вам нравится? *(франц.)*

этот зал, где повсюду, куда ни глянь, были зеркала — отвратительное зрелище,— да еще бесконечное ожидание, пока мне принесут рыбу. Я выразил свое недовольство; хотя я никуда не спешил, меня мучило ощущение, что официанты пренебрегают мной, сам не знаю почему; совершенно пустой ресторан с пятью официантами, которые шептались друг с другом, и один-единственный посетитель — Вальтер Фабер, который крошит хлеб,— в золоченой раме, куда ни глянь, всюду мое отражение; рыба, когда ее наконец принесли, оказалась превосходной, но мне почему-то есть ее не хотелось, не знаю, что со мной случилось.

«You are looking like...»

Только из-за этого глупого замечания Вильямса (при всем том он меня любит, я это знаю) я все снова и снова, вместо того чтобы есть рыбу, глядел в эти дурацкие зеркала, в которых видел свое восьмикратное отражение.

Конечно, с годами стареешь...

Конечно, начинаешь лысеть...

Я не привык ходить по врачам, никогда в жизни я ничем не болел, если не считать аппендицита,— я глядел в зеркало только потому, что Вильямс сказал: «What about some holidays, Walter?» При этом я загорел, как никогда. В глазах девочки, которая хотела стать стюардессой, я был, возможно, человеком солидным, но не уставшим от жизни, напротив, я даже забыл, приехав в Париж, пойти к врачу, как собирался.

Я чувствовал себя совершенно нормально.

На следующий день (это было воскресенье) я отправился в Лувр, но девушки с рыжеватым конским хвостом там не увидел, хотя и проторчал в этом Лувре битый час.

Мою первую близость с женщиной, самую первую, я, можно сказать, совсем забыл — точнее, я вспоминаю о ней, только когда заставляю себя вспомнить. Эта женщина была супругой моего учителя, который часто приглашал меня той весной, перед самыми экзаменами на аттестат зрелости, на субботу и воскресенье к себе домой; я помогал ему читать корректуру нового издания его учебника, чтобы немного подработать. Моей страстной мечтой был тогда мотоцикл, я собирался приобрести его по случаю — пусть какой угодно, только бы ездить. В мои обязанности входило чертить тушью геометрические фигуры к доказательствам теорем — «пифагоровы штаны» и тому подобное, потому что по геометрии и вообще по математике я был

первым учеником в классе. Его супруге, с точки зрения моего тогдашнего возраста вполне солидной даме, было, я думаю, лет сорок, она болела туберкулезом легких; и когда она покрывала поцелуями мое мальчишечье тело, она казалась мне то ли буйно помешанной, то ли ошалевшей сукой. И до и после я называл ее «госпожа профессорша». Это было абсурдно. От раза к разу я забывал о наших отношениях; только когда математик входил в класс и молча клал на кафедру стопку тетрадей, меня охватывал страх, что он узнал об этом и что теперь об этом узнают все. Чаще всего, раздавая работы, учитель называл мое имя первым, как единственного, не сделавшего ни одной ошибки, и я должен был продефилировать с тетрадкой по всему классу. Она умерла тем же летом; и я забыл все это, как забываешь воду, которой когда-то утолил жажду. Конечно, я казался себе подонком оттого, что забыл, и заставлял себя раз в месяц приходить на ее могилу. Убедившись, что никто меня не видит, я вытаскивал из портфеля жалкий букетик и торопливо клал его на свежую могилу, где еще не было памятника — только номер; при этом меня терзал жгучий стыд, ибо всякий раз я радовался, что все, что было между нами, уже кончилось.

Только с Ганной это никогда не казалось абсурдным...

Была весна, но почему-то шел снег, когда мы сидели в саду Тюильри; снежные хлопья и голубое небо; мы не виделись почти неделю, и мне показалось, что она рада нашей встрече, хотя бы ради сигарет — у нее явно уже не было ни гроша.

— Да я никогда и не верила, что вы не ходите в Лувр,— сказала она.

— Во всяком случае, очень редко.

— Редко! — И она рассмеялась.— Позавчера я вас видела в Античном зале, и вчера тоже.

Она и в самом деле была ребенком, хотя и курила без передышки; она всерьез считала, что мы случайно встретились в Париже. Она была по-прежнему в черных джинсах и тапочках, но в коротком пальто с капюшоном, конечно, с непокрытой головой, сзади болтался рыжеватый конский хвост, а с безоблачного неба, как я уже сказал, падали хлопья снега.

— Вам не холодно?

— Нет,— ответила она,— но, может, вам?

В 16.00 начиналось вечернее заседание.

— Выпьем кофе? — спросил я.

— О, с большим удовольствием!

Когда мы пересекали площадь Согласия, нас подстегнул свисток полицейского, и она схватила меня за руку. Этого я никак не ожидал. Нам пришлось побежать, потому что полицейский махнул своим белым жезлом и на нас ринулась целая свора машин. Уже оказавшись на тротуаре, но все еще держась за руки, мы вдруг обнаружили, что я потерял шляпу — она лежала теперь посреди мостовой, в коричневой снежной жиже, расплющенная автомобильным светом. «Eh bien! [1]» — сказал я и пошел дальше, держа девочку за руку, тоже, как мальчишка, с непокрытой головой, несмотря на снег.

Сабет была голодна.

Чтобы не возомнить невесть что, я говорил себе: она рада нашей встрече только потому, что у нее не осталось ни гроша. Она так накинулась на пирожные, что едва была в состоянии оторвать глаза от тарелки, едва была в состоянии разговаривать... Отговорить ее от намерения ехать в Рим с помощью «автостопа» было невозможно; она даже выработала себе точный маршрут: Авиньон, Ним, Марсель; впрочем, Марсель не обязательно, зато обязательно Пиза, Флоренция, Сиена, Орвието, Ассизи, ну и так далее; она даже утром пыталась выехать, но неудачно, видимо стояла не на той улице.

— А ваша мама в курсе дела?

Она утверждала, что да.

— И ваша мама не волнуется?

Я сидел еще только потому, что ждал официантку, чтобы расплатиться; я приготовился тут же вскочить и бежать, даже пачку положил себе на колени: именно теперь, когда Вильямс так странно со мной разговаривал, мне меньше всего хотелось опоздать на заседание.

— Конечно, волнуется,— ответила девушка, соскребая ложечкой крошки пирожного; ей явно хотелось облизать тарелку языком, но воспитание не позволило. Она рассмеялась: — Мама всегда волнуется...

Потом добавила:

— Мне пришлось ей обещать, что я не поеду с кем попало, но о чем тут говорить, я ведь не идиотка.

Тем временем я успел заплатить.

— Благодарю вас,— сказала Сабет.

Я не решался спросить: «Что вы делаете сегодня вечером?» Я все меньше понимал, что это, собственно говоря, за

[1] Пустяки! *(франц.)*

девушка. Беспечна, но в каком смысле? Быть может, она готова принять приглашение от любого мужчины? Это предположение вызвало у меня не возмущение, а ревность и настроило почему-то на сентиментальный лад.

— Мы еще увидимся? — спросил я и тут же поспешил добавить: — Если нет, то я хочу пожелать вам всего наилучшего...

Мне в самом деле надо было идти.

— Вы посидите здесь?

— Да,— сказала она,— мне спешить некуда.

Я уже встал.

— Если у вас действительно есть время,— сказал я,— я попросил бы вас об одной услуге...

Я машинально искал свою потерянную шляпу.

— Мне хотелось бы пойти вечером в оперу,— сказал я,— но у меня еще нет билетов...

Я сам был поражен своей находчивостью. Разумеется, я никогда еще не был в опере, но Сабет ни на секунду ни в чем не усомнилась — так хорошо она разбиралась в людях! — хотя я даже не знал, что давали в тот вечер, и взяла деньги, явно желая оказать мне услугу.

— Если вам тоже хочется пойти,— сказал я,— возьмите два билета. Мы встретимся в семь часов здесь.

— Два?

— Говорят, великолепный спектакль.

Я это слышал от жены Вильямса.

— Мистер Фабер,— сказала она,— я не могу принять от вас такого подарка...

На заседание я опоздал.

Профессора О. я действительно не узнал, когда он внезапно преградил мне дорогу: «Куда это вы так спешите, Фабер, куда?» Не то чтобы он был особенно бледен, просто он совершенно изменился; я только подумал: «Это лицо мне знакомо. И смех этот знаком. Но откуда?» От него, видно, не ускользнуло мое замешательство: «Разве вы меня не узнаете?» Его смех звучал теперь зловеще. «Да, да,— хохотал он,— как видите, выкарабкался!» Его лицо,— да какое там лицо, череп, обтянутый кожей, хотя под ней и сокращались мелкие мышцы, создавая странную мимику,— вызывало в памяти образ профессора О.; но все же передо мной было не лицо, а череп, его улыбка несоразмерна, она искажает лицо, несоразмерна по отношению к глазам, которые совсем запали. «Господин профессор! Как вы поживаете?» — спросил я, делая над собой усилие,

чтобы не сказать: «Да, я знаю, мне говорили, что вы умерли». Никогда он не был со мной так сердечен, я всегда его ценил, но так сердечно, как на этот раз, когда я стоял, держась за дверцу такси, он со мной никогда не разговаривал. «Весна в Париже!» — рассмеялся он; и было совершенно непонятно, чего это он все время скалит зубы. Я знал О., он профессор политехнического института, а не клоун, но стоило ему сейчас открыть рот, и создавалось полное впечатление, что он смеется. «Да, да,— смеялся он,— теперь мне куда лучше!» Оказывается, он вовсе не смеялся, разве череп смеется? Это был просто такой оскал; я извинился, что в спешке его не сразу узнал. У него появился животик, чего прежде не было, животик круглый, словно мяч, который вылез из-под ребер, а в остальном он худ как щепка, кожа его напоминала то ли пергамент, то ли глину, живыми были только глаза, но они глубоко запали. Я стал что-то рассказывать. Уши у него были оттопыренные. «Куда это вы так спешите?» — рассмеялся он и спросил, не выпью ли я с ним аперитив. Его сердечность, я это уже говорил, была тоже чрезмерна; в Цюрихе, когда я был еще студентом, я его очень ценил, но у меня действительно не было времени пойти выпить с ним аперитив. «Дорогой господин профессор! — прежде я никогда к нему так не обращался.— Дорогой господин профессор!» — сказал я, потому что он схватил меня за руку и потому что я знаю то, что все знают; но сам он, похоже, этого не знает, он смеется: «Что ж, тогда как-нибудь в другой раз». И хотя я точно знал, что этот человек, собственно говоря, уже умер, я ответил: «С удовольствием» — и остановил такси.

Я сидел на заседании в конференц-зале, но отсутствовал.

Я всегда стремился походить на профессора О., хотя он не был лауреатом Нобелевской премии, не был одним из тех профессоров Цюрихского политехнического института, чьи имена известны во всем мире. Но он был настоящим специалистом. Никогда не забуду, как мы, студенты, в белых халатах толпились вокруг него в чертежном зале и смеялись, слушая его откровения: «Против свадебного путешествия я не возражаю, господа, но этим надо ограничиться,— поучал он нас,— потом вполне достаточно довольствоваться литературой, все, что важно знать, вы найдете в разного рода изданиях, учите иностранные языки, господа, но в путешествиях, поверьте, есть что-то средневековое, уже сегодня средства связи таковы, что мир познается с доставкой на дом, не говоря уже о завтрашних и послезавтрашних технических достижениях; ездить с места на

место — это просто атавизм. Вы смеетесь, господа, но дело обстоит именно так, путешествие — это атавизм; настанет день, когда средства передвижения вообще изживут себя, и только молодожены будут странствовать по свету в экипажах во время своего медового месяца, да, да, только одни молодожены!.. Вы смеетесь, господа, но вы это сами увидите».

И вот я встретил его в центре Парижа.

Быть может, поэтому он и смеялся все время. Быть может, неверно, что у него (как говорят) рак желудка, и он смеется потому, что вот уже два года все твердят, будто, по мнению врачей, он и двух месяцев не протянет,— он над ними смеется, он так уверен, что мы еще встретимся...

Заседание длилось ровно два часа.

— Вильямс,— сказал я.— I changed my mind [1].

— What's the matter? [2]

— Well, I changed my mind.

В машине я сказал Вильямсу, который решил подвезти меня до гостиницы, что я все же подумаю, не сделать ли мне короткой передышки, не устроить ли себе, так сказать, каникулы по случаю весны — недели на две, не больше, маленькое путешествие: Авиньон, Пиза, Флоренция, Рим. На этот раз он уже не вел себя странно — наоборот, был невероятно мил, сверх всяких ожиданий: он тут же предложил мне воспользоваться его «ситроеном», поскольку он на следующий день улетал в Нью-Йорк.

— Walter,— сказал он,— have a nice time! [3]

Я побрился и переоделся на случай, если будут билеты в оперу. Я пришел намного раньше условленного времени, хотя и проделал весь путь до Елисейских полей пешком. Я сел в кафе рядом, на застекленной отапливаемой веранде; и, прежде чем мне успели принести перно, мимо прошла, не замечая меня, чужая девушка с рыжеватым конским хвостом, она пришла тоже куда раньше, чем условлено, я мог бы ее окликнуть...

Она села за столик в соседнем кафе — там, где мы должны встретиться.

Я был счастлив. Я неторопливо потягивал перно и наблюдал за ней сквозь стекло веранды — как она что-то заказала, как ждала, как курила и как один раз глянула на часы. На ней было черное короткое пальто с капюшоном и деревянными

---

[1] Я передумал *(англ.)*.

[2] Что такое? *(англ.)*

[3] Вальтер, желаю тебе приятно провести время! *(англ.)*

палочками вместо пуговиц, а под ним ее синее вечернее платьице; она оделась, чтобы идти в оперу,— молодая дама, которая, наверное, впервые красила губы. Она пила лимонный сок. Я был счастлив, как никогда еще не бывал в этом Париже. Я ждал официанта, чтобы заплатить и уйти в соседнее кафе, к девушке, которая меня ждет! При этом я был чуть ли не рад, что он все пробегал мимо, хотя и выражал по этому поводу свое возмущение. Никогда еще я не был так счастлив, как в эти минуты.

Уже после того, как мне стало ясно, каким образом все сложилось так, как сложилось, и, главное, стараясь осмыслить тот факт, что девушка, согласившаяся сопровождать меня в парижскую оперу, оказалась тем самым ребенком, которого мы оба (Ганна и я) не хотели иметь по личным мотивам, вне всякой связи с тогдашним международным положением, я говорил со многими самыми различными людьми об их отношении к аборту и при этом установил, что все (если иметь в виду существо вопроса) разделяют мою точку зрения: необходимость аборта стала в наше время чем-то само собой разумеющимся. И в самом деле, если подойти к этому вопросу серьезно: как могло бы дальше развиваться общество, если не прибегать к абортам? Именно успехи в области медицины и техники требуют от людей, осознавших свою ответственность перед будущим, новых решительных мер. Троекратное увеличение народонаселения за один век. Прежде не было элементарной гигиены. Зачинать, рожать и не бороться за сохранение этих новых жизней, пускать все на самотек, доверять природе — позиция куда более примитивная, но отнюдь не более высокая с точки зрения этики. Борьба с родильной горячкой. Кесарево сечение. Инкубаторы для недоношенных. Мы серьезнее относимся к жизни, чем наши предки. У Иоганна Себастьяна Баха было тринадцать детей (или что-то в этом роде), но выжило из них меньше пятидесяти процентов. Люди не кролики. Прогресс диктует нам следующий вывод: люди сами должны регулировать рождаемость. Угроза перенаселения земного шара. Мой полковой врач побывал в Северной Африке и говорил буквально вот что: если арабы цивилизуются настолько, что перестанут отправлять естественные надобности вокруг своего жилья, то за двадцать лет арабское население увеличится вдвое. В природе этот процесс происходит естественным путем: избыточный прирост для сохранения вида. Но современное общест-

во располагает для сохранения вида иными средствами. Жизнь священна! Избыточный прирост (если мы будем размножаться стихийно, как животные) приведет нас к катастрофе, то есть не к сохранению вида, а к его уничтожению. Сколько миллиардов людей может прокормить Земля? Конечно, здесь таятся кое-какие резервы, и их использование — задача ЮНЕСКО: индустриализация слаборазвитых стран, но резервы эти не бесконечны. Назревают совершенно новые политические проблемы. Обратимся к статистике: например, снижение заболеваемости туберкулезом благодаря успехам профилактики с тридцати до восьми процентов. Милосердный господь решал эти вопросы при помощи моровой язвы, но мы вырвали из его рук это средство. Отсюда вывод: необходимо вырвать из его рук и управление рождаемостью. Здесь нет ни малейших оснований для угрызений совести; напротив, достоинство человека в том и заключается, чтобы действовать разумно и самому решать, иметь детей или нет. Отказавшись от этого принципа, человечество будет вынуждено заменить моровую язву войной. Эпоха романтики кончилась. Тот, кто отрицает право на аборт,— безответственный романтик! Конечно, в этих делах надо действовать не легкомысленно, а исключительно исходя из существа вопроса: необходимо смотреть в глаза фактам, и в частности тому, что судьба человечества находится в прямой зависимости от проблемы сырья. Преступность государственного поощрения рождаемости в фашистских странах, а также во Франции. Проблема жизненного пространства. Нельзя забывать и про автоматизацию: количество людей, занятых в производстве, все уменьшается. Куда разумней повысить жизненный уровень. Все иное ведет к войне и тотальному уничтожению. Невежество и беспечность все еще широко распространены. Наибольшее зло исходит от моралистов. Прекращение беременности — завоевание культуры, только в джунглях зарождение жизни и ее угасание всецело подчинены законам природы. Человек научился управлять этими процессами. Романтика приводит к несчастьям, несметное число трагически безнадежных браков заключается еще и теперь только из страха перед абортом. Разница между предохранением от беременности и хирургическим вмешательством? Во всяком случае, нежелание иметь ребенка — человечное чувство. Сколько из тех детей, что рождаются, действительно желанны? Забеременев, женщина часто готова оставить ребенка, раз уж так случилось, но это другое дело, тут автоматически срабатывает механизм инстинкта, мать забывает, что не хотела его иметь. Немало-

важно здесь и ощущение своей власти над мужчиной — материнство как оружие женщины в ее экономической борьбе. Что значит судьба? Нелепо усматривать руку судьбы в ряде случайных механическо-физиологических совпадений, такой взгляд недостоин современного человека. Детей мы либо хотим иметь, либо не хотим. Это наносит вред женщине? Физиологический — безусловно нет, если, конечно, не прибегать к услугам бабок-повитух, а психический — только в той мере, в какой женщина находится в плену моральных и религиозных предрассудков. Обожествление природы — вот что мы отвергаем! В таком случае надо быть последовательным и отказаться от пенициллина, от громоотвода, от очков, от ДДТ, от радара и так далее. Мы живем в век техники, человек — покоритель природы, человек — инженер, и кто возражает против этого, не должен пользоваться мостом, поскольку он не создан природой. Тогда надо быть последовательным до конца и вообще отказаться от хирургического вмешательства, а это значит умереть от аппендицита, ибо такова судьба! Но тогда нечего пользоваться и электрической лампочкой, мотором, атомной энергией, счетной машиной, наркозом... Тогда — назад в джунгли!

Наше путешествие по Италии... Могу сказать о нем только одно: я был счастлив, потому что девочка, как мне кажется, тоже была счастлива, несмотря на разницу лет.

Она посмеивалась над молодыми людьми.

— Мальчишки,— говорила она.— Ты даже себе представить не можешь, какая с ними тоска... Такое чувство, что ты им в матери годишься, а это ужасно!

С погодой нам чертовски повезло.

Единственное, что меня тяготило,— это ее страсть к искусству, ее прямо-таки маниакальная тяга осматривать все памятники. С того момента как мы пересекли итальянскую границу, не было местечка, где бы мне не пришлось остановиться. Пиза, Флоренция, Сиена, Перуджа, Ареццо, Орвието, Ассизи. Я не привык так путешествовать. Во Флоренции я взбунтовался и заявил, что считаю Фра-Анджелико дряпным художником. Правда, потом поправился — не дряпным, а наивным. Сабет не стала со мной спорить, а наоборот, пришла в восторг от моей оценки — для нее, чем наивнее искусство, тем лучше.

Что мне действительно доставило наслаждение, так это кампари!

Против нищих с мандолинами я тоже не возражал.

Но подлинный интерес у меня вызвали: дорожное строительство, мостостроение, новая модель «фиата», новый вокзал в Риме, новые вагоны экспресса и новый тип пишущих машинок «оливетти».

Музеи — не по моей части.

Я сидел в кафе на площади Святого Марка и, поджидая Сабет, потягивал кампари, к которому пристрастился, а она — как мне кажется, исключительно из духа противоречия — добросовестно осматривала собор. За последние дни — после того как мы уехали из Авиньона — я обошел немало церквей и музеев, только чтобы не расставаться с Сабет. У меня не было оснований для ревности, и все же я ревновал. Я не знаю, что в голове у такой вот молоденькой девушки. Кто я для нее? Шофер? Допустим, но тогда я имею право пить кампари в ожидании хозяйки, которая не спеша осматривает очередную церковь. Я действительно не возражал бы стать ее шофером, если бы не Авиньон. Иногда я просто терялся: кем же мне ее считать? Что это была за дикая идея — отправиться в Рим с помощью «автостопа»! Пусть она ее не осуществила, но уже одно это намерение заставило меня ревновать. Я хотел бы знать, могло бы то, что случилось у нас в Авиньоне, произойти у нее с любым другим?

Никогда еще я так серьезно не думал о женитьбе.

Ведь чем больше я привязывался к этой девчонке, тем больше страшился толкнуть ее на этот путь. Всякий день я надеялся, что мне удастся с ней поговорить, я твердо решил быть с ней откровенным и боялся только, что она не поверит моим словам или будет смеяться надо мной... Мне кажется, что она все еще считала меня циником, даже нахалом (не по отношению к ней лично, а к жизни вообще), находила меня чересчур ироничным, а она этого терпеть не могла, и часто я совершенно не знал, что мне сказать. Слушала ли она меня? Меня не покидало чувство, что я перестал понимать молодежь. Часто я сам себе казался обманщиком. Почему? Потому, например, что я не захотел разрушить ее представление, будто я в жизни не видел ничего прекраснее Тиволи и что нет выше блаженства, чем провести вечер в этом Тиволи; но сам-то я в это поверить, конечно, не мог. Ее постоянно тревожило, что я не принимаю ее всерьез, но на самом деле все обстояло как раз наоборот — всерьез я не принимал самого себя, и что-то все время возбуждало во мне ревность, хотя, видит бог, я всячески старался быть молодым. Я все время спрашивал себя, действительно ли современная молодежь (1957) совершенно непо-

хожа на молодежь времен моей юности, и установил только то, что я решительно не знаю, какова же современная молодежь. Я наблюдал за Сабет, я таскался за ней по многочисленным музеям, только чтобы быть рядом с нею, чтобы видеть ее отражение в стекле витрины, заваленной этрусскими черепками, видеть ее юное лицо, серьезное и радостное. Сабет не могла допустить, что я во всем этом ничего не смыслю, и испытывала ко мне, с одной стороны, безмерное, просто детское доверие только потому, что я на тридцать лет старше ее, а с другой стороны, не питала ни малейшего уважения. А я почему-то все время ожидал его проявлений, и это мне портило настроение. Сабет слушала, когда я рассказывал о том, что мне довелось повидать, но слушала так, как слушают стариков; не перебивая, вежливо, не веря, с холодным вниманием, а если и перебивала, то только для того, чтобы предварить меня и тем самым дать понять, что я все это уже однажды рассказывал. Тогда мне становилось нестерпимо стыдно. Вообще для нее имело значение только будущее и, пожалуй, чуть-чуть настоящее, но к чужому опыту она была абсолютно равнодушна, как, впрочем, все молодые; ее нисколько не занимало, что все повторяется из поколения в поколение и пережитое чему-то нас уже научило или могло бы научить. Я старался уяснить себе, что же, собственно говоря, Сабет ждет от будущего, и установил: она сама не знает, чего ждет, просто радуется. Могу ли я ждать от будущего чего-то неведомого? А вот для Сабет все было иначе. Она радовалась поездке в Тиволи, предстоящей встрече с мамой, завтраку, тому времени, когда у нее будут дети, их дням рождений, граммофонной пластинке, вещам вполне определенным, но еще больше — неопределенным: просто всему тому, что у нее впереди. Возможно, именно это и вызывало ревность, но несправедливо думать, что я со своей стороны не умел радоваться. Я радовался каждой минуте, которая давала мне для этого хоть какой-нибудь повод. Правда, я не пел, не кувыркался, но я тоже радовался. И не только хорошему обеду! Пожалуй, я не всегда могу выразить свои чувства: кого из тех людей, с которыми мне доводится встречаться, интересует моя радость или моя печаль! Сабет считала, что я скрываю свои чувства, притворяюсь. Больше всего я радовался ее радостям. Можно было только удивляться, как ничтожно мало требовалось ей для того, чтобы вдруг весело запеть, ну буквально ничего! Утром она раздергивала занавески на окнах и, увидев, что дождя нет, тут же начинала петь. К сожалению, я как-то упомянул в разговоре о болях в желудке;

теперь ей всегда казалось, что меня мучают эти боли, и она по-матерински заботилась обо мне, словно я был несовершеннолетний. И все же наше путешествие не всегда можно было назвать легким, а часто мы оказывались просто в смешном положении: я наводил на Сабет тоску, делясь по любому поводу своим жизненным опытом, а Сабет невольно подчеркивала мой возраст, тщетно ожидая с утра до вечера проявления восторгов — тоже по любому поводу.

В большой галерее музея (Museo Nazionale[1]) я решительно отказался слушать комментарии из ее Бедекера, присел на балюстраду и развернул итальянскую газету — я был сыт по горло созерцанием каменных обломков. Я объявил забастовку, но Сабет по-прежнему была убеждена, что я ее разыгрываю, уверяя, будто ничего не смыслю в искусстве. При этом она ссылалась на слова своей мамы — дескать, каждый человек, если он не обыватель, способен воспринимать произведение искусства.

— О милостивая мама! — воскликнул я.

Итальянская семья, проходившая в эту минуту мимо нас, заинтересовала меня куда больше, нежели все статуи, вместе взятые. Особенно отец, который нес на руках спящего ребенка.

Кроме них, вокруг ни души.

Мертвую тишину нарушал только птичий щебет.

Когда же Сабет оставила меня одного, я сунул газету в карман, так как мне все равно не читалось, и подошел к какой-то статуе, чтобы проверить справедливость утверждения ее мамы: каждый способен воспринимать произведение искусства,— но, увы, я нашел, что мама ошибается.

Я почувствовал только скуку.

В малой галерее (застекленной) мне повезло: группа немцев-туристов во главе с католическим священником обступила какой-то барельеф, словно жертву уличной катастрофы, плотным полукольцом, и тогда меня тоже разобрало любопытство. Когда же Сабет меня нашла («Ах, вот где ты, Вальтер! А я уже думала, ты снова удрал к своему кампари»), я повторил ей то, что только что услышал от священника о «Рождении Венеры». Особенно очаровала меня фигурка девочки-флейтистки, расположенная сбоку. «Очаровала», по мнению Сабет, было неуместным словом для оценки такого шедевра, она находила, что барельеф этот немыслим, невероятен, абсолютен, гениален, потрясающ!..

---

[1] Национальный музей *(итал.)*.

К счастью, в галерею вошли люди.

Я не выношу, когда мне подсказывают, что я должен испытывать, потому что тогда я сам кажусь себе слепцом, хотя и могу понять, о чем идет речь.

Голова спящей Эринии.

Это было уже мое открытие (в том же зале слева), сделанное без помощи баварского патера; однако я не знал названия этой скульптуры, что, впрочем, мне нисколько не мешало, напротив. Чаще всего названия мне только мешают — я не силен в античных именах и чувствую себя как на экзамене... Но перед этой вещью я не мог не воскликнуть: великолепно, совершенно великолепно, впечатляюще, грандиозно, глубоко впечатляюще! Это была мраморная женская голова, взятая скульптором в таком ракурсе, что, казалось, смотришь, приподнявшись на локте, на спящую рядом с тобой женщину.

Интересно, какие она видит сны?

Конечно, не так следует подходить к оценке произведения искусства, спору нет, но меня это интересует куда больше, чем вопрос, в каком веке оно создано, в третьем или в четвертом до рождества Христова...

Когда я снова подошел к барельефу «Рождение Венеры», Сабет вдруг воскликнула:

— Стой, не двигайся!..

— Что случилось?

— Не двигайся! — повторила Сабет.— Когда ты стоишь там, Эриния кажется еще прекрасней. Просто поверить трудно, как много от этого меняется.

Я должен непременно сам в этом убедиться!.. Сабет настояла, чтобы я стал на ее место, а она — на мое. Действительно, кое-что от этого менялось, но я ничуть не удивился — это был эффект освещения. Когда Сабет (или кто-нибудь другой) подходила к барельефу, на Эринию падала тень — вернее, тогда голова освещалась только с одной стороны, и поэтому выражение скульптуры становилось куда более живым и даже каким-то диким — казалось, она вот-вот проснется.

— С ума можно сойти,— сказала Сабет,— как много от этого зависит!

Мы еще раз или два менялись местами, а потом я предложил двигаться дальше, ведь впереди была целая прорва залов, наполненных статуями, которые Сабет непременно хотела посмотреть.

Я проголодался.

Но заводить разговор о ristorante [1], хотя уже ни о чем другом я не мог думать, было явно бессмысленно; я не получил ответа на вопрос, где она набралась таких мудреных слов: архаический, линейный, эллинистический, декоративный, натуралистический, элементарный, экспрессивный, кубистский, аллегорический, культовый, композиционный и так далее — ни дать ни взять вся лексика highbrow [2]. Ничего, кроме самих слов, я от нее не услышал. Только при выходе из музея, когда уже не на что было смотреть, кроме как на аркаду из античного кирпича — незамысловатая, но чрезвычайно точная работа каменщика, которая меня заинтересовала,— Сабет ответила на мой вопрос. В тот момент она проходила через турникет и небрежно, как обычно, когда речь заходила о ее маме, бросила:

— От мамы.

Когда мы уже сидели в ресторане, Сабет мне опять очень понравилась — всякий раз я воспринимал ее по-новому: ее радость при виде салата, ее детское нетерпение, с которым она набросилась на булочки в ожидании заказанных блюд, горящий от любопытства взгляд — она уплетала булочки и глядела по сторонам, ее восторг, когда принесли hors d'oeuvre [3], ее задорный смех...

Что касается мамы...

Мы ели артишоки, отщипывая листок за листком, макали в майонез, соскабливали зубами мякоть; и именно в это время я узнал кое-что о той ученой даме, которая была ее мамой. Честно говоря, меня не шибко разбирало любопытство — терпеть не могу интеллектуальных дам. А узнал я следующее: она получила не археологическое, а филологическое образование, но теперь работала в археологическом институте — ей надо было зарабатывать деньги, потому что она разошлась с мистером Пипером... Тут я взял в руки бокал, чтобы чокнуться,— господин Пипер, который по убеждению уехал в Восточную Германию, меня решительно не интересовал. Я поднял бокал и прервал ее:

— Твое здоровье!

Мы выпили.

Затем я узнал...

Мама прежде тоже была коммунисткой, но с господином Пипером у нее все равно жизнь не ладилась, произошел разрыв — это мне было понятно,— а теперь мама работала в Афи-

[1] Ресторан *(итал.)*.

[2] Человек, выставляющий напоказ свою ученость *(англ.)*.

[3] Закуски *(итал.)*.

нах, поскольку нынешнюю Западную Германию она тоже не любит — и это мне было понятно,— а Сабет от их разрыва нимало не страдала, напротив, рассказывая об этом, она ела с большим аппетитом, прихлебывая белый орвието — ее любимое вино, хотя мне оно всегда казалось чересчур сладким,— Orvieto abbocato. Отца своего она не очень любила. Собственно говоря, господин Пипер не ее отец, у мамы до него был другой муж; Сабет была, таким образом, дочерью от первого брака; и мне пришло в голову, что маме ее, видно, не везло с мужьями, быть может оттого, что она слишком интеллектуальна,— все это я думал про себя и, конечно, не говорил вслух, а заказал еще полбутылки Orvieto abbocato. Потом мы принялись болтать о всякой всячине: об артишоках, о католицизме, о cassata [1], о спящей Эринии, об уличном движении — этом бедствии нашего времени — и о том, как нам проехать к Аппиевой дороге...

Сабет прочла по Бедекеру:

— «Аппиева дорога проложена в 312 году до рождества Христова цензором Аппием Клавдием Цекусом, считается королевой всех дорог; она вела через Террачину на Капую, откуда позднее была продлена до Бриндизи...»

Мы совершили паломничество на Аппиеву дорогу, прошли километра три пешком и прилегли отдохнуть на каменистом холмике вблизи какого-то надгробия; холмик был насыпной, поросший сорными травами, и о нем, к счастью, ничего не значилось в путеводителе. Мы лежали в тени пинии и курили.

— Вальтер, ты спишь?

Я наслаждался тем, что ничего не надо было осматривать.

— Гляди,— сказала она,— вон там, вдалеке, Тиволи.

Сабет была, как всегда, в своих черных джинсах, простроченных когда-то белой ниткой, и тапочках, тоже когда-то белых, хотя еще в Пизе я ей купил пару итальянских туфель.

— Тебя это в самом деле не интересует?

— В самом деле,— ответил я.— Но я готов все это осматривать, дорогая. Чего только не приходится делать во время свадебного путешествия!

Сабет снова заявила, что я циник.

Мне достаточно было лежать в траве — бог с ним, с Тиволи, важно было лишь одно: ее голова покоилась на моем плече.

— Ты настоящий сорванец — ни секунды не можешь посидеть спокойно.

Она встала на колени и озиралась по сторонам.

---

[1] Мороженое *(итал.)*.

Снизу до нас донеслись чьи-то голоса.

— Ну можно? — спросила она и вытянула губы, словно для плевка.— Можно? А?

Я потянул ее за конский хвост, принуждая снова лечь, но она вырвалась. Мне тоже было жалко, что мы оказались не одни, но тут уж ничего не поделаешь, даже если ты мужчина. А у нее были странные представления. «Ты же мужчина!» — твердила она по любому поводу. Она явно ожидала, что я вскочу на ноги и камнями разгоню группу туристов, словно стадо коз. Она всерьез была разочарована, когда я этого не сделал,— настоящий ребенок, с которым я обращался, как с женщиной, или женщина, с которой я обращался, как с ребенком, сам не знаю.

— Я считаю,— сказала она,— что это наше место.

Пришедшие были явно американцы — целая группа, которая бродила вокруг холма. Я только слышал их голоса — судя по голосам, это вполне могли быть и стенографистки из Кливленда.

— Oh, isn't it lovely! [1]

— Oh, this is the Campagna? [2]

— Oh, how lovely here! [3]

— Oh!..— И так далее.

Я приподнялся и поглядел на них сквозь кустарник. Фиолетовые шиньоны дам и розовые лысины мужчин, снявших панамы. «Экскурсия Дома престарелых»,— подумал я, но не сказал этого вслух.

— Это надгробие, видимо, все-таки чем-то знаменито,— сказал я.

— Гляди-ка, их все больше и больше! — воскликнула Сабет с раздражением.

Она вскочила на ноги, а я снова улегся на траву.

— Гляди, гляди — целый автобус.

Сабет стоит надо мной — вернее, рядом со мной; я вижу ее тапочки, голые икры, ее ноги, стройные даже в таком ракурсе, ее бедра, обтянутые джинсами, руки, засунутые в карманы брюк, талии не видно из-за того же ракурса, ее грудь, плечи, подбородок, губы, а над ними — ресницы, веки, бледные, словно из мрамора — эффект освещения, и, наконец, ее волосы на фоне нефтово-синего неба. Мне казалось, что ее ры-

---

[1] О, какая прелесть! *(англ.)*

[2] О, значит, это и есть Кампанья! *(англ.)*

[3] О, как здесь прелестно! *(англ.)*

жеватые волосы запутаются в ветвях черной пинии. Вот так и стояла Сабет на ветру, пока я валялся в траве,— стройная, прямая и безмолвная как изваяние.

— Хэлло! — крикнул нам кто-то снизу.

Сабет хмуро отозвалась:

— Хэлло!

Сабет была в полном недоумении.

— Гляди-ка, они расположились здесь на пикник.

И тогда она, словно назло этим американским оккупантам, улеглась на траву рядом со мной и положила мне голову на плечо, будто собралась спать; но пролежала она так недолго и, приподнявшись на локте, спросила, не тяжелая ли она.

— Нет,— ответил я,— ты легкая.

— Но?

— Никаких «но»,— сказал я.

— Нет,— сказала она,— ты о чем-то думаешь.

Я понятия не имел, о чем я думал; чаще всего о чем-то действительно думаешь. Но я вправду не знал, о чем я думаю. Я спросил ее, о чем думает она. Не отвечая на мой вопрос, она взяла у меня сигарету.

— Ты слишком много куришь,— сказал я.— Когда я был в твоем возрасте...

Чем короче становились наши отношения, тем реже приходила мне мысль о сходстве Сабет с Ганной. После Авиньона я вообще перестал думать об этом. Разве что удивлялся иногда, как мне вообще могла прийти в голову такая мысль. Я пристально вглядывался в ее лицо. Ни малейшего сходства! Я поднес ей зажигалку, хотя и был убежден, что она чересчур много курит,— подумать только, двадцатилетняя девчонка!..

Ее подтрунивание:

— Ты ведешь себя как папа!

Возможно, и в эту минуту, когда Сабет, упершись локтями мне в грудь, не сводила глаз с моего лица, я подумал (уже в который раз), что я для нее старик.

— Послушай,— сказала она.— Тот алтарь, что так понравился нам сегодня утром, оказывается, и есть алтарь Лудовизи. Безумно знаменитый!

Я не мешал ей просвещать меня.

Мы разулись, наши босые ноги касались теплой земли, я наслаждался и тем, что был босиком, и вообще всем...

Я думал о нашем Авиньоне (гостиница «Генрих IV»).

Сабет уткнулась в Бедекер; с первого же часа нашей поездки она знала, что я человек технического склада и еду в

Италию только затем, чтобы отдохнуть, и все же она прочла вслух:

— «Аппиева дорога проложена в 312 году до рождества Христова цензором Аппием Клавдием Цекусом, считается королевой всех дорог...»

Еще сейчас звучит у меня в ушах та интонация, с которой она читала путеводитель!

— «Наиболее интересный участок дороги начинается там, где сохранилось ее основание, вымощенное твердыми многоугольными камнями, а слева высится великолепная аркада акведука Марция! (см. стр. 261)».

Сабет листала не отрываясь, чтобы найти обозначенную страницу.

Вдруг я ее спросил:

— Скажи, а как зовут твою маму?

Но она не дала себя прервать.

— «В нескольких минутах ходьбы находится гробница Цецилии Метеллы, самые знаменитые руины Кампаньи: это круглое сооружение двадцати метров в диаметре, покоящееся на квадратном фундаменте и облицованное травертином. Надпись на мраморной доске гласит: «Caecilia Q.Creticif (iliae) Metellae Crassi» — «Дочери Метеллы Крития, невестки триумвира Красса. Внутри (чаев) расположены усыпальницы».

Она прервала чтение и задумалась.

— Что значит «чаев»?

— Это значит, что хранителю надо дать чаевые,— ответил я.— Но я спросил тебя о другом.

— Прости.

Она захлопнула путеводитель.

— О чем ты спросил?

Я взял у нее путеводитель и раскрыл его.

— Вон там вдалеке,— спросил я,— это Тиволи?

Там, на равнине, где-то, видимо, был аэродром, даже если он не значился на карте этого путеводителя. Все время слышался гул моторов, точно такое же дрожащее жужжание, как и над моим садиком на крыше дома у Сентрал-парка, время от времени над нами проносились «ДС-7» или «суперконстэллейшн» с выпущенными шасси, идущие на посадку, и исчезали где-то за деревьями Кампаньи.

— Там должен быть аэродром,— сказал я.

Это меня и в самом деле интересовало.

— О чем ты меня спросил?

— Как, собственно говоря, зовут твою маму?

— Госпожа Пипер! — воскликнула она.— А как же еще? Я, конечно, хотел узнать ее имя.

— Ганна.

Сабет уже снова стояла, засунув обе руки в карманы джинсов, и смотрела сквозь кустарник на туристов, рыжеватый хвост вздрагивал над ее плечом. На меня она не взглянула и ничего не заметила.

— My goodness! [1] Погляди, как они жрут, этому конца не будет!.. Теперь они принялись за фрукты.

Она переминалась с ноги на ногу, как ребенок.

— Ой, мне надо бы сбегать в кустики!

Но я задержал ее своими вопросами: училась ли ее мать в Цюрихе?

Что?

Когда?

Я продолжал спрашивать, хотя девочке, как уже было сказано, не терпелось сбегать в кустики. Она отвечала, правда не очень охотно, но подробно.

— Откуда мне это знать, Вальтер?

Меня интересовали, конечно, точные даты.

— Да ведь меня тогда еще на свете не было!

Ее забавляло, что я хотел знать все это так подробно. Она и понятия не имела, что значили для меня ее ответы. Ее это забавляло, но необходимость убежать не исчезла. Я приподнялся и схватил ее за руку, чтобы не дать ей удрать.

— Пусти меня, пожалуйста. Ну пожалуйста!

Мой последний вопрос:

— А ее девичья фамилия Ландсберг?

Я отпустил ее руку. Я обессилел. Мне нужно было собрать всю волю, чтобы усидеть на месте и к тому же улыбаться. Теперь я хотел, чтобы она убежала.

Вместо этого она уселась рядом, чтобы со своей стороны начать задавать мне вопросы.

— Ты, значит, знал маму?

Я кивнул.

— Не может быть,— сказала она.— Нет, в самом деле?

Я просто был не в состоянии говорить.

— Вы были знакомы, когда мама училась?

Она находила это потрясающим, просто потрясающим!

— Послушай,— сказала она, убегая,— об этом я ей непременно напишу. Как она будет рада!

---

[1] Боже ты мой! *(англ.)*

Теперь, когда я уже все знаю, мне кажется невероятным, что тогда, после нашего разговора на Аппиевой дороге, я еще ничего не понял. О чем я думал те десять минут, пока девочки со мной не было, я точно не знаю. Подводил своего рода итоги — это безусловно. Знаю лишь одно: больше всего мне хотелось тут же отправиться на аэродром. Возможно, я вообще ни о чем не думал. То, что я испытывал, было не удивление, а чувство обретенной ясности. Я превыше всего ценю ясность. Когда я в чем-либо обретаю ясность, меня это всегда забавляет: Сабет — дочь Ганны! Вот что мне прежде всего пришло в голову: о браке, видимо, нечего и помышлять. При этом у меня ни на мгновенье не мелькнула мысль, что Сабет может быть даже моей дочерью. Теоретически это было в пределах возможного, но я об этом не думал. Точнее, я в это не верил. Конечно, мне это все же пришло на ум: наш ребенок, который должен был тогда родиться, вся эта история перед тем, как мы расстались с Ганной, наше решение, что Ганна пойдет к врачу, к Иоахиму, конечно,— мне это все же пришло на ум, но я просто не мог в это поверить, ибо казалось совершенно невероятным, что девушка, которая вскоре снова вскарабкалась на холм, где мы расположились, может оказаться моей дочерью.

— Вальтер, что случилось? — спросила она.

Сабет, естественно, ничего не понимала.

— Знаешь что,— сказала она.— Ты тоже слишком много куришь!

Потом мы стали говорить про акведуки.

Чтобы о чем-то говорить!

Я объяснил ей закон сообщающихся сосудов.

— Да, да,— сказала она,— мы это проходили.

Ее очень позабавило, когда я доказал, что древние римляне, имей они мой чертежик, наспех набросанный на пачке сигарет, израсходовали бы на девяносто процентов меньше камней.

Мы снова лежали на траве.

Над нами гудели самолеты.

— Знаешь что,— сказала она,— тебе бы не следовало улетать.

Это был предпоследний день нашего путешествия.

— Рано или поздно, дитя мое, нам все равно придется расстаться...

Я наблюдал за ней.

— Конечно,— сказала она и потянулась, чтобы сорвать травинку: то, что нам придется расстаться, ее не огорчало — во всяком случае, мне так показалось,— нисколько не огорчало.

Травинку она не зажала в зубах, а, глядя куда-то вдаль, стала наматывать на палец и повторила: — Конечно.

У нее и мысли о браке не было.

— Интересно, помнит ли еще тебя мама?

Сабет все это забавляло.

— Мама — студентка! Даже представить себе невозможно! Мама-студентка, мама, живущая в мансарде! Она никогда мне об этом не рассказывала.

Сабет все это явно забавляло.

— Какой же она была тогда?

Я обхватил ладонями ее голову и крепко держал, как держат собачьи морды; она не могла вырваться, хоть я и чувствовал упругую силу сопротивления ее затылка. Но мои руки сжимали ее как тиски. Она зажмурилась. Я не целовал ее. Я только держал ее голову. Как вазу, легкую и хрупкую. Постепенно она стала тяжелеть.

— Ой, мне больно!

Мои руки держали ее голову, пока она медленно не открыла глаза, чтобы понять, что же я, собственно, от нее хочу: я и сам этого не знал.

— Серьезно,— сказала она,— пусти, ты делаешь мне больно.

Я должен был что-то сказать; Сабет снова закрыла глаза, как пес, когда ему вот так, ладонями, сжимают морду.

Потом мой вопрос...

— Пусти меня,— повторила она.

Я ждал ответа.

— Нет,— сказала она,— ты не первый мужчина в моей жизни. Ты же сам это знаешь.

Ничего я не знал.

— Нет. И не терзайся, пожалуйста.

Она так старательно приглаживала растрепанные волосы, что можно было подумать, будто ее волнует только прическа. Она вытащила из заднего кармана черных джинсов свою зеленую расческу и принялась рассказывать — вернее, не рассказывать, а просто так говорить:

— He's teaching in Yale [1].

Заколку она зажала в зубах.

— А второго,— сказала она, не выпуская заколки изо рта и расчесывая волосы,— ты видел.

Должно быть, она имела в виду того молодого человека, с которым играла в пинг-понг.

---

[1] Он преподает в Йельском университете *(англ.)*.

— Он хочет на мне жениться, но это была с моей стороны ошибка, он мне совсем не нравится.

Потом ей понадобилась заколка, она вынула ее изо рта, но рот так и не закрыла и, не произнеся больше ни слова, собрала волосы в конский хвост. Потом продула расческу, бросила взгляд на Тиволи и поднялась.

— Пошли? — спросила она.

По правде говоря, и мне не хотелось здесь дольше сидеть, а хотелось встать, взять ботинки, надеть их — конечно, сперва носки, а потом уже ботинки — и уйти.

— Ты считаешь, что я плохая?

Я ничего не считал.

— Вальтер! — сказала она.

Я взял себя в руки.

— It's okay,— сказал я,— it's okay.

Потом мы пошли пешком назад по Аппиевой дороге.

Мы уже сидели в машине, когда Сабет снова заговорила об этом («Ты считаешь, что я плохая?») и все допытывалась, о чем я думаю, но я вставил ключ, чтобы завести мотор.

— Брось, не будем об этом говорить.

Мне хотелось ехать. Но мы не тронулись с места, и Сабет говорила о своем папе, о разводе родителей, о войне, о маме, об эмиграции, о Гитлере, о России.

— Мы даже не знаем,— сказала она,— жив ли папа.

Я снова заглушил мотор.

— Путеводитель у тебя? — спросила она.

Сабет изучала карту.

— Вот Порта Сан-Себастьяно, тут нам надо свернуть направо, и мы попадем в Сан-Джованни.

Я снова включил мотор.

— Я знал его,— сказал я.

— Папу?

— Да, Иоахима,— сказал я.

Потом я поехал, как мне было приказано: до Порты Сан-Себастьяно, там свернул направо, и вскоре мы очутились перед очередной базиликой.

И мы пошли ее осматривать.

Быть может, я трус. Я не решался больше сказать что-нибудь об Иоахиме или задать вопрос. Про себя я производил расчеты (хотя и болтал в это время, как мне кажется, больше обычного), без конца пересчитывал, пока все не сошлось, как я хотел: Сабет могла быть только дочкой Иоахима! Как я это высчитал, не знаю; я все подбирал даты, пока расчет и в самом

деле не оказался правильным, сам по себе расчет. В пиццерии, когда Сабет выпила, я насладился тем, что еще раз письменно проверил расчет — все снова сошлось: дело в том, что даты (сообщение Ганны, что она ждет ребенка, и мой отъезд в Багдад) я подобрал таким образом, чтобы все непременно сошлось. Точным было только одно — число, день рождения Сабет, а остальное мне подсказала арифметика. Но все же камень с души свалился. Сабет, я знаю, считала, что в тот вечер я был особенно в ударе, на редкость остроумен. До полуночи мы сидели в этой живописной пиццерии между Пантеоном и пьяццо Колонна, где уличные гитаристы и певцы, обойдя рестораны для иностранных туристов, пировали на собранные деньги — ели пиццу и пили стаканами кьянти. Я угощал их всех вином, и настроение все поднималось.

— Вальтер,— сказала она,— до чего же здорово!

Мы возвращались в нашу гостиницу (виа Венето) в чудном расположении духа — не пьяные, но навеселе — и острили наперебой. Так мы дошли до гостиницы; перед нами распахнули большую стеклянную дверь; в вестибюле, украшенном лепниной, нам тут же протянули ключи от наших номеров; к нам обратились в соответствии с записью в регистрационной книге:

— Mister Faber, Miss Faber, good night! [1]

Не знаю, как долго стоял я в своем номере, не задергивая занавесок; типичный номер шикарной гостиницы — чрезмерно велик и чрезмерно высок. Я стоял, не раздеваясь, словно робот, который получил электронный приказ: «Умывайся!», но не срабатывает.

— Сабет,— спросил я,— что случилось?

Она остановилась в дверях моей комнаты, она вошла без стука.

— Скажи, в чем дело?

Она была босиком, в желтой пижаме и накинутом на плечи черном пальто с капюшоном; заходить ко мне она не собиралась, а просто хотела еще раз пожелать спокойной ночи. Я увидел, что у нее заплаканные глаза.

— С чего ты взяла, что я тебя больше не люблю? — спросил я.— Из-за этого Гарди или как его там зовут?

И вдруг Сабет зарыдала...

Потом она притихла. Я укрыл ее, потому что окно было распахнуто, а ночь прохладная; Сабет пригрелась, как будто

[1] Мистер Фабер, мисс Фабер, доброй ночи *(англ.)*.

успокоилась и крепко уснула, несмотря на уличный шум, несмотря на ее боязнь, что я уйду. Наверно, поблизости был перекресток, мотоциклы ревели на холостом ходу, а потом со скрежетом выжимали сцепление, но ужаснее всего была какая-то «альфа-ромео» — уже в который раз она с визгом тормозила у светофора, а затем на полном газу, как на гонках, срывалась с места, ее вой гулко отдавался в пролете пустой улицы. Время от времени били куранты на одной из римских церквей. Тишина длилась не долее трех минут, и снова вопль сирены, скрип тормозов, визг шин, трущихся об асфальт, скрежет сцепления, с холостого хода полный газ, все это совершенно бессмысленно, какое-то мальчишество, и вот опять дребезжание металла затормозившей машины — словно и в самом деле это была все та же «альфа-ромео», которая всю ночь носилась вокруг нас. Спать уже совсем не хотелось. Я лежал рядом с ней, не скинув даже пыльных ботинок, не развязав галстука; я боялся пошевельнуться, потому что ее голова покоилась на моем плече. По занавескам скользил блик от качающегося фонаря. Я лежал, словно распятый, боялся пошевельнуться; спящая девочка положила мне руку на грудь — вернее, на галстук, и он оттягивал мне шею. Я слушал, как били куранты час за часом, а Сабет спала — черный комочек с горячим дыханием и теплыми волосами, и я был не в силах думать о будущем. И снова «альфаромео»: вопль сирены, скрип тормозов, визг шин, трущихся об асфальт, скрежет сцепления и полный газ с холостого хода.

В чем же моя вина? Я встретил ее на теплоходе, когда распределяли места в ресторане, я стоял в очереди за девушкой с болтающимся конским хвостом. И почему-то обратил на нее внимание.

Я заговорил с ней, как обычно заговаривают друг с другом пассажиры на теплоходах. Я за ней не бегал, не рисовался перед ней — напротив, говорил с ней просто и даже более откровенно, чем обычно, в частности не скрыл, что я убежденный холостяк. Потом я предложил ей выйти за меня замуж, хотя не был в нее влюблен; мы оба сразу поняли, что все это глупости, и расстались. Зачем только я искал с ней встречи в Париже! Мы вместе пошли в оперу, потом съели мороженое, и я, не задерживая, отвез ее в дешевую гостиницу у Сен-Жермен, где она остановилась, и предложил ей, поскольку Вильяме предоставил мне на две недели свой «ситроен», ехать по «автостопу» со мной. В Авиньоне, где нужно было переночевать, мы оста-

новились, конечно, в одной гостинице, но на разных этажах (любое другое решение свидетельствовало бы о намерениях, которых у меня не было и в помине). Я никогда не думал, что случится то, что случилось. Я все помню очень точно. Это была ночь лунного затмения (13/V) — оно поразило меня неожиданностью; в тот день я газет не читал, и мы никак не были подготовлены к этому событию. Я сказал: «Что это такое с луной?» Мы поужинали на открытой веранде; было около десяти часов вечера, время ложиться спать, поскольку мы хотели выехать рано утром. То обстоятельство, что три небесных тела: Солнце, Земля и Луна — случайно оказались на одной прямой, что, естественно, привело к затмению Луны, почему-то нарушило мой душевный покой, будто я не знал, что такое затмение,— как только я заметил круглую тень Земли, прикрывавшую лунный диск, я поспешно заплатил за кофе, и мы пошли рука об руку на набережную Роны, чтобы битый час рука об руку стоять у парапета и наблюдать это столь простое физическое явление. Я объяснил Сабет, почему Луна, полностью покрытая земной тенью, все же четко виднеется на темном небе (тогда как в новолуние диск не виден) и кажется даже объемней, чем обычно. Не сияющий круг, как всегда, а словно шар, словно мяч, словно угасшее светило, словно огромный оранжевый сгусток остывающей магмы в глубинах вселенной. Не помню, что я говорил в тот час. Сабет тогда впервые поняла (это я помню), что я всерьез принимаю то, что происходит между нами, и поцеловала меня, как никогда прежде. Однако затмение было, пожалуй, тягостным зрелищем: огромный сгусток материи, который плывет — вернее, несется — в пустоте, вызывал зримый образ того, как мы, земной шар, тоже плывем — вернее, несемся — во мраке вселенной. Кажется, я говорил о жизни и смерти в общем виде; и мы оба были взволнованы, потому что еще никогда не видели такого полного затмения Луны, даже я не видел; и впервые у меня возникло тревожное чувство, что девушка, которую я до сих пор считал ребенком, в меня влюблена. Во всяком случае, в ту ночь, когда мы вернулись в гостиницу, простояв на набережной Роны до тех пор, пока не начали дрожать от холода, она сама пришла ко мне в номер.

Потом встреча с Ганной.

(3.VI в Афинах.)

Я узнал ее еще до того, как проснулся. Она разговаривала со старшей сестрой. Я знал, где нахожусь, и хотел спросить,

сделана ли уже операция,— но я спал совершенно изможденный, мне мучительно хотелось пить, но я не мог произнести ни слова; при этом я слышал ее голос, она говорила по-гречески. Мне принесли чай, но я был не в состоянии его пить; я спал, я все слышал и знал, что сплю, и знал еще вот что: когда проснусь, увижу Ганну.

Вдруг возникла тишина...

Ужас при мысли, что девочка умерла.

Я открыл глаза: белая комната, видимо лаборатория, дама, которая стоит у окна и думает, что я сплю и не вижу ее. Седые волосы, впечатление хрупкости; она стоит, засунув обе руки в карманы жакета, и ждет, глядя в окно. Кроме нас, в комнате никого нет. Чужая. Лица ее я не вижу, только затылок, коротко подстриженные волосы. Время от времени она вынимает носовой платок, чтобы высморкаться, и тут же прячет его в карман или нервно комкает в руке. Никаких других движений, она словно застыла: на ней очки в черной роговой оправе, по облику она похожа на врача, или на адвоката, или на кого-то в этом роде. Она плачет. Вдруг она подсунула пальцы под очки и стиснула лицо. Так она простояла довольно долго. Потом ей снова понадобились обе руки, чтобы развернуть мокрый платок, который она тут же засунула в карман, и вновь принялась ждать, уставясь в окно, в котором ничего не было видно, кроме планок спущенных жалюзи. Худенькая, спортивная фигура, прямо-таки девичья, если бы не волосы, почти совсем седые. Потом она еще раз вынула платок, чтобы протереть очки, и я увидел наконец ее лицо без очков. Смуглое лицо — если бы не голубые глаза, его можно было бы принять за лицо старого индейца.

Я притворился, что сплю.

Ганна с седыми волосами!

Видимо, я и в самом деле снова заснул, то ли на полминуты, то ли на полчаса, но вдруг моя голова, прислоненная к стене, качнулась вбок, я испугался — и Ганна увидела, что я проснулся. Она не сказала ни слова, только глядела на меня. Теперь она сидела в кресле, нога на ногу, и курила, подперев голову рукой.

— Как там? — спросил я.

Ганна молча докурила, потом сказала:

— Будем надеяться на лучшее. Все меры приняты, будем надеяться на лучшее.

— Она жива?

— Да,— сказала Ганна.

Она даже не поздоровалась со мной.

— Доктор Элетеропулос, к счастью, оказался в клинике,— сказал она.— Он считает, что это была не гадюка.

Она налила мне чашку чаю.

— Иди,— сказала она,— выпей-ка чаю.

Я совершенно не думал о том (говорю это без рисовки), что мы с ней не виделись двадцать лет. Мы говорили об операции, которую сделали час назад, или молчали, и вместе ждали дальнейших известий от врача.

Я пил чашку за чашкой.

— Знаешь ли ты,— сказала она,— что тебе тоже ввели сыворотку?

Я этого даже не почувствовал.

— Только десять кубиков, профилактически. Слизистая оболочка полости рта...

Ганна говорила очень по-деловому.

— Как это случилось? — спросила она.— Вы ведь сегодня были в Коринфе?

Меня знобило.

— Где твоя куртка?

Моя куртка осталась на берегу моря.

— Вы давно в Греции?

Ганна поражала меня: мужчина, друг, не мог бы задавать более деловых вопросов. Я попытался отвечать также по-деловому. К чему было без конца уверять, что я не виноват? Ведь Ганна ни в чем меня не упрекала, а просто задавала вопросы, не отводя глаз от окна. Так и не взглянув на меня, она спросила:

— Что было у тебя с девочкой?

Она сильно волновалась, я это видел.

— Почему он думает, что не гадюка? — спросил я.

— На, выпей еще чаю,— сказала она.

— Ты давно носишь очки? — спросил я.

Змеи я не видел, я только услышал, как Сабет вскрикнула. Когда я подбежал, она лежала без сознания. Я видел, как Сабет упала, и кинулся к ней. Она лежала на песке, потеряв сознание от падения,— так я сперва подумал, только потом я увидел ранку от укуса как раз над грудью, маленькую ранку, три царапинки друг возле друга, и я сразу понял, что произошло. Крови почти не было. Конечно, я тут же высосал ранку, как и полагается в таких случаях. Знал я также, что надо жгутом перетянуть вены, ведущие к сердцу. Но как тут перетя-

нешь? Укус был как раз над левой грудью. Еще я знал, что необходимо немедленно вырезать или выжечь ранку. Я кричал, звал на помощь, но стал задыхаться, прежде чем добежал до шоссе, неся Сабет на руках. Ноги утопали в песке, и меня охватило отчаяние, когда я увидел, как по шоссе промчался «форд». Я кричал что было сил, но «форд» промчался мимо. Я стоял, с трудом переводя дух, и прижимал к себе бесчувственную Сабет, которая становилась все тяжелее, и я уже еле удерживал ее на руках, потому что она мне никак не помогала. Это было настоящее шоссе, но в этот час оно оказалось абсолютно пустынным. Я чуть-чуть отдышался и побежал по шоссе, покрытому липким слоем битума; я бежал все медленнее, наконец перешел на шаг, к тому же я был босиком. Солнце стояло в зените. Я плелся по шоссе и плакал, пока с пляжа на дорогу не выехала запряженная ослом двуколка, рядом шел парень, по виду рабочий; он говорил только по-гречески, но, заметив ранку, сразу все понял. Потом я ехал на груженной мокрым гравием тряской тележке, держа девочку на руках. Она была в купальном костюме (бикини) и вся в песке. Я не мог положить ее на зыбкую кучу мелких мокрых камней и держал на руках, с трудом сохраняя равновесие. Я умолял рабочего погонять осла, но осел трусил не быстрее пешехода. Тележка была скрипучая, с вихляющими колесами, и километр мы ехали целую вечность. Я сидел спиной к движению, ни одной машины так и не появилось. Я не понял, что мне сказал грек, почему он вдруг остановил тележку у колодца и привязал осла. Знаками он мне показал, чтобы я ждал его. Я умолял его ехать дальше, не теряя времени; я не понимал, что он имеет в виду, почему он оставил меня одного на тележке, одного с девочкой, потерявшей сознание, которой нужно было как можно скорее ввести сыворотку. Я снова высосал ранку. Оказалось, он направился к хижинам — видимо, за помощью. Не знаю, как он представлял себе эту помощь: то ли настой из трав, то ли заговор, то ли еще что-нибудь? Он посвистел, потом пошел дальше, потому что из хижин никто не вышел. Я подождал его еще несколько минут, а потом с девочкой на руках побежал вперед, пока снова не выбился из сил. Больше я не мог сделать ни шагу. Я положил Сабет на обочину шоссе — бежать все равно не имело никакого смысла. Не мог же я ее на руках донести до Афин. Либо придет машина, которая нас подберет, либо нет. Когда я снова принялся высасывать ее маленькую ранку над грудью, я заметил, что к Сабет медленно возвращается сознание: глаза ее широко раскрылись, но взгляд

еще был бессмысленный. Она просила пить. Хриплый голос, замедленный пульс, рвота, холодная испарина. На месте укуса появилась, теперь я это ясно видел, иссиня-красная припухлость. Я побежал вдоль дороги, надеясь где-нибудь найти воду, но вокруг ничего не было, кроме оливковых деревьев да чертополоха на сухой земле,— ни единого человека, только несколько коз в тени; я мог звать и кричать, сколько мне заблагорассудится — был полдень, и мертвая тишина вокруг; я стоял на коленях возле Сабет. Она была в сознании, но в каком-то полусне, словно парализованная. К счастью, я заметил грузовик вовремя и успел выскочить на середину шоссе. Шофер затормозил. Машина была нагружена длинными железными трубами и направлялась не в Афины, а в Мегару — все же в нужную нам сторону. Я сел в кабину рядом с шофером, держа Сабет на руках. Грохот труб в кузове, и к тому же черепашья скорость — не более тридцати километров по ровной дороге! Куртка моя осталась на берегу моря, а деньги в кармане куртки. В Мегаре я дал шоферу, который тоже понимал только по-гречески, мои часы «Омега», чтобы он немедленно, не стружая труб, ехал дальше. В Элевзисе, где ему пришлось заправляться, мы потеряли еще четверть часа. Никогда не забуду этого пути. Боялся ли шофер, что если я пересяду на другую машину, то потребую у него назад свои часы,— я не знаю, но, так или иначе, он дважды помешал мне пересесть. В первый раз нас обогнал автобус-пульман, в другой раз легковая машина, которую я мог бы остановить, но наш водитель крикнул что-то по-гречески, и машина умчалась. Он во что бы то ни стало хотел быть нашим спасителем, хотя шофер он был прескверный — подъем после Дафни мы едва смогли одолеть. Сабет спала, и я не знал, откроет ли она еще когда-нибудь глаза. Наконец мы въехали в пригород Афин, но двигались все медленнее — задерживали светофоры, уличные пробки, а наш грузовик с торчащими из кузова длинными трубами был еще менее способен маневрировать, чем все остальные машины, хотя их пассажиры не нуждались в сыворотке. Омерзительный город, толчея, трамваи и ослики, запряженные в повозки. Конечно, наш шофер не знал, где находится больница, он беспрерывно останавливался и спрашивал прохожих; мне казалось, он никогда ее не найдет. Я либо закрывал глаза, либо глядел на Сабет, которая дышала очень медленно (оказалось, что все больницы в Афинах находятся на противоположном конце города). Наш шофер, деревенский парень, не знал даже названия улиц, которые ему говорили; я только и слышал: «Леофорес, Леофорес». Я пытался ему по-

мочь, но даже не мог прочитать надписи на табличках — мы никогда не нашли бы больницы, если бы не один паренек, который вскочил на подножку и указал нам дорогу.

Затем эта приемная.

Поток вопросов по-гречески.

Наконец появилась старшая сестра — дьяконисса,— которая понимала по-английски, женщина с сатанинским спокойствием: ее основная забота — выяснить, кто мы такие!..

Врач, который обследовал Сабет, успокоил нас. Он понимал по-английски, а отвечал по-гречески; Ганна переводила мне самое важное — в частности, его объяснения, почему он считает, что Сабет укусила не черная гадюка, а випера (Aspisviper); по его мнению, я принял единственно верное решение — доставить девочку в больницу. О применяемых в этих случаях народных средствах (высасывание места укуса, выжигание или иссечение ранки, перетягивание жгутом пораженной конечности) он был, как специалист, невысокого мнения; надежным считал только вливание сыворотки не позже чем через три-четыре часа после укуса, а иссечение ранки — лишь дополнительная мера.

Он не понимал, кто я такой.

Я тоже был в хорошем виде: потный, запыленный, как тот возчик гравия, босой, ноги сбиты и перепачканы варом, в грязной рубахе, без куртки — настоящий бродяга. Врач обратил внимание на состояние моих ног и попросил сестру сделать перевязку. Обращался он только к Ганне, пока она меня не представила:

— Mister Faber is a friend of mine [1].

Вот что меня успокоило: смертность от укусов змей (черные гадюки и випера всех видов) составляет от трех до десяти процентов. Даже при укусах кобры число смертных случаев не превышает двадцати пяти процентов, что ни в коей мере не соответствует тому суеверному страху перед змеями, который еще повсеместно распространен.

Ганна тоже заметно успокоилась.

Жить я мог у Ганны.

Но я не хотел уходить из больницы, не повидав Сабет; я настоял на том, чтобы мне разрешили зайти в палату хотя бы на минуту (врач не стал возражать), но меня поразила Ганна:

---

[1] Мистер Фабер — мой друг *(англ.)*.

она вела себя так, словно я собирался украсть у нее дочку, и минуты не дала мне там пробыть.

— Пошли,— сказала Ганна,— она теперь спит.

Быть может, это счастье, что девочка нас не увидела. Она спала с полуоткрытым ртом (чего обычно с ней не бывало) и была очень бледна, уши ее казались мраморными; она дышала учащенно, хоть и ритмично, как-то успокоенно; и, когда я подошел к ее кровати, она повернула голову в мою сторону. Но она спала.

— Пошли,— сказала Ганна,— оставь ее в покое.

Конечно, я бы охотней остановился в гостинице. Почему я этого ей не сказал? Быть может, и Ганне было бы приятней. Мы ведь даже еще друг другу руки не подали. В такси, когда мне это вдруг пришло в голову, я сказал ей:

— Здравствуй, Ганна.

Она усмехнулась, как усмехалась всегда в ответ на мои неудачные остроты — наморщив лоб у переносицы.

И сразу стала очень похожа на свою дочь.

Конечно, я этого не сказал.

— Где ты познакомился с Эльсбет? — спросила она.— На теплоходе?

Сабет писала ей о немолодом уже человеке, который на теплоходе, перед самым Гавром, вдруг сделал ей предложение.

— Это было? — спросила она.

Наш разговор в такси: одни вопросы без ответов.

Почему я зову ее Сабет? Это она спросила вместо ответа на мой вопрос: «Почему ты зовешь ее Эльсбет?» И все перемежается ее объяснениями: вот театр Дионисий. Почему я зову ее Сабет? Да потому, что Элисабет, на мой вкус, невыносимое имя. И опять она указывает мне на какие-то полуразрушенные колонны. Почему именно Элисабет? Я бы никогда так не назвал ребенка. Остановка у светофора, обычная пробка. Но ее назвали Элисабет по желанию отца, и тут уж ничего не поделаешь. Она перекинулась какими-то фразами по-гречески с водителем, который обругал пешехода. У меня возникло впечатление, что мы едем по кругу, и это меня раздражало, хотя теперь вдруг оказалось, что спешить нам некуда. Ее вопрос:

— Ты потом когда-нибудь встречал Иоахима?

Афины казались мне отвратительным городом, типичные Балканы; я не понимал, где живут люди; провинция, чуть ли не деревня, восток, кишащие толпы на мостовых, а вокруг — мерзость запустения, развалины, и к тому же еще претензии на

столицу; одним словом — отвращение. Мы остановились сразу после того, как она задала свой вопрос.

— Приехали? — спросил я.

— Нет еще,— сказала она,— я сейчас вернусь.

Это был институт, в котором Ганна работала; мне пришлось ждать ее в такси, и даже сигарет у меня не было; я попытался было от нечего делать читать вывески, но почувствовал себя неграмотным и как-то совсем растерялся.

Потом мы снова поехали к центру города.

Когда Ганна вышла из подъезда института, я ее в первый миг не узнал, а то непременно вышел бы из машины и распахнул перед ней дверцу.

Потом ее квартира.

— Я пойду вперед,— говорит она.

Ганна идет впереди меня, дама с седыми, коротко стриженными волосами, в роговых очках — чужая, но мать Сабет или Эльсбет (так сказать, моя теща),— и я время от времени удивляюсь, что мы с ней почему-то на «ты».

— Располагайся, пожалуйста.

Встретиться через двадцать лет — этого я не ожидал, да и Ганна тоже; кстати, она права: не двадцать, а двадцать один, если быть точным.

— Ну, садись,— говорит она.

Ноги у меня болели.

Я, конечно, знал, что свой вопрос («Что было у тебя с девочкой?») она рано или поздно повторит, и я мог бы ей поклясться: «Ничего!» — и при этом не лгать, потому что я сам в это не верил, с тех пор как увидел Ганну.

— Вальтер,— говорит она,— почему ты не сядешь?

Я упрямо стоял.

Ганна подняла жалюзи.

«Главное — спасти девочку»,— беспрерывно твердил я про себя, то поддерживая разговор, то молча куря сигареты Ганны; она убрала с кресла книги, чтобы я мог сесть.

— Вальтер,— спрашивает она,— хочешь есть?

Ганна в роли матери...

Я не знал, что думать.

— Красивый у тебя отсюда вид,— говорю я.— Так это, значит, и есть знаменитый Акрополь?

— Нет,— отвечает она,— это Ликабетт.

У нее всегда была эта манера, прямо-таки маниакальная страсть, быть абсолютно точной даже во всем второстепенном: нет, это вовсе не Акрополь, это Ликабетт.

Я говорю ей:

— Ты не изменилась!

— Ты находишь? А ты разве изменился?

Ее квартира — жилище ученого (это я сказал ей совершенно откровенно, а позже Ганна в каком-то разговоре привела эти мои слова о жилище ученого в доказательство того, что и я считаю науку монополией мужчин, как и вообще все духовное). Стены уставлены книжными полками, а письменный стол завален черепками с этикетками. Впрочем, вообще-то я сперва не заметил в квартире старинных вещей, напротив, мебель была вполне современная, что, признаться, меня сильно удивило.

— Ганна,— говорю я,— а ты теперь идешь в ногу с веком.

Она только усмехнулась.

— Я это серьезно,— говорю я.

— А ты по-прежнему? — спрашивает она.

Иногда я переставал ее понимать.

— А ты по-прежнему забегаешь вперед? — спрашивает она. Я был рад, что Ганна хоть улыбнулась.

...И мне стало ясно: угрызения совести, которые испытываешь, когда не женишься на девушке, с которой был близок, оказываются совершенно напрасными. Ганне я был не нужен. Машины у нее не было, телевизора тоже, но она была довольна своей жизнью.

— Красивая у тебя квартира,— говорю я.

Я спросил ее про мужа.

— Да, Пипер,— говорит она.

Казалось, он ей тоже не нужен, даже в материальном отношении. Уже многие годы она сама зарабатывает себе на жизнь (в чем состоит ее работа я, честно говоря, и сейчас еще толком не понимаю), зарабатывает не очень много, но ей хватает. В этом я убедился. Ее костюм выдержал бы даже придирчивый взгляд Айви, и, не считая старинных стенных часов с потрескавшимся циферблатом, ее квартира, как я уже сказал, была обставлена вполне современно.

— А ты как живешь? — спрашивает она.

На мне был чужой пиджак, который мне одолжили в больнице, я себя в нем плохо чувствовал, он был не по мне, и я это все время ощущал: слишком широкий — я ведь худой — и при этом чересчур короткий, а рукава, как у детской курточки. Как только Ганна пошла на кухню, я его снял, но рубашка моя тоже никуда не годилась, она была вся перепачкана кровью.

— Может быть, примешь ванну, пока я приготовлю еду?

Она накрывала на стол.

— Охотно,— говорю я,— я насквозь пропотел.

Она вела себя трогательно-предупредительно и при этом очень деловито; она зажгла газовую колонку и объяснила мне, как ее выключать, принесла мыло и чистое махровое полотенце.

— Как ноги? — спрашивает она.

Она все время что-то делает.

— С какой стати в гостиницу? — недоумевает она.— Само собой разумеется, ты можешь жить здесь.

Я все время ощущал, что я не брит.

Ванна наливалась очень медленно. От горячей воды шел пар. Ганна разбавила ее холодной, будто я сам не мог этого сделать; я сидел на табуретке, как гость, ноги очень болели; Ганна открыла фрамугу, пар был такой густой, что сквозь него я видел только ее движения, а они за эти годы не изменились, нисколько не изменились.

— Я всегда думал, что ты злишься на меня за то, что у нас тогда получилось,— говорю я.

Ганна удивилась.

— Злюсь? За что? За то, что мы не поженились? Это было бы несчастьем...

Она просто высмеяла меня.

— Нет, серьезно, ты в самом деле думал, что я злюсь на тебя, Вальтер, злюсь двадцать один год подряд?

Ванна была готова.

— Почему несчастьем? — спрашиваю я.

Больше мы ни разу не говорили о нашей несостоявшейся женитьбе, Ганна была права, у нас теперь были иные заботы.

— Ты раньше знала,— спрашиваю я,— что смертность от укусов змей не превышает трех — десяти процентов?

Меня поразили эти цифры.

Но Ганна не придавала значения статистике, это я вскоре заметил. Я произнес в ванной комнате целую речь о статистике. Ганна равнодушно выслушала меня, не перебивая, и сказала:

— Твоя ванна стынет.

Не знаю, как долго я пролежал тогда в ванне, положив перевязанные ноги на борта,— я думал о статистике, об Иоахиме, который повесился, думал о будущем, думал... пока не замерз; сам не знаю, о чем думал, я, так сказать, не мог решиться признаться себе самому, о чем я думал. Я глядел на флакончики, тюбики и коробочки — всевозможные женские причиндалы, и я уже не мог представить себе Ганны — Ганна тогдашняя, Ганна сегодняшняя — ни той, ни другой я уже не мог себе

представить. Я закоченел в остывшей воде, но мне не хотелось снова влезть в окровавленную рубашку — я не ответил, когда Ганна меня окликнула.

Что это со мной случилось?

Я сам не знал.

Чай или кофе?

Я измучился за день, отсюда моя подавленность, мне, вообще-то говоря, несвойственная, отсюда и всякие дурацкие мысли (ванна — это саркофаг, как у этрусков), настоящий бред от общей подавленности и озноба.

— Да,— отвечаю я,— выхожу.

Собственно говоря, у меня не было намерений встречаться с Ганной: в Афинах я не собирался задерживаться, я хотел тут же, не теряя ни часу, отправиться на аэродром. Мой отпуск кончился.

Как доставить «ситроен», который мне одолжил Вильямс, назад в Париж, было для меня загадкой. Машина стояла в Бари, и я не знал даже имени хозяина гаража.

— Да,— кричу я.— Выхожу!

Но не двинулся с места.

Аппиева дорога...

Мумия в Ватикане...

Мое тело в воде...

Я не признаю самоубийства. Оно ведь не меняет того факта, что ты жил на земле, а в ту минуту я желал лишь одного — никогда не существовать!

— Вальтер,— спрашивает она,— ты выходишь?

Я не запер дверь ванной, и Ганна (так я себе это вдруг представил) могла бы свободно войти сюда и зарубить меня топором; я лежал с закрытыми глазами, чтобы не видеть своего старого тела.

Ганна говорила по телефону.

Почему все это произошло именно со мной?

Потом весь вечер я снова разговаривал, словно ничего не случилось. Без притворства. Собственно говоря, ничего и не случилось, ведь главное — что спасли Сабет. Благодаря сыворотке. Я спросил Ганну, почему она не верит статистике, а вместо этого верит в судьбу и тому подобное.

— Да что ты все со своей статистикой! — говорит она.— Вот если у меня было бы сто дочерей и всех бы ужалили гадюки, тогда — да, твои выкладки были бы уместны. Я потеряла бы от трех до десяти дочерей. Поразительно мало! Ты совершенно прав!

И она рассмеялась.

— А у меня только один-единственный ребенок!

Я не стал с ней спорить, и все же мы чуть было не поссорились — вдруг у нас обоих сдали нервы. Все началось с одного моего замечания.

— Ганна,— говорю я,— ты ведешь себя, как наседка.

У меня это слово вырвалось как-то невзначай.

— Прости меня, но это так.

Только потом я понял, что меня разозлило: когда я вышел из ванны, Ганна говорила по телефону. Она позвонила в больницу, когда я лежал в воде,— она говорила с Эльсбет.

Я невольно все слышал.

Обо мне ни слова.

Она говорила так, будто на свете существовала только она одна, Ганна, мать! Мать, которая волновалась за Сабет и теперь радуется, что девочка понемногу поправляется, даже уже может разговаривать: она говорила по-немецки, пока я не вошел в комнату, а потом перешла на греческий. Я не понял ни слова. Она повесила трубку.

— Как она себя чувствует? — спрашиваю я.

У Ганны словно гора с плеч.

— Ты сказала,— спрашиваю я,— что я здесь?

Ганна взяла сигарету.

— Нет,— говорит она.

Ганна вела себя как-то странно, я не мог поверить, что девочка не спросила обо мне; во всяком случае, я имел право, как мне кажется, знать все, о чем они говорили.

— Давай,— говорит Ганна,— поужинаем.

Взбесило меня вот что: ее ухмылка, будто я не имею права знать все.

— Давай,— говорит Ганна,— садись.

Но я не сел.

— Почему тебе неприятно, что я разговариваю со своей дочерью? — говорит она.— Почему?

Она и в самом деле вела себя (впрочем, я подозреваю, что так ведут себя все женщины, как бы они ни были интеллигентны), будто наседка, которая хочет спрятать своего цыпленка под крыло. Вот почему я и сказал про наседку, а потом — слово за слово — Ганна пришла в неистовство, я никогда не видел ее в таком диком раже. Ее главный довод:

— Она моя дочь, а не твоя.

Поэтому я спросил:

— Ее отец Иоахим, да?

Ганна не ответила на мой вопрос.

— Оставь меня в покое,— говорит она.— Что ты вообще от меня хочешь? Я не видела Эльсбет полгода, и вдруг этот звонок из больницы, я прибегаю и нахожу ее без сознания, даже не знаю, что случилось...

Я сказал, что беру назад свои слова.

— Слушай,— говорит она,— слушай, ты! О чем ты хочешь говорить с моей дочерью? Что ты вообще от нее хочешь? Что у тебя с ней?

Я видел, что Ганна дрожит.

Ганну никак не назовешь старой женщиной, но я, конечно, обратил внимание на ее увядшую кожу, набрякшие слезницы, лучистые морщинки возле глаз, мне все это нисколько не мешало, но просто я это отметил. Ганна похудела, стала более хрупкой. Я находил, что ее возраст, если можно так сказать, шел ей, был к лицу, кроме, пожалуй, несколько дряблой шеи, напоминавшей мне шею черепахи. Я снова сказал, что беру назад свои слова.

Я вдруг понял, как Ганна привязана к своей девочке, как она считала дни, ожидая ее возвращения, понял, что матери нелегко, когда дочка, к тому же единственная, впервые покидает дом.

— Она уже не ребенок,— говорит она.— Я сама отправила ее путешествовать, ведь рано или поздно ей все равно придется начать свою собственную жизнь; я знаю, настанет день, когда она больше не вернется домой.

Я не перебивал Ганну.

— Уж так это устроено,— сказала она.— Мы не можем удержать в руках уходящую жизнь, и ты, Вальтер, тоже не можешь.

— Знаю,— говорю я.

— Чего же ты пытаешься? — спрашивает она.

Я не всегда понимал Ганну.

— Наша жизнь продолжается в детях,— говорит она.

Я спросил Ганну о ее работе.

— Уж так это устроено,— говорит она.— Мы не можем жениться на наших детях.

На мой вопрос она не ответила.

— Вальтер,— спрашивает она,— сколько тебе теперь лет?

Вот ее рассуждения: у нее не сто дочерей, а одна-единственная (я это знаю), а у ее дочери только одна-единственная жизнь (это я тоже знаю), как у каждого человека; у нее у самой — у Ганны — тоже была одна-единственная жизнь, жизнь,

которая не удалась, и у меня (знаю ли это я?) только одна-единственная жизнь.

— Ганна,— говорю я,— мы оба это знаем.

Наша еда остыла.

— Почему не удалась? — спрашиваю я.

Ганна курила. Курила вместо того, чтобы есть.

— Ты мужчина,— говорит она,— а я женщина. Это не одно и то же. Вальтер.

— Надеюсь,— рассмеялся я.

— У меня больше не будет детей.

Эту фразу она повторила дважды за вечер.

— Чем я занимаюсь? Ты же видишь — классифицирую черепки. Вот эта кучка была когда-то вазой. Эпоха критской культуры. Я склеиваю прошлое.

Я вовсе не считал, что жизнь Ганны не удалась. Напротив. Я не знаю ее второго мужа, Пипера,— она познакомилась с ним в эмиграции. Ганна никогда о нем не говорит, хотя и носит его фамилию (это меня и сейчас продолжает удивлять): доктор Ганна Пипер. При этом Ганна всегда поступала так, как ей казалось правильным, что для женщины, по-моему, уже немало. Она устроила свою жизнь, как хотела. Почему у нее ничего не вышло с Иоахимом, она, собственно говоря, толком не рассказала. Она называет его милым человеком. Ни тени упрека; разве что считает нас, мужчин, смешными. Возможно, все дело в том, что Ганна многого ждала от мужчин, но тем не менее она их любит. Уж если упреки, то это упреки себе самой. Если бы она могла или должна была прожить еще одну жизнь, она бы любила мужчин совсем по-другому. Она считает естественным, что мужчины (говорит она) ограниченны, и сожалеет только о своей собственной глупости — о том, что каждого из нас (я не знаю, сколько нас было) считала исключением. При этом я думаю, что Ганну меньше всего можно назвать глупой. А вот она считает себя глупой. Она убеждена, что глупо женщине хотеть быть понятой мужчиной: мужчина (говорит Ганна) желает, чтобы женщина оставалась тайной, невозможность ее понять волнует его и приводит в восторг. Мужчина слышит только самого себя, считает Ганна, поэтому жизнь женщины, ожидающей от мужчины понимания, не может сложиться удачно. Так говорит Ганна. Мужчина считает себя властелином мира, а женщину — своим зеркалом. Властелин не обязан изучать язык тех, кого поработил, а женщина вынуждена знать язык своего господина, но от этого ей мало проку, ибо она осваивает язык, на котором всегда оказывается неправой. Ганна сожалеет,

что стала доктором филологии. До тех пор пока бог представляется в образе мужчины, а не супружеской пары, жизнь женщины, как уверяет Ганна, будет такой, какой она есть теперь, а именно жалкой жизнью, ибо женщина — пролетарий творенья, сколь бы ни был прекрасен ее облик. Ганна казалась мне сменной — женщина пятидесяти лет, которая философствует, как подросток, женщина, которая выглядит все еще безупречно, просто привлекательно, и при этом личность — это мне было ясно,— дама, которая внушает к себе глубокое уважение. Я не мог не вспомнить, как с ней, например, говорили в больнице, а ведь она иностранка, живущая в Афинах каких-нибудь три года,— все же с ней обращались, будто она профессор, чуть ли не лауреат Нобелевской премии! Мне было ее жаль.

— Вальтер, ты ничего не ешь.

Я схватил ее за руку.

— Послушай, ты, пролетарий творенья...

Но Ганна не была сейчас склонна шутить; она подождала, пока я отпущу ее руку.

— Что вы успели посмотреть в Риме? — спрашивает она.

Я доложил.

Ее взгляд...

Я рассказывал о Риме, а она глядела на меня так, словно я привидение, чудовище с хоботом и когтями, монстр, который пьет чай.

Этот взгляд я никогда не забуду.

Она не сказала ни слова...

Я снова заговорил, потому что молчать было невозможно, о смертности от укусов змей и вообще о статистике.

Ганна сидела словно глухая.

Я не смел глядеть ей в глаза — я то и дело вспоминал, правда только на секунду (дольше я был не в силах об этом думать), что я обнимал Сабет, вернее, что Ганна, которая сейчас сидит передо мной, ее мать, мать моей возлюбленной и тоже моя возлюбленная.

Не знаю, что я говорил.

Ее рука, лежавшая на столе (я теперь обращался, так сказать, только к ее руке) была какой-то особенной: маленькая, словно рука ребенка, но при том куда более старая, чем сама Ганна, первая и все же вялая, уродливая,— собственно говоря, и не рука вовсе, а какая-то бесформенная ладонь, пухлая и вместе с тем костлявая, увядшая, словно восковая, но обсыпанная мелкими веснушками; впрочем, пожалуй, и не уродливая,

наоборот, даже чем-то привлекательная, но совсем чужая, что-то в ней было ужасное, печальное, незрячее; я говорил и говорил, не переставая, потом умолк; я пытался представить себе руку Сабет, но безуспешно, я видел только ту, что лежала на столе рядом с пепельницей — кусок человеческого мяса с голубыми жилками, просвечивающими сквозь кожу, похожую на измятую папиросную бумагу, столь же тоненькую и вместе с тем глянцевитую.

Я сам смертельно устал.

— Собственно, она еще ребенок,— сказала Ганна.— Или ты думаешь, что она уже была близка с кем-нибудь?

Я поглядел Ганне в глаза.

— Да я совсем не страшусь этого,— говорит Ганна,— нисколько не страшусь.

Вдруг она стала убирать со стола.

Я ей помогал.

Что же касается статистики, так Ганна и слышать о ней не хотела, потому что верит в судьбу, я это сразу заметил, хотя открыто она этого не высказывала. Все женщины имеют склонность к суеверию, но Ганна ведь широкообразованный человек; поэтому я был удивлен. Она говорит о мифах, как мы, люди техники, говорим, например, о законах термодинамики, то есть о законах физики, которые постоянно подтверждаются опытом,— говорит совершенно будничным тоном, не испытывая никакого удивления. Эдип и сфинкс, по-детски наивно изображенные на черепке вазы, Эринии, или Эвмениды, или как они там еще называются,— все это для нее реальность; и ей кажется вполне уместным ссылаться на мифологию в самом серьезном разговоре. Не говоря уже о том, что я не силен в мифологии, да и вообще в беллетристике, мне не хотелось с ней спорить; у нас и без того хватало насущных забот.

5/VI мне надо быть в Париже.

7/VI — в Нью-Йорке.

10/VI (как крайний срок) — в Венесуэле.

Ганна работает в институте археологии, там они все время имеют дело с богами, твердил я себе, на всех нас, инженерах, небось тоже чувствуется профессиональная деформация личности, хотя мы за собой этого не замечаем. Но я не смог сдержать смеха, когда Ганна ссылалась на богов.

— Ну что ты все со своими богами!

Она тут же умолкла.

— Я никогда бы не уехал,— говорю я,— если бы не было ясно, что девочка спасена, уж можешь мне поверить.

Казалось, Ганна меня понимает; она мыла посуду, пока я вкратце рассказывал ей о моих служебных обязательствах и вытирал чашки — как двадцать лет назад, заметил я, вернее, двадцать один год.

— Ты считаешь?

— А ты нет?

Каким образом у Ганны получилось двадцать один год, а не двадцать, я не знаю, но я решил придерживаться ее числа, чтобы она меня всякий раз не поправляла.

— Уютная кухня,— говорю я.

И вдруг снова ее вопрос:

— Ты потом встречался с Иоахимом?

Когда-нибудь мне, конечно, придется сказать ей, что Иоахим ушел из жизни, но только не сегодня, думал я, не в первый же вечер.

Я заговорил о другом.

Наши ужины тогда, в ее комнатке.

— Ты помнишь фрау Оппикофер?

— Что это ты ее вспомнил? — спрашивает она.

— Да просто так,— говорю я.— Помнишь, как она стучала в стенку щеткой, когда я засиживался у тебя позже десяти...

Наша посуда была вымыта и вытерта.

— Вальтер,— спрашивает она,— хочешь кофе?

Воспоминания всегда смешны.

— Да,— говорю я,— через двадцать лет над этим можно посмеяться.

Ганна поставила кипятить воду.

— Вальтер,— повторяет она,— я тебя спрашиваю, ты будешь пить кофе?

Она не хотела вспоминать старое.

— Да,— говорю,— с удовольствием.

Не могу понять, почему она считает, что ее жизнь не удалась. Если человеку удается прожить примерно так, как он когда-то себе наметил, то, по-моему, это уже здорово. Я восхищаюсь Ганной. Я никогда не думал, честно говоря, что филология и история искусств могут прокормить человека. При этом нельзя сказать, что Ганна не женственна. Ей к лицу иметь специальность. Еще когда она была женой Иоахима, она, видимо, все время работала, занималась переводами и тому подобным, а уж в эмиграции тем более. В Париже, после разрыва с Иоахимом, она поступила в издательство. Когда пришли немцы, она бежала в Англию и там сама зарабатывала себе на жизнь и содержала своего ребенка. Иоахим был тогда военным

врачом, его отправили в Россию, и он, конечно, не смог ей помогать. Ганна работала немецким диктором Би-би-си. И теперь еще она английская подданная. Господин Пипер, как мне кажется, обязан ей жизнью; Ганна вышла за него, когда он был еще в лагере (насколько я мог понять), недолго думая, руководствуясь главным образом своей давней любовью к коммунистам. Жизнь с господином Пипером принесла одни разочарования потому, что он оказался не коммунистом, а, скорее, оппортунистом. Как говорит Ганна, его бездумная ортодоксальность может довести его до предательства. Ганна только смеется: вот они, мужчины! Он готов следовать любой установке, лишь бы иметь возможность снимать свои фильмы. В июне 1953 года Ганна ушла от него. Он даже не замечает, что, проповедуя что-то сегодня, он отрекается от того, что говорил вчера, и наоборот: он полностью утратил непосредственно эмоциональное отношение к действительности. Ганна неохотно о нем рассказывает, но, чем меньше меня это интересует, тем подробнее она почему-то говорит. Ганна находит, что та позиция, которую Пипер занял по отношению к жизни, недостойна, однако весьма типична для целой категории мужчин: они совершенно слепы, уверяет Ганна, лишены всякого контакта с миром. Прежде у него было хоть чувство юмора, теперь он способен смеяться только над Западом. Ганна его ни в чем не упрекает; собственно говоря, она просто смеется над собой — вернее, над своей любовью к мужчинам.

— Почему ты считаешь, что твоя жизнь не удалась? — говорю я.— Ты себе это просто внушаешь, Ганна.

Меня она тоже считает слепым.

— Я вижу то, что есть,— говорю я,— твою квартиру, твою научную работу, твою дочь. Ты должна за это благодарить бога!

— Почему бога?

Ганна такая же, как прежде: она точно знает, что другой хочет сказать. Как она придирается к словам! Будто дело в словах. Даже когда пытаешься сказать что-то вполне серьезно, она вдруг возьмет да и придерется к какому-нибудь слову.

— Вальтер, с каких это пор ты веришь в бога?

— Послушай,— говорю я,— свари-ка кофе.

Ганна точно знала, что мне до бога нет никакого дела, и, когда я в конце концов это признал, выяснилось, что Ганна просто шутила.

— Почему ты решил,— спрашивает она,— что я религиозна? Ты думаешь, что женщине в период климакса ничего другого не остается?

Я сам стал варить кофе.

Я не мог себе представить, как все будет, когда Сабет вернется из больницы; Сабет, Ганна и я под одной крышей, например в этой кухне; Ганна, которая будет замечать, что я все время сдерживаю себя, чтобы не поцеловать ее девочку или хотя бы не обнять за плечи; Сабет, которая вдруг обнаружит, что я, собственно (словно обманщик, который снял с пальца обручальное кольцо), связан с ее мамой, принадлежу к другому поколению, хотя и обнимаю ее, Сабет, за плечи.

— Только она не должна идти в стюардессы,— говорю я,— я уже пытался ее отговорить.

— Почему?

— Да потому, что об этом и речи быть не может,— говорю я,— это не занятие для такой девочки, как Сабет, она ведь не такая, как все...

Кофе был готов.

— Почему бы ей не стать стюардессой?

При этом я знал, что и Ганна, как мать, отнюдь не была в восторге от этой ребяческой фантазии; она возражала мне исключительно из упрямства, чтобы показать, что меня это не касается:

— Вальтер, это ей решать!

Потом она мне сказала:

— Вальтер, это не твоя дочь.

— Я знаю.

С самого начала я боялся той минуты, когда придется сесть, потому что все дела окажутся переделанными; и вот эта минута настала.

— Ну,— говорит она,— я тебя слушаю!

Это получилось легче, чем я ожидал, почти будничпо.

— Расскажи мне,— говорит она,— что у вас было?

Меня поразило ее спокойствие.

— Ты можешь себе представить мой испуг,— говорит она,— когда я, придя в больницу, вдруг увидела тебя: ты сидел и спал...

Голос ее не дрогнул.

В каком-то смысле дальше все пошло так, будто не было этих двадцати лет между нами, точнее, будто все это время мы, несмотря на разлуку, провели вместе. Мы, конечно, многого не знали друг про друга, но все это были вещи внешние, о них и говорить не стоило — карьера и тому подобное. Что я должен был сказать? Ганна ждала.

— Тебе положить сахару? — спрашивает она.

Я говорил о моей профессии.

— Почему ты путешествовал с Эльсбет? — спрашивает она.

Ганна — женщина, но она совсем другая, чем Айви и все остальные, которых я знал, тут и сравнивать нельзя. И не такая, как Сабет, хотя Сабет во многом на нее похожа. Ганна куда более своя. Она посмотрела на меня без всякой вражды. Я даже удивился.

— Ты ее любишь? — спрашивает она.

Я пил кофе.

— Когда ты узнал, что я ее мать? — спрашивает она.

Я пил кофе.

— Ты еще не знаешь,— говорю я,— что Иоахим умер...

Я ведь решил этого не говорить.

— Умер? — спрашивает она.— Когда?

Я поддался какому-то порыву, теперь отступать было уже поздно; мне пришлось рассказать — надо же, именно в первый вечер! — всю историю про поездку в Гватемалу; Ганна хотела знать все, что я сам знаю, про Иоахима — и про его возвращение из России, и про его жизнь на плантации: с момента их разрыва она ничего о нем не слышала. Завершая рассказ, я все же не сказал, что Иоахим повесился, а соврал: angina pectoris [1]. Я был поражен, как хорошо она держится.

— Ты рассказал это Эльсбет? — спрашивает она.

Мы бесконечно долго молчим.

Она снова подсунула руку под роговые очки и сжимала лицо, будто боялась, что оно рассыплется; я казался себе извергом.

— Ты-то здесь чем виноват! — говорит она.

Ганна не плакала, и от этого было только еще тяжелей; она встала.

— Да,— говорит она,— пойдем спать.

Было уже около двенадцати — так мне, во всяком случае, представлялось,— ведь у меня теперь не было моих часов,— но и помимо этого возникло ощущение, что время остановилось.

— Ты будешь спать в комнате Эльсбет.

Мы стояли в ее комнате.

— Ганна, скажи мне правду: Иоахим ее отец?

— Да,— говорит она,— да!

В ту секунду я испытал облегчение — у меня не было основания считать, что Ганна лжет,— и тогда я думал (о буду-

---

[1] Грудная жаба *(лат.)*.

щем все равно думать было невозможно): самое главное, что девочке вовремя ввели сыворотку, что ее спасли!

Я протянул Ганне руку.

Так мы стояли, до того усталые, что едва держались на ногах,— по-моему, Ганна тоже; собственно говоря, мы уже попрощались, когда Ганна вдруг еще раз спросила:

— Вальтер, что у тебя было с Эльсбет?

Я был уверен, что она сама знает.

— Ну,— говорит она,— скажи!

Не знаю, что я ответил.

— Скажи, да или нет! — настаивает она.

Что сказано, то сказано.

Ганна еще улыбалась, словно она не слышала моего ответа; я испытывал облегчение оттого, что наконец все было сказано, я стал как будто бодрее, во всяком случае, у меня немного отлегло от души.

— Ты на меня не сердишься? — спрашиваю я.

Я предпочел бы спать на полу, но Ганна настояла на том, чтобы я отдохнул как следует. Постель уже была постлана — хрустящие простыни, все приготовлено для дочери, которая полгода пробыла на чужбине: на подушке — новая пижама, Ганна ее унесла; на ночном столике — цветы и шоколад, это осталось.

— Ты на меня не сердишься? — спрашиваю я.

— Тебе ничего не нужно? — спрашивает она.— Мыло вот здесь.

— Я не мог знать...— говорю я.

— Вальтер,— говорит она,— нам надо спать.

Она не сердилась, как мне показалось, она даже еще раз протянула мне руку. Она первничала, вот и все. Она торопилась уйти. Я слышал, что она пошла на кухню, где все уже было давно убрано.

— Я могу тебе помочь?

— Нет,— говорит она,— спи!

Комната Сабет: небольшая, но милая, и здесь тоже много книг, вид на Линкабетт; я еще долго стоял у открытого окна.

У меня не было пижамы.

Шарить по чужим комнатам, все там рассматривать, обнюхивать — это не в моем вкусе, но фотография стояла на видном месте — на книжной полке; и, в конце концов, я ведь сам знал Иоахима, ее отца, поэтому я позволил себе снять эту фотографию с полки.

Снимок был сделан в 1936 году в Цюрихе.

Собственно говоря, я решил лечь в постель и больше ни о чем не думать, но у меня не было пижамы, как я уже сказал, а только грязная рубашка.

Наконец Ганна ушла в свою комнату.

Было, наверное, уже около двух часов ночи, я примостился на краю чистой постели в той позе, в которой бездомные бродяги сидят на скамейках в городских садах,— склонившись вперед, они спят сидя, словно эмбрионы (мне это сравнение всегда приходит на ум, когда я их вижу), но я не спал.

Я пошел мыться.

Я постучал даже раз в стенку.

Ганна делала вид, будто спит.

Ганна не хотела со мной говорить; она сказала мне в тот вечер — уж не помню, в связи с чем,— чтобы я замолчал: «Все становится таким мелким, когда ты об этом говоришь!»

Быть может, Ганна и в самом деле спала.

Ее письма из Америки — я имею в виду письма Сабет — лежали на столе, целая стопка, с печатью из Йеля; потом одно письмо из Гавра и открытки с видами из Италии; я прочел одну-единственную, потому что она упала на пол: привет из Ассизи (обо мне упоминания не было), тысяча поцелуев маме, крепко обнимаю.

Я выкурил еще сигарету.

Потом я попытался выстирать рубашку.

Не знаю, почему я решил, что все уже позади, во всяком случае худшее, и почему я думал, что Ганна в самом деле спит.

Я стирал, стараясь делать как можно меньше шума.

Не буду отрицать, что на какие-то минуты я просто забывал, что произошло,— вернее, все случившееся казалось мне сном, вроде того, когда снится, что ты приговорен к смерти, но знаешь, что этого не может быть, что надо только проснуться...

Я повесил свою мокрую рубашку на окно.

Я разглядывал лицо Иоахима, приятное мужское лицо, но сходства с Сабет я не находил.

— Ганна,— крикнул я,— ты спишь?

Ответа не последовало.

Я замерз, потому что был без рубашки, но мне почему-то не приходило в голову взять ее халат, который висел на двери, я его видел.

Вообще все ее девчоночьи вещи!

Ее флейта на книжной полке...

Я потушил свет.

Видимо, Гаппа довольно долго плакала, уткнувшись лицом в подушку, прежде чем оказалась не в силах сдержать рыдания,— я испугался, когда услышал ее плач; моя первая мысль — она соврала, я отец Сабет. Она рыдала все громче, и наконец я подошел к ее двери и постучал.

— Гаппа,— говорю,— это я.

Она закрыла дверь на задвижку.

Я стоял и слушал ее всхлипывания; тщетно я умолял ее выйти и сказать мне, в чем дело,— в ответ раздавались только всхлипывания, то тихие, то снова громкие, и конца этому не было, а когда наступала тишина, становилось еще страшней, я прикладывал ухо к двери и не знал, что и думать, часто у нее просто пропадал голос, я с трудом улавливал чуть слышное стенание и даже испытывал некоторое облегчение, когда до меня снова доносились ее всхлипывания.

У меня не было перочинного ножа и вообще ничего подходящего.

— Гаппа,— говорю я,— открой!

Когда мне удалось с помощью кочерги приоткрыть наконец дверь, Гаппа навалилась на нее всем телом, она даже закричала, когда меня увидела. Я стоял полуголый, может быть, она закричала поэтому. Конечно, мне было ее жалко, и я не стал силой открывать дверь.

— Гаппа,— говорю,— это я!

Она хотела быть одна.

Сутки назад (мне это показалось воспоминанием юности) мы с Сабет сидели еще в Акрокоринфе, ожидая восхода солнца. Этого я никогда не забуду. Мы приехали из Патраса и сошли в Коринфе, чтобы осмотреть развалины храма с его знаменитыми семью колоннами, а потом пошли ужинать в придорожную гостиницу, расположенную поблизости. Ведь Коринф, вообще-то говоря,— жалкий городишко, совсем деревня. Когда выяснилось, что в гостинице нет свободных номеров, было уже поздно, сгущались сумерки; тогда я предложил Сабет идти пешком дальше, прямо в ночь, спать где-нибудь под смоковницей, и она сочла эту идею гениальной. Собственно говоря, я предложил идти дальше скорее в шутку, но раз Сабет пришла от этого в восторг, мы отправились в путь прямо по полю, чтобы найти подходящее дерево. Потом — дикий лай собак, охранявших стадо, топот овечьих копыт; судя по лаю, собаки были лютые, и на тех холмах, куда они нас загнали, уже не было смоков-

ниц, там рос только чертополох да гулял ветер. О том, чтобы спать, и речи быть не могло! Я и не предполагал, что ночь в Греции может быть такой холодной — а ведь это была к тому же июньская ночь! Мы шли по тропинке среди скал, не имея понятия, куда она нас приведет; тропинка была каменистая, пыльная, и в лунном свете казалась совсем белой. «Будто гипсовая»,— сказал я; Сабет сказала: «Словно заснеженная!» Наконец мы сговорились: словно залитая простоквашей. А над нами нависали черные скалы. «Как уголь»,— сказал я, но Сабет снова нашла какое-то другое сравнение, и так мы развлекались, забираясь все выше и выше.

Крики осла в ночи. «Будто настраивают виолончель»,— говорит Сабет, а по-моему — как скрип тормозов! Кроме этого, ни звука, мертвая тишина. Собаки тоже умолкли, как только перестали слышать шаги. Белые домики Коринфа как рассыпанные куски рафинада. Ищу другое сравнение только для того, чтобы продолжать игру. «Последний черный кипарис как восклицательный знак!» — говорит Сабет; я спорю: у восклицательных знаков тонкий кончик внизу, а не наверху. Всю ночь мы бродили и не встретили ни одного человека. Вдруг заблеяла коза, и мы испугались, а потом опять тишина над черными, пахнущими мятой склонами. Тишина, в которой слышны удары сердца. Жажда. Только шелест ветра в сухой траве. «Как будто рвут шелк»,— говорит Сабет. Мне пришлось долго искать сравнение. Часто я вообще ничего не находил, и тогда Сабет по правилам игры получала очко. Ей почти всегда что-нибудь да приходило в голову. Башни и зубцы средневековой крепости — как декорация в опере! Мы минуем одни ворота, затем другие, нигде не журчит вода; мы вслушиваемся в эхо наших шагов, отлетающее от стены турецкого бастиона. Но стоит нам остановиться, как снова возникает мертвая тишина. «Наши длинные тени как вырезанные ножницами силуэты»,— говорит Сабет. Мы вели счет, кто первый наберет двадцать одно очко, как в шнип-шнапе, потом снова начинали с нуля и так до тех пор, пока вдруг среди ночи не оказались на вершине горы. Наша комета уже скрылась. Вдалеке мерцало море. «Как оцинкованная жесть»,— сказал я, а Сабет сказала, что ей холодно, но что все же это была великолепная идея — не ночевать в гостинице. Впервые в своей жизни она проводила ночь вот так, на воле. Мы ждали восхода солнца, я обнял Сабет, чтобы ее согреть, и чувствовал, как она дрожит, ведь перед рассветом всегда сильно холодает. Потом мы выкурили нашу последнюю сигарету. О наступающем дне, который

был для Сабет днем возвращения домой, мы не сказали ни слова. Около пяти утра начало светать: небо как тонкий фарфор! С каждой минутой светлели и море и небо, но не земля. Можно было догадаться, где находятся Афины; в светлых бухтах возникали черные островки. Твердь отделялась от воды, а над всем этим витало несколько утренних облачков. «Как пуховки с розовой пудрой!» — сказала Сабет, а я ничего не нашел в ответ и проиграл очко. 19 : 9 в пользу Сабет. Воздух в этот час как цветы осенницы. Я тоже нашел сравнение: как целлофан, которым ничего не обернуто. Потом стал различим прибой: как пивная пена! Сабет тоже находит: как кружевные оборки. Я беру назад свою пивную пену и предлагаю: как стеклянная вата! Но Сабет не знает, что такое стеклянная вата: а тут из моря вырвались первые лучи — как сноп пшеницы, как сверкающие копья, как трещины от удара на ветровом стекле, как дароносица, как фотоснимок пучка несущихся электронов. Но за каждый объект, так сказать, можно получить только одно-единственное очко, напрасный труд искать полдюжины сравнений, да к тому же за это время солнце успевает взойти и ослепить нас. «Как выход плавки в доменной печи»,— говорю я, а Сабет молчит и теряет очко... Я никогда не забуду, как она сидела на этой скале,— молча, с закрытыми глазами, озаренная солнцем. Она сказала, что счастлива, и я никогда не забуду всего этого: море, которое на глазах становилось темнее — сначала более синим, потом лиловым, море Коринфа и другое, Аттическое море; красноватая распаханная земля, серо-зеленые кроны оливковых деревьев и их длинные тени на красной земле. Первое тепло утренних лучей и Сабет, которая меня обнимает, словно я подарил ей все это — и море, и солнце, и все остальное; я никогда не забуду, как Сабет поет!

На столе стоял завтрак, который мне оставила Ганна, и лежала записка: «Скоро приду, Ганна». Я ждал. Я чувствовал себя очень небритым и обыскал всю ванную в поисках бритвы, но ничего не нашел в доме, кроме флакончиков, коробочек с пудрой, губной помады, каких-то тюбиков, лака для ногтей, заколок; в зеркале я увидел, как выглядит моя рубашка — еще ужаснее, чем вчера: пятна крови несколько побледнели, но зато расплылись.

Я ждал не меньше часа.

Ганна пришла из больницы.

— Как она себя чувствует? — спрашиваю я.

Ганна какая-то странная.

— Я подумала,— говорит она,— что тебе надо выспаться.

Потом говорит без обиняков:

— Я хотела побыть с Эльсбет вдвоем. Тебя это не должно обижать, Вальтер. Мы ведь двадцать лет прожили с ней вдвоем.

Я ей ничего не ответил.

— Это не упрек,— говорит она,— но ты должен понять. Мне хотелось побыть с ней вдвоем. И все. Я хотела с ней поговорить.

О чем же они говорили?

— Бог весть о чем.

— Обо мне? — спрашиваю я.

— Нет,— говорит она.— Она рассказывала про Йель. Только про Йель, про какого-то молодого человека по имени Гарди... В общем, всякую чушь.

Сведения, которые Ганна принесла из больницы, мне не понравились: скачущий пульс, вчера учащенный, сегодня замедленный, весьма замедленный, лихорадочный румянец на лице, как говорит Ганна, сильно суженные зрачки, затрудненность дыхания.

— Я хочу ее увидеть,— говорю я.

Ганна считала, что сперва надо купить рубашку.

С этим я не мог не согласиться.

Ганна позвонила куда-то по телефону.

— Все в порядке,— говорит она,— мне дают институтскую машину, чтобы мы могли поехать в Коринф за ее вещами и за твоими тоже. Там ведь твои ботинки и куртка.

Ганна в роли администратора.

— Все в порядке,— говорит она,— такси сейчас будет.

Ганна ни секунды не сидит на месте, все время что-то делает, поговорить с ней невозможно. Она высыпает окурки из пепельницы, опускает жалюзи.

— Ганна,— спрашиваю я,— почему ты на меня не смотришь?

Быть может, она этого сама не замечала, но это было так: в то утро Ганна на меня совсем не глядела. Разве я был виноват, что все так случилось? Правда, Ганна ни в чем меня не упрекала, ни на что не жаловалась, только вытряхивала пепельницы — мы ведь вчера весь вечер курили.

Я не выдержал.

— Слушай, разве мы не можем поговорить как люди?

И взял ее за плечи.

— Слушай,— говорю я,— посмотри на меня!

Ее плечи — я испугался, когда прикоснулся к ним,— у́же и нежнее, чем у дочери, какие-то более хрупкие, трудно допустить, что Ганна стала меньше; ее глаза, еще более красивые, чем прежде,— мне хотелось, чтобы они глядели на меня.

— Вальтер,— сказала она,— ты мне делаешь больно.

Я говорил глупости, но молчать, по-моему, было еще ужаснее; я сжал в ладонях ее лицо. Чего я хотел? Я и не думал целовать Ганну. Почему она вырвалась? Понятия не имею, что я говорил. Я только видел ее глаза, в которых вспыхнул ужас, ее седые волосы, ее лоб, нос — какое благородство линий (или как это еще сказать); все очень женственное, благороднее, чем у дочери, ее дряблая черепашья кожа на шее, веер морщинок на висках, глаза, в которых нет усталости, а только ужас, глаза еще более красивые, чем прежде.

— Вальтер,— говорит она,— ты чудовище!

Эту фразу она повторила дважды.

Я ее поцеловал.

Она, не мигая, глядела на меня, пока я не разжал руки; она молчала и даже не поправила волосы, она молчала — она проклинала меня.

Потом пришло такси.

Мы поехали в торговую часть города, чтобы купить рубашку — вернее, ее купила Ганна, у меня ведь не было денег; я ждал, сидя в такси, чтобы не показаться на людях в грязной рубашке; Ганна была трогательно внимательна ко мне; она даже вернулась назад, чтобы спросить, какой я ношу размер. Потом мы поехали в институт, где Ганна, как было договорено, получила машину «опель», и потом — к морю, чтобы привезти вещи Эльсбет и мой бумажник, вернее, мою куртку (там же был паспорт) и мою кинокамеру.

Ганна вела машину.

В Дафнии есть роща, где я мог бы, как мне казалось, переодеть рубашку, но Ганна покачала головой и не остановила машину, хотя я и развернул пакет.

О чем мы могли говорить!

Я говорил о греческой экономике: не доезжая Элевсина, я увидел крупное строительство — Greek government oil refinery [1], его осуществляли немецкие фирмы, но Ганну это сейчас (да и вообще никогда) не интересовало; однако молчать

[1] Греческий государственный нефтеочистительный завод *(англ.)*.

было тоже невыносимо. Она только один раз обратилась ко мне:

— Ты не знаешь, как называется то место?

— Нет.

— Теодори?

Я не знал, потому что мы приехали туда в автобусе из Коринфа и сошли там, где нам понравилось море, это было в семидесяти шести километрах от Афин, я прочел это на табличке у эвкалиптовой аллеи.

Ганна молча вела машину.

Я ждал подходящего случая, чтобы переодеть рубашку, мне не хотелось переодеваться в машине.

Мы проехали Элевсис.

Мы проехали Мегару.

Я рассказал о своих часах, которые отдал шоферу грузовика, потом стал рассуждать о времени вообще, о часах, которые могли бы повернуть время вспять.

— Стоп! — сказал я.— Вот здесь...

Ганна остановила машину.

— Здесь? — спросила она.

Я хотел ей только показать тот откос на обочине шоссе, где лежала девочка, пока нас не подобрал грузовик с трубами. Обычный каменистый откос, поросший чертополохом и красными маками, а рядом — прямое, словно отбитое по линейке шоссе, по которому я бежал, неся ее на руках, черная лента — вар и гравий; потом мы миновали тот колодец под оливковым деревом, каменистую пашню, белые домики под гофрированной жестью.

Наступил полдень. Как вчера.

— Давай поедем помедленнее, прошу тебя,— сказал я.

То, что длится вечность, когда бежишь босиком, занимает на «опеле» меньше двух минут. Все тут было точь-в-точь как вчера. Только у цистерны не стояла двуколка с гравием, запряженная ослом. Ганна и без того верила мне, не знаю, почему мне так хотелось ей все показать. Место, где двуколка, груженная мокрым гравием, выехала с пляжа на шоссе, было легко найти — сейчас еще виднелись следы колес и вмятины от ослиных копыт.

Я думал, Ганна будет ждать в машине.

Но Ганна вышла и пошла пешком по липкому от вара шоссе, я нашел линию, потом по дроковым зарослям стал спускаться вниз, я не понимал, почему Ганна не захотела остаться в машине.

— Вальтер,— сказала она,— вот как будто след!

Но мы приехали сюда, считал я, не ради того, чтобы искать кровавые следы, а чтобы найти мой бумажник, мою куртку, мой паспорт, мои ботинки...

Все лежало нетронутым.

Ганна попросила у меня сигарету.

Все как вчера!

Только прошли ровно сутки: тот же песок, тот же прибой — совсем слабый, набегают небольшие волны, но не разбиваются о берег, а тихо растекаются по песку, то же солнце, тот же ветер шумит в дроке, но рядом со мной стоит не Сабет, а Ганна, ее мать.

— Вы здесь купались?

— Да,— говорю я.

— Здесь хорошо,— говорит она.

Это было ужасно.

Что касается несчастного случая, то мне скрывать нечего. Берег здесь отлогий, и надо пройти не меньше тридцати метров по воде, чтобы можно было плавать; а в тот момент, когда я услышал ее крик, я был на расстоянии не менее пятидесяти метров от берега. Я видел, как Сабет вскочила на ноги. Я крикнул: «Что случилось?» Она побежала... После бессонной ночи на Акрокоринфе мы заснули на песчаном пляже, потом мне захотелось выкупаться и побыть одному, пока она спит. Перед тем как войти в воду, я осторожно, стараясь ее не разбудить, накрыл ей плечи рубашкой, чтобы она не обгорела на солнце. Тени здесь мало, одна-единственная пиния. Мы улеглись в лощинке под деревом, но потом, как это всегда бывает, тень передвинулась — вернее, солнце,— из-за этого я, кажется, и проснулся, потому что вспотел, да и к тому же — полуденная тишина; я вдруг испугался, быть может, мне что-то приснилось, а может, померещились чьи-то шаги. Я открыл глаза — кругом никого не было. Скорей всего, меня разбудил скрип двуколки или звяканье лопаты о гравий; но тогда я ничего не увидел. Сабет спала, и не было никакой причины пугаться — полдень как полдень, нет даже прибоя, только легкая зыбь у берега, и вода беззвучно обтекает гальку; лишь время от времени слышно, как, позвякивая, перекатываются камешки, и снова тишина, иногда прерываемая жужжанием пчелы. Я подумал: стоит ли плавать, когда у тебя сердцебиение? Некоторое время я постоял в нерешительности. Сабет почувст-

вовала, что рядом с ней уже никого нет, и повернулась на другой бок, не просыпаясь. Я пустил ей струйку песка на шею, но она продолжала спать; и тогда я полез в море — в тот момент, когда Сабет вскрикнула, я был не менее чем в пятидесяти метрах от берега.

Сабет бежала не отвечая.

Слышала ли она меня, я не знаю. Я попытался бежать по колено в воде. Я крикнул ей, чтобы она остановилась, а когда я наконец выбрался на берег, меня словно сковал паралич. Я с трудом передвигал ноги. Наконец она остановилась.

Сабет стоит на склоне.

Правую руку она прижимает к левой груди, чего-то ждет и не отвечает мне... Я добираюсь до склона (совершенно не помня о том, что я голый!) и бегу к ней. А потом какая-то чудовищная нелепость — в тот момент, когда я наконец добежал до нее, чтобы ей помочь, она на шаг отступает от меня (я в недоумении останавливаюсь) и падает навзничь с откоса.

Вот как произошло несчастье.

Высота пустяковая, меньше двух метров — с человеческий рост; но, когда я подскочил к ней, она лежала уже без сознания. Должно быть, сильно ударилась затылком. Я не сразу заметил ранку от укуса — три капельки крови, которые я тут же стер; потом быстро натянул на себя штаны и рубашку, взял ее на руки и босиком понес к шоссе, где как раз в эту минуту промчался «форд» — я кричал что было сил, но шофер меня не услышал...

Ганна стоит на том месте, где случилось несчастье. Ганна курила сигарету, пока я рассказывал, стараясь не упустить ни малейшей подробности, и показывал, где и как она упала с откоса; Ганна ведет себя просто невероятно, как друг, а ведь я был готов к тому, что она, мать, проклянет меня в душе, хотя, с другой стороны, если взглянуть на это объективно, я действительно ни в чем не виноват.

— Пойдем,— говорит она,— возьми свои вещи.

Не будь мы тогда уверены, что девочка спасена, мы бы, конечно, не говорили так на пляже.

— Ты знаешь,— говорит Ганна,— что она твоя дочь?

Я это уже знал.

— Пойдем,— говорит она,— возьми свои вещи.

Мы стояли с вещами в руках. Я держал свои запыленные ботинки. Ганна — черные джинсы нашей дочери.

Сам не знаю, что я хотел сказать.

— Пойдем,— говорит она.

И все же я спросил ее:

— Почему ты это скрыла от меня?

Ганна ничего не ответила.

Снова над морем дрожал синий зной, как вчера в это время,— был полдень, плоские волны медленно набегали на берег и растекались в пене, позвякивая камешками, потом тишина, а потом все сначала.

Ганна поняла меня очень точно.

— Ты забываешь,— говорит она,— что я замужем...

Потом она еще сказала:

— Ты забываешь, что Эльсбет тебя любит...

Я не был в состоянии принять в расчет сразу все, но ведь какой-нибудь выход, думал я, всегда находится.

Мы еще долго стояли там.

— Почему бы мне здесь не найти работу,— говорю я,— инженеры везде нужны, ты же видела: Греция тоже строится.

Ганна отлично понимала, как я себе это представляю,— я исходил не из романтических побуждений и не из нравственных принципов, а руководствовался чисто практическими соображениями: общий дом, общее хозяйство, общая старость. А почему бы и нет? Ганна ведь все это знала уже двадцать лет назад, когда я и понятия ни о чем не имел, и все же мое предложение поразило ее.

— Ганна,— спрашиваю я,— почему ты смеешься?

Какое-то будущее, считал я, всегда есть, мир еще ни разу не останавливался в своем движении, жизнь продолжается.

— Да,— говорит она,— но, быть может, без нас.

Я взял ее за плечи.

— Пойдем,— говорит она.— Я замужем, Вальтер, я в самом деле замужем. Не прикасайся ко мне.

Мы пошли назад к машине.

Ганна была права — что-то я всегда упускал из виду, но даже тогда, когда она напомнила мне о том, чего я не учел, я не изменил своего решения — при всех обстоятельствах перевестись в Афины, или, если это невозможно, уйти из ЮНЕСКО и самому подыскать себе здесь работу, хотя в ту минуту не представлял себе, как можно будет устроить нашу совместную жизнь. Но я привык искать решение до тех пор, пока не найду его. Ганна уступила мне место у руля. Мне никогда еще не приходилось вести «опель-олимпия», но ведь Ганна тоже не спала всю ночь; сейчас она делала вид, что спит.

В Афинах мы остановились, чтобы купить цветы.

Было без чего-то три.

В приемной, где нас просили подождать, мы еще совершенно ничего не подозревали: Ганна развернула бумагу, которой были обернуты цветы.

Потом появилась дьяконисса — я никогда не забуду ее лица...

Ганна стоит у окна, как вчера; мы не говорим друг другу ни слова, мы даже не смотрим друг на друга.

Потом пришел доктор Элетеропулос.

Они говорили по-гречески, но я все понял.

Она умерла в самом начале третьего.

...Потом мы стояли у ее постели, Ганна и я; в это просто нельзя было поверить — наша девочка лежала с закрытыми глазами, будто спала, но белая, словно из гипса; руки, вытянутые вдоль тела, покрытого простыней; наши цветы на ее груди; я говорю это не в утешенье, а всерьез: она спит! И сегодня еще не могу в это поверить... «Она спит»,— говорю я, обращаясь вовсе не к Ганне, которая вдруг с криком кидается на меня, я ее не узнаю, не загораживаюсь, не чувствую, что ее кулаки молотят меня по лицу. Какое это имеет значение! Она все кричит и бьет меня, пока не выбивается из сил... Все это время я только прикрывал глаза ладонью.

Как теперь стало ясно, наша дочь умерла не от укуса змеи — действие яда после вливания сыворотки было полностью ликвидировано. Смерть наступила от перелома основания черепа (compressio cerebri), который произошел в момент падения на каменистый склон и не был диагностирован. Была поражена arteria meningica media, вызвавшая так называемую epidural-hematom, которая (как мне сказали) легко устраняется хирургическим вмешательством.

Написано в Каракасе с 21 июня по 8 июля.



ВТОРАЯ ОСТАНОВКА

Афины, больница. Начало записей 19 июля.

Они отняли у меня мою портативную «гермес» и заперли ее в белый шкаф, потому что сейчас полдень, потому что «мертвый час». Приходится писать от руки! Я терпеть не могу писать от руки, я сижу на кровати в одних пижамных штанах, и мой маленький вентилятор (подарок Ганны) гудит с утра до вечера; в остальном — мертвая тишина. Сегодня снова сорок градусов в тени! Эти часы тишины (13.00—17.00) самые ужасные. При этом у меня остается уже мало времени, чтобы все записать. Ганна ежедневно навещает меня, и всякий раз я пугаюсь, когда она стучит в белую овустворчатую дверь; Ганна вся в черном в моей белой комнате. Почему она никогда не садится? Она каждый день ходит на могилу, она каждый день ходит в институт — вот пока все, что я знаю про Ганну. Она

стоит у открытого окна, а я вынужден лежать, и меня это нервирует, и ее молчание — тоже. Может ли она простить? Могу ли я что-нибудь исправить? Я не знаю даже, что Ганна делала с тех пор; об этом — ни слова. Я спросил Ганну, почему она не садится. Я вообще Ганну не понимаю — ее усмешка, когда я о чем-нибудь спрашиваю, ее глаза, глядящие куда-то мимо меня; иногда я боюсь, что она еще сойдет с ума. Сегодня — шесть недель с того дня.

8.VI. Нью-Йорк

Обычная Saturday-party [1] у Вильямса, я не хотел идти, но надо было; собственно говоря, никто меня, конечно, не принуждал, но все же я пошел. Я не знал, что делать. К счастью, меня ожидало сообщение, что турбины в Венесуэле подготовлены наконец к монтажу, значит, надо вылетать как можно скорее. Но я все спрашивал себя, справлюсь ли я на этот раз со своей задачей. Когда Вильямс, этот неистребимый оптимист, положил мне на плечо руку, я кивнул ему в ответ, но про себя я продолжал сомневаться.

— Come on, Walter, have a drink! [2]

Как обычно, все стоят группками, не знаешь, куда приткнуться.

— Roman holidays, oh, how marvellous! [3]

Я никому не сказал, что моя дочь умерла, потому что никто не знал, что у меня была дочь, и я не ношу траурной ленточки в петлице, потому что не хочу, чтобы мне задавали вопросы, ведь все это никого не касается.

— Come on, Walter, another drink [4].

Я слишком много пью.

— Walter has trouble,— рассказывает всем Вильямс,— Walter can't find the key of his home! [5]

Вильямс считает, что я должен играть хоть какую-то роль в этом обществе, пусть комическую, это лучше, чем вообще никакую. Оказывается, нельзя просто стоять в углу и грызть миндаль.

— Fra Angelico, oh, I just love it! [6]

---

[1] Субботняя вечеринка *(англ.)*.
[2] Давай выпьем, Вальтер! *(англ.)*
[3] Отпуск в Риме — как это прекрасно! *(англ.)*
[4] Давай выпьем-ка еще, Вальтер *(англ.)*.
[5] У Вальтера неприятности, он не может найти ключ от своей квартиры! *(англ.)*
[6] Фра-Анджелико, о, я его обожаю! *(англ.)*

Все всё понимают лучше меня.

— How did you enjoy the Masaccio fresco? [1]

Я не знаю, что сказать в ответ.

— Semantics! You've never heard of semantics? [2]

Я сам себе кажусь идиотом...

Я жил в гостинице в Таймс-сквере. Табличка с моей фамилией все еще висела на дверях моей квартиры, но Фредди, привратник, понятия не имел, где мой ключ. А я ведь просил Айви передать ключ Фредди. Но она этого не сделала, и мне пришлось звонить в свою собственную дверь. Я просто не знал, что делать. Всюду можно попасть: в учреждения, в кино, в подземку, только не к себе в квартиру. Я отправился в экскурсию по городу затем, чтобы убить время. Небоскребы казались мне надгробиями (впрочем, это мне всегда казалось). Я слушал пояснения, которые передавали по радио: Рокфеллеровский центр, небоскреб Эмпайр стейт билдинг, здание ООН и так далее, словно я не прожил одиннадцать лет на Манхэттене. Потом я пошел в кино. А после кино поехал подземкой по обычному маршруту — Айрт, Экспресс Антаун, без пересадки на Коламбэс Сёркл, хотя, если бы я пересел, от станции Индепендент мне было бы ближе к дому; но в течение одиннадцати лет я никогда не пересаживался, и на этот раз не пересел, а вышел, где всегда выходил, и по дороге, как часто и прежде, зашел в китайскую прачечную, где меня еще помнили. «Хэлло, мистер Фабер!» Мне дали три рубашки, которые несколько месяцев ждали моего возвращения, оттуда я пошел в гостиницу, где мне нечего было делать, и несколько раз подряд набрал свой собственный номер — конечно, никто не подошел! — а потом, к сожалению, отправился к Вильямсу.

— Nice to see you [3],— и тому подобное.

Перед этим я еще зашел в свой гараж, чтобы выяснить, стоит ли еще там мой «студебеккер», но мне не пришлось даже спрашивать — он был виден издали (пронзительно красный, как губная помада) на фоне черной стены.

Потом, как я уже говорил,— сюда, на Saturday-party.

— Walter, what's the matter with you? [4]

Собственно говоря, я всегда ненавидел эти сборища. Мне не дано быть остроумным, но это еще не значит, что мне должны класть руку на плечо.

---

[1] Вам понравилась фреска Мазаччо? *(англ.)*

[2] Семантика! Вы никогда не слышали о семантике? *(англ.)*

[3] Рады вас видеть *(англ.)*.

[4] Вальтер, что с вами? *(англ.)*

— Walter, don't be silly! [1]

Я знал, что мне не справиться с монтажом. Я был пьян, это я тоже знал. Они думали, я этого не чувствую. Я их знаю как облупленных. Если уйдешь, никто этого не заметит. И я ушел. Я шел по ночному Таймс-скверу (надеюсь, в последний раз) к телефону-автомату, чтобы еще раз набрать свой собственный номер. И сейчас еще я не понимаю, почему кто-то снял трубку.

— This is Walter [2],— говорю я.

— Who? [3]

— Walter Faber,— говорю я.— This is Walter Faber.

Такого не знают.

— Sorry [4],— говорю я.

Быть может, я набрал не тот номер; я открыл огромный телефонный справочник, чтобы проверить свой номер телефона, а потом набираю снова.

— Who's calling? [5]

— Walter,— говорю я,— Walter Faber.

Мне ответил тот же голос, что и в первый раз, и я на мгновенье растерялся; я что-то ничего не мог понять.

— Yes, what do you want? [6]

Собственно говоря, ничего не случится, если я отвечу. Я взял себя в руки и, прежде чем повесили трубку, спросил только, чтобы хоть что-то сказать, туда ли я попал.

— Yes, this is Trafalgar 4-55-71 [7].

Я был пьян.

— That's impossible [8],— говорю я.

Быть может, мою квартиру кому-то сдали, быть может, изменился номер — в конце концов, все бывает, я это понимаю, но мне от этого не легче.

— Trafalgar 4-55-71,— говорю я.— That's me [9].

Я слышу, как мой собеседник закрывает рукой микрофон и с кем-то что-то обсуждает (с Айви), слышу смех, а потом вопрос:

— Who are you? [10]

---

[1] Вальтер, не валяйте дурака! *(англ.)*
[2] Это Вальтер *(англ.)*.
[3] Кто? *(англ.)*
[4] Извините *(англ.)*.
[5] Кто говорит? *(англ.)*
[6] Да, что вам угодно? *(англ.)*
[7] Да, это Трафальгар 4-55-71 *(англ.)*.
[8] Не может быть *(англ.)*.
[9] Это мой номер *(англ.)*.
[10] Кто вы такой? *(англ.)*

Я в свою очередь спрашиваю:

— Are you Walter Faber? [1]

В конце концов он вешает трубку, а я отправляюсь в бар. У меня кружится голова, я теперь не могу пить виски; потом я прошу бармена найти по телефонной книге номер мистера Вальтера Фабера и соединить меня; он все это проделал и передал мне трубку; долго никто не подходил, потом снова голос:

— Trafalgar 4-55-71. Hello!

Ни слова не говоря, я вешаю трубку.

Операция навсегда излечит меня от моей болезни, операция эта, по данным статистики, в 94,6 процента кончается удачно, и я нервничаю не из-за предстоящей операции, а только оттого, что ее со дня на день откладывают. Я не привык болеть. Нервничаю я еще и тогда, когда Ганна меня утешает, потому что она ведь не верит статистике. А я в самом деле убежден в благополучном исходе операции да к тому же рад, что ее будут делать не в Нью-Йорке, или Дюссельдорфе, или в Цюрихе; мне необходимо видеть Ганну, говорить с ней. Я не могу себе представить, как ведет себя Ганна вне этой комнаты. Ест ли она? Спит ли она? Каждый день она ходит в институт (от 8.00 до 11.00 и от 17.00 до 19.00), и каждый день она ходит на могилу нашей дочери. А что помимо этого? Я попросил Ганну, чтобы она садилась. Почему она молчит? Даже если Ганна садится, она сидит не больше минуты, потому что всегда оказывается, что чего-то нет на месте, пепельницы или там зажигалки, она поднимается и снова стоит. Если Ганна не в силах выносить моего общества, зачем же она приходит? Она поправляет мне подушки. Будь у меня рак, они бы меня немедленно оперировали, это ведь логично, я объяснял это Ганне, надеюсь, убедил ее. Сегодня мне не делали укола! Я женюсь на Ганне.

9/VI. Лечу в Каракас.

На этот раз я лечу через Майами и Мериду в Юкатан, откуда ежедневно есть самолеты на Каракас, но в Мериде мне приходится прервать полет (боли в желудке).

Потом снова попадаю в Кампече. (Шесть с половиной часов езды на автобусе от Мериды.)

На маленькой станции узкоколейки, где кактусы растут

[1] Вы Вальтер Фабер? *(англ.)*

между шпалами и где я с Гербертом Хенке уже однажды (два месяца назад) ждал поезда, прислонившись головой к стене, закрыв глаза и раскинув руки и ноги,— все, что со мной произошло с тех пор, как я здесь в первый раз ждал поезда, представилось мне вдруг галлюцинацией. Здесь ничего не изменилось.

Тот же липкий воздух...

Тот же запах рыбы и ананаса...

Те же тощие собаки...

Дохлые собаки, которых никто не убирает, грифы на крышах домов у Рыночной площади, жара, гнилая вонь моря, над ним — белесое солнце, а над берегом — черные тучи, и на солнце они отсвечивают голубовато-белым блеском, словно вспышки кварцевой лампы.

Снова этот путь в поезде!

Я даже обрадовался, когда вновь очутился в Паленке, там тоже ничего не изменилось: терраса с нашими гамаками, наше пиво, наш попугай; меня здесь еще помнят, даже дети меня узнали; я купил и роздал им мексиканские сласти; один раз я даже выехал к нашим развалинам, где, уж во всяком случае, ничего не изменилось: ни души, только стаи птиц, как тогда, все точь-в-точь как тогда, два месяца назад. И ночь такая же, как и тогда, когда в Паленке умолкал движок: индюк, гуляющий вокруг террасы, его резкое клокотанье, потому что он не любит зарниц, черная свинья в луже, ватная луна, лошадь, щиплющая траву...

И всюду моя неотступная мысль.

Если бы сейчас и в самом деле было еще то время! Вернуться назад всего только на два месяца, на два месяца, которые здесь ничего не изменили; почему теперь не может быть апрель! А все остальное — это только моя галлюцинация.

Потом еду один на «лэндровере»...

Я разговариваю с Гербертом.

Я разговариваю с Марселем.

Я купаюсь в Рио-Усумасинта — она вот изменилась; уровень воды заметно поднялся, зеленой ряски больше нет, потому что течение стало сильнее, и уже неизвестно, удастся ли мне найти брод и не утонуть, переправляясь на тот берег.

Переправиться удалось.

Герберт тоже изменился — это видно было с первого взгляда. Герберт с бородой, но не только это, он вообще изменился — стал подозрителен.

— Старик, ты зачем сюда приехал?

Герберт думает, что я приехал по поручению его семьи либо его фирмы, чтобы вернуть его в Дюссельдорф, и не верит, что я приехал, чтобы его повидать; однако я приехал только ради этого: не так уж много у меня друзей на свете.

Он сломал свои очки.

— Почему ты их не починишь? — спрашиваю я.

Я чиню его очки...

Когда идет ливень, мы сидим в бараке, словно в Ноевом ковчеге: света нет, потому что батареи, которые питали прежде и радиоприемник, давным-давно сели; то, что я рассказываю ему о последних событиях, его совершенно не интересует, даже события в Германии; я все же рассказываю о призыве геттингенских профессоров; о личном я не говорю.

Я спрашиваю его про машину.

Герберт ни разу не ездил в Паленке.

Я привез газолин для Герберта, пять канистр, чтобы он в любое время мог уехать; но он об этом и не думает.

Он усмехается в бороду.

Мы совсем не понимаем друг друга.

Он усмехается, когда видит, что я бреюсь старой бритвой, потому что здесь нет тока, а я не хочу обрастать щетиной, ведь мне нужно ехать дальше.

У него никаких планов нет!

Его «нэш-55» стоит под навесом из листьев, как в прошлый раз, даже ключ по-прежнему торчит в машине; индейцы явно не знают, как заводится мотор, все было нетронутым, но в чудовищном состоянии, так что я сразу же взялся за работу.

— Если тебя это забавляет,— говорит он,— пожалуйста, мне не жалко.

Герберт отправляется на охоту.

Я разбираю мотор и вижу, что он совершенно заржавел, должно быть от дождей, каждую деталь нужно почистить, все заросло каким-то илом; острый запах цветочной пыльцы, которая прилипла к машинному маслу и почти не счищается, но я рад, что у меня есть работа.

Вокруг стоят дети племени майя.

Они способны простоять целый день и глядеть, как я разбираю мотор, я расстелил листья банановой пальмы на земле и кладу на них деталь за деталью.

Зарницы, но дождя нет.

Женщины тоже глазеют; кажется, они только и делают, что рожают, малыш, которого мать держит на руках, сосет грудь, опираясь ножками на ее огромный живот; она стоит и глазеет,

ни слова не говоря,— все равно, я не мог бы понять, что она говорит.

Герберт возвращается со связкой игуан.

Они еще живые, но совершенно неподвижные, пока до них не дотронешься рукой, их головки, похожие на головы ящериц, обмотаны соломой, потому что они больно кусаются, а когда их сваришь, мясо по вкусу напоминает курятину.

Вечером мы лежим в гамаках.

Пива нет, только кокосовое молоко.

Зарницы.

Меня очень тревожило, что могут украсть какую-нибудь из деталей мотора, но Герберт не разделял моей тревоги: он убежден, что индейцы не прикоснутся к этим деталям. О возможности бунта больше и речи не было! Они работают, и даже усердно, говорит Герберт, слушаются беспрекословно, хотя и убеждены, что все это не имеет смысла.

Он усмехается в бороду.

Будущее немецкой сигары!

Я спрашиваю Герберта, что он, собственно говоря, намерен делать: собирается ли он остаться здесь или хочет вернуться в Дюссельдорф? Какие у него планы?..

— Nada [1].

Я ему как-то сказал, что встретился с Ганной и что собираюсь на ней жениться; но я даже не знаю, слышал ли это Герберт.

Герберт, похожий на индейца!

Жара...

Светлячки...

Потеешь, как в парильне.

На следующий день внезапно хлынул дождь, лил он только четверть часа, но зато как из ведра, настоящий ливень, потоп, а потом снова засияло солнце; однако вода не сошла, вся земля покрылась коричневыми бочагами, а я как раз до этого выкатил машину из-под навеса, чтобы работать на свежем воздухе; я же не мог знать, что именно в том месте, куда я ее поставил, образуется такой бочаг. В отличие от Герберта я вовсе не находил это смешным. Машина оказалась в воде по колеса, а о деталях мотора, которые я разложил на земле, и говорить нечего. Когда я это увидел, меня охватило отчаяние. Герберт выделил мне двадцать индейцев, только чтобы меня успокоить, как он сказал; он вел себя так, словно все это его

[1] Никаких *(исп.)*.

не касалось — ни рубка деревьев, к которой приступили по моему приказу, ни сооружение козел для машины. Я потерял целый день на то, чтобы собрать все детали мотора; мне пришлось залезть в этот мутный бочаг и руками копошиться в теплом иле — все это я делал один, потому что Герберта это нисколько не интересовало.

— Да брось ты! — вот и все, что он мне сказал.— К чему это!

Я заставил индейцев выкопать отводные каналы, чтобы вода наконец спала: только благодаря этому удалось найти все пропавшие части, да и то с большим трудом, потому что некоторые из них просто утонули в иле.

Его постоянная присказка: «Nada».

Он молол всякую чушь, и я ему не возражал. Без этого «нэша» Герберт совсем погибнет. Я не дал себя расхолодить и продолжал работать.

— Да что ты тут будешь делать без машины? — сказал я.

Когда я наконец снова собрал мотор и он заработал, Герберт усмехнулся и сказал только: «Браво!» — потом хлопнул меня по плечу: пусть этот «нэш» будет мой, он мне его дарит!

— На что мне «нэш»! — сказал Герберт.

Герберта нельзя было отговорить от его дурацкой затеи: когда я сел в заново собранную машину, чтобы еще раз все проверить, и включил мотор, Герберт стал изображать полицейского-регулировщика; вокруг нас стояли детишки племени майя и матери в белых рубашках, все с младенцами на руках, а потом подошли мужчины, которые сперва держались в стороне, в зарослях, у всех у них за поясами были кривые ножи; многие месяцы они не слышали шума мотора, а я дал полный газ, колеса вращались на холостом ходу в воздухе. Герберт делает знак — стоп! И я заглушаю мотор, я сигналю. Герберт делает знак — проезд открыт! Индейцы (их собиралось все больше) глядели на нас и не смеялись, хотя мы и валяли дурака; все стояли молча и, я бы сказал, сосредоточенно наблюдали, как мы (собственно говоря, зачем?) играли в уличное движение.

Спор с Ганной о технике. По ее мнению, техника — это уловка, хитрость, с помощью которой хотят так перестроить мир, чтобы там не было места чувствам. Мания технократов — свести все в мироздании к полезной деятельности, как бы заставить мир служить себе, потому что они не в силах противостоять ему как партнеры, бессильны его охватить. Техника — это хитрая попытка преодолеть сопротивление мира, сделать его путем изменения темпа жизни более плоским, стереотипным,

чтобы убить жизнь духа (я не совсем понял, что Ганна хотела этим сказать). Технократ отчужден от живого мира (что Ганна этим хотела сказать, я тоже не совсем понял). Ганна ни в чем меня не упрекает; она считает, что поведение мое по отношению к Сабет можно объяснить; я пережил с Сабет такого рода отношения (так думает Ганна), которых я прежде не знал, я не понял их природы, и поэтому внушил себе, будто влюблен. Эта ошибка не случайная, а, наоборот, присущая моей натуре (?), как, впрочем, и выбор профессии, и вообще вся моя жизнь. Моя ошибка заключается в том, что я, как и все люди техники, живу, забывая о смерти. Дословно она сказала следующее: «Для тебя жизнь — это не что-то целое, неделимое, а простая сумма, поэтому ты не ощущаешь хода времени и не принимаешь в расчет смерть». Жизнь, по мнению Ганны,— это некий законченный образ, существующий во времени. Ганна признала, что не может в точности объяснить, что она хочет этим сказать. Но, во всяком случае, она знает, что жизнь — это не только материя, и поэтому ее нельзя подчинить технике. Моя ошибка с Сабет, считает она, заключается в следующем: я хотел начать все сначала, я вел себя так, словно не существует понятия возраста, поэтому эти отношения противоестественны. Мы не можем преодолеть старость с помощью простого сложения, не можем преодолеть ее, женясь на наших детях.

20/VI. Прибыл в Каракас.

Наконец все организовалось; турбины были доставлены на место, и рабочей силой меня тоже обеспечили. Я работал, пока мог, и то, что теперь, когда приступили к монтажу турбин, мне пришлось все бросить из-за болей в желудке, конечно, досадно, но что поделаешь. В мой прошлый приезд (15—16/VI) я был, конечно, в куда лучшей форме, но тогда они еще ничего не подготовили для монтажа. А теперь я оказался не в состоянии наблюдать за его ходом, и в этом, конечно, была и моя вина; больше двух недель провалялся я в гостинице, а это удовольствие небольшое. Я надеялся, что в Каракасе меня ждет письмо от Ганны. Я послал телеграмму в Афины, но ответа так и не получил. Мне хотелось написать Ганне, и я несколько раз начинал письмо; но я не имел никакого представления, где она теперь находится, и мне ничего не оставалось, как писать (хоть чем-то мне же надо было заняться в этой гостинице), не отправляя того, что пишу.

Монтаж шел своим чередом — без меня.

Дьяконица принесла мне наконец зеркало — я испугался. Я всегда был худой, но все же не такой худой, как теперь, не такой, как старый индеец в Паленке, который водил нас в сырые гробницы. Я в самом деле немного напуган. Прежде я не имел привычки смотреть в зеркало, разве только когда брился, я и причесывался без зеркала, и все же человек обычно знает, как он выглядит. У меня всегда был чересчур длинный нос, но уши раньше не привлекали моего внимания. На мне сейчас пижама без воротника, может быть, поэтому так торчит моя слишком длинная шея, жилы на ней вздуваются, когда я поворачиваю голову, между жилами какие-то ямы, впадины, которых я прежде никогда не замечал. Мои уши как у арестанта! Не могу же я всерьез думать, что голова у меня стала меньше. Я спрашиваю себя, не стал ли мой нос симпатичнее, и прихожу к выводу, что носы никогда не выглядят симпатично, а скорее нелепо, почти непристойно. Паверняка я тогда в Париже (два месяца назад!) выглядел иначе, а то Сабет никогда бы не согласилась пойти со мной в оперу. А ведь загар у меня с лица еще не сошел, только вот с шеи. Она какая-то белая, вся в крупных порах, как свежеощипанная курица. Рот мой мне еще кажется приятным, сам не знаю почему, рот и глаза, которые, кстати, оказались не карими, как я всегда думал, потому что так написано в графе примет в паспорте, а зеленовато-серыми; все же остальные черты лица принадлежат не мне, а кому-то чужому, который явно переработался. Зубы мои всегда ни к черту не годились. Как только снова буду на ногах, первым делом пойду к зубному врачу, чтобы счистить камень, а быть может, и полечить гранулему. Боли я никакой не чувствую, только что-то пульсирует под челюстью. Волосы я всегда стриг очень коротко, потому что это удобно, и ни с висков, ни на затылке я еще нисколько не облысел. Поседел я, собственно говоря, уже давно, волосы у меня светлые, отливающие серебром, но меня это никогда не огорчало. Когда я лежу на спине и держу над собой зеркало, то выгляжу совсем как прежде, разве что немного похудел, но это легко объяснить диетой. А быть может, все дело здесь в этом белесом свете, который просачивается в комнату сквозь щели жалюзи,— из-за этого света становишься блеклым, несмотря на загар, вернее, каким-то желтым. Ужасно выглядят только зубы. Но я их всегда боялся. Какие бы меры ни принимать, они все равно разрушаются, словно выветриваются. Вообще человек в целом, как конструкция, еще может сойти, но материал никудышный: плоть — это не материал, а проклятие.

P. S.

Никогда еще не было столько смертей, как за эти последние три месяца. Сейчас я узнал, что профессор О., с которым я неделю назад говорил в Цюрихе, тоже умер.

P. P. S.

Я только что побрился, потом сделал себе небольшой массаж лица. Просто смешно, какая чушь приходит на ум от безделья. У меня нет никаких оснований пугаться. Мне не хватает движения и свежего воздуха — только и всего.

9—13/VII. На Кубе.

Вот что привело меня в Гавану: мне надо было пересесть с самолета на самолет, потому что я ни в коем случае не хотел лететь через Нью-Йорк, на «КЛМ» я летел из Каракаса до Кубы, а оттуда на Лиссабон. В Гаване я провел четыре дня.

Четыре дня ничего не делать, только глядеть.

Эль Прадо.

Старая улица со старыми платанами, как Рамбла в Барселоне. Корсо вечером, аллея, по которой ходят красивые люди. Все это невероятно, я иду и иду; кроме этого, мне здесь делать нечего.

Желтые птицы, в сумерках они стаями перелетают с дерева на дерево.

Все хотят почистить мне ботинки.

Полунегритянка-полуиспанка высовывает мне язык, потому что я загляделся на нее; я любуюсь ее розовым языком на смуглом лице, я смеюсь и приветствую ее — она тоже смеется, красные губы — словно венчик цветка, окружающий белые зубы (если можно так выразиться), ее глаза...— мне ничего от нее не надо.

— How do you like Habana? [1]

Я всегда злюсь, что меня принимают за американца только потому, что я белый. На каждом шагу сутенеры:

— Something very beautiful! D'you know what I mean? Something very young! [2]

Все гуляют, все смеются.

Это похоже на сон.

---

[1] Как вам нравится Гавана? *(англ.)*

[2] Очень красивая! Вы понимаете, что я хочу сказать? Очень молоденькая! *(англ.)*

Белые полицейские, которые курят сигары; военные моряки, которые тоже курят сигары: и те и другие — мальчишки, в узких штанах, обтягивающих бедра.

Castillo del Morro[1] (Филиппа II).

Я разрешаю почистить мне ботинки.

Я принимаю решение жить по-другому.

Я радуюсь...

Я покупаю сигары, две коробки.

Закат солнца.

В море купаются голые мальчишки. Солнечный отсвет на их мокрой коже, жара. Я снижу и курю сигару, над белым городом собираются грозовые тучи, черно-фиолетовые, а верхушки домов освещены последним отсветом заходящего солнца.

Эль Прадо.

Зеленые сумерки, продавцы мороженого; на невысокой каменной стене под фонарями сидят девчонки (группами) и смеются.

Тамалес.

Это особым образом приготовленная кукуруза, завернутая в листья банановой пальмы; ее продают на улице и едят на ходу, не теряя времени.

Меня охватывает тревога. Почему, собственно говоря?

В Гаване мне делать совершенно нечего.

Я иду отдохнуть в гостиницу (уже не в первый раз), принимаю душ, а потом, раздевшись донага и включив вентилятор, лежу на кровати, лежу и курю сигару. Я не закрываю двери своей комнаты. В коридоре убирает девчонка — тоже полунегритянка-полуиспанка, убирает и поет; я курю сигару за сигарой.

Мне хочется, чтобы эта девчонка пришла ко мне.

Почему она не приходит!

При этом я ужасно устал, так устал, что не в силах встать и взять пепельницу: я лежу на спине и курю сигару, держа ее так, что с нее не падает беловатый пепел.

Партагас.

Когда я возвращаюсь на Прадо, то мне снова кажется, что это галлюцинация: девушки — одна лучше другой, мужчины тоже очень красивые, все вокруг поражает красотой, все жители здесь — это смесь негров и испанцев; я не устаю глазеть, восхищаюсь их легкой и плавной походкой; девушки в голубых юбках колоколом и в белых платках на голове, повязанных, как

[1] Мавританский дворец *(исп.)*.

у негритянок; их голые спины — такие темные, как тень под платанами, поэтому сперва видишь только их юбки, синие или лиловые, белые платки на головах и белые зубы, сверкающие, когда они смеются, белки глаз; поблескивают серьги.

The Caribbean bar [1].

Я снова курю.

«Ромео и Джульетта».

Какой-то молодой человек, которого я сперва принял за сутенера, настаивает на том, чтобы угостить меня виски, потому что у него родился сын.

— For the first time! [2]

Он обнял меня и все твердил:

— Isn't it a wonderful thing? [3]

Он представился мне и захотел узнать, как меня зовут, сколько у меня детей, особенно его интересовали сыновья. Я сказал:

— Five [4].

Он немедленно решил заказать пять виски.

— Walter,— говорит он,— you're my brother! [5]

Едва мы успели чокнуться, как он убежал, чтобы еще кого-то угостить виски и расспросить, сколько у того детей, особенно сыновей.

Какой-то сумасшедший мир.

Наконец разразилась гроза — я сидел один под аркадами на желтой качалке, а вокруг лило как из ведра, внезапный ливень и сильный ветер, аллея мигом стала пустынной, словно подали знак тревоги, хлопали ставни, по асфальту стучали струи.

Я качался и глядел.

Мне нравилось, что я здесь.

Время от времени дождь заливает под аркаду, ветер осыпает меня лепестками цветов, словно конфетти, терпкий запах нагретой солнцем зелени, внезапный холодок пробегает по коже, сверкает молния, но дождь шумит так, что заглушает гром, я качаюсь и смеюсь,— ветер, рядом со мной качаются пустые кресла, развевается кубинский флаг.

Я насвистываю.

Я ненавижу Америку!

Я качаюсь и мерзну.

---

[1] Карибский бар *(англ.)*.
[2] Первый! *(англ.)*
[3] Разве это не здорово? *(англ.)*
[4] Пятеро *(англ.)*.
[5] Вальтер, ты мне брат! *(англ.)*

«The American Way of Life» [1].

Я принимаю решение жить по-другому.

Вспышки молнии, после них будто слепнешь, на мгновение открывается такая картина: серовато-зеленая пальма, ее треплет ветер, тучи лиловые с ослепительно синими прожилками, волнистое, отдающее жестью море; жестяное море гудит, и меня это по-детски радует, мне весело — я пою.

— «The American Way of Life»!

Даже если судить по одному тому, что они едят и пьют,— эти трезвенники, которые не знают, что такое вино, эти пожиратели витаминов, которые пьют холодный чай, жуют вату и не знают, что такое настоящий хлеб, это племя кока-колы, которое я больше не в силах выносить...

Но этом я живу на их деньги!

Я позва даю почистить себе ботинки.

На их деньги!

Семилетний мальчишка — он уже чистил мне ботинки — похож теперь на котенка, которого окунули в воду. Я треплю его по курчавым волосам.

Он скалит зубы.

Волосы у него не черные, а скорее пепельно-серые, коричневато-серые, на ощупь похожие на конский волос, но курчавые и коротко подстриженные, а под ними прощупываешь детский череп, теплый,— то же чувство, которое бывает, когда гладишь на остриженного пуделя.

Он только скалит зубы и работает щетками.

Он мне нравится.

Его белые зубы.

Его нежная юная кожа.

Его глаза напомнили мне негритянку в туалете в Хустопе, штат Техас, которая склонилась надо мной, когда мне стало плохо; я обливался потом, у меня кружилась голова, а она стояла возле меня на коленях, и меня поразили белки ее больших глаз, которые совсем не похожи на глаза белых,— красивые, как глаза у зверей.

Мы заговорили об автомобильных марках.

Его ловкие руки так и мелькали.

Нет никого, кроме нас, мальчишки и меня, а кругом потоп; он сидит на корточках и до блеска полирует мои ботинки своей суконкой.

«The American Way of Life».

---

[1] Американский образ жизни *(англ.)*.

Одно их уродство, если сравнить их со здешними людьми, говорит само за себя: их розовая кожа, похожая на жареную колбасу,— до чего она отвратительна! Они не перемерли просто потому, что есть пенициллин, вот и все, а еще делают вид, будто счастливы,— только потому, что они американцы, потому что ни в чем себе не отказывают, а на самом деле что в них хорошего, долговязые и крикливые — парни вроде Дика, которого я еще когда-то ставил себе в пример! А как они держат себя на своих «парти» — стоят, засунув левую руку в карман, плечом прислонившись к стене, в правой руке стакан, стоят непринужденно, будто они покровители всего человечества; их похлопывание по плечу, их оптимизм, пока они трезвые, но как напьются, они начинают реветь, орать про закат белой расы... Импотенция...

Я злюсь на самого себя!

(Если бы можно было начать жизнь сначала!)

Ночью я пишу письмо Ганне.

На другой день я поехал на пляж. Небо было безоблачно. Стояла полуденная жара; набегали волны, ударялись о гравий; всякий пляж напоминает мне теперь Теодори.

Я плачу.

Вода прозрачная, видно морское дно; я плыву, опустив лицо в воду, чтобы глядеть на морское дно; моя собственная тень на дне словно лиловая лягушка.

Написал письмо Дику.

Что может предложить Америка: комфорт, наиболее рационально оборудованный мир, все ready for use[1], мир, выхолощенный «американским образом жизни»; куда бы они ни пришли, для них всюду highway[2]; мир, плоский как рекламный щит, размалеванный с двух сторон, их города, вовсе не похожие на города, иллюминация, а наутро видишь пустые каркасы,— трескотня, способная обмануть только детей, реклама, стимулирующая оптимизм, неоновый щит, которым хотят оградиться от ночи и смерти...

Потом я взял напрокат лодку.

Чтобы побыть одному!

Их сразу отличаешь даже в купальных костюмах, сразу видно, что у них есть доллары; их голоса невыносимы (как на Аппиевой дороге), голоса жевателей резинки, состоятельного плебса.

---

[1] Готово к употреблению *(англ.)*.

[2] Открытая дорога *(англ.)*.

Написал письмо Марселю.

Марсель прав: он верно говорил про их фальшивое здоровье, фальшивую моложавость, про их жен, которые не желают признать, что стареют; они пользуются косметикой даже в гробу, вообще у них порнографическое отношение к смерти; их президент, который должен улыбаться, словно розовощекий бэби, с обложки любого журнала, а не то они не захотят его переизбрать, их непристойная моложавость...

Я все греб и греб дальше от берега.

На море было тоже невероятно жарко.

Совсем один.

Я перечел письма к Дику и к Марселю и разорвал их, потому что они получились не деловые; по воде плавали белые клочки бумаги; у меня на груди тоже белые волосы — седые.

Совсем один...

Потом я веду себя просто как мальчишка; я рисую на горячем песке женщину и ложусь рядом с ней, хотя она только из песка, и громко с ней разговариваю.

Она дикарка!

Я не знал, куда девать этот день, куда девать самого себя, странный день; я сам себя не понимал и не пойму, как он прошел, этот день, время после обеда казалось вечностью,— день голубой, невыносимый, но прекрасный и нескончаемый,— пока я снова не оказался у каменной стены на Прадо (уже вечером), я сидел с закрытыми глазами; я теперь пытаюсь себе представить, что нахожусь в Гаване, что сижу на каменной стене на Прадо. Я не могу себе этого представить, и мне страшно.

Все хотят почистить мне ботинки.

Вокруг одни только красивые люди, я любуюсь ими, словно диковинными зверями, их белые зубы сверкают в сумерках, их смуглые плечи и руки, их глаза, их смех, потому что они радуются жизни, потому что праздничный вечер, потому что они красивы.

Мне хотелось глядеть и глядеть...

Во мне бушевала страсть...

Вхолостую.

Я существовал только для чистильщиков сапог.

Сутенеры...

Продавцы мороженого...

Они развозили мороженое на особых тележках — нечто среднее между детской коляской и маленьким буфетом, к этому приделано полувелосипеда, а над ним что-то вроде балдахи-

на из заржавевших жалюзи; освещение как от карбидной лампы, зеленые сумерки, синие юбки колоколом.

Лиловый месяц.

Потом история с такси: было еще совсем рано, но я не мог больше шататься как труп среди живых на Корсо — мне захотелось вернуться в гостиницу и принять снотворное; я остановил такси; а когда распахнул дверцу, то оказалось, что там сидят две дамы, одна темноволосая, другая блондинка; я сказал: «Sorry» — и захлопнул дверцу, но шофер выскочил, чтобы меня вернуть: «Yes, sir! — крикнул он и снова распахнул дверцу.— For you, sir!» [1] Я рассмеялся — вот это сервис — и сел в машину.

Наш роскошный ужин!

Потом мой позор...

Я знал, что когда-нибудь это случится; я лежал в своем номере и не мог уснуть, хотя смертельно устал; ночь была жаркая, время от времени я обливал водой свое тело, которое предало меня, но снотворного не принял; мое тело еще годится на то, чтобы наслаждаться ветерком от вентилятора, который кружился, обдувая то грудь, то ноги, то снова грудь.

Меня мучила одна только мысль: рак желудка.

В остальном я был счастлив.

Серый рассвет, стая птиц; я беру свою портативную машинку и пишу наконец мой отчет в ЮНЕСКО относительно монтажа турбин в Венесуэле, который завершен.

Я сплю до полудня.

Я ем устрицы, потому что не знаю, чем заняться, работа моя сделана; я курю слишком много сигар.

(Из-за этого у меня боли в желудке.)

Вечером — неожиданное происшествие.

Я сажусь на стену на Прадо рядом с незнакомой девушкой и заговариваю с ней; мне кажется, что это та самая, которая накануне показала мне розовый язык. Она этого не помнит. Она смеется, когда я говорю ей, что я не американец.

По-испански я говорю слишком медленно.

— Say it in English! [2]

У нее длинные, тонкие руки.

Моих знаний испанского хватает, только чтобы разговаривать с рабочими во время монтажа; смешно вот что: я говорю не то, что хочу, а то, что могу сказать; она смеется. Я — жертва

---

[1] Пожалуйста, сэр! Для вас, сэр! *(англ.)*

[2] Скажите это по-английски! *(англ.)*

моего малого запаса слов. Ее удивление, ее приветливый взгляд, когда я рассказываю о себе, сам удивляясь своей жизни, которая, как я уже говорил, мне кажется лишенной смысла.

Хуане восемнадцать лет.

(Она еще моложе нашей девочки.)

Suiza [1] — она думает, это Швеция.

Руки она откинула назад, голову прислонила к чугунному фонарю, ее белый платок оттеняет черноту волос; я поражен красотой ее ног; мы курим; мои руки, такие белые рядом с ее руками, охватывают мое правое колено.

Ее непосредственность.

Она никогда еще не покидала Кубу.

Я всего третий вечер в Гаване, но все здесь уже знакомо: зеленые сумерки, прорезанные неоновой рекламой, продавцы мороженого, шершавая кора платанов, птицы, оглашающие ночь щебетом, сетка теней на земле, красный цветок ее губ.

Ее жизненная цель — Нью-Йорк.

Нам на головы падает птичий помет.

Ее непосредственность.

Хуана работает упаковщицей и подрабатывает на улице только в конце недели, потому что у нее есть ребенок и живет она не в самой Гаване.

Вокруг нас бродят молодые матросы.

Я рассказываю ей о своей дочери, которая умерла, о свадебном путешествии со своей дочерью, о Коринфе, о гадюке, которая укусила ее чуть повыше левой груди, о ее похоронах, о моем будущем.

— I'm going to marry her [2].

Она меня неверно поняла.

— I think she's dead [3].

Я ут[illegible].

— Oh,— смеется она — you're going to marry the mother of the girl, I see! [4]

— As soon, as possible [5].

— Fine [6],— говорит она.

— My wife is living in Athens [7].

---

[1] Швейцария *(исп.)*.

[2] Я собираюсь на ней жениться *(англ.)*.

[3] А я думала, она умерла *(англ.)*.

[4] Вы женитесь на матери девушки, понимаю! *(англ.)*

[5] Да, очень скоро *(англ.)*.

[6] Отлично *(англ.)*.

[7] Моя жена живет в Афинах *(англ.)*.

Ее серьги, ее гладкая кожа.

Она ждет своего брата.

Я спрашиваю Хуану, верит ли она в смертный грех, верит ли она в богов; она смеется — сверкают белые зубы. Я спрашиваю Хуану, верит ли она, что змеями (вообще) управляют боги — вернее, демоны.

— What's your opinion, sir? [1]

Потом появляется парень в полосатой голливудской рубашке, этакий сутенер, который уже со мной заговаривал,— это ее брат. Его рукопожатие.

— Хэлло, приятель!

Во всем этом нет ничего особенного, все в порядке вещей. Хуана бросает на землю окурок и тушит каблуком, потом она кладет свою смуглую руку мне на плечо.

— He's going to marry his wife, he's a gentleman! [2]

Хуана убегает.

— Wait here! — говорит ее брат и оборачивается, чтобы меня удержать.— Just a moment, sir, just a moment! [3]

Моя последняя ночь в Гаване.

На земле нет времени, чтобы спать!

У меня решительно не было никакой причины быть счастливым, но я был счастлив. Я знал, что все, что я вижу, я покину навсегда, но не забуду: аркаду ночью, где я сижу в качалке, глажу и слушаю ржанье лошади проезжающего мимо извозчика, испанский фасад напротив с желтыми занавесками, которые ветер вырывает из черных окон, скрежет гофрированного железа — звук, пронизывающий до мозга костей, мою радость, когда я слышу этот звук, мое наслаждение, ветер, один только ветер, который лишь сотрясает пальму, ветер, который не сгоняет туч; я качаюсь и обливаюсь потом, зеленая пальма, гибкая как прут, ее листья позвякивают, как ножи, пыль, чугунный литой фонарь, который начинает мигать; я качаюсь и смеюсь, вздрагивающий, умирающий огонь фонаря, должно быть, сильный сквозняк, лошадь продолжает ржать, она едва тащит пролетку против ветра; все летит, рвется с петель эмблема парикмахера, звон меди в ночи, а невидимое море перебрасывает свои брызги через стену, когда волны с грохотом разбиваются о берег; вода шипит, как машина для варки кофе, ветер все усиливается; мне хочется пить, губы стали соленые,

---

[1] А вы как считаете, сэр? *(англ.)*

[2] Он хочет жениться на своей жене, он джентльмен! *(англ.)*

[3] Подождите здесь! Минутку, сэр, одну минутку! *(англ.)*

настоящая буря без дождя, ни одной капли не падает на землю; они не могут упасть, потому что нет туч, небо усыпано звездами, а воздух насыщен только горячей, сухой пылью, так и пышет жаром, словно из духовки; я качаюсь и пью шотландское виски, одну-единственную рюмку, я больше не выношу алкоголя, я качаюсь и пою. И так часами! Я пою! Я ведь не умею петь, но никто меня не слышит, стучат копыта лошади по булыжнику пустынной площади, убегает последняя девчонка, ее юбка летит впереди нее, обвивая ее смуглые ноги, ее черные волосы тоже летят, летит и зеленое жалюзи, которое сорвалось с какого-то окна, ее улыбка — сверкают зубы в вихре пыли, а ветер гонит зеленое жалюзи все вперед, к морю; город, весь белый, освещен каким-то красноватым отсветом, который пробивается сквозь пыль, жара, флаг Кубы,— я качаюсь и пою, вот и все, а рядом со мной качаются пустые кресла, мигает фонарь, вихрем проносятся лепестки цветов. Я люблю жизнь!

Суббота, 13/VII, лечу дальше.

Утро в Прадо, после того как я побывал в банке, чтобы разменять деньги, совершенно пустынная аллея, скользкая от птичьего помета и наметенных лепестков цветов.

Солнце...

Все на работе.

Птицы...

Какой-то мужчина просит у меня огонька, чтобы закурить, и, хотя он занят, все же провожает меня немного, только чтобы спросить:

— How do you like Habana? [1]

— I love it [2],— говорю я.

Это, должно быть, тоже сутенер. Он проявляет ко мне удивительное участие.

— You're happy, aren't you? [3]

Он восхищается моей камерой.

— Something very beautiful! D'you know what I mean? Something very young! [4]

Когда я ему говорю, что сегодня улетаю, он спрашивает меня, в котором часу я должен быть на аэродроме.

---

[1] Вам нравится Гавана? *(англ.)*

[2] Я полюбил ее *(англ.)*.

[3] Вам хорошо, верно? *(англ.)*

[4] Очень красивая! Вы понимаете, что я хочу сказать? Очень молоденькая! *(англ.)*

— Ten o'clock, my friend, ten o'clock [1].

Он глядит на часы.

— Well, now it's nine o'clock, sir, that's plenty of time [2].

Я еще раз иду взглянуть на море.

Вдали видны рыбачьи баркасы.

Прощание.

Я еще раз сижу на прибрежных камнях и еще раз выкуриваю сигару, но я больше не снимаю. К чему? Ганна права: потом все это смотришь, как фильм; этого все равно уже нет, и удержать это невозможно...

Прощание.

Ганна была у меня. Я сказал ей, что она выглядит как невеста. Ганна вся в белом! Она почему-то вдруг сняла траур: ее отговорка — на улице будто бы слишком жарко. Я так много рассказывал ей о грифах, что теперь она не хочет сидеть у моей кровати, как черная птица; она думает, что я не замечу эту ее милую предупредительность, потому что прежде (всего несколько недель назад) я многого не замечал. Ганна долго рассказывала о себе.

P. S. Однажды, еще когда Ганна была ребенком, она подралась со своим братом и поклялась себе, что никогда не полюбит мужчину, потому что брату удалось положить ее на обе лопатки. Она невероятно разозлилась на господа бога за то, что он сделал мальчишек сильнее девчонок, она находила, что он сделал непорядочно,— не брат, а бог. Тогда Ганна решила стать умнее, чем все мальчишки Швабинга [3], и основала тайный клуб девочек, чтобы низвергнуть Иегову. Во всяком случае, ее устраивало бы только такое небо, где были бы и богини. Сперва Ганна обратилась к божьей матери, ее привлекли иконы, где дева Мария сидит в самом центре; она преклоняла перед этими образами колена и крестилась, как ее подруги-католички, тщательно скрывая это от своего папы. Единственный мужчина, к которому она питала доверие, был старик по имени Армин, и он сыграл известную роль в ее жизни в детские годы. Я не знал, что у Ганны есть брат. Она рассказала мне, что он живет в Канаде и очень энергичен, он и теперь еще всех кладет на лопатки. Я спросил ее, как она жила тогда с Иоахимом, как, где, сколько времени. Я о многом спрашивал, но Ганна всегда отвечала: «Да ты же это

---

[1] В десять часов, мой друг, в десять часов *(англ.)*.

[2] Хорошо, сейчас девять часов, сэр, еще есть время *(англ.)*.

[3] Район Мюнхена.

все сам знаешь!» Больше всего она рассказывала об Армине. Он был слепой. Она и сейчас еще любит его, хотя он уже давным-давно умер — вернее, пропал без вести. Ганна была тогда школьницей, девочкой, которая еще носила гольфы; она регулярно бегала к нему в Английский парк, где он всегда сидел на одной и той же скамье, а потом вела его по Мюнхену. Он любил Мюнхен. Он был стар, по ее тогдашним представлениям, даже очень стар: ему было от пятидесяти до шестидесяти лет. Она всегда спешила, она встречалась с ним только во вторник и пятницу, в те дни, когда у нее были уроки музыки (скрипка), зато она приходила на эти свидания в любую погоду, вела его по городу и показывала витрины. Армин был совсем слепой, но он мог себе представить все, что ему рассказывали. Ганна говорит: ни с кем не было так хорошо бродить по свету, как с ним. Я спросил ее еще о том, как она рожала нашего ребенка. Я ведь при этом не был. Как я могу себе это представить? А Иоахим, конечно, был. Он знал, что это не его ребенок, но вел себя как настоящий отец. Ганна говорит, что она рожала легко; она помнит только, что почувствовала себя очень счастливой, став матерью. И вот еще что меня удивило: оказывается, моя мать знала, что ребенок, родившийся у Ганны, был моим ребенком, но, кроме нее, этого никто в Цюрихе не знал, мой отец об этом и понятия не имел. Я спросил Ганну, почему мать ни в одном письме об этом не упоминала. Что это, заговор женщин? Они просто не говорят с нами о том, чего мы не понимаем, и обращаются с нами, как с несовершеннолетними. Вообще мои родители, уверяет меня Ганна, совсем не такие, как я думаю, во всяком случае, по отношению к Ганне они были безупречны. Надо только послушать, что Ганна рассказывает о моей матери! Я кажусь себе слепцом! Еще долгие годы мать и Ганна переписывались; кстати, мать умерла вовсе не от той болезни, о которой мне сообщили. Ганна была удивлена, что я всего этого не знал. Она была на похоронах матери в 1937 году. Любовь Ганны к древним грекам началась, как ей кажется, тоже в Английском парке; Армин знал греческий, и девочка читала ему вслух тексты из учебников, а он учил их наизусть. Он имел над ней огромную власть. Впрочем, он никогда не приводил Ганну в свою квартиру. Она и сейчас еще не знает, где он жил и как. Ганна встречалась с ним в Английском парке и расставалась с ним всегда там же, и никто на свете не знал об их уговоре: вместе поехать в Грецию; они твердо собирались, как только она подрастет и сможет распоряжаться собой, отправиться в Грецию, и там Ганна покажет ему греческие храмы. Говорил ли

старый человек все это всерьез или нет, понять трудно; Ганна, во всяком случае, воспринимала все совершенно серьезно. Ганна в гольфах! Однажды, я помню, в кафе «Одеон» в Цюрихе я видел того пожилого господина, за которым Ганна всегда заходила, чтобы отвести его к трамвайной остановке и посадить в трамвай. Это кафе «Одеон», я, собственно говоря, ненавидел. Там собирались эмигранты, интеллигенция, богема, профессора и старые кокотки, которые охотились за деловыми людьми, приехавшими из провинции; я ходил в это кафе только ради Ганны. Господин этот жил в пансионе Фонтана; я ждал (спрятавшись за углом) на улице Глория, пока Ганна не доставит старика на место. Вот это, оказывается, и был Армин! Я-то не принимал его всерьез. Ганна говорит: «А он тебя принимал всерьез». Ганна и сейчас еще говорит об Армине так, словно он жив, словно он все видит. Я спросил, почему Ганна так и не поехала с ним в Грецию. Ганна меня высмеяла — ведь это была только шутка, ребячество! В Париже (с 1937 до 1940 г.) Ганна жила с одним французским писателем, который как будто довольно известен; я забыл его фамилию. А вот еще чего я совершенно не знал: Ганна была в Москве (1948) со своим вторым мужем. Однажды она снова побывала в Цюрихе (1953), но без нашей дочки; она любит Цюрих, словно ей не пришлось там так много пережить; побывала она в кафе «Одеон». Я спросил, как умер Армин. В Лондоне (1942) Ганна с ним еще раз встретилась. Армин хотел покинуть Англию, и Ганна проводила его на пароход, которого он сам не видел; вероятно, этот пароход потопила немецкая подводная лодка; во всяком случае, он так никуда и не прибыл.

15/VII. Дюссельдорф.

Я не знаю, что обо мне подумал молодой техник, которого господа из правления фирмы «Хенке — Бош» предоставили в мое распоряжение; могу только сказать, что в то утро я сдерживался, пока мог.

Небоскреб, сверкающий никелем.

Мне казалось, что мой долг, как друга Герберта, сообщить правлению фирмы, как выглядит их плантация в Гватемале; другими словами, я летел из Лиссабона в Дюссельдорф, толком не обдумав, что же мне надлежит делать или говорить, и теперь сидел в правлении, не зная, с чего начать, хотя меня приняли очень вежливо.

— У меня есть фильмы,— говорю я.

Я все больше убеждался, что эту плантацию в Гватемале они

уже начисто списали со счета и слушали теперь меня из чистой вежливости.

— Сколько времени надо, чтобы просмотреть ваши фильмы?

Собственно говоря, я им только мешал.

— Почему вы говорите «несчастный случай»,— спросил я.— Мой друг ведь повесился, неужели вы этого не знаете?

Конечно, они это знали.

У меня было чувство, что они не принимают меня всерьез, но все же уклониться было трудно, им пришлось согласиться посмотреть цветной фильм. Техник, которого мне предоставили, чтобы подготовить конференц-зал правления для просмотра привезенных мною лент, меня только нервировал; он был очень молод, мил, но совершенно не нужен. Мне нужны были аппаратура, экран, подводка, а не техник.

— Благодарю вас,— сказал я.

— Не за что, сударь.

— Я знаю эту аппаратуру,— сказал я.

Но отделаться от него было невозможно.

Я впервые сам смотрел эти фильмы, они еще не были смонтированы, поэтому естественно, что без конца повторялись одни и те же кадры, это ведь неизбежно; я сам был поражен, сколько закатов солнца я отснял: в одной пустыне Тамаулипас я снял три заката, можно было подумать, что я путешествую как специалист по солнечным закатам, просто смешно; мне было стыдно перед юным техником, поэтому я проявлял такое нетерпение.

— Большой резкости не получится.

Наш «лэндровер» на берегу Рио Усумасинта...

Грифы за работой...

— Пожалуйста, дальше,— говорю я.

Потом первые индейцы, которых мы повстречали утром и которые нам сообщили, что сеньор умер,— на этом кончилась первая катушка. Меняем катушку, на это уходит некоторое время, разговариваем про эктахром. Я сижу в мягком кресле и курю, потому что мне нечем заняться, а рядом пустые кресла членов правления; вот только ветер их не раскачивает.

— Пожалуйста, дальше,— говорю я.

Иоахим висит на проволоке.

— Стоп,— говорю я.— Пожалуйста, остановите.

К сожалению, этот кадр вышел очень темным, не сразу удается разобрать, что здесь снято: не хватало света — ведь я снимал в помещении, но с той же диафрагмой, с какой до этого снимал грифов, раздирающих дохлого осла, а там сияло солнце; я сказал:

— Вот это доктор Иоахим Хенке.

Он взглянул на экран.

— К сожалению, резче не получится, сударь.

Вот и все, что он сказал.

— Пожалуйста, дальше,— сказал я.

Снова Иоахим, висящий на проволоке, но на этот раз снятый сбоку, поэтому здесь лучше видно, что случилось; удивительная вещь: не только на моего юного техника, но и на меня эти кадры не производят никакого впечатления,— фильм как фильм, вроде тех, что все мы не раз смотрели в хронике; не хватает вони, острого ощущения реально случившегося; мы говорим об освещении, а тем временем на экране появляется могила, вокруг — молящиеся индейцы, все это очень затянуто; потом вдруг развалины Паленке, паленкский попугай. Конец катушки.

— Нельзя ли открыть окно? — говорю я.— Духота, как в тропиках.

— Прошу вас, сударь.

Все получилось так нескладно из-за того, что на таможне перерыли коробку с катушками, вернее, из-за того, что я не надписывал последние отснятые фильмы (после путешествия на теплоходе); я ведь хотел господам из правления фирмы «Хенке — Бош», которые соберутся здесь в 11.30, показать только то, что относится к Гватемале. Мне нужна была пленка, на которую я заснял свое последнее путешествие к Герберту.

— Стоп,— говорю я,— это Греция.

— Греция?

— Стоп! — кричу я.— Стоп!

— Прошу вас, сударь.

Этот парень просто сводил меня с ума, его услужливое «прошу вас», его снисходительное «прошу вас», словно он единственный человек на свете, который разбирается в такой аппаратуре, его дурацкая болтовня об оптике, в которой он ничего не смыслит, но главное — его противное «прошу вас» и при этом уверенность, что он все знает лучше всех.

— Другого способа нет, сударь, только все просмотреть и отобрать. Когда катушки не надписаны, другого способа просто нет.

Конечно, он не виноват в том, что катушки не надписаны; в этом отношении он был прав.

— Эта пленка начинается, насколько я помню,— сказал я,— с появления господина Герберта Хенке — мужчины с бородой, лежащего в гамаке.

Снова тушится свет, темнота, гудение проекционного аппарата.

Чистая игра случая! Достаточно было посмотреть первые метры: Айви на причале в Манхэттене, она машет мне рукой (я снимал это при помощи телеобъектива), Гудзон, освещенный утренним солнцем, черные буксиры. Манхэттен, чайки...

— Стоп! — говорю я.— Пожалуйста, следующую.

Снова он меняет катушку.

— Вы, видно, объехали полсвета, сударь, как бы я тоже хотел ездить!

Было уже 11.00.

Мне пришлось принять мои таблетки, чтобы быть в форме, когда явятся господа из правления; я проглотил эти таблетки без воды, я не хотел, чтобы техник заметил.

— Нет,— говорю я,— опять не то.

Снова он меняет катушку.

— Это вокзал в Риме, да?

Я не отвечаю. Я жду следующей катушки. Я напряженно слежу, чтобы немедленно остановить. Я знал, что я могу увидеть: Сабет на теплоходе; Сабет играет в пинг-понг на прогулочной палубе (со своим другом с усиками); Сабет в бикини; Сабет, которая показывает мне язык, заметив, что я ее снимаю,— все это должно было быть в той катушке, которая начиналась с Айви; значит, это уже миновало. Но на столе еще лежали шесть или семь катушек; и вдруг она возникает на экране — как будто иначе и быть не может — чуть ли не в натуральную величину. В цвете.

Я встал с места.

Сабет в Авиньоне.

Я не остановил, а дал прокрутить всю ленту, хотя техник мне несколько раз говорил, что это не может быть Гватемала.

И сейчас еще вижу эту ленту.

Ее лицо, которого никогда больше не будет...

Сабет во время мистраля; она идет против ветра, терраса, сад папы, все развевается — волосы, юбка, юбка, как шар... Сабет стоит у перил, она кивает.

Сабет в движении...

Сабет, когда она кормит голубей.

Ее смех, но беззвучный...

Авиньонский мост, старый мост, который обрывается посреди реки. Сабет мне что-то показывает, ее недовольная гримаса, когда она замечает, что я ее снимаю, вместо того чтобы глядеть; она морщит лоб над переносицей, она что-то говорит.

Пейзажи.

Вода Роны, видно, очень холодная. Сабет осторожно окунает в нее ногу и отрицательно качает головой; заход солнца, моя длинная тень.

Ее тело, которого больше нет...

Античный театр в Ниме.

Завтрак под платанами, официант, который принес нам еще бриошей, ее болтовня с официантом; она глядит на меня и наливает мне в чашку черного кофе.

Ее глаза, которых больше нет...

Мост Гард.

Сабет покупает открытки, чтобы написать маме. Сабет в своих черных джинсах; она не замечает, что я ее снимаю; Сабет, которая откидывает привычным жестом свой конский хвост за спину.

Гостиница «Генрих IV».

Сабет сидит на подоконнике, скрестив ноги, босиком; она ест вишни и глядит на улицу, она выплевывает косточки прямо вниз; идет дождь.

Ее губы...

Сабет разговаривает с французским мулом, который, по ее мнению, слишком тяжело навьючен.

Ее руки...

Наш «ситроен» образца 57-го года.

Ее руки, которых больше нет, она гладит мула...

Бой быков в Арле.

Сабет причесывается, зажав заколку своими крепкими зубами; она снова замечает, что я ее снимаю, и вынимает заколку изо рта, чтобы сказать мне что-то — наверное, она просит не снимать,— и вдруг смеется.

Ее крепкие зубы...

Ее смех, которого я никогда больше не услышу...

Ее юный лоб...

По улице идет процессия (мне кажется, это тоже в Арле); Сабет вытягивает шею, чтобы лучше видеть, она курит, зажмуривая глаза от дыма, руки она засунула в карманы штанов. Сабет стоит на цоколе, чтобы глядеть поверх толпы. Над процессией плывет балдахин, должно быть, звонят в колокола, но этого не слышно, несут фигуру богородицы; за ней идут мальчики из хора, должно быть, они поют, но и этого не слышно.

Платановая аллея. Прованская аллея.

Наш пикник на дороге. Сабет пьет вино. Ей трудно пить прямо из горлышка; она закрывает глаза и несколько раз про-

бует, потом вытирает рот, у нее явно ничего не выходит, и она отдает мне бутылку, пожимая плечами.

Пинии, которые гнет мистраль.

Еще раз пинии во время мистраля.

Ее походка...

Сабет направляется к киоску, чтобы купить сигареты. Она идет. Сабет в своих черных штанах, как обычно, она стоит на тротуаре, чтобы поглядеть направо и налево, ее конский хвост при этом болтается, потом она наискосок перебегает улицу прямо ко мне.

Ее прыгающая походка...

Снова пинии во время мистраля.

Сабет спит, полуоткрыв рот, детский рот, ее растрепанные волосы, ее серьезное лицо, закрытые глаза...

Ее лицо, ее лицо...

Ее дышащее тело...

Марсель. Погрузка быков в порту: коричневых быков выводят на разостланную на асфальте сетку, потом их подхватывает подъемный кран; они цепенеют от страха, когда висят в воздухе, их ноги беспомощно торчат из петель сетки, глаза закатываются, словно в эпилептическом припадке.

Пинии во время мистраля; еще раз.

L'unité d'Habitation [1] (Корбюзье).

В целом освещение этого фильма совсем неплохое, во всяком случае куда лучше, чем лент, отснятых в Гватемале; цвет получился просто великолепный, я был поражен.

Сабет собирает цветы...

Я приладился (наконец!) держать камеру так, чтобы она не качалась из стороны в сторону, поэтому движение объекта получается гораздо четче.

Прибой...

Пальцы Сабет — она впервые увидела пробковый дуб,— ее пальцы, когда она отламывает кусочек коры и кидает его в меня!

(Дефект пленки.)

Прибой в полдень, и больше ничего.

Снова Сабет, когда она причесывается. Волосы у нее мокрые, голову она чуть наклонила набок, чтобы легче расчесать; она не видит, что я снимаю, и что-то рассказывает, продолжая расчесывать волосы; они темнее, чем обычно, потому что мокрые, совсем рыжие, ее зеленая расческа вся в песке; Сабет про-

[1] Единство жилища *(франц.)*.

дувает расческу, ее мраморная кожа с капельками воды, она продолжает рассказывать...

Подводная лодка в Тулоне.

Молодой бродяга с омаром в руках, омар двигает клешнями, и Сабет всякий раз пугается...

Наша маленькая гостиница в Ле-Трайя.

Сабет сидит на молу...

Еще раз прибой.

(Слишком затянуто!)

Сабет еще раз на молу; она стоит, наша мертвая дочка, и поет, снова засунув руки в карманы штанов; она думает, что она здесь совершенно одна, и поет, но этого не слышно...

Конец катушки.

Что подумал обо мне юный механик и что он сказал, когда собрались господа из правления, я не знаю; я сидел в вагоне-ресторане экспресса (то ли «Гельвеция-экспресс», то ли экспресс «Красоты природы», я уже не помню) и пил минеральную воду. Как я ушел из здания фирмы «Хенке — Бош», я тоже уже не знаю; я просто ушел, ничего не объяснив, не найдя никакого благовидного предлога.

Я только оставил им нужные фильмы.

Я сказал механику, что мне необходимо уйти, и поблагодарил его за помощь. Я вышел в прихожую, где оставил пальто и шляпу, потом попросил секретаршу принести мне портфель, который я оставил в комнате правления. Я стоял у лифта; было 11.32., и все как раз собирались идти на просмотр, а я извинился, ссылаясь на боли в желудке (что было неправдой), и сел в лифт. Мне предложили отвезти меня на машине в гостиницу или в больницу; но у меня ведь вовсе не было никаких болей, я поблагодарил и пошел пешком. Я шел не торопясь, не имея никакого представления, куда иду; я не знаю, как выглядит теперь Дюссельдорф; я шел по городу, где такое же движение, не обращая внимания на светофоры, я шел, мне кажется, как слепой. Я направился к вокзалу, купил в кассе билет и сел в первый отходящий поезд,— и вот теперь я пью минеральную воду в вагоне-ресторане и гляжу в окно; я не плачу, мне просто хочется больше не быть, не существовать, исчезнуть... Зачем глядеть в окно? Мне больше не на что смотреть. Ее руки, которых нигде больше нет, ее движения, когда она откидывает волосы на затылок или причесывается, ее зубы, ее губы, ее глаза, которых нигде больше нет, ее лоб: где мне все это искать?

Я хотел бы одного — чтоб меня вообще никогда не было. Зачем я еду, собственно говоря, в Цюрих? Зачем в Афины? Я сижу в вагоне-ресторане и думаю: почему бы мне не взять вот эти две вилки, не поставить их торчком и не уронить на них свое лицо, чтобы избавиться от глаз?

Моя операция назначена на послезавтра.

P. S. В течение всего своего путешествия я не имел ни малейшего представления о том, что Ганна делала после несчастья. Я не получил от нее ни одного письма! Я и теперь еще этого не знаю. Когда я ее спрашиваю, она мне отвечает: «Что я могу делать!» Я вообще перестал что-либо понимать. Как может Ганна после всего случившегося еще выносить меня? Она приходит сюда, чтобы поскорее уйти, а потом снова возвращается, она приносит мне все, что мне хочется, она меня выслушивает. Что она думает? Волосы у нее стали совсем седые. Почему она не говорит мне, что я загубил ее жизнь? После всего, что случилось, я не могу себе представить, как она живет. Один-единственный раз я понял ее — тогда, у кровати мертвой дочери, когда она била меня кулаками по лицу. С тех пор я ее больше не понимаю.

16/VII. Цюрих.

Я поехал из Дюссельдорфа в Цюрих, как мне кажется, только потому, что не видел свой родной город уже многие десятилетия.

Вильямс ждал меня в Париже...

Делать мне в Цюрихе было нечего.

В Цюрихе, когда он остановил возле меня машину и вышел, чтобы со мной поздороваться, я его снова не узнал; точь-в-точь как в прошлый раз: череп, обтянутый кожей — не человеческой кожей, а дубленой желтой кожей, как на портфелях, живот, как мяч, уши торчком, та же сердечность, та же улыбка, похожая на оскал черепа, глаза все еще живые, но совсем провалившиеся; я знал только, что я знаком с ним, но в первое мгновение опять не мог сообразить, кто это.

— Все торопитесь? — смеялся он.— Все торопитесь?

Спросил, что я делаю в Цюрихе.

— Вы что, меня снова не узнаете?

Вид у него был жуткий, я не находил слов; конечно, я его

узнал, только в первую минуту я растерялся от испуга, а потом меня сковал страх, что я ляпну что-нибудь невозможное. Я ответил:

— Нет, сегодня я не спешу.

Мы пошли вместе в кафе «Одеон».

— Мне очень жаль,— сказал я,— что я вас не сразу узнал тогда в Париже.

Но он на меня не сердился, он смеялся; я слушал его, глядя на его старые зубы: это только казалось, что он смеется, его зубы были слишком велики, у него теперь не хватало ни кожи, ни мускулов для несмеющегося лица; я беседовал с черепом, я должен был взять себя в руки, чтобы не спросить профессора О., когда же он наконец умрет. Он смеялся:

— Что это вы рисуете, Фабер?

Я рисовал на мраморной крышке столика — собственно говоря, не рисовал, а просто черкал карандашом; в желтом мраморе была какая-то жилка, она напоминала улитку, и я превратил ее в спираль, в незатейливую спираль; но, когда он спросил меня об этом, я спрятал в карман карандаш, и мы продолжали наш разговор о мировой политике, но его смех мне настолько мешал, что я уже был не в силах вымолвить слово.

Что же это я такой молчаливый?

Один из старых официантов кафе «Одеон», венец Петер, узнал меня; он нашел, что я нисколько не изменился.

Профессор О. смеялся.

Он выразил сожаление, что я в свое время не довел свою диссертацию (о так называемом максвелловском демоне) до конца.

В кафе было полным-полно кокоток, как и прежде.

— Знаете ли вы,— смеялся он,— что кафе «Одеон» снесут?

И вдруг его вопрос:

— Как поживает ваша красивая дочь?

Он видел Сабет, когда мы с ним простились тогда, в кафе, в Париже; как он сказал, «недавно в Париже»! Это было после обеда, перед тем как мы с Сабет пошли в оперу, в канун первого дня нашего свадебного путешествия...

Я ничего не ответил, только сказал:

— Откуда вы знаете, что это была моя дочь?

— Я так подумал.

Снова его смех.

В Цюрихе мне делать было решительно нечего; и в тот же день (после болтовни в «Одеоне» с профессором О.) я поехал в Клотен, чтобы лететь дальше.

Мой последний полет!

Снова «суперконстэллейшн».

Это был, собственно говоря, спокойный полет, только слабый фён поднялся над Альпами, которые я с детских лет неплохо знаю, но впервые над ними лечу: голубое небо перед закатом, обычный фён, а внизу — Фирвальдштетское озеро, справа — Веттергорн, за ним Эйгер и Юнгфрау, а быть может, и Финстераргорн, так точно я наших гор уже не помню, у меня другое в голове...

А что, собственно говоря?

Долины в скупом свете надвигающихся сумерек, склоны, на которые уже спустилась тень, ущелья, где уже давно зашло солнце, белые ленточки горных речек, пастбище, стога сена, красные в отсвете заката, стадо в лощине, белая галька на границе леса — как белые личинки! (Сабет, конечно, назвала бы это иначе, но я не знаю как.) И я уперся лбом в холодное стекло; бесполезные мысли...

Хочется вдыхать запах сена!

Никогда больше не летать!

Хочется ходить по земле — вон там, внизу, у сосен, на которые еще падает солнечный свет; вдыхать запах смолы, слышать, как шумит вода, как она грохочет, пить воду...

Все проносится мимо, как в кино!

Хочется взять в руку горсть земли...

Вместо этого мы продолжаем набирать высоту.

Зона жизни — какая она, собственно говоря, узкая, несколько сот метров, а выше атмосфера слишком разреженная, становится чересчур холодно, можно сказать, человечество живет в оазисе, на дне зеленой долины, у нее есть узкие разветвления, а потом оазис кончается, леса уже не растут (у нас на высоте 2 тысяч метров, в Мексике — 4 тысяч метров), выше еще встречаются стада, они пасутся как бы на границе возможной жизни, там еще есть цветы (я их не вижу, но знаю, что они есть), яркие и пахучие, но крохотные, есть насекомые, а потом только камни, только лед.

Я увидел новое озеро, образовавшееся благодаря плотине.

Его вода как перно, зеленоватая и мутная, а в ней отражается снежная вершина, у берега стоит лодка; вокруг ни души.

Плывет туман.

Трещины в ледниках зеленые, как бутылочное стекло.

Сабет сказала бы: как изумруд! Снова наша игра со счетом

до двадцати одного очка! Скалы после заката: как золото. Я нахожу: как янтарь, потому что они матовые и почти прозрачные, или как кости, потому что светло-желтые и пористые. Тень нашего самолета над моренами и ледниками: всякий раз, когда она проваливается в бездну, кажется, что она погибла, что ее туда заманили; но вот через мгновение она снова ползет по следующей скальной степе; кажется, будто ее прилепили мастерком штукатура, но она не держится, а скользит и снова падает в пустоту по ту сторону гребня. Тень нашего самолета как летучая мышь! — так сказала бы Сабет, я ничего не нахожу и теряю очко, но у меня другое на уме: я вижу следы на снегу, следы человеческих ног, они выглядят как заклепки, а Сабет сказала бы, как бусы, голубоватые, они висят длинной нитью на шее снежника. Вот о чем я думаю: если бы я сейчас стоял на той вершине, что бы я стал делать? Уже слишком поздно, чтобы начинать спуск; в долине сгустились сумерки, и вечерние синие тени покрыли ледники, переламываясь на отвесных скалистых степях. Что же делать? Мы пролетаем мимо; я вижу белый крест на вершине, там горит огонек, но очень одиноко; этот огонек не могут увидеть те, кто взбирается на вершину, потому что надо начать спускаться прежде, чем он загорается. За то, чтобы увидеть его, надо заплатить своей жизнью, но он очень красив; еще мгновение, и все это скрывается за облаками; воздушные ямы, южный склон Альп весь в облаках, как и следовало ожидать: они как вата, как гипс, как цветная капуста, как мыльная пена с пузырями, отливающими всеми цветами радуги; не знаю, что бы еще придумала Сабет, контуры их очень быстро меняются, иногда в облаках получается прорыв, и тогда можно заглянуть вглубь: черный лес, горная речка, лес как еж — но все это длится мгновенье, облака плывут, находят друг на друга, тени верхнего слоя облаков на нижнем, тени как занавеси; мы пролетаем сквозь них, перед нами горы облаков, освещенные солнцем; кажется, наш самолет разобьется об эти горы, горы из водяных испарений, белые, упругие, зернистые, словно греческий мрамор.

Мы влетаем в эти горы.

Со времени моей вынужденной посадки в пустыне Тамаулипас я всегда садился в самолете так, чтобы видеть шасси, как только его выпустят; меня всегда занимало, не превратится ли посадочная дорожка в последнюю минуту, когда ее коснутся колеса, в пустыню...

Милан.

Отправляю телеграмму Ганне, что я прилетаю.

Кому же еще?

Трудно себе представить, почему шасси, состоящее из двух пар колес и особых рессор на трубчатой рамке из блестящего металла, густо покрытой смазкой, как и полагается,— трудно себе представить, почему это шасси должно вдруг повести себя как демон, который превращает посадочную дорожку в пустыню; все это, конечно, бредни, которые я сам не принимаю всерьез; мне за мою жизнь ни разу не пришлось столкнуться ни с одним демоном, не считая так называемого максвелловского демона, который, как известно, вовсе не демон.

Рим.

Отправил телеграмму Вильямсу — сообщил ему, что ухожу с работы.

Постепенно я начинал успокаиваться.

Когда мы полетели дальше, наступила уже ночь, да и наш курс пролегал немного севернее, так что я не смог почью различить Коринфский залив.

Все как обычно.

Красные искры, вспыхивающие в ночи...

Зеленый бортовой огонек на крыле...

Лунный свет на крыле...

Раскаленное докрасна сопло мотора...

Я следил за всем с напряженным вниманием, словно летел впервые в жизни; я видел, как медленно выползало шасси, видел, как луч прожектора скользил под нашими крыльями, белым светом озарял пропеллеры, потом снова гас, огни под нами, улица Афин или Пирея; мы спускались, уже видны желтые посадочные сигналы, посадочная площадка, снова вспыхнул свет нашего прожектора, потом обычный мягкий толчок (на этот раз без потери сознания) и облако пыли, подымающееся под шасси.

И вот я отстегиваюсь.

Ганна стоит среди встречающих.

Я вижу ее из окна.

Ганна вся в черном.

У меня только портфель, машинка, пальто и шляпа, так что все формальности на таможне улаживаются мгновенно; я выхожу первым, но не решаюсь даже помахать рукой. Немного не дойдя до барьера, я остановился (так говорит Ганна) и подождал, пока Ганна сама ко мне подойдет. Я впервые увидел Ганну в черном. Она поцеловала меня в лоб. Шоферу такси она велела ехать в гостиницу «Эстиа Эмборрон».

Сегодня мне можно пить только чай, они еще раз сделают все обследования — и все. Завтра наконец операция.

До сегодняшнего дня я всего один-единственный раз был на ее могиле, потому что они меня здесь (я ведь пришел только на обследование) сразу же оставили: раскаленная от солнца могила, цветы вянут за полдня...

18. 00.
Они забрали у меня машинку.

19. 30.
Ганна приходила еще раз.

24. 00.
Я еще ни минуты не спал, и спать мне совсем не хочется. Я все знаю. Завтра они меня разрежут, чтобы установить то, что они уже знают: что спасти меня нельзя... Они снова меня зашьют; и, когда я очнусь после наркоза, мне сообщат, что сделали операцию. И я в это поверю, хотя все знаю. Я не захочу признаться, что боли вернулись, что приступы сильнее, чем прежде. Многие говорят: если бы я узнал, что у меня рак желудка, я пустил бы себе пулю в лоб,— но это ведь только слова. Я хочу жить, как никогда прежде, и, даже если бы мне осталось жить только год, жалкий год, или три месяца, или даже два (это были бы сентябрь и октябрь), я не потерял бы надежду, хотя знаю, что погиб. Но я не один, Ганна мой друг, и я не один.

02. 40.
Написал Ганне письмо.

04. 00.
Распоряжение на случай смерти: все мои бумаги, письма, записи, дневники должны быть уничтожены, потому что все это ложь. Быть на земле — значит быть на свету. Где-нибудь (как тот старик из Коринфа) погонять осла — это тоже профессия, важно только одно: крепко держаться света, радости (как наша девочка, когда она пела), сознавая, что сам угаснешь; видеть дрок, асфальт, море, крепко держаться времени — вернее, вкладывать вечность в мгновение. Быть вечным — значит прожить свою жизнь.

04. 15.

У Ганны тоже больше нет квартиры, только сегодня (вчера!) она мне это сказала. Она живет теперь в пансионе. Моя телеграмма из Каракаса ее уже не застала в прежней квартире. Как раз примерно в то время Ганна села на теплоход. Сперва у нее была мысль прожить год на островах, где у нее были знакомые греки еще с той поры, как велись раскопки (Делос); на островах жизнь, говорят, очень дешева. В Миконосе можно купить дом за двести долларов, считает Ганна, а в Аморгосе — за сто. Она больше не работает в институте, а я об этом и не подозревал. Ганна пыталась сдать свою квартиру вместе с обстановкой, но в такой краткий срок ей этого сделать не удалось, тогда она все продала, а многие книги раздарила. Она просто была больше не в силах оставаться в Афинах, сказала она. Когда она решила сесть на теплоход, она подумывала о Париже, а может быть, и о Лондоне; все это было весьма неопределенно, потому что в ее возрасте, считает Ганна, не так-то легко найти новую работу — например, работу секретарши. Но Ганне никогда не приходило в голову обратиться ко мне за помощью, поэтому она и не писала. Собственно говоря, у Ганны была одна-единственная цель — уехать из Греции! Она покинула город, не попрощавшись ни с кем из своих здешних знакомых, за исключением директора института, которого она очень ценила. Последние часы перед отъездом она провела на могиле; на борту ей надо было быть в 14.00, отплытие — в 15.00, но по какой-то причине отплытие задержалось почти на час. И вдруг (говорит Ганна) этот отъезд показался ей бессмысленным; и она сошла с теплохода в последнюю минуту, прихватив с собой только ручной багаж. Три больших чемодана, которые были уже на теплоходе, получить назад не удалось. Чемоданы эти поплыли в Неаполь и вскоре должны оттуда прибыть. Сперва она жила в гостинице «Эстиа Эмборрон», но оставаться там надолго ей не по средствам; она дала о себе знать в институте, но оказалось, что ее помощник за это время успел занять ее место, с ним подписали договор на три года, уже ничего нельзя было изменить, он достаточно долго ждал этого места и добровольно отказаться от него не желал. Директор будто бы держал себя очень мило, но институт недостаточно богат, чтобы дважды оплачивать одну и ту же должность. Вот что они могли ей предложить: время от времени аккордные работы и наилучшие рекомендации, чтобы она искала работу в других городах. Но Ганна решила остаться в Афинах. Ждала ли Ганна здесь меня или, наоборот, хотела покинуть Афи-

ны, чтобы больше никогда со мной не встречаться, я не знаю. Только по чистой случайности она вовремя получила мою телеграмму из Рима: как раз в тот момент, когда пришла телеграмма, она была в своей пустой квартире, чтобы передать ключи привратнику. Теперь Ганна работает гидом, по утрам — в музее, после обеда — в Акрополе, а по вечерам — в Сунионе. Чаще всего ей попадаются группы, которые осматривают все эти места за один день,— туристы Средиземноморского бюро путешествий.

06. 00.
Написал Ганне еще одно письмо.

06. 45.
Я не знаю, почему Иоахим повесился, а Ганна меня все об этом спрашивает. Откуда мне это знать? А она все снова возвращается к этому, хотя я знаю об Иоахиме куда меньше Ганны. Она говорит: «Когда родился ребенок, он никогда не напоминал мне тебя. Это был мой ребенок, только мой. Что же касается Иоахима, то я любила его именно потому, что он не был отцом моего ребенка, и первые годы все было очень просто». Ганна считает, что наш ребенок никогда бы не появился на свет, если бы мы тогда не расстались. В этом Ганна убеждена. Видимо, все это решилось для Ганны еще до того, как я приехал в Багдад; она всегда хотела иметь ребенка, потом она забеременела; и, только когда я уехал, обнаружила, что хочет иметь ребенка без отца, не нашего ребенка, а своего ребенка. Она была одна и счастлива, что беременна; и, когда она отправилась к Иоахиму, чтобы он ее переубедил, она внутренне уже была исполнена решимости рожать; ее не смущало тогда, что Иоахим считает, будто это он подсказал ей важное решение в поворотный момент ее жизни. Он влюбился в Ганну, и вскоре они поженились. Моя неудачная фраза, которую я при нашей первой встрече сказал ей вечером у нее на квартире: «Ты ведешь себя как наседка!» — ее сильно взволновала, потому что когда-то Иоахим, как она сама мне призналась, тоже бросил ей эту фразу. Иоахим заботился о ребенке, но не вмешивался в вопросы воспитания. Это ведь был не его ребенок, да и не мой ребенок, а ребенок без отца, просто ее ребенок, ее собственный ребенок, до которого не было дела ни одному мужчине; с этим Иоахим легко мирился, особенно в первые годы, пока девочка была еще совсем маленькая и так или иначе должна была находиться всецело в ведении мате-

ри; в то время Иоахим великодушно разрешал это Ганне, потому что в этом было ее счастье. Обо мне, говорит Ганна, речь никогда не заходила. У Иоахима не было никаких оснований ревновать, да он и не ревновал ко мне. Он видел, что я как отец не играю никакой роли — ни для внешнего мира (там просто об этом ничего не знали), ни тем более для Ганны, которая меня начисто забыла (как Ганна меня много раз уверяла) и ни в чем не упрекала. Отношения между Иоахимом и Ганной начали осложняться, когда девочка подросла и перед ними встали вопросы ее воспитания; дело было здесь не столько в том, что их мнения расходились,— это бывало очень редко, а в том, что Ганна считала себя единственной и последней инстанцией во всех вопросах, касающихся ребенка, а с этим Иоахим никак не мог примириться. Ганна признает, что Иоахим был вполне уживчивым человеком и что все конфликты возникали только по этой причине.

Было ясно, что он все больше и больше мечтал о ребенке — об общем ребенке, который вернет ему положение отца в семье, и полагал, что с его рождением все бы образовалось само собой; Эльсбет считала Иоахима отцом, любила его, но он не доверял ей, думает Ганна, и все время казался себе лишним в семье. В те годы было достаточно веских оснований, чтобы не рожать на свет новых детей, а тем более для полуеврейки немецкого происхождения; еще теперь Ганна горячо отстаивает вескость этих причин, словно я намерен с ней спорить. Иоахим, однако, считал эти причины отговоркой; он был исполнен подозрения: ты не хочешь, чтобы в доме был отец! Ему казалось, что Ганна готова иметь детей только при условии, что отец исчезнет. Оказывается — я этого не знал,— Иоахим оформил все документы на выезд за океан еще в 1935 году и был готов пойти на все, чтобы никогда не расставаться с Ганной. Ганна тоже никогда не думала, что они расстанутся, она собиралась уехать с Иоахимом в Канаду или Австралию: она даже приобрела еще профессию лаборантки, чтобы в любом месте быть его помощницей. Однако всего этого не случилось. Иоахим узнал, что Ганна сделала себе операцию, чтобы не иметь детей, и это стремительно приблизило развязку. Хотя он и смог, к досаде своей родни, освободиться от воинской повинности, Иоахим добровольно пошел служить в вермахт. Ганна не могла его забыть. У нее были в дальнейшем еще романы, но она всю свою жизнь посвятила девочке. Она работала в Париже, потом в Лондоне, Восточном Берлине, Афинах. Она скиталась вместе со своим ребенком. Там, где не было школ на

немецком языке, она сама занималась с дочерью и в сорок лет стала играть на скрипке, чтобы аккомпанировать ей. Ничто не казалось Ганне трудным, если речь шла о дочке. Когда немецкие войска оккупировали Париж, она скрывалась с больной девочкой в подвале и выходила на улицу, только чтобы купить лекарство. Однако Ганна не избаловала свою дочку; для этого Ганна слишком умна, считаю я, хотя она все время (особенно в последние дни) называет себя идиоткой. «Почему ты это сказал?» — спрашивает она у меня теперь постоянно. Почему я сказал тогда «твой ребенок», вместо того чтобы сказать «наш ребенок». Был ли это упрек с моей стороны или просто трусость? Я не понимаю ее вопроса. Знал ли я тогда, насколько я прав? И почему я недавно сказал: «Ты ведешь себя как наседка»? Эту фразу я уже несколько раз брал назад с тех пор, как узнал, сколько Ганне пришлось пережить; но сама Ганна никак не может отделаться от этой фразы. Могу ли я ее простить? Ганна плакала, стоя на коленях, хотя каждую минуту могла войти дьякониса. Ганна, которая целует мою руку,— такой Ганны я не знаю. Я понимаю только, что Ганна, после всего того, что произошло, никогда больше не покинет Афины, могилу нашего ребенка. «Мы оба здесь останемся»,— думаю я. Я понимаю также, почему она отказалась от квартиры, где теперь всегда была бы пустая комната; уж достаточно трудно было Ганне отпустить девочку одну путешествовать, пусть только на полгода. Ганна всегда знала, что когда-нибудь ее дочка покинет дом; но даже Ганна не могла предвидеть, что в этом путешествии Сабет встретится со своим отцом, который все погубит...

08. 05.
Они пришли за мной.

НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН



MEIN NAME SEI GANTENBEIN

Frankfurt am Main
1964

Перевод С. Апта

Те, кто там был, последние, кто говорил с ним, случайные какие-то знакомые, уверяют, что в тот вечер он был такой же, как всегда, веселый, совсем не надменный. Ужинали славно, но не роскошно; болтали много, довольно-таки содержательно, и он, по крайней мере вначале, был, кажется, не тише других. Кто-то говорит, что удивился тогда усталому взгляду, с каким он слушал, но время от времени он подавал голос, чтобы не сидеть безучастно, острил, то есть держался как обычно. Потом вся компания отправилась еще в какой-то бар, где сперва стояли в пальто, а затем подсели к другим, которые не знали его; может быть, поэтому он и притих. Он заказал только кофе. Когда он потом вернулся из уборной, говорят они, он был бледен, но заметили это, собственно, лишь тогда, когда он, уже не садясь больше, извинился, сказал, что поедет домой, что вдруг почувствовал себя неважно. Попрощался он коротко, без рукопожатий, походя, чтобы не прерывать разговора. Кто-то еще сказал: «Погоди, мы ведь здесь тоже ночевать не собираемся!» Но задержать его, говорят они, не уда-

лось, и, когда гардеробщица принесла наконец пальто, он не надел его, а только перекинул через руку, словно бы торопился. Все говорят, что пил он немного, и они даже усомнились, действительно ли он почувствовал себя плохо, не просто ли это предлог уйти; он улыбнулся. Может быть, у него еще какое-то свидание. Дамы польстили ему своим подтруниванием; он как бы согласился с их подозрениями, но не сказал больше ни слова. Пришлось его отпустить. Не было еще даже полуночи. Когда потом заметили на столе его забытую трубку, было уже поздно бежать вдогонку... Смерть наступила, по-видимому, вскоре после того, как он сел в машину; подфарники были включены, мотор тоже, мигалка загоралась и гасла, словно он вот-вот отъедет от тротуара. Он сидел прямо, запрокинув голову, вцепившись обеими руками в разорванный воротник, когда подошел полицейский, чтобы посмотреть, почему не отъезжает машина с заведенным мотором. Смерть была, по-видимому, мгновенная, и, по словам тех, кого при этом не было, легкая — я не могу этого представить себе,— такой смерти можно только пожелать...

Я представляю себе:

Таким мог бы быть конец Эндерлина.

Или Гантенбайна?

Скорее Эндерлина.

Да, говорю и я, я его знал. Что это значит? Я представлял его себе, а теперь он отшвыривает мне мои представления назад, как хлам; ему не нужно больше историй, как не нужно одежды.

Я сижу в баре, среди бела дня, поэтому наедине с барменом, который рассказывает мне свою жизнь. Почему, собственно? Он говорит, а я слушаю, пью заодно или курю, жду кого-то, читаю газету. Вот как дело было! — говорит он, моя стаканы. Подлинная история, стало быть. Верю! — говорю я. Он вытирает вымытые стаканы. Да, говорит он еще раз, так было дело! Я пью — я думаю: человек что-то испытал, теперь он ищет историю того, что испытал...

Он был моего возраста, я следовал за ним с той минуты, когда он вышел из своей машины, кажется «ситроена», захлопнул дверцу и сунул в брючный карман связку ключей. Требовался общий облик. Собственно, я собирался сходить в му-

вей, сперва позавтракать, потом сходить в музей, поскольку профессиональные мои дела были закончены, а знакомых у меня в этом городе не было, и привлек он к себе мое внимание по чистой случайности, не знаю чем, движением головы, что ли, таким, словно у него что-то чешется: он закуривал сигарету. Я увидел это в тот самый момент, когда и сам хотел закурить; я не стал закуривать. Я пошел за ним, еще не увидев его лица, направо, бросив сигарету без промедления и без поспешности. Это было в районе Сорбонны, в первой половине дня. Словно что-то почуяв, он вернулся к машине, чтобы проверить, действительно ли он запер дверцы, полез за ключами не в тот карман. Я между тем притворился, будто рассматриваю афишу, и закурил, чтобы отличаться от него, трубку. Я уже испугался было, что он сядет в машину и уедет, покуда я делаю вид, что читаю афишу, репертуар ТНП [1]. Но он — я услыхал, как хлопнула дверца машины, и обернулся — пошел пешком, и я, таким образом, мог пойти вслед за ним. Я разглядывал его походку, его одежду, его движения. Примечательна была лишь его манера загребать при ходьбе руками. Он явно спешил. Я шел за ним, квартал за кварталом, по направлению к Сене, хотя бы лишь потому, что больше мне в этом городе нечего было делать. Теперь он нес кожаную папку, а в первый раз, как я вспомнил, он отошел от машины без папки.

Оттесненный на полосатой пешеходной дорожке встречной толпой, я потерял его из виду и готов был уже опять сдаться; но другая толпа, торопясь перейти улицу до красного света, подтолкнула меня вперед. Не желая того, я пошел дальше. Я хорошо знаю, что из этого ничего не выйдет; раньше или позже любой, за кем я слежу, исчезнет в какой-нибудь двери или вдруг подзовет такси, а когда мне тоже удается схватить свободное такси, догонять всегда уже поздно, и мне остается только ехать в гостиницу, чтобы плюхнуться на кровать в одежде и башмаках, измотавшись от этих хождений без толку... Это у меня какой-то заскок!.. Итак, я уже сдался было, радуясь, в сущности, что преследование можно не продолжать, как вдруг увидал его снова; я узнал его по взмахам рук. Хотя день только начинался, на нем был темный вечерний костюм, как если бы он возвращался из оперы. Это-то, может быть, и связывало меня с незнакомцем, воспоминание об одном утре, когда я в темном вечернем костюме возвращался от одной женщины. Что я слежу за ним, он еще не почувствовал

[1] «Театр Нуво Паризьен» — название одного из парижских театров.

или уже не чувствовал. Между прочим, он был без шляпы, как я. Хотя он спешил, двигался он не быстрее, чем я, которому нельзя было обращать на себя внимание такой же поспешностью, а надо было идти, как все прочие; поэтому от квартала к кварталу он немного вырывался вперед, тем более что я готов был прекратить бесцельное преследование, но потом, перед красным светом, мы каждый раз снова оказывались в одной куче. Лица его я все еще не видел; только было один раз я с ним поравнялся, воспользовавшись прогалом в толпе, как он поглядел в другую сторону. Другой раз он остановился перед витриной, так что лицо его я смог бы увидать в отраженье, но я не стал с ним заговаривать; лицо его не требовалось — я зашел в первый попавшийся бар, чтобы наконец позавтракать...

У следующего, которого я взял на заметку, кожа была такая, какая бывает только у американцев, молоко с веснушками, мыло, не кожа. Тем не менее я пошел за ним. Я дал ему, глядя сзади, лет тридцать пять; прекрасный возраст. Я только что забронировал место, чтобы лететь обратно, и собирался, собственно, проболтаться оставшиеся часы, может быть, в Сентрал-парке. Sorry! [1] — сказал он, потому что толкнул меня, и я огляпулся, но увидел его только сзади. На нем было шиферно-серое пальто, я с любопытством ждал, куда он меня поведет. Он и сам, казалось порой, этого не знал, медлил и тоже, казалось, что-то потерял в этом Манхэттене. Чем дольше мы шли, тем симпатичней он мне становился. Я размышлял: на что он живет, кем работает, какая у него квартира, что он уже испытал в жизни и чего — нет, о чем думает, когда ходит вот так среди миллионов других людей, и кем он считает себя. Я видел его светловолосую голову над шиферно-серым пальто, и мы только что пересекли 34-ую улицу, когда он вдруг остановился, чтобы закурить сигарету; я заметил это слишком поздно, так что по оплошности уже прошел мимо, когда он сделал несколько первых затяжек, а то бы я, может быть, воспользовался случаем вежливо предложить свою зажигалку, чтобы вступить с ним в разговор. Когда я оглянулся, у него уже не было волос на голове, и я, конечно, сразу подумал, что это не может быть он, видимо, я потерял его в толпе и спутал с другим, шиферно-серых пальто сколько угодно. Тем не менее я испугался, когда он вдруг оказался пятидесятилетним мужчиной. Этого я никак не ждал. Can I help you? [2] — спросил он, и, так

[1] Простите! *(англ.)*
[2] Не могу ли я помочь вам? *(англ.)*

как в помощи я не нуждался, он пошел дальше своей дорогой, с дымком над плечом. День стоял голубой, солнечный, но ветреный, в тени было адски холодно; освещенные солнцем небоскребы отражались в стеклянных стенах теневой стороны, и останавливаться на холоде этих ущелий было невозможно. Почему бы ему не быть пятидесятилетним мужчиной? Требовалось его лицо. Почему бы не лицо с лысиной? Мне хотелось еще раз взглянуть на него спереди, но это не получилось; шел он, правда, спокойнее, чем тот, более молодой, но вдруг исчез в каком-то подъезде, и, хотя я последовал за ним — я помедлил не больше двух-трех секунд,— увидеть успел я только, как он вошел в лифт, бронзовые дверцы которого — ими управлял негр в форменной куртке — медленно (как в крематории), неудержимо закрылись; правда, я сразу же, бросив и свою сигарету в непременное в этой стране ведро с песком, вскочил в следующий, соседний лифт и стоял в тесноте, как все другие, которые, едва войдя, называли номер этажа, и выходили, когда выкликали их номер; я стоял и смотрел, как вспыхивают юркие номера,— стоял под конец наедине с негром и пожал плечами, когда он спросил меня, куда же мне — в этом здании было 47 этажей...

Человек что-то испытал, теперь он ищет соответствующую историю, нельзя, кажется, долго жить, что-то испытав, если испытанное остается без всякой истории, и подчас я представлял себе, что у кого-то другого есть точная история того, что испытал я...

(Не у бармена, нет.)

Рассвет за открытым окном вскоре после шести был как стена скалы, серая и без трещин, гранит: из этого гранита, как крик, но беззвучно, вдруг вырывается лошадиная голова с выкаченными глазами, с пеной на зубах, ржет, но беззвучно, живая тварь, она попыталась выскочить из гранита, что с первого разбега не удалось и никогда, я вижу, никогда не удастся, лишь голова с летящей гривой вырвалась из гранита, дикая голова, охваченная смертельным страхом, туловище застряло, и безнадежно, белые, безумные глаза глядят на меня, ища милосердия...

Я зажег свет.

Я лежал без сна.

Я видел:

...грива из красной терракоты, внезапно застывшая, безжизненная, терракота или дерево с белыми, как мел, зубами и блестящими черными ноздрями, все искусно раскрашено, лошадиная голова беззвучно и медленно уходит назад в скалу, и скала беззвучно смыкается, без трещин, как рассвет за окном, серый гранит, как на Сен-Готарде; в долине, глубоко внизу, далекое шоссе, виражи, полные пестрых автомобилей, и все они катятся в Иерусалим (не знаю, откуда я это знаю), колонна маленьких пестрых автомобилей, словно игрушечных.

Я позвонил.

За окном шел дождь.

Я лежал с открытыми глазами.

Когда сестра наконец пришла и спросила, в чем дело, я попросил ванну, чего, однако, без разрешения врача было невозможно добиться в эти часы; взамен она дала мне соку и призвала меня образумиться; я должен спать, сказала она, чтобы завтра быть в хорошем состоянии, тогда в субботу меня выпишут, и погасила свет...

Я представляю себе:

Когда ночная сестра, молодая латышка (ее звали Эльке), наконец приходит, она видит пустую кровать; больной сам напустил себе ванну. Он вспотел, и, поскольку ему хочется выкупаться, он стоит голый в облаках пара, когда вдруг слышит ее упреки, еще не видя ее, Эльке, которая ужасается и утверждает, что он сам не знает, что делает. Только когда она закрывает окно и серая муть, которая заволокла и зеркало, постепенно рассеивается, до сознания больного внезапно доходит, что он голый; он улыбается. Он должен лечь в постель, говорит она, должен немедленно закрыть кран, и, поскольку он не делает этого, сделать это она хочет сама; но тут голый преграждает ей путь, и, поскольку сейчас под рукой у него нет ничего другого, чтобы прикрыться перед девушкой, он прибегает к шутке: «Я Адам!» Она не находит это смешным. Он не знает, почему он смеется. Почему ему вздумалось принимать ванну в это время, спрашивает она профессионально, к тому же без разрешения врача? И быстро достает из шкафа мохнатое полотенце, надеясь прекратить эту чепуху; она подает ему полотенце, чтобы он не простудился, без слов, а он смотрит на нее так, словно видит Эльке впервые. Девушка с водянисто-серыми или зеленоватыми глазами. Он берет ее за плечи. Девушка с белесыми волосами и большими зубами. «Что это такое!» — говорит она, а он, не отнимая рук от ее плеч, слышит свой голос:

«Я Адам, а ты Ева!» Это звучит покамест как шутка; она не решается кричать в больнице в ночное время и только нажимает на кнопку звонка, другой рукой отбиваясь от этого сумасшедшего, отбиваясь с внезапным страхом, после того как он осторожно снимает у нее с головы чепчик, голубой с красным крестом. Ее лицо он знает уже несколько недель, но волосы ее новы, ее белесые, распущенные и растрепанные теперь волосы. Он не хочет причинять Эльке боли, он хочет только говорить: я Адам, а ты Ева! — и держит ее волосы так, что она уже не может шевельнуть головой. Ты слышишь меня? — спрашивает он. Ей нужно было только улыбнуться, Еве в роли ночной сестры, студентке и прибалтийской крестьянке с зелеными глазами и лошадиной челюстью, только улыбнуться, чтобы все опять стало шуткой. Но она, вылупив глаза, глядит на него. Он, кажется, не знает, что стоит нагишом. Она больше не отбивается, он ведь и не замечает этого; она старается только выхватить у него свой голубой чепчик, но безуспешно, хотя в коридоре тем временем появился дежурный врач. Он твердит свое — дежурный врач, конечно, вообще не понимает, в чем дело,— твердит, как учитель иностранного языка, который хочет вдолбить что-то в головы учеников повторением: «Я Адам, а ты Ева, я Адам, а ты Ева!» — а Эльке, беспомощная, как будто перед ней пьяный, кричит не на него, а на дежурного врача: почему тот стоит и не помогает ей. А ведь ничего плохого с ней при этом не происходит. Дежурный врач, держа руки в карманах белого халата, стоит как вкопанный, ухмыляясь, он не уверен, что не несет ответственности за это безобразие, voyeur [1], хоть и поневоле. Что ему делать? Только когда голый замечает, что они, даром что Адам и Ева, не одни в этом коридоре, и подходит к дежурному врачу, ухмылка с лица врача сходит, но и сейчас он не вынимает рук из карманов белого своего халатика. «Кто вы такой? — спрашивает голый, как будто он ни разу не видел этого врача. Все еще держа руки в карманах белого своего халатика, который отличает его от голого, врач допускает бо́льшую оплошность, чем ухмылка: он обращается к голому по фамилии. Приветливо. Но с этого момента все кончено. Непоправимо. Эльке, избавленная от угрозы с его стороны, приводит в порядок свои волосы. «Вы дьявол!» — говорит он, и врач наконец вынимает руки из белого своего халатика, чтобы схватиться за перила лестницы, чтобы отступить, пятясь. «Вы дьявол!» — говорит голый, не переходя

[1] Зритель *(франц.)*.

на крик, но решительно, как только этот в белом вздумал снова остановиться и что-то сказать. «Вы дьявол, вы дьявол!» И Эльке, опять уже в дурацком чепчике на белесых своих волосах, пытается успокоить его, но безуспешно. Он, голый, и не подумает возвращаться в свою палату. Он устремляется к лифту, который, однако, сейчас не на этом этаже, и, поскольку долго ждать он не может, он бежит вниз по лестнице — мимо дежурного врача — так неожиданно, что врачу и Эльке остается только переглянуться... Две минуты спустя, явно не будучи задержан и отороневшим привратником, он действительно шагает по улице, куда не выходил несколько недель, мимо людей, которые стоят в ожидании трамвая под блестящими от дождя зонтиками, не веря глазам своим: голый, в чем мать родила, не обращая внимания на дорожные знаки, пересекает наискось улицу по направлению к университету. Остановившись посреди улицы, он проверяет свои наручные часы — кроме них, на нем ничего нет; из-за него приходится резко затормозить велосипедисту, подручному из булочной, который ехал насвистывая, тот падает, поскользнувшись на мокрой мостовой, и это настолько пугает голого, что он вдруг пускается наутек, бегом, хотя его никто не преследует. Напротив, люди шарахаются в сторону, останавливаются, глядят ему вслед. Тем не менее он чувствует, что его преследуют. Уже возле университета ему нужно перевести дух; он тяжело дышит, то наклоняясь вперед и упираясь ладонями в бледные колени, то выпрямляясь, разводя руки в стороны и опуская и опять разводя, как на уроке гимнастики давным-давно. К счастью, идет дождь. Он не знает, почему это счастье, он ощущает как счастье. Он знает, что он не Адам, знает, где находится: в Цюрихе, он вполне владеет собой, но он голый, и поэтому снова должен бежать, размахивая локтями как можно шире. Он не знает, почему он голый; как это получилось. Он только удостоверяется, не останавливаясь для этого, что очки надеты и что он голый. Значит — дальше, размахивая локтями как можно шире. Не будь он голый, он бы упал от переутомления. Значит, дальше. Чтобы сберечь силы, он бежит вниз, хотя предпочел бы податься в леса, а не в город. Вдруг развилка, красный свет, колонна машин, которые едут не в Иерусалим, и лица за снующими стеклоочистителями, а голый, ничем не прикрытый, протискивается через блестящий металл; он не может ждать, ведь ты еще более голый, когда не бежишь. Значит, дальше, мимо регулировщика, который, словно не веря глазам своим, остается с поднятой рукой на своей вышке. Как зверь, он на-

ходит то, что ему на пользу, один раз строительную площадку, ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН, здесь переводит он дух за дощатым забором, но долго не выдерживает без того, чтобы бежать и бежать. Куда? Другой раз общественный парк, где в этот ранний час ни души, тем более в дождь; он мог бы здесь посидеть на мокрой скамейке, без всяких помех, так пусты все скамейки в эти часы; помехой была бы только его нагота, она не приснилась, о нет, он видит ее, как только перестает бежать. Проснуться, как после сна, нельзя. Он голый, бледный, с черными волосами в низу живота, в очках, и на руке у него часы. Без сил, запыхавшись, но в приступе блаженства — земля между пальцами ног, трава между пальцами ног,— медленнее, но не останавливаясь, дергаясь от одышки, как будто его хлещут кнутом, медленно и все медленнее, с наслаждением конькобежца, руки за спиной, как конькобежец, небрежно описывающий круги, он бегает по общественному газону, огибая ближайший платан то слева, то справа; при этом его разбирает смех: Я Адам, а ты Ева! Но только и всего, и вот он уже бежит дальше, и снова через улицу, размахивая локтями как можно шире, и вдруг он видит полицию, она появляется не сзади, а спереди, два мотоцикла, и, поскольку он улыбается, они думают, что он сдается, сразу притирают к тротуару черные свои драндулеты, выдергивают подпорки, оттягивают драндулеты назад, чтобы укрепить их стоймя, прежде чем они пойдут навстречу ему, эти двое в черных кожаных куртках, сапогах и шлемах, обмундированные, как водолазы, неповоротливые, и, покуда они снова усаживаются на свои черные мотоциклы, покуда нажимают на педали моторов, покуда, упершись одним сапогом в мостовую, поворачивают свои мотоциклы, он уже достиг лестницы, которой на мотоциклах не взять. Бежит теперь только его тело. Знакомая ему дверь, обитая желтой медью, на замке. Снова посредине проезжей части улицы, словно бы желая облегчить им задачу, он бежит, он трусит рысцой, покуда опять, после объездного маневра, не появляются черные мотоциклы, один слева, другой справа, эскорт, который его забавляет. Их крики, чтобы он остановился; они, кажется, забыли, что он в чем мать родила...

Я вспоминаю:

Остальное мне рассказал человек, с которым это в самом деле случилось... К нему отнеслись хорошо, говорит он, сочувственно. Он сидел на сцене, дрожа, среди вчерашних кулис. Занавес был открыт, но партер пуст, спинки кресел тускло поблескивали в слабом дневном свете, проникавшем выше га-

лерки, оркестр тоже был пуст. Рабочее освещение. Но репетиция еще не начиналась; были только рабочие сцены. Полицейский в черных сапогах и круглом шлеме, оробев, оттого что впервые в жизни оказался на сцене, не решался сесть, хотя в креслах, расставленных, как в зале для коронации, но довольно-таки убогих на вид без полного освещения, недостатка не было; он пялил глаза вверх на софиты. Когда отворились двери в зрительном зале — это были уборщицы, он велел им удалиться; делать ему было вообще-то нечего. Ходить взад и вперед, чтобы сократить ожидание, он стеснялся. Стеснялся он также диалога с голым человеком, хотя в зрительном зале, как уже сказано, никого не было, даже уборщиц; он листал служебный блокнот, стоя спиной к партеру, который его явно тревожил. Наконец один из рабочих сцены принес голому, поскольку тот дрожал, какой-то костюм, пахнувший камфарой, что-то вроде плаща, полюбопытствовал, что случилось, но полицейский, заткнув большие пальцы за пояс, отпугнул его непроницаемой миной. Голый поблагодарил, и прозвучало это вежливо-будничпо. Плащ был небесно-голубой с золотыми кистями, королевская мантия, подкладка из дешевой дерюги. Ноги у него болели, они бежали по смоле, смоле с мелким гравием. Потом появился мужчина в штатском, который вопреки ожиданию не стал задавать устанавливающих личность вопросов, он, казалось, был в курсе дела. И все шло будничпо. В машине — машина была не санитарная, но на шофере была фуражка с гербом города — говорили о погоде, о катастрофическом фёне; в машине спереди: шофер в фуражке и водолаз, который положил свой шлем на колени, голова теперь неправдоподобно маленькая, оба молчат; в машине сзади: инспектор (так обратился к нему шофер) и человек в королевской мантии с золотыми кистями, но босиком. Почему он побежал именно в оперу, спросил инспектор вскользь, но сам же прервал себя, предложив сигареты. Человек в королевской мантии покачал головой. Ехали не к кантональной больнице, а в направлении Бальгриста, не упоминая, конечно, цели поездки; не позднее, чем у Крейцплаца, стало ясно, что с ним обращаются как с душевнобольным. У Бургвиза, после того как от Крейцплаца ехали молча, он деловито осведомился, будет ли уже сегодня переадресована его почта; он повторил этот же вопрос, сидя в приемной, напротив молодого ассистента, который старался не удивляться небесно-голубой мантии с золотыми кистями. Его одежда, сказали, прибудет с минуты на минуту. Опять эта приветливость, простиравшаяся настолько, что его фамилию

избегали произносить. Профессора еще не было на месте. Чтобы поддержать разговор, он сказал, что такого с ним никогда не случалось, и ему поверили в той мере, в какой полномочен был ассистент (тоже державший руки в карманах белого своего халата) верить ему до прихода профессора. Он хотел закричать, сказал он; сидел он при этом совершенно спокойно, пристойно, вежливо-будничпо. Мóя руки, вымазанные смолой и кровью, и вытирая руки, он видел себя в зеркале; он испугался своего костюма, не хватало только короны. Его собственная одежда, сказали еще раз, вот-вот прибудет. Потом он еще раз сказал, что хотел закричать. Это приняли к сведению. Закричать? Он кивал головой, да, с настойчивостью немого, который воображает, что его поняли. Закричать — с чего бы? Этого он не помнил.

Это как провалиться сквозь зеркало, больше ты ничего не помнишь, провалиться как сквозь все зеркала, а потом вскоре мир снова складывается воедино, словно ничего не было. Ничего и не было.

Я сижу в квартире — в своей квартире... Не могло пройти много времени с тех пор, как здесь жили; я вижу остатки бургундского в бутылке, островки плесени на бархатно-красном вине, затем остатки хлеба, но твердые, как кирпич. В холодильнике (я загляпул, хотя и не был голоден) корежится ветчина, высохшая на холоде и почти черная, есть еще немного сыру, потрескавшегося, как кора дерева, зеленоватого, и стакан со сливками, которые, однако, уже не льются, и еще мутные остатки компота, абрикосовая тина плавает в миске; затем банка с гусиной печенкой. Продукты на дорогу для мумии? Не знаю, почему я не выбросил это в мусорное ведро... Я сижу в пальто и кепке, потому что на дворе дождь. Я сижу на спинке мягкого кресла и играю штопором. Штопор остается штопором, стандарт, предмет домашнего обихода в стиле эпохи. Я вижу: кто-то скатал в рулоны наши ковры, окропил камфарой и скатал, потом прихватил шпагатом, ставни закрыты от дождя, и солнца, и ветра, от лета и зимы; я их не открываю. Вся мягкая мебель в белых чехлах. Смешно смотреть: как будто она затеяла игру в суд фемы. Или как торжественные похороны в какой-нибудь стране с чужими обычаями. Пепельницы тоже опорожнены, я вижу, не только опорожнены, но даже помыты; все

вазы для цветов опорожнены и помыты, чтобы не воняло гнилью... Я все еще сижу в пальто и кепке, руки в карманах брюк. Пахнет пылью и мастикой для натирки полов. Относительно лиц, которые здесь жили когда-то, можно сказать наверняка: одно было мужского пола, другое женского. Я вижу блузки в шкафу, немного дамского белья, которое не влезло в чемодан или вышло из моды, галстуки по другую сторону, три мятые мужские зимние куртки, две летние, а внизу стоят башмаки, выстроившись как на поверке, некоторые с распялками внутри. Почему так ужасны пустые башмаки? Я беру дамскую туфлю, неструю и легкую, как цветок, да, я нюхаю ее. Пахнет кожей, больше ничем. Я задерживаю дыхание, испугавшись, как взломщик, и прислушиваюсь. Да кто придет-то? Мало ли, могут ведь позвонить, какой-нибудь разносчик, может быть, откуда ему знать, что здесь уже не живут. Я прислушиваюсь, держа туфлю в руке; я не хочу быть дома. Если не считать крана в кухне, из которого всегда капало, тишина. Как в Помпеях. Телефон тоже молчит. Я вижу: она вытащила штепсель из розетки. К сожалению, у меня нет спичек. Как тихо, если не курить! Трамвай на улице, одновременно автомобильный гудок, но здесь, за закрытыми ставнями, где я, в пальто и кепке, сижу на спинке закутанного в белое кресла, в то время как на улице идет дождь, здесь как в Помпеях: все есть еще, только время исчезло. Как в Помпеях: можно бродить по комнатам, руки в брюки, и представлять себе, как здесь жили когда-то, до того, как их засыпало горячей золой. И звуки тоже гулкие (потому что ковры убраны), как в Помпеях...

Вдруг и в самом деле звонят.

Я не открываю...

Господин, который носит мою фамилию, в отъезде.

Я напрасно сижу в пальто и кепке, с незакуренной трубкой во рту; я не могу представить себе, как здесь жили, это труднее, чем в Помпеях, хотя ее синий халатик еще висит в ванной... может быть, и лучше, что у меня нет спичек; достаточно того, что я представляю себе: как мужчина, который здесь жил, зажигает спичку, как он держит ее в горсти, давая огоньку разгореться, чтобы можно было поднести его к занавеске, первую, вторую, третью, и четвертую, и пятую, занавеска не загорается, пламени никакого, только тлеет, мерцает, смердит, абажур тоже по-настоящему не горит, только пахнет горелым, и в нем появляется дыра с коричневой кромкой, курам на смех; надо бы бензину, бензину бы на занавески, чтобы они

действительно запылали, мягкие кресла, ковры, книги, одежда, спичками тут ничего не сделаешь, это было бы только курам на смех.

Я куплю себе другую одежду, хоть и знаю: это не поможет, только на витрине у нее другой вид. Уже когда продавец приносит ее в кабинку, а потом деликатно исчезает, чтобы я занялся примеркой, я знаю, как все будет выглядеть через три месяца. Но нельзя же ходить голым на людях; и я заставляю себя, верчусь у передвижных зеркал, чтобы проверить фасон, который мне более или менее понравился на витрине. Покупаю я, в сущности, лишь ради продавца, который в восторге, а сам вижу свой затылок, изменить который нельзя; я покупаю второпях и каждый раз одно и то же. Даже те минуты, когда портной с подушечкой для булавок у плеча, услужливо приседая, компетентно отмечает мелком, насколько я отклоняюсь от готовой модели, мучительны. Дешевая она или дорогая, английская ли, итальянская или отечественная — разницы никакой; всегда образуются те же складки на тех же местах, я это знаю.

Другая жизнь?

Я представляю себе:

С человеком произошел несчастный случай, например, он попал в дорожную аварию, у него резаные раны на лице, опасности для жизни нет, есть только опасность, что он потеряет зрение. Он это знает. Он долго лежит в больнице с повязкой на глазах. Он может говорить. Он может слышать: птиц в парке за открытым окном, иногда самолеты, затем голоса в комнате, ночную тишину, дождь на рассвете. Он может ощущать запахи: яблочного пюре, цветов, гигиены. Он может думать о чем угодно, и он думает... В одно прекрасное утро повязку снимают, и он видит, что видит, но молчит; он не говорит, что видит, никому, никогда.

Я представляю себе:

Его жизнь отныне, когда он играет слепого, даже находясь один на один с кем-либо, его общение с людьми, которые не знают, что он их видит, его общественные возможности, его профессиональные возможности благодаря тому, что он не говорит, что видит, его жизнь как игру, его свободу в силу некой тайны и т. д.

Назову его Гантенбайн.

Я примеряю истории, как платья!

Я сижу в сельской гостинице.

Мне повезло, я мог сейчас быть не только мертвецом, но и виновным в смерти одиннадцати детей, не подлежа наказанию,— так вот, вместо этого я сижу в сельской гостинице и заказываю рюмку вишневки, а машина (это даже не моя машина, а Бурри) ждет запасных частей вон там в гараже; я не осмеливаюсь додумать, что могло бы быть...

Мне повезло.

Не знаю, о чем я думал, когда с погасшей трубкой во рту и небрежно-спокойно — не устало, но небрежно,— держа, правда, на баранке обе руки и внимательно глядя вперед, но мыслями где-то в другом месте, вошел в поворот, не думая о возможности внезапного гололеда. (Может быть, я думал о вечере у Бурри.) Я не превышал шестидесятикилометровой скорости, как подтверждают свидетели, и на всем пути до сих пор не было гололеда, ничего похожего на гололед. (Может быть, я думал о приглашении в Гарвард...)

Теперь снег перестал идти.

Я пью вишневку.

Как всегда, когда что-то случилось, я удивляюсь, как это мне в голову не пришло, я смущен, словно действительность раскусила меня или поняла не так; окруженный свидетелями, я вдруг стою на деревенской площади, и, наклоняясь, чтобы посоветоваться с механиком, который подлез под машину, я уже признал, что это я, не кто иной, как я, чуть не задавил дюжину бернских школьников. Я смотрю на них, на детей, по-зимнему краснощеких, с флажками пара изо рта на холодном воздухе: они живы. Случись это на самом деле, мне показалось бы все в точности столь же невероятным; я был бы тот же, что и сейчас, и не тот же, не тот, кого сейчас окружает дюжина бернских школьников, они глазеют, болтают, живут, свидетели аварии такого-то числа, в таком-то месте, счастливые происшествием, веселые, пока не раздается звонок из их школы...

Я заказываю вторую рюмку вишневки.

Десять часов, вторник, число такое-то...

Вот уже час возятся они с машиной, которая не моя; мальчишки-шко́льники догадались: деформировалась ось, прогнулся обод, подшипник тоже, наверно, надо сменить. Я мало что в этом понимаю. Мысль, что придется заночевать здесь, меня пугает, притом это приличная сельская гостиница. Я все еще не снял пальто, сижу и пытаюсь читать газету (можно и поездом поехать, чтобы не ночевать здесь; расписание, местное

сообщение, висит у двери в уборную), посасывая трубку, в то время как в Алжире (я читаю) пытают...

Это то, что происходит на самом деле.

Когда я снова читаю, что делается в Алжире или еще где-нибудь, и когда я на несколько мгновений представляю это себе, ничего другого не существует, и выдержать то, что представляешь себе, трудно. И я готов на любые действия. Но я сижу здесь, читая старую газету, и выдерживаю. Бездеятельно... Я дожидаюсь запасных частей для машины, которая не моя.

Уже это воспоминание:

(в то время как в Алжире пытают).

Холодный и сухой снег, он не залеживался на покрытии дороги, снег легкий и похожий на пыль, взвихривался за каждой проезжавшей машиной, посредине дорога была большей частью без снега, серая и сухая, и лишь по обеим сторонам лежал белый покров, покуда не проезжала следующая машина: достаточно было воздушной струи от медленного велосипеда, чтобы взметнуть его и уложить другими оборками. Я почти не делал обгонов. Даже вне населенных пунктов я редко ехал быстрее восьмидесяти. Это было в черте населенного пункта, я это видел, хотя под упрямое качание «дворника» думал о другом, мои глаза видели это, и нога моя убрала газ, и находчивости, часто уже граничившей с чудом, я отнюдь не утратил, когда почувствовал сперва по баранке, потом собственным телом, что машину заносит. Нога моя не нажала на тормоз, а сразу же снова дала газ. Когда я почувствовал рывок, я видел слева стайку школьников, справа витрину деревенской молочной с рекламами сыра и шоколада. Одно мгновение я еще спокойно надеялся, что выровняю машину, как уже бывало, рывок был мягкий; потом я понял: значит, все-таки! — и крепко сжал трубку зубами, как будто от этого что-то зависело. Продолжалось это, так мне казалось, целую вечность, меня просто крутило, хотя я и работал рулем. Была какая-то издевка в том, что меня закрутило не влево, а внезапно вправо, как санки поперек дороги. Я уже не знал, что слева, что справа, все уже перепуталось. К счастью, никто в этот момент не ехал навстречу; грузовик с тяжелым прицепом, всплывший, так сказать, в моей памяти, на самом деле только что прошел. Я видел лишь, как крутилась деревня. Я наблюдал. Бессильно, при этом совершенно трезво. Слева витрина молочной, справа школьники. Как карусель. Когда наконец хрястнуло, это было смешно, как запоздалое эхо, которое меня не удивило; я давно уже

знал, что привычное чудо ушло от меня. Я потерял трубку, вот и все, а машина стояла теперь задом наперед, ее остановил камень обочины; а то я был бы сейчас в витрине. «Дворники» качались по-прежнему. Внезапно разнервничавшись и потому орудуя рычагами, как новичок за рулем, я хотел ехать дальше. но машина не шла; у меня была включена третья скорость, мотор заглох, я переключил на первую и нажал на сцепление, чтобы завести мотор. Но и так машина еле двигалась. Она ползла. Наконец я вылез, чтобы осмотреть машину. На кузове никаких повреждений. Мне стало легче; но так как теперь у меня было такое чувство, что вокруг открылись все окна деревни, я испытывал стыд, окруженный школьниками, которые глазели на меня — так я думал,— а глазели-то они только на «порше», который так весело крутило у них на глазах. Один мальчонка все приговаривал: его закрутило, его закрутило! Я сожалел об отсутствии трубки, и мне нечем было выразить невозмутимость; я вышел на середину дороги и потрогал носком ботинка покрытие, чтобы показать всем, что гололед был. Только теперь растворились окна вокруг.

Мне пришлось подождать, пока отбуксируют машину, я держал руки в карманах брюк и спросил, словно с неба свалился, как называется деревня.

Я нахожусь в Ленгнау, кантон Берн.

Позднее, в гостинице, когда пил вишневку, я узнал от официантки, что на этом повороте чего только не было, даже смертные случаи.

Не знаю, зачем я это рассказываю.

Моя авария меня не интересует...

Назову себя Гантенбайн.

Начать вроде бы легко:

Я вхожу, утро, я просто вхожу в лавку и стою. Что вам угодно? Я делаю вид, что не понимаю швейцарского диалекта. Я оглядываюсь: очки, лупы, подзорные трубы, очки всякого рода, пенсне, театральные бинокли, но прежде всего очки. То, что мне угодно, лежит в витрине на Фраумюнстерштрассе (спереди, справа) уже много недель. Впрочем, белая барышня, которая переводит заданный на местном диалекте вопрос о том, что мне требуется, сначала на английский, затем на литературный немецкий, еще отнюдь не освободилась, и мне доста-

точно покамест кивнуть головой в знак того, что у меня есть терпение или хотя бы что я человек воспитанный. (Я считаю, что лучше приступить к своей роли на литературном немецком. У меня всегда бывает чувство некой роли, когда я говорю на литературном немецком, и меньше, стало быть, затруднений. Английский мой слишком беден; его хватает всегда лишь настолько, чтобы согласиться в общем и целом. А французский подходит и того меньше; я чувствую превосходство над собой любого француза, покуда он понимает лишь собственный свой язык.) Итак, я стою, а барышня тем временем занимается дамой, которая каждый раз, как на нее надевают новые очки, задирает голову, как птица, заглатывающая воду, и я только надеюсь, что в лавку сейчас не войдет никто из тех, кто знает меня. Дама, американка, каждый раз разочаровывается, подходя к зеркалу в очередных очках, и не может, кажется, решиться выглядеть так, как ее показывает зеркало, и продолжаться это может еще долго. У меня есть время, чтобы еще раз обдумать свою затею, но я не меняю решения. Когда барышня начинает наконец заниматься мною, делается это без малейшей невежливости к американке, которой она все время показывает, что обслуживает местного жителя лишь между прочим. Мне требуются, стало быть — почему запинаясь? — очки от солнца. Пожалуйста! Я вижу, в то время как она протягивает мне очки и одновременно болтает с американкой, целый ящик, арсенал очков от солнца, о которых тоже не могло быть и речи. Как мне это сказать? Барышня в белом, простая продавщица, но переодетая научным работником, утверждает, что более темных не бывает; а то, мол, вообще ничего не видно, и то, что господин увидел на улице в витрине, это, говорит она, не очки от солнца, а очки для слепых. Их-то я и прошу. Ее удивление — тем временем американка приняла решение и ее нужно проводить до двери, поскольку она ничего не нашла, с особой вежливостью,— ее удивление по поводу моего желания уже улетучилось, когда она продолжает заниматься мной, единственным теперь покупателем; она отказывается продать мне очки для слепых не наотрез, но, по сути, продолжая, словно господин просто пошутил, предлагать мне очки от солнца, некоторые она даже на меня надевает, пока я не выхожу из терпения и не требую напрямик то, что мне нужно — черные очки для слепых,— и ничего другого. Пожалуйста! Надо надеяться, босс не выйдет сейчас, чтобы лично заняться этим особым случаем. Кто знает, не нужна ли медицинская справка! Обслуженный наконец согласно своему желанию и проинфор-

мированный, что очки для слепых — это всего-навсего бутафория, чтобы скрыть слепые глаза, потому и такие темные, я осведомляюсь о цене. Удобно ли сидят очки, спрашивает барышня в белом: серая теперь, как пепел, лилово-серая, и дотрагивается до моих висков, так что я вдруг вижу ее лицо вблизи, ее полные мягкие губы, фиолетовые теперь, как спелые сливы, и вдруг передо мной вечер, сумерки, полумрак, солнечное затмение. А между тем сейчас утро, я это слышу; так голоса звучат лишь ясным утром. Я вижу теперь солнце таким, как в далекие времена детства, когда смотришь на него через закоптелый осколок стекла: тусклым, гораздо меньше, чем ждешь, без ореола, не то желтоватым, не то серо-белым, цвета неспелых абрикосов или в этом роде, но с металлическим блеском. Очки, говорю я, сидят превосходно. Она проверяет еще раз, так что я вижу еще раз ее сливовые губы. Так близко, что впору поцеловать. Я никогда больше не буду целовать, думаю я; вещество, из которого сделаны губы, слишком чужое. Я слышу запах ее духов и вижу ее близкие волосы, черно-сине-зеленые, как петушиные перья, и ее кожу цвета безвременника. Увидеть в зеркале себя самого я медлю, снимаю очки; сумерек нет и в помине, за окном улица, люди, пестрый металл автомобилей, солнце, витрины, улица на солнце, все как обычно, чайки на Фраумюнстере, где, как всегда в одиннадцать, идет перезвон. К счастью, появляется следующий покупатель; когда барышня в белом, извинившись, отлучается, чтобы его обслужить, я снова надеваю очки. Я вижу свою руку, плоть свою, как марципан, не съеденный вовремя, щербатый и серый. В зеркале — да, я только и вижу, что это не дверь наружу, а зеркало — я вижу мужчину моего сложения, не зная, узнает ли меня и мужчина в зеркале, чьих глаз не видно. Когда я подхожу ближе, чтобы увидеть его глаза, тот, другой, идет на меня, как слепой, который не уступает дороги, так, словно он хочет пройти сквозь меня — я уже снял очки. Прошу вас! — говорю я и плачу́...

Начало вроде бы сделано.

Как дальше?

Конечно, мне требуется и палка...

Я представляю себе:

Первый гантенбайновский выход, к которому он приступает не без сердцебиения, заводит недалеко; первый же современник, которому Гантенбайн, снаряженный темными очками и черной палочкой, чтобы постукивать ею, как то принято у слепых, по краю тротуара, не уступает дороги, ошарашивает его

грубым вопросом, что у него, глаз нет, что ли, и, вместо того чтобы радоваться этому первому подтверждению, Гантенбайн стоит, онемев от злости на этого хама, и даже оглядывается на него. Слепой, который оглядывается! — первый промах Его умысел не уступать никому дороги, невзирая на лица, наверно, правилен; но он шел слишком решительно. Слишком умышленно. Вначале всегда перебарщиваешь. Гантенбайн минуту стоит; он должен остыть, прежде чем пойдет дальше, постукивая палкой по краю тротуара. Конечно, он выбрал район, который он знает. Кройцплац, Цельтвег, Геймплац, это был когда-то его ежедневный путь в школу, это он знает назубок. На Хоэ Променаде, один на аллее, он снимает очки: Цюрих — голубой город, только мои очки делают его пепельно-серым, так что страшно становится, пепельно-серым с лиловым отливом. Чувства прощания, когда он снова надевает очки, нельзя избежать. Значит, дальше. Выбор времени дня тоже, наверно, правилен, обеденный перерыв, когда люди не засматриваются, а спешат поесть. Когда позднее, у Гельмгауза, какой-то господин все-таки проявляет участие к нему, переведя его через улицу, он чувствует себя обманщиком: Гантенбайну придется к этому привыкать. Шторхенгассе, Вейнплац, Ренвег, медленно дело идет уже лучше; не надо также слишком усердно стучать палкой, достаточно изредка, мне думается. Самое главное: что бы ты ни увидел, внутренне воздерживаться от всяких суждений. Почему слепые производят не грустное, а умиротворяющее впечатление? Мало-помалу, мне думается, Гантенбайн начинает это смаковать, как вдруг за его спиной — его очки не пропускают красного света — взвизгивают шины от резкого торможения, прямо за его спиной. От страха, хотя машина даже не задела его, он уронил свою палку, она лежит — Гантенбайн видит это сразу — на асфальте между остановленными шинами, и вот уже допущен второй промах: слепой не стал ждать, а наклонился, чтобы самому поднять палку. Выдал ли он уже себя? В свидетелях нет недостатка, визг шин заставил многих остановиться, он их видит, лемуров, некоторые подходят к нему, синие от любопытства или укора, а в фиолетовой спортивной машине («кáрман») сидит ужасающе перекрашенная блондинка, она качает головой, ундина с зеленоватыми волосами, и у нее тоже губы сливовые. Слепой ли он, в самом деле? Ее меховое пальто цвета гнилых водорослей. Слепой ли он? — он говорит, что да, слепой, в первый раз он говорит миру, что он слепой, ну, конечно, и озирается, верят ли ему... К счастью, полиция не подоспела. Лемуры спорили между собой, кому он

обязан жизнью, и согласились с взволнованной дамой в «ка́рмане», что он должен носить желтую повязку на рукаве. Об этом Гантенбайн не подумал. Он молчал. С него слетела шляпа, которая, как он видел, лежала близко на мостовой, и, если не считать слетевшей шляпы, инцидент был, казалось ему, по сути, исчерпан, поскольку ни его левая берцовая кость, ни ее, блондинки, сверкающий бампер повреждений не обнаруживали. Почему никто не подавал ему шляпы? Зеленоватая индина, по-прежнему в ужасе от того, как ему повезло, не хотела отъезжать, пока все, в том числе и какая-то домашняя хозяйка, которая строптиво молчала, не согласятся, что она — олицетворение невинности. Речь шла теперь не о Гантенбайне, он это видел, а о том, почему вообще такая особа разъезжает в такой машине. Ему стало ее жаль; все вдруг оказались против нее. Ее глазницы были черно-коричневые, как сырые прошлогодние листья, черно-коричневые с налетом черно-синего. Громко проинформированный домашней хозяйкой, которая взяла Гантенбайна под руку, что его чуть не задавила кокотка, да, да, кокотка, он не сказал ни слова. Слепой не судит. Не пострадал ли он, спросила домашняя хозяйка, как будто его давно уже не спросила об этом перекрашенная дама из «ка́рмана». Он не только не пострадал, но вдруг снова обрел находчивость: Гантенбайн осведомился теперь, что случилось. Покамест ему объясняли, что он чуть не погиб, он надел шляпу, собственноручно и именно на глазах у всех свидетелей подняв ее с мостовой. В его слепоте, он видел это, сомнений не было. Укоры лемуров, которым не хотелось возвращаться к скучной повседневности, пошли теперь просто по адресу нынешнего уличного движения. Здесь, мол, уже как-то одного задавили. Все были ожесточены. Поскольку Гантенбайну не подобало уходить первым, он еще раз снял шляпу, чтобы стереть с нее пыль, а домашняя хозяйка тем временем становилась все невежливей по отношению к кокотке. Наконец Гантенбайн снова надел свою шляпу, теперь чистую, пора было; он не хотел ждать, когда появится полиция, чтобы потребовать документы, водительские права, а то и удостоверение, полагающееся слепым, и сказал даме в «ка́рмане», что обязан жизнью ей и никому больше. Ее лиловая рука в перчатке лежала на рычаге спортивного образца, когда она, снова заводя дешевый мотор, благодарно спросила его, куда же ему нужно. Домой! — сказал он. Где вы живете? — спросила она. Сзади опять засигналили, и, поскольку Гантенбайн увидел еще и трамвай, остановившийся из-за нее, он, не раздумывая, сел в ее машину, где на него затявкала

собачка, которой он до того и в самом деле не видел. Коротко остриженный пудель. Она нервно включила скорость, рывок, потом поехали...

А теперь: о чем говорить?

Почему же он не носит своей желтой повязки, спросила она не с упреком, а по-матерински. Чтобы изобразить слепого, он ответил вопросом, не фокстерьер ли ее собачка, которую он чуть было не раздавил. Это было дилетантство, выдававшее новичка. Он умолк совсем. Ужасное движение, сообщила она, чтобы оправдать свою судорожную езду. Ехали в сторону центра, он видел: озеро, блестящее, как при лунном свете, на фоне светлой ночи черные стволы и ветки, листья на них как бронза, никто не носит белых рубашек, знакомые флаги на мосту пестреют чужими цветами, цветами несуществующей нации, поэтому так весело. Только знакомый силуэт с башнями оставался знакомым силуэтом. Он был счастлив, что никто не носит белых рубашек, он испытывал облегчение, радость, куда бы он ни смотрел. Чайки лиловые. Каски полиции тоже лиловые. Он был в восторге. Довольна ли она «ка́рманом», спросил он. Откуда слепому знать, что она ездит на «ка́рмане»? Но и это сошло, и он поразился. Чтобы засвидетельствовать свою слепоту, ему вполне достаточно было стряхивать время от времени пепел с сигареты рядом с пепельницей, единственное затруднение состояло в том, что нельзя было говорить о фильмах. Фильмы — это то, что соединяет. Она тоже, казалось, не очень-то знала, о чем можно говорить со слепым, и соблазн говорить вследствие этого об интимных вещах был велик. Женат ли он? Глядя со страхом, как она переезжает беловатую осевую линию, он не ответил, а потом не только трамвай, но и ее вопрос остались позади; он облегченно вздохнул. О да, сказала она, она довольна «ка́рманом». Иногда она посматривала на него сбоку, ей было любопытно, кому она спасла жизнь. Надо надеяться, ей не приходится делать крюк, сказал он; свой адрес, неверный конечно, он назвал лишь приблизительно. Не снимая с руля своих лиловых рук, в ожидании, меж тем как улицу опять пересекал поток синеватых лемуров, она снова спросила, неужели нет никого, кто бы о нем заботился. К счастью, ожидание кончилось, зеленый свет, она включила скорость. Он уже предвидел каждодневные трудности своей роли: например, сидеть рядом с женщиной, которая ведет машину, и при этом не говорить ни слова, не вздыхать, воздерживаться от мужских поучений, даже не вздрагивать, когда он видит то, чего не видит она, грузовик справа, и оставаться любезным,

когда она, не замечая своей ошибки, и в самом деле еще раз благополучно проскакивает,— любезным, невозмутимым...

— Спасибо,— сказал он,— вот я и дома.

— Здесь? — спросила она и остановила машину, потянула на себя ручной тормоз и сказала: — Так мы, значит, соседи.

На это Гантенбайн не рассчитывал.

— Да,— заявила она,— мы соседи!

Теперь они сидели в стоявшей машине, она уже и мотор выключила, а Гантенбайн, утратив какую бы то ни было находчивость, продолжал сидеть. Как дальше? Что слепой, сидя в движущейся машине, то есть не постукивая палочкой по обочине, может сказать, что вот он и дома, не удивило ее. Она определенно верила в его шестое чувство, явно обрадованная тем, что у нее есть сосед, который не мог видеть, как приходят и уходят ее мужчины, и мысль предстать в его глазах дамой окрылила ее. Не выпьет ли он у нее чашку кофе? Он предпочел бы сейчас коньяк. Или чашку чаю? Отказаться он не решался, он должен был обращаться с ней как с дамой, чтобы спасти свою роль слепого, и, когда она совершенно невинно спросила его, как же его зовут, он не мог не представиться.

— Гантенбайн? — спросила она.— Не родственник ли вы...

— Нет,— сказал он.

— Нет,— сказала она,— какое совпадение!

Это она сказала еще несколько раз, роясь в своей крокодиловой сумке, чтобы дать ему и свою фамилию, карточку с волнистым обрезом, которую он вполне мог прочесть; тем не менее она прочла: КАМИЛЛА ГУБЕР. Напечатанное ниже она утаила: маникюрша. Это предназначалось не для слепых. Равно как и примечание: только по телефонной договоренности. Он повторил лишь услышанное: КАМИЛЛА ГУБЕР.

Этого было достаточно. Он сунул карточку в карман, а она спросила, где же именно он живет, ее сосед.

— Вон там,— сказал он,— в голубом доме.

Но она не видела никакого голубого дома.

— Гм,— сказал он,— где же мы, собственно?

Он должен был теперь лгать дальше.

— Разве это не Фельдегштрассе? — спросил он.

— Она самая.

Но это был не нижний, а верхний конец Фельдегштрассе, которая довольно длинна, и о соседстве, стало быть, не могло быть речи; девушка в меховом пальто была разочарована, он это видел, и вдобавок озабочена, так как на его шестое чувство все-таки нельзя положиться; она не могла этого не сделать,

нет, тем более при таких обстоятельствах, она завела снова мотор, чтобы довезти Гантенбайна до самого дома, раз он не принял ее приглашения на кофе, она не может этого допустить, ей будет неспокойно и т. д.

Он принимает ее приглашение.

В лифте, в то время как она интересуется, часто ли случается ему заблудиться в городе, он закрывает глаза, чтобы подготовиться к первому своему визиту в роли слепого, чтобы при выходе из лифта правдоподобно (не слишком сильно) споткнуться. Камилла трогательна; его от всего освобождают, едва войдя в квартиру,— от пальто, и шляпы, и палки. Камилла тоже не знает, нужна ли ему в квартире его черная палочка; он здесь первый слепой посетитель. Она нужна, кажется, непременно, чтобы напоминать ему о его роли.

— Садитесь!

Она забывает, что он не видит кресел.

— Красиво,— говорит он,— у вас здесь красиво!

— Правда? — говорит она, не заметив его промаха, и добавляет: — Если бы вы еще могли видеть, какой у меня вид из окна! Видно все озеро.— Камилла преувеличивает.

— А горы видны? — спрашивает он.

После того как Камилла, все еще в своем меховом пальто цвета водорослей, тайком открыла окно, чтобы освежить воздух для гостя, она еще раз осведомляется, действительно ли он нисколько не пострадал. Он смотрит, как она бесшумно покрывает пледом кушетку, бесшумно убирает две коньячные рюмки, а также бюстгальтер, словно сомневаясь в слепоте гостя, и остается лишь, поскольку она явно не замечает ее, вялая кучка из двух чулок, которую он при случае, когда Камилла поворачивается к нему как раз спиной, запихивает ногой под кушетку. Он стоит совершенно так же, как обычно, когда оказывается впервые в чужой квартире: немного смущенно, стараясь не озираться по сторонам, и все равно складывается первое впечатление, которое он пытается скрыть, сразу же начиная болтать. Он болтает о квартирной плате и дороговизне, а Камилла тем временем вытряхивает полные с ночи пепельницы, соглашаясь со всеми его высказываниями. Потом он озирается. Теперь, тем более что исчезла вялая кучка ее чулок, это квартира, на которую можно глядеть, квартира самостоятельной женщины. Потом он говорит что-то о церемониях, которые ей не следовало бы разводить, но напрасно; Камилла уже пошла в кухню, чтобы поставить воду...

Гантенбайн один.

Позднее, став уверенней благодаря опыту слепого, Гантенбайн будет смело появляться в любой компании; он будет стоять в темных очках в какой-нибудь вилле и будет беседовать с каким-нибудь швейцарским полковником, которого спутает с одним знакомым спекулянтом. Слепому это нельзя ставить в вину. Он не может отличить адвоката от подделывателя подписей, который доводится двоюродным братом тому спекулянту. Гантенбайн всегда будет допускать оплошности, чтобы доказать, что он слепой. Его будут усаживать за стол, чтобы разъяснять ему во время застольных разговоров, что́ пожелали увидеть господа и чего, наоборот, не пожелали. Мир ему будут представлять таким, каков он в газетах, и, притворяясь, будто он верит этому, Гантенбайн сделает карьеру. Недостаток способностей может его не заботить; миру как раз и нужны такие люди, как Гантенбайн, которые никогда не говорят, что они видят, и начальники будут его высоко ценить; за материальными следствиями такой высокой оценки дело не станет. Отказываться от своих взглядов или хотя бы изменять их только потому, что он видит вещи, которые опровергают его взгляды, Гантенбайн будет опасаться, чтобы не выйти из своей роли. Он сделает политическую карьеру, не реальную, но почетную; он везде будет присутствовать, опираясь на свою черную палочку, чтобы не споткнуться, и, поскольку известно уже, что Гантенбайн не видит того, что разыгрывают у него на глазах, везде будут рады выслушать его мнение. Не обойдется, вероятно, и без неловкостей, например если он встретит господина, который представляется как монсеньер, а Гантенбайн по слепоте спросит, кто же это прежде говорил о «еврейском отродье»; говорил-то ведь сам монсеньер. При этом они будут есть икру. Он встретит господина, который только что говорил о свободе культуры, и спросит, находится ли в зале также другой господин, который играл столь же ведущую роль при Гитлере, и не увидит, что господин-то это тот самый. При этом они будут курить сигары и т. д.... Визит к Камилле Губер, маникюрше, только первая репетиция, и, когда она возвращается с двумя чашечками, Гантенбайн все еще новичок.

— Как же зовут вашу собачку? — спрашивает он.

— Тедди.

— Чудесный малый.

— Правда? — говорит она и ни на секунду не задумывается, как умудрился Гантенбайн это определить. Слепой, покуда он хвалит, тоже может говорить обо всем. Гантенбайн не может отказать себе в дополнительной проверке.

— Скажите,— говорит он вскоре,— ведь эти миллеровские кресла ужасны. По-моему, совершенно ужасны.

Она как раз наливает кофе.

— Откуда вам это знать? — говорит она коротко, чтобы указать ему на его некомпетентность, затем любезно:

— Вам с сахаром?

Он кивает.

— Пирожное?

Он медлит.

— Торт «Энгадинский»,— сообщает она,— к сожалению, уже начатый,— добавляет она чистосердечно,— но совсем свежий.

Хотя он не любит пирожных, он просит положить ему ломтик. Первая его трапеза в роли слепого! Торт — дело простое; надо просто водить вслепую вилкой по тарелочке, пока не наткнешься. (Сложнее будет с форелью, которую я люблю разделывать сам; Гантенбайну придется устроить из этого фокус: слепой, который сам разделывает себе форель, притом ловчее любого официанта, потрясающе, так что люди за столом просто диву даются и в восторге от невероятного зрелища просят слепого, чтобы он и им разделал форель.)

— Ах, боже мой,— говорит она,— ложечки.

Она играет нескладеху.

— Это ужасно,— смеется она.— Я, знаете, совсем не хозяйка...

Вот, значит, роль, которую, кажется, хочет играть Камилла: не хозяйка. Надеется ли она, что Гантенбайн принимает ее за интеллигентную женщину? Значит, во всяком случае, не хозяйка; это уж наверняка. Причастна к искусству? Гантенбайн понимает: во всяком случае, женщина, имеющая профессию. А то бы она не бегала из-за каждой ложечки взад-вперед, по-прежнему в своем меховом пальто цвета водорослей, весело, словно для нее начинается новая жизнь. Это делает ее красивее, чем она в действительности, по крайней мере моложе. Она наслаждается тем, что ее не видят, когда садится на кушетку и подбирает под себя ноги, тихонько, чтобы Гантенбайн не заметил этого и не истолковал превратно, сбросив и поставив поблизости на ковер свои фиолетовые туфли.

— Ничего! — говорит она.

Что — ничего?

— На радость Тедди.

Должно быть, кусочек торта упал на ковер, но, так как это не было подстроено, получается убедительно. Только Гантен-

байпу нельзя теперь понимать, нельзя говорить спасибо, когда Камилла сует на его тарелочку новый ломтик вчерашнего энгадинского торта. Он втыкает в него вилку, как будто это тот, прежний, который тем временем съедает собака. Почему у него, слепого, нет собаки? Камилла представляет себе его испуг — еще бы, почувствовать вдруг, как твоей икры касается бампер. Когда Гантенбайн просит затем, чтобы оправиться от испуга, рюмку коньяку, она безуспешно ищет бутылку, которую Гантенбайн видит уже довольно давно. Камилла ее не видит. Он вынужден прийти ей на помощь, задевая своей тарелочкой, которую словно бы хочет отодвинуть, бутылку с коньяком. Не прерывая разговора (о чем, собственно?), Камилла идет в кухню, чтобы ополоснуть одну из двух коньячных рюмок, а Гантенбайн, как знаток коньяков, не может не взять в руку сомнительную бутылку, чтобы прочесть этикетку. Когда Камилла бесшумно возвращается, по-прежнему в меховом пальто, но без туфель, как уже сказано, потому и бесшумно, у Гантенбайна не только бутылка с коньяком в левой руке, но он еще и держит в правой руке свои темные очки. Чтобы легче было прочесть. Разительнее он не мог бы выйти из своей роли, но Камилла всего лишь извиняется, что коньяка другой марки нет в доме, и только, наверно, испуг, что теперь он окончательно изобличен, спасает его от жеста, который насторожил бы Камиллу: сразу же снова надеть очки для слепых. Он не делает этого. От испуга. И когда он позднее, выпив уже коньяку, чтобы оправиться от испуга, надевает их снова, все получается вполне правдоподобно: привычный, непроизвольный, небрежный, неприметный жест, ни в коей мере не мешающий разговору о последнем полете в космос, а следовательно, о будущем и о человечестве — о вещах, стало быть, которых никто видеть не может. Ее меховое пальто, кстати, если глядеть на него без очков, янтарно-желтого цвета, волосы у нее, конечно, не зеленовато-синеватые, а светлые, она просто химическая блондинка. И губы у нее не сливово-синие; Гантенбайн уже привык к ним и находит действительный цвет ее губной помады, если глядеть без очков, таким же неестественным. Все-таки стоило на мгновение снять очки. Гантенбайн знает теперь, что квартира у нее не фиолетовая, а вполне изящная, обыкновенно изящная; это могла бы быть квартира преподавательницы высшего учебного заведения, право, или чертежницы, или еще чья-нибудь. Только книг не хватает. Не хочет ли он послушать пластинку? Это для него слишком уютно, поэтому он осведомляется, который час. Камилла говорит: начало второго. На его часах

без десяти два. Она хочет его задержать, кажется, она наслаждается тем, что ее не видят. Она наслаждается своей ролью. Когда Гантенбайн осушает вторую рюмку коньяку, бьет два. Она явно не на канцелярской работе. Дама? Безусловно — нет. Похоже, что она гордится лексиконом, не позволяющим подозревать в ней буржуазную даму, лексиконом простым, без затей, и, когда она снова подбирает под себя ногу, Гантенбайну становится любопытно, какой хотелось бы казаться Камилле Губер. Немного моложе, чем на самом деле; это во всяком случае. Даже при ее молодости, повторяет она много раз. Гантенбайн закрывает глаза, чтобы быть внимательнее к ее желаниям. Камилла была один раз замужем. Один раз, и с нее хватит. Они всегда думают, что им все позволено с их деньгами, эти мужчины. У женщины, имеющей профессию, такие же права, как у мужчины, находит Камилла. Быть экономкой при мужчине только потому, что любишь его,— последнее дело, находит она. Просто последнее дело. Камилла не продается. Эти времена прошли. Конечно, любовники у нее бывают, при ее-то молодости, но предрассудков у нее нет. И пускай соседи думают что хотят. Независимая женщина. Самостоятельная. Не дама, которую можно пригласить куда угодно. Далека от буржуазного брака, понятно. Брак — это ведь тоже проданная независимость, только и всего. Не может быть и речи. Гантенбайн понимает. Современная женщина. Имеющая профессию, хотя Гантенбайн никогда не увидит ее за работой, женщина, которая стоит на собственных ногах и водит собственную машину, заработанную, понятно, собственным трудом. Иначе Камилла и не может представлять себе свою жизнь, самостоятельная и независимая женщина, женщина сегодняшнего дня, и незачем ей повторять это снова и снова; Гантенбайн уже понял, какую роль собирается она играть перед ним, и он не отнимет у нее эту роль, если Камилла предоставит ему за это роль слепого.

— Конечно,— говорит он, стоя у порога, после того как она вручила ему черную палочку, которую он чуть не забыл,— конечно, мы еще увидимся, раз мы соседи...

Камилла счастливо кивает.

Интеллигентный человек дожил до сорока одного года без особых успехов, без особых трудностей; лишь когда приходит особый успех, он пугается роли, которую явно играл до сих пор...

Верил ли он самому себе, играя ее?

Это происходит в маленькой дружеской компании, где его, как он знает, ценят, и ничего, собственно, не происходит, вообще ничего, вечер как вечер. Он не знает, чего он пугается. Он внушает себе, что слишком много выпил (два бокала! больше ему, наверно, нельзя), и воздерживается, прикрывает правой рукой свой пустой бокал, когда гостеприимный хозяин вторгается в разговоры бутылкой, прикрывает молча, чтобы не поднимать шума, но решительно, даже ожесточенно, словно испуг можно еще отогнать, и в то же время стараясь сохранить вид внимательного слушателя. Что с ним случилось, спрашивает одна дама, которая давно уже не участвовала в разговоре. Да и хозяин, только что получивший выговор от супруги за пустые бокалы, поднимает шум. Что случилось с Эндерлином? Он знает только, что ему нечего сказать. Позднее он позволяет снова наполнить свой бокал, поскольку дело тут, видно, не в алкоголе, напротив, он чувствует себя ужасающе трезвым. К сожалению, еще только одиннадцать часов, исчезнуть незаметно почти невозможно; он пьет. Как раз на днях в печати не только родного города, но и в иностранной (это всегда производит совсем другое впечатление, хотя суть дела остается та же) мелькнула заметка в три строчки о том, что Эндерлин получил приглашение в Гарвард, и ему становится не по себе, что именно сейчас заходит речь об этой заметке, особенно когда хозяйка дома, чтобы подбодрить Эндерлина, требует во что бы то ни стало выпить за это. Безуспешно пытается он отвлечь их; Эндерлину ничего не приходит на ум, что могло бы отвлечь его самого. Кто-то в тумане за торшером, чья-то дочь, не знает, что такое Гарвард; из-за этого выходит задержка, поскольку хозяин, прежде чем чокнуться, вынужден объяснить, что такое Гарвард, что значит приглашение в Гарвард. Итак, ваше здоровье! — не торжественно, однако с такой долей дружеской серьезности, что возникает пауза, пауза вокруг Эндерлина. Приглашение в Гарвард, ну да, Эндерлин пытается превратить это в пустяк, хоть и несколько расстроен тем, что на него явно уже не возлагали таких надежд. Вино, бургундское 1947 года, нравится всем, но пауза вокруг Эндерлина остается. В конце концов (Эндерлин вынужден что-то сказать, чтобы не молчать, как памятник), в Гарвард приглашали и шарлатанов, а кроме того, это не первое приглашение, которое Эндерлин получил. Это между прочим. Справедливости ради он вынужден отметить, что и меньшие университеты, например Базельский, пользуются заслуженной славой. Или Тюбингенский. Но об этом

Эндерлин, собственно, не должен был и не хотел говорить; да и упомянул он об этом тет-а-тет, когда общество как раз занято пуделем, который теперь вкатывается в комнату, чтобы показать свои знаменитые штучки. Чудесный песик! Эндерлин тоже это находит, довольный, что всеобщее внимание хотя бы временно переключается на пуделька. Когда же он поедет в Гарвард, спрашивает одна дама, и после того, как он говорит и это — к сожалению, так тихо, что другие, сидящие за абажуром, задают еще раз тот же вопрос,— и после того, как Эндерлин отвечает еще раз — и притом достаточно громко, чтобы все услыхали,— когда предполагает Эндерлин выехать в Гарвард, Эндерлин, конечно, снова оказывается в центре внимания, что бы там ни вытворял пуделек. Ему кажется, что теперь непременно нужно рассказать что-нибудь веселое, какой-нибудь анекдот, который разрядит атмосферу. Но никаких анекдотов не приходит ему на память. Ждут без особого любопытства, однако с готовностью. Что уж такого расскажет человек, сделавший карьеру? Почти все, кто добился успеха, утверждают, будто когда-то их выгоняли из школы, это известно, но это всегда слушают с удовольствием еще раз. Но Эндерлину ничего не приходит в голову, слово за ним, а он только и знает, что сказать ему нечего. Хозяин тем временем угощает сигарами, а его супруга находит, что пора выставить за дверь пуделька, поскольку тот считает себя душой умолкнувшего общества. А полночь все еще не наступила...

— Гермес вошел.

Вот и все, что догадался бы сейчас сказать Эндерлин, античная поговорка, точно обозначающая неловкость этой минуты. Но это не годится; Гермес — тема работы, которая списала ему приглашение в Гарвард... Наконец, чувствуя себя ответственным за затишье, развлечь общество, переставшее вдруг развлекать само себя, пытается хозяин дома — да, анекдотами, которые, однако, не достигают цели; ждут чего-то от Эндерлина. Он ничего не может поделать, и, чем дольше он молчит, держа левую руку в кармане брюк и с бокалом в другой руке, единственный, собственно, кто слушает хозяина — все остальные слушают, так сказать, лишь через него, Эндерлина, и смеются, когда смеется он,— чем дольше молчит Эндерлин, тем вернее остается он в центре внимания; не помогает и то, что хозяин, между прочим, блестящий рассказчик: пауза, когда хозяин еще раз уходит за вином в погреб, начинается безобидно: меняют положение ног, стряхивают пепел, кто-то открывает окно, что все приветствуют, но пауза растет, кто-то

предлагает печенье, курят, часы с маятником бьют двенадцать, и, когда хозяин возвращается с новыми бутылками, он, полагая, что пропустил аттракцион Эндерлина, смотрит и спрашивает, о чем идет речь, и откупоривает бутылки...

Постепенно начинают болтать.

Только для Эндерлина, который, улучив момент, откланивается, что-то произошло, не в первый, впрочем, и, вероятно, не в последний раз. Чтобы это вылилось в ясное понимание, нужно много маленьких испугов. Один в машине, когда он, помедлив, втыкает ключ, затем с чувством облегчения, оттого что хоть мотор-то работает, он больше об этом не думает. Непримечательный вечер...

Это был долгий и скучный час — так я представляю себе, — волнующий час, когда Гантенбайн, в синих очках и с палочкой между коленями, ждал в приемной городского отдела здравоохранения. Слепой, должен был он признать, тоже член общества. Без желтой нарукавной повязки никаких прав у него не было бы. Глядя на картину местного художника, которая отбывает здесь наказание за то, что ее купили на общественные средства, он сидел совершенно один в этой голой приемной, первый, возможно, кто видит эту картину. А что нельзя было — так это читать газету, которая лежала у него в кармане пальто. В любую минуту мог кто-нибудь войти. Старушка, крошечная, настоящий гном, ее стоптанные башмаки и шляпа были ей уже велики, как и ее вставная челюсть, жительница этого города, которая борется за место в прекрасном и по праву расхваленном всеми газетами доме для престарелых города Цюриха, прошла в порядке очереди перед ним, и Гантенбайн обещал ей помолиться за нее, о чем естественным образом забыл, как только начался одиннадцатичасовой перезвон и он остался один, озабоченный собственным будущим, тогда как она теперь сидела перед доброжелательным бессилием муниципального врача, крохотулька с большой челюстью и усиками; это продолжалось уже десять минут. Одиннадцатичасовой перезвон, самая веселая достопримечательность Цюриха, был бы при открытом окне еще прекрасней, шумней, но Гантенбайн не отваживался встать и открыть окно. В очках и с черной палочкой между коленями, как и полагается, когда хочешь получить желтую повязку, он сидел терпеливо. Надо было добыть справки, свидетельства по меньшей мере двух врачей-окулистов. Беготня (все время с палочкой, постукивающей по краю тротуа-

ра!) и болтовня, кончившаяся тем, что два местных врача дали себя провести, не представив за это особого счета, стоила Гантенбайну почти целого месяца, не говоря уж о нервах. Но теперь они были у него в кармане, эти свидетельства, и требовался лишь штамп отдела здравоохранения, который, впрочем, как говорят, обычно проявляет отзывчивость, хотя и заставил Гантенбайна ждать, словно слепому некуда уже торопиться на этом свете... Не выгоднее ли было бы, порой еще спрашивает себя Гантенбайн, стать глухим, а не слепым; но теперь уже поздно об этом думать... Одиннадцатичасовой перезвон умолк; зато теперь слышно, как стучит пишущая машинка в соседней комнате: наверно, чтобы утешить старушку, у нее еще раз спросили все данные, дату рождения, имя отца, чья могила уже разорена, и девичью фамилию матери, последнее местожительство, перенесенные заболевания, адрес здравствующего еще в Америке сына, который мог бы снять бремя с органов социального обеспечения. Во всяком случае, стучат на машинке. Теперь Гантенбайн не без сердцебиения обдумывает уже свои ответы для этой машинки в соседней комнате. Угрызения совести? Иногда Гантенбайн закрывает глаза: чтобы вжиться в свою роль. Открывает их ему снова — часто уже через несколько мгновений — не любопытство к чему-либо зримому, не в первую очередь оно; известно ведь, как может выглядеть приемная в учреждении. Может быть, это уже признак старения, если все, что способны видеть глаза, представляется такой приемной. Тем не менее открываешь глаза снова и снова. Сетчатка — это защита от догадки, которую будит в нас почти каждый звук, и от времени; видишь, что показывают часы на Санкт-Петере, а часы всегда показывают сию минуту. Защита от воспоминания и его пропастей. Гантенбайн рад, что он не в самом деле слепой. Кстати сказать, он уже более или менее привык к искаженным синими очками цветам: к матовому солнцу над фасадами из пепла; к листьям как бронза; к облакам, которые ложно грозят чернильной грозой. Странной, так что Гантенбайн к ней никак не привыкнет, остается кожа цвета безвременников у женщин.

Как раз когда Гантенбайн смотрит на часы, через приемную проходит служащий с черным досье (только черное остается черным) в синеватой руке, не сказав ни слова и не поклонившись, возможно, он уже знает, что это слепой, во всяком случае, ни он, ни Гантенбайн не кланяются, а потом Гантенбайн снова сидит один, с палочкой между коленями, и у него есть время еще раз обдумать свою затею: плюсы, минусы...

Он не меняет своего решения.

Медленно приготовившись к тому, что очередь до него уже не дойдет — муниципальные учреждения закрываются без четверти двенадцать, насколько он знает, во избежание транспортных заторов,— приготовившись, стало быть, к тому, что его попросят явиться в два, он набивает свою трубку, набивает как обычно, это операция, которую можно предоставить пальцам, не глядя, вслепую... Плюсов больше... Лишь зажигая трубку, глядит он теперь на дрожащий огонек, хотя язык его уже знает: табак загорелся. Минус, который пугает его больше всего: уход в себя, на который обрекает его роль слепого. Теперь раскурилась. Гантенбайн снова и снова испытывает облегчение, оттого что он не в самом деле слепой; у трубки был бы другой вкус, если бы он не видел дыма, горький, дурманящий, как таблетка или укол, но невеселый. Недавняя случайная встреча с Камиллой Губер укрепляет в нем надежду сделать людей чуточку свободнее, освободить их от страха, что ложь их видна. Но прежде всего, как надеется Гантенбайн, перед слепым люди не станут особенно маскироваться, благодаря чему сложатся более реальные отношения с ними, поскольку с их ложью тоже надо будет считаться, отношения более доверчивые...

Наконец врач мэрии приглашает его в кабинет.

Гантенбайн Тео, родился тогда-то и там-то, все точные данные есть в свидетельствах, которые врач мэрии, сев тоже, без любопытства просматривает, не наспех, но быстро, потому что скоро без четверти двенадцать. Они, кажется, в порядке, эти свидетельства, судя по немой безучастности врача мэрии. Официальное удостоверение слепого, двухсторонний формуляр, секретарша уже закладывает в пишущую машинку; Гантенбайну нужно теперь только пункт за пунктом говорить правду, что не всегда легко постольку, поскольку любой формуляр, как известно, предполагает типичный случай, которого не существует на свете. Например, у Гантенбайна нет работодателя. Состояние? Вопрос, противоречащий конституции; он нарушает швейцарскую тайну вклада, которой эта страна стольким обязана, но Гантенбайн, чтобы упростить дело, называет какую-то сумму, и озабоченное государство испытывает облегчение, а барышня печатает на машинке. Как капли отмеривает. Не в том ее забота, «да» или «нет», а в том, чтобы не было описки. Только в этом. К тому же лицо врача мэрии — Гантенбайн видит его: врач не доверяет своей секретарше, а не слепому. Гантенбайну это на руку, теперь не хватает только, чтобы секретарше пришлось что-нибудь подчистить; врач, судя по его

виду, не накричит на нее, а накажет ее тем, что будет со слепым любезней, чем с ней. Готовясь поставить подпись, как только эта желтая карточка, настоящее удостоверение слепого, будет наконец заполнена, врач уже снимает колпачок со своей самопишущей ручки. Кажется, все будет в порядке. Нервирует Гантенбайна в основном лишь его излишнее воображение, а вдруг, например, ему придется дать присягу, подтвердить под присягой свидетельства врачей-окулистов. Ведь часто разносчики, сообщает врач мэрии, обманом добывают себе такие удостоверения, чтобы трогать сердца домашних хозяек. К чему он это говорит? Впрочем, старушка, кажется, ему помогла, сославшись на мнение слепого господина, ожидающего в приемной; его появление здесь, чувствует Гантенбайн, было драматургически подготовлено. Легко сказать! — говорит любезный врач мэрии, опровергая мнение Гантенбайна, но как устроить всех стариков? Он приводит цифры, чтобы затем спросить: а вы видите какой-нибудь выход? Вторгается телефонный звонок, так что Гантенбайн может подумать, прежде чем вопрос возвращается. А вы видите какой-нибудь выход? Гантенбайн ограничивается более сочувственным отношением к трудностям, с которыми ежедневно сталкивается такой врач мэрии. Слепота мнения, выраженного Гантенбайном в приемной, чтобы ободрить старушку, приходится ему кстати: она придает правдоподобие и другой его слепоте. Когда врач, чтобы развеять дымом свое нетерпение, направленное против секретарши, начинает молча искать спички, Гантенбайн вежливо щелкает зажигалкой. К этому врач не был готов. Теперь секретарша занята подчисткой. К этому врач, напротив, был готов. Наши мысли не могут быть везде одновременно; он забывает о своей сигарете, как и Гантенбайн. Немой взгляд на секретаршу, старающуюся не потерять самообладания, пока та наконец не подает готового удостоверения, а Гантенбайн между тем прячет свою зажигалку. Теперь он подписывает. Желтая нарукавная повязка, говорит секретарша, будет выслана наложенным платежом. Как всегда, когда он добился от властей того, что ему нужно, Гантенбайн полон сочувствия к властям, и врач мэрии, в свою очередь благодарный за сочувствие, а может быть, и из потребности посрамить свою секретаршу, которая считает, что у него ужасный характер, поднимается и лично провожает Гантенбайна до лифта, не преминув выразить надежду, что Гантенбайн, несмотря ни на что, найдет свой путь в жизни. Гантенбайн старается его успокоить, сострадание смущает его, он уверяет, что вдосталь нагляделся на этот мир до того, как

ослеп; он побывал не только в Греции и в Испании, даже в Марокко, которого врач мэрии, например, еще не видел, в Париже, конечно, в Лувре, в Дамаске, а в молодости как-то на Маттерхорне — о да, правда, туман был. Так, тем более что лифта приходится ждать, завязывается оживленный разговор о путешествиях. Врачу мэрии, понятно, мало доводится путешествовать, три или четыре недели в году. Гантенбайн особенно рекомендует Гавану. В будущем году, говорит врач мэрии, ему хотелось бы тоже съездить в Испанию; Гантенбайн указывает прежде всего на внутренние провинции этой страны: Саламанку, Авилу, Сеговию, Кордову. Хуже, чем в Испании, заверяет Гантенбайн, дороги сейчас в Турции, не говоря уж об Ираке,— лифт один раз пришел, но на это не обращают внимания, так что двери опять закрываются... Он видел достаточно, говорит Гантенбайн. Вот только в России ни разу не был, как и врач мэрии. Возникает первый политический разговор, который Гантенбайн ведет в роли слепого, и вести его легче, чем когда-либо: просто позволяешь поучать себя, выслушивая чужое мнение... Во второй раз открывается лифт, и уже нет времени для множества советов, которые Гантенбайн мог бы еще дать. Если Испания, то непременно пещеры Альтамиры. Если Сеговия, то пообедайте в «Кандидо», хемингуэевский ресторан, прямо у акведука. Если Турция, не пропустите мечеть в Эдирне. Если Иерусалим, то в пятницу. Гантенбайн стоит уже в лифте, когда врач мэрии просит подать ему не руку, а палец, что Гантенбайн понимает не сразу. Указательный палец: чтобы положить его указательный палец на ту кнопку внутреннего пульта, которую он должен нажать, как только услышит, что захлопнулись двери лифта, наружные двери. Гантенбайн еще раз должен заверить, что внизу его ждут. Повязку, говорит еще раз врач мэрии, ему пришлют...

Пока все в порядке.

Один в лифте, расслабившись, как актер за кулисой, где его, он знает, не видят, Гантенбайн сразу же прочитывает свою карточку. Он признан официально. От этого у него сразу появляется другое чувство, другая манера держать себя — даже с самим врачом мэрии, когда Гантенбайн через пять минут, спустившись и поднявшись на лифте, снова предстает перед врачом мэрии; ведь Гантенбайн забыл свою черную палку. Верно! — говорит врач мэрии, намыливая и ополаскивая руки, чтобы пойти пообедать, и, поскольку секретарша уже ушла, Гантенбайн, чтобы не утруждать любезного врача мэрии, сам снимает свою палку со спинки кресла, до смерти испуганный сво-

им безрассудством, которым он выдал не только себя, но и двух врачей-окулистов. Что теперь? Но врач мэрии, кажется, ничего особенного тут не усматривает, так верит он в собственную подпись, он только кивает, теперь вытирая вымытые руки, в свою очередь несколько смущенный, поскольку он без пиджака, а неделю спустя, с пунктуальностью, какой только и можно ждать от швейцарских властей, приходит желтая нарукавная повязка, которая многое облегчает.

Трудно по-прежнему только с женщинами.

Конечно, чтобы опробовать новую нарукавную повязку, Гантенбайн идет не в то кафе, где всегда бывал до того, как ослеп, а в другое, где официанты его не знают, он в восторге, оттого что видит сплошь новые лица, женщин, которых он еще ни разу не видел. Его восторг не дает им покоя, он это видит. Гантенбайн пьет кампари, черная палочка между коленями, желтая повязка на рукаве; он кладет сигарету в сахарницу и чего только еще не вытворяет. Неужели они не верят его официальной повязке? Он чувствует, что его разглядывают. Он принимает всевозможные позы, выражающие мужскую непринужденность, позы, которые выдают его, и видит результат: она, дама за соседним столиком, тоже принимает непринужденные позы, то начиная вдруг пудрить нос, подкрашивать губы, то отворачиваясь, словно не хочет, чтобы на нее пялили глаза, то вдруг прямо-таки проверяя его улыбкой. Будет трудно. Женщины не совсем верят в его слепоту, что им повязка, женщины чувствуют спиной, когда на них смотрят.

Я сижу в баре, задолго до вечера, поэтому наедине с барменом, который рассказывает мне свою жизнь. Прекрасный рассказчик! Я жду кого-то. Моя стаканы, он говорит: «Вот как дело было!» Я пью. Подлинная история, стало быть. «Верю!» — говорю я. Он вытирает вымытые стаканы. «Да,— говорит он еще раз,— так было дело!» Я пью и завидую ему — не оттого, что он был в русском плену, а оттого, что у него не вызывает сомнений его история...

— Гм,— говорит он,— ну и дождь опять!

Я на это не поддаюсь, пью молча.

— Любая история — вымысел,— говорю я через некоторое время, не сомневаясь, однако, в том, что ему пришлось несладко в русском плену, говорю вообще — любое проявляемое «я» — это роль.

— Господин доктор,— говорит он,— еще стакан виски?

Господин доктор

— Наша жажда историй,— говорю я и замечаю, что выпил уже много, это видно по тому, что я не договариваю фраз до конца, а предполагаю, что меня уже поняли в силу моего понимания,— два-три случая, может быть,— говорю я,— каких нибудь два-три случая, самое большее,— вот и все, что есть за душой у человека, когда он рассказывает о себе, вообще когда он рассказывает: схемы пережитого, но не история,— говорю я,— не история.

Я пью, но мой стакан пуст.

— Нельзя видеть себя самого, вот в чем дело, истории видны только со стороны,— говорю я,— отсюда наша жажда историй.

Я не знаю, слушает ли меня бармен, после того как он шесть лет провел на Урале, и достаю сигарету, чтобы быть независимым.

— Есть ли у вас история? — спрашиваю я, после того как он только что рассказал мне то, что он явно считает своей историей, и говорю: — У меня — нет.

Я курю — я наблюдаю, как он берет мой пустой стакан с цинковой стойки, чтобы окунуть его в воду, и как хватает другой, свежий, сухой, я не могу помешать ему приготовить мне следующий стакан виски; именно потому, что я за ним наблюдаю, я не могу ему помешать... Я думаю о человеке с Кеша, об истории, которой я до сегодняшнего дня никому не рассказывал, хотя она меня снова и снова преследовала, об истории убийства, которого я не совершил. Я верчу свой стакан, спрашивая:

— Вы были когда-нибудь на Кеше?

— Кеш,— спрашивает он,— что это такое?

— Пик Кеш,— говорю я,— такая гора.

— Нет,— говорит он,— а что?

Чепуха! — думаю я. Почему он должен быть именно тем человеком, которого я встретил на Кеше в 1942? Я умолкаю. Чепуха. Я пью.

— Каждый раньше или позже выдумывает себе какую-нибудь историю, которую он принимает за свою жизнь,— говорю я,— или целый ряд историй,— говорю я, но я слишком пьян, чтобы уследить за своими же мыслями, и от досады на это я умолкаю.

Я жду кого-то.

— Я знал одного человека,— говорю я, чтобы говорить о чем-нибудь другом,— одного молочника, который плохо кончил.

Он угодил в сумасшедший дом, хотя не считал себя Наполеоном или Эйнштейном, наоборот, он считал себя молочником и никем другим. Да и на вид он был настоящий молочник. Между делом он собирал почтовые марки, но это была единственная в нем черта фанатика; он был старшиной пожарной дружины, потому что он был так надежен. В молодости, я думаю, он занимался гимнастикой; во всяком случае, это был здоровый и миролюбивый человек, вдовец, трезвенник, и никому в нашем приходе и в голову не взбрело бы, что его когда-нибудь посадят в сумасшедший дом.

Я курю.

— Его звали Отто,— говорю я,— наш Отто.

Я курю.

— «Я», которое выдумал себе этот славный человек, не оспаривалось всю его жизнь, тем более что это ведь не требовало от окружающих никаких жертв, напротив,— говорю я,— он приносил в каждый дом молоко и масло. Двадцать один год подряд. Даже по воскресеньям. Мы, дети, поскольку он часто сажал нас на свою трехколесную тележку, любили его.

Я курю. Я рассказываю:

— Однажды вечером, дело было весной, в субботу, наш Отто, покуривая, как все эти годы, трубочку, стоял на балконе своего стандартного домика, который хоть и выходил на сельскую улицу, но был окружен столькими палисадниками, что черепки ни для кого не представляли опасности. Так вот, по причинам, так и не открывшимся ему самому, наш Отто схватил вдруг горшок с цветами — с геранью, если не ошибаюсь,— и швырнул его довольно-таки отвесно в свой палисадник, немедленным результатом чего были не только черепки, но и всеобщее внимание. Все соседи сразу же повернули головы; они стояли на своих балконах, без пиджаков, как и он, чтобы наслаждаться субботой, или в своих палисадниках, чтобы поливать грядки; и все сразу же повернули головы. Всеобщее это внимание настолько, видимо, разозлило нашего молочника, что он и все остальные горшки, числом семнадцать, швырнул в палисадник, каковой, в конце концов, как и сами горшки, составлял его скромную собственность. Тем не менее его засадили. С тех пор наш Отто считался сумасшедшим. Он, вероятно, и был сумасшедшим,— говорю я,— разговаривать с ним больше нельзя было.

Я курю, а мой бармен подобающе улыбается, но ему невдомек, что я хотел этим сказать.

— Ну, да,— говорю я и вдавливаю сигарету в пепельницу

на цинковой стойке,— его «я» износилось, такое бывает, а другого он не придумал. Это было ужасно.

Не знаю, понимает ли он меня.

— Да,— говорю я,— вот как дело было.

Я достаю новую сигарету.

Я жду кого-то...

Мой бармен протягивает мне зажженную спичку.

— Я знал одного человека,— говорю я,— другого, который не угодил в сумасшедший дом,— говорю я.— Хотя жил целиком своим воображением.— Я курю.— Он воображал, что он неудачник, честный, но совершенно невезучий человек. Мы все жалели его. Стоило ему скопить немного денег, как — на тебе — девальвация. И так всегда и во всем. Черепица не падала с крыши, если он не проходил мимо. Выдумка, будто ты неудачник, одна из самых ходовых, потому что она удобна. Месяца не проходило без того, чтобы у этого человека не нашлась причина на что-нибудь да пожаловаться, даже недели, даже чуть ли не дня. Кто его более или менее знал, боялся спрашивать: как дела? Он, собственно, даже не жаловался, он просто улыбался по поводу своей потрясающей невезучести. И правда, с ним всегда случалось что-нибудь такое, что минует других. Просто невезение, ничего не скажешь, в большом и в малом. Переносил он это, однако, стойко,— говорю я и курю,— пока не случилось чудо.

Я курю и жду, чтобы бармен, занятый главным образом стаканами, осведомился вскользь, что же это было за чудо.

— Это был удар для него,— говорю я,— настоящий удар, когда этот человек выиграл большую сумму. Это было напечатано в газете, так что он не мог этого отрицать. Когда я встретил его на улице, он был бледен, вне себя, сомнение вызывала у него не его выдумка, будто он неудачник, а лотерея, да что там, сомнение вызывал у него весь мир вообще. Было не до смеха, его пришлось прямо-таки утешать. Безуспешно. Он не мог взять в толк, что он не неудачник, он никак не мог взять этого в толк и был в таком расстройстве, что по дороге из банка действительно потерял бумажник. И я думаю, так ему было лучше,— говорю я,— а то ему, бедняге, пришлось бы придумывать себе какое-то другое «я», он ведь не смог бы больше считать себя неудачником. Другое «я» — это, понятно, поразительней, чем потеря битком набитого бумажника, ему пришлось бы отказаться от всей истории своей жизни, пережить все случившееся с ним еще раз, и притом иначе, поскольку оно больше не подходило бы к его «я».

Я пью.

— Вскоре после этого ему еще и жена изменила,— говорю я.— мне было жаль его, он был действительно неудачник.

Я курю.

На улице по-прежнему идет дождь... Я уже не знаю, что́ я, собственно, хотел этим сказать, и разглядываю своего бармена: может быть, это все-таки он? — думаю я, хотя он это отрицает; я уже не помню, как он выглядел, мой человек с Кеша, может быть, поэтому я не могу от него избавиться, я курю, думаю об этом, молчу, курю.

Это было в 1942 году, в воскресенье в апреле или мае, мы были расквартированы в Самадене, кантон Граубюнден, день был безоблачный, я получил увольнительную на конец недели, но не поехал домой, а хотел побыть один и пошел в горы. Вообще-то получавшим увольнительную строжайше запрещалось ходить в одиночку в горы ввиду опасности; но я, значит, все-таки пошел, и притом на пик Кеш. Переночевал я в каком-то сеновале, где холод стоял собачий, сена не было, сквозняк, звездная ночь; я хотел обойти кешскую горную хижину, потому что там, по всей вероятности, были офицеры, которым я, рядовой артиллерист, обязан был бы доложить цель моего увольнения, а этого-то я и не хотел. Чтобы быть уволенным, уволенным от обязанности докладывать. Поскольку всю ночь я мерз, я встал рано, задолго до восхода солнца; увидеть меня на сером фоне засыпанных галькой склонов нельзя было, я и сам был защитно-серого цвета, и поднимался я довольно быстро, и, когда дошел до снега, он был еще до звонкости твердый. Я устроил привал в расселине Кеша, как раз когда восходило солнце, кругом не было ни души, я позавтракал нерастворенным концентратом заменителя кофе. При мне был ледоруб, потому я и не хотел, чтобы меня кто-нибудь увидел в долине, одного с ледорубом. Теперь я был рад, что со мной эта маленькая блестящая мотыга, обойтись, вероятно, можно было бы и без нее, поскольку на солнце снег быстро размякал, но в тени приходилось прорубать ступени. Сняв с себя грубошерстный китель, я привязал его к ремню, время от времени я оглядывался, не идет ли кто-нибудь, офицеры чего доброго. Если я заберусь на вершину, они уже ничего не смогут мне запретить, думал я, разве что спросят, известен ли мне приказ, а в общем-то отнесутся ко мне как к товарищу по альпинизму. Но я так никого и не видел, во всяком случае на снегу, а когда работал ледорубом, то ничего и не слышал. Я был один, как на Луне. Я слышал, как катятся

по скалам обломки замерзшего снега, больше ничего, время от времени звяканье моего ледоруба об острые скалы, ветер, больше ничего, ветер над гребнем. Когда я потом достиг вершины, я оказался наедине с геодезическим крестом и был счастлив. Становилось все теплей и теплей, и, соорудив себе из валунов укрытое от ветра ложе, я даже снял пропотевшую рубашку, скатал китель в подушку. Потом я спал, усталый от ночи, не знаю, как долго, но крайней мере закрыл глаза и дремал, ничего другого не делал. Человек, который вдруг заговорил со мной, штатский,— он сказал: «Поклон!», что считал швейцарским приветствием, явно немец,— не хотел мне мешать, как он сказал, увидев мое смущение; но, конечно, я сразу же приподнялся, сперва онемев. Он был здесь явно уже некоторое время: его рюкзак лежал несколько поодаль. Я сказал «здравствуйте», поднимаясь на ноги, так что теперь мы стояли рядом. Он, с полевым биноклем у глаз, хотел только узнать, которая же группа гор Бернина. Вы ведь солдат! — сказал он не без усмешки, увидев мои невообразимые трубчатые штаны, и, показывая ему то, что он хотел узнать, я скоро заметил, как хорошо он ориентируется на местности. Явно любитель Энгадина, иностранец, но знаток; по крайней мере названия ему были хорошо известны: Бернина, и Палю, и Розач, да и названия деревень в долине внизу. У него была карта, как полагается, хотя географические карты были тогда конфискованы, и еще «лейка». Его упорное стремление все время подражать нашему диалекту, притом так, словно это какой-то детский язык, прикидываться своим, не улавливая разницы в интонации, притом добродушно-покровительственно, не замечая, что меня это коробит, мешало беседе больше, чем ветер. Конечно, я отвечал на литературном немецком, хотя и с алеманским акцентом, но безуспешно. Он знал даже, что швейцарцы произносят слова «кухонный шкаф», как «хухонный хаф». Это между прочим; к беседе это не имело никакого отношения. Много военных здесь, да. Он старался, я это видел, принимать мою солдатскую одежду всерьез. Может быть, натянутость идет от меня, подумал я, когда он предложил мне свой полевой бинокль, и взамен предложил ему свою походную флягу, вельтлинское. Теперь я увидел в его бинокль, что он воспользовался моим следом. Больше никто не шел сюда. Я поблагодарил за бинокль. Он пробыл со мной около получаса, и болтали мы прежде всего о горах, также о флоре, причем в его тоне звучало одобрение. Я не мог заставить себя (почему, собственно?) взглянуть ему в лицо, словно ожидал какой-то бестактности, которая меня заранее

смущала, и не знал, что говорить. За кого он меня принимал, не знаю, за недотепу во всяком случае; он страшно удивился, когда выяснилось, что я знаю Берлин. Чем оживленнее шла теперь беседа, оживленнее оттого, что он перешел на свойственную ему интонацию, тем нетерпеливее ждал я момента, когда он возьмется за свой рюкзак. Мой совет, как ему лучше всего спуститься к Мадулейну, оказался излишним. Переночевал он в кешской хижине, которую хвалил так, как будто я построил ее. Много офицеров, да, очень славные ребята. Его вопрос, проходим ли мы альпинистскую подготовку, я пропустил мимо ушей. Сомнений в том, что он сумеет прийти к четырем часам в Мадулейн, у меня не было. Однако он стал укладывать свой рюкзак, не преминув оставить мне яблоко. Я был немного сконфужен. Яблоко здесь, наверху, это что-то значило. Тем временем он надел свой рюкзак, и я уже не ожидал такого, мы уже пожали друг другу руки, когда на него вдруг напала та откровенность, дословное выражение которой я позабыл. Рейх — этого мне было достаточно; смысл был ясен. Я ничего не сказал по этому поводу, но и другого ничего не сказал, я стоял и молчал, держа руки в карманах трубчатых своих штанов защитного цвета, которые я ненавидел, глядя на страну, которая скоро, как он считал, тоже войдет в рейх. Что я видел: скалы, черноватые, местами багровые, снег на полуденном свету и гальку, серую гальку на склонах; затем луга, без дерев, каменистые, ручьи, сверкающие на солнце, выгоны, скот, похожий издали на букашек, лесистую долину и тени облаков; черных галок вблизи. Лишь через некоторое время, после того как он спрятал и свою «лейку», приветливо кивнул мне, пожелал еще раз счастливой службы и наконец исчез за скалой, я подосадовал на то, что не дал ему по физиономии, и заинтересовался его особыми приметами; я вышел теперь на плоский выступ, но слишком поздно: я увидел его снова, только когда он обогнул гребень, он находился теперь на тридцать метров ниже, чем я, так что мне оставалось лишь глядеть на его зеленую фетровую шляпу. Он поскользнулся, но удержался на ногах; потом он стал спускаться осторожнее. Я окликнул его, чтобы он еще раз показал мне свое лицо, но он не услышал. Я хотел самым вежливым образом предостеречь его от камнепада. То и дело скатывались вниз камни, но ему это не мешало: он-то был наверху. Чем больше я отказывался возмущаться его словами, тем безмернее возмущался я теперь тем, как лазил по горам этот болван. Вот и опять покатились камни! Я свистнул в два пальца; вероятно, он принял это за свист сурка, который тоже скоро

войдет в гитлеровский рейх, и оглянулся. Я стоял на выступающей скале, пока он не дошел до кешской расселины, черный человечек среди снегов; вероятно, он снова делал снимки, во всяком случае он долго ковылял то туда, то сюда. Я поднял свой китель, внезапно решив спуститься, чтобы его догнать. Зачем? Я остался на вершине. Все-таки я следил за ним, пока он был на снегу, и потом, когда он шел по гальке склона, а потом, на альпийском лугу, он стал невидим благодаря своей непромокаемой куртке, и я прекратил бессмысленную слежку.

Затем я спал...

Когда я проснулся, видимо от холода, я испугался мелькнувшей у меня мысли: я столкнул этого человека со скалы. Я знал: я этого не сделал. Но почему, собственно? Мне это и не приснилось вовсе, я только проснулся с отчетливой мыслью: толчка ладонью, когда он нагнулся над рюкзаком, было бы достаточно.

Теперь я ел его яблоко.

Конечно, я рад, что не сделал этого. Это было бы убийство. Я никогда ни с кем об этом не говорил, никогда, даже с глазу на глаз, хотя я этого и не сделал... Я видел: кругом ни души. Несколько черных галок. Никаких свидетелей. Никого. Ветер, и никаких ушей. Вечером в Самадене я стал бы на поверке в задней шеренге, голову направо, равнение, руки по швам, смирно, навытяжку, потом бы я пил пиво. По моему виду, думаю, ни о чем бы не догадались. С тех пор я беседовал со многими убийцами то в вагоне-ресторане, то во время антракта на концерте, то еще где-нибудь, ни о чем по их виду не догадаешься... Когда я съел яблоко, я вышел еще раз на плоский выступ, чтобы посмотреть, куда бы он свалился. Снежный надув, сверкающий настом, дальше ничего. Галки, черные, бесшумно парили над отдаленным ледничком, черные и близкие. Северная стенка, ну да, довольно отвесная. Я поглядел на часы: пора спускаться. Я собрал свой грубошерстный китель, ремень, ледоруб. Снег был теперь довольно рыхлый, и, признаюсь, у меня тоже один раз скатился камень. Когда я дошел до кешской расселины, я, собственно, уже забыл об этом человеке. Мало того, что временами все мое внимание поглощал спуск по рыхлому снегу, вряд ли нужно говорить, что и у меня были вполне реальные заботы, думать о которых имело, пожалуй, больше смысла, взять хотя бы мерзавца фельдфебеля, опять уже собиравшегося нарядить меня в караул, а главное — мою специальность, оставленную теперь дома, ведь по специальности я был не солдат. В послеполуденной кешской расселине, глядя на путаницу его

следов, я не вспомнил подлинных его слов там наверху, где теперь стоял в одиночестве белый геодезический крест, я вспомнил только, что можно было сделать что-то, чего я не сделал. И тем самым, так следовало бы думать, с этим было покончено; именно потому, что я этого не сделал. Но меня интересовало, куда бы он предположительно свалился. Так просто. Я заковылял вниз, хотя здесь был небольшой ледник, на север от пика Кеш. Недалеко; только посмотреть; лишь несколько шагов. Снег был здесь такой рыхлый, что я проваливался по колено; я вспотел. Лыжи бы. Я знал этот спуск через ледник. Без походного снаряжения, без карабина на спине это было бы, наверно, одно удовольствие. Направо в Сертиг, налево в Бергюн. Итак, ковыляя, я далеко не ушел; да и пора было мне возвращаться. Три часа! В это время он шагал уже далеко внизу по долине, откуда открывался вид на Мадулейн, по другую сторону водораздела; если он шагал так же молодцевато, как говорил, он должен был дойти уже до первых сосен. А я здесь тем временем утопал по колено в снегу! И все-таки я стоял теперь примерно под той самой стенкой, и, поскольку не знал, каково бы мне было глядеть на раздробленный череп, я деловито прикидывал, упал ли бы он действительно на этот откос. Я вскарабкался на несколько метров выше, чтобы лучше рассмотреть стенку, да и чтоб легче было стоять; трещина подо мной меня испугала. Я тяжело дышал. Может быть, он повис бы на скалах, на снег упала бы только его «лейка», а может быть, и нет. Стенки, если приглядеться с близкого расстояния, собственно, не было; возможно, он остался бы в кулуаре повыше. Я не знал, почему меня заботило то, что не произошло. Здесь, где не было ветра, как на вершине, стояла мертвая тишина, только тихо постукивала капель, потому что теперь, во второй половине дня, кулуар прогревало солнце. Было жарко, и я не в первый раз проклинал непрактичный китель нашей армии. Скала в послеполуденном теперь освещении была как янтарь, небо над ней фиолетовое, ледничок на его фоне голубоватый — трещины по крайней мере, снег был скорее как молоко, только глубокие мои следы в нем казались стекольно-синими. Все неподвижно. Только галки, черные, парили далеко вверху. Геодезического креста отсюда не было видно. Я пошел назад к кешской расселине. Моя надежда, что кое-где можно будет съезжать, как на салазках, не оправдалась; я делал такие попытки снова и снова, но снег был слишком вязкий. Я шел по его следу до конца снежного поля, но и на сланцевом щебне следы его тоже можно было еще узнать, и от скольжения, и другие, вдавленные как штемпеля, я

видел, что у него первоклассные горные ботинки, лишь на лугу я потерял его след навсегда.

Больше ничего не было.

Вечером в Самадене, на поверке, я стал в задний ряд, но впустую; меня нарядили в караул, и выпить пива не удалось, поспать тоже, у меня был адский солнечный ожог, жар. Хотя я постепенно пришел к убеждению, что человек с Кеша не был безобидным туристом, я никому ничего не рассказал. Пост мой был на деревенской площади, так что ничего другого мне не оставалось, как смотреть, держа на плече карабин, смотреть, не покажется ли зеленая фетровая шляпа на деревенской площади. Моя беллетристическая надежда, конечно, не сбылась. Я караулил попусту, делая десять шагов в одну сторону, десять в другую. Тогда, в 1942-м, туристов, собственно, вообще не было. Я бы узнал его, но он-то как раз и не проходил через Самаден...

Значит, покончим с этим!

С чем?

В последующие годы, как известно, произошло многое. На самом деле. Я никогда больше об этом не думал, не было времени на пустяки, видит бог, а уж тем более на химеры, на выдуманные убийства, когда, как я вскоре узнал, каждый день хватало других. Итак, я никогда больше не думал об этом и никому не рассказывал о том лазоревом воскресенье на пике Кеш. И на пик Кеш я никогда больше не ходил. Тем не менее, как оказалось потом, я этого не забыл, хотя многое, что я действительно сделал, забыл действительно. Это любопытно. Похоже, что легче всего выпадает у нас из памяти действительно сделанное; только мир, поскольку он ничего ведь не знает о не сделанном мною, предпочитает вспоминать мои дела, которые, в сущности, наводят на меня только скуку. Соблазн раздуть несколько своих поступков в сторону добра или зла идет от этой скуки. Не могу больше слышать, что я сделал то-то и то-то, к своему позору или к своей чести. Лишь как незабываемое будущее, даже если я перепишу его в прошлое в виде вымысла, в виде химеры, моя жизнь не наводит на меня скуку — в виде химеры: столкни я этого человека на Кеше за снежный надув...

Я этого не сделал.

Казнить меня не станут.

Значит, покончим с этим!

Лишь много позднее, читая как-то газету, я вдруг снова подумал об этом. Я прочел среди прочего, что близ Клостерса, Граубюнден, немцы собирались устроить концентрационный лагерь; планы были готовы, и можно предположить, что такие

планы были составлены не без основательного изучения местности. Кто разведывал местность близ Клостерса? Может быть, тот человек, который в то воскресенье сорок второго совершил также экскурсию на пик Кеш, чтобы полюбоваться видом, и которого я не столкнул за снежный надув...

Я этого не знаю.

Я никогда не узнаю, кто он был.

Другой раз мне пришлось вспомнить об этом, когда Бурри, тогда молодой врач, вернулся из Греции, где он работал в Международном Красном Кресте, и когда он рассказал нам, чего он там только не видел, среди прочего: как голодного греческого ребенка, который в центре Афин пытается стащить буханку хлеба с грузовика вермахта, хватает и расстреливает посреди улицы немецкий солдат. Конечно, Бурри видел и другое; не каждый солдат расстреливал запросто греческих или польских детей. Я это знаю. Я спросил только, как же выглядел тот особый солдат в Афинах, спросил, словно я мог бы его опознать...

Зачем!

Мы болтали, как обычно болтают на вершине горы, по-товарищески так сказать, двое мужчин, отрезанных от всего мира огромным пространством, по-товарищески немногословно, ветер, который на вершинах не прекращается, не позволяет говорить длинными фразами. Без светских церемоний, понятно, рукопожатие, но без того, чтобы представляться друг другу. Оба достигли вершины, этого достаточно, у обоих один и тот же обзор. Было рукопожатие или не было, я уже и этого не помню наверняка; возможно, мои руки оставались в карманах штанов. Потом я съел его яблоко, больше ничего, взглянул вниз за снежный надув. Чего я не сделал, я помню наверняка. Может быть, он был славный малый, даже отличный малый, я говорю себе это снова и снова, чтобы снять с себя тяжесть от того, что не сделал этого. Может быть, я даже встречал его потом, не зная того, после войны, иначе одетым и при таких обстоятельствах, что при всем желании нельзя друг друга узнать, и он один из многих людей, которых я ценю, которых бы не хотел потерять. Я лишь иногда становлюсь так неуверен. Вдруг. А уже двадцать лет прошло. Я знаю, это смешно. Не забывать поступка, которого ты не совершил, это смешно. Я ведь никому об этом и не рассказываю. А иногда я начисто его забываю...

Только его голос стоит у меня в ушах.

Я выпиваю до дна.

Пора расплачиваться.

— Да,— говорю я,— эти русские!

Мой бармен тоже, я вижу, думал тем временем о другом... Его история о русском руднике, сцепленная с моей историей, которая не состоялась, побоку это.

— Господин доктор,— спрашивает он,— еще стакан виски?

— Скажите,— спрашиваю я, в то время как он опорожняет пепельницу и вытирает тряпкой цинк, который я явно запачкал пеплом,— вы были когда-нибудь на пике Кеш?

— Нет,— говорит он,— вы уже один раз спрашивали.

Я слишком много выпил... Дама, которая тем временем вошла и своим ищущим взглядом напоминает мне, что я уже полтора часа кого-то жду,— она, я понимаю, супруга этого кого-то, который, к сожалению, вынужден был уехать, и пришла, чтобы извиниться за него, и я слезаю со своего табурета, чтобы снять с нее мокрое пальто. Чтобы быть вежливым. Чтобы доказать, что я прощаю. Разумеется. Просить прощения, собственно, должен бы я; я совсем забыл, что жду. Чтобы быть вежливым:

— Выпьете что-нибудь?

Я уже несколько смущен, смущен потому, что ее мужа, который находится в Лондоне, в то время как я должен был его ждать, я еще ни разу не видел, а вместо этого вижу его супругу.

— Все еще идет дождь? — спрашиваю я.

Собственно, я собирался расплатиться.

— Но я не хочу вас задерживать! — говорит она, садясь на табурет у стойки.— Право, не хочу вас задерживать...

— Что вы будете пить? — спрашиваю я.

— Ну, знаете,— говорит она,— такой ливень!

Сперва она должна поправить прическу, и, явно видя, что я уже слишком много выпил, она заказывает стакан лимонада. О чем теперь говорить? Я сразу принимаю ее за актрису, не знаю почему. Я вижу эту женщину в первый раз, вероятно, и в последний. Чтобы не быть невежливым, я не спрашиваю о ее профессии; может быть, она даже известная актриса, и мой вопрос был бы просто обидным. И вот я грызу сухарики, не переставая тянуться за ними налево и направо, и слушаю, почему Свободе, ее мужу, пришлось уехать, подаю, когда нужно, зажигалку и еще раз прощаю без слов, выражением лица. Она курит несколько торопливо, когда говорит о своем муже. Ее волосы, мокрые от дождя, блестят чернотой. Я полон решимости не влюбляться. Глаза у нее синие и большие. Иногда я должен что-то сказать, чтобы не показаться смущенным или тупым. Моя неуверенность относительно того, должен ли я считать ее актрисой или не должен, все больше смущает меня, а

она теперь, не знаю почему, говорит о Перу. Я спрашиваю себя, какую роль дал бы я этой женщине. Мое внимательное молчание явно вызывает у нее чувство, что ее понимают; во всяком случае, она тоже немного смущается. Она пьет свой лимонад так, словно внезапно заторопилась. Она не хочет задерживать незнакомого господина. Я расспрашиваю о Перу, но она в самом деле не хочет задерживать незнакомого господина, она пришла, чтобы извиниться за своего Свободу, и потихоньку собирается расплатиться, чего я, однако, не допускаю. Прошу вас! — говорю я, и, поскольку Пепе, бармен, играет теперь глухого и держится на заднем плане, до расплаты дело не доходит, и нам нужно продолжать болтать. О чем? Я расспрашиваю о ее муже, которого мне полагалось бы знать. Ее муж, как уже было сказано, находится в Лондоне. Теперь я, как по тревоге, вдруг очень трезв; только незнакомый господин, которого она не хочет задерживать, по-прежнему пьян, не вдребезги, так, что я все же отличаю себя от него. Перу, говорит он,— это страна его надежды! Я нахожу чепухой то, что он там мелет, а она слушает, широко раскрыв глаза, ей это, кажется, нравится, и вот, стало быть, идет болтовня о Перу, которого я не знаю. Она объездила Перу со своим супругом. Я должен кое в чем признаться себе, а именно, что редко встречается женщина, разговор с которой мне интересен, если она меня хоть в какой-то мере не интересует как женщина. Отсюда мой внимательный взгляд на ее рот. Когда я случайно слышу, что она хранит верность, я не знаю, почему она это сказала: я не слушал. Лицо у нее, когда она говорит, живое и красивое, и я рассматриваю ее молча (в то время как незнакомый господин говорит), улыбаясь, отчего она краснеет, отбрасывает волосы назад, усиленно стряхивает с сигареты пепел, которого почти нет, делает вид, будто пытается разобрать рекламную надпись над стойкой: «Johnny Walker, highest awards [1],— щурясь при этом, поскольку ее же дым окутывает ей лицо.— Guaranteed same quality throughout the world» [2]. Лицо ее и сбоку очень достойно внимания, рука у нее не чужая; даже в ее волосах, в этом самом странном человеческом веществе, нет ничего отчуждающего... Она глядит на свои крошечные часы.

— О,— говорит она,— уже три часа!

Но у меня есть время.

У нее тоже, собственно, есть время.

---

[1] Джонни Уокер, высшие призы *(англ.)*.

[2] Гарантируется одно и то же качество во всем мире *(англ.)*.

— Может быть, все-таки выпьете виски? — спрашиваю я, и, поскольку Пепе, как всякий бармен, хороший психолог, он уже достал чистый стакан, так что мне остается только сказать: — Значит, два.

Я спрашиваю себя, что дальше...

Три часа дня — это ужасный час, час без покатостей, плоский и бесперспективный, я вспоминаю далекое время детства, когда я лежал больной и было три часа дня, книжки с картинками, яблочное пюре, вечность... Только чтобы что-то сказать, я спрашиваю, есть ли у нее дети, до чего мне, собственно, нет дела. Мы смотрим, как орудует бармен: лед, виски, содовая... Незнакомый господин, когда он позднее (приблизительно в 15.30) дотрагивается до ее голой руки, смущается не перед ней, а передо мной. Она не смотрит на меня, как я ожидал было, с насмешливым видом: сударь мой, что это значит? И не отнимает своей теплой руки, и, поскольку она молчит, ничего не остается, как выдержать до конца жест незнакомого господина. Я искренне огорчен, что не испытываю при этом никаких чувств. Больше того, я в замешательстве. И когда незнакомый господин убирает наконец свою руку, поскольку она нужна мне, чтобы взять стакан виски, пока оно не стало теплым, она уже, думаю, заметила тайное мое замешательство и неверно его поняла. Во всяком случае теперь, тоже беря стакан, она делает слишком глубокий вдох, как будто с ней что-то случилось, и смахивает волосы со лба, она смотрит на меня — на меня! — своими большими синими глазами, не видя, что мне хотелось бы побыть одному. Мы курим, на улице все еще идет дождь, мы курим. Я чувствую, сейчас я впадаю как раз в ту меланхолию, которая так идет мужчинам, которая делает их неотразимыми. Не помогает и то, что я внимательно наблюдаю за незнакомым господином. Как и следовало ожидать (я знаю его!), он говорит теперь с шутливой искренностью, интимнее, чем это соответствовало бы моему настроению, напрямик о вопросах жизненно важных. Должна ли женщина, у которой есть профессия, иметь ребенка? Что понимать под браком? Игру эту я вижу насквозь. Произносить слова, прежде чем они будут обозначать что-то лично-историческое, только это и требуется, слова, такие, как любовь, мужчина и женщина, пол, дружба, постель и профессия, верность, ревность, тип и конкретное лицо и так далее и так далее. И поскольку мои собственные суждения, разжиженные таким путем до банальности, нагоняют на меня смертельную скуку, незнакомый господин приправляет их маленькими примерами, которые он придумывает. Допустим,

говорит он, два человека, как мы, пали друг другу в объятия. Или: это нам удается, из этого не выйдет истории, допустим, мы зарекаемся от какого бы то ни было повторения. Он идет еще на шаг дальше, чтобы сделать свой пример, взятый в общем виде, немного наглядней; он придумывает диалоги, неожиданно позволяющие говорить «ты», пример этого требует, и она, конечно, понимает, что незнакомый господин только примера ради говорит «мы». Или: «ты и я». Или: «ты знала, что мы друг друга бросим, и я это знал». Она курит при этом, она понимает, что он говорит в кавычках, и курит задумчиво, и, беря снова мой стакан, чтобы показать, что находятся они в этом безлюдном баре и нигде больше, он снова говорит «вы». Игра окончена. И она теперь долго молчит, дым из полуоткрытого рта окутывает синеватой вуалью ее лицо, полное понимания его суждений, общего, принципиального характера его суждений. Ни о какой влюбленности нет речи, о нет, это ясно. Но игра с «ты» привнесла нечто новое, несколько меняющее разговор, и возвращение к «вы» не может свести это на нет. При случае я гляжу на часы, чтобы предостеречь незнакомого господина; но безуспешно. Как ни строго соблюдается в дальнейшем «вы», оно приобрело теперь очарование, которое прогоняет скуку. Итак, я говорю теперь о вещах пещекотливых, о мировых событиях, монологически. Время от времени, словно дым ее к этому вынуждает, она полузакрывает глаза, как женщина в минуты объятья, и было бы только естественно, если бы незнакомый господин, будь то с шуткой или с немым собачьим взглядом, еще раз дотронулся до ее обнаженного предплечья, до ее руки, до ее лежащей у пепельницы руки с сигаретой, до ее более далекого плеча, до ее затылка. Он этого не делает. Без моего надзора он, может быть, и попытался бы это сделать — непроизвольно...

Теперь я действительно хотел расплатиться.

— Пепе? — крикнул я.

Бармен, чтобы обходиться с нами как с парочкой, безотлучно торчал у окна, делая вид, будто ни разу еще не видел уличного движения в дождь, и притворялся глухим всякий раз, когда я стучал монетой о цинк. Вдруг мне опять стало очень скучно. Именно поэтому стучать я осмеливался лишь очень тихо, неустойчиво.

— Вам надо идти,— сказала она.

— К сожалению,— признался я.

— Мне тоже,— сказала она.

Я опять постучал монетой.

С какой это стати незнакомый господин, который наводил на меня еще большую скуку, чем на нее, потому что я слышу его речи не в первый раз, неожиданно говорит об обаянии мужчин-гомосексуалистов, я не знаю; пытаясь привлечь внимание невнимательного бармена, я слушал с пятого на десятое — она соглашается с ним, о да, насчет обаяния таких мужчин, которые любят переодеваться (вспоминаю теперь: мы говорили об одном определенном актере, потом об актерах вообще) и которые знают толк в женских костюмах, в духах. На ней желтый костюм. Он признается, что ее костюм ему нравится, но вдобавок и вот в чем: нравься он ему меньше, он бы понятия не имел, как исправить его. Он клянется в этом. А вот мужчина из числа тех, так он считает, сразу же — и он делает это просто примера ради — схватил бы ее воротник, что-нибудь изменил бы в нем и преобразил. Ее смущение делает ее еще красивее, я вижу это, иной, чем до сих пор...

Теперь я расплачиваюсь.

Я не хочу любовных историй.

Я хочу работать.

Она уже держала под мышкой сумочку — черную, что прекрасно сочеталось с желтым костюмом, черную, как ее волосы,— когда я прятал сдачу, и сказала, что рада была со мной встретиться. Потом я подавал ей пальто. Напрашивалось приглашение вместе поужинать, тем более что муж ее был в отъезде, я не предложил ей этого, когда она оправляла платок у шеи. Я тоже сказал, что рад был с ней встретиться, в первый раз теперь, за секунду до того, как она скользнет в пальто, видя ее всю целиком и, как я надеялся, в последний раз. Большинство любовных историй вовсе не должны состояться, я считаю. Вы все взяли? — спросил я, как будто уже знал ее забывчивость. Это ей понравилось. Кто это теперь, я или незнакомый господин — она так смущенно глядела то на одного, то на другого — провел рукой по ее лбу, в шутку, так сказать, произвольно, безусловно насмешливо, чтобы как-то ласково подчеркнуть эту прихоть судьбы, кто из нас это сделал, не знаю; во всяком случае, это произошло. Наше прощание на улице под дождем, когда наконец остановилось такси, было быстрым и чинным. Только когда она уже сидела под крышей машины, обидно занятая лишь своей черной сумочкой, меня затронуло то, что принято называть чувством. Она, я думаю, заметила это по мне, и, когда неприветливый шофер, неприветливый потому, что на этом месте останавливаться ему, собственно, не полагалось, уехал с ней в дождь, а я напрасно ждал, не махнет ли она

мне перчаткой, меня сковал страх, что моему произволу конец...

Я надел кепку.

Я повернулся на каблуках — я не хотел быть тем «я», что переживает мои истории, истории, которые я могу представить себе,— я повернулся на каблуках, чтобы отделиться, отделиться как можно быстрее, от незнакомого господина.

Я повернулся на каблуках — ее такси в грядке брызг, когда я оглянулся еще раз, было такси и такси, его уже нельзя было отличить от других, когда оно остановилось у перекрестка, вдруг оказалось много такси, брызги летели от всех одинаково...

Я поплелся в гостиницу.

Внизу в переулке перед гостиницей, где я в одежде лежал на кровати, строчил пневматический отбойный молоток, который мне теперь, когда я хотел спать, казался дьявольским; не помогало и то, что я закрыл окно, даже спустил жалюзи; стекла дрожали. Я не знал, что делать. Когда он вдруг замолкал, менялась лишь тональность грохота; тогда грохотал компрессор. Я в самом деле не знал, что делать в этом городе, и набрал ее номер словно бы в шутку. Она была дома. Словно бы в шутку: едва ответил ее голос, я как бы передал трубку незнакомому господину. Пожалуйста! Мне нечего было сказать, ей, впрочем, тоже. Так что ж? Я был остроумен. Ее смех (без лица) наводил на меня скуку. Я лежал во время утомительной болтовни на кровати, разглядывал левую штанину, которая колыхалась, словно марионетка, разглядывал синий носок незнакомого господина, чьими пальцами на ногах я мог шевелить произвольно, большим даже соло, и не без злорадства слышал, что сегодня вечером она не свободна, а должна идти в оперу, на гастроль Ла Скала, кажется, по крайней мере так я понял. Свободен был зато билет ее мужа, которому ведь, к сожалению, как я знаю, пришлось уехать. Дьявольский грохот вдруг прекратился. Когда ее голос, теперь более тихий, поскольку город между нею и мной внезапно затих, голос, кстати, как таковой, не обязательно вызывающий в воображении образ красивой женщины, немного помедлив, спросил, а что же буду делать сегодня вечером я, я как на духу сказал, что не интересуюсь оперой. Незнакомый господин продолжал, однако, болтать. У меня не было желания увидеть ее снова. Когда я положил трубку, было смешно — как большей частью после какого-либо поступка: неопределенную договоренность, которой закончил разговор незнакомый господин, я не считал к чему-то меня обязывающей, обре-

менительной — да, но не обязывающей. Стоило ли? — подумал я, после того как мой темный костюм был вынут из чемодана и повешен на плечики, и я снова лег на кровать, чтобы покурить, внезапно отрезвев... Я видел незнакомого господина в моем темном вечернем костюме, сидящим на месте ее мужа, и себя самого в образе ее мужа, который уехал, которому нечем заняться в чужом городе, потому что идет дождь, и который в рубахе и брюках лежит в номере, в точно таком же, как этот, курит...

Я попытался читать.

(Иногда и мне кажется, что всякая книга, коль скоро она не посвящена предотвращению войны, созданию лучшего общества и так далее, бессмысленна, праздна, безответственна, скучна, не заслуживает того, чтобы ее читали, неуместна. Сейчас не время для историй чьего-то «я». И все-таки человеческая жизнь вершится или глумится над каждым отдельным «я», больше нигде.)

Я просто не знал, что делать.

В начале седьмого (я не хотел отвечать на обещанный ею звонок между шестью и семью) я покинул гостиницу, чтобы пойти в кино, чтобы не слышать отбойного молотка, который опять заработал. Дождь перестал, мокрый асфальт отражал голубизну неба, весну. Без пальто, уже переодевшись для оперы, в темном вечернем костюме, стало быть, руки в карманах брюк, я вошел в зал в середине какого-то фильма, так что не понял, почему там стреляют, и очень скучал; потом в один бар, в другой, где поиграл у какого-то автомата...

Незнакомый господин: Эндерлин.

На следующее утро, когда он снова находился на улице и в мире, раньше, чем обычно, было семь часов утра, когда он, господин в темном вечернем костюме, спускался по чужому переулку, как другие, которые ежедневно идут на работу, спускался без пальто, руки в карманах брюк, стараясь как можно меньше бросаться в глаза, и когда он в каком-то баре, в толпе рабочих, которые прихлебывали кофе, тоже пил кофе, покупал сигареты, потому что за ночь они все искурили, он знал: ночь с женщиной, которая войдет в то странное число, что никогда не называют. Mille e tre [1]. Он знал это и ел булочки, не считая их,

[1] Тысяча три *(итал.)* — в значении «очень много», «неисчислимое множество», обычно о женщинах-возлюбленных.

и заказал вторую чашку кофе. Он думал, что это в прошлом, он надеялся так думать. Хотя по его бледному лицу за бутылками ничего не было видно, у него все-таки было такое чувство, что у него все на лице написано; это смущало его, как солнце на улице, как зеркало за бутылками, как уличное движение чужого города, как тот факт, что был вторник, вторник такого-то числа, и он не понимал, почему это смущало его. Никто его здесь не знал. Хоть и было слишком поздно, чтобы уйти под покровом ночи невидимо, ему удалось, так он надеялся, покинуть дом никем не замеченным. Он надеялся на это ради нее. Попетляв по переулкам, он позднее, замеченный, вероятно, только подметальщиком улиц, вымыл лицо у водоразборной колонки, которая останется у него в памяти... Мокрый носовой платок в брючном кармане мешал ему теперь, он стоял и пил вторую чашку кофе, и то, что еще теперь и здесь, где шипел аппарат «эспрессо», где было шумно от чашек и голосов, он испытывал потребность ходить на цыпочках,— это смутило его вконец! Как будто эти мужчины слева и справа, возчики в кожаных фартуках, никогда не обнимали женщин! Кстати, с ее ключом от квартиры все в порядке; ключ лежал теперь в почтовом ящике, как договорились, а ключик от почтового ящика лежал на ночном столике. Если она не заспалась, все было в порядке... После второй чашки кофе он был бодр, как если бы выспался, и никакой усталости не чувствовал. Прежде всего он был рад, что теперь он один. Один среди мужчин. Вероятно, она спала, а сон — это самая далекая страна, какая существует на свете; он не то чтобы так думал, а ощущал: покуда она спала, ее не было в этом городе. А он, он был в этом городе, как вчера: один. Вспоров синюю пачку, радуясь первой сигарете, которую он курит снова один, он обнаружил, что у него нет зажигалки, есть только мокрый носовой платок в правом кармане брюк; зажигалку он оставил среди ночи. По сути, вполне счастливый, ибо действительно думал, что они избегут повторения, с незажженной сигаретой в губах, он оглядывался по сторонам, оглядывался рассеянно, после того как обнаружил, что оставил зажигалку. Один возчик все время плевал на пол, на мозаичный пол, посыпанный опилками. Где это бывает, опилки на мозаичном полу, в каких странах? Почувствовав вдруг все-таки легкую усталость, которая грозила еще раз соединить его с ней, он перестал медлить и попросил у одного рабочего спичек, но получил лишь зажигалку, протянутую в потрескавшемся, маслянистом кулаке, пламя для этой единственной первой сигареты, которую он мог выкурить снова один, и всё. Он поблагода-

рил чей-то затылок. Единственным лицом в этом баре, которое время от времени за ним наблюдало, было его собственное лицо в зеркале за бутылками, узкое лицо в роговых очках, стрижка ежиком. Он не знал, что́ тут иногда нравится женщинам. Только оба водянисто-серых глаза — они глядели из зеркала, словно действительно были там, в зеркале, а его тело вне зеркала,— только они такие, что он узнаёт в них себя... Курить сигарету, которая не переходит с нежной игрой изо рта в рот,— он наслаждался этим, вдобавок читать незнакомую газету, которую он только что купил. В конце концов, существует мир. Ее хитрость, выглядевшая вчера вечером так деловито и чуть ли не весело, ее междугородный звонок, чтобы точно выяснить, действительно ли ее муж еще в Лондоне,— эта хитрость вдруг стала ему несимпатична, непроизвольно придя на память теперь, когда он, с чашкой в левой руке, еще раз читал об Алжире. Он не знал, почему он теперь об этом подумал. В конце концов, это было ее дело. Огорчала его только мысль, что в какой-то далекий день, который, собственно, уже начался, он припомнит ее хитрость отчетливее, чем все другое, припомнит, как она из постели, с трубкой в левой руке, болтала с Лондоном, а правая ее рука была у него на груди. Он тогда закрыл глаза, чтобы не присутствовать при этом. Уши он закрыть не мог. Потом они долго только курили и молчали. В конце концов, правда, не его дело, как она вмонтирует это в свой брак, и теперь, когда он, с чашкой в левой руке, читал об Алжире, ему не хотелось думать об этом. Но и Алжир тоже не его дело, и теперь он желал расплатиться. Уже через четверть часа он был как все другие в этом баре, не было ничего, что отличало бы его, что смущало бы его как какое-то отличие от всех других, и, когда он расплатился, он пошел не на цыпочках, и его уже не удивляло, что был вторник такого-то числа. Не подлежало сомнению, что он сегодня поедет дальше. С незнакомой газетой у рта, поскольку он вдруг зевнул, он выбрался на улицу и подозвал такси, чтобы поехать в гостиницу. Ему хотелось теперь спать, принять ванну и спать... Уже то, что он знает ее фамилию,— это чересчур... В движущемся такси, с просунутой в потертую петлю рукой, он пытался навести порядок в своей памяти: это было вчера, предвечерний час в баре, шел дождь, он ждал кого-то, встреча с женой этого кого-то, ее желтый костюм и ее мокрые волосы, лимонад, игра незнакомого господина, от которой ему скучно, которую он знает, которая не имеет с ним ничего общего, трещина между ним и этим чужим господином; он хотел идти своей дорогой...

Это было вчера.

Есть какой-то бес, так казалось ему сегодня, и бес этот не терпит никакой игры, кроме своей собственной, он делает нашу игру своей, и мы — это кровь и жизнь, а никакая не роль, мы плоть, которая умирает, и дух, который слеп во веки веков, аминь... Из движущегося такси, с просунутой в потертую петлю рукой, он видел мир: вчерашние фасады, вчерашние площади без изменений, те же улицы и те же перекрестки, что и вчера, огромная реклама какой-то авиакомпании, уже вчера бросившаяся ему в глаза. Все без изменений: только сейчас не вчера, а сегодня. Почему всегда бывает сегодня? Праздный вопрос, должно ли так быть, тяготил его, как мокрый носовой платок в брюках. Он опустил стекло, чтобы на ходу, незаметно, выбросить хотя бы мокрый платок; он не решился. Тяготила его вовсе не измена, которую они совершили, оба, об этом ему не надо было еще думать; тяготило его просто то, что теперь это факт, тождественный всем фактам на свете. Он удивился немного. Мужчина более или менее опытный, чего же он ожидал? Уже в восьмом часу утра, когда она еще спала со своими растрепанными волосами, мир, сожженный дотла ночью объятий, снова был налицо, реальнее, чем ее объятия. Мир без изменений, с грязновато-зелеными автобусами и огромными рекламами, с названиями улиц и памятниками и с датой, которой он не хотел запоминать. И все-таки факт остается, пусть незначительный, невидимый, его не выбросить, как мокрый платок. Он ни в чем не раскаивался. Вот уж нет. Его смущало только, что сегодня не вчера. По городу этого не видно. Он был рад этому. Он сам по себе. По сути, он был очень рад. Бессмысленно встречаться снова, а он хотел бы встретиться с ней, но он не позвонит ей, даже с аэродрома, потому что он знает, что это бессмысленно... Он не поехал в гостиницу, а велел остановиться, расплатился, вышел; он хотел пойти в музей. Чтобы не быть в мире. Он хотел быть один и по ту сторону времени. Но музей был в это время еще закрыт, и вот он стоял, когда скрылось такси, на парадной лестнице, руки в карманах брюк, без пальто, господин в темном вечернем костюме, все еще небритый, с сигаретой во рту, но у него ведь не было спичек, и ничего не было в карманах, чтобы покормить воркующих голубей, ничего, кроме мокрого носового платка.

Он понюхал тыльную сторону своей ладони.

Ее духи испарились...

Это кончится, если они увидятся, и это кончится, если он улетит навсегда; в любом случае, он знал, это кончится, и нет

надежды уйти от времени... И вот он стоял здесь, и, поскольку было прохладно, он поднял воротник пиджака, а потом он сел на цоколь колонны, и вокруг него ворковали белые и серые голуби, которые время от времени испуганно — что могло их вспугнуть? — вспархивали с громким шелестом на классические карнизы.

Спала ли еще она?

Они обещали друг другу не писать писем, никогда, они не хотели будущего, это была их клятва:

Никаких повторений...

Никакой истории...

Они хотели того, что возможно только один раз: сиюминутности... Это было вскоре после полуночи и оставалось в силе для него, который сидел сейчас на цоколе колонны, в то время как кругом ворковали белые и серые голуби, спархивавшие с карнизов на пустую площадь и лестницу, один за другим, теперь без громкого шелеста, и не знал, что предпринять против будущего, ибо будущее, он знал,— это я, ее супруг, я — это повторение, история, бренность и проклятие во всем, я — это старение от минуты к минуте...

Он посмотрел на свои часы, которые были, однако, не на руке у него; чтобы побыстрее выйти из ее квартиры, он просто сунул часы в брючный карман. Теперь было 9.05. Если только они еще шли, его часы. В 11.30 у него было свидание, деловое совещание с последующим обедом, по-видимому. Он приложил часы, прежде чем надеть их на руку, к уху; они шли. Значит, 9.05. С тех пор как они впервые увидели друг друга — вчера, во второй половине дня, в том пустом баре,— не прошло еще суток. Для них еще не было повторения даже времени суток. Никакого вчера, никакого сегодня, никакого прошлого, время еще не обогнало их ни на один круг: все сиюминутно. Их первое утро, их первый полдень. Кроме нескольких незначительных слов, когда он заказывал кофе и покупал сигареты и попросил рабочего дать прикурить, между ними не легло ни одного слова, ни одного разговора с другими людьми. Мир был еще просто вовне. Теперь он курил; он вдруг все-таки нашел спички рядом с влажным платком, и одна из них еще зажглась. И вот он сидел теперь и курил, глядя на свои черные лаковые ботинки, уже запылившиеся, и не знал, что предпринять против будущего, которое его воспоминаниями уже начиналось... Он вспоминал квартиру: она хотела показать ему перуанские фотографии, когда он заехал за ней перед оперой, и не отказалась от этого намерения, хотя уже пора было спешить в оперу.

Он стоял в холле и ждал не без легкого нетерпения, хотя интересовалась оперой она, не он. Он предпочел бы кино — кино, а потом ужин. Он ждал, спрятав мешавшие ему руки в карманы пиджака, сведений о Перу, которые ему, по ее мнению, могли понадобиться, она все искала карту дорог Перу, ибо он тоже собирался объездить Перу на машине, если уж случится там побывать. Еще за секунду до того, как это произошло, он не поверил бы, что это возможно, она стояла и обстоятельно разворачивала карту дорог Перу. Он не поверил бы, что это возможно, вернее сказать: он вовсе об этом не думал, и, когда он почувствовал, что его рука, находившаяся, как он полагал, в пиджачном кармане, скользнула по ее лбу, он был удивлен больше, чем она. Она сделала вид, будто ничего не заметила. Разве этот жест, легкий и похожий на невинную шутку, не был уже однажды сделан? Он это забыл, вспомнил теперь и устыдился повторения. Уже днем, в том баре, рука его нечаянно скользнула по ее лбу: словно бы в шутку. Словно бы на прощанье. Она сделала вид, будто приняла это за его манеру, и вот, стало быть, они рассматривали ветхую карту дорог Перу, которую я годами хранил как сувенир, и, хотя его жест ее не обидел, все же возникла пауза, прежде чем они заговорили об особенностях перуанских дорог, теперь деловитее, чем когда-либо. Это было в восемь часов. На ней было пальто, они ведь собирались в оперу, и это не было уловкой; они и теперь еще верили, что поедут в оперу, хотя и опоздают на один акт. Ее машина, которую она даже не заперла, стояла внизу в переулке, где стоянка разрешалась только для погрузки и разгрузки, и она даже (как он увидел на следующее утро) не выключила свет. Перед картой Перу, которая так и лежала, расстеленная на сундуке, на следующее утро, когда он покидал квартиру, они говорили иначе, чем днем в пустом баре, где был флирт от смущения, только с его стороны; в баре он не знал, о чем ему с ней говорить. Теперь они говорили как два благоразумных человека перед картой Перу. Она пожалела, что ее муж уехал; ведь ее муж, сказала она, мог бы дать куда более точную информацию о Перу. Она предполагала, что он действительно собирается в Перу. Он улыбнулся. Перу! Это слово стало тем единственным именем, которое он произносил во время объятья; но этого он еще не знал, когда улыбнулся, и его улыбка немного смутила ее. Хотя он вежливо старался поделиться своими знаниями об инках, в то время как она, не садясь, впрочем и не предлагая стула, взяла сигарету, они, по сути, не знали, о чем шел разговор. Они взглянули друг на друга. Было часов девять, когда она все еще

пичего не предлагала, и они все еще курили стоя, на ней все еще было пальто. Ей хотелось, кажется, нет-нет да упомянуть имя мужа, словно ей грозила опасность его забыть; ей явно стало спокойнее, когда и он один раз произнес имя ее мужа, которого он знал только по имени, но не в лицо, и она нашла смешным, что они так и не сели. Он напомнил об опере, которая неудержимо шла своим чередом, а она села, не сняв, однако, пальто. Он долго еще не садился. Он испытывал неловкость, оттого что был без пальто; это создавало впечатление, что он не просто на минуту зашел. Он говорил стоя, говорил много, но сам был на грани скуки; руки он держал в карманах брюк, он боялся своих рук, которые его не слушали. Боялся пауз. Третий раз уже они просто глядели друг на друга, мужчина и женщина, без слов, даже без улыбки. Без смущения. Тем временем он все-таки сел, но так, что между ними стоял стол, и они оба словно бы страшились любого действия, которое изменило бы что-либо внешне, например, поставить пластинку. Они сидели и курили. Он говорил о кошках, сам не зная почему. Было почти одиннадцать, когда они признались друг другу, что чего-нибудь выпили бы. Она сразу раздавила свою сигарету о пепельницу. Хотя удобнее было бы выпить что-нибудь здесь, в ее квартире, оба почувствовали, что должны пойти в город, чтобы что-нибудь выпить, опять в какой-нибудь бар. Это согласие озадачило его, согласие без слов. Радуясь, что им хочется пить, оба поднялись, хотя, как он почувствовал, это не было бы нарушением обычая, если бы она около полуночи кого-нибудь угостила. Она погасила торшер. До сих пор вся квартира была освещена, и все двери были открыты уже несколько часов, открыты с тех пор, как она искала карту Перу, даже дверь в кухню, словно они страшились закрытых дверей. Странно было, когда она погасила торшер, затем и верхний свет; он стоял в холле, а она ходила взад и вперед в распахнутом пальто. Фигуру ее, она как раз гасила свет в кабинете, он впервые видел с приятным сознанием, что эту фигуру он никогда не забудет — он забудет ее! Он знал это, когда сидел на цоколе колонны, а кругом ворковали белые и серые голуби, и он не мог решить, увидеться с ней опять или нет. Он хотел уйти. Куда? Он поднялся, как вчера, и стоял, держа руки в карманах своего темного вечернего костюма, как вчера в ее квартире. Он хотел выпить. Это было вчера: оба хотели уйти. Куда? Они уже стояли в холле, готовые уйти, и он ждал только, чтобы она нашла ключ от машины. Только в холле еще горел свет. Оглядываясь, словно что-то могло быть не в порядке, она уже дотронулась до вы-

ключателя левой рукой. Пойдемте! — сказала она, когда его рука, словно бы в знак прощанья с некоей возможностью, непроизвольно и в то же время иронически — он отдавал себе отчет в том, что это повторение — скользнула по ее лбу. Пойдемте! — сказал он, и она погасила свет, и света не было больше, до тех пор пока не рассвело за окнами. Она все еще стояла в пальто, когда всякая одежда, уничтожепная поцелуями, давно уже была смешна, это была ложь из меха и шерсти и шелка, которую отбросить было не так легко, но лжи этой требовали приличия страсти. Ей придется, сказала она, платить штраф, на ее машину наклеят квитанцию. Она сказала это, когда он, с кажущейся невозмутимостью совершая манипуляции, которые выдавали его знакомство с дамским бельем и все-таки не увенчались бы успехом без ее насмешливой помощи, уже полагал, что все будет совершенно так же, как всегда, как всегда. Он был трезв, да, но без иронии, трезв и нем. Уличный фонарь освещал потолок комнаты, потолок освещал комнату, когда он, господин в черных лаковых ботинках для оперы, в белой рубашке с галстуком и все еще с часами на руке, но без очков, которые она сняла с его лица, дотронулся до ее незнакомого тела; она пальцами прочла его улыбку по его незнакомым губам. Не знать друг друга в такой степени, которая превосходит всякую возможность знания, было прекрасно.

В десять часов ровно музей открылся.

Он закрыл глаза, как ребенок, который сказал, что теперь он закроет глаза, чтобы ему в глаза не попала и не погасила его глаз ночная темень... Он сидел теперь на скамейке в зале с окнами верхнего света... Он слышал свистки с товарной станции, которой никогда не видел, пыхтенье паровозика, лязг буферов, свистки и эхо свистков, потом снова грохот товарного состава, скрежет осей, стук колес на стрелках, свистки, визг тормозов, эхо свистков, снова лязг буферов, затем тишину, снова пыхтенье. Так всю ночь. Когда он проснулся, свистки уже умолкли, он не знал, где он, воркованье голубей тоже умолкло — голубей уже не было, ни белых, ни серых, ни единого голубя... Он сидел на скамейке в зале с окнами верхнего света, где прохаживался служитель, который за ним наблюдал; он спал публично.

От этого он пришел в ужас.

Спал он, вероятно, две-три минуты, сидя, как спят в поезде или в самолете, с открытым ртом, на манер идиота, с перекошенным лицом; может быть, через зал проходили люди, какая-нибудь группа с экскурсоводом, слышны были голоса... Не ночь,

не ее тело почью, а то, что он находится в этом зале с окнами вверху, казалось ему сном, воркованье голубей — далеким воспоминанием; только отсутствие ее маленького тела было реально, было явью, когда он так стоял, скрестив на груди руки, и слышал издалека город, как шум прибоя, глухой, монотонный, волнообразный, то были зеленые волны. Может быть, служителю мешало, что на нем был утром темный вечерний костюм, да еще с поднятым воротником. Вот оно что! Он опустил воротник.

Он заставил себя прочесть:

«Гермес. Вероятно, начало III века до н. э., частичная реконструкция, левая нога, а также шея заменены. Посадка головы (подлинник) спорная».

Он рассмотрел посадку головы.

Был вторник.

Он не знал, что именно терялось от часа к часу, чувствовал только, что его воспоминания отделяются от нее, от подлинной, и злился на себя за это. В то же время это было для него облегчением. Он был свободен. Он вдруг достал бумажник, поглядеть, на месте ли еще билет на самолет. Билет был на месте. В 18.40 он должен прибыть на аэродром. До этого он был свободен. То, что сообщала его память о женщине, которая его заполняла, было верно и никчемно, как объявление о розыске, подходило к кому угодно, было бесполезно, как объявление о розыске, ничего не говорящее, когда разыскиваемый не найден: цвет волос такой-то, носит желтый костюм (но это было днем в баре, вечером на ней был белый), черная сумка, говорит с легким акцентом, вероятно эльзаска, возраст лет тридцать, стройная...

Служитель ушел.

Иногда снова слышались голоса, кто-то входил в зал с окнами вверху, потом уходил, иногда слышен был самолет над этими окнами. Затем снова наступала тишина. А на улице светило солнце. Но порой над незнакомым городом шли облака; это видно было по тому, что все вдруг серело, мрамор делался более плоским, потом снова становилось очень светло, мрамор делался зернистым...

Почему он не шел дальше?

Один в этом большом зале с окнами вверху, упираясь сзади руками, словно рассматривал мраморную статую со спорной посадкой головы, он все еще сидел на скамейке с мягкой обивкой: вдруг очень один. Но он не пошел звонить ей. Он знал, как это будет. Настает день, когда спрашивают друг друга, пусть так только: что ты вчера вечером делал? Я звонила три

раза. Где ты был? Вопросы эти еще так безобидны, чувствуешь себя даже польщенным любопытством партнера; ведь не узнать хотят что-то, а просто показать, как тоскуют...

Теперь он поднялся.

Чтобы не оказаться во власти будущего...

Это было смешно: поднимаюсь, сажусь, курю, стою, сплю, просыпаюсь, поднимаюсь, иду, сажусь, поднимаюсь.

На улице снова воркующие голуби...

Он подозвал такси.

Ночью, хотя они вряд ли спали, они почти ничего не сказали друг другу, чтобы не подпускать к себе мир словами и именами; они не молчали, о нет, но говорили шепотом, словно на свете существовали только они и не было никакого «до» и никакого «после», ни одного имени, только они, без имен.

Теперь было одиннадцать.

Совещание в 11.30 он хотел отменить.

В его ячейке для ключа в гостинице лежала записка, которую ему передали вместе с ключом от номера, какое-то известие. От кого? Вид, с каким передали ему то и другое вместе, подчеркнуто таинственный, вызвал у него обиду за нее. Ведь мог же он вернуться и из мужской компании. Записка сообщала, что звонила какая-то дама, просила позвонить ей, затем ее номер, ее фамилия, которая теперь, когда он побывал в ее объятиях, как-то неприятно удивила его. Больше того. Просьбу позвонить ей — записку он читал в лифте и забыл при этом номер своего этажа, номер своей комнаты — он воспринял как вероломство, как подлость, как измену. В то время как он не отступался от ночной клятвы, от этого единственного их общего достояния, она объединилась с миром. Так воспринял он это, войдя в свой номер, где хотел поспать до отлета; он не позвонит ей; он скинул черные лаковые ботинки, разочарованный, усталый от разочарования и немного довольный этим разочарованием, освобождавшим его от нее, женщины, которая растворилась в анонимности всех женщин, нуждающихся в мужчине. Теперь только прочел он записку внимательно, чтобы подогреть свою обиду, и увидел отмеченное время, 19.10, и тем самым свою ошибку. Позвонить она просила вчера. Это опять все изменило. Он прикинул: в 19.10, вчера, он был на пути к ней. Текст этой записки представлял собой просьбу дамы, которой в таком виде уже нет, уже никогда больше не будет, незнакомки в желтом костюме днем, на табуретке в пустом баре. Зачем это воскресение из мертвых? Он уже скомкал записку и бросил ее в корзину для бумаг, досадуя не на нее, даму, а на время,

которое заявляло о себе везде и каждой мелочью, время, которое непрестанно нас обгоняет, бренное в каждой мелочи; убрал свой темный вечерний пиджак в чемодан, расправил его безжизненные рукава, словно это был труп, и положил сверху свои темные брюки, сел на край кровати и снял с запястья часы, когда снова увидел в корзине для бумаг скомканную записку — единственное, что у него осталось от нее, дамы, кроме его фантазии. Развернув и расправив записку, он еще раз ее рассмотрел: почерк был не ее. Он не знал даже ее почерка. Словно то, чего он боялся, и то, на что он надеялся, поменялись местами, его все-таки охватила какая-то грусть оттого, что ее звонок, ее просьба позвонить срочно,— не сегодняшние. 19.10 — это могло быть только вчера. На улице уже снова строчил пневматический отбойный молоток, но молчание, которое он теперь слышал, было громче, чем этот грохот; ее молчание. Не свое молчание, которым он наслаждался бы, а ее молчание. Что, если бы он сейчас позвонил? Чтобы нарушить ее молчание. Он сидел, держа руку на телефоне. Его постель была расстелена, но не тронута. Наконец он поднялся. Он принял душ... До сих пор каждая женщина, думал он, каждая, которую он обнимал, чувствовала себя любимой; но каждая, которую он действительно начинал любить, раньше или позже говорила ему, что он, как все мужчины, понятия не имеет о любви... Он стоял под журчащим душем, когда зазвонил телефон,— поколебавшись было, потом решившись, он остался под душем. Когда он, поскольку звонки не прекращались, все-таки снял трубку (его вызывают, минутку, соединяю), снял не без сердцебиения, одновременно забавляясь, телефон щелкнул. Алло? Он стоял голый, как Адам, и мокрый и ждал, когда опять раздастся звонок, и онемел от сердцебиения. Он не мог уже представить себе ее голоса. Готовый всем клятвам вопреки увидеться с ней опять, он глядел на занавески, которые не были задернуты, так что его могли, пожалуй, и видеть, но оставался у телефона, пока не услышал голоса какого-то мужчины, который, как договорились, ждал его внизу, в холле гостиницы.

Да, сказал он медленно, он идет.

Назову себя Гантенбайн.

Я представляю себе:

Жизнь с большой актрисой, которую я люблю и потому заставляю поверить, что я слепой; наше счастье вследствие этого.

Назову ее Лиля.

Мир считает это чистым безумием, когда мы, чтобы зарегистрировать брак, стоим освещенные вспышками магния, актриса и слепой; браку этому предсказывают срок (я вижу это по их поздравительным физиономиям) от силы одно лето — в лучшем случае, и неясно им при этом только, кто, собственно, из двух, Лиля или Гантенбайн, заслуживает сочувствия.

Мы счастливы, как, может быть, ни одна пара на свете. Я представляю себе:

Лиля обманывает меня (употребляя это очень глупое слово) с самого начала, но она не знает, что я это вижу, и радуется, как ребенок, когда я встречаю ее за городом, в аэропорту, каждый раз. Я жду на смотровой площадке, опираясь на свою черную палочку, в очках, надев на рукав желтую повязку. Она не машет мне, когда потом идет в стайке пассажиров, ведомой через широкое бетонное поле, и я, конечно, тоже ей не машу. Чтобы не выйти из роли на радостях. Я вижу какого-то господина, который несет ее пальто, и Лиля, озираясь, держит его под руку. Теперь она увидала меня! Я это вижу. А потом они исчезают внизу, в таможенном зале. Я никогда не спрошу, кто был этот господин. Ведь Лиля же никогда не упоминает о нем, и я не смог бы объяснить, откуда я вообще знаю о его существовании, не отказавшись тем самым от своей роли. А если я спрашиваю, как же это моя Лиля собирается таскать за собой в поезде весь свой скарб, сумки и пальто, зонтик, иллюстрированные журналы и прочие свои принадлежности, она уверяет, что всегда найдется кто-нибудь, кто поможет даме. Я могу об этом не беспокоиться. Иногда в таможенном зале дело идет долго, Лиля тут ни при чем. Я люблю ожидание на аэродромах, люблю смотреть на реактивные самолеты, независимо от того, идет дождь или нет, люблю слушать гулкие динамики, мир полон целей: Вена, Каир, Штутгарт, Афины, Бейрут, Бангкок, Токио, Стокгольм, Лиссабон, Каракас, Прага, Лондон, Нью-Йорк...

Прежде чем направиться к таможенному залу, я, конечно, удостоверяюсь, все ли в порядке, подхожу к зеркалу и немного смещаю галстук налево или направо, чтобы после первого бурного обмена приветствиями Лиля могла поправить его.

Сердце у меня определенно колотится.

Другие, ожидающие с Лилей конца таможенных формальностей и тоже ожидаемые мужьями или женами, делают знаки

через стекло и пробуют свои силы в языке глухонемых, который нам, Лиле и мне, не нужен. Наконец очередь доходит и до Лили. Господин, несущий ее тяжелое пальто, всегда один и тот же, даже тогда, когда Лиля вылетает на день позже, чем собиралась. Почему он качает головой? Не хватало еще, чтобы они перепутали багаж, эти мальчишки из таможни. Счастье, что кто-то заступится за мою Лилю! Все другие господа заботятся только о собственном багаже. Теперь они расстаются, я вижу, не целуясь. Неужели она все-таки сомневается в моей слепоте? А потом этот господин проходит мимо меня, а Лиля, нагруженная теперь пальто и сумками и журналами, идет медленнее, чем он. Поскольку, проходя мимо меня, он всегда смотрит в другую сторону, насчет его лица я ничего не могу сказать. Как она плетется! А я не могу даже пойти ей навстречу, я стою, как манекен в витрине, покуда меня не целуют, тогда я говорю: Лиля? и хватаю ее пожитки. Что же она забыла? У Лили нет даже времени поправить мой съехавший в сторону галстук. Не ищет ли она своего носильщика? Он идет на расстоянии десяти шагов позади нас, и, чтобы указать ей на это, я спрашиваю, взяла ли она уже носильщика. Но дело не в этом. Мой вопрос, как прошли съемки, преждевремен. Об этом потом. Она просит меня подождать минутку, не сходя с места, а то она не найдет меня. Газета, говорит она, она хочет только купить газету. Итак, я стою на месте, манекен, снаряженный ее пальто и ее зонтиком, у всех поперек пути. Она явно что-то забыла; он пропустит свой автобус, думаю я, а чтобы этот господин ездил на нашей машине, не принято. Я вижу, как он пугается, потом обшаривает свои карманы, слева, справа, качая головой, продолжая искать, не знаю что. На все это я смотрю, как смотрят фильм: не без напряжения, не без того предвосхищающего интереса, какой испытываешь в начале фильма, надеясь, что потом-то уж прояснится, в чем тут дело. И как в кино: люди на полотне одни, хотя я могу их видеть, без меня; я могу только сопереживать, но я вовне, я свободен от всего, поэтому невозмутим. Может быть, у него остался ее паспорт? Я терпеливее, чем носильщик. Верно! Теперь они смеются. Ну конечно, ее паспорт (почему Лиля не спросила меня?) у нее в сумке. Смеяться тоже мне не пристало. Я осведомляюсь у носильщика о погоде, чтобы отвлечь его внимание на тот случай, если Лиля и этот господин, который теперь действительно пропустил свой автобус, от одного лишь облегчения, что паспорт нашелся, все-таки поцелуются. Я еще не настолько свободен, насколько хотел бы; у меня испортилось бы настроение, если бы этот носиль-

цик (общество) подумал, что он видит больше, чем я. Теперь Лиля — она уже не первничает и снова держит меня под руку,— я это чувствую, целиком моя. Купила свою газету? — спрашиваю я без подтекста, но теперь она отвечает на мой вопрос, каково было в Гайзельгаштайге. Ах! Мы ищем теперь ее машину, которую я вижу, но Лиля точно помнит, что поставила ее дальше на той стороне, а я не спорю. Я иду туда, иду сюда, угрюмому носильщику не до смеха. «Вот! — говорит Лиля,— вот же она стоит!» Я не говорю «вот видишь!» Большую любовь подтачивают маленькие разногласия. Затем, в машине, когда Лиля сидит за рулем, я знаю, что я самый счастливый любовник.

Надо надеяться, Гантенбайн никогда не откажется от своей роли, состоящей в том, что он верит. Как нежна бывает Лиля каждый раз, когда возвращается из гастрольной поездки! Она сидит у него на коленях, мера ее непринужденности соответствует его мере, она — сплошное расположение, потому что тут нет взгляда, который делает ее упрямой и лживой; она счастлива, как никогда не была ни с одним мужчиной, свободна от лицемерия, потому что не чувствует никаких подозрений, никакой слежки. Потом она снимает мои темные очки, чтобы поцеловать Гантенбайна в глаза, и ее любовь неподдельна, я это чувствую, поскольку Гантенбайну ей лгать не надо. На какое веселье способна она в любви! Она не хотела бы жить ни с каким другим мужчиной, говорит Лиля, и я верю этому. Не всегда будет легко, но игра стоит свеч; слепого нельзя провести.

Я не полагаюсь на свои глаза.

Ее чемодан, молния которого раскрыта только наполовину, извергает свое содержимое в коридор, тексты ролей, письма, обувь, и так все останется на несколько дней, но Гантенбайн ничего не скажет; наша квартира становится похожа на корзину для бумаг, как только Лиля возвращается домой с покупками, и так все останется, я знаю, до тех пор, пока Гантенбайн тайком не соберет бечевки и не уберет бумагу. Не говоря ни слова. Лиля думает, что порядок возникает со временем сам собой, она верит в добрых гномов, и это трогательно.

Что значит порядок!

Только человеку, который в разладе с миром, нужен порядок, чтобы не погибнуть; Лиля не в разладе с миром.

Лиля красива. Это ей, конечно, многие говорят. Когда ей говорит это Гантенбайн, он закрывает глаза, причесывает ей волосы своими пальцами и наполняет поцелуями ямку у нее над ключицей.

Лиля перед зеркалом.

— Боже мой,— говорит она,— я опаздываю.

Она не может найти своего ожерелья.

— Который час? — спрашивает она.

Она всегда будет опаздывать, тут Гантенбайн ничего поделать не может, но она не явится без ожерелья; поскольку он тайком наводил порядок, он знает, где ее ожерелье, и, поскольку он ее любит, он кладет его на такое место, где Лиля его найдет.

— Подумай,— говорит она,— вот оно!

Так дело всегда улаживается.

Кое-как.

Я представляю себе:

Иногда у нас бывают гости, и это труднее — потому что наблюдают другие, например, когда Лиля не видит, что пора наконец опорожнить пепельницы, что к черному кофе, к сожалению, не подан сахар, что своим храпом под столом наша собака (думаю, у нас есть собака) никак не способствует решению вопроса о том, претерпел ли эволюцию Эрнст Юнгер, тут я должен быть начеку и не выдать себя, не встать вдруг, чтобы опорожнить наконец переполненные пепельницы. Кто-то переходит на Джойса. Итак, я поглаживаю храпящую собаку (таксу или дога?), гляжу, как наши гости ищут глазами сахар, и храню молчание, ведь благодаря моим темным очкам мне незачем притворяться, будто я тоже читал «Поминки по Финнегану». Когда опорожнят пепельницы? Кто-то переходит на Бенна, что не удивляет меня; очередь Кафки уже прошла. Лиля — с ее синими, открытыми красивыми большими синими глазами! Она не видит, что у непреклонного господина, который теперь в любом разговоре козыряет великим примером Брехта, то же лицо, что и у господина, который до самого конца сидел в Им-

перской палате по делам печати, и я, конечно, делаю вид, что тоже не вижу этого. Все это требует напряжения. При случае я поднимаюсь и опорожняю пепельницы... Мой страх, что я выдам себя такими услугами, страх слепого, который видит, что надо опорожнить пепельницы, связан не с Лилей; Лиля как-то уже привыкла к этому; только гости, которые еще не знают меня, представляют для меня известную опасность, и в кухне, когда я опорожняю пепельницы, у меня колотится сердце. Я слышу из комнаты:

— Скажите, Лиля, он действительно слепой?

— Он всячески старается,— говорит Лиля,— чтобы этого не замечали. Я тоже всегда делаю вид, что ничего не замечаю.

— Насколько он, собственно, слеп?

— Поразительно,— говорит кто-то,— как он замечает, когда за ним наблюдают. Только когда он сам говорит, действительно чувствуешь, что он слепой. Правда? Когда он горячится, как было недавно.

(...о Литл-Роке [1].)

— Вы правы,— говорит господин, который теперь открыл Брехта,— это поразительно, когда он вот так сидит и гладит собаку, неизменно возникает такое чувство, будто за тобой наблюдают.

— Правда?

— С каких пор он слепой?

— С тех пор, как мы знакомы,— говорит Лиля просто.— Сперва я думала, что он шутит.— Пауза.— Я вам об этом никогда не рассказывала?

— Нет.

И затем Лиля рассказывает нашу историю, от раза к разу забавнее, я слушаю ее с удовольствием; она рассказывает тем подробнее, чем меньше он соответствует действительности, этот всегда занятный анекдот о нашей первой встрече — как Гантенбайн приходит к ней в уборную, господин с непременными цветами восторженного поклонника. Лиля не расположена его принимать, если бы старуха костюмерша не заверила ее, что это слепой,— Лиля сейчас разгримировывается, на ней лишь нижнее белье да открытый халат. Слепой? Лицо у нее (так Лиля всегда говорит) как у ведьмы, масляное. Как так слепой? — спрашивает она, но, прежде чем она успевает решить,

---

[1] Главный город штата Арканзас (США). В 1957—1958 годах расисты в Литл-Роке выступили против того, чтобы негритянские дети посещали школы, где учатся белые.

как это может слепой прийти в восторг от ее игры, Гантенбайн уже стоит в дверях, неудержимый, какими ведь бывают слепые, он не видит, что входить нельзя, не видит даже растерянной физиономии костюмерши. Стоит себе с розами, три штуки в руке, и говорит, в каком он восторге. Волей-неволей веришь ему. А Лиля как раз в тот вечер (это она тоже всегда говорит) играла хуже, чем обычно, прямо-таки катастрофически. Он не знает, куда деть розы. Лиля перед гримировочным зеркалом, лицо, как сказано, масляное, ведьма с распущенными волосами, она предлагает, как на грех, шаткое кресло, а костюмерша забирает у него три розы, причем он целует руку костюмерше (это Лиля рассказывает, только когда меня нет) и, что потрясающе, не замечает своего промаха, и как он потом, сидя в шатком кресле, говорит об Ионеско, умно, первый посетитель в ее уборной, который не стреляет глазами по сторонам, а имеет в виду исключительно искусство, а Лиля тем временем причесывается при нем и затем одевается, да, уже через каких-нибудь четверть часа кажется, что ты замужем за слепым... Кто-то смеется дурацким смехом... Теперь я приношу чистые пепельницы. Молчание. Я вижу их удивление, когда Гантенбайн ставит на стол чистые пепельницы, одну сюда, другую туда, не опрокидывая их чашек или стаканов. Почему же вы не пьете? — спрашивает он и наполняет пустые стаканы, на него смотрят, я точно определяю, с затаенным сомнением или без оного. Кто сомневается, тому я наливаю через край. Такие уловки нужны бывают все реже и реже. Кто-то переходит на Музиля.

Важное обстоятельство:

Я живу на содержании у Лили.

Причина:

Нет, пожалуй, такой пары на свете, которая, самое позднее при разрыве, не обнаружила бы, что вопрос денежных отношений между мужчиной и женщиной так и не был решен, и не оказалась бы этим глубоко оскорблена. Речь идет не о счастливой паре, у которой денег слишком мало; тут вопроса денежных отношений между мужчиной и женщиной нет, вопрос этот возникает лишь тогда, когда оба зарабатывают достаточно для себя одного, а значит, достаточно и для обоих, так считается. Попытки жить на общие деньги — каждый одновременно дает и берет — делались, но они не удаются из-за нынешнего общества, которое, начиная от получателя чаевых и кончая государством, по-прежнему обращается к мужчине...

Я представляю себе:

Лиля и Гантенбайн в ресторане, Лиля, у которой я, стало быть, на содержании, и официант приносит счет. Пожалуйста. Я вижу стыдливо сложенный листок на тарелке и играю слепого, продолжаю болтать, как женщина, когда приносят счет, болтаю в то время, как Лиля ищет теперь свою сумку и платит, болтаю, как будто ничего не произошло. Когда официант возвращается с мелочью, я спрашиваю, есть ли у него сигары. На это уходит какое-то время. Итак, мы разговариваем. Лиля великолепна, молчалива, как мужчина, ни слова о деньгах, так что можно действительно беседовать. С моей стороны самое большее вопрос: мы уже, собственно, расплатились? Иногда я действительно не вижу этого, поскольку это не мое дело. Лиля рассказывает о своем детстве, в то время как я выбираю себе сигару, и мне очень любопытно слушать о ее детстве. Но теперь, в то время как я отрезаю кончик сигары, Лиля снова должна взять сумку, чтобы снова платить, поскольку мальчик с сигарами, которого ее детство, в конце концов, не касается, иначе не исчезнет. Я понятия не имею, сколько стоит моя сигара, знаю только, что за нее заплатят, и с любопытством, без отвлекающих помех, слушаю, как там дальше дело было в ее детстве, покуривая. Когда мы выходим из такси, я говорю: а дождь-то перестал! В то время как Лиля снова роется в сумке и платит и должна определить чаевые. Я жду ее руки. Когда в почте нет ничего, кроме счетов, я говорю: сегодня я не получил вообще никакой почты! О счетах мы говорим, только когда они необычные; в квартирной плате, в периодических счетах за телефон и электричество, за отопление, за уборку мусора и от управления городского транспорта и во всем, что периодически повторяется, нет ничего необычного, следовательно, это не тема для разговоров, как и взносы по обязательной страховке для обеспечения старости. В таких случаях я слепой. Если Лили нет дома, я плачу из денег, лежащих в выдвинутом ящике. Лиля не требует отчета, тем не менее я ей сообщаю об этом, если не забываю, каждый раз, когда ящик опять пустой. Лиля ужасается или не ужасается. Хотя я принципиально, чтобы между нами не вставал вопрос о деньгах, не интересуюсь соотношением доходов и расходов, я сочувствую Лиле, когда у нее вдруг — а она не скупая — появляется чувство, что нам надо экономить. Я уважаю ее чувства. Я отказываюсь от сигар, не проявляя неудовольствия, зная, что есть целые слои населения, которые не курят сигар. Я готов, она это знает, к любым ограничениям. Если Лиля мне, несмотря на это, приносит сигары, целую ко-

робку, хотя, к сожалению, не совсем те, что нужно, я их курю, конечно; Лиля ведь знает, что́ мы можем себе позволить. Что мне нужен наконец смокинг, идея не моя, и я оттягиваю это предприятие, поелику возможно; лаковых ботинок к нему у меня тоже нет. Зато мне нужно сходить к зубному врачу, во что бы то ни стало, незачем объяснять, какая это для меня мука. Мы об этом не говорим. Сколько зарабатывает моя Лиля, я не спрашиваю; она сама этого не знает, и я вижу только, как много она работает, и нахожу снова и снова, что ей надо бы устроить себе каникулы. Непременно. Ей это нужно, это слепому видно. Карманные деньги, которые дает мне Лиля, не строго определены, но в среднем мне хватает их, чтобы подарить ей на день рождения или на рождество что-нибудь, чего Лиля сама никогда бы себе не позволила, она каждый раз бывает этим растрогана, и я целую ее тогда в волосы. Если я, что ведь иной раз случается, иду куда-нибудь с другой дамой, за меня не платят; в этом смысле обмен ролями у нас не полный. Любая дама, чем увереннее она, что ее не считают продажной, позволяет платить за себя. Так уж оно заведено, и это меня забавляет. Впрочем, это компенсируется, поскольку и Лиля, когда идет куда-нибудь с другими мужчинами, безусловно позволяет платить за себя, и я знаю, что Лиля наслаждается этим, хотя бы лишь потому, что ей не надо то и дело хвататься за сумочку из-за каждой чашки кофе, каждого такси, каждой гардеробщицы, каждой газеты, каждого кино, каждых картонных часов на стоянках. Иногда мне бывает жаль Лилю. И тогда я жульничаю, платя тайком от нее; Лиля никогда этого не замечает, она женщина, хотя и самостоятельная. Слишком далеко заходить в своем жульничестве я не могу, чтобы не лишать ее чувства самостоятельности. Лиля не знает, что у меня есть собственный текущий счет в банке, и я никогда ей этого не скажу. А то все разладится. Чтобы яснее было: я ни разу еще не тратил лично на себя денег, лежащих у меня в банке. Я живу целиком, от макушки до пят, за счет Лили. И она это знает, и этого достаточно. Трачу я деньги с тайного своего счета на бытовые мелочи, не стоящие того, чтобы о них говорить, это налог на собак и случайные штрафы, которые бы ее огорчили, смена масла в машине и смазка, почтовые марки, всякие сборы, это нищие, носильщики, Армия спасения — всё пустяки. Я просто не могу видеть, когда женщина, точь-в-точь как мужчина, все время хватается за кошелек. Достаточно того, что в принципе меня кормит и одевает Лиля и что ее питание, ее одежда, ее косметика, ее и наши удовольствия — это не мое дело. Когда

Лиля говорит: давай сегодня полакомимся омаром, я подчиняюсь ее веселому настроению. Почему решать, когда наступило время роскошествовать, должен мужчина? У каждого человека потребность в роскоши появляется в какой-то свой час, и один из двух должен подчиниться другому. Лиля безрассудна, как мужчина, который платит. Но платит-то ведь она. Рассудительность другого, который не платит, просто нагоняет тоску, а нагонять тоску я опасаюсь, даже если не всегда легко лакомиться омаром только из любви к кому-то; но кто живет на содержании, тот должен и подчиняться. Я живу на содержании. Лиля при этом счастлива.

Живем мы весело.

На концерте я вижу, что на лестнице нас подстерегает мадам Дурашлеппель, и среди нашего разговора вдруг говорю: кстати, не знаешь, как поживает эта Дурашлеппель? Лиле до нее нет, конечно, ни малейшего дела. Надеюсь, здесь ее нет! — бросаю я вскользь, и тут же Лиля дергает меня за рукав. Ты будешь смеяться, говорит она, вон она стоит! И я смеюсь, словно не верю этому, а мы тем временем сворачиваем на другую лестницу.

Лиля верит в мое шестое чувство.

Она вычитала, что слепой ориентируется у себя дома лучше любого зрячего, вынужденного полагаться на свои глаза; слепой никогда не промахнется, когда тянется рукой к ручке двери или к водопроводному крану; благодаря особому чувству пространства, не допускающему ошибки даже на сантиметр, он передвигается, как ангел бесплотный, не задевая предметов. Это, хотя и научным языком, говорилось в одном американском журнале, в статье одного профессора, проделавшего свыше тысячи опытов. Лиля прочла мне ее. И я этого придерживаюсь. Только вот когда короткое замыкание погружает нашу квартиру во мрак, я испытываю неудобства как человек, который все видит или, вернее, ничего не видит, потому что темно хоть глаз выколи. Но поскольку темно хоть глаз выколи, Лиля тоже не видит, что я испытываю неудобства, а когда я наконец появляюсь со спасительной свечой, я для нее снова как ангел.

Я представляю себе:

Лиля покупает платье. Гаптенбайн должен сопровождать ее, тогда ей будто бы легче решиться, и вот я сижу полдня, един-

ственный мужчина, в маленькой, по дорогой лавке, высоко котирующейся у сведущих женщин всего мира, она увешана костюмами и уставлена зеркалами, куда я и поглядываю: Гантенбайн с черной палочкой между коленями, в темных очках. Я вижу: Гантенбайн стал элегантнее; с тех пор как я живу на содержании, я обязан этим Лиле; светский слепой; Лиля примеряет теперь следующую модель, пятую, которой он должен вынести приговор. Мне, конечно, интересно; не модель интересна, интересен приговор Гантенбайна. Дама, которой принадлежит эта высоко котирующаяся лавка, не продавщица, а художница, и к тому же приятельница, сама чересчур полновата, чтобы тягаться в элегантности со своими клиентками, но тоже светская дама, она обращается с Лилей ни в коем случае не как с клиенткой, а как с сестрой, так сказать, как со зпатоком, как с человеком, как с кем-то, кто способен разделить ее восторги, и даме этой, как она то и дело дает понять, ничего, собственно, и не нужно, кроме понимания бескорыстной и непосредственной радости, доставляемой ей именно этой моделью, которую Лиля сейчас наденет; эта дама, стало быть, глубоко мне противная, в восхищенье от Гантенбайна. Не каждый мужчина, будь то супруг или любовник, способен, мол, выкроить столько времени. Тут мы, Лиля и я, всегда бываем немного смущены очевидностью нашей любви. Теперь эта дама задергивает занавеску; одновременно она убеждена, что я слеп в отношении цен: Лиля каждый раз выкладывает целые пачки купюр, когда ее, как они обе думают, никто не видит, и, поскольку эта дама, несмотря на хорошее знание людей, которое она себе приписывает, понятия не имеет, кто тут кого содержит, я в ее глазах не только самый терпеливый, но и самый великодушный мужчина из всех, кто прокуривает ее маленькую, но дорогую лавку, именуемую, конечно, не лавкой, а ателье или boutique [1]. Покуда Лиля в кабине, продавщица всегда делает вид, будто я не слепой. Вы увидите! — говорит она и посылает за чашкой кофе в кафе напротив, чтобы моя способность восторгаться не пошла на убыль: Вот вы увидите! Такие уж у нее обороты речи. Но и Лиля за занавеской делает вид, будто все это устраивается исключительно для моего удовольствия. Прихлебывая кофе, я сижу как паша, делающий покупки для целого гарема; Лиля всего только манекенщица для целого гарема. Целый фолиант образчиков шелка, что мне с ними делать? В моей слепоте не сомневаются,

[1] Мастерская *(франц.)*.

напротив; но мне хотят внушить, что меня тем не менее принимают всерьез. Конечно, своих очков я никогда не снимаю. Когда нужно, я вижу цвет материи, косясь из-под очков. Долго я этого не делаю, а то у меня кружится голова. Я кошусь лишь в решающий момент.

— Знаешь,— говорит Лиля,— я решилась.

— Прекрасно.

— Я уверена,— тараторит дама,— вы не пожалеете. Как я уже говорила, я увидела этот костюм у Диора и сразу подумала о вас, мадам Гантенбайн...

Теперь я кошусь.

— Кому это и носить,— слышу я,— как не вам, мадам Гантенбайн! Только воротник, я уж сказала...

По-моему, этот туалет немыслим.

— Знаешь,— говорит Лиля,— я решилась!

Такое повторение выдает, что она не уверена, нуждается в помощи. У Лили есть вкус, но есть у нее, как у всякого человека, еще и происхождение. Допустим, Лиля дочь банкира: конечно, ее отпугивает любой воротник, делающий ее слишком солидной, и ее тянет на все, что попроще. Но допустим, она дочь эльзасского галантерейщика: идет это ей или нет, она не может устоять ни перед чем пышным, и тут она становится в решающий момент дальтоником. Я обязан помочь ей. Любит ли ее господин Диор, создавший для Лили именно эту модель, я не знаю. Я люблю Лилю, будь она дочь банкира, или дочь галантерейщика, или дочь священника-пуританина, что тоже можно представить себе. Я говорю:

— Прекрасно.

— Знаешь, надо только наколоть...

Накалывают.

— Это желтое? — спрашиваю я.

— Нет,— говорит она,— цвета красного вина.

По мнению дамы и сестры и художницы, которой теперь надо присесть на корточки, чтобы наколоть подол — при приседании, я вижу, чуть не лопается ее собственная юбка,— туалет этот идет Лиле просто невероятно, и я вижу, как Лиля, которой почти нельзя шевельнуться из-за булавок, старается, повернув голову к ближайшему зеркалу, поверить в невероятное вопреки всем булавкам.

— Цвета красного вина? — спрашиваю я.— Как бургундское?

— Примерно.

— О да,— говорю я,— это тебе идет.

Трудно со слепым мужем!

— Как бургундское,— спрашиваю я,— или еще с каким-то оттенком?

Гантенбайн, слепой, вспоминает разные тона красного. Светло-розовое, находит он, ей тоже пошло бы, даже кирпично-матовое, может быть, и темно-красное, как увядающие розы, бурое или в этом роде. Он будто бы любит красное. Он будто бы вспоминает единственную разновидность красного, которая ей не пошла бы: такой грубый, фальшивый, химический цвет, цвет фруктовой воды. Пауза. Он будто бы вспоминает: красное — это кровь, красное — это цвет тревоги, флажка, например при взрывных работах, красного цвета пасть рыбы, луна и солнце при восходе и заходе, красного цвета огонь, железо в огне, земля иногда красного цвета и день за закрытыми веками, красного цвета губы, красного цвета косынка на коричневых и зеленых и серых пейзажах Коро, красного цвета раны, мак, стыд и гнев, многое красного цвета, плюш в театре, шиповник, папа римский, платки, которыми тореадоры дразнят быков, черт, видимо, красного цвета, и красное пробуждается из зеленого, да, красное — это всем цветам цвет — для Гантенбайна.

Ее платье паколото.

— Знаешь,— говорит она,— это не цвет фруктовой воды.

Я курю и жду.

— Нет,— говорит дама,— упаси боже!

Я курю и жду.

— Или вы находите,— спрашивает Лиля, глядя в зеркало, вниз на даму, которая все еще сидит на корточках,— что это цвет фруктовой воды?..

— Ах, что вы!

В зеркале я вижу, как Лиля настораживается.

— Можете быть спокойны,— говорит продавщица в мою сторону, нетерпеливо, она всех мужчин считает слепыми,— можете быть спокойны,— говорит она и поворачивается к Лиле,— ваш супруг был бы в восторге, если бы мог вас увидеть.

Не обязанный ввиду слепоты быть в восторге, я задаю еще вопрос-другой, на которые Лиля отвечает с уверенностью, не проявляемой ею в зеркале, например:

— Не слишком ли оно простовато?

Оно вызывающе претенциозно.

— Нет,— говорит Лиля,— вот уж нет.

Я курю.

— Давайте,— говорит Лиля вполголоса, — еще раз примерим желтое.

Может быть, Лиля давно уже знает, что я не слепой, и мою роль она оставляет за мной лишь из любви?

Я представляю себе:

Лиля, в пальто, проходит по сцене, репетиция, Лиля репетирует леди Макбет, я сижу в темноте ложи, вытянув ноги на мягком сиденье впереди стоящего кресла, и жую испанские орешки,— чтобы не сорить скорлупками, я щелкаю их в кармане пиджака, следовательно, вслепую: скорлупки остаются в кармане, и отыскивать среди скорлупок орешки становится с каждым разом все интереснее. Дирекция дала согласие на мое присутствие, хотя и неохотно; она, видимо, вынуждена была его дать, чтобы отказать Лиле, которая в этом театре всего добивается, в чем-то другом. Вероятно, дирекция недоумевает, зачем это мне, слепому, надо ходить на репетиции. Лиля хочет этого. Я ей помогаю, говорит она... Итак: Лиля проходит по сцене, Лиля в пальто, она здоровается, и с ней здороваются, словно она не опоздала. Как она умудрилась опоздать, я не знаю; мы приехали в театр вместе и почти вовремя, поскольку Лиля опять не могла найти свои часы, а я их ей не подсунул, чтобы мы хоть раз явились вовремя. Наверно, подойдя к служебному входу, она это почувствовала. Может быть, разговор на лестнице или какое-нибудь письмо у сторожа, не знаю, во всяком случае, чуть было не сорвавшееся опоздание Лили восстановлено; мы ждем, тишина перед репетицией, стук молотков в глубине сцены, тишина, режиссер за пультом обсуждает с помощником что-то не срочное, но нужное, чтобы не вызывать у ждущих актеров чувства, что ждут только Лилю. Она появится с минуты на минуту, она ведь уже прошла через сцену, она уже у себя в уборной. Тишина, затем брань режиссера, которую я, сидя в ложе, слышу. Это у Лили не умысел заставлять людей ждать, это у нее такой дар. Они ждут. Расскажи я ей потом, что я слышал, она бы мне не поверила; она никогда еще не слышала такой брани, наоборот, все будут очарованы, обезоружены, когда придет Лиля, очарованы. Итак, я жду и жую орешки, поскольку в ложе нельзя курить, и жду...

Выходит леди Макбет.

В джемпере; но ей веришь...

Конечно, когда у режиссера возникает какая-нибудь нелепая идея, Гантенбайн не может вмешаться; ни один режиссер не станет слушать слепого. Тем не менее я ей помогаю. Тайно. После репетиции.

Например:

Режиссеру, человеку вообще-то с острым глазом, приходит мысль подвести Лилю к самой рампе, когда она хочет оттереть руки от воображаемой крови. Новшество, да, но получается плохо. Я удивляюсь, что он этого не видит, и снова жую свои орешки, в то время как Лиля проявляет полное послушание, стоит, следовательно, у самой рампы... Позднее, за обедом после репетиции, я спрашиваю, почему вычеркнуты врач и няпька, введенные Шекспиром в эту знаменитую сцену; вопрос, дозволенный и слепому, поскольку я не слышал ни врача, ни няньки — а они, хоть реплики у них небольшие, стоят рядом, когда леди ведет свои бредовые речи. Действительно, отвечают мне, они вычеркнуты, и как раз потому, что реплики у них небольшие. То, что я думаю по этому поводу, просто; но как Гантенбайну (не выдав, что он видит все, что видно каждому) высказать свое впечатление человеку, который, ослепнув от идей, уплетает сейчас филе миньон? Чтобы не выдать сейчас, что я вижу, я спрашиваю официанта, есть ли у них филе миньон... На следующей репетиции, когда моя леди снова выходит и ставит у рампы подсвечник, вытирая руки не перед врачом и нянькой, которых Шекспир придумал как тайных зрителей, а только перед публикой, я закрываю глаза, чтобы проверить свое впечатление. Я слышу разницу. Когда Лиля разучивала роль дома, не зная, что Гантенбайн, тайком, как нянька и врач, слушает ее, звучала речь человека, оставшегося наедине со своим страхом, и я находил это потрясающим. Теперь — нет. Теперь я жую при этом орешки. Тот же текст, тот же голос, а не то. Потому что она стоит у рампы, не рядом с врачом и нянькой, которые ее подслушивают и которых она в безумии своем не видит, а одна у рампы, так что подслушивают ее критика и публика. Я должен ей это сказать. У тебя это звучит, как у какой-то дамы из оксфордских [1], которая превращает свои сердечные муки в светский аттракцион, говорю я ей в перерыве, зевота берет, и, когда подходит режиссер, чтобы утешить Лилю, я спрашиваю его, не кажется ли и ему, что у нее это звучит, как у дамы из оксфордских, экспибиционистки, звучит так, словно она стоит прямо-таки у рампы, да, словно она стоит прямо-таки у рампы...

Иногда они переделывают.

Не говоря об этом Гантенбайну; чтобы испытать его слух...

---

[1] Оксфордская группа, или букменизм,— современное религиозное течение, основанное американским теологом Букменом.

После репетиции я всегда жду у выхода со сцены, опираясь на свою черную палочку, делаю вид, будто не знаю самых знаменитых артистов, и первое время они тоже всегда проходили мимо, не кланяясь, не неприязненно, но на что слепому поклоны? Разве что кто-нибудь скажет: ваша жена сейчас придет! Проходя мимо. О чем актеру говорить с кем-то, кто его ни разу не видел? Со временем они начинают кланяться, на что я, к сожалению, чтобы не выйти из своей роли, никак не могу отвечать; тогда я торчу неподвижно, как пугало, не здороваюсь, замечая, как возрастает их уважение. Уважение к моему слуху. Как-то один из них заговаривает со мной и спрашивает, не звучит ли теперь, когда они уже не стоят на расстоянии семи метров друг от друга, заговор в третьем акте гораздо естественнее. Лиля, конечно, уже сболтнула. Он представляется:

— Я Макдуф.

— Да,— говорю я,— сегодня это прозвучало иначе.

— Вот видишь,— говорит Макдуф.

— Не находите ли вы также,— спрашивает другой, и я вижу, что обращается он исключительно к слепому Гантенбайну,— что получается лучше, гораздо лучше, что это просто правильнее, если он,— при этом он указывает на третьего,— не смотрит на ведьм, поскольку они лишь мое, так сказать, видение?

Я безмолвствую.

— Или, по-вашему, нет? — спрашивает он и вспоминает, что я ведь не могу его видеть: — Я Макбет.

Я тоже представляюсь:

— Гантенбайн.

Они пожимают мою руку слепого.

— Я Банко,— говорит третий.

— Очень приятно,— говорю я.

Лиля всегда выходит последней.

Я представляю себе:

Время от времени мне надоедает играть Гантенбайна, и я отправляюсь на лоно природы. Вторая половина дня в Грюневальде. Собираю сосновые шишки и швыряю их как можно дальше в Крумме Ланке, и Пач, наш пес, прыгает в коричневатую, тихую, пузырчатую воду. Я вижу плывущую шишку, а он — нет, ослепший от рвения, барахтающийся. Я бросаю вторую. Показываю вытянутой рукой, чтобы он не плавал впустую, и теперь он хватает ее, поворачивается. Два уха и пасть с шишкой, два глаза над водой... Я очень люблю эти озерца, воспоми-

пания, а как в действительности обстоит дело с Берлином, Гаттенбайну незачем видеть; жизнь бьет ключом, я слыхал... Два глаза над водой, а четыре его лапы невидимо работают, это Пач, не обученный служить поводырем для слепых; мне нужно его еще как следует натаскать, а возможно это, конечно, только тогда, когда кругом нет ни души, например, в первой половине дня в Груневальде, когда Лиля репетирует в театре. Хватает работы там и здесь. Сцепа, где Пач находит черную палочку своего слепого хозяина, все еще не получается. Слишком ли глуп он или слишком умен? Теперь он выходит на сушу, с нашей шишкой в зубах. А потом рыщет по прибрежным кустам, отряхиваясь, тяжело дыша, стоит перед лежащей в песке шишкой, вытряхивает из шерсти короткий ливень. Молодцом, Пач, молодцом! Еще не дошло до того, чтобы я вел со своей собакой целые беседы. Шагая дальше,— кругом ни души! — я пользуюсь своей черной палкой слепого как бейсбольной битой для шишек. Вот как: шишку в левую руку, палку в правую, затем подбрасываю шишку вверх — и палкой по ней... Семь попаданий как-никак на десять ударов, и Пач носится по бранденбургскому песочку, ища шишку, в которую я попал. Отдохновенная игра. Мне это нужно время от времени. У католика есть исповедь, чтобы отдохнуть от своей тайны,— великолепное установление; он опускается на колени и нарушает свое молчание, не выдавая себя людям, а потом поднимается и снова приступает к своей роли среди людей, избавленный от злосчастной потребности быть распознанным людьми. У меня есть только моя собака, которая молчит, как священник, и у первых домов лю́дей я ее глажу. Молодцом, Пач, молодцом! И мы снова берем друг друга на поводок. С шишками покончено! Пач понимает, и, после того как я сунул свою книжонку в первый мусорный ящик (я читаю, чтобы узнавать людей по их суждениям), мы снова идем, как нам положено, слепой и его собака. У Хижины Дяди Тома мы садимся в метро.

Кофе на Курфюрстендам.

Журналисты, актеры, кинооператоры, один доктор, поклонники самого разного склада ума, иногда у меня бывают приступы нетерпения, ярости даже, оттого, что они считают меня слепым только на том основании, что я ее муж; когда я слышу, как они находят нужным меня информировать:

— Лиля замечательная женщина!

Я глажу собаку.

— Вы не знаете,— говорит кто-то,— какая у вас замечательная жена...

Пауза.

Что может сказать на это Лиля?

И что могу сказать на это я?

Лиля поправляет мой галстук.

Я вижу:

Лиля, за которой ухаживают все, у кого есть глаза, и глаза их делаются при этом стекляннее, чем их роговые очки, Лиля беззащитна, так что они держат ее за руку или выше локтя, а ведь Лиля, я знаю, совсем не любит этого. Как сказать им? Я мог бы теперь, не привлекая к себе внимания, читать газету: так уверенно они держат себя в моем присутствии. Почему мужчины, когда они влюблены, выглядят глуповато? Я поднимаюсь. Что случилось, спрашивает Лиля, около которой все увиваются, так что увивающиеся тоже поворачивают головы. Ничего! Ее пальто соскользнуло с кресла, никто этого не заметил, я говорю: простите, доктор, вы все время наступаете на пальто дамы. О! — говорит он и сразу убирает свой ботинок, но никаких выводов из этого. Он извиняется перед Лилей. Простое предположение, что супруг слеп, непоколебимо.

Иногда я нахожу, что это нелегко.

Но преимущества, говорю я себе тогда, преимущества, не забывай о преимуществах своей роли, о преимуществах в большом и в малом; слепого нельзя провести... Другой играет роль писателя, чье имя на ежемесячных сводках книготорговли неудержимо тянется вверх, по сути главенствует, поскольку другие заглавия, говоря между нами, нельзя принимать всерьез: имя его мелькает как раз там, где о бестселлерах еще нет и речи, точно на верхней границе литературного события. Но он не может знать, что я видел сводку книготорговли, и он — единственный за столом, кто обращается к слепому Гантенбайну, а я опять-таки единственный, кто не обязан знать его творчество. Я обхожусь с каждым, кто в этом нуждается, как со знаменитостью.

— Видите ли,— говорит знаменитость...

Я вижу, держа на поводке Пача, который всегда рад дать стрекача от слишком человеческого, я вижу, как его глаза, в то время как он говорит о себе со слепым Гантенбайном, то и дело высматривают, действительно ли нас никто больше не слушает; я вижу: он принимает меня всерьез, потому что Гантенбайн не может прекословить ему, а поскольку он, который принимает меня всерьез, сейчас знаменит, другие вдруг тоже начинают принимать меня всерьез. Вдруг оказывается, что Гантенбайн должен сказать, как смотрит он на будущее Германии, да, имен-

но Гантенбайн. Я пугаюсь. Я не хотел бы, чтобы меня принимали всерьез, но как раз слепых они принимают допельзя всерьез.

— Как смотрите вы на всю эту ситуацию?

Я притворяюсь, будто Запада не видел, а насчет Востока все ясно... Затем, в машине, когда Лиля снова ищет свой ключик, я подаю ей сумку, которую она оставила на кресле, я это видел, и мы трогаемся, чтобы выпить у увлеченного доктора по бокалу шампанского, я понимаю, так сказать, с глазу на глаз: Лиля и доктор и я. Увлеченный — он сидит сзади — говорит без умолку, как будто я не только слепой, но и немой. Я сижу рядом с Лилей и вижу руку на ее плече, руку, которая сочувственно положена сзади и утешает Лилю по поводу одной глупой рецензии. Было бы просто жестоко с моей стороны, если бы я тут промолчал; рецензия была действительно очень несправедливо-задириста, и я кладу руку, свою слепую руку, на ту, другую, которая уже от Гедехтнискирхе лежит на ее слабом плече, и говорю: не обращай внимания! Мы едем молча.

И т. д.

Чему я научился в театре:

Актер, который играет хромого, не должен хромать на каждом шагу. Достаточно хромать в надлежащий момент. Чем скупее, тем достовернее. Но все дело в надлежащем моменте. Если он хромает только тогда, когда знает, что за ним наблюдают, он производит впечатление симулянта. Если он хромает все время, мы забываем, что он хромает. Если же он иногда делает вид, будто совсем не хромает, и хромает, когда он один, мы верим этому. Принять это к сведению. Деревянная нога в действительности хромает беспрестанно, но замечаем мы это не беспрестанно, и это-то и должно воспроизводить искусство симуляции; неожиданные моменты, только их. Когда нам внезапно напоминают, что ведь человек-то этот хромой, нам становится стыдно, что мы забыли о его беде, и этот стыд действует на нас убеждающе, так что симулянту какое-то время хромать не нужно; он может теперь дать себе передышку.

Старая страсть Гантенбайна, так я предполагаю, шахматы. И тут тоже ни сучка ни задоринки.

— Ты пошел? — спрашиваю я.

— Минутку,— говорит мой партнер,— минутку!

Я смотрю и жду...

— Да,— говорит мой партнер,— я пошел.

— Ну?

— b1 — a3 — сообщает мой партнер.

— Значит, конец! — говорю я, и особенно партнеры, еще не привыкшие к тому, что я мысленно вижу шахматную доску, бывают обычно смущены, когда я, набивая трубку, говорю: значит, конец! И больше всего смущает их, что я все еще помню, где стоят мои фигуры, до которых я, конечно, не дотрагиваюсь; теперь я зажигаю трубку, говоря:

— f8 : a3.

Мой партнер надеялся, что я забыл о своем слоне, и теперь посрамлен; из-за этого он теряет не только коня, но и свою чистую совесть, я вижу, он начинает делать неверные ходы.

— Ну? — спрашивает Лиля.— Кто же выигрывает?

— Гантенбайн! — говорит он голосом как можно более веселым, но первое, я вижу его пальцы, он тайком считает фигуры, он ничего не понимает, раньше мой партнер всегда меня побивал, а я ничему новому не научился, ничему, что связано с шахматами. Он только удивляется. Он не думает, а удивляется.

— Ты пошел? — спрашиваю я.

Такое впечатление, что он уже ничего не видит.

— Ладно,— говорит он,— b2 : a3!

Мой партнер действительно считает меня слепым.

— c5 : a1! — прошу я, и, в то время как мой партнер собственноручно снимает свою ладью, чтобы поставить моего ферзя на свою королевскую линию,— он качает головой и на тот случай, если Гантенбайн не в курсе дела, сам говорит: «Шах!» — я говорю Лиле, чтобы она нам теперь не мешала, но поздно: мой партнер кладет своего короля на брюхо, что́ мне видеть не подобает; я жду, посасывая свою трубку.

— Мат! — сообщает он.

— Как так?

— Мат! — сообщает он.

Я становлюсь феноменом.

Теперь дошло уже до того, что Лиля оставляет на виду даже свои письма, письма незнакомого господина, которые разрушили бы наш брак, если бы Гантенбайн их прочел. Он этого не делает. Разве что поставит на них пепельницу или стакан для виски, чтобы их не листал ветер.

Надо надеяться, я не выйду из роли. Что толку видеть! Случается, что Гантенбайн, не справляясь с огромностью своей любви, вдруг срывает с лица очки слепого — чтобы сразу же приложить руку к глазам, словно они болят у него.

— Что с тобой?

— Ничего,— говорю я,— милая...

— Голова болит?

Если бы Лиля знала, что я вижу, она сомневалась бы в моей любви, и это был бы ад, мужчина и женщина, но не пара; лишь тайна, которую мужчина и женщина скрывают друг от друга, делают их парой.

Я счастлив, как никогда еще не был с женщиной.

Когда Лиля, вдруг словно бы испуганная и затравленная, потому что явно опаздывает, говорит, выходя, что сегодня ей надо к парикмахеру, у нее волосы как у ведьмы, и когда Лиля потом приходит от парикмахера, известного тем, что он заставляет ждать, а я вижу с первого взгляда, что волосы ее были не у парикмахера, и когда Лиля, не очень-то нажимая на то, что она услыхала это под сушильным колпаком, рассказывает о каком-нибудь городском событии, о котором можно услышать у парикмахера, я никогда не говорю: Лилечка, почему ты лжешь? Скажи я это даже самым нежным, самым, так сказать, юмористическим тоном, она бы обиделась; она бы спросила Гантенбайна, откуда он взял это неслыханное утверждение, что она была не у парикмахера,— Гантенбайн, который ведь не видит ее волос. Я вижу их, но не нахожу, что Лиля похожа на ведьму. Стало быть, я ничего не говорю, даже в юмористическом тоне. Почему я обязан знать, где была Лиля с четырех часов дня? Разве что скажу, проходя мимо и не дотрагиваясь, понятно, до любимых ее волос: чудесно ты выглядишь! И тогда она не спросит, как может Гантенбайн это утверждать; она счастлива, кто бы это ни сказал. И я не кривлю душой: Лиля чудесно выглядит, как раз когда она побывает не у парикмахера.

Лиля тоже счастлива, как никогда раньше.

О цветах, которые стоят в нашей квартире; я говорю, только когда знаю, кто их прислал; когда знаю это со слов Лили. Тогда я могу просто сказать: эти орхидеи от твоей дирекции, по-моему, можно теперь выбросить в ведро. И Лиля согласна. Но время от времени появляются цветы, которые я предпочитаю не упоминать, розы, которых не упоминает сама Лиля, три-

дпать длинностебельчатых роз, и, хотя запах их неукоснительно наполняет квартиру, я не говорю ничего. Когда какой-нибудь гость вдруг ляпнет: чудесные розы! — я ничего не слышу, и Лиле теперь вовсе не надо бы говорить, кто их прислал. Когда я слышу, кто их прислал, я не понимаю, почему она до сих пор молчала о розах, которые я вижу уже три дня. Безобидный поклонник ее таланта. Имен в таких случаях у Лили хватает; есть много поклонников ее таланта, которые жалеют не только Гантенбайна, потому что он, как они знают, не видит, но жалеют и Лилю; они восхищаются этой женщиной не только как талантливой актрисой, но в такой же мере и как человеком, поскольку она любит мужа, который не видит ее таланта. Посему розы. Или еще что-нибудь. Я никогда не спрашиваю, кто подарил ей этот веселый браслет. Что я вижу и чего не вижу — это вопрос такта. Может быть, брак — это вообще лишь вопрос такта.

Иногда у Лили, как у всякой женщины с душой, бывают крушения. Начинается это со скверного настроения, которое я сразу же вижу, и любой мужчина, не притворяющийся слепым, вскоре спросил бы, что случилось, ласково сперва, потом резко — поскольку она молчит и молчит все громче, чтобы не выйти из скверного настроения,— и наконец с сознанием своей вины, не сознавая какой-то конкретной своей вины:

— Не обидел ли я тебя чем-нибудь?

— Да что ты!

— В чем же дело?

И т. д.

Все эти вопросы, ласковые или резкие или опять ласковые или возмущенные, поскольку после мучительного молчания она вполголоса и уже чуть не рыдая говорит, что ничего не случилось, не приводят к разрядке, я знаю, приводят только к бессонной ночи; в конце концов, чтобы оставить Лилю в покое, как она того хочет, я молча беру свою подушку, чтобы лечь на полу в другой комнате, но слышу вскоре ее громкое всхлипыванье и возвращаюсь к Лиле через полчаса. Но теперь она уже вообще не в состоянии говорить; мой призыв к разуму требует слишком большого напряжения от меня самого, я кричу, что делает меня неправым, до рассвета, а в течение следующего дня я попрошу Лилю, так и не узнав причины ее скверного настроения, простить меня, и Лиля простит...

Гантенбайн от всего этого избавлен.

Я просто его не вижу, скверного настроения, которое делает беспомощным каждого, кто видит его; нет, я болтаю вслепую или молчу вслепую, не замечая внезапного ее молчания — разве только Лиля, вынужденная моей слепотой, скажет начистоту, что́ ей на этот раз испортило настроение; но об этом говорить можно.

Ситуация, в которой Гантенбайн снимает очки слепого, не выходя при этом из своей любовной роли: объятие.

Мужчина, женщина.

Она знает, вероятно, многих мужчин, таких и этаких, в том числе и пасующих, потому что они считают своим долгом что-то, чего женщина ждет не в первую очередь, паспльников не от опьянения, а по умыслу, честолюбцев, которые пасуют от честолюбия, скучных, дураки — исключение, вдруг, может быть, какой-нибудь итальянский рыбак, но чаще мужчины с душой и умом, невротики, скованные и теряющиеся, когда видят глаза Лили, они целуют ее с закрытыми глазами, чтобы ослепнуть от восторга, но они не слепые, им страшно, они глухие, их руки — не руки слепого, готовность отдаться, но не безоговорочная, не раскованная, нежность, но не нежность слепого, которая освобождает от всего, чего пугаешься, когда знаешь, что это видит и другой; слепой не приходит со стороны; слепой, одно целое со своим сновидением, не сравнивает ее с другими женщинами, ни на мгновение, он верит своей коже...

Мужчина, женщина.

Лишь на следующее утро, когда Лиля еще спит или притворяется, что спит, чтобы не будить его, не отрывать его от его сновидения, Гантенбайн молча снова берет с тумбочки свои очки, чтобы защитить Лилю от всяких сомнений; лишь тайна, которую они друг от друга скрывают, делает их парой.

Я представляю себе:

Гантенбайн стоит в кухне, Лиля в отчаянии, ей невыносимо видеть, что Гантенбайн, ее муж, всегда стоит в кухне. Лиля трогательна. Она просто не может поверить, что нет больше чистых чашек на свете, ни одной. Пойдем куда-нибудь! — говорит она, чтобы дать добрым гномам возможность проявить свои способности... И вот мы идем куда-нибудь... Лиля не выносит грязи, вид грязи уничтожает ее. Если бы ты видел, говорит Лиля, на что похожа опять эта кухня! Иногда Лиля идет в кухню, чтобы

вымыть один стакан или два, одну ложку или две, Гантенбайн же, умничая, как большинство мужчин, находит, что серийный способ быстрее. Целый час в кухне, насвистывая или не насвистывая, моет он все ложки и все чашки и все стаканы, чтобы быть свободным какое-то время. Он знает, всегда может понадобиться ложка или стакан, чаще стакан, хотя бы один целый стакан, а если в кухню пойдет Лиля, Гантенбайн все равно не свободен; он знает, как она непрактична. И больше того, он знает, что женщине нельзя давать практические советы, это только оскорбляет ее и ничего не меняет. Что делать? Если в женщине, которую он любит, мужчине не хватает известной сноровки, то со стороны всегда кажется, что он не любит; есть только один выход: видеть в этом ее истинное и особое обаяние, хотя ничего такого уж особенного тут нет. Но что делать? Покуда с неба не упадет экономка, ничего не изменится, оттого что Лиля бывает уязвлена, когда видит, как Гантенбайн стоит в кухне, препоясавшись фартуком, и как он ежедневно выносит мусорное ведро, убирает пустые бутылки и скомканные газеты, печатную макулатуру, шпагат от пакетов, мерзкие апельсинные корки, полные окурков со следами губной помады...

Мне кажется, я нашел правильное решение!

Поскольку Лиля действительно не хочет, чтобы Гантенбайн, ее слепой, мыл посуду, только потому что посуда сама не моется, даже на кухню сама собой и то не выносится, и поскольку каждый раз, когда в кухне все сверкает, как в специализированном магазине кухонного оборудования, Лиля становится грустной, как от какого-то тайного упрека, Гантенбайн решил никогда больше не убирать всю кухню целиком. В самом деле, я это признаю, в том, что доводило кухню до блеска, была обычно доля маленького мужского злорадства, низменно-сладостной жалости к себе как к мужчине. Этого никогда больше не будет! Гантенбайн не вымоет теперь ни одной тарелки, ни одной ложки, когда Лиля дома, только тайком, и всегда лишь в таком количестве, чтобы это не бросалось в глаза. Кухня выглядит так, словно никто за ней не следит, и все-таки — пожалуйста — всегда можно найти еще несколько стаканов, несколько чистых ножей, всегда как раз в достаточном количестве, и пепельницы никогда не бывают начищены так, чтобы они сверкали как упрек, только пепел не громоздится горами, да испарились из них противные финиковые косточки, как и липкие колечки от рюмок на мраморном столике; печатная макулатура, иллюстрированные журналы прошлой недели исчезли так, словно сами признали наконец свою пожелтевшую устарелость,— а Гантен-

байн сидит в кресле-качалке, куря сигарету, когда Лиля приходит домой, и Лиля испытывает облегчение от того, что он больше не считает своим долгом следить за кухней.

— Вот видишь,— говорит она,— можно и так.

Быт лишь благодаря чуду терпим.

Я люблю сентябрьские утра, влажно-серо-голубые, солнце за дымкой, сельские дома кажутся сделанными из папиросной бумаги, озеро поблескивает, другой берег в тумане, осень, я стою между стеклянными теплицами, с Пачем на поводке, между грядками сельского садоводства — без очков, чтобы как следует видеть краски цветов, а желтую повязку я спрятал в карман брюк, чтобы этот любезный садовник не подумал, что ему удастся сбыть мне увядшие. Его нож поблескивает, как озеро. Кавалерские шпоры, да, или как там это называется, я утвердительно киваю, и каждый стебель, который я приветствую кивком, попадает под нож и падает с тихим хрустом; цветы для Лили, хруп, хруп, хруп, у садовника уже на добрый сноп голубых кавалерских шпор, хруп, пока я не говорю: хватит! Мне хотелось бы прибавить еще чего-нибудь желтого, нет, более блеклого, не слишком много, еще несколько зонтиков красного цвета, астр, да, и георгинов, да, цвета бургундского, да, много цвета бургундского, много...

Сегодня Лиля возвращается с гастролей.

Знала бы она, как наслаждается Гантенбайн полыхающими или тусклыми красками этого мира, когда она в отъезде, и как он обманывает ее с каждым цветком, который он видит!

Ее самолет прибывает в 15.40.

Теперь, дома, я ставлю цветы в вазу, ставлю, отхожу назад, наклонив голову к плечу, без очков, чтобы проверить сочетание красок, переставляю по-новому, у меня же есть время, дни тоски долги, часы еще дольше, я люблю это занятие — ставить цветы и ждать и переставлять, и, хотя я знаю, что Лиля никогда не приезжает раньше обещанного, позже — случается, но раньше — нет, я все-таки первничаю. Долой это облако шуршащей папиросной бумаги, долой эти стебли, долой! Когда я все кончаю, бьет одиннадцать, последний взгляд без очков: я в восторге, не полагается хвалить себя, но я в восторге от своего вкуса, я бездельничаю, потому что больше нечего расставлять, насвистываю, может быть слишком встревоженный, чтобы сесть и почитать газету, стоя, следовательно, два-три раза нагибаюсь, чтобы поднять с ковра упавшие лепестки, потом и это выпол-

нено. Я знаю, что Лиля даже не села еще в самолет, нагибаюсь в четвертый и пятый раз, потому что опять упал голубой лепесток, нетерпеливая кавалерская шпора, наверно, Лиля даже в постели еще, и я думаю: хоть бы она не опоздала на самолет! И стою с сигаретой во рту, которую забываю закурить, потому что смотрю то на часы, то на цветы, все еще есть веточки, зонтики, краски, которые мне мешают. Это не похоже на слепую случайность, а непременно должно быть похоже, по-моему — непременно, мне хочется, чтобы позднее, не сразу по приезде домой, а позднее, когда эта комната снова уже будет завалена сумками, иллюстрированными журналами и перчатками, Лиля радовалась, не чувствуя себя обязанной хвалить Гантенбайна, наоборот, пускай она мне расскажет, как красива случайность, да, часто мне требуется несколько часов, чтобы получилось как надо — я уже снова переставляю цветы, снова и снова спархивают лепестки, красивые и на ковре, голубые и желтые хлопья, все еще влажные, конечно, очки слепого все время у меня под рукой, на случай, если Лиля приедет раньше, порой я держу их в зубах, мои очки, когда букет требует обеих рук, и прислушиваясь, как ребенок, который украдкой таскает сладости, дрожу в глубине души...

Я думаю, я действительно люблю ее.

На следующий день, когда я истолковываю ее телеграмму (ПРИЛЕЧУ ТОЛЬКО ПЯТНИЦУ 10.45) в том смысле, что, вероятно, последнюю внепавильонную съемку пришлось отложить из-за осеннего тумана, мой букет, к сожалению, теряет свежесть; я еще раз сметаю с ковра лепестки, осыпавшиеся за ночь, в первую очередь огорчительно склоняются тяжелоголовые георгины. Я переставляю остаток еще раз — безуспешно... Я вижу: показывая, что он вчерашний, мой букет стоит теперь в вазе как немой упрек, у Лили испортится настроение, хотя я ничего не скажу, ни о чем не спрошу. Это уже, сразу видно, не самопроизвольный букет. И я выбрасываю его, прежде чем поехать в аэропорт; конечно, не в мусорное ведро, где Лиля может его увидеть, а в подвал, где никто не увидит, как он увядает под старыми журналами. Все должно выглядеть так, словно о цветах я просто не подумал. Это значит, что мне нужно еще и вазу вымыть, прежде чем поехать в аэропорт...

Лиля уже приземлилась.

Гантенбайн чуть не опоздал (в последний момент пришлось смести желтые и голубые лепестки еще и с лестничной клетки), и я как раз успеваю увидеть: господин, который несет ее пожитки к таможне, все еще тот же. Пач скулит, когда незна-

комый господин и Лпля, его хозяйка, прощаются в пяти метрах от его слепого хозпна; мне приходится изо всех сил удерживать его за поводок, моего глупого пса.

Надеюсь, я никогда не буду ревновать!

Один булочник в О., сорока лет, известный в своей деревне как человек добродушный и надежный, поступил из ревности следующим образом: сперва он выстрелил из армейской винтовки, которую каждый гражданин Швейцарской конфедерации хранит в шкафу, в любовника своей жены, тирольца двадцати одного года, не наугад, а точно в бедро, затем взял нержавеющий солдатский нож, который тоже полагается хранить в шкафу, и полоснул по лицу жену, мать двух детей, в то время беременную; после этого, уложив обе жертвы, как буханки хлеба, в свой автофургон, он сам доставил их в ближайшую больницу; жизнь любовников вне опасности — по сообщению газеты... Неделю спустя Бурри, мой врач, рассказывает, почему он на днях не пришел играть в шахматы. В тот вечер ему позвонила какая-то женщина и спросила, опасно ли принять десять таблеток снотворного. В ответ на вопрос врача, кто говорит, кладут трубку. Вскоре звонит тот же женский голос и просит врача немедленно прибыть, теперь называя фамилию и адрес; дело срочное. (Это был наш четверг, я уже расставил фигуры и ждал.) В большой комнате внизу он застает жену булочника, которая беременна, и молодого подручного булочника. Они любят друг друга. И поэтому булочник из О. не может уснуть, вот и все; он лежит наверху. Поднявшись по лестнице, врач застает, однако, комнатушку пустой. Следует долгий разговор между врачом и женщиной в большой комнате. На вопрос Бурри, хочет ли молодой человек жениться на беременной булочнице, тиролец — он без пиджака — отвечает, широко расставив ноги: «Да что вы, когда у меня нет на жизнь!» Булочник, кажется, действительно потерял голову. Десять таблеток? В этот момент — Бурри глазам своим не верит — отворяется шкаф и выходит, как в фарсе, добродушный и надежный булочник в белом фартуке. Наконец-то! — говорит он, наконец он все знает. Значит, все-таки! — говорит он, самый невозмутимый из всех в этот момент, сохраняя достоинство, несмотря на свое смешное появление, рассудительный, удовлетворенный тем, что долгая его ревность, значит, не была беспричинна. Наконец-то она призналась! — говорит он. Несмотря на долгую беседу с врачом, которому, стало быть, незачем открывать свой чемоданчик, сто-

роны не приходят к согласию насчет того, кто тут прав, и трезвое предложение врача, чтобы подручный покинул этот дом и поискал себе другое место, оказывается неубедительным именно для подручного, а женщина, стоящая между двумя отцами, напирает на то, чтобы булочник постыдился, и это требование оказывается опять-таки неубедительным для булочника. Тем не менее все сохраняют невозмутимость, когда Бурри наконец (слишком поздно для наших шахмат, я понимаю) покидает этот дом и садится в машину, со смехом вспоминая, как вышел из шкафа запорошенный мукой булочник... Через несколько дней, снова проезжая через О. и увидев уютный свет в большой комнате, врач чувствует себя обязанным нанести визит, чтобы узнать, на чем порешили в доме. На этот раз он застает внизу булочника одного. Как дела? Булочник сидит с самым спокойным и рассудительным видом. Разве господин доктор не читает газет? Мужчины выпивают по стаканчику сливовой. Намного больше, чем написано в газете, булочник тоже не знает. Только вот что: когда господин доктор в тот раз ушел, он пригласил свою Аннели наверх в спальню, чтобы сразу же начать новую жизнь, как то и предложил, уходя, господин доктор. Она не посрамила его надежды; в первый раз он снова уснул без снотворного, поэтому не так крепко, как обычно, отчего и был разбужен пустотой постели, холодом рядом. Это было примерно в час ночи, через час после того, как Бурри уехал. Вот тут-то уж он разъярился. Просто чтобы пригрозить, он достал из шкафа винтовку, нож, сошел вниз. Они сделали ему одолжение, да, здесь, на этом диване, он застал их вместе в темной комнате, белые рубахи при лунном свете, четыре ноги. Когда он зажег свет, все уже совершилось: подручный, который не хотел искать себе другое место, корчился и выл, а своей Аннели ему стало жаль из-за ее лица, с которого ручьями текла кровь. Хотя преступником, он сам видел, был не кто иной, как он сам, булочник вел себя, как человек посторонний и вполне здравомыслящий; он сразу позвонил врачу, до которого, однако, не дозвонился, затем, как описано в газете, отвез любовников на своем фургоне в ближайшую больницу, где его знали как надежного булочника, а себя самого в полицию, где его знали в этом же смысле.

Конечно, его будут судить.

Я размышляю, почему подручному он выстрелил именно в бедро, почему жене, напротив, изувечил не тело, а лицо: тело не виновато, тело — это пол, лицо — это человек... Когда я на днях ездил в О., чтобы увидеть этого булочника, его в лавке не

оказалось. Я купил все же буханку хлеба, которую позднее скормил на каком-то птичьем дворе. Вторую буханку, которую мне продала та же девочка-ученица, я скормил лебедям на озере. Сам не понимаю, почему мне понадобилось увидеть этого булочника. Когда незадолго до закрытия я рискнул зайти еще раз, я уже знал и звон колокольчика на двери, и этот хлебный дух в сельской лавке, и тишину, покуда наконец кто-то не войдет; я уже увидел, что теперь ни буханок, ни даже саек на полках не было, были только сдоба и конфеты, и я как раз думал, чего бы еще купить для лебедей, сухарей, может быть, и испугался, когда вдруг — надо же — в лавку вошел сам булочник, шаркая своими запорошенными мукой шлепанцами. Человек, совершивший преступление и невозмутимый, как жандарм, который видит такие преступления всегда только со стороны, человек хорошей старой закваски, возможно, спортсмен, хотя и с бледным от постоянного пребывания в пекарне лицом, из тех здешних жителей, глядя на которых представляешь себе преступление какой-то иностранной нелепостью, человек, от которого ничего подобного просто не ожидаешь — как от большинства преступников, — он спросил меня, что мне угодно. Его преступление, я видел, вообще не вязалось с ним. Это бывает: вдруг кто-то совершает мое преступление, за которое его посадят в тюрьму, а я прихожу в ужас от себя. Я купил шоколадку, как ни в чем не бывало, и расплатился немного сконфуженно, пошел своей дорогой и увидел, как он недоверчиво смотрит мне вслед.

Камилле Губер нет цены: она верит в подлинные истории, она жаждет подлинных историй, ее захватывает все, о чем она думает, что это было на самом деле, какие бы пустяки я ни рассказывал ей во время маникюра,— лишь бы это было на самом деле... Конечно, я никогда не прихожу, не уведомив ее об этом заранее, и появляюсь всегда с вежливым опозданием, снаряженный черной палочкой и желтой парукавной повязкой, в очках слепого; Камиллу Губер я застаю в неглиже; она заставляет меня ждать в коридоре, пока не причешется и не оденется, пока не будет прибрано в комнате. Она не хочет видеть в своей жизни больше того, что вижу я. Когда затем Гантенбайну разрешают войти, я уже не вижу ни бюстгальтеров, ни чулок, разве что сотенную бумажку возле коньяка, разве что мужские наручные часы. Надо надеяться, этот забывчивый тип не вернется! Гантенбайн явно единственный клиент, которому делают

маникюр. И Камилла рада мне, я думаю, как своему алиби, и маникюр мне делают действительно со множеством инструментов, которые она завела полиции ради, и с трогательным терпением обеих сторон, поскольку у славной Камиллы, как я чувствую, нет никакой сноровки. Я чаще ходил бы подстригать ногти, если бы Камилла Губер не ждала каждый раз истории, а то еще истории с продолжениями; уже за первым пальцем, который я ей даю, самое позднее — за вторым, она спрашивает напрямик:

— А что было дальше?

— Я поговорил с ним.

— Ах.

— Да.

Камилла Губер, теперь в белом халатике, сидит на низкой скамеечке, а Гантенбайн, положив руку на бархатную подушку, с трубкой в другой руке, подвергается обработке напильником.

— Вы действительно поговорили с ним?

— Да,— говорю я,— человек он славный.

— Вот видите,— говорит она и смеется, не поднимая глаз от моих пальцев,— а вы уже хотели выстрелить ему в бедро!

Я пристыженно молчу.

— Вот видите! — говорит она и пилит и никак не может не спросить: — А что он говорит?

— Он преклоняется перед моей женой.

— Ну и?

— Я могу его понять,— сообщаю я,— мы говорили о мифологии, он много знает, он получил приглашение в Гарвард, но не едет, думаю, из-за моей жены.— Пауза.— Светлая голова,— говорю я и курю,— в самом деле.

Камилла удивлена.

— И вы не потребовали его к ответу? — спрашивает она, орудуя пилкой, как женщина целиком на стороне своего слепого клиента: — Не верю, что он славный малый!

— Почему? — спрашиваю я объективно-благородно.

— Тогда бы он этого не делал.

— Чего,— спрашиваю я,— чего бы он не делал?

— Того самого,— говорит она,— что вы себе представляете.

Я сообщаю:

— Мы говорили о мифологии, да, почти целый час, ничего другого мы не могли придумать, было интересно. Только когда мы выпили по третьей рюмке кампари, он сказал, что преклоняется перед моей женой, я как раз расплачивался...

Камилла пилит.

— Под конец он подарил мне свою статью,— говорю я,— научный труд о Гермесе,— говорю я тем непоколебимо-сдержанным тоном, который отнюдь не подчеркивает пропасти между относительно образованным и относительно необразованным человеком, но и отнюдь не скрывает ее: — Он действительно голова.

— А ваша жена?

Я не понимаю ее вопроса.

— Как она представляет себе будущее?

Теперь Гантенбайн должен дать другую руку, а Камилла передвигает свою скамеечку на другую сторону, все в зеркальном повторении, моя трубка тоже перекочевывает теперь в другой угол рта.

— Она его любит?

— Я полагаю.

— Как он выглядит?

Она забывает, что Гантенбайн слепой.

— А вы уверены,— спрашивает она после паузы, заполнив ее своей многострадальной работой,— что это он?

— Вовсе нет.

— Смешной вы человек! — говорит она,— вы все время говорите о мужчине, который встречается с вашей женой, а сами не знаете, кто это?

— Я слепой.

Я вижу, как она опускает голову, обесцвеченную перекисью макушку; Гантенбайн использует этот момент, чтобы рассмотреть свои обработанные ногти. Иногда Камилла Губер извиняется, заметив, что Гантенбайн вздрагивает, и тогда разговор заходит о другом — о маникюре; но покоя ей нет.

— Но вы можете представить себе,— спрашивает она, орудуя пилкой — что это он, этот господин Эндерлинг или как там его?

Я утвердительно киваю.

— Почему именно он? — спрашивает она.

— Я и сам задаюсь этим вопросом.

Камилла не отстает.

— Такая неопределенность,— говорит она и смотрит на Гантенбайна, словно я единственный человек в его положении,— ведь это должно быть ужасно!

— Это и есть ужасно,— говорю я,— ужасно.

Позднее, по окончании маникюра, что отмечается рюмочкой коньяку, и после того, как я уже взял свою черную палочку, она еще раз возвращается к этому.

— Но вы уверены,— спрашивает она с нескромностью участия,— вы уверены, что ваша жена встречается с другим?

— Вовсе нет.

Камилла разочарована, словно теперь это уже не подлинная история, и, кажется, недоумевает, зачем я ей это рассказываю.

— Я могу только представить это себе.

Лишь это и подлинно в моей истории.

P. S.

Как-то приходит полицейский. Они приходят в штатском, это гнусно. Он входит в комнату без приглашения и как только маникюрша Губер (так называют ее в полиции) открыла наружную дверь. Входит, не сняв шляпы. Вместо того чтобы снять ее, он просто предъявляет свое удостоверение, главным образом слепому Гантенбайну: кантональная полиция! Гантенбайн в свою очередь предъявляет удостоверение слепого, и это удостоверение слепого — единственное, чему действительно верит этот маленький толстяк в шляпе. Все остальное здесь кажется ему сомнительным, даже маникюрные принадлежности, белый халатик, который надевает во время работы фрейлейн Губер. Он замечает, что тут идет какая-то игра. Но какая? Наконец он говорит: так-так. Третье удостоверение, которое тем временем извлекла Камилла, трудовую лицензию, как она с вызовом объясняет, он не хочет смотреть, словно ему стыдно перед слепым. Он ворчит: ладно. Им не по себе со слепым, я отмечаю это снова и снова. Еще ни один из них, например, не отважился действительно взглянуть на удостоверение, когда Гантенбайн предъявляет его. Наконец он уходит, не составив протокола, не то чтобы вежливо, только смущенно, с сознанием, что он в некотором роде великодушен. Он не хотел разоблачать Камиллу перед слепым.

Эндерлин, приглашенный в Гарвард, в ответ на вопросы знакомых, когда же он поедет в Гарвард, пожимает плечами, сразу переводит разговор на другое...

Почему он не едет?

Вскоре начинает казаться, будто это приглашение в Гарвард — розыгрыш, трехстрочная утка, с которой его поздравляли. Кто относится к Эндерлину доброжелательно, уже не заговаривает с ним об этом. И ему так больше по душе. Эндерлин сам в это не верит, и тут не в силах помочь документ, который он носит в нагрудном кармане и мог бы предъявить — как Гап-

тепбайп свое удостоверение слепого... Он не может. Ему давно следовало бы написать, когда же он явится, на летний семестр или на зимний семестр или как там это называется в Гарварде. Он не может. Проходят недели. Эндерлин просто не тот человек, которому адресовано это приглашение в Гарвард, и, стоит ему только подумать, не рассчитать ли дни по календарю, он пугается, словно ему надо взобраться на пьедестал, а он не может. Скромность? Да нет. Это приглашение в Гарвард (Эндерлин уже не может слышать этого слова!) — примерно то самое, о чем Эндерлин давно мечтал. Потому, может быть, его так ошарашила эта заметка в газетах: тайное притязание вдруг предано такой гласности! И это не утка. Тем не менее он кажется себе обманщиком. И люди это, конечно, чувствуют; поэтому никто уже, в сущности, не верит в это приглашение, разве только dean * из Гарвардского университета, но никто из тех, кто знает Эндерлина. При этом мы знаем его заслуги; они безусловно вынуждают к признанию. В том-то и штука! Кто, как Эндерлин, задался целью выделиться заслугами, тот, по сути, никогда не внушает доверия. Мы поздравляем его, ну еще бы, с его успехом. Только это ему не помогает. Лекция, которую Эндерлин должен прочитать в Гарварде, у него есть. И ему нужно только положить ее в чемодан. Но он не может. Убедительны не заслуги, убедительна роль, которую ты играешь. Вот что чувствует Эндерлин, вот что его пугает. Заболеть, чтобы не поехать в Гарвард, было бы проще всего. Эндерлин не может играть роль...

Я знаю обратный пример:

Один человек, посол одной великой державы, вдруг упал у себя на даче, но это, как выясняется, не инфаркт, а лишь понимание, что́ с ним стряслось, и тут не помогает ни отпуск для отдыха, ни новый орден для поднятия духа. Он понял, что он никакое не «ваше превосходительство», хотя так его величает свет на приемах под люстрами. В силу занимаемой им должности его приходится принимать всерьез хотя бы до тех пор, пока он ее занимает, пока он именем своей великой державы и ввиду своего титула обязан принимать себя всерьез. Как так обязан? Письмо своему правительству, напечатанное на машинке собственноручно, чтобы никакие секретари не узнали, что они давным-давно служат не тому, кому надо, лежит наготове — заявление об отставке... Но он не уходит в отставку. Он выбирает большее: роль. Его самопознание остается его тайной.

[1] Декан *(англ.)*.

Он исполняет свою должность. Он даже добивается повышения и исполняет свою должность без подмигиванья. Какого он отныне о себе мнения, мира не касается. Он по-прежнему, после перевода в Вашингтон, или Пекин, или Москву, играет, стало быть, посла, зная, что он играет, и не лишает окружающих, которые верят, что он занимает свое место по праву, их веры, которая полезна. Достаточно того, что не верит он сам. Он весел и исполнен достоинства, и те, кто в нем сомневается, не ранят его; ему не нужно бояться их или ненавидеть, ему нужно только побеждать их. И происходит какое-то чудо: по существу только играя, он добивается не только заурядных успехов, как до сих пор, но и незаурядных. Его имя появляется в заголовках мировой прессы; это тоже не сбивает его с толку. Он справляется со своей ролью, которая тем самым не что иное, как роль авантюриста, благодаря тайне, которой он не выдает никогда, даже с глазу на глаз. Он знает: всякое самопознание, которое не может молчать, делает человека все меньше и меньше. Он знает: кто не может молчать, хочет, чтобы его узнали в величии его самопознания, которое никакое не самопознание, если оно не может молчать, и человек становится обидчив, чувствует себя преданным, когда хочет, чтобы люди узнали его, он становится смешон, тщеславен в тем большей степени, чем меньше познал себя. Это важно: даже с глазу на глаз. Что сказано, сказано навсегда. И он делает вид, что верит, будто он и есть «ваше превосходительство», и отказывает себе в какой бы то ни было задушевности с людьми, особенно с друзьями, которые оценивают его так же, как он себя сам. Никакое признание его не закабалит. Благодаря его персоне, которую он играет, некий город избегает разрушительной бомбежки с воздуха, и его, посла, имя войдет в историю, он это знает, но не посмеивается, его имя будет высечено на мраморе, когда он умрет, как название улицы или площади,— и вот он умирает. Не остается ни дневника, ни письма, ни записки, которая выдала бы нам то, что́ он знал все эти годы, а именно — что он был авантюрист, шарлатан. Он уносит свою тайну, что он это знал, в могилу, на которой нет недостатка в почетных лентах, в больших венках и длинных речах, укрывающих его самопознание навеки. Он не косится на нас из своей могилы; при виде его посмертной маски, в которой, как во многих посмертных масках, сквозит усмешка, мы удивляемся: в ней сквозит какое-то величие, бесспорно. И даже мы, которые никогда не ставили его высоко, безмолвно меняем свое мнение, потому что он никогда о нем не спрашивал, при виде его посмертной маски.

Вчера, в гостях у Бурри, снова говорили о коммунизме и империализме, о Кубе, кто-то говорил о Берлинской стене, мнения, возражения, страстные, те же шахматы, ход и ответный ход, светская игра, покамест один гость, дотоле молчавший, не рассказал о своем бегстве. Без оценок. Просто так: действие с выстрелами, которые поражают его товарищей, и с невестой, которая осталась. Когда его потом стали расспрашивать, что он знает о своей невесте, он молчал. Мы все примолкли; потом я спрашиваю самого себя, посасывая в тишине свою холодную трубку, перед лицом каждой подлинной истории, что́ я, собственно, делаю — наброски к портрету чьего-то «я»!..

...Снова проснувшись, еще не причесавшись, но приняв душ и одевшись, хотя без пиджака и без галстука, так я полагаю, ибо первые действия совершаются механически, в забытье привычки, я знаю только, что снова сижу на краю кровати, да, снова, проснувшись, но еще в осаде снов, которые, если приглядеться, боюсь, вовсе не сны, а воспоминание, но не воспоминание об этой ночи, а воспоминание вообще, отложение опыта, однако я проснулся, как сказано, даже умылся и не испытываю никаких чувств, может быть даже насвистываю, я точно этого не знаю, неважно, если и насвистываю в этот момент, то затем лишь, чтобы не говорить, даже с самим собой, мне сейчас нечего себе сказать, мне надо на аэродром, господи боже мой, времени в обрез, так я полагаю, и все же не торопилось, словно это уже было, это было давно, меня удивляет, что не грохочет отбойный молоток, я прислушиваюсь — тишина, и не кудахчут куры, я прислушиваюсь — танцевальной музыки не слышно; воспоминание, пыхтенье и лязг буферов с ночной товарной станции, это было однажды, свистки и эхо свистков, я задерживаю дыхание, тишина, на миг застыв, как скульптура, так я сижу, поза вынимающего занозу, но я не вынимаю занозу, а надеваю ботинок, кстати уже второй, время от времени шорох лифта, но я даже не уверен, не доносится ли и этот шорох лифта лишь из воспоминания, воспоминания об одной ночи, о другой, шорох лифта мне не мешает, я вижу только, что ведь мой галстук висит еще вон там на кресле, а зато часы я надел, да, пора, так я полагаю, пора как всегда; пора выступить в будущее, я полон решимости и выбрит, весел по сути, хотя этого не показываю, я снова проснулся, я свободен от тоски, свободен; видимо, я закурил тем временем сигарету, во всяком случае я щурюсь от дыма, а если это курю не я, то я не знаю, кто курит, я знаю только, когда отлетает мой

самолет, «каравелла» надеюсь, да, погода, она покажет себя, едва я покину эту комнату, только бы ничего не забыть сейчас, и никаких сейчас слов, которые здесь останутся, никаких мыслей, я сижу на краю кровати и зашнуровываю правый ботинок, мне кажется, уже целую вечность... На мгновение, прежде чем вот сейчас поставлю ногу на ковер, я замираю — снова и снова, я это уже знаю и все-таки цепенею от испуга; я Эндерлин и Эндерлином умру.

Итак, я еду на аэродром.

В такси, держась за потертую петлю, я вижу за окном мир, фасады домов, рекламы, памятники, автобусы...

Déjà vu! [1]

Я пытаюсь о чем-нибудь думать.

Например:

О том, что я мог бы сказать на днях во время нашего разговора о коммунизме и капитализме, о Китае, о Кубе, об атомной смерти и о продовольственном положении человечества, если оно удесятерится, особенно о Кубе, я был однажды на Кубе — но теперь я здесь, меня спрашивают, сколько у меня чемоданов, а я предъявляю паспорт Эндерлина, получаю зеленый ярлык, *Flight number seven-o-five* [2], самолет опаздывает, я слышу, из-за тумана в Гамбурге, в то время как здесь светит солнце.

Признáется ли она своему мужу?

Эндерлин не единственный, кто здесь ждет. И я пытаюсь развлечь его, что, однако, нелегко, поскольку он втайне думает о той ночи, а мне к тому же ничего не приходит в голову...

Образцовый аэропорт!

Я покупаю газеты:

Опять испытания атомных бомб!

По этому поводу Эндерлину ничего не приходит в голову.

Признается ли он кому-нибудь?

Я пытаюсь о чем-нибудь думать — этот внутренний мир любви мне, честно говоря, слишком скучен, слишком знаком,— например: как сконструирован этот зал, железобетон, форма убедительна, темпераментна, легка и воздушна. Красиво. Относительно конструкции: на техническом языке это называется, по-моему, трехшарнирная арка... Но Эндерлин не проявляет к этому интереса, я вижу, Эндерлину хочется улететь. Чем скорее, тем лучше. Эндерлин снова убивает время, отпущенное ему на земле, сперва кофе, потом коньяком. Багаж его сдан, и, стало

---

[1] Уже видел! *(франц.)*

[2] Рейс номер семь-ноль-пять *(англ.)*.

быть, я свободен и ничем не связан, кроме его портфеля, который я ставлю на стойку; я оглядываюсь: одни летят сейчас в Лиссабон, другие в Лондон, третьи прибывают из Цюриха, динамики гремят: *This is our last call* [1], но это не относится к Эндерлину. Я успокаиваю его, я слышал отчетливо, Эндерлин первничает, а мне только скучно, поскольку с Эндерлином действительно невозможно беседовать. Я слежу за тем, чтобы не забыть его портфель. Эндерлин покупает духи, чтобы не являться домой с пустыми руками, «шанель-5», знакомое дело. Действительно ли Эндерлин думает о доме? Итак, «шанель-5». Других просят пройти на посадку на Рим — Афины — Каир — Найроби, а в Гамбурге, видимо, все еще туман, да, это скучно...

Я представляю себе ад:

Я Эндерлин, чей портфель я ношу, но бессмертен, так что должен еще раз прожить его жизнь или пусть часть жизни, год, пусть даже счастливый год, например год, который сейчас начинается, но прожить с полным знанием будущего и без ожидания, которое только и делает жизнь сносной, без той неопределенности, той неизвестности, слагаемые которой надежда и страх. Мне представляется это адом. Еще раз: ваш разговор в баре, жест за жестом, его рука на ее плече, ее взгляд при этом, его рука, которая в первый раз скользит по ее лбу, позднее второй раз, ваш разговор о верности, о Перу, которое он называет страной надежды, всё слово в слово, ваше первое «ты», перед этим болтовня об опере, на которую вы потом не идете, свистки с ночной товарной станции, свистки и эхо свистков, и ни через что нельзя перескочить, ни через один шорох, ни через один поцелуй, ни через какое чувство и ни через какое молчание, ни через один испуг, ни через одну сигарету, ни через один по́ход в кухню за водой, которая не утолит вашей жажды, ни через стыд и ни через телефонный разговор из постели, все еще раз, минута за минутой, и мы знаем, что будет потом, знаем и должны еще раз это прожить, иначе смерть, прожить без надежды, что будет иначе, историю с ключом в почтовом ящике, вы знаете, что все будет в порядке, затем умывание на улице у водоразборной колонки, рабочий бар, опилки на каменном полу, ни одна минута не пройдет иначе, чем я знаю, ни одной минуты нельзя пропустить и ни одного шага, ни кофе, ни четырех булочек, ни мокрого платка в кармане брюк, Эндерлин машет рукой, это то же самое такси, но я знаю, что потом он выйдет из машины, чтобы кормить голубей, все это еще раз, в том числе ис-

[1] Приглашаем на посадку в последний раз *(англ.)*.

пуг из-за записки, заблуждение, грусть, сон под отбойные молотки, которые вспарывают освещенный солнцем асфальт, и затем ожидание на аэродроме, *Flight number seven-o-five*, туман в Гамбурге, и что будет потом: прощание в надежде, что из этого не выйдет никакой истории, встреча, конец и объятие, прощание, письма и встреча в Страсбурге, трудности повсюду, страсть, очарование без будущего; да, без будущего — но я знаю будущее: счастье в Кольмаре (после осмотра изенгеймского алтаря и по дороге в Роншан) не последнее, как вы боитесь, и не высшее ваше счастье; тем не менее его нужно еще раз пережить, в точности так же, включая прощание в Базеле, прощание навсегда, в точности так же, да, но зная, что́ будет потом. Все подарки, которые были сделаны друг другу, нужно еще раз подарить, еще раз упаковать и обвязать ленточкой, еще раз распаковать, нужно еще раз восхититься ими, восторженно поблагодарить за них. И через недоразумения, отравляющие половину поездки, нужно пройти еще раз, через ссоры, смеяться над которыми можно лишь позже, все нужно еще раз продумать и прочувствовать, каждый разговор повторить еще раз, хотя я уже знаю, сколько раз он повторится еще, и еще раз нужно вынуть из ящика те же письма, вскрыть их с сердцебиеньем, и еще раз нужно строить все планы, зная, что все выйдет иначе, вы несколько недель ищете земельный участок, ведете переговоры, покупаете, создаете себе заботы, которые ни к чему, окрыляете себя надеждами, я знаю, что постройка не состоится, обмер участка тем не менее произвести нужно, все насмарку, но в судьбе ничего изменить нельзя, хотя вы это и знаете, и еще раз я подхожу к двери, чтобы сердечно приветствовать мужчину, который вдруг вклинивается, еще раз спрашиваю, что он будет пить, виски или джин; еще раз мои остроты, мое подозрение, мое великодушие, моя наивная победа, еще раз ваша поездка с аварией, моя тревожная ночь, еще раз славные периоды равнодушия, я еще раз посылаю ему открытку с приветом, с тем озорным приветом, который я послал, ничего не зная, в точности так же, но теперь-то я знаю, и еще раз кипит кофе, чтобы остыть после твоего признания, я знаю, я знаю, тем не менее я должен еще раз ругаться и бегать по комнате и ругаться в точности так же, еще раз стакан, который шваркнули о стенку, осколки, которые я убираю, в точности так же, да, но все это уже зная, как будет дальше: без любопытства, как будет дальше, без слепого ожидания, без неизвестности, которая помогает вынести...

Это был бы ад.

Эндерлин, листая газету, словно бы не слушает; положение напряженное; он наслаждается тем, что не знает, что будет в газете завтра, не знает наверняка...

Это был бы ад.

Опыт — это первое ощущение ада, но только первое ощущение: ведь мой опыт не говорит, что́ будет, он лишь ослабляет ожидание, любопытство...

Flight number seven-o-five.

Самолет, слышу я, только что сел, продолжение рейса через полчаса, и теперь мне все-таки любопытно, как поступит Эндерлин; улетит ли он в самом деле, не позвонив ей еще раз, не повидавшись с ней.

Вы не хотите никакой истории.

Ничего бренного.

Никакого повторения.

Эндерлин, вижу я, расплачивается за коньяк, выпито три рюмки, бармен это знает, Эндерлин словно бы торопится, хотя до посадки еще полчаса, а торопиться можно и в нерешительности... Я вижу его самолет, «каравеллу», которую сейчас заправляют горючим. Красивая машина. Через два часа Эндерлин будет дома, если он действительно полетит. Что значит дома? Во всяком случае, самолет на заправке, времени достаточно, чтобы сесть снова, скрестить ноги, даже открыть портфель и достать книжку. Хорошая книжка; начало, во всяком случае, хорошее, по-моему. Книга по специальности, прочесть которую Эндерлину, во всяком случае, надо бы, да, он и прочтет ее, вне сомнения, может быть, в самолете, если Эндерлин действительно полетит, а дома его ждет почта, вне сомнения, может быть, очень приятная почта...

Надо надеяться, она не будет писать!

Теперь, так я представляю себе, она тоже не лежит уже в той постели, а оделась, надела платье, которого Эндерлин ни разу не видел может быть, брюки; она уверена, что Эндерлин уже высоко в небе, и сама как на землю с небес рухнула, когда раздается его звонок.

— Ты где?

— Здесь,— говорит он,— на аэродроме.

За окнами грохот, шум реактивных двигателей, вдобавок динамики, которые зовут, однако, не Эндерлина; время поговорить есть, времени предостаточно; говорить нечего...

Я это знал.

Когда Эндерлин покидает стеклянную будку, решив лететь, я вижу, что нашу «каравеллу» все еще заправляют горючим;

белые механики все еще на крыле, и кукольное личико с синим галстуком, малиновыми губами и в синей шапочке на серебристо-светлых волосах, стюардесса, к которой Эндерлин обращается за справкой, не может изменить того обстоятельства, что это действительно (я это знал) наша «каравелла», которую все еще заправляют горючим. Идет как раз погрузка багажа с помощью транспортера. Тверже, чем когда-либо, решив больше не видеться с ней, с женщиной, которую он ощущает, Эндерлин первым становится у *Gate Number Three*[1], в одиночестве, он глядит на свои наручные часы, сверяя их со всеми часами этого зала, словно и полминуты тут очень важны — как при бегстве.

Я понимаю его бегство от будущего.

Берегитесь имен!

Раньше или позже приходит день, когда вы знаете, что́ говорить, когда можно рассказать ну хотя бы, кого вы вчера встретили, знакомого, чье имя вы называете, потому что оно не играет никакой роли. Вы еще единственная реальность на всем белом свете, другие люди — марионетки вашей прихоти: ниточки еще у вас в руках, и кто мешает, тот просто не всплывает в вашем разговоре или всплывает так, чтобы не мешал. Вы еще добросовестны и говорите: один поляк, беженец, который в свое время жил у нас и был в близких отношениях с моей сестрой. Или: мой первый муж. Или: один мой коллега; одна из моих теток; девушка, которую я однажды встретил на Аниевой дороге. Без всяких имен. Это удается какое-то время, потом становится слишком уж сложно, и вот врача, с которым я дружу, зовут Бурри. Зачем мне скрывать его имя? Это человек, который всегда приходит играть в шахматы. Дальше — больше, имена как бурьян, семена их разносятся всеми ветрами, и вырастают джунгли, вы еще не видите этого; вы говорите и говорите, пока у этого Бурри вдруг не оказывается бывшей жены. Анита? Вы смеетесь: как тесен, однако, мир! Вы лежите на спине и болтаете об Аните, которая теперь возлюбленная Шолля, а Шолль первый человек, которого вы знаете оба, Ганнес Шолль, тот, что уехал в Багдад. Вы лежите на спине и курите. Как-то живется Шоллю в Багдаде? Вас это еще никогда не интересовало, но это повод поговорить, и что вдруг в мире, хотя и далеко отсюда, где вы лежите рядышком на спине, оказывается человек, который знает вас обоих, понятия не имея, что вы составляете пару, это странно. Что бы сказал на это Шолль! Странно, как часто вы

[1] Выход номер три *(англ.)*.

говорите отныне об этом Шолле; и вот однажды он пишет из Багдада, что скоро будет в Европе. Он пишет это вам обоим, каждому из вас, ведь он обоих вас знает и с обоими хотел бы увидеться. Надо же! Дальше — больше, замыкания цепи не избежать; лучше бы вы лежали себе и молчали, но так нельзя же, время от времени вы выходите на улицу, и с вами здоровается человек по фамилии Хаген. Откуда ты знаешь этого Хагена? Он приятель ее брата. У тебя есть брат? Надо бы бежать. Куда? Даже Ивиса уже не то, чем была прежде. Когда ты была в Ивисе? Надо бы уж в Африку. Вы смеетесь! Я знаю одного человека, у которого есть ферма близ Найроби, он дрожит от страха перед «мау-мау», его фамилия Рамзеггер, ты угадала, Джеймс Рамзеггер. Откуда ты знаешь его фамилию? Его жена не хотела ехать в Найроби, чему вы можете посочувствовать, и живет теперь в Лондоне с одним поляком, который тоже уже фигурировал в ваших разговорах; и вот он уже Владимир, а поскольку он еще и танцовщик, это может быть только тот Владимир, с которым я познакомился через Лёвбер. Разве это не забавно? Я не упоминаю Лёвбер; но какая-то портниха, чтобы набить себе цену, рассказывает вам, что она шьет и для Лёвбер. Надо же! Внезапно все сцеплено, и будущее оборачивается прошлым; вы лежите на спине и курите, чтобы не называть имен. Бесполезно! В Вене устраивается домашний концерт; первую скрипку играет ее брат, и меня представляют ему. Надо же! В Страсбурге, когда вы встречаетесь, чтобы тайком провести вместе конец недели, из лифта, который должен доставить вас в ваш номер, выходит Лёвбер. Все неминуемо. Даже Бурри, уж на что молчаливый, начинает теперь служить демонам; вдруг в какой-то компании он встречает женщину, которую любит Эндерли́н, и рассказывает ей о своем друге Эндерлине. Почему так складывается? Вы лежите на спине и курите и рассказываете друг другу свое прошлое, только чтобы мир, который понятия о вас не имеет, не знал о нем больше, чем вы сами; это выдает нагора все новые и новые имена! Жаль! Демоны и недели не пропускают, чтобы вас где-нибудь да подсидеть: Шолль, вернувшись из Багдада, навязывает вам обед втроем. Дальше: профессор, только что получивший половину Нобелевской премии по химии и красующийся во всех газетах, ее отец. Дальше: в связи с вернисажем, которого нельзя избежать, вас наконец публично представляют друг другу; ее муж, который ни о чем не догадывается, при этом присутствует; неугомонная Лёвбер присоединяется позже...

И т. д.

Человечество становится, кажется, одной семьей, как только образуется пара; все остальные так или иначе знают друг друга, и только пара, которая вышла из объятия, еще не знает себя со стороны; вы еще улыбаетесь, поскольку никто из тех, кто вас знает, ни о чем не догадывается; вы еще витаете в небесах. Как долго? Любой третий замыкает цепь; любая иллюзия развеивается.

Flight seven-o-five.

Эндерлин (я вижу, как он глядит на аэродром через стеклянную дверь, вижу синеватое отражение его лица в стекле) ждет уже не в одиночестве: целая толпа, все с зелеными или красными ярлыками в руке, толчется перед кукольным личиком стюардессы, которая еще не имеет права открыть дверь; Эндерлин уже впереди всех...

Пока еще у него есть выбор.

Я за то, чтобы лететь.

Наконец дверь отворяется, и толпа движется, некоторые спешат, другие, оглядываясь, машут кому-то, кукольное личико повторяет:

Flight seven-o-five.

Я могу представить себе и то и другое:

Эндерлин летит.

Эндерлин остается.

Мне она понемногу надоедает, эта игра, которую я уже знаю: действовать или отказаться от действий, в любом случае, я знаю, это будет только часть моей жизни, а другую часть я все равно представляю себе; действия и отказ от действий взаимозаменяемы; иногда я действую лишь потому, что отказ от действий, точно так же возможный, тоже ничуть не изменит того факта, что время проходит; что я старею...

Итак, Эндерлин остается.

Я — нет...

Как так он, а не я?

Или наоборот:

Как так я?

Так или этак:

Один полетит...

Один останется...

Все равно:

Кто остается, представляет себе, что он полетел, а кто улетает, представляет себе, что он остался, и то, что он действительно проделывает, так или этак,— это трещина, проходящая через его «я», трещина между мною и им, как я ни поступлю,

так или этак,— разве что «каравелла», которая теперь, получив разрешение на взлет, набирает скорость, взорвется по необъяснимым причинам и придется опознавать трупы; но наша «каравелла», я вижу, поднимается выше и выше...

Я представляю себе:

В такси, рука в петле, Эндерлин горд тем, что выбрал не отказ от действий, в то же время смущен; его тело сидит в такси, но желание покинуло его тело — желание со мной, летящим высоко над облаками... а Эндерлин не знает, зачем он, собственно, едет к этой женщине, которая вдруг перестала существовать; существует лишь эта бесконечная дорога в город, в гуще машин, Эндерлин сидит так, словно торопится, а шофер, глядя вперед, словно будущее всегда впереди, делает все, что в его силах, чтобы не останавливаться, тогда как Эндерлин, закуривая теперь, втайне радуется каждому красному свету, каждой колонне, каждой задержке, прошедшее не торопится...

Я представляю себе:

Как мои пальцы касаются ее лба в первый раз; ее удивленное лицо, которого больше нет, такого — нет...

Я представляю себе:

Эндерлин, когда он заплатил за такси, минуту в замешательстве, поскольку он без багажа, в ужасе, словно украли его багаж, багаж, летящий теперь высоко над облаками, но потом успокоившись и прямо-таки в восторге от того, что он без багажа, хоть и в растерянности, но обеими ногами на земле, даже на тротуаре, так что с ним, в сущности, ничего не может стрястись, Эндерлин знает, где он находится в чужом городе, не точно, а приблизительно, Эндерлин вспоминает киоск, поскольку это тот самый киоск, и, если он сейчас не ошибся в направлении, ее дом должен быть близко, Эндерлин называет себя идиотом, он мог ведь подъехать на такси, так нет, он вдруг попросил шофера остановиться, полагая, видимо, что еще может раздумать идти к ней, что право выбора еще есть. Зачем же ему искать ее дом, да, зачем, собственно? Эндерлин у киоска: он спрашивает, где ее улица, чтобы туда не пойти, но улицы этой не знают, видимо, это все-таки другой киоск, и теперь Эндерлин стоит действительно в растерянности. Почему он не полетел! Эндерлин все-таки признает то преимущество, что ему не надо (как мне!) есть в самолете, и жаль, что он не голоден, как я; Эндерлин может выбрать французскую кухню или итальянскую, даже китайскую, ведь у него есть время, целый вечер в чужом городе; никто не знает, где Эндерлин в эту минуту, даже она, потому что он не объявится, и даже он сам не знает, киоск тот

же, а бара рядом с ним нет. Зачем он идет? Он мог бы с тем же основанием сесть на тротуар. Почему он просто не заходит в какой-нибудь ресторан? Вдруг все стало бессмысленно, в том числе еда, если ты не голоден, я понимаю; Эндерлин бредет не в поисках ее дома, а чтобы случайно найти его. До этого он не может сидеть один в ресторане и читать перечень блюд, перечень вин, чтобы отпраздновать тот факт, что он еще раз увидел ее дом — и не позвонил...

Я представляю себе:

Ее дом снаружи..

Ведь Эндерлин еще не видел его снаружи, не видел вчера, когда входил, чтобы поехать с ней в оперу, это был какой-то там дом, еще не памятник, а сегодня утром, когда Эндерлин его покидал, он видел, правда, наружную дверь с медной ручкой, но потом не оглядывался; помнит Эндерлин, в сущности, только наружную дверь.

Я представляю себе:

Фасад оштукатурен, пять этажей, каркас из песчаника, здание восемнадцатого или семнадцатого века, перестроенное (я знаю, что в нем есть лифт) с заботой о сохранности памятников отечественной старины, высота этажей аристократическая, исключая пятый этаж, фигурный сточный желоб, крыша из плоской черепицы; на пятом этаже кое-где горит свет...

Или:

Фасад облицован, известковый туф, высота этажей демократическая, новостройка, но с черепичной крышей под стиль старого города, в первом этаже — кондитерская, что для меня неожиданность; каркас из песчаника — атрибут соседнего дома, как и фигурный сточный желоб; наружная дверь с пологой аркой, постройка, вероятно, пятидесятых годов нашего века, железобетон, но без современных архитектурных форм; на пятом этаже кое-где горит свет...

Или:

Пятого этажа вообще нет (я уверен, что это было на пятом этаже) на этой стороне, а обогнуть дом нельзя; фасад некогда барский, теперь замызган, бидермайер, позднее обесцененный близостью товарной станции с ее свистками и лязгом буферов, фирменные вывески на втором и третьем этажах, окна с переплетом; на четвертом этаже кое-где горит свет...

Возможно:

Почтальон, как раз выходящий из двери, спрашивает Эндерлина, кого тот ищет, и Эндерлин, молча, играет заблудившегося: проходит мимо — даже не поблагодарив...

(Возможно, но маловероятно.)

Наверняка:

Я помню качающийся отсвет уличной дуговой лампы на ветру, качавшийся всю ночь, отсвет на занавесках и на потолке комнаты, если вспомнить точнее: когда лампа на улице не качалась, ее свет не перемахивал через амбразуру окна, только при ветре свет с улицы захлестывал нашу комнату, как волна лодку, и в отсвете с потолка лежала женщина, то есть: как бы ни выглядело извне то, что освещает эта дуговая лампа, это должны быть окна как раз над светом дуговой лампы, будь то на четвертом или на пятом этаже...

Я представляю себе:

Эндерлин позвонил.

(...в то самое время, как я в самолете, зажатый, между чужими локтями, перед знакомым раскладным столиком, выковыриваю из целлофана вилку и ложечку, глядя на мясной суп и холодную курицу и фруктовый салат.)

Я представляю себе:

Вечер без объятья, долгое время даже без поцелуя, вы встретились по не зависящим от вас причинам, что вынуждает вести разговоры, покуда вы наконец не перестаете понимать друг друга превратно, да, это поразительно...

Я заказываю вино.

Мы летим, согласно рукописной сводке нашего командира корабля, на высоте свыше 9000 метров над уровнем моря со средней скоростью 800 километров в час.

Вино слишком холодное.

Я представляю себе:

Ваше вино теплее...

Я тем не менее пью свое.

Я представляю себе:

Вы живете, вы на земле...

Стюардесса, когда она наконец убирает мой столик, улыбается. С чего бы? Всегда они улыбаются, это известно, и всегда они молоды, даже если между сигаретой, которая только что кончилась, и следующей, которую я от нее прикуриваю, прошло десять лет.

Я представляю себе:

Десять лет...

Я представляю себе:

Вот вы, стало быть, здесь лежите, пара с мертвыми для любви телами, каждую ночь в общей комнате, за исключением коротких поездок, как сейчас. Вот вы, стало быть, здесь живете.

Квартира ли это или отдельный дом, обставлен так или этак, вероятно, современно, под старину, с непременной лампой японского производства,— здесь есть, во всяком случае, общая ванная, каждодневное зрелище принадлежностей для различного ухода за двумя телами, женским и мужским. И вот иногда вы тоскуете. Ни у одного из вас нет более близкого человека, нет даже в воспоминаниях; даже в надеждах. Можно ли быть теснее связанными друг с другом, чем вы? Нельзя. Но иногда, стало быть, вы тоскуете. О чем? Тут вы ужасаетесь. Чему, собственно? Вот вы живете бесконечно-быстрые годы в любви, нежной парой, не показывая этого гостям, ибо вы действительно нежны, вы действительно пара с мертвыми для любви телами, которые лишь изредка ищут друг друга. Только, пожалуй, после какой-нибудь поездки, после разлуки на срок какого-нибудь конгресса, случается, что вы среди бела дня, сразу по приезде, еще до того как разобраны чемоданы и сообщено самое нужное, смыкаетесь в объятии. Ну и что ж, что были другие! Это освежает, но не стоит признания. Вот у вас еще раз, как некогда, день без часов, в халате, с пластинками. Затем снова плавное затухание всякого любопытства с обеих сторон, не облекаемое в слова и закамуфлированное дневными заботами. Так вы и живете дальше. Ваши письма, когда вы вдруг в разлуке, почти пугают вас, приводят в восторг вас самих, потому что вы пишете потоком забытых слов, языком, говорить на котором вы разучились. Из номера гостиницы с пустой двуспальной кроватью вы звоните, не останавливаясь перед расходами, из Лондона, или Гамбурга, или Сильса, чтобы поболтать среди ночи, любовь не терпит никаких отлагательств. Вот вы еще раз слышите ваши ушедшие в прошлое голоса, вот вы дрожите. Вплоть до вашего свиданья дома. Остается привязанность, тихая, глубокая, почти нерушимая привязанность. Может быть, это пустяк? Вы уже перенесли почти все, исключая конец, для вас не новость, что один из вас убегает в ночь, что злость снова приходит, что ничего не меняется, если вы молчите два дня, вы пара, вы всегда свободны, но вы пара. Тут ничего не поделаешь. Иногда мысль: с какой стати именно ты? Вы ищете других мужчин, других женщин. Тут ведь играет роль мало что или все. Не будет ничего, более сумасшедшего, чем ваша любовь тогда, в лучшем случае будет так же. Была ли она сумасшедшей? Об этом вы не говорите, нежно щадя настоящее. Или говорите с упреком, который ошибочен, как всякий упрек, адресованный жизни. Кто же виноват в привыкании? Как было когда-то, об этом знает лишь зеркало в одном немыслимом гостиничном номере, ржаво-

серебристо-дымчатое зеркало, которое не перестает показывать каких-то любовников, многоруких, мужчину и женщину, безымянных, два опьяненных любовью тела. Кто из вас это увидел, остается тайной. Оба? Это были не вы как таковые. Почему вас преследует отражение в том зеркале? Там могли быть и другой мужчина, другая женщина, вы знаете это и глядите друг на друга, вы, как таковые, стараясь обрести великодушие через иронию, от которой нет толку. Как вам смириться с тем, что вы так хорошо, все лучше, так бесподо находите общий язык, словно вы уже больше — с чисто физической точки зрения — не мужчина и женщина? И тут вы вдруг ищете причину для ревности. Без нее, о господи, ваше смертельное товарищество было бы совершенно. Глупое происшествие на взморье, мимолетное, разумеется, объятие между пинками, которые только и остаются в памяти, неверность, давно потерявшая силу за давностью, с болью проклятая, потом понятая, конечно; ее имя или его имя хранится в молчании, как святыня, произносится лишь в чрезвычайном разговоре, стало быть, редко, один или два раза в год, чтобы оно не износилось, как любовь ваших тел. О это имя! Только оно и дает еще раз то сумасшедшее чувство к другому, то сладостное, жаркое, безмерное чувство, по меньшей мере оборотную его сторону. Остается привязанность, по сути большое счастье: только безумие отваживается поколебать ее внезапным подозрением среди бессонной ночи. Что же стряслось? И вот вы делаете вид, что устали, и вот вы гасите свет, ибо что уж там может стрястись. И затем, в то время как другой опять уже спит, возникают планы, какие строят узники, и вот вы ночью готовы к любому повороту, к побегу, вы бесстрашны и ребячливы, это не вожделение, а тоска по вожделению; и вот вы укладываете чемоданы. Один раз она, другой раз он. Это уравновешивается. Далеко это не уводит, супружеская измена, но супружество остается в силе. Вы пара, по существу уверенная, что никогда друг друга не потеряете, пара с мертвыми для любви телами, и никакие чемоданные сборы тут не помогут, достаточно лишь дорогого голоса в телефонной трубке, и вот вы возвращаетесь, чтобы признаться или не признаться, и живете снова в быту, который и есть истина, в пижаме и с зубной щеткой во рту, измазанном пеной, на виду у другого, с музейной наготой в ванне, непринужденной наготой, которая не волнует, и говорите в ванной о гостях, которые только что ушли, и о духовном мире, который вас связывает. И понимаете друг друга, не обязательно во всем соглашаясь. Вы живые люди, вы развиваете свои взгляды, но вы знаете ваши тела, как знают свою мебель,

и вот вы ложитесь в постель, потому что опять уже два часа, а завтра тяжелый день. «Сейчас» — это не ваше «сейчас», а ваше «всегда». Вспышки нежности, о да, бывают, но один из двух устал или занят мыслями, которые пришли только сейчас, а тела ваши ведь всегда здесь. И вот вы один в доме, вы вдвоем, но это бывает часто, куда как часто. Ничего тут такого нет. И вот вас снова засосал брак, и вы целуетесь, и ваш поцелуй как точка. Вы тоскуете: не друг о друге, ведь вы-то налицо, вы тоскуете о выходе за пределы друг друга, но совместно. Вы говорите о поездке осенью, о совместной поездке, вы вдруг тоскуете о стране, которая вообще-то существует, нужно только съездить туда осенью. Никто вам в этом не помешает. Вам не нужно веревочной лестницы, чтобы поделоваться, и не нужно укрытия, и нет никаких соловьев и жаворонков, которые манят к «сейчас» и к бегству, никакие сыщики за вами не гонятся, над вами не висит ни запрет, ни страх, что откроется грех вашей любви. Санкция у вас есть. Единственная ваша помеха — ваши тела. Сейчас вы выкуриваете еще по сигарете, беседуете, читаете газету в постели. Ни одного из вас не интересует история другого; она ведь, так сказать, известна. Календарь вашей доисторической эпохи давно разобран; первый и смелый в своей неполноте, а затем тщательно дополненный набор имен, дат и мест завершен много лет назад. Зачем же вам сейчас, в два часа ночи, перед тяжелым будничным днем, еще раз выяснять ваше прошлое? Признания с их блаженством израсходованы, пробелов в доверии нет, любопытство растрачено; предыстория другого — это книга, о которой, как о каком-нибудь классике, думают, что ее знают, несколько уже запылившаяся, и только при переездах, при виде пустых комнат, где гулки все звуки, берут еще раз в руки такие книги, чтобы изумиться, увидев, с кем ты жил столько лет. Столько лет изумляться нельзя. Сейчас вы гасите сигарету. Прошлое уже не тайна, настоящее убого, потому что оно с каждым днем все больше изнашивается, а будущее — это старение...

Я лечу.

Please fasten your seatbelt [1], мы снова идем на посадку, *stop smoking, thank you* [2], я перестаю не только курить, но и представлять себе, сейчас — это сейчас, я жду обычного толчка, когда шасси касается бетона, это мое настоящее, *we hope you have*

---

[1] Застегните, пожалуйста, ремни *(англ.)*.

[2] Перестаньте курить, спасибо *(англ.)*.

enjoyed your flight and we see you again[1], мое настоящее снова кончилось, *thank you.*

Мне все-таки интересно:

Кто сейчас ждет меня в аэропорту.

Я смотрю:

Если у нее черные волосы и водянисто-серые глаза, большие глаза и полные губы, но при этом не закрывающие верхних зубов, и крошечная родинка за левым ухом, значит, тот, кто тогда не полетел,— это я.

Я старею...

Via appia antica.

Она годится мне в дочери, и встречаться нам снова бессмысленно. Я хочу этого, я задет за живое, но это бессмысленно. Мы стоим на каком-то римском могильном холме, вторая половина дня, нас, собственно, ждут в городе. Все время я вижу только ее глаза, ребенок, один раз я спрашиваю, о чем она думает, и глаза ее глядят на меня, и я уже знаю, что она не ребенок. Мы не отваживаемся сесть на летнюю землю, чтобы не стать парой. Я не целую ее. Это бессмысленно, мы оба это знаем, не надо этого. Чтобы чем-то заняться, она ищет в клевере четырехлистник, как полагается в минуты счастья; но безуспешно. В небе гудит самолет; наш взгляд остается в ветках пинии. С висящей на плече кожаной сумкой, с трилистником в руке, она стоит и вертится на ветру, который треплет ей волосы, и глядит на коричневый простор, на Кампанью с разросшимися предместьями, которые могли бы дать повод поговорить о градостроительстве; она молчит. Я дарю ей смолистую шишку пинии. Я действительно не догадываюсь, о чем она думает, и повторяю вопрос. Она говорит: «О том же, о чем и вы!» Но я ни о чем не думаю. Ее глаза: они блестят от того, что происходит сию минуту и к чему нельзя прикасаться. Куда бросить нам эту смолистую шишку? Один раз я в шутку прижимаю ее голову к своей, без поцелуя, и мы вместе смеемся. Над чем? Просто нет цели для нашей смолистой шишки; возьмем ее, стало быть, с собой. Несомненно, нас видят издалека, видят, как мы стоим на этом могильном холме, мужчина и девушка, теперь рука об руку, выпрямившись на ветру. В шутку? Чтобы что-то сказать, я говорю: «Пошли?» Ввиду крутого спуска я беру ее сумку, она дает руку, липкую от смолы, один раз я охватываю рукой ее

[1] Надеемся, что полет доставил вам удовольствие и мы увидим вас снова *(англ.)*.

стопу, которая никак не найдет опоры среди засохших клочьев травы, а потом мы внизу, мы стряхиваем с рук сухую землю дольше, чем нужно. В машине, когда мы уже сколько-то времени едем, открытой, так что она может выкупать на ветру свои рыжеватые волосы, я спрашиваю ее адрес, как раз переключая скорость, стало быть невзначай. И она пишет его на конверте из моего бумажника. Я еду медленно: старая римская мостовая. Я мог бы теперь, когда она молча смотрит на меня сбоку, сказать что-нибудь об этой мостовой: легионы, да, которые по этой мостовой проходили, да, тысячелетия и т. д. Я этого не говорю, потому что уже говорил это не раз. Зато я спрашиваю: «Что делать со сном наяву?» — когда мы стоим перед красным светом, а рука моя лежит на дрожащем рычаге, и она отвечает: «Его надо брать!» А потом, после того как я включил скорость, мы едем дальше...

Точка!

Сегодня я выбросил шишку, которая так и лежала в моей машине, выбросил, поскольку смола выдохлась, и адрес ее выбросил тоже; когда-нибудь я ее встречу, я знаю, случайно на улице, молодую женщину, оживленно болтающую о том о сем, о своем замужестве и т. д.

Бурри, врач, рассказывает иногда всякие случаи, хотя я предпочел бы играть в шахматы, и тогда меня все-таки захватывает то, что Бурри, медленно обрезая сигару, рассказывает о быте своей клиники, в то время как я, столь же медленно, положив себе на колено шкатулку с фигурами из слоновой кости, молча расставляю их на доске... Если бы не существовало современных медицинских средств, которые, поскольку применение их не оспаривается, приводят к тому, что большинство из нас, так сказать, переживает самих себя, я знаю, я тоже дважды бы уже умер естественной смертью, и вопрос, как выдержать свою старость, отпал бы, это верно... Теперь я протягиваю обе руки со сжатыми кулаками, чтобы Бурри выбрал черные или белые; я слушаю, но ведь это не мешает мне протягивать руки. Право выбора за Бурри, разумеется, как за гостем. Это наш четверг, Бурри пришел, как всегда, играть в шахматы. Я жду. Но Бурри, откинувшись в кресле, зажигает сначала сигару, мыслями явно все еще в клинике; я вижу горящую спичку, которая вот-вот, если он не положит ее, обожжет ему пальцы: как поступить человеку моего возраста, если он знает или полагает, что знает, что ему, по мнению врачей, осталось жить год, в лучшем случае

год?.. Я снова протягиваю обе руки со сжатыми кулаками, и Бурри выбирает: мне, выходит, черными... Позднее, после того как я несколько часов думал только о слонах, конях и ладьях, меня все-таки занимает то, что рассказал Бурри; держа на колене шкатулку с фигурами из слоновой кости, теперь снова один, поскольку Бурри надо посетить еще какого-то больного, я не знаю, как поступил бы лично я в таком случае.

Жить...

Но как?

Я представляю себе:

Эндерлин Феликс, доктор философии, в возрасте 41 года 11 месяцев и 17 дней и с вероятной продолжительностью жизни в 1 год, Эндерлин в одиночестве, за открытым окном весна, запах сирени с примесью запаха клиники, который стоит всегда и везде, даже если смотришь на далекие горы или в будущее, и сейчас утро, час мужества, дождевальная установка на солнце, радуги в цистернах с водой, канли сверкают в траве, иногда белая или желтая бабочка, зигзаг ее полета, жизнь — парк. Эндерлин еще не прочел сомнительной карточки, он еще верит, что выздоровел. Правда, он чувствует слабость, он убежден, что выздоровел раз навсегда. Ему повезло, это ему сказал Бурри. Почему не должно повезти! Он немного испугался, когда Бурри это сказал. Как так повезло? Эндерлин ничего другого не ждал. Его познабливает у открытого окна, а день как будто теплый, почти жаркий, фён, горы рукой подать. Он, собственно, вспотел, слабость, ничего удивительного после семи недель в постели. Горы еще в снегу, поля темные, почти черные, лоснящиеся, сверкающий клин озера, на нем парусники. На переднем плане цветет магнолия. Садовник в зеленом фартуке и с лейкой, все на местах. И откуда-то аллилуйя; поют медицинские сестры, которые сейчас не на дежурстве. Вдобавок кладут кирпичи рабочие на лесах; клинику приходится расширять, все клиники приходится расширять; рабочие громыхают подъемным блоком, итальянцы, их голоса, их коричневые тела до пояса. Врач, стало быть Бурри, на минутку отлучился, только что объявив Эндерлину о его полном выздоровлении и скорой выписке; Эндерлин в мягком кресле у письменного стола, бледный, в синем халате, Эндерлин держит в руке еще влажную пленку, свою кардиограмму, которую этот предупредительный врач дал ему посмотреть, она как арабский шрифт, красиво, но загадочно, она напоминает ему дорожный указатель в пустыне между Дамаском и Иерусалимом, прочесть нельзя, но красиво, так что Эндерлин даже восхищен каллиграфией своего сердца, которой он никак

не ждал от себя, он не может на нее наглядеться, и, лишь когда в открытое окно врывается ветерок, он замечает карточку на письменном столе, встает, чтобы поставить пепельницу на листок плотной бумаги, который, того гляди, слетит со стола, не для того чтобы прочесть карточку. Но он уже прочитал ее. Ему неприятно. Эта карточка была заготовлена не для него. Пока ему только неприятно. Когда Эндерлин снова заглядывает в карточку, его фамилия не видна: она как раз, должно быть, закрыта пепельницей; видно зато специальное выражение, которое подобрала себе смерть, написанное шариковой ручкой, слова этого Эндерлин не знает, сбоку пометка, явно более поздняя: вероятная продолжительность жизни приблизительно 1 год.

Эндерлин один в комнате...

О нет, поверить в свою смерть не так-то легко. Может быть, эта карточка имеет в виду вовсе не его? Когда врач возвращается в комнату, Эндерлин уже снова сидит в кресле, где ему полагается сидеть, руки его на мягких подлокотниках слева и справа, два рукава халата, две белые повисшие кисти рук, и врач говорит:

— Прости!

Эндерлин, больше смущенный, чем потрясенный, глядя в окно, делает вид, будто ничего не случилось.

— Прости! — говорит Бурри.

— Да, пожалуйста,— говорит Эндерлин.

Затем, закрыв окно, Бурри, этот колосс мужской доброты, снова садится за свой письменный стол, снова сует в рот сигару, которую оставил в пепельнице с серебряными ящерицами, сигара еще горит, не так уж долго, значит, заставил он ждать Эндерлина.

— Я понимаю,— говорит Бурри и словно бы что-то ищет, рассеянно, во рту окурок, который ему приходится заново, поспешными затяжками, раскурить, прежде чем продолжить фразу,— я понимаю,— повторяет он и, когда сигара наконец раскуривается, словно бы забывает, что хотел сказать, вместо этого берет карточку и, не глядя на нее, говорит: — Тебе интересно узнать результат нашего последнего обследования?

Эндерлин улыбается.

— Каков же он? — спрашивает Эндерлин и сам удивляется своему спокойствию, тогда как врач явно испытывает настоятельную потребность доказать теперь еще и точными цифрами, почему Эндерлин вправе считать себя, так сказать, выздоровевшим.

— Я понимаю,— говорит он в третий раз и вспоминает, что

он хотел сказать.— У тебя уже терпение лопнуло, но до субботы я тебя не отпущу,— говорит он с товарищески грубоватым смешком, грубоватость должна показать, что он и в самом деле считает Эндерлина здоровым и способным сопротивляться, хватит щадить его,— не раньше субботы,— говорит он с угрожающей непререкаемостью, и дальше следуют цифры, процент белых кровяных шариков, процент билирубина, цифры, которые Эндерлин часто слышал и в конце концов ввел в свой лексикон, благодаря чему он, хоть и не зная по сути, что́ эти цифры значат, сам может судить, насколько эти цифры действительно изменились к лучшему, на радость Бурри, который считывает их с оборота карточки.

— Да,— говорит Эндерлин,— это прекрасно,— видя за окном здоровых рабочих.

— Дорогой мой,— говорит Бурри, обнаружив, что он в одиночестве со своей радостью,— все могло обернуться иначе!

Эндерлин кивает.

Втайне, в то время как они притворяются, что смотрят друг другу в глаза, он подсчитывает: год, значит, один год, а сейчас апрель...

Эндерлин кивает.

— Пожалуйста! — говорит Бурри, словно чувствуя недоверие, и показывает эти цифры, черным по белому, то есть красным по белому.— Вот! — говорит он, вручая карточку, а потом Бурри откидывается в кресле, курит, ждет, добавляя только: — Полтора месяца назад у нас было еще 27%.

Эндерлин читает: билирубин 2,3%, но он не отваживается перевернуть карточку и прямо потребовать объяснения у Бурри, а молчит; как врач Бурри знает, что известная апатия входит в данном случае в картину болезни, но хоть немножко интереса к своей удаче этот славный Эндерлин мог бы уж проявить, он считает, Бурри ведь не нужно оваций, но Эндерлин, когда он вот так держит карточку, слишком уж апатичен.

— Дорогой мой,— говорит он,— нам повезло.

Эндерлин возвращает карточку.

— 27%! — говорит врач.— Мы тогда это скрыли от тебя, но так было,— говорит он, снимая трубку зазвонившего телефона, недовольный тем, что его прервали. Звонок не деловой, речь идет о регате через воскресенье, и Бурри, взглянув на Эндерлина в знак извинения, листает календарь, разговор оказывается недолгим, однако достаточно долгим, чтобы потом, раз уж их прервали, говорить не о билирубине, а о будущем, сперва об июньской регате, но главным образом о будущем Эндерлина, о

его поездке в Гарвард, отложенной из-за болезни, о его карьере стало быть, причем Эндерлин делает над собой усилие, чтобы говорить об этом как о реальности, усилие заговорщика, который должен скрывать то, что он знает о будущем.

— Два месяца,— говорит Бурри,— два-три месяца в Тараспе [1] или Кьянчьяно [1], тебе, конечно, надо себя поберечь, это ясно,— говорит он и листает тот же календарь, где записаны его регаты.— Мергентхайм [1] тоже неплохо.

Он сам замечает, что повторяется, вообще-то ему это несвойственно, Эндерлин делает его неуверенным: по сути, он не говорит ничего, чего уже не сказал.

— Конечно, тебе надо себя поберечь,— говорит он и расстегивает свой белый халат.

Эндерлин делает над собой усилие.

— Кьянчьяно мне больше по душе,— говорит он.

— Как тебе угодно! — говорит Бурри и снимает свой белый халат, в сущности торопливо, но он не решается показать, что торопится.— Сегодня вторник,— говорит он,— в пятницу сделаем анализ еще раз.

И это он уже говорил.

— Гарвард ведь прекрасный город! — говорит Бурри, мо́я руки, потом вытирая их, и Эндерлин кивает.— 2,3%,— говорит Бурри, словно нужно еще раз вернуться к этому, и комкает карточку, он получил эти данные по телефону, до того, как Эндерлин вошел в кабинет, цифры уже внесены в историю болезни, он бросает карточку в корзину для бумаг и говорит: — Не беспокойся.

С этими словами он надевает пиджак.

— Я знаю,— говорит он, немного помешкав из-за пиджака,— я всегда твердил о 1,5% и заявлял, что не выпущу тебя раньше, я знаю, но вот увидишь,— говорит он и оглядывается, не забыл ли он чего-нибудь,— в пятницу мы сделаем анализ еще раз.

Бурри нужно теперь уйти, и Эндерлин, у которого нет сил встать, был бы рад, если бы он ушел, Эндерлин чувствует себя уже только декорацией, скрывающей его, Эндерлина, распад, когда предупредительный Бурри, чтобы не обидеть его тем, что торопится, продолжает говорить — еще раз о Гарварде! — и столь же рассеянно, как и сердечно, спрашивает, сколько, собственно, Эндерлину лет.

— Сорок два,— говорит Бурри,— это не старость.

---

[1] Курортные места в Швейцарии, Италии и ФРГ.

Бурри старше.

— Дорогой мой,— говорит Бурри, теперь в непромокаемом плаще,— в сорок два я только начинал жить!

Рукопожатие.

— Не веришь? — спрашивает Бурри и начинает восхвалять возраст мужчины как раз после сорока двух лет, да, даже в сфере любви исполнение желаний только еще предстоит, факт, установленный опытом, Эндерлин должен иметь это в виду, смеется он и уходит...

Эндерлин один...

Но дверь открыта, и он не решается подойти к корзине для бумаг, чтобы еще раз взять карточку. Чтобы прочесть это еще раз, черным по белому. Зачем? Эндерлин поднимается, делает вид, что он замечтался или что-то в этом роде. В коридоре, где он уже неделю закалял себя ежедневными прогулками, он встречает Эльке и тоже улыбается, чтобы не поколебать ее сестринскую уверенность, что ему с каждым днем все лучше и лучше.

Я представляю себе:

Эндерлин хоть и верит, что та карточка имеет в виду его, но не верит, что пророчество сбудется; он просто не верит этому. «Бурри тоже может ошибиться!..» Один в своей белой палате, которую тем временем убрали, он все-таки приходит к заключению, что Гарвард, на который он и без того смотрел лишь как на трамплин, теперь отпадает. Но что делать, если он не поедет в Гарвард? И когда входит сестра, чтобы внести из коридора вчерашние цветы, Эндерлин, чтобы избежать болтовни с сестрой, медленно вскрывает почту, доставленную сюда во время его беседы с врачом; он даже читает ее — вот оно, значит, первое, что делает человек в последний свой год! — читает, осмысливая то, что читает, даже как надо бы ответить на это. Ответит ли он еще? Когда та же сестра входит в палату снова, на сей раз чтобы поставить стакан с фруктовым соком, Эндерлин уже не замечает ее; теперь он (в ее отсутствие он явно прошелся по палате) сидит уже не на койке, а в кресле у окна, письма — на халате, а белые его руки — на подлокотниках кресла: сидит как на троне. Неприступно, так что не обратишься к нему. Как на троне: возвышаясь над своими современниками. Если он верит в пророчество шариковой ручки, да, величие — единственное, что ему осталось, что еще имело бы смысл: никому не показывать, что он знает о скорой своей кончине, и со всеми друзьями вести себя так, как если бы... И в Гарвард поехать, как если бы... И строить планы и все, как если бы...

Некоторым мужчинам это, как известно, удавалось.

И прочитать лекцию:

«Многоуважаемые дамы и господа!»

По рукописи:

«Гермес — фигура многозначная. Стяжавший дурную славу как бог воров и мошенников, сам мошенник, укравший в первый же день своей жизни тельцов Аполлона, бог, знаменитый своей ловкостью, веселой и полной коварства ловкостью, которой он любит дурачить смертных, он вмешивается во все, вся его натура, все его поведение — в стихии колдовства, это друг пастухов, бог стад — он прячет их от бури в ущельях,— покровитель плодородия. Герма, первоначальный его символ, имеет вид фалла. Тот известный факт, что, с другой стороны, он считается богом купцов,— факт, казалось бы, несовместимый со всем перечисленным,— становится понятен, если мы примем во внимание, чем была герма, сложенная из камней, для странствующих купцов: указателем дороги. Плодовитость стад — это частность; имеется в виду плодотворность вообще, удача во всех человеческих делах. Гермес — владыка хитрости. Он помощник, он приносит счастье, но он же и обманщик. Эту роль играет он и в любви; это он дарит нежданное счастье, случай. Гермес — приветливый бог, людям он ближе, чем другие боги, поэтому он — посланец богов. Гомер называет его также вожатым снов. Он любит, как часто отмечают, быть невидимым, когда приближается к смертным, и внезапность, непредвиденность, неожиданность, даже прихотливость — вся эта веселая жутковатость — сфера Гермеса, ведь Гермес также и бог, который приходит за умирающими — беззвучно, как всегда, неожиданно,— это вездесущий посланец смерти, который нас уводит в Аид...»

И т. д.

Звонит телефон, немного помедлив, Эндерлин снимает трубку, чтобы на короткий вопрос о его самочувствии (спросивший хочет, собственно, узнать нечто другое) ответить с оптимистической обстоятельностью; чересчур обстоятельно. С чего бы его голосу быть не таким, как вчера? Он это оспаривает, говорит о выписке в следующую субботу, о Кьянчьяно, о билирубине, о Гарварде, а на другом конце провода молчат, потому что уже знают все планы, которыми Эндерлин козыряет, и больше того: в доказательство своего выздоровления Эндерлин расспрашивает даже о вещах, лежащих за пределами вероятной продолжительности его жизни, расспрашивает подробно и упорно, словно хочет узнать, и притом точно, как обстоит теперь дело с финансированием, какое издательство, на два или на три года

гарантия, затем ежеквартально или ежемесячно, речь идет снова об основании журнала, от которого Эндерлин — ему давно уже предлагают пост ответственного редактора — увидит в лучшем случае лишь гранки первого номера. Эндерлин дает согласие.

— Да,— говорит он,— даю слово.

Договорились.

Потом, однако,— разговор ввиду его утешительного согласия затянулся,— Эндерлин, как ответственный редактор, не может просто положить трубку, вопрос о заглавии, снова и снова вопрос о заглавии, кого брать в сотрудники, кого — нет, Эндерлин должен высказаться, но высказывался он все меньше и меньше, наконец еще раз дал слово — потом, однако, едва положив трубку, он опускает голову на вертикально поставленную подушку, вымотанный, как недавно после одной слишком уверенной прогулки по парку; он пытается думать о журнале, но безуспешно... вопрос о названии журнала, да, вопрос о названии... вопрос, не ошибается ли Бурри... дождевальная установка на солнце... вопрос, действительно ли я привязан ко всему этому, чему имя жизнь,— но я буду беречь себя, даже когда распад уже будет виден; я буду привязан к ней; я буду верить в любую ложь; ночью я буду все знать, а весь день верить в обратное, и белые сестры будут говорить: «Молодцом, господин Эндерлин, молодцом!» И те, кто придет посидеть у моей кровати, будут это видеть, и чего никто не скажет, то прорычат мне боли, боли время от времени, боли все чаще, боль беспрерывно, но каждое впрыскивание будет облегчением, которое я буду переплавлять в надежду, впрыскивание за впрыскиванием, пока не издохну, как зверь, во впрыснутой надежде...

Эндерлин еще может думать.

Почему ему не говорят правду?

Он еще человек.

Они не ждут от него величия.

У белого столика с так называемым обедом: савойская капуста в гигиенических целях, творог — во всем привкус бережного отношения, только для того, чтобы Эндерлин дожил до первых гранок этого журнала! Он пробует на вкус. Творог дрянь! Он пробует на вкус мысль, что теперь, если Бурри не ошибается, можно бы писать все, что думаешь. Что, собственно? Вчера рыба, сегодня творог, завтра рыба, все одинакового вкуса, белки, пресно и скучно, как размышление, нужно ли ему вообще, если Бурри не ошибается, еще зарабатывать деньги на этот год, и потрясает его не итог, а пошлая будничность его раз-

мышлений. Обреченный на смерть, полагает он, не стал бы так думать. Бурри ошибается! Он пытается есть капусту, чтобы подкрепиться. Почему это никто еще, будучи уверен в близкой своей смерти, не совершал никакого великого и смелого дела? Покушения, например. Моя жизнь в обмен на его жизнь! Но моя жизнь уже не жизнь, а только существование с уколами в руку и с детской кашкой между зубами, аллилуйя, и как цветет опять сирень — за окном... Когда входит медицинская сестра, сестра Евфимия, и по-матерински спрашивает его, почему же он ничего не ел, вернее: почему мы ничего не ели (пока не начнешь совсем уже издыхать, они всегда говорят «мы»: «У нас нет аппетита? Не вздремнуть ли нам часочек? Мы уже сходили по-маленькому?» — и т. д.), Эндерлин съедает несколько ложек, но тут же все извергает обратно и, едва успевают привести его в опрятный вид, настойчиво просит, чтобы об этом не докладывали врачу. Он вдруг начинает бояться Бурри, который до сих пор был его другом. Эндерлин покажет ему, как он здоров. Он покинет эти стены. Он просто-напросто опровергнет их диагноз, который от него скрывают. О нет, ни в какое Кьянчьяно Эндерлин не поедет, и в Тарасп тоже, а плюнет, напишет открытку из Парижа с какой-нибудь шуткой сбоку насчет диеты, а если в Тарасп, то максимум на неделю, Бурри в угоду, но не поездом, нет, Эндерлин поедет на своей машине, и притом так, что на поворотах только шины будут визжать, и притом уже в пятницу, и не будет он пить в Тарасне водичку, от которой разит прелой серой, а будет играть в теннис, познакомится с какой-нибудь женщиной, очень молодой, на которой тут же на месте, за аперитивом, женится, на какой-нибудь, может быть, прибалтийской блондинке, которой построит дом с плавательным бассейном, и ровно через год от сегодняшнего дня состоится торжественное новоселье с поросенком на вертеле, виски сначала, виски потом, да, и с Бурри в качестве гостя, и Эндерлин, загорелый, с гаванской сигарой во рту, смеясь, толкнет его в бок, своего врача-прорицателя...

Почему именно на прибалтийке?

Эльке, ночная сестра, прибалтийка, и это пугает его; фантазия больного, у которого нет уже выбора, человека без сил, который уже далеко не уйдет.

За окном птицы.

Женщины...

Много женщин!

Он не может думать в единственном числе.

Все женщины!

И мысли его только об их лоне, в их лоне; он думает не о какой-то одной, которую знает, а обо всех, которых упустил; лона; их рты и его язык у них во рту; когда их лица неразличимо похожи одно на другое; еще слова, которых он никогда не произносил и непристойность которых странно удовлетворяет его, вызывая неудовлетворенность; лона, губы, бедра, волосы, груди, глаза, которые при этом совсем сужаются, и лона, лона, все лона... а сам потеет от слабости, когда, думая об этом, сидит на краю кровати с растопыренными для опоры руками, в изнеможении, и смотрит в открытое окно: деревья, крыши, невидимый самолет в небе, линь белый его след, который врезается острием в синеву и затем, похожий на шлейф, медленно распадается на хлопья и тает, дымовые трубы, которые, наоборот, остаются, трепыхающееся на плоской крыше белье, провода, горы за проводами, на которых сидят воробьи, много труб, крыш, островерхих, плоских, деревья поднимающейся в гору аллеи, осколок сверкающего озера, циферблат башенных часов, стрелки, которые незаметно передвигаются, ничего больше — он уже несколько недель видит это изо дня в день... итальянцы на лесах, время от времени они подвешивают к подъемнику бадью, которую потом тянут вверх, мускулистые, голые до пояса парни. Ничего не меняется от того, что Эндерлин смотрит в другую сторону. Близкое или далекое, все едино, кровать, циферблат, громыхающий подъемник — сплошь предметы, которые Эндерлина переживут. Демонстрация навязшего в зубах знания; без посланца богов. Надежда на величие оказывается на поверку чепухой, только жалость к себе проявляется откровенно и бесстыдно. Не то чтобы Эндерлин сейчас заплакал, нет! Он только потеет, и вдруг стучат.

— Войдите,— говорит Эндерлин, ложась на койку и укрываясь, и, когда во внутреннюю дверь стучат еще раз, голосом более громким: — Войдите!

Это я.

— Садись,— говорит он.

— Как дела? — спрашиваю я и, чтобы опять не забыть, кладу тетрадь, не дожидаясь ответа, на белый стол с лекарствами и инструментами; я вижу ампулы, шприц, иглы в спирту.— Твоя статья! — говорю я.— Я прочел ее, по-моему, это здорово.

Эндерлин ни звука.

— Слушай,— говорю я, выходя на балкончик,— у тебя здесь действительно красивый вид!

Как будто это мое первое посещение. Я смущен, но не знаю чем, потираю руки.

— Да,— спрашивает Эндерлин,— а как твои дела?

Я нахожу, что сегодня великолепный день. Может быть, Эндерлин ждет, что я подробнее выскажусь о его статье; но, когда я делаю такую попытку, Эндерлин глядит мимо меня, и разговора не получается.

— Особенно, по-моему, здорово...— говорю я и вижу, что он не слушает.— Спасибо,— говорю я, снова входя в палату,— я работаю.— Теперь я набиваю табаком трубку, человек, который твердо стоит на земле, затем садится, трубка в кисете, я не буду курить, палата есть палата, даже если и окно настежь, я — посетитель, умеющий вести себя, но здоровый; не бесцеремонный, но здоровый, такой, который говорит о делах, о мировых проблемах, самозабвенно, с набитой трубкой во рту, не закуривая, одержимый заботой не об Эндерлине, за которым и так ведь ухаживают, которому приносят и цветы, и фруктовый сок, а заботой о Европе, о человечестве вообще, на сей раз особенно в градостроительном отношении, градостроительство как политическая проблема, по этому поводу у меня есть что сказать, хотя Эндерлин слышит это не в первый раз. Разговора не получается, только лекция, поскольку Эндерлин молчит. Наверно, это от смущенья я закурил трубку.

— Что с вашим журналом? — спрашиваю я. Чтобы вывести Эндерлина из апатии. Я же не знаю, что с сегодняшнего утра Эндерлин считает себя обреченным; его жалость к себе, немая, но ощутимая, постепенно нервирует меня, даже делает грубым. Я, правда, перестаю курить, но роняются фразы, которые должны доказать ему, что он выздоровел: — Этот ваш журнал! — беспощадно: — Сам-то ты верил когда-нибудь в этот журнал?

Я становлюсь груб, я знаю.

— Это нам известно,— говорю я,— каждый обещает сотрудничать, чтобы его имя фигурировало, а как только доходит до дела, все заняты чем-то другим, и ты, дорогой мой, как ответственный редактор, еще наплачешься.

Я не знаю, что стряслось с Эндерлином, и никак не нахожу верного тона, но от этого болтаю без умолку.

— Да,— говорю я,— надо будет как-нибудь повторить наш поход на Этцель! [1]

Он улыбается.

— Как только ты будешь опять в форме,— говорю я, и мне надо бы, собственно, уйти. Но как? Лучше всего сказать: «Мне надо, однако, идти!», покуда Эндерлин пьет маленькими глотка-

[1] Лесистый горный хребет в Швейцарии.

ми фруктовый сок, и я уже стою, обеими руками держась за его койку, как за детскую коляску, взгляд мой устремлен в будущее, которое требует планирования; градостроительство как политическая проблема. Я спрашиваю Эндерлина, как же жить нашим потомкам, как Эндерлин представляет себе, например, транспорт через десять лет, через тридцать лет, через пятьдесят лет, это действительно вопрос — не для Эндерлина, а для мира, особенно для нашего западного мира, между тем как Эндерлин (но я этого не замечаю по его виду) способен думать только о вероятной продолжительности собственной жизни: год, в лучшем случае год... Когда входит сестра, чтобы сделать господину Эндерлину ежедневный укол, я некоторое время, как полагается, молчу, спрятав свою трубку с появлением сестры, которой приходится колоть второй раз. Бедный Эндерлин! Я понимаю, что он не слушает меня как следует, я думаю, что понимаю его; эти ежедневные впрыскивания, один раз в левую и один раз в правую руку, действуют на нервы, тем более если игла иногда не попадает в вену. Я понимаю. Когда Эндерлин молча опускает рукав пижамы, я спрашиваю, чтобы отвлечь его, какого он мнения о книге, что лежит у него на тумбочке. Я могу спокойно курить, говорит он. Почему-то ему все-таки хочется, чтобы я остался; но теперь мне действительно надо идти, что нелегко, потому что Эндерлин вообще ничего не говорит. При этом он думает, я вижу, думает непрерывно. От смущения я говорю об общих знакомых. Сплетни. Кто теперь с кем. Он слышит это, но пропускает мимо ушей. Рабочие за окном на лесах, я гляжу туда, итальянцы; тоже проблема: если так пойдет дальше, население нашей страны однородным не будет. На это Эндерлин тоже никак не отзывается. Когда я пытаюсь пробиться к нему иначе, спрашиваю, например, сколько лекций должен он прочесть в Гарварде, он, правда, отвечает, но так, словно это его не касается, словно я мелю вздор. Так что же тут еще остается? Он спрашивает, какой сегодня день недели, какое число; больше ничего...

Наконец я ушел.

Первый посетитель, первый, на ком он должен был испытать свою силу для тайны, преодолен...

Башенные часы бьют четыре.

Год — долгий срок.

Если бы он смог закричать!

Бурри прав: 42 — это не старость.

Позже вечером, когда Эндерлин, сонливый от укола, попытался думать с открытыми глазами, глядя на эту гигиеническую

виселицу в сумерках... Почему не повесишься? — вот что он, может быть, думает, глядя на эту белую перекладину койки над ним, в то время как каждую четверть часа становится все темней и темней. Что уж тут думать. Смерть, сколько ни думай, воображению не поддается... Его лицу, когда он зажег свет, его лицу в зеркале шкафа, где уже несколько недель висит его костюм, его лицу и его голой шее и его коже нужно солнце, ничего больше, солнце в Энгадине или у моря. Или в Перу! Внезапно он думает об этом без иронии: Перу — страна его надежды! Может быть, Эндерлин воображает себя сидящим на лошади, которая ржет, год в Перу, человек, ускакавший на коне,— я этого не знаю... Что можно вообразить: старение, от которого он, если Бурри не ошибается, избавлен и, если ошибается, не избавлен... Сонливый от укола, но бодрствуя от испуга, причем то, что его испугало, кажется ему сном, он лежит с закрытыми глазами и вытянутыми руками, и кисти его рук свисают с койки, в сущности он не хочет жить, чтобы не стареть, но, когда ему приносят диетический ужин, когда сестра, как всегда, приподнимает подушки, чтобы господин Эндерлин сел, он питает свое тело, и, когда через полчаса сестра возвращается, чтобы убрать поднос, она говорит:

— Молодцом, господин Эндерлин, молодцом!

Он не повесится...

Для Бурри, я понимаю, это щекотливая ситуация. Он знает только, что карточка лежала на его столе, и подозрение, что Эндерлин прочел эту карточку, занимает его настолько, что за нашими вечерними шахматами он портит партию. Во всяком случае, славный наш Эндерлин вел себя довольно странно, когда он сегодня утром сообщил ему о его полном выздоровлении и скорой выписке. Подозрение, впрочем, возникло у Бурри во второй половине дня, когда он хватился карточки, заготовленной им не для Эндерлина, а для другого пациента, которому предстоит перевод в санаторий, и когда нашел эту карточку в корзинке для бумаг, исписанную на обороте благоприятными данными анализов для Эндерлина. Дурацкая небрежность! Мой совет Бурри просто поговорить с Эндерлином, кажется ему совершенно неприемлемым. Это только утвердило бы Эндерлина в мысли, что от него скрывают правду. С этим я соглашаюсь. Бурри не видит другой возможности, он просто выпишет Эндерлина и будет за ним наблюдать. Если человек считает, что ему осталось жить только год, в лучшем случае год, он же не станет жить так, как жил до сих пор, считает Бурри. И я не возражаю, чтобы мы могли сыграть еще вторую партию, кото-

рая, надо надеяться, будет лучше. Теперь у меня белые. Бурри по-прежнему неспокойно; поэтому он так медленно расставляет фигуры, так, словно вспоминает, где место слонов и где — коней. Разве я, спрашивает он, после того как я пошел королевской пешкой, стал бы жить так же, как до сих пор, знай я, что не позднее, чем через год, меня не будет в живых. Я этого не знаю. Честное слово. Я не могу этого представить себе. Я разыгрываю разнообразия ради гамбит.

Что́ я могу представить себе

(потому что сам испытал это):

Его пробуждение на следующее утро, рассвет за открытым окном (идет дождь), серый и без трещин, как гранит: из этого гранита, как крик, но беззвучно, вдруг лошадиная голова с красной гривой, она ржет, но беззвучно, с пеной на зубах, но туловище застряло, вырвалась только голова, глаза большие, безумные, ищущие милосердия,— все это одно мгновение,— затем терракота, искусно раскрашенная, черные ноздри и белые как мел зубы, все только раскрашено, красная грива застыла, все медленно уходит назад в скалу, которая беззвучно смыкается, без трещин, как рассвет за окном, серый, как гранит Сен-Готарда; в долине, глубоко внизу, далекое шоссе, виражи, полные крошечных пестрых автомобилей, которые катятся в Иерусалим...

Вдруг я в Иерусалиме.

Уже час назад, когда я пересек Иордан — просто канаву — и затем, попетляв по мертвой долине с верблюдами, вдруг увидел высоко над пустыней далекие каменные стены, желтые, как янтарь, каменные стены на утреннем солнце, это был Иерусалим — каким я его представлял себе... и вот я стою здесь, выйдя из своей машины, турист, не единственный, но в одиночестве. Дамасские Ворота. Когда я запираю машину, меня осеняет: Масличная гора, я проехал мимо нее не из равнодушия, а из-за ожидания, что сейчас будет Масличная гора. Как только перестаешь ехать, становится жарко. Я ехал семнадцать дней, чтобы стоять здесь, чтобы снова отпереть машину, чтобы выпить чаю из термоса, чтобы снова запереть машину; но вот и это сделано. Дамасские Ворота: мощно, красиво, известная римская кладка. Зачем эта поездка? Я спрашиваю себя; но вот я здесь. И это неправда, что я здесь. Дамасские Ворота на утреннем солнце, арабы, крик осла. Мое пребывание здесь как факт: я не в каком-то другом месте. Я вижу свой автомобиль-

ный номер в Иерусалиме, колючую проволоку на стене, пулеметы за мешками с песком. Чтобы проехать через границы арабских государств, я извел не менее шести метрик, это между прочим, только чтобы сказать, что я действительно проделал это путешествие. Несколько тысяч километров. И уже теперь я знаю, что и через много часов, когда я все осмотрю до изнеможения, это будет неправдой. Я вижу: дом Пилата, по меньшей мере то самое место, пятница, двор, тень, так что я задерживаюсь, ветки с лимонами в листьях, вид через аркаду на арабскую мечеть вместо Соломонова храма, ее купол словно из блеска мыльных пузырей. Не знаю, каждую ли пятницу это бывает: я вижу, как монахи опускаются на колени во дворе Пилата, францисканцы, все в коричневых сутанах, кое-кто в белом или желтоватом троническом шлеме, лица в пенсне, там и сям жужжат камеры, снимающие их молитву, паломники в шортах, северяне, принимающие юг за дачное место, крестятся и преклоняют колена, покуда францисканцы не поднимаются, чтобы отшагать Крестный путь. Я следую за бормочущим шествием. Шествие через арабский базар, шествие меньшинства, дозволенное законом, арабская полиция заботится о беспрепятственном следовании; жара, в узких улочках и солнце, и тень, и где светит солнце, все в дымке, сквозь которую ничего не видно, в темноте стучат молотки по меди, ослы кричат и здесь, арабы сидят на корточках у своих ларьков, молча, с длинными наргиле, базар, я вижу мясо, распоротую овцу, мясо в крови на солнце, с душком и облепленное мухами, францисканцы преклоняют колена и молятся на каждой остановке, туристы тоже, плащаница Вероники, и всегда кто-нибудь крестится раньше, чтобы потом подняться и снять других, в том числе и монахи, которые снимают своих братьев. Я только смотрю. Я заранее боюсь Голгофы. (Наши художники, Брейгель и другие, ввели меня в заблуждение; Голгофа находится не за пределами стен.) Мы на Голгофе. (Я ожидал: скалы или каменистая земля, без тени уже много тысячелетий, может быть, какие-нибудь колючки, травинки на жарком ветру пустыни.) Здесь упал Иисус с крестом, я вижу это место, а там вон воткнули крест в землю, спуск к могиле по мраморной лестнице, свет свечей в сумраке, Голгофа как интерьер, архитектура, которую нужно мысленно отбросить, шарканье паломников по мрамору, теперь надо снять темные очки, чтобы что-то увидеть. И все меньше правда, что я здесь. Мрамор, решетка, мрамор, свечи, мрамор, ладан, помпезно и затхло. Я не могу свыкнуться с ладаном, но остаюсь до ухода богомольцев; турист. Я вижу: место, где стоял крест,

мрамор распорот, как платье, голая скала как мясо, дыра в скале, дыра для креста... Потом я продолжаю осмотр, и Гефсиманы тоже, полдень, слишком жарко, чтобы что-то есть, кругом ничего, кроме пустыни, долин и гор из желтого песка, никаких больше деревень, хуторов, Иерусалим — единственный город под небом, солнце кружит над Иерусалимом, я иду пешком, Гефсимана — это садик, отрада тени, но я не сажусь. Я вижу: это маслина, где молился Иисус, сухое, корявое, серебристо-серое дерево. Сторож в форменной куртке, христианин-араб, указывает мне на легендарные следы ног в скале, и я даю ему, как он того и ждет, монетку. Архитектура и здесь, мрамор и ладан, и здесь тоже распорот мраморный пол, чтобы видна была священная скала...

Все остается видимостью.

Под вечер, когда я еду вниз и на каком-то вираже останавливаюсь, чтобы еще раз оглянуться на Иерусалим, на его стены при контровóм свете, я знаю лишь то, что знал и до того, как приехал сюда, и еду дальше в твердой решимости никогда об этом не рассказывать. Потом я все-таки рассказываю.

Вдруг праздник:

Повода не знает никто, Бурри тоже, который хоть и с опозданием, как всегда («Мне пришлось еще принять роды!»), все же явился, праздник с размахом, дамы в вечерних платьях располагаются на паркете, господин, который в центре их внимания (Зибенхаген?), острит, скрестив ноги, в саду танцуют, торшеры, ядовито-зеленый газон под торшерами, Бурри в смокинге, он поверил розыгрышу, единственный, кто мог бы угадать повод, врач-проницатель...

Год прошел.

Эндерлин, хозяин этого вечера, купил себе дом с садом и плавательным бассейном, который сейчас освещен и куда как раз бросают какую-то молодую даму, ее крики, потому что холодно, грандиозная, кажется, потеха; только Бурри, акушер в смокинге, топчется без дела и хочет есть, проигрыватель поет «Rien de rien, non, je ne regrette rien» [1], а Бурри тем временем угощается остатками и все еще не понимает, что́ это значит: друзья с осовелыми глазами и съехавшим галстуком, какая-то пара в обнимку на диване, Эндерлин в саду в гамаке,

[1] «Нет, пустяки, я не жалею ни о чем» *(франц.)*.

Эндерлин в возрасте 42 лет, 11 месяцев и точно 17 дней; его похмелье оттого, что он остался тем же...

Значит, стареть!

Рассвет —

но без лошадиной головы...

Серый —

но без крика...

Глупости, говорит Бурри, ты простудишься.

Врач-прорицатель!

Глупости, говорит Эндерлин, я доживу до семидесяти.

Гости ушли...

Пойдем теперь, говорит Бурри.

Птицы щебечут...

Бурри ушел.

Значит, стареть!

Эндерлин не пил. Он этого уже не переносит, известные ограничения устанавливаются без указания врача, так сказать, добровольно; не хочется оказываться совсем разбитым на следующее утро. До этого уже дошло. Еще он чувствует себя, так сказать, молодым. Только надо беречь себя. Ему льстит, когда его находят моложе, чем он на самом деле. До этого уже дошло. Он дарит драгоценности, когда любит. Раньше он не додумался бы до этого. У ювелира, поднимая глаза от колец и бус, он пугается: драгоценности дарят сплошь пожилые мужчины. Еще никто не встает в трамвае, чтобы уступить ему место. Это тоже придет. Еще не может быть речи о старости. Он только поражается, когда случайно видит какую-нибудь прежнюю фотографию, лицо, которого уже нет. Еще он тягается с молодыми. Но уже дошло до того, что на каждого он смотрит с мыслью, моложе ли он, и ему возражают, когда он говорит, что стареет, по праву. Еще не видно, так сказать, никаких примет. А что ожидания людям его года рождения уже не выдаются авансом, никто, понятно, не замечает, кроме него. Дряблая кожа и мешки под глазами, когда он, бреясь, поневоле глядит в зеркало,— все это еще кажется лишь признаком преходящей усталости. Он отказывается пугаться этого. Только зубы, иногда уже выпадавшие во сне,— известно, что это значит,— зубы пугают его, и еще глаза: все белое становится пепельным или желтоватым. До этого уже дошло. Волосы не выпадают, они только ложатся более плоско, а лоб растет; о лысине говорить еще рано. Но это придет. Губы становятся у́же, выразительнее так сказать, но обесцвечиваются. Еще впереди исполнение желаний, Бурри прав. И женщины предла-

гают свои услуги, как никогда прежде. Волосы на груди становятся серебристыми: но видно это только в ванной. Диета и немного спорта, с соблюдением меры и затратой энергии, не дают обрюзгнуть; мышцы от этого моложе не делаются. Ходит он еще без труда, но по своей тени он видит: пятидесятилетний мужчина, его походка становится сдержаннее, движение уже не захватывает все тело. Лицо становится более живым, чем тело, более личным от года к году, так сказать значительным, если оно не усталое, а усталым оно часто бывает. Когда он устает, он скрывает это по мере сил, если нужно, то с помощью таблеток. Еще не дошло до того, чтобы ему непременно надо было прилечь после обеда. Но все это придет. Еще он работает вовсю. Это — да. Он делает даже больше, чем раньше, потому что благодаря опыту быстрее определяет, что́ не получится, и в профессиональном отношении наступает лучшая его пора. Это — да. И придет то, чего он боится: его будут встречать с почтением. С почтением к его годам. Ему будут предоставлять слово, потому что он старше, и тут не поможет никакое панибратство, никакое заигрыванье с молодыми. Они становятся все моложе. Они слушают его из вежливости и все реже говорят, что они думают. Все это придет. Он будет ухаживать за ними, одновременно противиться тому, чтобы ему подавали пальто, и соглашаться с их неопытностью и с их экзальтированными ожиданиями. Его будут находить трогательным и несколько нудным, а он не будет этого замечать. Он будет восхищаться, чтобы не казаться завистливым, и будет завидовать всему, что у него самого уже было, завидовать потому, что это уже не будет казаться ему желанным. Все это придет. Привыкнув к естественному росту смертности среди своих ровесников и привыкнув к известным почестям, адресованным его прошлому, шестидесятилетний мужчина, которого начинают, и притом все искреннее, уверять, что его духовные силы в расцвете, он не будет жаловаться на свой возраст, наоборот, он возведет его в некий сан, удивляясь тому, что сан этот кажется не то что смешным, а прямо-таки заслуженным. Всего этого не задержать. И может быть, он доживет еще и до семидесяти, да, благодаря средствам современной медицины. Еще не дошло до того, чтобы за ним нужен был уход на каждом шагу. Конечно, ему нужна помощь. Конечно, он должен беречь себя. Для чего? Его память, хотя ее уже и не хватит на то, чтобы выучить какой-нибудь иностранный язык, будет поразительна; он будет вспоминать самые давние дела, некогда его занимавшие. Молодые (сорокалетние) будут спорить между

собой, а он будет сидеть рядом, избавленный от беспокойства. Его взгляды уже нельзя изменить. Он будет ежедневно совершать прогулку, может быть с палкой, во всяком случае в пиджаке, ежедневно читать газету, чтобы не гулять в прошлом. Сегодняшний день? Он знает, как дошло дело до этого сегодняшнего дня. Иногда он будет рассказывать о личных своих встречах с людьми, которые создали этот сегодняшний день, о своем времени, ставшем историей, каждый раз одно и то же...

Почему не повесился?

На вопрос, что бы она делала или чего бы не делала, если бы ей осталось жить только год, в лучшем случае год, Камилла Губер отвечает сразу:

— Перестала бы работать.

Что подразумевает она под работой, Гантенбайн, конечно, не спрашивает, делает вид, будто речь идет о маникюре.

— Хорошо,— спрашиваю я,— а что вместо этого?

Камилла, правда, не говорит, что бы она стала делать, но это можно угадать сквозь ее обесцвеченные перекисью волосы, когда вскоре опять звонит какой-то клиент.

— К сожалению,— говорит она,— вы неверно набрали номер.

И когда через минуту опять раздается звонок:

— Я же сказала, вы неверно набрали номер.

Она продолжает делать маникюр.

Первый раз Камилле не требуется истории; она сама, кажется, придумывает себе историю, без слов: ее последний год на белом свете, историю, по всей вероятности, с какими-то переменами, историю с глубоким смыслом, утешительную историю.

Я отступился от Эндерлина...

(Есть другие люди, от которых я не могу отступиться, даже если встречаю их редко или вообще не встречаю больше. Не то чтобы они преследовали меня в моем воображении, нет, я преследую их, мне по-прежнему любопытно, как повели бы они себя в той или иной ситуации, хоть я и толком не знаю, как они ведут себя в действительности. Действительное их поведение может разочаровать, но это ничего не значит; им остается простор моего ожидания. От таких людей отступиться я не могу. Они мне нужны, даже если они обошлись со мной сквер-

но. Это могут быть, кстати сказать, и мертвые. Они на всю жизнь приковывают меня к себе моим воображением: я представляю себе, что, окажись они в моей ситуации, они иначе восприняли бы ее, иначе действовали бы и иначе вышли бы из нее, чем я, которому отступиться от себя самого не дано. А от Эндерлина я могу отступиться.)

История для Камиллы (утешительная):

Али, как ясно уже из имени, был араб, молодой пастух в верховье Евфрата, и пришло время ему жениться. Но Али был беден. Приличная девушка стоила тогда в тех местах 15 фунтов, большие деньги для пастуха. У Али просто-напросто было лишь 10 фунтов. Услыхав, что на юге невесты дешевле, он не стал долго мешкать, взял своего осла, наполнил водой бурдюки и поехал верхом на юг. Он ехал много недель. Просто пришло время ему жениться, он был молод и здоров. Так ехал он, полный надежд, с 10 фунтами в кармане, как сказано, много недель, питаясь финиками. Когда Али наконец добрался до этих хваленых мест, там хватало и дочерей, которые ему нравились, и отцов, которые хотели продать их; но невесты и на юге тем временем вздорожали, и жениться за 10 фунтов никак нельзя было, даже на некрасивой девушке. Курс дня — 12 фунтов, 11 фунтов — редчайшая удача; Али торговался целыми днями, но безуспешно, 10 фунтов — это было не предложение, а оскорбление, и, убедившись, что ему здесь нечего делать, Али опять взял своего осла, наполнил водой бурдюки и, огорченный до смерти, поехал на север со своими 10 фунтами в кармане, ибо ничего не истратил, словно все еще верил в чудо. И конечно, за чудом, которого Али заслуживал, поскольку признавал чудеса, дело не стало. На полпути между югом и севером, у колодца, где Али подкреплял силы своего грустного осла и свои собственные, он увидал девушку, какой еще ни разу не встречал, красивее всех, которых он не мог получить за свои 10 фунтов, слепую девушку. Это было досадно. Девушка, однако, была не только красивее всех, но и милее, поскольку она была слепая и ей никогда, ни в одном колодце, не доводилось увидеть, как она хороша, и, когда Али сказал ей, как она хороша, всеми словами, известными арабскому пастуху, она тут же полюбила его и попросила своего отца, чтобы он продал ее Али. Она была дешева, из-за ее слепоты отец хотел сбыть ее с рук, пугающе дешева: 6 фунтов. Ибо никому на всем Евфрате не

нужна была слепая невеста. Но Али взял ее, посадил на своего подкрепившегося осла и назвал ее Алиль, а сам пошел пешком. В деревнях, где бы ни появлялся Али со своей Алиль, люди не верили собственным глазам, более красивой девушки никто никогда не видел даже во сне, вот только она была, к сожалению, слепая. Но у Али было еще 4 фунта в кармане, и, добравшись домой, он повел ее к лекарю и сказал: «Вот 4 фунта, сделай-ка так, чтобы Алиль видела своего Али». Когда лекарю это удалось и Алиль увидела, что по сравнению с другими окрестными пастухами ее Али совсем не красив, она тем не менее любила его по-прежнему, ибо своей любовью он подарил ей все краски этого мира, и она была счастлива, и он был счастлив, и Али и Алиль были самой счастливой парой на краю пустыни...

Камилла разочарована.

— Ну что ж,— говорит она, не поднимая глаз и не прерывая маникюра,— но это сказка.

Камилла не хочет слушать дальше.

— Погодите! — говорю я.— Погодите!

Камилла орудует напильничком.

...Сказка продолжалась год, потом она кончилась; от общения с Алиль Али заразился и стал медленно, но верно слепнуть, и наступила лихая година, ибо, как только Али ослеп, он перестал верить, что она его любит, и каждый раз, когда Алиль уходила из шатра, он ревновал. Никакие ее клятвы не помогали. Может быть, она и в самом деле ходила к другим пастухам, это неизвестно. Али ведь не мог этого видеть, и, не вынеся такой неизвестности, он стал ее бить. Это было скверно. В остальном он больше не прикасался к своей Алиль. Так продолжалось долгое время, пока Али не отомстил, обнимая другую девушку, которая все чаще и чаще пробиралась в его шатер. Но и от этого он не выздоровел, наоборот, становилось все хуже. Заметив, что это его Алиль лежит в его шатре, он бил ее, и она плакала, так что слышно было снаружи, и Али и Алиль были самой несчастной парой на краю пустыни. Это было общеизвестно. Когда об этом услыхал лекарь, он сжалился и приехал, чтобы излечить Али, хотя тот и фунта уже не мог заплатить. Али стал опять видеть, но он не сказал своей Алиль, что стал опять видеть, ибо хотел тайком проследить за ней, и так он и поступил. Но что же он увидел? Он увидел, как она плакала, потому что он побил ее в шатре, и он увидел, как она мыла лицо, собираясь пробраться в его шатер под видом другой девушки, чтобы слепой Али ее обнимал...

— Нет,— говорит Камилла,— в самом деле?

Маникюр окончен.

— Серьезно,— спрашивает она, собирая ножнички и напильнички,— эта история не выдумана?

— Нет,— говорю я,— по-моему, нет.

Игра с темными очками, с черной палочкой и с повязкой, которая каждый раз, как только Гантенбайн выходит из дому, оказывается на рукаве другого костюма, так что приходится возвращаться, мало-помалу надоедает, по-моему, тоже; я понял бы Гантенбайна, если бы он вдруг отказался от своей роли, и особенно интересует меня, как это восприняла бы Лиля, если бы в один прекрасный вечер Гантенбайн признался ей, что он видит.

Искушение становится все сильнее.

К чему это притворство?

Я сижу у камина, полночь, стакан в руке, лед в стакане, так что, стоит мне качнуть стакан, слышно звяканье. Может быть, я выпил уже слишком много. Гости наконец разошлись; опять было утомительно играть Гантенбайна и не говорить людям о том, что видишь. Я только что положил полено в камин, а Лиля читает газету, и я смотрю, как медленно начинает дымиться полено в камине над раскаленной золой этого вечера: вдруг вспыхивает первое пламя, маленькая, мимолетная, синеватая, дикая прихоть, которая сразу же сходит на нет, но через несколько дымных мгновений возникает опять теперь уже ярким, трескучим пламенем. Больше ничего не происходит. Лиля снова рассказала нашим гостям, с успехом, как большей частью, анекдот о слепом Гантенбайне в ее уборной. Гости, как сказано, ушли: мы тоже скоро ляжем спать, по всей вероятности. Со стаканом в руке, со льдом в стакане, так что, стоит мне качнуть стакан, слышно веселое звяканье, вижу я наше счастье. Верит ли еще Лиля на самом деле в мою слепоту? Я вижу ее ноги, левая закинута на правую, ее коленку, затем ее обтягивающую юбку, еще я вижу обе ее руки, которыми она держит развернутую газету: под крупным заголовком сообщение об убийстве.

— Слушай,— спрашивает она,— ты это читал?..

Она ни о чем не думает, когда задает такие вопросы. Она делает это часто, вовсе не желая подвергать Гантенбайна проверке.

— Да,— говорю я,— читал.

Пауза.

— Нет,— говорит она,— как такое возможно!

Она имеет в виду убийство.

— Ужасно! — находит она.

Я пью, покуда есть еще лед в стакане, и напряженно жду, со стаканом в руке, не дойдет ли до Лили вдруг, что́ я сейчас сказал; но жду я напрасно, и, поскольку ничего дальше не следует, я повторяю:

— Да... читал.

Она этого просто не слышит.

— Слушай,— спрашивает она,— есть еще виски?

Есть.

— Спасибо,— говорит она позднее,— спасибо.

Молчание.

— Лиля,— говорю я,— я тебе что-то сказал.

— Прости! — говорит она.

Наконец она кладет газету, но никакого удивления, я вижу, на лице ее нет, она просто берет виски, чтобы услышать, чтобы спросить:

— Что ты сказал?

Я медлю.

— Я сказал,— медленно усмехаюсь и еще раз отпиваю из стакана, это невкусная талая водица, так что я перестаю усмехаться,— я сказал, что я это читал.

— По-твоему, это не ужасно?

Она по-прежнему имеет в виду убийство.

— Да, ужасно...

Я вижу, Гантенбайну достаточно теперь молчать и курить, и все бы осталось по-старому, но, может быть, теперь его возьмет злость,— я могу это представить себе,— злость, которая добром не кончится, я знаю это и обеими руками держу свой пустой стакан, чтобы Гантенбайн не грохнул им в стену. Что толку. Я вижу полыхающее полено в камине, я вижу Лилю, как она пьет, как потом снова берет газету, вижу сообщение об убийстве.

Я только представляю это себе:

Сперва помолчав, словно бы совладав с собой, после того как он грохнул стаканом в стену, бледный от волнения, сам не зная, чего он, собственно, хочет, зная лишь, что предпочел бы промолчать, но осколки — это осколки, тут уже ничего не изменишь, даже если он промолчит, в состоянии, которое действительно пугает бедную Лилю, без очков (как вообще-то лишь при объятии и когда плавает) и дрожа от раскаянья, что он теперь (почему, собственно?) отказывается от своей тайны, с

очками в руке, Гантенбайн говорит, что он не слепой, шагая по комнате взад-вперед, о нет, не слепой, смеется он, не глядя на Лилю, слепой от ярости, крича до хрипоты и перечисляя все, что он всегда видел, да, видел, верит этому Лиля или не верит, о нет, он не слепой, кричит он, так что слышно всем соседям, кипя от ярости из-за того, что Лиля не падает в обморок от его откровения, а только собирает осколки, в то время как Гантенбайн, чтобы показать, что он не слепой, опрокидывает ногами кресла, молча, потом он еще раз говорит, что все видел, все, все, и ее молчание не успокаивает его, он стучит кулаком по столу, который видел всегда, ведет себя так, словно не он притворялся все эти годы, а она, Лиля, он хватает ее, трясет, пока она не начинает плакать; он потерял рассудок, да, он и сам видит, что потерял рассудок, видит, да, видит кресла, валяющиеся на полу, и тем, что он сам расставляет их, ничему не поможешь, что сказано, то сказано, Лиля рыдает, словно он ее обманул, ее нитка жемчуга тоже порвалась, о нет, он не слепой, говорит он, пытаясь успокоить себя сигаретой, но длится это недолго, даже половины сигареты не длится, потом он снова наносит удары, пускай лишь словами, обезумев, как лошадь, которая поскользнулась и в ужасе от самой себя...

Как дальше?

В то время как для Лили, после того как он успокоился и извинился за нитку жемчуга, ничего, в сущности, не изменилось — ибо для нее-то он из-за своего признания не стал ни более, ни менее слеп, чем прежде,— для Гантенбайна, поскольку он больше не играет слепого, начинается действительно новая жизнь...

Я представляю себе:

Однажды (вскоре после этого) Лиля возвращается домой какая-то странная. Это не в первый раз, но в первый раз она знает, что я вижу это уже на перроне. Я подзываю такси, в то время как она говорит: «Привет от Генри!» Я благодарю. «Ничего нового?» — «Отвратительная погода уже несколько дней, я работал». Я спрашиваю: «Что у тебя стряслось?» Таксиста это не касается. Об этом позже! Значит, позавчера она была у Генри и его жены, которая тоже передает мне привет. Лиля рассказывает больше, чем когда-либо после поездки. Я еще ни разу не видел русского балета, но верю сразу, что это великолепно. Что дальше? Я уже догадываюсь, я боюсь, что Лиля опять заключила договор на немецкий фильм. Так скажи уж! Мне любопытно. Почему я не целую ее? Потому что курю. Моему отцу лучше, спасибо, а погода, да, просто не верится, какая

разная погода может быть в разных странах. В Гамбурге, например, светило солнце, да, как нарочно в Гамбурге. А здесь, стало быть, говорю я, уже три дня идет дождь. Я узнаю, что Лиля, между прочим, встретила своего первого мужа. Как так между прочим? Он был скучен, говорит она откровенно. Почему так откровенно? Значит, Свобода был скучен. Кто бы мог ожидать! В первый раз, с тех пор как я слышу о Свободе, он был определенно скучен. Что еще? Между прочим, Свобода передает мне привет; все на свете передают мне привет. Между прочим, я тоже должен сделать признание: авария из-за гололеда! Меня просто закрутило. Гололед! Сейчас идет дождь, но позавчера был гололед; наш таксист может это подтвердить. Дома я снимаю с нее пальто и вешаю на плечики с вопросом: «Итак, Лилечка, в чем дело?» Я приношу два стакана, и Лиля довольна, что случилось что-то с машиной, а не со мной. Повторяюсь: «Я ехал со скоростью 50, максимум 60 километров, но, когда гололед, ничего не поделаешь. Итак, будем здоровы!» Но Лиля не может оправиться от встречи со своим первым мужем, который еще раз передает мне сейчас привет. Как может первый муж стать таким скучным! Я приношу лед. Почему Лиля опоздала на самолет — это вопрос, который остается открытым, поскольку я, как сказано было, приношу лед, а Лиля тем временем размышляет, кто еще передает мне привет. Найдется еще кто-нибудь, я полагаю. У единственного, кто не передает мне привета, нет имени, я ведь его не знаю, вот он и не передает мне привета. Я понимаю. После русского балета, как я слышу, была какая-то группа студенческой молодежи. Я не так понимаю. Конечно, не вся группа хочет жениться на Лиле, а кто-то один. Как он это представляет себе? Лиля тоже, как я слышу, находит это безумием, но рассчитывает на мое понимание. Как можно понять то, чего не знаешь? Я требую точных сведений, я становлюсь мелочным, каким Гантенбайн никогда не был, и это для Лили мучительное разочарование. Она молчит, чтобы показать свое разочарование. Неужели мы должны стать обыкновенной парой? Ну так вот, в понедельник, или это было в воскресенье, нет, ну да это все равно, во всяком случае, это было после спектакля, который, между прочим, прошел успешно. Что? Лиля же говорит: группа студентов, но и танцовщиков тоже. Я пытаюсь представить это себе; я тоже был когда-то студентом, но не таким смелым, как этот, которого Лиля, чтоб побыстрее разделаться с этой темой, называет гадким. Я смутно угадываю в нем черты гениальности, слушая вынужденный отчет Лили, и наполняю свой стакан. Я пони-

маю, о да, я нахожу это эффектным, если студент, лет двадцати с небольшим, подавая пальто даме, поговорить с которой он не нашел случая, без обиняков заявляет, что готов полететь с ней в Уругвай, чтобы там жить с ней, и понимаю, что эта дама, то есть Лиля, как-никак смущена. Почему я все понимаю не так? Стало быть, не студент, а танцовщик, нет, опять не то; просто гадкий. Как его фамилия, этого гадкого, право же неважно. Значит, он проводил ее домой, то есть в гостиницу. Что дальше? Я опять понимаю не так. Ничего больше! Я удовлетворяюсь, стало быть, не то студентом, не то танцовщиком, который, возможно, гений, потому что он все знаменитое считает старьем, в том числе русский балет, и который хочет жениться на Лиле, причем немедленно. Судьба! Я ведь спрашиваю только, знает ли он, что Лиля замужем. Почему я невозможен? Я ведь не спрашиваю, есть ли у него деньги; я пью и молчу; все, что мне приходит в голову, банально. Где есть любовь, там есть и самолет в Уругвай. Так вот, Лиля успокаивает меня, хотя я спокойнее, чем она: не танцовщик, нет, и не студент, Лиля даже не знает, кто он. Этим-то он и великолепен. И речь, я понимаю, идет не о женитьбе в обывательском смысле, а о чем-то другом; Лиля не хочет этого назвать, я это говорю: о чем-то внепространственном. Лиля признает, что с его стороны все именно так и рисовалось. Мысль, что я сейчас мог бы влепить ей пощечину, первую, конечно, ставит меня в тупик. Когда я деловито осведомляюсь, каким представляет себе Лиля уругвайский климат, Лиля, которая так чувствительна к климату, выясняется, что он говорил вовсе не об Уругвае, а о Парагвае; Лиля просто оговорилась. Я Лилю совсем сбил с толку. Вообще я несправедлив к нему; что он хочет жениться на Лиле, он сказал вовсе не в первый вечер, я все передергиваю, а на перроне перед ее отъездом. Я посрамлен. Вместо признания, которое дало бы толчок моему мужскому самолюбию, я слышу только о каком-то впечатлении, которое словами вообще нельзя выразить. Значит, не будем тратить слов! Лиля просто смущена. Я это вижу. Установлено, что она его терпеть не может, и вдобавок выясняется, что он красив, но невозможен, но красив, гадкий, она же это сказала, фу ты господи, и как он говорит, и то, что он говорит,— все ей отвратно, наглость у него какая-то мальчишеская, и Лиля находит его назойливым, но она не могла взять себя в руки, когда он глядел на нее. Морская свинка и змея! Лиля так не говорит, но я понимаю. Я не знаю Парагвая, но я понимаю, что он, со своей точки зрения, не может понять, почему Лиля, такая женщина, как Лиля, возвра-

щается к Гаптенбайну. Не поставить ли нам пластинку? Я только так, к слову. Если бы нам хотя бы хотелось есть! Мой вопрос, что же теперь дальше-то будет, не настолько, по-моему, нелеп, чтобы Лиле следовало кричать на меня в ответ. Ничего не будет, господи боже мой, вообще ничего! Да и не было ничего. Разве Лиля виновата, что ей встретился какой-то безумец? Это слово употребила она. Я ставлю пластинку, я не дрожу, опуская иглу на пластинку, ведь ничего не произошло, Лиля находит меня невозможным, она же говорит, что не выносит его, не выносит. К сожалению, она не смогла сказать этого ему: она говорит это мне. Это-то и произвело на нее впечатление: как можно находить красивым гадкое? Пластинка вертится, но мы не слушаем ее. Я слышу: когда он глядел ей в глаза, он мог говорить что хотел, этот нахал! Она повторяет: этот нахал! Я не подхватываю этого слова, оно мне не подобает; к тому же я не знаю, нахал ли он. Это выяснится. Может быть, он приедет сюда на днях? — спрашиваю я, зажигая наконец трубку, и Лиля находит меня пошлым. С чего бы ему приезжать сюда? Я полагаю: чтобы забрать Лилю. Лиля находит, что юмор тут неуместен. Мы слушаем Бранденбургский концерт, по-моему, пятый, и знать мне хотелось бы вот что: как попрощались они сегодня днем, я не имею в виду — целовались ли они на перроне в солнечном Гамбурге, я имею в виду только — в каком смысле? Лиля не отвечает на мой вопрос, а повторяет: безумец! Знать мне хотелось бы вот что: уведомила ли его каким-нибудь образом Лиля о существовании Гаптенбайна? Лиля предпочитает послушать Брамса. Конечно, ему нетрудно догадаться, что у Лили есть какой-то мужчина. Я ищу Брамса, Лиля права, вопрос мой глуп. С какой стати ей посвящать незнакомого человека, только потому, что он готов на ней жениться, в свои обстоятельства? Лиля права. Какое было дело этому нахалу до того, что Лиля и Гаптенбайн, как я знаю, счастливы? Я ставлю пластинку, Лиля права, я опускаю иглу на вертящуюся пластинку...

Пока все в порядке.

Телеграмма на следующее утро меня не удивляет. Почтамт преспокойно передает ее по телефону. Я записываю:

ПРИЕДУ ЗАВТРА ЭЙНГОРН [1].

Я благодарю почтамт, Лиля спит, и если она собирается в Уругвай уже сегодня, то пора укладывать вещи, то есть мне надо бы ее разбудить. Может быть, лучше подождать, пока не

[1] Einhorn *(нем.)* — единорог.

успокоюсь; может быть, я никогда больше не буду так спокоен, как сейчас. Некоторое время я продолжаю завтракать, затем одеваюсь и не забываю о галстуке. Возможно, что телеграмму послали уже вчера, когда мы еще слушали Брамса, а это значило бы: завтра — это сегодня. Лиля находит, что я с ума сошел, да, совсем с ума сошел; она возмущена, как будто я послал эту телеграмму. Об этом не может быть и речи, говорит она, но сказать-то это легко. Я приношу ее халат. Уж не ожидает ли она, что я выйду к ее единорогу и скажу: Лиля не может его принять? Этого она ожидает, да, в самом деле. Не рассмеется ли ее единорог? Лиля находит, что я пошляк, поскольку говорю не «пахал», а «единорог». Ни о чем, говорит она, ни о чем они не договаривались! Лиля удивлена больше, чем я, что он руководствуется тем, какие взгляды бросала она на него, и коротко и ясно говорит мне то, о чем своему единорогу сказать забыла: что у нее нет ни малейшего желания встречаться снова. Но если он уже в пути? Лиля просто не понимает, откуда у него вообще ее адрес. Наш адрес. Я, конечно, задаюсь вопросом, как мне вести себя в отношении какого-то единорога, и безумец теперь я, потому что Лиля просто бросила на него взгляд, а он возьми да прими это всерьез. Я все еще держу ее халат. Но ведь Лиле не хочется, чтобы он явился сюда, об этом и речи не может быть! Я не понимаю, почему она теперь отчитывает меня. Она хочет немедленно дать телеграмму. «У тебя есть его адрес?» — спрашиваю я деловито, в то время как Лиля роется в своей сумочке. Есть. Слава богу. Первое, что приходит ей в голову: НАХОЖУСЬ ОТЪЕЗДЕ. Раз уж меня спрашивают, считаю ли я это правильным, я вынужден признаться, что, будь я единорогом, меня бы это не убедило. Ложь — пускай! Но я смущен, вернее, поражен тем, что между Лилей и этим единорогом явно уже есть какая-то близость, заставляющая лгать. Второй вариант: ПРИЕЗД СОЖАЛЕНИЮ НЕВОЗМОЖЕН. Из этого тоже не ясно, перешли ли единорог и Лиля на «ты», и раз уж меня спрашивают, то я нахожу, что его приезд не невозможен, а, наоборот, логичен. Но ведь Лиля не хочет его видеть! Едва ли он догадается об этом, нахожу я, когда прочтет: ПРИЕЗД СОЖАЛЕНИЮ НЕВОЗМОЖЕН. Почему СОЖАЛЕНИЮ? Из этого он вычитает, что у Лили малодушный супруг. Значит: ПРИЕЗД НЕВОЗМОЖЕН. Лиля действительно не хочет видеть его, это выяснено, но увидеть его хочется мне. Я никогда еще не видел единорогов. Третий вариант: Я ЗАМУЖЕМ. Это его не удивит. Чем это я так уж мучаю Лилю? Может быть, лучше бы им разок обнять друг друга,

прежде чем ехать в Уругвай или Парагвай? Этого я не сказал вслух, нет, я уже посрамлен тем, что так подумал. Если Лиля не наденет наконец халат, я думаю, она простудится. Значит: ПОЖАЛУЙСТА НЕТ ПОЖАЛУЙСТА. Это ясно. Доволен ли я теперь? Как будто все дело в этом. Он будет доволен! Какой вскрик! Я согласен, о да, патетика — пусть, если она искренняя. Это телеграмма, какой не каждый двадцатилетний мальчишка может похвастаться. Раз уж меня спрашивают, я думаю сейчас о донне Проезе, которую однажды играла Лиля, но прежде всего о том, как мне вести себя, если единорог все-таки явится. Фамилия его вообще не Эйнгорн! Я устраиваю сцену, находит Лиля. А мне только хотелось бы знать, к чему приготовиться. Мне тоже, может быть, трудно найти верное слово. Я же не знаю, что произошло. Я вижу только смятение зрелой женщины. Я строю догадки. Пустяк или судьба? Я должен быть готов, мне кажется, ко всему, и поэтому я в таком напряжении, когда Лиля встает и молча (зла на меня!) идет к телефону, чтобы передать телеграмму. Какой будет вариант? Но Лиля закрывает дверь; мне ничего не слышно, я стою и курю...

Вот и вся сцена.

Гантенбайн невозможен, с тех пор как он перестал играть слепого. Я в беспокойстве... Вечером, в четверг, они говорят благоразумно и откровенно, словно о каком-то исчерпанном деле, которое не стоит и разговора, даже с юмором, который не обижает; при этом они пьют вино, не слишком много, но из особой бутылки, и пластинок они не ставят, нет, они вдруг откровенно говорят и о прошлом, говорят то, что еще ни разу не было высказано. Гантенбайн и Лиля близки друг другу, как давно уже не были...

Пока все превосходно.

На следующее утро, в пятницу, приходит телеграмма, которую Лиля у меня на глазах, я это вижу, сразу рвет на клочки. Это за завтраком. Клочки она сует в карман халата. «Хочешь еще гренков?» — спрашивает она, а я говорю о мировых событиях, покуда Лиля вдруг не встает, чтобы взять носовой платок; он нужен ей, носовой платок, чтобы заткнуть им карман халата, тогда клочки не вылетят. Я спрашиваю ее о репетициях. Позднее клочки не попадают в корзинку для бумаг, а исчезают с основательно спущенной водой. Мне пора идти, я уже стою в пальто, когда Лиля просит меня, чтобы мы уехали куда-нибудь, и сегодня же. Я в курсе дела: значит, он явится! На следующей неделе у Лили только одна репетиция, которую она отменит; она не хочет видеть этого безумца. Уехать?

Я спрашиваю, почему она не хочет уехать одна. Она боится, что я врежу по физиономии любому мужчине, который позвонит у нашей двери? У меня нет такого намерения, но кто за себя поручится, и, видя, как Лиле страшно, я могу, правда, отговаривать ее, пока она не начинает плакать, от этой поездки, которая мне совсем некстати, но не могу ответить отказом на ее просьбу, которую она противопоставляет моим резонам, не могу, кажется, именно в эти дни. Итак, мы едем! Правда, идет дождь, но где-нибудь на свете сияет же солнце, на Эльбе, или в Энгадине, или на Майорке...

Я представляю себе:

Гантенбайн и Лиля на берегу моря, почти безлюдном, солнце, но ветрено, и на Лиле не бикини, как обычно, а модель, которой Гантенбайн еще не видел, она привлекает внимание не только Гантенбайна, а и загорелых, босоногих парней, дающих им напрокат зонтик от солнца, но прежде всего — внимание других купальщиков, слоняющихся по пляжу под предлогом поисков ракушек, особенно внимание дам, они в бикини и сами себе кажутся непривлекательными — вполне справедливо, по мнению Гантенбайна; то, что на Лиле,— это антибикини: только бедра открыты и ноги, конечно, тело закрыто, трико в обтяжку, белое как пух чаек, купальный костюм с длинными рукавами, да, до запястий, вдобавок декольте как на большом вечернем платье, от плеча, стало быть, до плеча, вдобавок ее черные волосы, мокрые, поскольку Лиля плавает без шапочки, разделенные на пряди водой, как волосы античных скульптур... Так лежит Лиля на песке, ее рука на моем колене, Гантенбайн сидит, ни слова об Эйнгорне, или Лиля лежит на животе и курит и читает, а Гантенбайн охотится с подводным ружьем, тоже счастливый, да, теперь, отказавшись от роли слепого, он может опять охотиться с подводным ружьем, и ему не нужно умалчивать о том, каких он видел полипов, ежей, медуз. Он видит, Лиля тоже не думает об Эйнгорне, ни секунды о нем не думает. Он видит это по ней. Хорошо. Часами играют они пестрым мячом, Лиля и Гантенбайн, или прыгают в волнах прибоя, понятия не имея, какой сегодня день недели. Никто не знает их адреса (гостиница «Форментор», Майорка), никто на свете и никто в театре, даже телеграмму послать никто им не может. Лиля мечтает о доме у моря, жизнь без ролей, вдалеке от кинематографа и телевидения, хотя и не обязательно в «Форменторе», а вообще где-нибудь, просто дом у моря, ведь есть же такие, вопрос только в деньгах, кипящий вопрос. Чертятся планы, которые смывает набегающая волна, но это ничего не

значит, чертится новый план. Куда ты? Гантенбайн возвращается с ветками, ветками олеандра, чтобы наглядно представить сад. Мужчины так изобретательны и ловки, а Лиля в своем белом, как чаячий пух, купально-вечернем платье, куря сигарету и восхищаясь чертежом, которого она не может прочесть, знает только одно: это должен быть дом со множеством комнат, и с собственными маслинами, и с собственным виноградом, конечно, и притом очень простой, о да, но с ванными, конечно, и с бобриком на полу, это уж непременно, это нужно, и если уж делать, так делать. Они говорят совершенно серьезно, Гантенбайн и Лиля, они говорят даже о своей старости, которая когда-то придет, о своей общей будущей старости, Филемон и Бавкида...

Я представляю себе:

Никогда больше никакого крика!

Я представляю себе:

Когда Филемон и Бавкида возвращаются через неделю домой, их ждет несколько писем, но Филемон интересуется только своими, Филемон опять человек с душой и умом...

А Бавкида?

У нее есть выдвижной ящик со старинным замком, который всегда заперт. Откуда я это знаю? Я никогда не пытался открыть этот ящик. С чего бы вдруг! Я вижу только, когда Бавкиде нужно что-либо достать из этого ящика, она отпирает его ключиком, и каждый раз говорю Филемону, что ему до этого ящика просто нет дела. Мы с ним одного мнения. Только тщательность, с какой она прячет ключик, забавляет его все больше и больше, и в одно прекрасное утро этот ящик случайно оказывается выдвинут, явно по оплошности. Или она хочет подвергнуть Филемона проверке? У него, видит бог, полно других забот. Пойти и задвинуть ящик, чтобы Бавкида не испугалась потом? Так тоже нельзя, нахожу я и стою за то, чтобы Филемон занялся сейчас этой проклятой налоговой декларацией или какими-то там другими текущими делами. Она только что звонила, она у парикмахера и придет позднее. Я отказываюсь думать, что это уловка. Взять и позвонить парикмахеру, чтобы удостовериться, что Бавкида раньше чем через два часа не вернется,— это для Филемона запретный ход. Это не в стиле отношений между Филемоном и Бавкидой. И если он потом все-таки звонит, то лишь потому, что для налоговой декларации ему и правда нужна какая-то справка, которой она из сушилки, конечно, не может дать. Во всяком случае, Бавкида, стало быть, действительно у парикмахера. Разве Филемон сомневал-

ся в этом? Он не может, проходя мимо, не видеть: ящик набит письмами. Он волен читать их два часа. Письма от Эйнгорна? Теперь две возможности: либо он сделает это, либо сдержит себя. Конечно, он этого не делает. Но необходимость сдерживать себя настраивает его против Бавкиды. У него, в сущности, как сказано было, полно других забот. Одним словом, он этого не делает.

Я испытываю облегчение.

Ничего тут нет удивительного, если актриса, которую миллионы людей видят по телевизору, получает письма. Это понятно; не совсем понятно, почему приходит так много писем с датскими марками. Похоже на то, что датчане особенные охотники до телевидения и у них в ходу только одна система пишущих машинок. Не совсем понятно: почему среди всех писем, которые Бавкида часто не убирает неделями, никогда не оказывается письма с датскими марками. Не обращать на это внимания — вот единственное, что я могу посоветовать славному Филемону. Не принесла ли почта ему каких-нибудь неприятных известий, спрашивает она за завтраком, пряча письмо с датскими марками (датские марки Филемон теперь узнает уже с расстояния от трех до четырех метров) в карман халата, она не читает письма, чтобы не подгорели гренки. Его вопрос: «Что нового?» — относится исключительно к письмам без датских марок, а поэтому Бавкида и отвечает на него. В среднем из Дании приходит в неделю два-три письма, все без обратного адреса. Филемону, конечно, стыдно перед самим собой, что он их считает, и мне незачем говорить ему, что он, мягко выражаясь, дурак.

Займемся чем-нибудь другим!

Например:

Разделенная Германия, причем возникает вопрос, при каких предпосылках воссоединение, которого требуют в самом деле или для вида, не будет опасностью для Европы, угрозой миру; почему мы не делаем всего, чтобы создать эти предпосылки?..

Или:

Положение в Испании...

Или:

Загрязнение наших озер...

Займемся этим!

Что касается Филемона и Бавкиды, то известно, что ревность, обоснованная или необоснованная, редко сводилась на нет достойным и тихим самообладанием, скорей уж собственной неверностью, хотя классическая легенда о Филемоне и

Бавкиде умалчивает о ней, и по праву; достаточно того, что Филемон это знает. Он не знал, как непринужденно он может лгать; он поражается. Филемон слишком давно не лгал; это и сделало его таким чувствительным. Лишь в первый момент, когда он видит свою Бавкиду, ему не по себе; ему кажется, что ее губы должны это заметить. Но Бавкида не замечает того, что замечают ее губы, и счастлива, Филемон снова полон бодрости, и, когда он говорит, что любит ее, это правда, хотя три часа назад он любил другую женщину; он поражается тому, до какой степени это правда, о да, в такой же степени, как его тайна.

Пока все в порядке.

Это чистое озорство, когда однажды Филемон целую неделю просто-напросто не вручает ей писем из Дании, которые, несмотря ни на что, не перестают приходить. Не знаю, зачем он это делает. Чистое озорство. Может быть, хочет только показать мне, с какой он теперь легкостью смотрит на это. Он спрашивает: «Что нового?», и Бавкида срезает верхушку яйца или наливает чай, не спрашивая даже: «А мне нет писем?» Через неделю неспокойно становится Филемону; ведь в нагрудном кармане у него уже три письма, три письма с датскими марками. К счастью, Бавкида не интересуется его костюмами. А то хорош бы он был! Оброни она хоть слово, выдай хоть взглядом свое беспокойство, и Филемон сразу же полез бы в нагрудный карман, извинился бы за забывчивость и вручил бы ей письма из Дании. В целости и сохранности! Вместо этого приходит спешное письмо, заказное, с нарочным, так что получает его Бавкида лично. Она читает, не забывая при этом о гренках, и ни словом не заикается о том, что он скрыл от нее какие-то письма, минимум три письма. Ни словом. Филемон намазывает гренок маслом, заглядывая в утреннюю газету. Я спрашиваю себя: как быть теперь с этими тремя письмами? Несколько мгновений, сидя уже в машине и включая стартер, Филемон размышляет, не вернуться ли ему в дом, чтобы напрямик призвать к ответу Бавкиду, эту лицедейку до мозга костей. Филемон! — говорю я и оставляю руку на стартере. Разве не делает ему чести, что эти письма так неприкрыто приходят в дом? Я пытаюсь успокоить его. Не значит ли это, что они по крайней мере не считают его мелочным? Я говорю: поезжай! Мотор уже давно работает, и я рад, что он наконец надевает перчатки, только его лицо в автомобильном зеркальце еще заботит меня. Почему такая ярость на лице? Он не говорить, о чем он думает, вероятно вообще ни о чем. Я думаю:

до сих пор Филемон держался безупречно, до сих пор! Когда пришло сразу два письма из Дании, он просто положил их возле салфетки, не улыбнувшись, и Бавкида, обычно такая непринужденная, стала угрюмой, скучной, раздраженной, натянутой. Чего еще желать? Я понимаю: Филемон хочет избавиться от этих трех писем. Не читая их! Будем надеяться. Почему смущает его то, что его Бавкида, судя по тревоге в Дании, тоже пишет явно минимум по два раза в неделю? Это действительно смущает его. Уж не думал ли он, что какой-то датчанин станет играть в пинг-понг мячиками, которые не возвращаются? Мне еще раз приходится напомнить, что до сих пор Филемон вел себя безупречно; он никогда не клал писем из Дании поверх других, что было бы бестактно. Это спешное заказное письмо и ее презрительное молчание по поводу того, что письма пропали, — вот что его злит. Может быть, подняться к ней и извиниться? Наконец, первая мысль: «Поеду-ка на главный почтамт и просто брошу еще раз в почтовый ящик эти три скрытых письма. Точка. Боюсь только, что почта, с ее педантизмом, еще раз поставит на них свой штемпель, штемпель с датой. Что тогда?» Остается только одно: Филемон, хотя у него, право, хватает других забот, поедет в лес, чтобы сжечь эти три письма.

Итак, Филемон едет.

Я не понимаю, зачем ехать так далеко?

Филемону не хочется, чтобы его кто-нибудь видел, даже рабочие лесничества. Идет дождь, утро, в лесу ни души. Жаль, что не часто выбираешься в лес, когда идет дождь, чтобы побродить среди зеленых папоротников, утопая по колено в их мокрых опахалах, или постоять под буком, укрывшись от дождя, как в палатке, когда кругом слышна зеленая арфа дождя: муравейник под дождем, холмик из еловых иголок, бурый и мокрый, или мох, темный и губчатый, губки разные в разные времена года, стволы деревьев, и падают капли, сторонишься кустов, каждая ветка — душ, ни одна птица не шелохнется, неподвижная тишина под зелеными зонтами, паутина, но без паука, корни, черные и блестящие от влаги, иногда скользко, потом опять все сухо, как ковер, дождь идет где-то в вышине, шелест, который донизу не доходит, на дорожках коричневые лужи, там он доходит донизу, это видно, брызги, и по веткам медленно катятся толстые капли, штабеля бревен, там живут жуки, как под крышей, бревна сушеные-пересушеные. Мшистая кора, круглые срезы светятся желтизной глазуньи, а кругом серый пар между мокрыми колоннами с зеленой филигранью,

и небо над ними, сочащееся дождем, лилового цвета... Просто беда, что Филемон ничего этого не видит, боясь рабочих лесничества, которых он только что увидал, мужчин в высоких сапогах, скрючившихся под брезентом, как гномы; но это в двух или трех километрах отсюда, да, как раз там, где он хотел сжечь письма. Тем временем Филемон обдумал, что было бы, если бы он поехал в банк и поместил письма в сейф. Плюс: при любом упоминании о них они когда угодно к его услугам. Минус: их можно прочесть когда угодно, кроме воскресных и праздничных дней. Я за то, чтобы сжечь их, но поскорее. Я хочу приняться за работу. Почему не в этом гравиевом карьере? Я нетерпелив, да, а Филемон рассеян; вылезая из машины, он забывает выключить «дворники». Лужицы в карьере, возможно, напоминают ему морские отмели в Дании. Итак, письма сюда! Место удобное, оголенный, заброшенный карьер с ржавой табличкой: *Подходить воспрещается, за нарушение штраф*, вдруг гул самолета над лесом, «вампир», может быть, как раз над карьером, низко, но его не видно за тучами, потом снова капающая тишина; черная машина Филемона, забрызганная от езды по лужам, стоит накренясь у дороги на той стороне со снующими «дворниками»: теперь сойка, она выпархивает из зарослей и кричит в поднебесье, но медлит Филемон не из-за этого. У писем, предназначенных для ящика, а не для дождя, зареванный вид. Будут ли они теперь вообще гореть? Можно предвидеть, что невскрытые письма только обгорят, а потом они будут лежать вот здесь, бумагой с коричневыми краями, которые будут в лучшем случае тлеть и корежиться пеплом, и Филемону придется стать на колени, чтобы подуть на них, чтобы, стоя на коленях, прочесть несколько необугливщихся слов, его не касающихся, остатки фразы, издевательски пустые, так что он будет расшифровывать еще и пепел, и слова, связь которых вообразит он сам, будут и дальше гореть в его мозгу незабываемым пламенем. Он будет раскаиваться в том, что и вправду не прочел писем, а прочтет — будет и в этом раскаиваться. Не лучше ли просто вырыть ямку и похоронить письма? Я вижу, как он ищет ветку, чтобы вырыть ямку. Но ветка ломается: глина есть глина. Вторая ветка ломается точно так же: гравий есть гравий. Я вижу, как он краснеет от злости, да, от злости на вас. Теперь льет вовсю, он это чувствует, вы смеетесь над Филемоном. Вы! Но это же начало ревности, если я думаю: «вы», «цара», «вы!» Теперь он в самом деле вскрывает письма, все три, не спеша, как я вижу, но решительно. Я не могу этому помешать. Я думаю только, что для этого не надо было

ехать в мокрый лес. Что за вид теперь у Филемона, эти брюки, эти башмаки в глине! Когда он идет к машине, чтобы прочесть письма хотя бы не под дождем, я еще раз говорю: «Филемон?» Письма с датскими марками вскрыты, я вижу, но еще не прочтены. Что уж там может в них быть? Он медлит...

Я могу ему это сказать:

Копенгаген весной, Париж Севера, по безлюдный (судя по этим письмам), как луна, ни одной датчанки не видно, жизнь в Копенгагене, наверно, невыносима, невыносима без Бавкиды, но главное, что она опять отдохнула, в Копенгагене тоже дожди, ни слова о Филемоне, зато много приятного о Лиле, поездка в Гамбург отложена ради нее, восклицательный знак, надежда на гастроли в Мюнхене, вопросительный знак, гостиница «Четыре времени года»; сквозь Копенгаген этих писем нет-нет да мелькнет, но тут же, не успев заговорить, потеряется какое-то лицо, какой-то призрак, который хочет покончить самоубийством, а потому условный адрес, придет время — все образуется, в промежутках профессиональные успехи, упомянутые, разумеется, невзначай, не стоящие, собственно, упоминания, много умного о фильмах, согласие в оценках при расстоянии в тысячу миль, Копенгаген — город с миллионным населением, но единственный человек, который понимает тебя, находится не в Копенгагене, и дорога к главному почтамту, где уже несколько дней ничего нет, окаймлена словно бы не домами, а воспоминаниями о Юнгфернштиге [1], при этом в Копенгагене есть превосходные квартирки как раз для женщин, которые хотят жить самостоятельно, спасибо за фотографию, сейчас как раз самолет пролетает над домом, так и проходит, проходит время, еще раз спасибо за фотографию; острое желание выпить холодного виски в горячей ванне и т. д.

Итак:

Филемон не прочел писем, он включает первую скорость и отпускает ручной тормоз, не хватало еще теперь, чтобы из-за вас он застрял в этом карьере; колеса буксуют в глине, но потом все-таки дело идет на лад, и машина давно выбралась из карьера, но Филемон все еще в глине своих чувств, его мысли буксуют и буксуют, не сдвигаясь с места...

И так весь день!

Обычная непринужденная сердечность Бавкиды, ее вопрос, невзначай, без упрека, откуда это он так поздно, ее довольное замечание о том, что наконец-то он купил себе новые башмаки

[1] Улица в Гамбурге.

и что машина опять вымыта, это совершенно естественная, подлинная, совсем не напрасная непринужденность, с какой Бавкида приветствует своего Филемона, вопиюща — я это признаю,— при условии, что в трех письмах из Дании содержится примерно то, что я предполагаю; но поклясться в этом я не могу!.. Машина вымыта, да, но на ней есть вмятина; где-то он, видно, задел за пенек, вероятно когда выбирался из скользкого карьера; очень заметная вмятина. Это между прочим.

Филемон лжет.

— Ах,— говорит он,— это давно уже.

Не хватало еще теперь, чтобы у него, Филемона, была нечистая совесть, да, чтобы это он не мог смотреть другому в глаза...

Филемон, находит она, пьет слишком много виски.

Она не говорит, что он уже не так молод, что мужчина его возраста должен немного беречь себя. Ни слова об этом! Но он это слышит...

Филемон, находит она, слишком много работает.

— Да,— говорит он,— пойдем в кино.

— Сейчас идет новый фильм,— говорит она,— я слышала, превосходный, стилистически, говорят, превосходный...

— Кто говорит?

— Тебе не хочется?

— Что значит стилистически?

— Фильм,— говорит она,— в котором вообще нет сюжета, понимаешь, единственное событие — это, так сказать, сама камера, не происходит, понимаешь, вообще ничего, только движение камеры, понимаешь, связи, которые устанавливает камера...

— Кто это говорит?

Одно мгновение кажется, что он призывает ее к ответу, потому что она знает не только отсутствующий сюжет фильма, который идет в этой стране впервые, но и его стилистические особенности...

— Я об этом читала.

Читала!

— Да,— говорит она,— вчера в газете.

Итак, дальше:

Он бросает три письма, три вскрытых письма в уличный водосток в присутствии Бавкиды; но она не обращает на это внимания, хотя он еще три раза, по одному разу на письмо, подгребает носком ботинка; она видит, что это письма, но ей дела нет до его почты.

Пока все в порядке.

Острое желание выпить холодного виски в теплой ванне, этого я, конечно, не должен говорить, я же не знаю, что было в этих письмах, это только домысел, а теперь я вижу, как Филемон оцепенело стоит перед занавесками со стаканом холодного виски в руке.

Я спрашиваю, о чем Филемон думает.

Ответа нет.

Ты ревнуешь?

С какой стати?

Я спрашиваю.

Все зависит от того, считает он, что понимать под ревностью. Мысль, например, что женщина, которую я люблю, пьет в теплой ванне холодное виски с другим мужчиной,— моя ошибка, если я представляю это себе, спору нет! — говорит он.

Однако?

Признаться откровенно, говорит он, представлять себе это мне неприятно...

Я смеюсь.

Он стоит в оцепенении.

Я спрашиваю Филемона, почему он представляет себе вещи, взятые, как я уверяю его, с потолка, чистые домыслы. Уж не взбрело ли ему в голову, что я ясновидящий, который видит письма насквозь, не читая? Не говоря уж о том, что такие вещи нас вообще не касаются...

Филемон, говорю я, иди работай!

Хорошо, что письма уже в водостоке, а то бы, я думаю, сейчас он их в самом деле прочел, только чтобы опровергнуть мой домысел.

Филемон, говорю я...

Входит Бавкида.

Я спрашиваю, чего, собственно, Филемон хочет.

Бавкида наневает.

Холодное виски в теплой ванне — я еще раз должен сказать, что это слепой домысел, только и всего, не основанный ни на каких реальных уликах, домысел, взятый из запаса моих собственных тайн, только и всего.

Бавкида наневает.

Почему он не требует от нее объяснения?

Ответа нет.

Страх?

Я представляю себе: Филемон требует от нее объяснения, и Бавкиде есть в чем признаться — Филемон не станет орать.

Я его знаю. Он сделает вид, будто ничего особенного не случилось, а позднее опять зажжет свою трубку, поскольку она у него погасла. Значит, правда! Вот единственное, что ему придет в голову: значит, правда! Это как укол, который еще не действует, и возможно даже, что я улыбнусь, а Бавкида покажется себе дурой, что еще в январе этого не сказала. В январе? — спрашивает он,— в январе? Но даты, так находит она, излишни; ей достаточно сейчас облегчения от того, что я сохраняю спокойствие. Зачем Филемону теперь знать, как зовут другого? Может быть, он настаивает на этом лишь потому, что ничего больше ему в голову не приходит. Зовут ли его Нильс или Олаф, какое мне дело! Но Филемон хочет это знать. Ему было бы легче, если бы я при этом не присутствовал. Я ведь уже знаю, что он это переживет. Действительно ли она любит другого и как она представляет себе будущее? — все вопросы, которые и я уже задавал, я не могу помешать тому, чтобы Филемон все-таки задавал их; но без моего участия. Зачем мне каждый раз присутствовать? Я не слушаю ее ответы, я наливаю себе еще чашку кофе и понимаю, что Бавкида, стараясь совладать с собой, не предлагает сахару; запрещает ей этот привычный жест мучительная тактичность; сейчас ей не хочется создавать видимость идиллии. Теперь он все знает! — говорит она, а я тем временем кладу сахар, и на языке у меня знакомый вкус. Два часа, пора, собственно, приступить к работе. Бавкида собирает чашки. Почему он не дает ей пощечины? В нас совершенствуется способность отличать чувства, которые мы испытываем, от тех, которые мы уже испытали. Со зрелостью это никак не связано. Я воспринимаю этот момент как воспоминание. Вот и все. Я вспоминаю, как много лет назад я тоже не закричал, потому что это было тоже не первый раз, а первый раз, когда я услышал от женщины, что она была у другого, я закричал только потому, что это полностью совпадало с моим подозрением, а с тех пор это полностью совпадает с моим воспоминанием о первом разе...

Итак:

Филемон не требует от нее объяснения.

Я иду работать.

Неделю спустя, неожиданно, Бавкида получает собственную машину, то, о чем она всегда мечтала, да, маленький спортивный «остин». Как ей это постичь, ей, которая понятия не имеет о сцене, что не состоялась за черным кофе? Я вижу ее в элегантном спортивном «остине», когда ей объясняют схему управления, она счастлива таким подарком ни с того ни с сего,

хоть немного и смущена, и не может взять в толк, как все это действует...

Пока все в порядке.

Я испытываю облегчение, оттого что Филемон не призвал ее к ответу — предположив однажды, что он это сделал, я знаю: за каких-нибудь десять дней он, конечно, не забыл бы того, в чем призналась Бавкида, но он превозмог бы это, как подобает, или считал бы, что превозмог, после того как извинился перед Бавкидой. Я не встречал еще ни одной женщины, которая не ждала бы извинения, побывав с другим, и не добилась бы такового, то есть извинения с моей стороны, чтобы ничто не препятствовало будущему. Какому будущему? Будущему Филемона и Бавкиды. Что еще? Ну так вот. Почему не шампанского? Живем только раз. Чего там экономить? Она прямо-таки не узнает его, своего Филемона, он такой бесшабашный, что даже жуть берет, и что у него ни слово, то перл, так что она просто не может не смеяться, и какая в нем вдруг грация завоевателя, он и сам это замечает, когда он говорит, она глядит на него теперь, как девчонка, потерявшая голову от близкого великолепия этого неповторимого мужчины. Болтая, поставить на карту все, покуда они грызут ножки омара,— он может позволить это себе. Лишь про себя пугается он порой, когда видит, как Бавкида в ответ искренне забывает своего невидимого датчанина, которому они стольким обязаны. Официанты во фраках, сущие бесы, когда сидишь в разладе с собой, склоняются перед его прихотями и мчатся стрелой еще за одним лимоном. И луна тоже как по заказу, не какая-то вообще луна, а полная. Бавкида блаженствует; она чувствует себя под защитой. В первый раз Филемон отваживается не смущенным кивком одобрить откупоренную бутылку, а забраковать, и забраковать без обстоятельных объяснений, которые, как известно, ни к чему не приводят и вызывают лишь неприятный шум, сцену, оканчивающуюся тем, что после второго и третьего пробных глотков ты сдаешься и великодушно-иронически киваешь головой, нет, в первый раз достаточно немого взгляда, нахмуренного лба, мимолетной усмешки, ни на мгновение не прерывающей беседы Филемона с Бавкидой, и пыльная бутылка уже исчезла в белой перчатке официанта. Почему у женщины, которую любишь, не должно быть других мужчин? Это в самой природе вещей. Как на твой вкус? — спрашивает он, не придавая слишком большой важности еде. Вдруг игра слов, которая его самого кольнула, как нож; но Бавкида не поняла намека, к счастью, а фазан превосходен на вкус, фазан с апель-

сином, и вдобавок полная луна, как сказано, и радужная мечта Филемона жить в одиночестве. Что он имеет в виду? — спрашивает она; теперь он должен попробовать другое вино. Как так в одиночестве? Он кивает, одобряет молчанием, после чего официант, с грациозным жестом облегчения, медленно наполняет бокалы бургундским. Они наслаждаются тишиной этого ритуала. Бавкида снова заводит речь о земельных участках, а Филемон видит себя холостым в Нью-Йорке. Жаль, что у Бавкиды нет аппетита. Зачем ему в Нью-Йорк, спрашивает она, но теперь ему нужна сигара: Romeo y Julieta. Что было бы, если бы у Бавкиды сейчас родился ребенок, в частности вопрос, чей это был бы ребенок, Филемона, по-видимому, не занимает; во всяком случае, он курит свою сигару и говорит, глядя на ночное озеро, о загрязнении наших озер, что представляет собой серьезную проблему. Давно уже Филемон так много не говорил. За коньяком, естественным образом, благодаря пищеварительному процессу несколько успокоившись, он не видит причины, почему Бавкида плачет, и после того, как он расплатился — ему приходится еще подождать, пока разменяют деньги,— ясно, что Филемон и Бавкида пойдут вместе домой...

Я представляю себе:

Однажды, много времени спустя, я еду в Мюнхен, чтобы встретить Лилю, жду в холле гостиницы «Четыре времени года» ее багаж и вижу молодого человека, оплачивающего счет, одноместный или двухместный номер, этого я не слышу, и именно, конечно, что я сразу же думаю о том датчанине, несмотря на то, что этот молодой человек совсем не блондин. Я жду, читая газету, чтобы не терять связи с реальностью. Я отдаю себе отчет в том, что я ведь не знаю, что было в тех письмах из Дании: только чтобы отговорить Филемона читать их, я изобразил ему, что примерно могло быть в тех письмах, которые он потом бросил в уличный водосток: Копенгаген весной, профессиональные успехи, острое желание выпить виски в ванне, суждения о фильмах, надежда на Мюнхен, гостиница «Четыре времени года». Чистейшее вранье. Правда состоит в том, что я сейчас сижу в этом холле, в гостинице «Четыре времени года», и что какой-то молодой хлыщ (почему вдруг хлыщ?) только что оплатил счет. Наверняка есть и датчане с черными волосами, я не знаю даже, был ли блондином Кьеркегор; не знаю также, датчанин ли этот молодой хлыщ (да, конечно, он хлыщ, судя по его одежде!). Пускай он размахивает немецкой газетой, это еще не доказывает, что он не датчанин; все датчане читают и по-немецки, а датских газет здесь не бы-

вает. Кроме того, Лиля, насколько мне известно, не понимает датского языка; должен же он, стало быть, понимать по-немецки. С другой стороны, говорю я себе, не каждый красавчик, только потому, что он понимает по-немецки, должен быть возлюбленным Лили. К тому же я не нахожу в нем той значительности, какую он на себя напускает. Его манера размахивать газетой, похлопывая ею себя по ляжкам, показывает только, что он нервничает. Потому что я явился? Могут быть и другие причины. Как ему узнать меня? И если он уже второй раз бросает на меня взгляд, то мало ли почему; любой человек, на которого пристально смотришь, нет-нет да оглянется... «Вот и ты!» — говорит Лиля, готовая в путь, внезапно оказавшись рядом со мной. Она, как я вижу, порядком осунулась за время съемок, как всегда. Мой вопрос, оплатила ли она счет, она пропускает мимо ушей, занятая своим багажом, а я тем временем складываю газету и отмечаю, что хлыщ исчез. Мне бы сейчас увидеть его лицо, но он уже вышел раньше нас через стеклянную дверь, чтобы хлопать себя газетой по ляжкам, стоя на тротуаре. Фильм будет, наверно, опять жуткий, сообщает Лиля, когда мы садимся в машину; я надеваю перчатки, глядя в автомобильное зеркальце, без слов. К сожалению, я вижу только ботинки и две штанины. И все. Верхняя часть, более, так сказать, личная, обрезана, а повернуть зеркальце я не осмеливаюсь. Я включаю мотор и жду, словно его нужно прогреть. Почему мне не закурить сигарету, прежде чем мы поедем? Сейчас я даже не знаю, носит ли этот молодой человек бороду; это возможно, по уверенности у меня вдруг нет. Мы затормозим движение, находит Лиля, если я не отъеду; но я не вижу движения, я вижу только нижнюю половину мужчины в жилетке, вот он сунул правую руку в брючный карман, чтобы не помахать ею; я понимаю, человек он тактичный. Какого он мнения может быть о моем затылке? Я вожусь с непельшицей, которая снова застряла. Почему этому молодому человеку не носить жилетки? Потом я еще раз спрашиваю, в самом ли деле оплатила счет Лиля. Мужчина должен ведь обо всем думать. Ну ладно: я включаю первую скорость, отпускаю тормоз, щелкаю рычажком мигалки, все как полагается, глядя в зеркальце, чтобы увидеть, не грозит ли какая-нибудь опасность, но зеркальце в самом деле сдвинуто, просто опущено чересчур, я должен приподнять его, честное слово, по объективным причинам. Тем временем предполагаемый датчанин вышел из моего зеркальца вбок. Какое мне дело, носит он бороду или нет! Когда я, выруливая на проезжую часть улицы, машинально, как всегда, гля-

жу назад, чтобы еще раз удостовериться, что никакой опасности нет, он уже отвернулся. Значит, вопрос о бороде остается нерешенным. Не надо, просит Лиля, ехать как сумасшедший. Как тебе живется? — спрашиваю я небрежно, чтобы намекнуть, что о скорости не может быть речи. Когда я еще раз спрашиваю о счете, Лиля готова разозлиться: «Да, говорю тебе!» Шаромыжничество под моей фамилией привело бы меня в ужас. Когда при 160 на открытом участке шоссе Лиля грозит, что выйдет из машины, я тут же перехожу на 100, чтобы ей было легче выйти; другой раз, когда она опять жалуется, я даже притормаживаю: «Пожалуйста!» Знаю, я становлюсь несносен...

Что, по сути, произошло?

У Бавкиды есть теперь собственный спортивный «остин», а всего остального не было: ни объяснения за черным кофе, ни ужина с омарами над озером при полной луне, ни глупого поведения на открытом участке шоссе. Ничего этого не было! Единственное, что остается фактом: у Бавкиды есть теперь белый спортивный «остин», который приводит ее в восторг и работает на славу.

Пока все в порядке.

И Филемон — мужчина, которому не стыдно выйти на люди, мужчина среди мужчин, современник между Востоком и Западом, гражданин, который высказывается против атомного оружия, хотя и безуспешно, читатель, друг, который приходит на помощь, шахматист, голова, член общества, изменение которого представляется ему неизбежным, работник с утра до вечера, деятель, участник и противник, человек, которого волнуют мировые проблемы, нужды народов, надежды народов, ложь властителей, идеологические различия, техника, история и будущее, космонавтика — он человек... Его захватывает мысль: если через миллионы лет наша земля охладится, но зато остынет и приобретет атмосферу Венера, то жизнь можно будет перенести в космос (*«Science and Future»* [1]).

Я испытываю облегчение.

Что касается писем с датскими марками, то я лично не вижу причины снова глупеть, оттого что они вдруг перестают приходить. Нет такой любовной переписки, которая бы не заглохла со временем. Только его дотошная совесть заставляет Филемона вообще размышлять об этом в высшей степени естественном обороте дела. Его подозрение, почерпнутое из собст-

[1] «Наука и будущее» *(англ.)*.

венного опыта, достаточно просто: они заметили, что три письма пропали, и пишут теперь друг другу по условному адресу. Хотя бы и так!.. Я не вижу основания взламывать из-за этого стамеской ее запертый ящик. Три часа ночи. Я говорю: «Да ты же пьян!» Случилось это, должно быть, очень внезапно; он не мог уснуть, в то время как Бавкида спала, и стал искать сотворное. При чем тут этот ящик? Что открыто, то уж открыто. А теперь? Что он полон писем, мы уже знаем. Что дальше? Он почти надеется, что Бавкида проснется, войдет сейчас в комнату и застанет его у ее письменного стола. Что тогда? Но Бавкида спит, три удара соборных курантов ее не будят, она оставляет его одного с его позором. Он ненавидит ее. Он дрожит, Филемон в пижаме и босиком, но довольный, что ненавидит. Это еще раз как первое чувство, так же горячо, так же однозначно. Он ненавидит ее. Вот до чего она его довела. Чем, собственно? Он ненавидит ее, и это все больше и больше дает ему право взломать ее ящик, что́, однако, уже случилось — мне уже не удержать Филемона... *Любимая,* против этого ничего нельзя возразить, это не бог весть что, *моя любимая*, он хочет, собственно, лишь узнать, как называете вы друг друга, *любимая ты моя*, не нужно быть датским гением, чтобы это сказать, *моя Лиленька,* это тоже уже было, так и Филемон уже писал ей, мужчины вообще, кажется, похожи друг на друга, если не считать почерка. Черт знает в какие завитки позволяет себе превращать буквы этот господин, иное в спешке взлома вообще невозможно прочесть, и вдобавок сердцебиенье, и когда взгляд вдруг застревает, как застревает внезапно якорь, то узнаешь, в сущности, мало что. Шифры любви, расшифровать их нетрудно, но они далеко не ведут, если читать вдумчиво, просто уму непостижимо, как мало содержания в настоящем любовном письме, почти никакого — если не принимать восклицательные знаки в счет чувств, одно-единственное сообщение: *Я жду у киоска*, указание времени справа вверху: *Четверг, в полночь, после твоего ухода*, числа нет, да, всякая радость хочет вечности, я знаю, глубокой, глубокой вечности, но не тут-то было. Может быть, почтовый штемпель укажет, когда это писалось? Но конвертов нет, в том-то и дело, ящик полон голых писем, а чтобы сесть, чтобы разобрать материал и поработать как историк, нет, для этого Филемон слишком пьян; стоя, только так, дрожа и даже не заперев двери, так, словно все вышло непреднамеренно, только так позволяет он себе неподобающе рыться в письмах, которые так неразборчивы от страсти, хотя и пусты, так нежны, что он не узнает в

них своих собственных писем. Лишь одно письмо осталось в конверте, одно-единственное на весь ящик; но это, как выясняется, письмо от ее первого мужа, *Твой старый Своб*, прекрасное, собственно, письмо, вполне осмысленное. На нем и число указано. Только это письмо и способен сейчас, присев на подлокотник кресла, целиком прочесть Филемон, ошеломленный и одновременно успокоившийся. Нежность, которая не делает темой себя самое, а содержится лишь в манере пишущего говорить об объективных предметах, в тоне, действительно соотнесенном с той, кому письмо адресовано, и только, я тоже нахожу, что такая нежность консервируется лучше, чем эти исступленные телеграммы: СКОРО ТЧК ПОСЛЕЗАВТРА ВЕЧЕРОМ ТЧК СКОРО ТЧК ЕЩЕ ДВА ДНЯ ТЧК СКОРО СКОРО. Ну да. Почему Филемон, раз уж он роется в ящике, не хочет взглянуть на дату телеграммы? У него нет покоя, он жаждет чего-то необычайного, но то, что он находит: *Твой голос, твой голос вчера по телефону, твой далекий голос, ах, твой голос, вдруг твой голос*,— это просто скучно, по-моему, житейская пошлость, но как только в этих письмах заявляет о себе настоящая личность, не просто самец, токующий шариковой ручкой или пишущей машинкой, личность, превосходящая его умом, по крайней мере когда он, Филемон, пьян, он не читает, нет, уважение к его спящей жене, вдумчивая похвала, к которой он мог бы присоединиться, он не читает, нет. Ищет он вот чего: *«Напиши мне, куда тебе писать, чтобы у тебя не было неприятностей.* Это уже ближе к рапе. *Чтобы у тебя не было неприятностей*, продолжение на следующем листке, *если Свобода не хочет, чтобы мы переписывались*... То есть как Свобода? Это значило бы, что перед ним его собственные письма. Ну да, говорю я, ты только сейчас это заметил? Страппо, каким чужим кажется нам порой собственный почерк, особенно когда ждешь не его, когда взламываешь ящик, чтобы раскрыть интриги спящей жены, а раскрываешь при этом лишь собственные интриги.

Филемон, говорю я, иди спать!

Замок сломан...

Это первое.

Филемону не избежать признания, которое предостережет Бавкиду раз навсегда, а он с этой минуты только и будет знать, что где-то в квартире должен быть другой тайник...

Это второе.

Филемон, говорю я, брось это!

Я вижу спящую:

Ее распущенные черные волосы, она только что повернулась на другой бок, ее кораллово-красное ухо, руку с растопыренными пальцами у лица на подушке, она дышит ровно и медленно, как все, кто действительно спит, и не шевеля губами, детские и чуть приоткрытые губы, обнаженные левое плечо и начало груди, ее тело, покрытое лишь простыней, ее тело под простыней, четко очерченное, этакая Ника под предательскими складками мрамора, но теплое, даже горячее от сна, сухое, жаркое, ее кораллово-красное ухо под черными волосами, до которых я могу дотронуться, а она и не заметит, иногда вздрагивают ресницы, но она спит, ее сомкнутые веки, синеватые, блестящие холодно-восковой бледностью осенних безвременников, неподвижные над спящими глазами, не спят, кажется, только волосы, да и кончики пальцев у лица словно бы бодрствуют, но она спит, сон у нее на затылке, там он совсем глубокий, без сновидений, влажный, глубже, чем на лице, которое, кажется, плавает по темному сну, как зыбкое отражение...

Лиленька.

Филемон, говорю я, ты любишь ее!

Все остальное вздор.

В Африке (так рассказывает один гость) есть будто бы такое племя, где определяют жребием, какого мужчину назначить какой женщине, причем он должен заботиться об этой женщине, когда она молода и здорова, когда больна, когда у нее родятся дети, когда она стареет; вообще же все сожительствуют со всеми. И будто бы (по словам гостя) это самый мирный народ в этой темной части света. Эрос наподобие земли общинного пользования, как то соответствует природе, пол и субъект подчиняются не одному и тому же закону; поэтому у тогули (или как там их называют) не бывает случаев, чтобы мужчины стреляли друг в друга из-за женщины. Духовные силы, как и стрелы, нужны им для охоты. Спор возникает только из-за добычи. Воровство карается смертью, вид смерти зависит от ценности украденного предмета. Простая смерть — удар ножом в сонную артерию — ждет похитителя домашней утвари. А похитителя украшений, например женских серег, привязывают к двум пальмам, чтобы первый же ветер, раскачивая обе пальмы, разорвал его воровское тело. Похитителя стрел, которые представляют собой, по-видимому, важнейшую собственность, оскопляют, потом зарывают в землю живьем. Воровок сжигают их мужья. Но кроме воровства, нет ничего, что считалось бы у этих людей позорным и наказуемым или хотя бы вызывало у них огорчение...

Бавкида в восторге!

Кроме этого восторга, разделяемого, между прочим, другими дамами компании, и кроме тех датских писем, которые тоже ничего не доказывают, покуда мы не знаем их содержания, и к тому же, как было сказано, перестали приходить, нет, собственно, ничего, что давало бы Филемону разумное основание предполагать, что Бавкида живет в браке а-ля тогули, вообще ничего...

Филемон, говорю я, мне хочется работать!

А хлыщ в жилетке в автомобильном зеркальце?

Филемон, говорю я, нельзя любой домысел, приходящий мне в голову, принимать вслепую за факт.

Но он не унимается:

Чтобы восстановить доверие, он прибегает к откровенности; без какой-либо настоятельной причины, хотя его не спрашивают, он вдруг рассказывает о своих шашнях со стенографисточкой, и на́ тебе, Бавкида хоть и не знала об этом, но она и не хочет этого знать, нет, не хочет и впредь знать...

Промах!

Я ставлю откровенность не очень-то высоко, я знаю своего Филемона, я знаю, признания маскируют сильней, чем молчание, можно сказать все, а тайна лишь спрячется за нашими словами, беспардонность еще не есть правда, не говоря уж о том, что всего никогда не расскажешь, например, истории с ящиком; наша искренность, когда она выступает как таковая,— это большей частью лишь темная махинация с ложью, страховка других тайн.

Ее молчание чистоплотней.

Признание насчет взломанного ящика, в один прекрасный день, увы, неизбежное,— иначе пришлось бы уволить по ложному подозрению нашу уборщицу,— происходит за черным кофе, да, в тех самых креслах и в точности так, как я представлял себе признание Бавкиды, только роли меняются, чего она опять-таки не может знать; теперь молча бледнеет она, вдавливая сигарету в пепельницу, а наливает черный кофе, не решаясь предложить сахару, он: она не в силах взглянуть на него, как он ни ждет этого. Только любовь молчаливо грустит о себе. Она не может заставить себя улыбнуться, когда он просит прощения за то, что однажды вечером прочитал свои собственные письма, она даже не находит это забавным.

— Да,— спрашивает она,— а теперь?

Филемон дотрагивается до ее руки.

— Нет,— говорит она,— пожалуйста.

Поцелуев мужчины, который читает свои собственные письма, Бавкида не хочет; она не ожидала от него такого, она думала, что знает его; она сидит перед чужим человеком.

Как дальше?

Бавкида больна, не серьезно, жар с головной болью, во всяком случае, она лежит в постели, а я ставлю чайник, я стою в кухне и думаю о своей работе, покуда не вскипает вода, я сижу на краю ее кровати, Филемон и Бавкида, все как по писаному. Я верю в аспирин, но не нахожу его. Бавкиде плохо; она просит меня поискать у нее в сумке. Она не только разрешает мне это, она просит об этом, так плохо она себя чувствует. Но ее сумки нет в спальне, мне жаль, она там, в гостиной. Я всегда удивлялся хаосу в ее сумках, и это было бы чудом, если бы я нашел аспирин, запустив наугад руку в сумку, как того ждет бедняжка; я делаю такую попытку, но чудо не состоится. Что я нахожу: ключи, денежные купюры, губную помаду, носовой платочек, паспорт, духи, монеты, еще один губной карандаш, перчатки, билет на самолет, футляр с пинцетами, монеты разной валюты, два билета в какой-то мюнхенский музей, шариковую ручку, водительские права, гребенку, сигареты, пудреницу, счет гостиницы «Четыре времени года», одноместный номер с ванной, ключик от машины, вырезку из газеты, серьги, письмо с датскими марками, датированное позавчерашним числом, адрес — до востребования, письмо вскрыто...

Филемон, говорю я, брось это!

Это была бы дешевка.

Да, кричу я, нашел!

Я уже опять сижу на краю ее кровати с пустым стаканом в руке, другая моя рука на ее горячем потном лбу...

От Филемона жди всяких неожиданностей.

Накануне их отъезда в Гамбург он вдруг находит, что разумнее ей поехать одной, на него вдруг нашло озарение, веселое озарение; он решил: сейчас в Гамбург, честно признаться, мне совсем ни к чему. Нет, говорит она, тогда я тоже не поеду. Почему? Нет, говорит она, уж в Кампен-то, во всяком случае, нет. Глупости, говорит он, неделька в Кампене, поверь, пойдет тебе на пользу. Без тебя? — спрашивает она, а он стоит на своем. Как ни сердечны ее уговоры. Может, он надеется, что она не решится? Это было бы глупо. Как так это ничего для него не значит? Это ничего для него не значит. Хитрость? Издевка? Ничего подобного. Что он собирается делать? Работать. Зачем мне в Гамбург — говорит он и стоит на своем; непритворно веселый, он отвозит ее на следующий день в аэропорт; Кампен —

здоровое место, все ясно и правильно, и нечего тут объяснять...

Другого решения нет.

Просто так: свобода действий...

...пока в одно прекрасное утро не звонят у двери, и, поскольку Лиля еще спит, открывать иду я, за дверью стоит молодой человек, которого я, мне кажется, сразу же узнаю, хотя его еще никогда не видел. Я приглашаю войти. Я рад, что уже одет, хотя и без галстука. Он входит без колебаний; достает трубку. Представляться мне, видимо, не нужно, поскольку и он этого не делает. И вот, значит, он стоит передо мной улыбаясь, долговязый, молодой по сравнению с нами, студент с волосами ежиком или танцовщик, но без бороды, да и без жилетки. Красив ли он, я не могу судить; отвращения он не вызывает. Его взгляд меня не покоряет, но ведь он и пришел не ко мне. Я спрашиваю его, есть ли у него багаж. Его ответ сбивчив. Он не хотел бы мешать, говорит он, он может и в одиннадцать еще раз прийти. Вероятно, он оставил свой багаж в аэропорту, чтобы освободить обе руки для багажа Лили; багаж у нее должен быть немалый, если они летят в Уругвай. Пальто он не снимает. Немножко он все же смущен, но, наверно, лишь из-за меня; может быть, она писала ему, что я устраиваю сцены. Я возьму себя в руки, я его поражу, но ничего тут не изменишь, он, разумеется, знает, что Лиля не сможет сказать «нет», увидав его взгляд. Значит, не будем тянуть! Я говорю только: «Вы к Лиле?» Мой банальный вопрос вызывает у него улыбку. Я добавляю: «Лиля здесь!» Ведя его наверх к спальне: «Пожалуйте!» Это звучит несколько резко, так что молодой человек не знает, что ему делать. Уж не прошел ли его порыв? Однако он идет за мной, держа в руке трубку, которую он теперь, когда я стучусь, сует в карман пальто, возможно, чтобы освободить обе руки. В ту минуту, когда я это делаю, я не знаю, почему я это делаю, понятия не имею, я делаю это как единственно возможное и без сердцебиенья. Я еще раз стучусь в дверь, то ли чтобы не испугать мою Лилю, то ли чтобы замашками собственника не выставить себя на посмешище перед этим молодым человеком, который знает, что собственности, конечно, в любви не бывает. Итак, я стучусь. Ответа нет. Тогда я тихонько нажимаю на ручку двери, чтобы не разбудить Лилю; она совершенно не выносит шума, когда спит. Надо бы ему это запомнить. Почему он остается теперь на пороге? Я включаю свет, поскольку ведь занавески еще задернуты. Разве он не знал, что у нас общая спальня? Он, я вижу, и правда немного смущен, а то бы он не сунул опять в рот свою трубку.

Как всегда, когда Лиля не хочет, чтобы ее будили, она поворачивается на другой бок; я беру ее за плечо. Пора обратиться к действительности, мои дорогие, пора! Проходит несколько мгновений, и она капризно-блаженно потягивается. Я говорю: «Лилечка?» И поскольку она глядит еще не видящими глазами: «Единорог пришел!» Я говорю как с ребенком. «Кто там?» — спрашивает она, зевая, и студент в расстегнутом пальто, студент или танцовщик, который, кажется, ждал иного, делает вид, что ни о чем не знает, снова с трубкой в руке; а Лиля кричит, словно в спальне оказался трубочист, кричит одно-единственное слово: мое имя, которое, как я нахожу, не имеет к данной ситуации особого отношения. Я смеюсь, но тут же беру себя в руки. «Вы уж простите!» — говорю я, выходя, а потом запираю дверь снаружи, кладу ключ в брючный карман, постепенно приходя в ужас от того, что я это действительно сделал, не просто подумал, а сделал, снимаю свой галстук с двери ванной, повязываю галстук, беру куртку и стою, проверяю, есть ли в кармане брюк ключик от машины, стою, и, поскольку ничего не происходит, иду себе и сажусь в машину, не спеша завожу ее, еду. И поскольку утро солнечное, я еду с откинутым верхом, с ветерком в волосах, насвистывая, на руле только правая рука, насвистываю, левую руку я свесил за дверцу машины, которая тихо-медленно катится по загородным местам; у меня есть время. Что-то терзающее, чего не прогнать насвистыванием, сомнение, которое обгоняет меня и тогда, когда я еду быстрее, внезапное сомнение в том, что незнакомец, которого я запер с Лилей, действительно предполагаемое лицо, упорно-медленно, как подъезжающий полицейский, вынуждает меня остановиться на шоссе, чтобы предъявить документы собственному своему подозрению. А если это не он? Никаких документов, удостоверяющих его личность, у меня нет, никаких, в самом деле. Откуда мне знать, какой вид у единорогов в действительности? Я лезу в карман брюк; ключ от их комнаты у меня действительно в правом кармане. Это не сон. Несколько мгновений я притворяюсь, что обдумываю. Что, собственно? Сигарету, которая должна меня успокоить, я бросаю, не успев поднести к ней огонь, включаю задний ход, кручу обеими руками баранку, переключаю передачи, нажимаю на газ, как будто скоростью можно эту историю свести на нет... Дверь взломана, спальня пуста, они сидят внизу в гостиной, Лиля в синем халатике, он уже снял пальто, свернул его у себя на коленях, молодой человек, студент-медик, но мечтает о сцене и советуется с Лилей, нравы нашего дома несколько смутили

его, но он старается этого не показывать. Разговор, который Лиля ведет с деловитостью, заставляющей забыть о ее неглиже, продолжается еще полчаса. Когда за ним захлопывается дверь, она говорит:

— Я ухожу.

Неделю спустя (к сожалению, разговоры, которые излишни, в жизни не вычеркиваются) Лиля уходит; она не может жить с сумасшедшим, я ее понимаю.

Что толку видеть!

Я сижу на спинке мягкого кресла и играю штопором. Вся мягкая мебель в белых чехлах, пепельницы опорожнены, все вазы для цветов опорожнены, чтобы не воняло гнилью, я сижу в пальто и кепке, потому что на дворе дождь. Ковры скатаны, ставни закрыты. О лицах, которые здесь жили, можно сказать наверняка: одно было мужского пола, другое женского. Я вижу блузки в шкафу, немного дамского белья, которое не влезло в чемодан, галстуки по другую сторону, мои куртки; внизу в шкафу стоят мои башмаки, некоторые с распорками внутри, выстроившись, как на смотру. Все двери настежь; в кухне капает из крана, а вообще тишина, как в Помпеях. Я все еще сижу в пальто и кепке, засунув обе руки в карманы брюк. Как в Помпеях: можно бродить по комнатам, руки в брюки, пытаясь представить себе, как тут жили, до того как их вдруг засыпало горячей золой. Все на месте, только нет больше жизни. Не так уж давно это было. В ванной еще висит ее синий халатик. Не знаю, что было на самом деле...

Мы все еще сидим у камина, уже за полночь, я давно молчу. Лиля с развернутой газетой в руках. Я счастлив, что в руке у меня еще стакан из-под виски, хоть и пустой. Лиля зевает, и полено над углями снова погасло. Пора спать. Я точно помню, на чем закончился наш разговор.

— Ты это читал?

— Да,— сказал я,— читал.

Пауза.

— Нет,— сказала она,— как такое возможно.

Она имела в виду убийство.

— Ты представляешь себе,— спросила она,— как может человек это сделать? По-моему, это ужасно.

— Да,— сказал я,— читал.

— Слушай,— спросила она,— есть еще виски?

— Лиля,— сказал я,— я что-то сказал.

— Прости! — сказала она, и я видел ее лицо, когда она спросила: — Что ты сказал?

— Я сказал,— сказал я,— я сказал, что я это читал.

— По-твоему, это не ужасно?

— Да...

После этого мы молчали.

— Да,— говорит Лиля теперь,— пойдем спать!

Я остаюсь Гантенбайном.

Я задаюсь вопросом, какие профессии подойдут Гантенбайну, не заставляя его отказаться от роли слепого; возможностей тут, мне кажется, много, например, профессия гида: Гантенбайн, снаряженный темными очками и черной палочкой, которой он постукивает по мраморным ступеням Акрополя, окруженный группой туристов, Гантенбайн как единственный в наши дни человек, который не видел, нет, даже в кино и на фотографиях, всего, что видят путешественники,— он не говорит людям, что́ они сейчас видят слева и справа, а спрашивает их об этом, и его вопросы вынуждают их описывать ему словами, что́ они сами видят. Иногда он садится и вытирает пот со лба; Гантенбайн не дает им заметить, сколького они не видят. Они щелкают фотоаппаратами. Гантенбайн не видит, что́ тут щелкать, и набивает свою трубку, пока они не отщелкаются. Его вопросы трогательны. Все ли колонны Парфенона одинаковой высоты? Он не верит этому; у него есть резоны, заставляющие навострить уши. Везде ли расстояние между этими колоннами одинаково? Кто-то оказывает ему услугу и измеряет. Нет! Гантенбайн не удивлен, ведь древние греки не были слепыми. Иногда приходится топтаться на одном месте, так много вопросов у Гантенбайна, вопросов, на которые камерой не ответишь; он не видит автобуса, который ждет группу, чтобы отвезти ее еще на Сунион. Он делает вид, будто ждут не его; он набивает следующую трубку и делает вид, будто он ждет людей, которые не могут насмотреться на этот Акрополь. Внимание группы он вызывает прежде всего недостатком восторга. Просто жалость, сколь многого не может увидать Гантенбайн! Он сидит на обломке колонны так, словно он не на Акрополе, занятый лишь своей трубкой, скучая и даже не воодушевляясь надеждой, что цветные слайды покажут ему впоследствии, где он сегодня был. Его водят под руку, чтобы показать ему это,— Эрехтейон, маленький храм Ники вон там, фиолетовую бухту Саламина вдали, театр Диониса, и Гантен-

байну достаточно поворачиваться каждый раз не в ту сторону, чтобы заинтересовать их этими достопримечательностями. Некоторые так жалеют его, что в поисках слов, которые дали бы ему представление о священности этих мест, сами начинают видеть. Слова их беспомощны, но глаза их оживают; Гантенбайн кивает, и слушает и кивает и позволяет своей трубке остыть; его грусть о том, что он умрет, так и не увидав этого Акрополя, только и делает других благодарными за это путешествие, сколько бы оно ни стоило. Со слепым гидом нелегко, но это оправдывает себя: для туристов внутренне, для Гантенбайна материально, ибо то, что они сэкономят на слайдах, составит в итоге приличный заработок...

Я помещу объявление:

«Путешествуйте со слепым! Самое неизгладимое ваше впечатление! Я вам открою глаза! Поезжайте в Испанию, Марокко, Грецию, Египет и т. д.»

Я остаюсь Гантенбайном.

Лиля при этом счастлива...

Откуда я это знаю?

Конечно, этот Гантенбайн не так деликатен, как я изображаю, один раз, кажется, он все же прочел письмо из Дании, и две-три фразы остались у него в памяти.

«Я всегда буду на месте».

(К сожалению, без даты.)

«Хорошо и так. Почему ты плачешь? Я все понимаю. Почему я должен злиться, если ты там, как ты пишешь, счастлива? Хорошо и так».

Лиля, стало быть, счастлива.

Чего Гантенбайну еще желать?

«Когда мы отправимся на седьмое небо? Твой Нильс».

Гантенбайн в качестве гида —
Гантенбайн за разделыванием форели —
Гантенбайн за игрой в шахматы —
Гантенбайн у озерца Крумме Ланке —
Гантенбайн в роли хозяина, принимающего гостей —
Гантенбайн у муниципального врача —
Гантенбайн в момент короткого замыкания в доме —
Гантенбайн в boutique Диора —
Гантенбайн при составлении букета —

Гантенбайн на аэродроме —
Гантенбайн как слепой супруг —
все это я могу представить себе.
Но Гантенбайн в качестве друга?

Мы встречаемся на улице, Гантенбайн со своей желтой нарукавной повязкой, так что мне жаль его, и разговор идет о мире, которого он не видит. Он, правда, каждый раз спрашивает, как я поживаю; но я не решаюсь ему это сказать. Знакомы мы издавна. О собственной карьере не говорят, если другой не видит ее. Я не хвастун. Гантенбайн знает мои прежние взгляды, и, поскольку я убежден, что Гантенбайн не видит, как меняется год от году мой образ жизни, я делаю вид, будто мы от рукопожатья до рукопожатья все те же, и Гантенбайн поступает так же...

Но однажды Гантенбайн придет ко мне в гости.

Я забыл, как изменился мой образ жизни, я привык к нему, я прихожу домой и насвистываю, я чувствую замешательство, лишь когда вешаю свой берет: это мой берет, несомненно, но такой новый. Берет без пропотевшей подкладки из кожзаменителя. И куртка моя, я вижу, справившись было с замешательством и снова посвистывая, тоже новая: замшевая, но без пропотевшего воротника. У меня, видимо, много таких курток, которые бывают в чистке без моего ведома; потеешь же, а светлая замша, по моим воспоминаниям, очень чувствительна. Как бы то ни было, я швыряю куртку как придется, небрежно, словно это моя прежняя тужурка и словно я вхожу в свою студенческую каморку былых времен. Но снаружи доносится лай. Я вижу себя с поводком в руке, тоже новым, из свиной кожи. Лай меня озадачивает. Может быть, у нас появился дог? Надо надеяться, он не кусается. Собираясь снова накинуть куртку, ту самую, что небрежно бросил, потому что упорный лай заставляет меня предположить, что кто-то пришел, я, несмотря на свою рассеянность, вижу: замшевая куртка висит уже на плечиках. Явно есть слуги. Не предпринимая больше никаких действий, я спрашиваю, почему это дог так лает. Какой-то господин, говорят мне, ждет в холле. Это, я должен сказать, тоже новость, что у нас есть холл. И горничная с наколкой на голове говорит: «Господин по фамилии Гантенбайн». Ее интонация дает понять, что в случае если моя собака не поладит с его собакой, то она, горничная, будет целиком на моей стороне — доказательство, что мы ей хорошо платим, этой особе, которая подает мне сейчас замшевую куртку. Я несколько обескуражен лаем, и Гантенбайн, которого в холл провел

явно другой слуга, должен меня извинить; сначала мне надо взять на поводок дога или какой там у нас еще пес. Извини! — говорю я слепому, пришедшему в наш новый дом первый раз, и вижу не дога, а трех догов, которые при виде своего хозяина тотчас же успокаиваются. На место! — говорю я, и в поводке свиной кожи надобность отпадает; посему я бросаю его на сундук, сундук не новый, а, наоборот, явно старинный. Извини! — говорю я еще раз, и Гантенбайн делает вид, будто пальто с него тем временем сняла и повесила тоже на плечики не горничная, а я, который сейчас здоровается с ним за руку. Наше рукопожатье былых времен. Радость моя неподдельна. Только доги меня смутили. Поскольку он ничего не говорит насчет Матисса, который висит в холле, я вправе предположить, что он действительно слепой, и это постепенно возвращает мне непринужденность; мешает мне теперь только замшевая куртка. Устраивайся поудобней! — говорю я, и, поскольку он кресла не видит, я подвожу его к креслу, испытывая облегчение оттого, что Гантенбайн не видит нашей гостиной; только я вижу ее словно впервые. «Ну, что нового? — спрашиваю я, как будто здесь все по-старому.— Как поживает твоя Лиля?» При этом я пристально слежу за Гантенбайном, моим другом былых времен. Действительно ли он не осматривается? Все же он, кажется, чувствует, что в домашнем баре стоит не одна-единственная бутылка, и, когда я предлагаю ему кампари, отдает предпочтение коньяку. Вот чего нет! — говорю я с некоторым облегчением, и это правда. Зато у меня есть арманьяк, девяностолетний, о чем я могу и умолчать. Но он узнает это по вкусу. «Мать честная!» — говорит он, словно видел и бутылку, особую бутылку, семилитровую, которая, может быть, на вид и слишком пышна, да ведь просто дешевле покупать оптом...

Я не знаю, о чем говорить.

Я вижу только бобрик на полу...

Гантенбайн, ублаженный арманьяком, говорит, слава богу, о Лиле, как всегда с нежностью, которая предстает преклонением перед ее искусством (чтобы не докучать интимностью), и посрамляет сплетни об этой женщине, известные мне, конечно, как всем. Надо надеяться, он не заблуждается! Я желаю ему этого. Она, несомненно, большая актриса.

Итак, мы говорим об искусстве...

Я вижу:

Бобрик цвета голубики, на его фоне мой левый ботинок, новый, что толку, что я время от времени меняю положение ног,

правый ботинок мой тоже новый, ботинки у меня приятного светло-серого цвета и носки в тон; только кожа и волосы на моей большой берцовой кости не новые. И наши дети, которые неожиданно врываются и потом несколько озадаченно, поскольку он так великолепно играет слепого, здороваются с господином Гантенбайном, тоже не новые, это только так кажется, потому что все, что на них, новое, как в витрине, и высшего качества, даже домашние туфли. Ступайте отсюда! — говорю я, но и это нисколько не меняет того факта, что запонки у меня так-таки золотые; я незаметно натягиваю рукава свитера на шелковые манжеты, кашемир. О чем мы говорили? Дети, да, и как они растут, и тут мне хочется привести одно препотешное детское изречение, но, поскольку вся соль его пропадает, если не упомянуть, что мы побывали на Канарских островах, я оставляю это намерение и расспрашиваю Гантенбайна о его заботах, которые, надо надеяться, с деньгами не связаны, а то бы я смог мигом ему помочь, и стало бы ясно, что я теперь человек богатый.

Молчание.

Политические взгляды у нас по-прежнему одинаковые, да, различие только в степени нашей серьезности; мы оба левые, но более серьезным стал я; Гантенбайн отпускает насчет левых такие шуточки, которых я позволить себе не могу...

Раздается бой часов с маятником.

Наследство! — говорю я.

Гантенбайн не озирается, только прислушивается, покуда мое наследство не умолкает, потом выпрашивает еще одну рюмку арманьяка. Не находишь ли ты, что здесь очень тепло? — спрашиваю я невзначай и снимаю замшевую куртку, да и галстук тоже. Занавесок, обоев, бобрика с пола я снять не могу. Гантенбайн находит, что здесь не так уж тепло, отнюдь, скорей холодно, и я размышляю, не зажечь ли камин. Чтобы отвлечься от камина, вывезенного из какого-то тосканского палаццо, и поскольку вижу я как раз книжные полки во всю стену, я говорю теперь об одном первом издании Бальзака, которое я недавно нашел. Просто даром! — говорю я и называю цену, чтобы Гантенбайн не вообразил бог знает что, и, поскольку я все равно уж на ногах, предлагаю сигары. Какие у тебя? — спрашивает он, и вдруг я не вижу причины его обманывать. У меня есть всякие. Даже совсем особенные, каких Гантенбайн и знать-то не знает: гаванские, но заплетенные, как коса, да, бывает и такое на свете. Мой поставщик меня балует. Попробуй-ка! — говорю я, не прерывая из-за этого нашей

беседы. Нашей беседы о чем? Во всяком случае, кончик своей сигары я откусываю, словно не вижу серебряной отрезалки, и снова усаживаюсь. Пепельница тоже есть, фарфоровая, китайская, тоже драгоценность, которой Гантенбайн не видит, но я вижу все. Говорим мы, по-моему, о музыке, об электронной музыке. Я надеюсь только, что моя супруга не явится; любому гостю, как только речь заходит о музыке, она раньше или позже показывает свою арфу, которую я недавно купил по случаю. Обошлось тоже недорого. А потом она играет на ней, и шкатулка, где хранятся ноты, тоже находка, средние века, по-моему Южная Франция. Когда Гантенбайн не говорит, в комнате тихо, но не совсем; тогда словно бы говорит кушетка из белой оленьей кожи, и, куда я ни взгляну, я вижу хороший вкус, ничего пышного, о нет, но ни один предмет не мог бы быть еще лучше, еще красивее или хотя бы полезнее. Я почти рад дыре, которую Гантенбайн, играя слепого, прожигает в нашей белой оленьей коже; я ничего не говорю. Как насчет бургундского? Гантенбайн, не преминув походя похвалить сигару-косячку, все еще говорит об искусстве, и я не глух к мнению, что искусство должно стать свободным от содержания, нетенденциозным, это ясно, что в задачу искусства не входит изменять мир. К счастью, бутылка есть в компате, так что мне не надо звать горничную, которая нас прервет. Я откупориваю, без всякого предубеждения против абсурда. Не знаю, за кого Гантенбайн принимает меня. Разделяют нас не взгляды и мнения, а только эта пепельница, которой он не видит, и все прочее. Изменило ли меня богатство? Что вкус у меня есть, это не ново; только раньше его не удавалось реализовать. Так что ж? Прибавился еще вкус моей супруги... Но ведь Гантенбайн ничего не говорит, только хвалит бургундское. Это меня радует. Почему бы мне не послать ему ящик бургундского? Для меня это была бы сущая радость, если только он не поймет это превратно. Это между прочим. Я тоже нахожу, что, пожалуй, прохладно, пора зажечь камин. Я удивляюсь, что спички, которые я достаю из нефритовой коробочки, по-прежнему деревянные; еловые поленья и буковые чурбаки, которые я укладываю в тосканский камин, тоже из обыкновенного дерева, дешевы до смешного; вообще именно дешевые вещи непрестанно напоминают мне о деньгах...

Потом приходит моя супруга.

Она, кажется, не совсем верит, что Гантенбайн действительно слепой, и это создает между нами известную напряженность; я лично верю, что Гантенбайн не видит ее украшений;

во всяком случае, он ничем не выдает себя, словно уже привык к ним, как я.

Я говорю о своей работе.

Я работаю много: не для того, чтобы стать богаче. Но это неизбежно. За что я теперь ни возьмусь, все делает меня богаче. При этом я трачу лишь столько, сколько возможно в пределах разумного. Я покупаю холм в Тессине, бухту близ Малаги, лесок в Австрии. Я держу адвоката, который обогащается на мне и не хочет оставаться в долгу, так что он обогащает и меня, а он не единственный, все хотят сделать меня богаче. У денег, я тут ничего не могу поделать, появилось другое русло: они текут ко мне. Что мне толку от холма в Тессине, холма, который я осмотрел всего один раз? Траву я подарил какому-то старику крестьянину, чтобы он косил ее, равно как и каштаны, которые мне не нужны, и ежевику. А он что делает, этот холм? Он свою стоимость утроил. Перед этим беспомощен и самый простой образ жизни; я мог бы поститься в пещере и вретище, я ем сосиски с картофельным салатом, когда бываю один, я работаю не пять дней в неделю, как мои люди, а шесть, да, даже по воскресеньям и часто до поздней ночи; это нисколько не меняет того факта, что я становлюсь все богаче и богаче. Или, может быть, мне играть в гольф?.. Этого я, конечно, не говорю, я только об этом думаю, рассказывая о своей работе, что моей супруге слушать скучно, она и так все знает.

— Ты слишком много работаешь.

Но рассказываю-то я Гантенбайну, чтобы он понял меня. Почему он ничего не говорит? Он только заставляет меня самого видеть все, о чем я умалчиваю. Почему он не говорит, что все здесь, от Матисса в холле до платиновых часов на моей супруге, кажется ему тошнотворным?

Мы не друзья больше.

Он огорчает меня.

И хотя он играет слепого, хорошего вечера не получается, и позднее, отвозя его на вокзал, я беру наш «фольксваген», а не «ягуар», чтобы он не услыхал перемены в моей жизни, на тот случай, если он действительно слепой.

Гантенбайн лишает меня уверенности.

Я спрашиваю себя, люблю ли я его...

После партии в шахматы, которую я проиграл, разговор с Бурри о женщинах, по видимости о женщинах, а по существу о мужчинах, которые могут натворить бед, будучи о женщине слишком высокого мнения...

Бурри (насколько я его понял):

Мужчина, страдающий из-за своей жены, сам виноват... Что делает мужчин зависимыми: их презрение к женщине, в котором они не признаются сами себе; поэтому они вынуждены идеализировать ее и навлекают на себя слепоту; когда действительность дает им урок, они бегут к следующей, как будто следующая не женщина опять-таки, и не могут расстаться со своей мечтой... Что вызывает презрение: их пассивность, их кокетство даже там, где дело идет совсем о других вещах, неизменность их позиции «женщина — мужчина», всякие другие интересы — это на поверку предлог, или камуфляж, или интермедия, их неутолимая потребность в любви, их привычка к тому, что за ними ухаживают (спички) и что привилегия быть разочарованными всегда принадлежит им, вообще их склонность упрекать, причем упрек должен быть угадан, их умение молчать, они хотят и умеют оставаться непонятными самим себе, их умение терпеть, их лукавое искусство быть жертвой, вдобавок их ужасающая способность утешиться в любой момент, их предрасположенность к флирту даже в счастье, хитрая их готовность предоставлять действовать мужчине, а когда мужчина, чтобы действовать, хочет знать, на что он может рассчитывать, их ловкое умение оставлять вопрос открытым, они сразу сваливают на него решение, а тем самым вину, вообще их обидчивость, их потребность в защите и безопасности и притом призрачная неприступность с их стороны, одним словом: их волшебство... Мужчина предстает тем бо́льшим рыцарем, чем больше презрения он должен скрывать... Биологическое различие: женщина может за одну ночь побывать с десятью мужчинами, а мужчина с десятью женщинами не может: ему необходимо желание, она может допустить это и без желания; поэтому потаскушка возможна, а ее мужское подобие невозможно. Вынужденная из-за тщеславия мужчины лицедействовать, женщина разыгрывает полноту наслаждения, даже когда такового нет; мужчина никогда не знает наверняка, что женщина испытала на самом деле; выдает себя мужчина, не женщина; это делает его недоверчивым... Женщина — человек до того, как ее любят, иногда и после этого; как только ее полюбят, она чудо, и значит, ненадежна...

— Да,— говорю я,— давай играть.

— Согласен?

— Не совсем,— говорю я,— твой ход.

Бурри, сделав ход:

— Что касается твоей Лили...

— Моей?
Я пошел.
— Ага,— говорит Бурри,— ага-а.

Я меняю профессию Лили.
(Театр мне опротивел.)
Лиля по профессии не актриса, а научный работник, медичка, Лиля в белом халате, ассистентка в рентгенологическом институте университета, все совершенно другое, Лиля привлекательна, но не брюнетка, а блондинка, другой у нее словарь, Гантенбайна он иногда пугает, и по крайней мере на первых порах Лилю почти не узнать, она высказывает то, о чем актриса умалчивает, и умолкает в тех случаях, когда актриса высказывается, перемещение стыдливости, другие интересы, другой круг друзей, но прежде всего ее словарь, настолько другой, что все разговоры между Лилей и Гантенбайном надо вести сначала, начиная с первого поцелуя. Ее принадлежности в ванной, которые Гантенбайн видит, остаются те же...
Или:

Лиля — итальянская графиня, католичка, венецианка, морфинистка, завтракает в постели, обслуживает ее лакей в синей блузе. Глаза как вишни. Словарь ее опять-таки другой, равно как и круг друзей, где Гантенбайна считают слепым; место действия — палаццо. Ее принадлежности в ванной, которые Гантенбайн видит, остаются те же.
N.B.
Гантенбайн остается тот же.

Вышел новый журнал, ответственный редактор — Эндерлин, первый номер неплох, даже поразителен; но мое решение отказаться от Эндерлина остается в силе.

Лиля — графиня:
(Почему и так ничего не получается)
Она действительно графиня, за много веков отвыкшая, чтобы на нее кричали, да мне никогда и в голову не пришло бы кричать на нее, не говори она сама то и дело, чтобы я не кричал на нее,— а я только спросил, неужели она не слыхала гонга. Это было в начале нашего счастья; с тех пор, зная, как она чувствительна, как пуглива, как чуток ее слух к каждой потке

такого вопроса, я никогда больше не спрашивал ее, неужели она не слыхала гонга. Я просто жду, когда она явится к столу. Нет у нее чувства времени, и все тут, зато она очень чутка к другому, что́, видит бог, важнее, например, к стилю. Не только в ее венецианской мебели, не только в ее словаре, способном без единого вульгарного слова выразить все, о чем она не хочет умалчивать, даже в ее молчании есть свой стиль; просто немыслимо, чтобы кто-нибудь обращался с ней не как с графиней. Даже люди, которые с ней встречаются, приобретают свой стиль. Я вижу это снова и снова. Я вижу это даже по Гантенбайну; он не граф, но он ведет себя как граф, при этом я не видал ни одного графа, который вел бы себя как граф. Итак, я жду.

Я жду не обеда. Я жду просто потому, что пришло время обеда. Я жду графиню, которая может появиться в любой момент, потому что пришло время обеда. Я не могу работать, когда я жду. Итак, я жду: не графиню, а момента, когда она появится, выходя из лоджии или спускаясь по лестнице... Может быть, она еще спит и не слышала гонга... Я мог бы, чтобы убить время, уже сейчас описать, как она появится, выходя из лоджии или спускаясь по лестнице: в халате, но причесанная, в халате или в брюках, по-детски удивленная тем, что на свете уже опять полдень, и с потребностью в ободрении, бледная, но красивая, с несчастными глазами-вишнями, во рту длинный мундштук (янтарь) с сигаретой, которая ждет огня... Итак, я жду... Может быть, она как раз причесывается... Я жду, стало быть, не глядя на часы, и пытаюсь угадать, что она делает со временем, с моим временем, со своим временем; у нее другое время, и поэтому мне нет никакого смысла глядеть на часы; часы ее обижают, часы всегда создают видимость, будто есть какое-то одно время, какое-то всеобщее, так сказать, время... Может быть, она читает книгу, которой как раз увлеклась, или играет с собакой, или уже идет сюда — жаль было бы, если бы я сейчас (через три четверти часа, по-моему), в последние полминуты, потерял вдруг терпение. Всякое нетерпение, даже обузданное, она воспринимает как замечание; всякое замечание как крик. Итак, я жду и жду, не глядя на часы; я наслаждаюсь, чтобы не потерять терпение, видом из окна...

Так каждый день.

Если я еще хоть раз накричу на нее, говорит она, она соберет свои чемоданы и, видимо, никогда не вернется...

И при этом мы так счастливы.

Антонио, наш лакей в белых перчатках, открывает зеркаль-

ную дверь в столовую, супружеская трапеза приготовлена, но, поскольку на дворе лето, трапеза, вероятно, холодная, и, во всяком случае, Гантенбайн ничем не показывает, что спешит, и, поскольку этот совершенный лакей (он у нас всего один месяц), конечно, считает, что Гантенбайн не видит его, он не говорит: pronto! [1], а безмолвно оглядывается: на месте ли и графиня. Она спит. И хотя уже через месяц Антонио знает, что ждать можно порой и до трех часов, он все еще не говорит: pronto! — а глядит на свои часы. Антонио трогателен, он не знает, что Гантенбайн видит его в зеркале, и удаляется на цыпочках, делает вид, будто сейчас, может быть, только двенадцать часов. И Гантенбайн поступает так же. К сожалению, есть вычурные часы с маятником, которые не утаивают и от слепого, что уже два часа. Надо что-то предпринять; Гантенбайн, правда, не голоден, но он мужчина, который хочет работать, да и Антонио, у которого вторая половина дня свободна, следовало бы быть в четыре на футбольном поле или у своей девушки, это его законное право.

— Антонио! — зову я.

Он не только делает вид, будто пришел из далекой кухни, чтобы наконец сказать: pronto! — но даже делает вид, будто говорит это графине; он уже знает, что хозяин сердится, когда графиня спит целый день, а ведь этот славный малый, как сказано, всего только месяц в доме, который, разумеется, представляет собой палаццо в стиле ренессанс.

— Лиля,— говорю я,— иди!

И тут делается все, чтобы Гантенбайн не сердился, чтобы он не замечал, что сидит за столом снова один; Гантенбайн расслабляет мышцы лица и ощупью молча тянется за салфеткой, а лакей в белых перчатках, тоже расслабив мышцы лица, поскольку его свободная вторая половина дня спасена, всячески старается, чтобы присутствие графини, которой Гантенбайн не видит, было хотя бы слышно. Я вижу, как он пододвигает коленом ее кресло. Известно, какой у слепых тонкий слух. У него это получается великолепно; он даже разламывает один гриссини [2], прежде чем пойти за холодным бульоном, и я вижу, как он торопится, чтобы наше супружеское молчание не затягивалось, прежде чем его оправдает занятость едой. Тем не менее какое-то время проходит.

— Ты ездила верхом? — спрашиваю я.

---

[1] Извольте! *(итал.)*

[2] Сухарик, соломка.

Лиля молчит; она спит, вероятно, она вчера опять не обошлась без своего наркотика, несчастная, и, поскольку она убеждена, что Гантенбайн не видит ее снадобий, объяснить самой себе все последствия никак не может.

— Ты была у врача? — спрашиваю я.

Антонио в дверях, я вижу в зеркале, как он несколько неуверенно ждет своего выхода на сцену; столовая эта сказочна, сплошные гобелены и зеркала, так что беседовать можно даже с собственным затылком; я не знаю, почему Антонио одергивает свои белые перчатки и медлит.

— Что сказал твой врач? — спрашиваю я.

Теперь он входит с чашками, и ясно, что, даже будь она здесь, графиня не стала бы рассказывать при лакее о визите к врачу; таким образом, молчание снова естественно. Это возвращает уверенность и Антонио. Он ставит первую чашку, как полагается, на тарелку нашей спящей графини достаточно громко, чтобы Гантенбайн это услышал. Он это делает в самом деле великолепно, этот сын бедного рыбака, облаченный в белую куртку с золотыми галунами; он остается в столовой, покуда Гантенбайн орудует ложкой. В присутствии лакея не принято разговаривать. Не хватает только, чтобы он позвякал ложкой, постучав по ее чашке. Он этого не делает, и слышно только, как Гантенбайн хлебает холодный бульон; графини не слышно...

Но как дальше?

Я надеюсь лишь на то, что Лиля сейчас не появится, и задаю быстрый темп, но подается рыба, и Гантенбайну ничего не остается, как заняться разделкой этой чудесной рыбы; чтобы отвлечь Антонио от сомнений в подлинности слепоты Гантенбайна, я спрашиваю, как называется рыба, попадается ли она в венецианских водах, вообще обо всем, что связано с рыболовством, о способе забрасывания сетей, о ценах, о нуждах рыбаков; все, что знает Антонио, сын рыбака, интересно, к тому же это прекрасное зрелище: ведь он не перестает делать вид, будто все это интересует и нашу графиню, чья рыба остывает на фарфоре нетронутая. Но Гантенбайн не может, понятно, говорить только с лакеем, это походило бы на супружескую ссору. А уж сейчас, когда лакей выходит, Гантенбайну и вовсе приходится просто говорить, пока тот не подаст сыр. О чем? Я говорю о коммунизме и антикоммунизме — тема, которая во всяком случае, независимо от твоей позиции, не влечет за собой никаких возражений, поскольку ведь возражения известны и их-то ты как раз и опровергаешь. Говорю я при этом не без

пауз, время от времени разгрызая гриссини или отпивая глоток, не запальчиво, а лапидарно-убежденно, так что молчание графини не кажется непонятным. Что думает по этому поводу Антонио, который, возможно, слушает в service room [1], меня не заботит; Гантенбайн говорит с Лилей, чей брат — стопроцентный коммунист. Если Антонио слушает за дверью, он должен заметить, что никакого сословного чванства у людей, которых он обслуживает, нет и в помине, во всяком случае по отношению к бедному сыну рыбака; мы в Италии. Встречаются, правда, графы-фашисты и потому озлобленные; но это в семье не самые светлые головы, отнюдь. Аристократизм (в Италии) проявляется скорей в том, что ты не разделяешь буржуазного страха перед коммунизмом, страха, в котором, как во всяком массовом страхе, есть что-то вульгарное. Вот почему Гантенбайн мог бы говорить вполне откровенно, даже если бы графиня при этом присутствовала, и, значит, ее отсутствие, когда он говорит и говорит, в глаза не бросается. Чего только этот Антонио так долго мешкает? Когда говоришь и говоришь, не слыша никаких возражений, начинаешь самому себе возражать; это почти неизбежно. Но кому же должен возражать Гантенбайн, коль скоро графиня спит? Он возражает ее брату; он находит странным, что Дино, этот молодой помещик,— коммунист, и притом даже не романтик, о нет, Дино — юноша умный, у него внешность кудрявого языческого бога, этакого Гермеса, который со всеми ровен, он получил хорошее католическое воспитание, я имею в виду Дино, ее брата, и что граф (так он сам себя называет лишь при стычках с полицией), что граф — коммунист, не замечают даже его слуги. Дино не пролетарий с поднятым кулаком, Дино почти незаметно посмеивается над людьми, осуждающими забастовку его батраков, он не проповедует, не докучает своим коммунизмом, он только понимает его, один из тех немногих, кто может позволить себе изучение коммунизма, и он служит коммунизму именно тем, что ведет себя как капиталист. О нет, Дино не мечтатель, о нет, он знает, что индивидуальными действиями мир не революционизировать — об этом есть что сказать, и Гантенбайн в самом деле не видит, что сыр уже давно подан; лакей держит поднос белыми перчатками и с такой миной, словно он не слушает. Горгонцола или моццарелла? Гантенбайн только кивает, не прерывая разговора с графиней, которая спит, а Антонио снова наполняет его бокал.

[1] Подсобное помещение *(англ.)*.

Да, спрашиваю я, разве не так?

Молчание.

Гантенбайн продолжает говорить, я вижу, как Антонио снова берет бокал спящей графини, чтобы выпить его; иначе ведь он не может его наполнить, я понимаю, и, когда он потом снова наполняет бокал, он держит бутылку довольно высоко, чтобы Гантенбайн слышал бульканье.

Действительно ли он думает, что Гантенбайн ничего не замечает?

Или только Гантенбайн думает, что лакей так думает?

Позднее, за черным кофе, который подается на воздухе, в лоджии, игра, собственно, уже не нужна; Антонио смылся, его последнее дело сделано, как только он налил кофе в две драгоценные чашечки, исполнив супружеский долг графини. При этом он даже коротко ответил графине, которая отсутствует; могло ведь так быть, что из-за порханья голубей Гантенбайн пропустил мимо ушей ее случайный вопрос, тем более что она всегда говорит тихо.

— Come no, Contessa, come no![1]

Способный малый.

— Come mai,— смеется он,— come mai![2]

Этот второй ответ он выдает уже издали, я вижу, как он при этом уже стягивает свои белые перчатки с пальцев; в присутствии графини он ни в коем случае не стал бы этого делать. Потом он смылся, но вот Гантенбайн уже и вправду (не только в угоду лакею) говорит с графиней, которая все еще спит, потому что опять приняла наркотик, а наркотик она принимает потому, что несчастна.

— Лиля,— спрашиваю я,— почему ты несчастна?

К счастью, Гантенбайн не кладет в кофе сахар, графиня это знает, и потому ее отсутствие не бросается в глаза, когда она не предлагает ему сахару.

— Разве я не мужчина? — спрашиваю я.

При этом Гантенбайн курит сигару, глядя на Канале Гранде, который может человеку и опротиветь.

— Ты несчастна из-за меня?

Поскольку графиня молчит, то по крайней мере этот вопрос не остался без ответа, а откровенность вызывает откровенность. Правда мучительна, но ясно, что теперь хочется знать

---

[1] Еще бы, графиня, еще бы! *(итал.)*

[2] Как же, как же! *(итал.)*

все подробнее. Раз уж на то пошло! Наедине с двумя драгоценными чашечками, которые Гантенбайн, прежде чем он обретает способность говорить дальше, выпивает одну за другой, я спрашиваю, отличается ли и в какой степени объятие с другими мужчинами от объятия со мной,— на такой вопрос женщина, у которой есть вкус, все равно никогда не ответит и ее молчание снова не означает, что графиня отсутствует.

Воркуют голуби Венеции.

— Лиля,— говорю я,— так дальше нельзя!

Она не спрашивает:

— То есть? Что ты имеешь в виду?

Она ведь отсутствует, но это не бросается в глаза; даже будь она здесь, она бы сейчас, призванная к ответу, долго молчала, покуда я не спрошу напрямик:

— Что у тебя, собственно, с Нильсом?

Молчание.

— Возможно, кто-то другой? — спрашиваю я, и в первый раз мы говорим так откровенно, притом совершенно спокойно; она не может сказать, что я кричу на нее, и поэтому молчит, в то время как Гантенбайн улыбается; я наслаждаюсь ее спокойствием, его мужественностью, его слепой готовностью взглянуть любому факту в глаза, и спрашиваю еще раз: — Возможно, это кто-то другой?

Ответа нет.

— Так кто же это? — спрашиваю я.

Но я понимаю, что на это она не может ответить; Гантенбайна это не касается. Или она все еще боится, что я накричу на нее? Только чтобы что-то сказать, чтобы показать спокойствие Гантенбайна, я говорю спустя несколько минут, заполненных воркованьем знаменитых голубей:

— Я всегда думал, что это Нильс.

Первый раз я произношу это имя, приготовившись к тому, что графиня теперь начнет укладывать чемоданы, чтобы, вероятно, никогда не вернуться, притом сегодня же, даже если поедет она не к Нильсу, ибо это дело давнее, а потому это смешно, но смеяться не хочется, графиня, во всяком случае, не смеется, и, поскольку уж Гантенбайн, один в венецианской лоджии, произнес это имя, я не могу избежать признания:

Я прочел однажды письмо из Дании...

Что может ответить графиня на это мое чудовищное заявление?.. Графиня, которая спит...

Разговор с Бурри о нашем недавнем разговоре; мне бы все-таки очень хотелось знать, как видит он «мою» Лилю. Он говорит о ней с уважением, которое мне льстит. И вместе с тем я испугался. Когда Бурри ушел, я еще час-другой сидел как истукан, подперев подбородок руками. Он говорил о ней (впрочем, коротко) как о настоящем человеке, и я, кажется, единственный, кто ее не видит.

Лиля — актриса:

(Дополнение)

Ее восхитительная игра с кухонным фартучком, когда приходят гости, и еще ни один гость не разглядел этой игры, даже трезво-хитрый Бурри — и тот; Лиля, вероятно, и сама верит в нее — за четверть часа до прихода гостей Лиля возвращается домой, до смерти усталая от своих макбетовских репетиций, состоявшихся в первой половине дня, а сейчас вечер, она плюхается в мягкое кресло, чтобы сразу же, хотя она смертельно устала, почитать новые журналы, не снимая пальто, не глядя на стол, который Гантенбайн тем временем накрывает; она может положиться на Гантенбайна. Разве что оторопело спросит в последний миг: «Ты не забыл о майонезе?» Он не забыл. Счастье, что гости обычно опаздывают; надо же Лиле в конце концов причесаться. Он не забыл не только о майонезе, но даже о хлебе, что меньше бросается в глаза, когда он есть. Лиля заказала омара, которого в самом деле доставили, и, таким образом, все в общем-то готово. Она гордится прекрасным омаром, досадно, что Гантенбайн не видит, как он прекрасен, этот омар, которого она выбрала по телефону. Багровое чудо, омар, не забывающий решительно ни о чем: не только о майонезе, но и о вине, которое к нему подходит, и о холодном мясе, на случай, если кто-нибудь его, омара, не любит, и о фруктах, которые придутся кстати позднее, когда его ошметки будут уже в мусорном ведре. К счастью, как было сказано, гости всегда опаздывают, так что Лиля, причесываясь, может сообщить слепому Гантенбайну, кто придет; ведь во всякой компании оказываются люди, которым не дают слова сказать, и получится неловко, если Гантенбайн сделает из этого вывод, что о них можно говорить, как будто их здесь нет. Необходимо, чтобы он запомнил список имен. Когда наконец звонят, Лиля, хоть она и отлично причесана, не может подойти к дверям: это момент, когда ей нужно надеть фартучек для приема гостей. Гантенбайн распределяет сейчас имена, которые он запомнил, и крес-

ла по именам. Лиля наспех здоровается с гостями, которые, глядя на нее, изумляются: леди Макбет в кухонном фартучке. Гости тронуты, все хотят помочь, кроме Гантенбайна, поскольку он знает, что все уже сделано.

— Оставьте, пожалуйста,— говорит она,— я сама!

Она наспех выпивает аперитив.

— Оставьте, пожалуйста,— говорит она,— я все сделаю!

Задача Гантенбайна состоит теперь в том, чтобы разделять восторги гостей, по крайней мере не мешать, когда Лиля ходит в своем фартучке взад-вперед, туда и сюда. Гантенбайн в роли паши. Чем занята Лиля в кухне, покуда гости, попивая виски, с восторгом стыдятся, что доставили этой большой актрисе столько хлопот: салатом, который Гантенбайн для страховки помыл заранее. Гантенбайн в роли паши, закинув ногу на ногу в кресле-качалке. Надо надеяться, она ничего не забудет. Она в полном замешательстве, но ей это идет. К сожалению, нет лимонов, говорит она, и это досадно; лимоны лежат в кухне, но Лиля не видит их, это действительно досадно. Потом неохотно она снимает знаменитый фартучек. Как только наступает эта минута, Гантенбайн знает, что теперь он может делать все без риска разрушить этим первое впечатление; он приносит лимоны и т. д.

Меняю еще раз:

Лиля не графиня, равно как и не актриса. Не понимаю, как могло мне это прийти в голову. Лиля просто женщина, замужняя женщина, она замужем за человеком, с которым я должен был тогда встретиться в баре. Ей тридцать один год. Не морфинистка; не католичка; без профессии. Очаровательная женщина; не надо мне об этом твердить, я и сам это знаю. С какой стати у Лили должна быть профессия? Может быть, в юности она и была студенткой-медичкой, даже сдала первые экзамены, но потом помешало замужество, а может, училась в театральном училище, даже играла один сезон бок о бок с громкими именами; все это вполне возможно, но совершенно не важно. Она может обойтись без этого, она женщина. Она чувствует себя независимой и без собственного дохода. В противном случае она в любой момент была бы готова работать, ей не пришлось бы бедствовать и ходить в платьях, сшитых собственноручно, с ее знанием языков она всегда бы устроилась секретаршей, например в издательстве, не в торговле или в системе со-

циального обеспечения, не в общем, сером ряду; лучше всего в издательстве, говорит она, редактором. Она была бы к этому готова в любой момент. В этом нет нужды, поскольку она замужем. Иногда она прямо-таки тоскует по работе, по заброшенной профессии, в которой не оказалось нужды. Она не домашняя хозяйка. Она больше любит читать. У нее есть собственная машина; иначе она не чувствовала бы себя независимой, подарок ее мужа, который зарабатывает достаточно. Она замужем все еще в первый раз. Она здоровая, даже сильная женщина, хотя сложения хрупкого, так что легко испытываешь нежный страх за нее; ранний туберкулез давно вылечен, это воспоминание, которым она лишь изредка пользуется, чтобы потребовать пощады, только в крайних случаях. Она не беспомощна (как графиня) и не честолюбива (как актриса), но и она, как сказано было, отнюдь не домашняя хозяйка; для этого она слишком духовна, и мужчинам не убедить ее в том, что у женщин есть прирожденная способность именно к тем работам, которые самим мужчинам слишком скучны. Она женщина, но не верноподданная, стало быть, женщина вполне современная, великолепная женщина, по-моему одна из первых женщин этого века, которая без жеманства признается самой себе, что ее, в сущности, вообще не тянет ни к какой профессии.

P. S.

Я не знаю, как узнал или узна́ет ее муж, что Лиля любит меня, да меня это и не заботит. Я не знаю этого Свободу. Не моя оплошность, что мы тогда не встретились в баре. Судя по фамилии, Франтишек Свобода — чех. Я не знаю, как ведет себя чех, если женщина, которую он любит, любит другого мужчину...

Я представляю себе:

Сидят гости, пьют и болтают, Свобода как обычно, он рассказывает о Лондоне, Лиля как обычно, гостям весело, Свобода откупоривает бутылки, говорят о превосходстве русских в космосе, на Лиле тот желтый костюм (прошел ровно месяц после нашей первой ночи) или другой костюм, которого я еще не знаю, и гости находят, что выглядит она превосходно, кто-то говорит как раз об опере, которую Лиля, к сожалению, пропустила, и хотя Лиля и не согласна со всеми моими принципиальными доводами против оперы, это все-таки, находит она, какое-то мнение, которое можно бросить в беседу, чтобы говорить не о пропущенном спектакле, а принципиально; никто, конечно, не знает, чье это, в сущности, мнение, как-никак это мнение, которое Свобода не может просто швырнуть под стол.

(Разумеется, опера как ее создал Моцарт, чудесна и выше всякой критики, но я говорил не о Моцарте, а о нынешней опере.) Свобода держится странно, он прямо-таки раздражен, словно мое мнение обидело его лично; он ставит пластинку, чтобы опровергнуть мое мнение перед всеми гостями: *Дон Жуан*. Все слушают, Лиля сияет, в восторге не только от Фишера-Дискау, хотя он великолепен, но и от Церлины: вот кто по-настоящему прав во всем этом содоме, она не устраивает никакой трагедии, потому что природа на ее стороне, это единственный свободный человек, что выражено и в музыке. Кто-то из гостей, усвоив доводы Лили, соглашается с ней, когда слушают это место еще раз. Потом говорят об общих знакомых... В три часа ночи, успев вздремнуть, Свобода просыпается, не зажигает света, просыпается, как от выстрела. Но кругом тихо. Словно орудует взломщик. Но нет никого, только Лиля и Свобода.

— Ты спишь?

— А что?

— Я не знаю,— говорит он,— я в отчаянии.

Лиля молчит.

— Я в отчаянии,— говорит он.— Ты слышишь?

Лиля молчит.

— Я думаю,— говорит он,— тебе надо уйти от меня.

— О чем ты говоришь?

— Тебе надо уйти от меня.

Сказать это нелегко, это знание, которого ничем не обоснуешь, даже подозрением, это просто уверенность, которая приходит, как взломщик. Может быть, он слишком много выпил, да, на этот случай есть таблетки, но нет таблеток, чтобы погасить ее сияние при виде гостя; от этого он проснулся. Как от страшного сна.

— Как так уйти?

Чувство, что она носит маску, появилось у него, собственно, уже несколько недель назад. Когда именно? Что его присутствие заставляет ее носить маску, никуда не годится; это, видно, какая-то его вина; нельзя жить рядом с ним.

— Вот что,— говорит она,— прими-ка снотворное.

Когда она зажигает свет, ему кажется, что это было какое-то наваждение; он не хочет, чтобы за ним ухаживали, сам приносит себе воды и ничего больше не говорит; он действительно слишком много выпил.

(Я сплю.)

Когда и Свобода почти засыпает, во всяком случае не отвечает больше, она говорит в темноте, что написала ему письмо,

да, письмо, да, в Лондон, но не отправила, завтра он может его прочесть, если захочет, а сейчас ему надо выспаться...

Я представляю себе:

На следующий день у Свободы, замотанного служебными делами, внутренне нет времени думать о сказанном в полусне, он забывает об этом, ему стыдно, во всяком случае письма он не требует, но Лиля не верит, что он все забыл; ее безоблачная и совсем не коварная уверенность, что он ни о чем не догадывается, исчезла. К сожалению. Она чувствует себя вынужденной, хотя Свобода ничего не требует и слишком облегчает себе жизнь, начать разговор...

Я представляю себе:

Это его оплошность, что передача упомянутого письма состоится именно в ресторане, в момент, стало быть, когда они находятся под эскортом официантов, с обеих сторон, когда они с обеих сторон на виду у других посетителей, у которых, даже если те сейчас смеются или ковыряют вилкой омара, есть уши,— его оплошность, ибо Лиля, в сущности, не хотела никуда идти, или, может быть, это его счастье, что ее письмо ему довелось прочитать не в Лондоне, а здесь, в этом ресторане, где Свободу знают; рыба, как всегда, превосходна, жаль, что у Лили нет аппетита, официант очень участлив, Лиля курит, Свобода ведь не может просто выронить из рук прибор, и поэтому проходит некоторое время, прежде чем он начинает, заглядывая через тарелку, читать письмо, да, серьезно, но явно без особой напряженности, спокойно, он не забывает о салате, он уже знает первую страницу письма: примерно то же самое, что и в другом письме, которое она действительно отправила, товарищеские чувства, пожелания удачной поездки, заботы о его желудке, новости. Сердечное, в сущности, письмо. Почему она его не отправила? Лиля курит, а Свобода не может отставить свою рыбу, иначе официанты будут стоять у них над душой, в то время как он читает: «Я очень люблю тебя, как всегда, я хочу только, чтобы ты относился ко мне, как всегда, даже если во мне есть и другое чувство». Какое официанту до этого дело? Свобода еще раз заказывает вино, чтобы услать его на несколько строчек, чтобы понять, почему, собственно, хотя письмо настойчиво это подчеркивает, нет причины для беспокойства. Уже несут вино; официант наливает, другой приходит, чтобы убрать и тарелку Свободы, так что письмо уже нельзя читать, заглядывая через тарелку; тем не менее Свобода держит его в том же положении, прервав чтение, чтобы сперва закурить сигарету, а потом уже дочитать до конца. Кажется, он ждет

слишком многого. Нет причины для беспокойства: уж я бы сказал тебе, если бы между нами что-нибудь изменилось. На этом письмо обрывается, и официант сметает со стола крошки. Милое, в сущности, письмо. Что на десерт? Есть вишни. Но кому принадлежит теперь это письмо? Оно еще лежит возле пепельницы. Должен ли Свобода спрятать его у себя или вернуть Лиле? У вишен то преимущество, что ими нужно заниматься, когда их ешь; вишни и сигарета в придачу, как тут еще и говорить? Свобода, кажется, действительно следует сказанному в письме, нет причины для беспокойства, Лиля сожалеет сейчас о том, что вообще показала это письмо, Свобода расплачивается, Свобода покупает газету, которую на улице даже листает, словно ему не терпится узнать новости, кофе в баре, Свобода переходит к очередным делам, у Лили облегчение, она явно не думала, что Свобода будет вести себя в точности так, как она надеялась,— вот он стоит и потягивает кофе: спокойный и все же не молчаливый, не замкнувшийся, задумчивый, но не враждебный, не отчужденный от окружающего, не бесстрастный, но сознающий свое превосходство и внимательный к Лиле, которая смотрит на него во все глаза.

(Меня как не бывало.)

Может быть, сейчас они пойдут в кино...

(Я напрасно жду ее звонка.)

Потом домой...

Я представляю себе:

Свобода, высоченный чех, но с мягким голосом (не вкрадчивым, а мягким) и всегда чуточку более уверенный, когда отстегнет верхнюю пуговицу воротника и немного расслабит галстук, человек, который никогда этого не поймет, если ему скажут, что его доброта (она у него не рассудочная, а природная) деспотична, короче говоря, Свобода — не знаю, почему я, покуда мне не докажут обратного, воображаю мужчину с водянисто-серыми глазами и кустистыми белесыми бровями,— итак, Свобода, сходив в кухню и принеся лед, чтобы приготовить виски для своей Лили, говорит почти шутливо, не саркастически, а как с ребенком, который разбил окопное стекло и боязливо молчит, словно этот урон нельзя возместить.

— Итак,— говорит он,— в чем дело?

А ведь в письме все сказано.

— Содовая кончилась,— говорит он.

А ведь в письме все сказано, так считает Лиля, которая, чтобы уклониться от его вопроса в упор, поднимается, устанавливает после рассеянных поисков, что содовая действительно

кончилась, и даже записывает, что нужно заказать содовой; Свобода стоит, в руке у него стакан, и несколько мгновений кажется, что его занимает почта, но он не вскрывает ее, а только смотрит, кто отправитель, он держит сейчас письма в руке, словно собираясь уйти в свою комнату, и пьет.

— Ну так рассказывай,— говорит он.

Чего он хочет? Что с ним?

— Ты написала мне,— говорит он,— что в тебе есть другое чувство...

Пауза.

— Я очень люблю одного человека,— говорит она.

Пауза.

Лицо у нее не самозабвенно-восторженное, только чужое, голос при этом спокойно-трезвый. Очень люблю. Ее лицо это удостоверяет. Очень люблю. Эти простые слова соответствуют истине; поэтому прибавить нечего. Почему он кладет свою почту на стол? Проходит несколько мгновений, и Свобода, набивая свою трубку, по отзвуку, так сказать, который в нем не утих, постепенно понимает, что безобидность ее слов — это не коварно-щадящее преуменьшение серьезности, а подобающее обозначение факта, серьезность которого не допускает никакой патетики. Свобода, все еще набивая трубку, бросает на нее взгляд с блеснувшей на миг надеждой, что он просто чего-то второпях недопонял; только отчужденность ее лица опровергает скоротечную его надежду. Очень люблю. На том и остается. Очень люблю.

Отзвук не замирает, когда Свобода наконец зажег трубку, а потом курит; его голос тоже остается спокойно-трезвым, когда он спрашивает:

— Кто это?

Пауза.

— Не хочешь сказать?

— Конечно,— говорит она с ноткой упрямства, но выжидая. Разве он этого не знает? Она оттягивает прямой ответ, словно предпочитая, чтобы он сам угадал, тогда ей осталось бы только кивнуть головой. Почему он не помогает? Свобода ждет, строя догадки, которые кажутся ему сумасшедшими, и поначалу рад, когда она наконец говорит:

— Ты его не знаешь.

Он пьет.

Ей довольно-таки трудно...

Он ищет спички, поскольку его трубка не раскуривается, затем ершик для трубки; Свободе надо сейчас чем-то занять

свои руки, чтобы вернуться к невозмутимому, шутливо-ободряющему тону, чтобы суметь непринужденно спросить:

— Как его фамилия?

Пауза.

— Эндерлин.

Благодарная за то, что он не повторяет эту фамилию, а молчит, и с таким выражением лица, словно сказать больше нечего, она поднимается, в то время как Свобода все еще чистит трубку... После того как фамилия названа, нет надобности говорить, где и когда встретила меня Лиля; Свобода вспоминает о нашем несостоявшемся свидании в баре, не состоявшемся из-за него; Свобода, может быть, сожалеет сейчас, что никогда не видел в лицо человека, которого Лиля очень любит. Я ждал Свободу. Когда, кстати, это было? Он считает. Когда он был в Лондоне? Знать число важно, так ему кажется. В начале марта? У него, в то время как он глядит на ковер, открываются глаза, ему становится понятна ее жизнерадостность после марта. Так вот что делало его таким счастливым последнее время? Лиля не угадывает его чешских мыслей, и уже час ночи, и во избежание его неуместных вопросов она говорит, хотя ее и не спрашивают:

— Он поедет в Америку, он получил приглашение в Гарвард, он доцент.

Что он еще хочет узнать?

— Он ответственный редактор журнала, как ты знаешь...

Свобода молчит.

— Ну вот,— говорит она,— что еще ты хочешь узнать?

Она говорит так, словно он забросал, засыпал, замучил ее вопросами; выражение ее лица раздражает его, но некоторое время Свобода, с трубкой в кулаке, слушает, пока Лиля не умолкает, никак не ожидая после всего, что она рассказала о моей академической карьере, его непоследовательного вопроса:

— Вы уже спали вместе?

Пауза.

— Ты молчишь? — говорит он.— Значит, да.

— Да.

Оба спокойны.

— Да,— говорит она,— а что?

— Да,— говорит он, чтобы услыхать, как спокоен его голос, по ему, собственно, невдомек, что можно тут сказать этим голосом, и Свобода умолкает, садясь. Боль ощущается еще почти как физическое наслаждение. Когда Лиля, которую ищут его

глаза, опускает взгляд, она делает это не от стыда, разумеется, а как оскорбленная, оскорбленная Свободой, который силой добился от нее этого унижения, и что она его, Свободу, как сказано в письме, очень любит, в этот момент неправда. Свобода еще не делает ей одолжения, не обижает ее; он еще сидит, руки в карманах брюк, замкнувшись, но не изменившись в лице; он еще не срывается, чтобы заявить о каком-то своем праве, пусть всего-навсего праве на откровенность. У него есть еще сила признать правоту жизни. Долго ли будет у него эта сила? Но что-то Свобода все-таки должен сказать. Что-нибудь. Например:

— Сколько ему лет?

Лиля устала.

— Не спрашивай меня сейчас,— говорит она.— Это все, Своб, что я могу тебе сказать.

— Что ты его очень любишь.

К сожалению, время не останавливается; к сожалению, занавес не опускается, когда Свобода, теперь упершись локтями в колени, со стаканом тепловатого виски в обеих руках, молча сохраняет достоинство проигравшего, хотя бы лишь потому, что ему пока ничего не приходит в голову. Даже вопрос, как быть дальше, еще преждевремен; он знает только, что этот вопрос встанет... Знает вообще. О да. Но он ничего не чувствует, только ощущает вкус выдохшегося, разбавленного растаявшим льдом виски, которое он, словно собираясь полоскать горло, задерживает во рту.

— Своб,— говорит она,— я с ног валюсь от усталости.

Если бы он, Своб, так не сидел, Лиля могла бы сейчас быть по-товарищески ласковой; это он виноват, что она остается ледяной. Она опорожняет пепельницы. Он видит, что-то случилось, что-то такое, что все перевернуло вверх дном: она не только опорожняет пепельницы, но и вообще убирает квартиру, Лиля в роли домашней хозяйки, она берет его куртку и вешает на плечики. Это пугает его. Этого Лиля никогда не делала. Это показывает степень ее смятения; она, кажется, уже не знает, что́ принято в их браке и что́ нет. Неужели она ушла уже так далеко? Он наблюдает за ее действиями, упершись локтями в колени.

— Я сказала тебе,— говорит она,— что сегодня звонили из гаража. По поводу страховки.

— Да, ты сказала.

— По поводу счета,— говорит она.— Счет надо послать в страховую контору...

Свобода молчит.

— Не забыть бы нам,— говорит она.

— Что?

Лиля вспоминает сейчас обо всем, даже о дне рождения его отца, о посетителях, которые должны явиться, о посылке, которая все еще лежит в таможне, Лиля получит ее, завтра ей, Лиле, все равно нужно в город, полным-полно срочных дел, Лиля вспоминает о них, и, если бы сейчас не было за полночь, она сейчас бы еще позвонила насчет холодильника, по завтра Лиле все равно нужно в город, фисташки тоже кончились, в пятницу придут Хиприхзены, в воскресенье малеровский концерт, Лиля заедет за билетами, она вспоминает сейчас действительно обо всем, не только о таинственной посылке, все еще лежащей в таможне, и о дне рождения его отца, даже о налоге на собак... Жизнь продолжается — в то время как Свобода молчит.

Свобода у окна...

Свобода размышляет, когда он мог бы это заметить. Зачем? Конечно, он мог бы это заметить. В любой день! Просто забавно, сколь многое ты замечал, начиная с того, что Лиля, когда он вернулся из Лондона, была явно красивей, моложе; затем этот непомерный подарок к его дню рождения; еще раньше конец ее мигрени, ее воодушевление, ее сияющий задор, особенно в компании, ее инициатива, ее цвет лица. Все это Свобода замечал. Как чудо. Ее письмо в Лондон, то, другое, которое она действительно отправила: короткое письмо, но любовное. И ведь ни слова об опере. Ее беглое упоминание о том человеке, который не встретился с уехавшим Свободой: без комментариев. Затем исчезнувшее у нее любопытство к письмам, ее небрежность в отношении собственной семьи, явный интерес к новому журналу и ни звука о том, что она думает об этом журнале. Ее потребность упоминать, кого она вообще встречала. Ее новая прическа. Ее колебания при любых общих планах. Ее безразличие к тому, с кем в свою очередь встречался Свобода, зато ее сестринская радость по поводу его деловых успехов. Однажды он застал ее за изучением расписания международных авиалиний. Ее первая пунктуальность в определенные дни. Все это вспоминается теперь Свободе, вдобавок какие-то шуточки, фривольные замечания о мужчинах и женщинах, вдобавок ее восхищение одним смелым фильмом, особенно сценой, где жена в момент, когда ее целует муж, гладит ногой другого; вообще ее юмор, связанный с некой скрытой тревогой за Свободу, когда тот молча о чем-то думал; вдобавок ее сочувствие в зоопарке к животным, живущим в неволе, ее замечание о лебедях, кото-

рые всегда так чинно плавают вместе, и т. д. ... Не ее вина, что Свобода ничего не понял; она не таила своей жизнерадостности; это его вина, что он относил ее хорошее настроение к своей персоне, или считал чудом, и, кстати, это была счастливая пора и для него, да, как раз после Лондона.

— Слушай,— говорит она,— я иду спать.

Почему он качает головой?

Эндерлип!..

Он все еще не произносит этого имени. Смешно, как какое-то имя вдруг выскакивает из ряда всех прочих имен и вонзается в тебя. А ведь и у меня тоже могло быть другое имя.

— Не понимаю,— говорит она,— почему ты смеешься.

Чтобы не делать из этого трагедии.

Свобода, так я полагаю, принадлежит к тем мужчинам, которых женщины, когда им требуются ласкательные имена, преимущественно называют медведем. Других ласкательных имен, взятых из животного царства, Свобода, в сущности, не получал; женщины самого разного толка называли его своим медведем, независимо друг от друга. В этом, наверно, что-то есть. Подразумевается, вероятно, милое нахальство, но также и сила, и медлительность, и грузность, и ласковая игривость, и коварная потешность этого зверя с маленькими глазками, который может вдруг стать очень жестоким и злобным, на него нельзя положиться, вот он трогательный попрошайка, неуклюже выклянчивающий кусок сахару, косматое олицетворение безобидности, он вызывает жалость и восхищение, и вдруг, без какой-либо видимой причины для такой перемены, это лютый зверь, для него нет преград, никаким сахаром его уже не утихомиришь, он не понимает игры, и ему ничто не помешает разорвать на куски свою жертву — Лиля боится его... На следующее утро, отрезвев после своего безумия, которое за одну ночь (пока не запели птицы и не засветило солнце) все разнесло на куски лавиной слов, отрезвев и, к стыду своему, сам толком не зная, что он наговорил, на следующий день он попросит прощения, убрав когти, о да. Он превратится опять в трогательного попрошайку. Но Лиля знает: он опять разойдется, и его извинениям грош цена; хоть умри, острыми своими словами он все растерзает снова и снова...

Еще до этого не дошло дело.

— Да,— говорит он,— иди спать.

Еще он довольно трезв.

— Да,— говорит он,— спокойной ночи.

И прихлебывает виски.

— Теперь я понимаю,— говорит он,— теперь я понимаю, почему ты тогда позвонила мне в Лондон...

При чем тут это?

— Он хорош собой,— улыбается он,— этот Эндерлин?

На такой вопрос Лиля, конечно, не может ответить. Этот Эндерлин! В таком тоне нельзя говорить обо мне, и Свобода тоже чувствует это.

Он пьет.

Почему, ну почему сейчас не опускается занавес?

Известно же, что будет дальше...

Около пяти часов утра (я спим) дело доходит до того, что в камине внезапно разбивается вдребезги стакан из-под виски. Почему? Не потому, что он не понимает, что Лиле приятно обнимать другого мужчину, а потому, что она не понимает. Чего? Она не понимает, что тут понимать. Может быть, Лиле надо бы поставить себя на место Свободы, который совершает несправедливость каждым вырывающимся у него словом? Она позволила ему говорить сколько угодно, она не возражала. Почему же он вдруг швыряет в ее щадящее молчание стакан? Лиля действительно не знает, чего он хочет. А он знает?

— Прости! — говорит он.

За окнами светает...

А ведь при этом — Свобода вспоминает словно бы о потерянной невинности — он сам знал, что говорить не о чем. С девяти часов вечера, когда он в ресторане, под эскортом официантов, прочел ее дружеское письмо, до двух часов ночи он руководствовался тем, что Лиле теперь не интересны ни его чувства и мысли принципиального характера, ни даже его планы, а уж его великодушие и вовсе. С этого и началось, кажется, с его великодушия. Не то чтобы Лиля начала вдруг зевать; при этом она с полуночи еле держится на ногах от усталости. Не думаю даже, чтобы Лиля, в то время как Свобода ходит по комнате, потом садится и говорит все медленней, боясь разбушеваться, думала прямо-таки обо мне; он хочет этого, но для Лили я («этот Эндерлин») темой общего разговора быть не могу. Неужели Свобода, так стремящийся к пониманию, не может понять именно этого? Она не молчит, потому что не слушает; она слушает, но ее здесь нет. Она и не со мной. Но и здесь ее тоже нет. Она одна. Событие, которое волнует его и которое он хочет прояснить с ее помощью, не общее. Этим-то оно и освобождает, именно этим: Лиля одна...

Молчание.

За окнами щебечут птицы.

— Лиля,— говорит он,— скажи же что-нибудь!

— Я ничего не могу тебе сказать,— говорит она,— я же вижу, что во всей этой истории ты видишь меня только как женщину, я слышу это в каждом твоем слове, ты видишь все только с этой стороны.

— С какой?

— Ты видишь во мне только женщину.

Свобода размышляет.

— Прости! — говорит он, и звучит это так, словно он признал свою оплошность; но потом он смеется: — Ты права. Прости. Ты права.

Что он хочет этим сказать?

— Я смотрю на тебя только как на женщину,— говорит он, и взгляд его пригвождает ее, так что Лиля пугается; глаза его смотрят вдруг зло, хотя он совершенно спокоен: — Я смотрю на тебя только как на женщину,— повторяет он, как повторяют плоскую шутку,— а господин Эндерлин... Я понимаю! — говорит он, пытаясь еще раз засмеяться, но ее взгляд уже осадил его: — Прости! — говорит он и поднимается, чтобы пройтись по комнате, куда как раз заглядывает утреннее солнце, и чтобы остановиться: — Прости! — говорит он, и кажется, что его собственное ехидство успокаивает его хоть на время, потом в камине разлетается на куски бутылка из-под виски: — Прости! — говорит он и дрожит.— Прости!

Лиля смотрит на него.

Почему все еще не опускается занавес?

Теперь он становится сентиментален.

— По-твоему, не чудовищно то, что ты говоришь мне? — спрашивает он.— Ты говоришь, что я смотрю на тебя только как на женщину, ты говоришь это теперь, после того как ты была с другим мужчиной — видимо, не как женщина,— я вас не упрекаю, но ты упрекаешь меня, я не понимаю, почему ты упрекаешь меня, да, упрекаешь, милая, даже когда молчишь, ты говоришь, что не можешь со мной разговаривать, что я вижу тебя только как женщину...

— В этой истории.

Лиле просто быть правой.

— Да,— говорит он,— пойдем спать.

Тем временем наступил четверг, да, но занавес все еще не опускается; ведь жизнь, реальная жизнь, не позволяет перепрыгивать через себя, перепрыгивать через год, через месяц, через неделю, даже если примерно знаешь, что будет дальше...

(Свободой мне тоже не хочется быть!)

История для Камиллы:

Мужчина и женщина, после того как прошел первый хмель безличной любви, увидели, что они созданы друг для друга. Они так великолепно понимали друг друга. Только вот хмель прошел. И они жили вместе, без особого веселья, но и без ссор. Иногда только бывало, что он смотрел на объятие, в то время как оно протекало, как бы со стороны, как если бы он сидел в кресле рядом или стоял у окна, у него мелькали мысли, как мелькают они, когда выглядываешь на улицу, не скверные мысли, но мысли, потом он опять обретал единство с самим собою и с ней, и позднее, когда она готовила чай, он называл ее ласкательными именами, а когда она разливала чай, он говорил, что любит ее. Это была сущая правда. И с ней происходило, вероятно, то же самое. Она тоже любила его, только его, хотя иначе, чем вначале, более лично. Они были неразлучны, они путешествовали вместе. Однажды, в гостинице, он был потрясен, увидев объятие, в то время как оно протекало, в зеркале, и обрадовался, что она обманывала его с его телом, и глядел в зеркало, в котором он обманывал ее точно так же. Бывали кризисы из-за пустяков. При этом они любили друг друга. Как-то вечером, позднее, он сидел и читал газету, а она лежала в постели; у него мелькали мысли, такие же обыденные, какие иногда тайно мелькали при объятии, но он действительно сидел в кресле; она спала, и он, наученный тем зеркалом, мог без труда представить себе, как ее обнимает другой, и сидел рядом, нисколько не потрясенный, скорее довольный уничтожением своей индивидуальности, ему было, в сущности, даже весело: он не хотел быть тем другим. Читая газету, в то время как она спала и, может быть, видела во сне то, что он представлял себе вчуже, он был един со своей большой любовью. Их звали Филимон и Бавкида: они были парой.

Предположив, что внешность у Свободы примерно такая, как я себе представляю: высоченный чех, широкоплечий, при покатых плечах, несколько длинноватый, по-моему, для грациозной Лили, даже на самых высоких каблуках она достает ему как раз до плеча, а когда она босиком, кажется, что они как пара просто не подходят друг к другу, массивный мужчина, при этом не тучный и совсем не грузный, спортивный, мужчина, между прочим, которого сразу назовешь блондином, хотя у него, в сущности, самая настоящая лысина, но она воспринимается не как результат выпадения волос, а как атрибут его мужествен-

ного лица, такой же, как подбородок и лоб, хорошая голова, голова, которая могла бы принадлежать и русскому, упрямая, округлая, недюжинная голова, но он не любит смотреться в зеркало, ибо не понимает, что находят в нем женщины. Свобода в смокинге восхитителен, он это знает, при этом он хорошо танцует, это мужчина, который обычно потеет и никогда не мерзнет, не пьянеющий, при этом не шумный, за исключением тех случаев, когда приходит в бешенство часа на три, вообще же скорее скупой на слова, курит трубку, спокоен и приятно смеется в компании, без очков, наверняка превосходный повар, меланхолик, медведь, массивный, но подвижной, неуклюжий только из-за потребности (особенно при Лиле) не показывать свою силу, Лиля боится его, хотя он ее еще ни разу не бил... Предположив, что внешность у Свободы такая, можно догадаться, каким он в свою очередь представляет себе этого Эндерлина: стройный и изящный интеллигент, не то чтобы с куриной грудью, но изящный. Не медведь. Скорее птица. Не чех. Скорее испанского или французского типа, пожалуй итальянец, во всяком случае брюнет (что не соответствует действительности), с изящным ястребиным носом (что тоже не соответствует действительности) под классическим прямоугольно-низким лбом, какой и бывает у представителей средиземноморских народов. В фамилии, правда, слышится что-то алеманское, но Свободу этим не проведешь; он знает вкус Лили. Голова не округлая. Ну еще бы. Узкая голова, полная не перестающих поражать знаний во всех областях, тем он и интересен. Может быть, в нем есть что-то от гомосексуалиста, так что Свобода не приметил бы его в уличной толпе, может быть, у него есть собака. Не щеголь, но следит за собой; наверняка у него никогда не бывает грязных ногтей. И веснушек. Брюнет, из тех, у которых никогда не будет лысины, это определенно. Не спортивный, зато умный. Возможно, он привлекает женщин именно потому, что ему в известной мере нелегко. Это вполне может быть. Но этого не должно быть. Во всяком случае, он интеллигент. Высокосознательный. Когда он идет под руку с Лилей, у него юношеская походка. Берет. Во всяком случае, он моложе, это определенно, и образованнее, чем Свобода. Не повар. И беспомощен, если сломается розетка; не из тех, у кого умелые руки. Лиля не боится его. Наверняка читает на семи языках, начиная с греческого. В купальном костюме он изжелта-бледен, однако мужествен, а уж черноволос во всяком случае. И остроумен в любой жизненной ситуации. Не мастер рассказывать истории, но остроумен. В постели ведет себя как во французском

фильме. Политические взгляды? Вероятно, полулевые. Когда Лиля снимает с него очки а-ля Корбюзье, лицо, пожалуй, мягкое, но худое. Непьющий. Не гигант. Не тщедушен; он носит ее чемодан, не будучи выше ее ростом. Не танцует. Что Лилю очаровывает, она, конечно, сама не знает — спрашивать не стоило... Просто тип человека. Нечто нечешское. Так и должно было когда-то случиться. Черноволосое. Романское. Тореро, стройный и большеглазый, тип, который Свобода всегда, хотя до сих пор только в шутку, считал опасным, черные волосы и лицо птицы, черные волосы не только на голове, но и на ногах...

Я разочарую Свободу!

Когда я спрашиваю Лилю, как же он вел себя, она молчит. Так или иначе, Свободу она потеряла, и то, как он вел себя, отныне не играет для нее никакой роли. Она не хочет, чтобы и меня это занимало. Пусть теперь ведет себя как угодно...

Я вижу множество возможностей...

Свобода врезается на машине в дерево на полном ходу.

Или:

Свобода держится великодушно. Он надеется на всемогущество времени, которое всегда против любви, значит, против нас. Иногда он пьет, покуда мы совершаем небольшое путешествие в пределах его великодушия. Когда он трезв, он запрещает себе какие-либо атавистические чувства. Это вовсе не мстительность, если он теперь больше привязан к дому, чем когда-либо прежде; иногда он уже спит, когда Лиля возвращается домой, или притворяется, что спит. Затем опять, ни с того ни с сего, пьет, что вредно для его почки; но тут Лиля не виновата, и он это знает. Прислушиваться к ее тревогам насчет его почки — единственное, что он себе запрещает. Он не торопит с решением. Он понимает жизнь. Он выжидает. Это продолжается три месяца, полгода. Он любезен, как этого хочется Лиле, и Лиля будет считаться с ним. Опасность, что Лиля станет ему безразлична, возникает лишь время от времени; ее счастье со мной, разумеется, подвержено колебаниям, которые Свобода, конечно, видит, и, поскольку Свободе тоже небезразлично, как ходит Лиля по их общему дому изо дня в день — напевая или окаменев, он не может не проявлять участия, которое напоминает любовь. Это продолжается год. Опираясь на свою убежденность, что нет на свете человека, без которого нельзя было бы прожить, он все время показывает ей, что может жить без нее; но он этого не делает. Он привык к своему великодушию. Он не осаждает ее совместными планами, а ждет. Чего? Лиля счастлива, так что ее ни к каким переменам не тянет. Она считается со Свободой,

как было сказано, больше, чем когда-либо. Ради его великодушия. Конечно, он теряет ее и так...

Или:

Свобода (после глупой ночи, когда он швырял в камин стаканы, и после недели беспощадных разговоров, фактической стороны дела не изменивших) выбирает свободу в ночных клубах. Он танцует. Ему скучно, но он танцует. Он идет в плавательный бассейн, и бассейн кишит женщинами и девушками, которые, коль скоро он смотрит на Лилю лишь как на женщину, вполне могли бы ее заменить, если бы только он все время не думал о Лиле. Он плавает, настоящий Тарзан, потом стоит и смотрит, высоченный, широкоплечий мужчина, уперев руки в бока. Он играет в мяч с ребенком какой-то дамы в бикини, чтобы познакомиться с ней, и ничего, кроме игры в мяч с ее ребенком, не получается. Он покупает открытую машину, всегда готовый отозваться на «автостоп», но чаще попадаются парни, как-то раз две девушки, но они говорят на языке, которого Свобода не понимает, и ничего, кроме заиканья, не получается. Он ходит на все вернисажи, он не упускает случая подвезти домой молодую женщину-фотографа. Он пытается влюбиться, чтобы обрести равновесие, если не равновесие счастья, то хотя бы равновесие ревности. Как будто Лиля способна сейчас ревновать! Он видит их рты, но влюбиться не может; женщины угадывают это чутьем, у Свободы сейчас запах больного зверя, и природа против него. Как-никак он может твердить себе, что и он теперь идет своей дорогой, и он это показывает. Но Лиля не любопытна. Она не говорит, что предоставляет ему полную свободу, это было бы пошло, она ничего не хочет об этом знать. Ее это действительно не заботит. Так же, как его верность. Он теряет ее так или иначе...

Или:

Свобода придает этой истории не больше значения, чем поглощенные работой мужчины; у него другие заботы. Он никогда не думает об этом больше минуты. Ну да. Бывает. Обычное дело. Игра природы. Его внутренне не трогает, что там у тех двоих, и он из-за этого голову не потеряет. Игра природы. Ему смешно, если Лиля видит в этом что-то большее. На здоровье. Это ее дело! Но для Лили, женщины, это серьезнее, и если даже он прав в том, что касается меня, то ее он теряет именно оттого, что слишком уж скоро разглядел ее ослепление...

Или:

Свобода торчит в Саламанке, на Плаза Майор, где ему чистят ботинки, турист, который затем и существует на свете,

чтобы давать работу чистильщикам ботинок, они знают его уже три дня, он подолгу сидит у одного и того же столика, смотрит на часы, никого не ждет, но ждет, не читая газету, не обращая внимания на знаменитую архитектуру, смотрит на часы и стучит монетой, платит и поднимается и как нельзя медленнее идет к почтамту, утром, днем, вечером, возвращается и садится, заказывает херес, задумчиво курит и отправляется чистить ботинки, это не обязательно должна быть Саламанка, он ее все равно не видит, свои письма он может писать и в Арле или в Агридженто, это безразлично, все у одного и того же окошка предъявляет он паспорт (в чем уже нет нужды: его уже знают, ему уже верят, что он Свобода) и напрасно справляется, нет ли ему письма, она знает, что он в Саламанке, или в Сиене, или еще где-то, это действительно не имеет никакого значения, где Свобода отправляется чистить ботинки, чтобы убить время, пока не откроют почтамт, это может быть и в Бриндизи (что ужасно: в Бриндизи приезжают, чтобы сесть на судно, ни один человек не останется по доброй воле в Бриндизи) или в Кадиксе...

Что Свобода видит:

Дороги, черные, серые белые, желтые, асфальт или бетон, жарко, асфальт в мареве, дрок, повороты, которые проезжал уже несметное множество раз, придорожные столбы, отсчитывающие мили, аллеи в крапинах тени, осликов, запряженных в повозки, бочки со смолой, предместья, пароходы в порту, народ, красные огни светофоров, нищету, железнодорожные насыпи, товарный состав, море между его колесами, морской берег с поворотами налево и поворотами направо, прямо, затем опять направо и налево и направо, налево, направо и дальше, вторая скорость, третья скорость, вторая скорость, автобусы сзади, пыль от грузовиков сзади, виадуки над путями, море, кактусы, море, дрок, море, мосты, деревни, которые попадаются снова и снова, городки, площади с памятниками, блуждающие огоньки в сумерках, деревья в свете фар, придорожные столбы в свете фар, вдруг белую воловью упряжку, камыши в свете фар, море как мрак кромешный, задние огни, стада овец сплошным кишеньем зеленых глаз в свете фар, руки на руле, асфальт при луне, дуну над морем, придорожные столбы в свете фар, дорогу, руки на руле, дорогу и т. д.

Чего Свобода не видит:

ее лица.

Однажды (так мог бы я представить себе) у него лопается шина на шоссе, полдень, менять колесо в такую зверскую жару, этого только не хватало; он сразу понимает, что Лиля тут не

виновата, но его злость, когда он достает инструменты и ставит домкрат, обрушивается все-таки на нее, словно это она роняет на дороге гвозди, курам на смех, да, он это знает, да, вся эта поездка курам на смех... Я уезжаю на три недели, чтобы дать вам время! Это так только говорится. Почему именно на три недели? Этот жест (на следующее утро после битья стаканов) не был лишен трезвой и потому убедительной широты, но три недели — срок долгий. Чтобы дать вам время! Она не усылала его, но и не удерживала; правда, она была немного обескуражена тем, что он относится к случившемуся так серьезно, серьезнее, чем она, и немного сердита, поскольку для совместных каникул он никогда не мог выкроить так много времени. Три или четыре недели, сказал он, потом нам будет виднее, сказал он, так или этак, сказал он и поцеловал ее в лоб, в то время как Лиля, которой поездка его не нужна, искала себе для этого поцелуя другой лоб, более разумный; она приветствовала намерение Свободы, который так переутомлен работой, пройти курс лечения. Почему Кадикс? Она имела в виду Больцано или Энгадин. Почему так далеко? Слово мужчины — это слово мужчины — в 110 *км* не доезжая Кадикса (или Бриндизи), в полуденный зной на голом участке дороги, когда Свобода, потный и перепачканный, бросает в багажник инструмент, а также колесо с проколотой шиной, пути назад нет, хотя именно в этом месте, как Свобода видит, развернуться легко; в Кадиксе (или Бриндизи), возможно, лежит письмо...

Чего ждет Свобода?

Его отношение к случившемуся серьезнее, чем само случившееся. Его отъезд и прежде всего его письма, не лишенные достоинства, смелости и не содержащие упреков, органи благоразумия, толкают Лилю к серьезности, которая делает ее упрямой, к решению, которое будет во всяком случае скоропалительным.

Телеграмма:

ПИСЬМО БУДЕТ ПОСЛЕЗАВТРА ТЧК ТВОЯ ЛИЛЯ

Свобода отправляется чистить ботинки.

Я знаю Кадикс, но я был тогда не один; город, белая сказка из раковин со стороны суши, разочаровывает, как только в него войдешь, берег пустынный, вдобавок каменистый, еда унылая, когда ты один, единственная отрада — херес...

Не хотел бы я быть Свободой.

Свобода убеждается, что он не способен обобщить свой случай, и налегает на херес, который, не анализируя чувств, дает им волю, и отыгрывается похмельем...

Вторая телеграмма:

ПОСЫЛАЮ ПИСЬМО БАРСЕЛОНУ ТЧК ЕЗДИ ОСТОРОЖНО КОГДА ЕГО ПРОЧТЕШЬ ТЧК СООБЩИ ПОЖАЛУЙСТА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО КОГДА ПРИБУДЕШЬ ТЧК ЛИЛЯ

Свобода ездит, как неаполитанец.

Письмо, которое ждет его в Барселоне, куда он приезжает в воскресенье, на почте, но может быть выдано лишь в понедельник, тоже не лишено достоинства, в нем есть смелость суждений, трезвость (вероятно, Свобода воспринимает это уже как некую враждебность, если женщина тоже рассуждает трезво) и ум, хотя решения в нем еще нет. И этого достаточно, чтобы у Свободы подогнулись колени, так что он вынужден сесть: вот, значит, до чего дошло! Набивая, правда, трубку, после того как он пробежал глазами и сунул в карман это обстоятельное письмо, он все еще сидит в зале почтамта. Разве он, требуя скорого решения своим отъездом и прежде всего в своих письмах, не считался с возможностью, что его вызов будет принят? Куря, правда, трубку, словно он не обезоружен и, собственно, ничего другого не ждал, он сидит и потеет не меньше, чем когда менял колесо в полдень: Лиля, стало быть, всерьез обдумывает, жить ли ей со Свободой или с господином по фамилии Эндерлин. Или одной. Решение, как было сказано, еще не принято. Она, кажется, чувствует, что на опрометчивый шаг ее толкает не тот, другой, а Свобода; она просит потерпеть, причем кажется, что у нее нет сомнения в том, что господин по фамилии Эндерлин (без имени; до имени Свобу уж вовсе нет дела), не раздумывая, поступится всем, чтобы жить с Лилей. Ее доводы, почему она не может жить со Свободой, умны, они не бессердечны, но так умны, что опровергнуть их любовью уже нельзя, доводы эти явно не новые, но высказаны они в первый раз; с другой стороны, не требуется никаких доводов, почему она вполне могла бы жить с Эндерлином, могла бы — и все, Лиле не нужно даже хвалить, даже знать этого другого, и сведения, сообщаемые ею о человеке по фамилии Эндерлин, скупы, возраст, профессия, подданство и тот факт, что он отвечает на ее чувство... Свобода, когда он, прочитав письмо во второй раз и помня некоторые фразы уже наизусть, сидит наконец в своей запылившейся машине, вставляет ключик, медленно выжимает сцепление, затем запускает мотор, перед тем как включить первую скорость, все как на экзамене в автошколе, одно за другим, только забывает, к сожалению, о ручном тормозе,— Свобода чувствует, что ему легче, он в замешательстве, как после падения, но он цел и

невредим, и ему легче. Разве это не ободряет всякий раз, когда тебе кажется, что жизнь идет вперед? В Ниме он осматривает античный театр — единственное, что он действительно видел во время этой долгой поездки. Во Вьенне (не доезжая Лиона) он обедает в ресторане, отмеченном в указателе тремя звездочками [1]. Впервые ему, как постороннему, которому не мешают никакие чувства, кажется, что он знает будущее, вернее сказать не будущее, а конец прошлого, не переходящего в настоящее. Лиля права. Он едет, свесив левую руку, чтобы ее обдувал встречный ветер, держа на руле только правую, и очень спокойно. Лиля права. Как посторонний, который не хочет давать советов, а все-таки их дает, он знает, что у этой пары только один выход — развод, чем скорее, тем лучше, так что валяйте. Он насвистывает. Вновь обретя интерес к мировым проблемам, значит, с облегчением, то есть освобожденный от всего, что называют личным, он едет домой, ползет со средней скоростью сто, прошлое не спешит...

Я представляю себе:

Своб, загорелый после трех недель в открытой машине, к тому же немного похудевший, во всяком случае осунувшийся, значит помолодевший, так что Лиля не сразу узнает его, когда он входит, Своб — завоеватель без преднамеренья, чужой, веселый, ведь ему нечего терять, поэтому обаятельный: Лиля обманывает меня уже через час, покуда он не присваивает себе никаких прав, даже права на грусть. Она наспех встречается со мной на следующий день, чтобы сообщить о его возвращении и сказать мне, чтобы я больше не звонил, наспех и рассеянно, она скупа на слова, в то время как Свобода дома в халате вскрывает свою почту и насвистывает. Следует отдаленное подобие медового месяца. Отдаленное не в смысле чувства, а в смысле срока — дня три. Счастье, которое не делает менее умным ее обезоруживающе умного письма в Барселону; потом Свобода опять прежний, он хочет знать, как ему быть.

Я представляю себе:

Жизнь идет дальше, но не вперед, и встает, хотя и безмолвно, вопрос, кто в этом виноват,— Свобода с его выжидательным выражением лица или Лиля, которая прячется за светскими обязанностями.

— Своб,— смеется Лиля,— ты скупердяй?

— То есть?

— Ни у кого нет вина.

---

[1] То есть в лучшем, дорогом ресторане.

— Прошу прощения,— говорит он, Лиля права, он слушал, как Лиля рассказывает, надо же, историю со змеей в Греции. Он вспоминает: это был счастливый день, день любви, что жаждущих гостей не касается, и, стало быть, Лиля права, что о правде умалчивает. Но зачем она тогда это рассказывает? Она рассказывает только, что они осовели от жары и получили солнечные ожоги, и было только ужасное вино, и даже сигарет нельзя было купить и вообще ничего, и вот, значит, посреди этой пыльной дороги их свадебного путешествия извивается попавшая под колеса змея...

Свобода откупоривает бутылку.

Один из ее приятелей осведомлен, что у Лили нет еще никаких планов на это лето, и случайно заходит речь о том, что, может быть, Лиля поедет в Копенгаген. Свобода слышит это впервые. Другие, кажется, лучше осведомлены. Но еще твердо не решено, как знает этот приятель, что Лиля поедет в Копенгаген; возможно также, как знает этот приятель, что они, то есть Лиля и Свобода, поедут куда-нибудь к морю, чтобы провести отдых на лоне природы (как цитирует этот приятель, потому что находит ее выражение забавным: в «family style»[1]).

Свобода наливает вино.

Кто-то вскользь говорит об Эндерлине, который, как известно, получил приглашение в Гарвард, но не едет туда по непонятным причинам...

И так далее!

Свобода становится все чувствительнее.

— Твой дым! — говорит она.— Почему ты всегда держишь свою трубку так, что весь дым идет мне в лицо?

Или:

— Неужели ты не можешь ездить так, чтобы я не умирала от страха? — говорит она.— Неужели это невозможно?

Или:

— Своб,— говорит она,— не ешь так много.

Или:

— Своб,— говорит она,— посмотри на свои ногти. Что это такое? Я тебя уже шесть лет прошу...

Или:

— Ты опять взял мой ключ?

— Я,— спрашивает он,— с какой стати?

— Я не могу его найти.

---

[1] «Семейном стиле» *(англ.)*.

Он находит его.

— Прости,— говорит она,— я забыла, да и не могу я обо всем помнить,— говорит она.— Прости!

Или:

— Прости,— говорит она,— я уже сказала тебе «доброе утро», но если ты не слышишь...

Или:

— Своб,— говорит она,— я ведь сделаю все, что ты хочешь.

И т. д.

Притом это правда, Лиля делает все, чего Свобода хочет, и даже поездка летом к морю и та состоится...

Чего ждет от этого Свобода?

«Family style»:

Я лежу на пляже, читая иностранную газету, один среди чужих людей, жаркий полдень, сутолока, зонтики от солнца, слева бубнит радио, справа лежит пара, которая друг с другом не разговаривает: конечно, не Своб и Лиля, а какая-то пара!.. Он сидит на горячем песке и умащает себе плечи; она лежит на животе на подстилке, ее лицо повернуто в другую сторону. Потом я иду плавать, я чуть не утонул, кстати сказать... Когда я возвращаюсь на свое место, пары справа нет, есть только их пестрые пожитки. Мужчине, видимо, удалось расшевелить женщину; они играют сейчас мячом, который, однако, слишком легок, ветер сбивает его с пути, и мяч катится ко мне. Я возвращаю его. Она благодарит (по-итальянски), и лицо у нее такое приятно-живое, что ее просто узнать нельзя. Женщина, в сущности, достойна внимания. По крайней мере в тот миг, когда на нее кто-нибудь смотрит, почти как девочка; она трясет своими распущенными сзади волосами, чтобы я видел их, и прыгает, и подачи ее, до сих пор неловко-усталые, становятся вдруг грациозно-неловкими. Она совсем не устала, только досадует на партнера. Прелестная, в сущности, женщина, или, если угодно, воплощение живости. Если бы не он! Хоть он и подает этот шутовской мяч очень старательно, чтобы она могла поймать его, как поймала, когда его бросил я, ничего не выходит; она не следит, она трясет своими достойными внимания волосами, когда он подает, и мяч знай себе катится в море, что досадно. Чтобы не обременять эту пару своим наблюдением за ней, я гляжу прямо вдаль: на горизонте дымит черное грузовое судно, море как оловянная фольга, белый блеск солнца над мглистым берегом. Когда они вскоре возвращаются на свое место, оба молчат, а женщина прихрамывает; ее движения, когда она садится, ясно показывают, что виноват в этом только он. Кто, как не он, за-

ставил ее играть в мяч? Я ложусь на спину и закрываю глаза, но я слышу:

— Конечно, больно!

Позднее:

— Что ты делаешь с зонтиком?

— Создаю тень.

— Мне холодно,— говорит она,— прости!

— Я думал, у тебя будут ожоги.

Позднее:

— Милый,— говорит она,— будь добр, дай мне мазь от ожогов, и, если тебе не трудно, милый, натри мне спину, но так, чтобы не было больно,— говорит она.— Ну и руки у тебя! — говорит она.— Ай!

Позднее:

— Не сердись,— говорит она,— но сейчас опять весь твой дым идет мне в лицо,— говорит она,— все время.

Позднее:

— Прошу тебя,— говорит она,— нельзя ли поосторожнее?— и поскольку он не понимает, в чем дело,— ты все время засыпаешь меня песком,— говорит она, и когда он доказал, что причинить беспокойство лежащей даме мог только ветер, и когда он хочет сдуть с ее плеча злосчастный песок,— перестань,— говорит она,— почему ты не идешь плавать?

Как посторонний, услыхавший такие обрывки фраз, Свобода тоже знает, что невидимая точка, где пора распрощаться, не только достигнута, но уже переступлена, the point of no return [1], вопрос только в том, кто приведет в исполнение это прощание, чтобы его не испортить, и обе стороны ждут лишь повода для большой злости, которая подтолкнет к действиям; они это знают; любви, с которой надо проститься, у обоих уже недостаточно, чтобы не видеть другого насквозь.

Новость:

Свобода хочет повидаться и поговорить с Эндерлином!.. Я не знаю, как он это представляет себе, и, когда Лиля сообщает мне об этом, я провожу рукой по губам. Поговорить, о чем? Свобода предлагает: в четверг, или в пятницу, или в субботу. Конечно, я готов Лиле в угоду, только в четверг никак не получится, в конце концов, у меня есть работа, что Лиля понимает. Лиля вообще против, что я также понимаю; у нее нет потребности видеть Свободу и Эндерлина вдвоем. Чего он вообще от этого ждет? Он не может жить с призраком, слышу в ответ.

---

[1] Точка, откуда нельзя повернуть назад *(англ.)*.

Мне жаль, что я смеюсь. Она не будет даже мучительна, наша встреча втроем, только тягостна, во всяком случае бессмысленна. Мне жаль Свободу. Ответь я категорическим «нет», Лиля была бы мне, может быть, благодарна за это; но так нельзя, это выглядело бы так, словно я увиливаю. Что ж, ладно! Только тут я как назло вспоминаю, что и в пятницу, к сожалению, ничего не получится. И это не отговорка. Но я, значит, заявляю, что готов встретиться, и если Свобода действительно будет по-прежнему на этом настаивать, ну что ж, я приду к аперитиву. Зачем так-таки на весь ужин? Я мало что смогу сказать; я люблю его жену. Почему он притворяется, что не знает этого, и хочет, чтобы я ему это сказал? Что он может сказать, я могу представить себе, и с каким бы самообладанием, с какой бы непредвзятостью, с каким бы достоинством, в каком бы товарищеском тоне он ни говорил, это не изменит того факта, что его жена любит сейчас другого. Так уж случилось. Я, право, думаю, что аперитива достаточно. Я предпочел бы какой-нибудь бар, но я понимаю: я должен увидеть дом Свободы — Лили, как будто я не знаю его. Ну ладно. Значит, в субботу, в шесть я приду. У домашнего бара, который я знаю, Свобода приготовит нам по стакану виски, виски on the rocks[1] или с содовой, по желанию, а сам будет пить минеральную воду. Может быть, Свобода не поймет, что́ Лиля находит во мне...

Прибой был не особенно бурный, два или три буруна в человеческий рост, разбивающиеся с грохотом и брызгами, а потом, когда я нырнул под буруны и рокот их был уже позади, волны без брызг, большие и гладкие, плавать блаженство, без борьбы, волна за волной, вверх и вниз и опять вверх, иногда вдруг завьется какой-нибудь бугорок, но не захлестнет, плавать легко, волна за волной, цвета бутылочного стекла, с шипящей оборкой из солнечных бликов, и, если бы я не был один, впору было бы ликовать вслух, впадины между волнами гладкие и темно-синие с беловатыми узорами пены. Один раз я глотнул воды. Я был единственный пловец, позади глухой рокот прибоя, впереди — тишина, полдень, солнце, которое ослепляло, но словно на ночном, фиолетовом небе. Время от времени, когда меня поднимала волна, я видел впереди грузовой пароход на горизонте, сзади — плоский берег с пестротой зонтиков, не очень далеко, но по ту сторону прибоя, желтый флаг,

[1] Неразбавленное, со льдом *(англ.)*.

развевающийся на мачте, над убегающими к суше волнами, когда они оседали за всплесками, еще дальше — сушу, горы в молочной дымке, розовые... Когда я плыл назад к берегу, совсем не усталый, оставалось метров тридцать, не больше, я думал, что уже можно встать: вдруг нет дна, вместо дна — скопище черных и коричневых водорослей, так что пришлось поплыть теперь среди перекатывавшихся через меня волн, которые не несли меня с собой, а топили, плыть среди бурунов, но теперь не находя дна, теперь борясь изо всех сил, но не продвигаясь вперед из-за встречного напора откатывающейся в море воды. Я задохнулся от страха, но еще не хотел в это поверить, не хотел звать на помощь в тридцати метрах от берега с его зонтиками. Никто бы этого не услышал. Едва ко мне вернулось дыхание, меня захлестнул следующий бурун. Я еще сопротивлялся, зная при этом, что все кончено, по сути не удивляясь, когда-нибудь это должно случиться, почему здесь, почему так, почему сейчас, сознание, что все кончено, как сознание чего-то смешного, я сопротивлялся уже только этому смешному, пока вообще не перестал что-либо сознавать,— вдруг песок... Когда я шлепал по воде к берегу, мне было стыдно. При этом никто не видел меня. На берегу, где меня сейчас могли видеть, я притворился, будто искал ракушки. Чтобы не показывать своего изнеможения. Потом мне все-таки пришлось сесть. Я натерся мазью, глядя на море, солнце, на горизонте дымит грузовой пароход, синий полдень, самый обычный. Я попробовал думать: утони я сейчас? — и мне ничего не пришло в голову по этому поводу... Я тщательно натерся мазью, натер плечи и икры, бедра и грудь, и лоб, и плечи, и еще раз икры; слева бубнило радио, справа лежала итальянская пара с клоунским мячом и скучала, «family style».

История для Камиллы:

О человеке, который снова и снова решает переменить свой образ жизни, и, конечно, это ему никак не удается... Он летел в очередной раз домой, пассажир, который уже не глядит в окно, когда машина стоит на последней полосе и ждет разрешения на взлет, пассажир, который раскрывает свою газету еще до взлета, и вдруг он прочел в одной отечественной утренней газете, купленной в иностранном аэропорту и потому, конечно, не очень свежей, извещение о своей смерти. Никто не сообщал ему о его кончине; никто не знал, где он в эти дни находился, даже его жена. Сам он, как только до его сознания

дошло извещение о его смерти, взглянул все же теперь в круглый иллюминатор; но о том, чтобы выйти, уже не могло быть речи, полоса стремительно пронеслась мимо, и машина круто набирала высоту. Он еще видел сверху луга, хутора, сосновый лес, пересеченный дорогами, повозку на дороге, вскоре потом вокзал с рельсовыми путями, но уже все казалось игрушечным. Потом туман. Счастье, что рядом с ним никто не сидел; он вряд ли осмелился бы раскрыть эту газету еще раз. Не только имя в черной рамке было в точности его именем; соответствовали действительности и имена скорбящих. Он, видимо, побледнел, несмотря на то что знал, что он вовсе не умер. Стюардесса улыбнулась, спросив его, не может ли она что-нибудь для него сделать, и покрутила вентилятор над ним. Он попросил фруктового сока. Газета была позавчерашняя, извещение о его смерти давалось в ней трижды, словно во избежание каких бы то ни было сомнений: одно от имени семьи, одно от имени администрации учреждения, одно от имени профессионального союза. Бог упоминался только в извещении от семьи, зато относительно причины смерти не было разнобоя: трагический несчастный случай. Подробностей из этой газеты нельзя было узнать, сколько раз он ее ни перечитывал, попивая фруктовый сок. Может быть, как это уже было однажды, какой-нибудь бродяга угнал его машину, на сей раз чтобы налететь на бензовоз и обгореть до неузнаваемости. Похороны сегодня. Это значит, что, если самолет не опоздает, герой истории поспеет на собственные похороны...

Никогда реактивный лайнер не летел так медленно.

Обдумать свою жизнь, которую он вел на земле, он, может быть, и пытался, покуда летели над облаками, освещенными солнцем; но это ему не удалось, и, когда она принесла поднос, хозяйка с неизменной улыбкой, он только покачал головой; есть он не мог, да и думать, собственно, тоже, он мог только то и дело смотреть на часы — а вдова сейчас закрывала черной вуалью заплаканное лицо...

Наконец захрипел динамик.

«No smoking» [1].

Самолет, который ветром трясло так, что крылья покачивались, кружил в тумане еще минимум двадцать минут; в первый раз он испугался.

Как и следовало ожидать:

Его машины на месте не было; сторож стоянки, которому

[1] Не курить *(англ.)*.

он предъявил свой талон, ничем помочь не мог и посоветовал ему обратиться в полицию...

Он взял такси.

Не получив своего багажа.

Он приехал первым на кладбище; разумеется, как только самолет сел, он позвонил домой, но напрасно, публика была уже в пути. Только садовник, сгребавший с дорожек прелые листья,— больше никого на кладбище еще не было. Он почитал надписи на лентах венков. Дождливый день. Может быть, иные ленты, которых он недосчитался, были в помещении, на крышке гроба; но войти в крематорий, чтобы посмотреть, он не решился, тем более что на нем был светлый дождевик. Конечно, он хотел все выяснить, это был его долг. Спрашивая у сторожа имя покойного, он вынул изо рта трубку, несколько растерявшись, затем, когда вскоре подъехали первые машины, и вовсе смутился. Он спрятался, словно был здесь не к месту, за кипарисом, уже в некотором отчуждении; все в черном, медленное шествие безмолвными группами или поодиночке, пришло довольно много народу, иных он совсем не знал, людей, представлявших, видимо, корпорацию или фирму, были и соседские дети, друзья, которых он давно не видел, все в черном, а он, единственный в белом плаще, стоял за кипарисом, с трубкой в руке. Момент, чтобы показаться, был, в сущности, упущен. Масса народу, иные приехали издалека. Впрочем, прятаться не было особой нужды, поскольку все, проходя мимо по шуршащему гравию, смотрели вниз, и скорбевшие, и те, кто изображал скорбь. Знакомые обменивались лишь сдержанными поклонами. И никто, конечно, не курил, так что и он невольно спрятал в карман погасшую трубку. Это было скверно; ведь тем самым он признал всю эту церемонию еще до того, как появилась покрытая вуалью вдова, и мог теперь только покорно наблюдать, как все шло своим чередом. Умиление, которое он почувствовал было, читая надписи на мокрых от дождя лентах, прошло; теперь он воспринимал происходившее как заговор. Вдова появилась, как следовало ожидать, под черной вуалью, поддерживаемая двумя шурьями, которые шествовали спокойно и чинно и защищали ее от приветствий, скупо кивая налево и направо вместо нее. Слышны были только шуршанье гравия, когда подъезжали машины, да хлопанье автомобильных дверок, а в промежутках — дробь капель, падавших с кипариса. Показаться теперь в светлом дождевике — да кто же осмелится! Вскоре послышались и звуки органа. Пристроиться сзади — ничего другого герою истории, по сути, не оставалось, коль скоро

прекратить эту церемонию уже нельзя было: пристроиться сзади, чтобы послушать надгробную речь, это вполне прошло бы; в крематории люди не озираются, когда уже сели на скамьи, и покойник, если только он ведет себя тихо, вполне может стать у дверей. Он только переждал подоспевших в последние минуты. Скопление автомобилей, орган — все это не оставило его равнодушным; особенно орган. Люди все прибывали, подумать только, их было больше, чем мест для сидения; иным пришлось стоять в дверях, со шляпой в руке, иным даже снаружи. Значит, ничего не получится; его увидят, если он станет протискиваться в дверь, чтобы послушать надгробную речь. Теперь орган смолк. Но он слышал только дробь капель, теперь снова с трубкой во рту, правда не закуривая, и толком не знал, что сейчас делать в его положении. Пойти в кино или домой? Он спросил у одного шофера, куда потом поедет скорбящая публика, и пошел пешком, руки в брюки, словно у него оказалось вдруг чересчур много времени, лениво и праздно, а какой-то священник меж тем, никогда в жизни его не знавший, читал его биографию; человек в светлом дождевике. Один раз он остановился; он смотрел, как мальчишки играют в футбол среди огородов, и ждал, чтобы мяч перелетел через забор. Это было бы соблазнительно, поиграть в футбол в день собственных похорон. Но мяч к нему так и не попал, и, когда он пошлепался дальше, он ударил ногой по пустой жестянке, которая сперва полетела как футбольный мяч, потом, дребезжа, скатилась в канаву, меж тем как публика, снова утешенная органными звуками, с опущенными головами вспоминала о нем. С одной стороны, он был рад, что ему не пришлось слушать свою биографию, с другой стороны, ему было досадно, что он ничего не мог сказать по этому поводу. Теперь он стоял в харчевне, где должна была потом собраться скорбящая публика, он выпил рюмку граппы, потом стакан пива, потом вторую рюмку граппы, не снимая плаща. Ужасное заведение, подумал он, кафе в отечественном стиле. Для поминального обеда был заказан верхний этаж. Кремация бродяги под его именем продолжалась долго. Ничего из того, что приходило ему в голову,— например, дождаться публики, сидя на верхнем этаже,— нельзя было, конечно, сделать из-за вдовы, которой за последние три дня действительно сильно досталось. Да и ему самому, признаться, было не до шуток. Он был в самом деле растерян. Возможно, он корил себя за то, что ничего не сказал о своем полете, он заказал еще одну рюмку граппы и стал листать сегодняшние газеты, но никаких некрологов не нашел; газеты, в конце кон-

цов, каждый день шпнут другое. Когда гости, которых пока еще можно было собирательно определить как скорбящую публику, служебными группами, или семейными группами, или несовместимо смешанные случайностью, поднимались по лестнице, они говорили будничными голосами, однако мало. Каждый хотел пропустить в дверь всех остальных. Было тут наверняка и два-три настоящих друга, их-то уж он с удовольствием избавил бы от этого номинального обеда, от этой черной тягости, выдержать которую они чувствовали себя обязанными не ради него, а ради его семьи. Почему они не пришли в нижний этаж! Это его огорчило. Когда он позднее, явно напившись, подошел к проигрывателю-автомату, чтобы запустить какую-то оглушительную пошлятину, вскоре спустился хозяин, кстати сказать, в черном, и, разумеется, сделал ему выговор. Но автомат, раз уж его включили, нельзя было остановить; пришлось им дослушать эту пошлятину до конца. Что делалось на верхнем этаже, он мог вообразить: чинная атмосфера, стол подковой, вдова теперь без вуали, но заплаканная, простой обед, ветчина и клевнер-бирли, вдобавок воспоминания личного характера. Кое-кому тебя будет недоставать, а кое-кому меньше, чем они думают. Одной женщины, которая и в воспоминаниях с ним никогда не помирится, там наверняка не было, и это оказалось для него облегчением, и вообще общество там наверху имело отдаленное отношение к его жизни, он мог быть равнодушен к нему, равнодушнее, чем то дозволено показывать при жизни. Когда ему понадобилось в уборную, находившуюся на верхнем этаже, никого, к счастью, в передней комнате не было. Его вырвало. Когда потом кто-то подошел, его дверь была заперта. Скорбящий удалился. Вдруг он почувствовал себя очень несчастным, человек за запертой дверью, испугался, что не сможет уже отворить дверь, но звать на помощь не захотел. Наверняка в зале болтали уже вполне непринужденно, только вдова молчала, что всем было понятно, но атмосфера разрядилась. Вдруг он услыхал голоса из передней комнаты, двое мужчин рядом у умывальника, они говорили о служебных делах, что интересовало и человека за дверью, и тщательно мыли руки, тщательно вытирали руки, чтобы подольше поговорить о служебных делах, наконец, анекдот уже на пороге — не о покойном, разумеется, а совсем из другой оперы... Человек за дверью был рад анекдоту, который он, правда, уже знал. Теперь он мог бы войти в зал. Жизнь продолжается. В зале была бы сейчас подходящая для этого атмосфера. Но он был слишком несчастен, к сожалению, и ему оставалась только улица, где шел дождь.

Его багаж находился еще в аэропорту.

И вот он почувствовал себя свободным.

Около полуночи, выспавшись в зале ожидания и протрезвившись, он загрустил опять. Без крова в родном городе, это действует на нервы. Правда, он мог пойти в гостиницу, взять номер с ванной; без багажа, но с деньгами. И с паспортом. Он не решился, как будто каждому портье было известно, кого сегодня кремировали. Кино закрылись. И вот он сидел на садовой скамейке, без шляпы, под дождем, усталый, озябший, медленно проникаясь весельем оттого, что он жив, и вдруг почувствовал себя готовым к празднику, да, к совершенно сумасшедшему празднику. Но с кем? Без шляпы, под дождем, в одиночестве, вежливо отказавшись от приглашения какой-то уличной дамы, он обнаружил, что давным-давно был небрежен с теми немногими, о которых после этого дня могла идти речь как о друзьях, и явиться к ним сейчас, за полночь, словно призрак из могилы, никак нельзя было. Может быть, тот или другой из них обрадовался бы. Он вспоминал о них с раскаянием. Но раскаянье не было местом, где можно посидеть, и произойти что-то должно было. Когда он в конце концов вошел в телефонную будку и позвонил домой, никто не ответил; вероятно, вдова почевала у шурьев, то есть у своих братьев, которые никогда не жаловали этого зятя. Нельзя ставить им это в вину. Человек в светлом дождевике, стоявший сейчас в кабинке автомата, всегда был не ко двору в их семье; он и сам это знал. Они никогда не могли вполне понять этот брак. Потрясенные ее скорбью — настоящая боль приходит обычно лишь после похорон,— они, вероятно, и теперь не говорили того, что думали все эти годы, а утешали несчастную. К счастью, детей от этого брака не было. Они утешали несчастную тем, что понимали ее; они не перечили, когда она все рыдала и рыдала, и говорили, как Португальская монахиня [1]: не о нем, а о своей любви...

Во всяком случае, никто не ответил.

Повесив наконец трубку и спрятав выпавшую монету, человек в светлом дождевике проверил, есть ли у него ключ от дома, взял такси и поехал домой. Ему хотелось спать. В квартире было темно; он зажег свет и постоял... смешно: семь чайных чашек на столе, их последнее подкрепление сил перед похоронами, и всюду цветы, шкатулка, полная открыток с соболезнованиями и писем с черной каймой. Некоторые он прочел, не са-

---

[1] Героиня известного литературного памятника — «Португальских писем», изданных в Париже в 1669 г.

дясь, наклонив к плечу голову. Кто-то забыл свой черный котелок. В остальном все как всегда, не считая открытых ящиков; понадобились документы, понятно, завещание искали и нашли. Чтобы потом все-таки предоставить слово священнику. Ну ладно. Он зажег свет в спальне: супружеская кровать, на ней черная вуаль жены. Он погасил свет. Кошка, которая спала в своей корзинке, была дома единственным живым существом. Он зажег свет в кухне, достал из шкафа стакан, наполнил его водой, выпил, наполнил еще раз. Снова в жилой комнате, со стаканом в руке, он еще раз огляделся, не снимая дождевика, держа другую руку в кармане брюк, чтобы не рыться в собственных вещах, которые были вытащены из ящика: связки писем, квитанции, спортивный значок былых времен, полис страховки от несчастного случая, фотографии, почетная грамота. Барахло. Удивленный, неприятно удивленный всеми этими свидетельствами усилий, которые вдруг оказались ненужными, он выпил воду. Когда кошка, проснувшаяся тем временем, юркнула в комнату, он испугался; потом, посмеявшись, дал кошке бисквита со стола скорбевших. В квартире он пробыл недолго, здесь, казалось ему, нечего приводить в порядок, не к чему прикасаться. Только увидав оловянную кружку с семью трубками, он не смог удержаться, выбрал лучшую и сунул ее в карман плаща, не преминув сунуть взамен ту, что была у него до сих пор в кармане плаща, в оловянную кружку. Только и всего, собственно. Потом еще один обзорный взгляд, потом он погасил свет. На лестничной площадке ему показалось, что он слышит какие-то звуки, он сразу же спрятался в нише и затаил дыхание. Шаги вверх по лестнице! Но потом он услышал дверь в нижнем этаже, потом тишину. Как крадущийся любовник, на цыпочках, вздрагивая при каждом скрипе лестницы, он, никем не замеченный, добрался до парадного; он открыл его осторожно. Дождь перестал. Он приподнял воротник дождевика, скользнул взглядом вверх по фасаду, пошел... Кроме света, нечаянно оставленного им в кухне, никаких следов от него не нашли; стакан на письменном столе внимания к себе не привлек; его ключ лежал в ящике для писем, что так и не нашло объяснения...

Свобода все еще занимает меня.

(...потому что я был несправедлив к нему. Нельзя представлять себе человека лишь в его отношении к другому полу, мужчину — нельзя; большую часть нашей жизни мы проводим в работе.)

Я представляю себе:

Свобода в белом рабочем халате. Оба чертежника, чью работу он проверяет, ничего по его виду не замечают. Свобода такой же, как каждое утро. Он сидит в задумчивости, опершись волосатыми своими руками на углы чертежного стола слева и справа, а оба служащих, напряженно ожидая его решения, стоят слева и справа от Свободы. Кажется, ему что-то не нравится; какая-то, может быть, пропорция, он сразу не может понять, берет масштабную линейку, измеряет, молчит, смотрит и понимает: так не пойдет. Жаль. Свобода не раздражен, только задумчив: нужна идея. Другая. Итак, задумчив, но упрека в его задумчивости нет; в конце концов, это была его собственная идея — то, что теперь аккуратно, твердым карандашом и в масштабе вычерчено в горизонтальной и вертикальной проекции. Так, значит, не пойдет. Как-никак ясность. И от того, что не пойдет, отказываются: это работа, это хорошо. Свобода, опершись волосатыми руками на углы чертежного стола, в момент, когда всей бригадой, так сказать, ждут идей, смотрит в окно и думает как раз о чем-то другом — о вчерашнем вечере с Лилей,— но недолго... Это вот, проект на открытый конкурс, неотложнее, и Свобода просит дать ему рулон кальки, который он невозмутимо развертывает, затем карандаш, мягкий, В5. Может быть, у карандаша появится вдруг идея. Потом второй лист кальки, третий, который он невозмутимо изводит, четвертый. Невозмутимо. При этом с напряженным взглядом, но невозмутимо; должно же быть какое-то решение. Свобода не ухарь, но как-никак специалист, работник знающий, и то, что он наносит на бумагу в это утро (после ночной свистопляски с бутылками из-под виски), уже лучше, хотя бы ясно; оба служащих, теперь снова нагнувшись и склонив к плечу головы, чтобы прочесть его эскиз, начинают кивать... Вторгаются другие дела, звонок со строительной площадки, Свобода что-то решает; позднее слышно, как он смеется; позднее Свобода едет в какое-то ведомство, а оба служащих накалывают на доску чистый лист ватмана и складывают губы дудочкой, а во второй половине дня я вижу его снова в белом халате и его волосатые руки на углах чертежного стола: то, что он набросал утром, видно, и правда идея, хотя и робкая, находит он, робкая по пропорциям, так что Свобода еще раз разворачивает поверх чертежа шелестящую кальку, и теперь, извольте, это уже только вопрос сверхурочных. Когда входишь, после того как о твоем появлении доложила секретарша, видишь сзади его загорелую лысину; я жду, покуда служащие не поймут все до конца, покуда он медленно

не повернется на вращающемся сиденье и потом не поднимется, не снимет роговые очки.

— Я помешал? — говорю я.

Моя руки, затем вытирая их, человек-глыба, за которого не боишься, он говорит, что я пришел очень кстати, хотя его мысли еще явно на кальке, говорит приветливо, и я верю ему, поскольку он сразу указывает мне на какой-то макет, чтобы выслушать мнение дилетанта.

— Ты уж извини,— говорит он.

Я вижу:

Свобода, прижав телефонную трубку к уху плечом, выдвигает ящик стола, роется в каталоге шиферов, продолжая разговор, и просит секретаршу принести ему предварительную смету расходов; в промежутке его вопрос:

— Нравится тебе сценическая площадка, как в античном театре?

— Нет,— говорю я,— не очень.

Может быть, я поговорю об этом со Свободой, на досуге, может быть, потом, в машине; сейчас я стою на корточках перед его макетом, который мне очень нравится. Рабочая модель, слышу я, в ней будут еще изменения. Это — вскользь. Дискуссия о шифере, явно раздражающая Свободу, продолжается долго. Положив наконец трубку и захлопнув каталог, он говорит:

— Чушь.

Я вижу, как Свобода, взглянув на ручные часы, снимает свой белый халат, затем берет пиджак, теперь молча; дело с шифером, видимо, очень досадное.

— Спасибо,— говорит он,— у меня все великолепно.

Прежде, однако, чем мы уходим, я уже взялся за ручку двери, но не спешу, Свобода заходит в другую комнату, где люди в белых халатах, кто сидя, кто стоя, склонившись над рейсшиной или счетной линейкой, трудятся над разрешимыми задачами, такая же белоснежная мастерская; одному старому технику придется сделать перерасчет всего проекта на шифер, да, к сожалению (насколько я понял из телефонного разговора, речь идет о многоэтажном гараже).

— А ты как? — спрашивает Свобода в машине.— Ты ведь был в Иерусалиме,— вспоминает он,— что же ты там делал?

Я вижу:

Свобода за рулем, обе руки вверху, так дают себе роздых при долгой езде, его утомленное от бессонной ночи лицо, но живое; разумный водитель; он обгоняет при возможности сразу же, не прерывая при этом разговора, а если не получается,

едет медленно без всякой первозности; кажется, машину ведет не он, а улица, в то время как он разговаривает.

Ни звука о Лиле.

По пути я вижу строительную площадку и Свободу, расхаживающего по шатким доскам, неотделанная постройка после конца рабочего дня, бетономешалка, которая молчит и роняет капли, рядом мешки с портландцементом, уборная под цветущей вишней, тачки, барак с бумажным плакатом под сплетением проводов: ВХОД НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ ПОСТОРОННИМ СТРОГО ВОСПРЕЩЕН. Свобода в плаще. То, что он называет жилой комнатой, представляет собой джунгли из кругляка и горбыля, именуемые стойками опалубки, потолок бетонировали сегодня, на нем дерюги, с них каплет. Везде материал: рулоны толя, на ощупь как наждачная бумага, бочка с лепестками вишни на грязной воде, лопаты, связки арматуры в траве, холмы коричневого перегноя, поросшего бурьяном, штабеля кирпича, бледно-розового, как сумерки. Вдруг Свобода достает желтый складной метр. Бак с мазутом, стоящий в ожидании у своей ямы, и лужи повсюду, доски с клеймом *Скотони и К°*, какое-то приспособление из веревок с отвесом, трубы, отливающие коричневым блеском спелых конских каштанов, канализация, цементированный коллектор, над ним козлы с подъемником, куча гравия у берез, обшитых планками, пивные бутылки в траве, бумага от пустых мешков из-под цемента. У Свободы вид вполне довольный.

— Ну,— говорит Свобода,— пошли?

Дома:

— Что ты будешь пить? — спрашивает он, не поблагодарив за лед, который принесла Лиля, и за стаканы для виски, которые он не швырнул накануне в камин,— ты, со своей печенью?

— Виски.

— Вот видишь,— говорит он,— он тоже считает, что это чепуха, вся эта болтовня насчет сцены, как в античном театре.

Значит, это она.

Я рассказываю об Иерусалиме.

Лиля все-таки актриса!

Если бы я был Свободой:

Я достал бы из шкафа свою винтовку, армейскую винтовку, и лег бы на живот, может быть, еще раз встал бы, чтобы снять

куртку, затем я вынимаю изо рта трубку, прежде чем снова лечь на живот и потом вогнать в магазин первую обойму, большим пальцем, всё, как учили, закрыть затвор, всё без паники. Какое-то мгновение, когда я еще раз кладу на пол винтовку, кажется, будто я медлю, будто вижу нелепость своей затеи; но винтовку я кладу на пол лишь потому, что брюки у меня тянут, к тому же мне надо протереть очки, прежде чем поставить винтовку на боевой взвод, потом приклад к щеке, потом прицелиться — совершенно спокойно,— например, в часы в стиле Людовика XV. Помнишь? Белые и круглые, как мишень, фарфор с золотыми стрелочками: бац! — и открыть затвор, чтобы выскочила пустая горячая гильза, надо надеяться, она не прожжет наш ковер, закрыть затвор, важно спокойно и равномерно дышать, целясь, к примеру, в венецианское зеркало, спусковой крючок, мой глаз с черточкой мушки на мой глаз в зеркале, затем медленно нажать указательным пальцем: дзынь! — и снова открыть затвор, закрыть затвор, всё, как учили, только не торопиться, когда целишься — на этот раз, может быть, в динамик «Хай-фай» [1], который все еще играет Шуберта, трио № 1, и не моргать, пока не нажал на спуск: бам! Я расслабляю галстук, прежде чем перейти к более тонким задачам, и натягиваю ремень винтовки на левый локоть, чтоб не дрожать. Ну-ка, попади в гвоздь, на котором висит твой портрет! Я расходую четыре патрона, прежде чем портрет начинает болтаться. Пьян я, что ли? Надо перезарядить, рукоятку к себе, обойму в магазин, рукоятку от себя, всё как учили, винтовку в плечо. А как насчет книг? Моя щека наслаждается холодком приклада, когда я целюсь в Миллера [2]. Бах! Я уже давно слышу голоса на улице, крики, но здесь я у себя дома. Открыть затвор, закрыть затвор, дальше. Те, кто кричит там на улице, какое им дело! Я тем временем осмеливаюсь перейти на более тонкие объекты, например на «Письма португальской монахини». Для этого мне требуется три патрона. Дело, мне кажется, того не стоит, бар, я нахожу, лучше как цель. Виски — пинг, джин — пинг! Тут звяканье, и каждый раз как выскакивает горячая гильза, когда я рывком открываю затвор, мне становится весело; не понимаю, почему сейчас звонит телефон. Я поражаюсь, но мне никто не нужен. Телефон звонит и звонит, пока я не целюсь в него: бац! — и не зная еще, что́ будет следующей моей целью,

[1] High Fidelity *(англ.)*.— Здесь высокая точность воспроизведения звука.

[2] Имеется в виду современный американский писатель Генри Миллер, автор эссе «Мир пола».

я вдавливаю в магазин следующую, предпоследнюю обойму, закрываю затвор, прижимаю приклад к щеке. Тишина. Не может быть, чтобы позвонила мне ты. С чего бы вдруг? Ты сейчас с другим, а я должен продолжать свое. Или это позвонил кто-то третий, ни в чем не повинный, чтобы по твоему поручению (неохотно; но чего люди для тебя не делают?) сообщить, что ты опоздала на поезд? Наверно, так и есть. А как насчет замочной скважины в твоем ящике? Но твои тайны устарели; я предпочитаю: в обитую кожей мебель. Пиф-паф-пуф! Бездарная охота на буйволов. Затем постыдное непопадание в глиняную собачку эпохи инков из Перу, и снова уже надо перезаряжать, глядя на местность, где мы были дома. До последнего патрона, да, в этом сомнений нет; отступать поздно. Как насчет электрических лампочек? На четыре лампочки я трачу пять патронов, и из темноты сыплется гипс; последний патрон — луне, которая сразу же пытается заменить электрический свет и явно считает, что она в безопасности за оконным стеклом: трах! — а потом в дверях стоит полицейский — его счастье, что в стволе уже нет патрона,— и, снаряженный бесстыдно слепящим фонариком, требует данных о моей личности...

Но я не Свобода.

Назову себя Гантенбайн.

Мои истории для Камиллы — в одно прекрасное утро это кончится, последний мой маникюр.

— Ах, эти ваши истории!

Она смеется, обрабатывая как раз левый большой палец Гантенбайна, смеется коротко и не поднимая глаз, так что Гантенбайн видит только ее крашеный перекисью вихор, а впрочем, вихор этот не крашеный, уже нет. Может быть, уже давно не крашеный. Гантенбайн перестал, кажется, ее видеть, по-настоящему видеть.

— Камилла,— спрашиваю я,— что с вами?

Ее спрос на истории удовлетворен; у Камиллы, кажется, у самой есть история, подлинная история.

— Да,— говорит она,— вам придется поискать другую маникюршу,— и пилит в последний раз ноготь моего большого пальца, не поднимая глаз, когда прибавляет: — Я ведь выхожу замуж...

Мои поздравления по этому поводу.

Ее жених, зубной врач, которого она нашла по объявлению, не хочет, чтобы его Камилла продолжала заниматься маникюром. Значит, снова конец самостоятельной женщины.

— Я буду ему помогать,— говорит она,— вести прием,— говорит она с несомненным почтением к этим двум словам,— во всяком случае, покуда у нас не будет детей.

— Вы хотите, чтобы у вас были дети.

Когда я потом смотрю на пальцы правой моей руки, я, стало быть, знаю, что это был мой последний приход к Камилле Губер. Я сожалею об этом. Я понимаю зубного врача, который не хочет, чтобы она продолжала заниматься маникюром. Мы вообще больше не будем видеться, я понимаю, а то еще зубной врач вообразит бог весть что, а я тоже этого не хочу. Я повторяю свои поздравления, но мне жаль; Камилла и Гантенбайн стали друзьями, как сейчас выясняется, настоящими друзьями.

— Господин Гантенбайн,— говорит она.

— Что такое?

— Вы не слепой.

Я не спрашиваю, с каких пор она это знает.

— Да,— говорю я,— а что?

Когда я беру черную палочку и когда мы стоим в передней, собственно, уже попрощавшись, я уже положил руку на ручку двери, я вижу по ее лицу, что Камилле хочется еще что-то сказать.

— Господин Гантенбайн,— говорит она.

Я жду.

— Я никому не скажу,— говорит она,— что вы не слепой, можете положиться на меня, и вы тоже никому не говорите, что́ вы видели.

Это договор.

Только что я не без ужаса заметил, что у Лили, какой бы я ее ни представлял себе до сих пор, ни в одном варианте нет ребенка. Я просто ни разу не подумал об этом.

Ребенка от кого?

Я представляю себе:

Тогда в баре, среди бела дня, когда незнакомый господин спросил ее, есть ли у нее дети, спросил, конечно, не с интересом, а просто так, болтая за солеными орешками, она вовсе не

умолчала об этом, даже сообщила, сколько ему сейчас лет, ее ребенку. Только он, кажется, успел об этом забыть, незнакомый господин в темном вечернем костюме, когда, зайдя за ней, чтобы поехать в оперу, стоит в гостиной и ждет. Со склоненной к плечу головой, чтобы читать заголовки, он стоит перед книжными полками, держа руки в карманах пиджака, чтобы ни до чего не дотрагиваться. Он не знает, что эта дама так долго делает, после того как он уже подал ей меховое пальто. Но ждет он без нетерпения, без тени недовольства. Может быть, она ищет ключи, а он тем временем осознает, в сколь выгодном свете предстает он в сравнении с ее супругом, чьи трубки стоят в кружке эпохи ников и который сейчас находится в Лондоне; таким свободным от нетерпения ни один супруг, когда его заставляют ждать, не бывает. Не знать, больше того, не догадываться, что́ Лиля так долго делает,— для незнакомого господина есть в этом какое-то даже очарование. Вдруг стук ее каблучков где-то в передней. Выходя, она, правда, предложила ему угоститься у бара. Но он не хочет. Не хочет здесь ни к чему прикасаться. Руки в карманах пиджака, незнакомый господин, который находится здесь, но не хочет знать, где он находится, он ждет спокойно, без любопытства. Взгляд на книги был уже лишним, он был неким проникновением, неким соприкосновением с ее средой, о которой он ничего не хочет знать. А тут еще эти трубки в кружке эпохи ников. Он знает, что она не с неба упала, только чтобы пойти с ним в оперу; в бар, среди бела дня, еще ни одна дама с неба не падала. Известное дело; раньше или позже это выплывет; реальность какой-то среды, какая-то семья, какая-то история, реальная и замысловато-обыкновенная. Но он не хочет этого знать. Не хочет даже присесть. Даже то, что он воспользовался зажигалкой, «Данхиллголд», которую она, вероятно, подарила своему супругу, на какую-то долю секунды портит ему настроение; он не хочет чувствовать себя здесь как дома. Он курит, стоит и курит. Не знает, почему эта квартира Свободы — Лили как-то ему мешает; обставлена она со вкусом. Часы в стиле Людовика XV. Мебель, обитая белой кожей. Глиняная собачка эпохи ников. Все с большим вкусом; но оно присутствует. Почему лицо, которое встречаешь, никогда не парит в пустоте? А ему не хочется осматриваться слишком внимательно. Лучше уж в оперу!.. Когда она вдруг возвращается, он стоит у окна, чтобы смотреть не на квартиру, а на улицу; он забыл, что у нее есть ребенок, которого надо ублажить, прежде чем мама уедет в оперу.

— Почему вы ничего не пьете?

Когда она идет к бару, чтобы угостить незнакомого господина, он слышит, что ребенок плакал; но теперь, кажется, ребенок утешен обещанием, что мама расскажет ему всю оперу, когда вернется домой.

— Сколько лет ребенку? — спрашивает он.

Она говорит это еще раз.

— Спасибо,— говорит он,— большое спасибо!

И они пьют, говорят о другом и курят, садятся и говорят, в оперу они давно опоздали, Лиля по-прежнему в пальто, оба чувствуют, что им надо бы покинуть квартиру и пойти в город, хотя в том, что она угощает кого-то около полуночи, никакого нарушения обычая, пожалуй, и нет. Впрочем, еще не полночь... Ребенок спит... Он снова, кажется, забыл о ребенке; она — нет. Она мать. Она не говорит о своем ребенке, который спит, да и не думает о ребенке; но она знает, почему она не со Свобом в Лондоне. Потому что она мать. Это уж так. Это счастье. Завтра она повезет ребенка в детский сад; ей не нужно думать об этом, она это знает. Она может положиться на себя. Иногда Лиля (ей тридцать один) кажется себе старухой... Они поднимаются, чтобы пойти в город, на мгновение озадаченные немым согласием; она гасит торшер. До сих пор вся квартира была освещена, и все двери, кроме двери в детскую, были открыты уже несколько часов, открыты с тех пор, как она искала карту Перу, даже дверь в кухню, словно она страшилась открытых дверей. Странно становится, когда она гасит торшер, затем и верхний свет; ее тянет в переднюю, где еще горит свет, и он, готовый выйти, ждет только, чтобы она нашла ключи от машины. Оглядываясь, словно что-то могло быть не в порядке, она уже дотронулась до выключателя левой рукой. «Пойдемте!» — шепчет она, когда его рука, словно бы в знак прощанья с некоей возможностью, непроизвольно и в то же время иронически — он отдает себе отчет в том, что это повторение,— скользит по ее лбу. «Пойдемте!» — шепчет он. Куда? Об этом нет речи. Они шепчутся, чтобы не разбудить ребенка. Шепот объединяет. Это ошеломляет ее, и она не глядит на незнакомого господина, гася свет в передней, и света нет больше до тех пор, пока не рассветает за окнами — только в детской один раз загорается свет: в три часа она идет туда, потому что услышала кашель, и зажигает свет, чтобы удостовериться, что ребенок спит. Он спит. Не из хитрости ли она будит его? Она будит его. Чтобы сказать, что мама дома, что она была в опере. Она рассказывает ему оперу не подробно, однако так, что ребенок вспомнит ее рассказ. А когда он подрастет, он тоже пойдет в оперу. А чтобы

подрасти, надо сейчас спать. Она поит его подслащенной водой. Потом гасит свет. Ждет у кроватки, не целуя ребенка; но говорит, что завтра приедет папа и, конечно, что-нибудь привезет, куклу в шотландской юбочке (если это девочка) или парусный кораблик (если это мальчик), но только если ребенок сейчас уснет. И она ждет, покуда не бьет четыре; потом она закрывает дверь снаружи, и, когда она возвращается, ни слова, ни слова даже шепотом, она прячет лицо в его ладони, а он ровно дышит открытым ртом, прислушиваясь, тишина...

На другой день приезжает Свобода.

Ребенок (насчет шотландской куклы он, видимо, уже не слышал и не разочарован тем, что папа ничего не привез) рассказывает оперу, которую видела мама, очень потешно.

Ребенок как ангел-хранитель?

Я купил магнитофон, чтобы записывать ваши разговоры, разговоры без меня. Это подло, я знаю. Я и стыжусь каждый раз, когда дрожащими пальцами вставляю в эту дьявольскую машину этакую коричневую тесемку, наговоренную в мое отсутствие...

Зачем?!

Как продолжаются разговоры моих друзей без меня, это я иногда могу, мне кажется, представить себе, иногда — нет. Говорят ли они сейчас, когда я ушел, все еще об истории панства? Или о чем? Но прежде всего, как они сейчас говорят? Иначе, чем прежде? Точно так же? Серьезнее или шутливее? Не знаю, почему мне хочется это знать. Есть люди, о которых я думаю, что они после моего ухода будут говорить точно так же, как при мне, и в них, откровенно говоря, есть, на мой взгляд, что-то скучное, что-то чуть ли не бесчеловечное. Конечно, может быть, я ошибаюсь. Если кто-то продолжает говорить точно так же, после того как откланялся Бурри, это еще не значит, что и после моего ухода он будет говорить точно так же. Одни люди подбивают на предательство, другие нет. Да и что значит предательство! Я не думаю, что, едва оставшись одни, люди говорят о моей особе, а если и говорят, ну что ж; мне любопытно нечто другое. Не будет ли, например, у Бурри наедине с Лилей и совсем другое лицо? Придумывая разговоры, происходящие без меня, я стану, чего доброго, бояться людей, или уважать их, или любить в зависимости от того, как говорят они в моем представлении, когда меня нет. Мое почти слепое доверие, например, к Бурри, только потому, что в придуманных мной разгово-

рах он говорит не иначе, и молчит не иначе, и смеется не иначе, чем в моем присутствии, доходит до того, что я просто не верю, когда стороной узнаю, что Бурри на днях сказал то-то и то-то. Сплетня! Я не хочу слушать сплетню! Что из этого получается: мое подозрение падает не на Бурри, а на людей, которые говорят мне, что на днях сказал Бурри в мое отсутствие. Может быть, он и правда это сказал, но не так, как передает сплетня. Возможно, этими же словами, но не этим тоном. Просто-напросто: я не могу представить себе, чтобы Бурри продал меня ради красного словца. И в точности так же обоснованно или необоснованно, такой же результат моего слепого вымысла, который раньше или позже окутывает каждого человека, мое многолетнее недоверие к другим, например, моя мучительная скованность перед Дольфом, только потому, что, когда он говорит не в моем присутствии, а в моем воображении, Дольф становится вдруг гораздо умнее и тоньше, не только богаче знаниями, если ему не нужно держать про себя свои большие знания из-за моего невежества, но и богаче всякими озарениями, остроумнее. Я убежден, некоторые люди прячут от меня свое остроумие; я за это на них не в обиде, я только всегда поражаюсь, что в моем присутствии они не становятся остроумны, не бывают в ударе, нет в них ни веселья, ни задора, ни озорства. Я полагаю, что они мстят за это; доказательств тому у меня нет. Таков Дольф. Ибо в разговорах, которые я придумываю, возвращаясь домой или лежа в ванне, в разговорах без меня этот Дольф — олицетворение юмора, кладезь знаний, которые он всегда от меня утаивает. Как это получается? Часто я не хожу в какое-нибудь общество лишь потому, что буду присутствовать там, как бы я тихо себя ни вел; как только я появлюсь, это будет не общество, которое меня интересует, а общество масок — по моей вине...

Отсюда магнитофонная лента!

Торопливо, в то время как я спокойно стыжусь, орудуют над бобиной мои дрожащие пальцы, я действительно стыжусь каждый раз, когда включаю эту машину, но ничего не могу с собой поделать. Первый метр я всегда отрезаю, но на некоторых лентах я все-таки застигаю собственный голос, его негромкую ложь: «Я схожу за сигаретами!» Что́ я потом и делаю, после того как пустил адскую машину, спрятав ее за книги. Моему обету никогда не пользоваться этими лентами — грош цена. С ленты запись можно стереть, с памятью этой операции проделать нельзя. Чего я, собственно, жду? Обычно разобрать удается мне мало что, поскольку все говорят наперебой, сум-

бур голосов, я курю себе. Я удивляюсь, что вы понимаете друг друга. Смех! Я не вижу повода. Смех за смехом! Из текста не явствует, что вас так веселит. Столь же непонятно и внезапное молчанье. Вдруг кажется, что лента оборвалась. Но нет. Гробовая тишина. Я понятия не имею, что сейчас произошло. Все еще гробовая тишина. Может быть, вы заметили, что я спрятал машину, ухо, память? Теперь голос, негромкий, какая-то дама: речь о домашних работницах. Я курю, ожидая глухого голоса Дольфа, его юмора, который, однако, не появляется, и постепенно я разочаровываюсь; с таким же успехом я мог бы сидеть с ними. А Лиля? Только Лиля звучит иначе, так что я задерживаю дыхание. Но и она не говорит ничего такого, чего мне без ухищрений не довелось бы услышать, избегает тех же имен, что и в моем присутствии. Тем не менее: звучит она иначе. Свободнее. Она смеется иначе и больше, когда кто-нибудь острит, громче. Не боится ли она в моем присутствии, что я отнесу ее смех на свой счет? Она неотразимее, мне кажется, когда меня нет в комнате. Больше похожа на девочку. Но это понятно. Потом она звучит как тогда, когда я с ней познакомился, давно это было,— в точности так; а ведь запись, которую я прослушиваю, сделана сегодня. Она отваживается на шутки, которые бы и меня восхитили, и порой, хоть и находясь в незавидном положении подслушивающего, я невольно смеюсь. Вы говорите сейчас о политике. Вдруг, когда я почти не слушаю, произносится мое имя. Выключить? Слишком поздно: кто-то уже меня похвалил. За что, этого я не понял. Я мог бы и перемотать ленту, чтобы послушать еще раз, но я этого не делаю. Может быть, вы похвалили мой погреб, поскольку теперь следует разговор о винах, Лиля спрашивает, между прочим, куда же я делся. В этот момент у меня гаснет трубка. Лента сейчас наполовину прокручена. Вы, кажется, не торопитесь, вы ждете конца моей катушки, чтобы поговорить потом по-настоящему, без масок. Вы ищете сейчас штопор, я слышу и не могу вам помочь; штопор был в кухне. По мнению Дольфа, жаль, что я не занимаюсь политикой, очень жаль. С чего это вдруг? Его утверждение, что он советовал мне заняться ею, совершенно не соответствует действительности, во всяком случае, я не припоминаю ни этого, ни блестящего (на ленте очень выигрышного) суждения о нынешней социал-демократии, будто бы мною высказанного. Зачем он украшает меня собственными перьями? Затем он умолкает, словно первоисточник его блестящего суждения может в любой миг войти в комнату, а Лиля тем временем пошла в кухню за штопором. Я слышу, что теперь ее нет

в комнате. Я слышу это, как слепой; она молчит не как все другие, ее здесь нет. Наши гости одни. Может быть, я слышу это по легкому изменению тона. Вы говорите теперь об одном фильме Феллини, все звучит веселее, чем до сих пор, живее, в то же время смущенно, поскольку вы одни, вы избавлены от обязанности считаться в разговоре с предполагаемыми вкусами хозяев дома, гул голосов, такое впечатление, что прежде нельзя было говорить о Феллини. Чтобы не сбиться на сплетни о хозяевах дома, вы страшитесь теперь любой паузы. Кто-то зовет: «Лиля, что вы там делаете?» — и как эхо того же голоса: «Что она делает?» Счастье, что все видели этот фильм Феллини, счастье, прежде всего, что нет единого мнения. «Католицизм у Феллини...»

Конец катушки.

Я снова зажигаю трубку.

Больше ничего не было.

Предательство (если угодно назвать это так)не состоялось, я стираю запись, которая научила меня только одному: я жажду предательства. Я хочу знать, что я существую. Все, что меня не предает, подозревается в том, что живет оно только в моем воображении, а я хочу выйти за пределы своего воображения, хочу существовать в мире. В глубине души я хочу быть преданным. Это любопытно. (При чтении истории Христа у меня часто бывало такое чувство, что Христу, когда он говорит во время тайной вечери о предстоящем предательстве, важно не только пристыдить предателя, а что он добивается предательства от одного из своих учеников, чтобы существовать в мире, чтобы доказать реальность своего бытия в мире...)

Итак, я курю трубку.

Успокоившись ли?

Магнитофон не оправдывает возложенных на него надежд. Разговоры-то ваши я слышу, но я не вижу предательства, которое должно быть написано на лицах, и, сними я их кинокамерой, ваши лица в мое отсутствие, фильм тоже ни в коей мере не оправдал бы моих надежд. Предательство — это, видимо, нечто очень тонкое, его нельзя ни увидать, ни услышать, если иллюзия не увеличит его.

P. S.

Ревность как пример тому, ревность как реальная боль от того, что существо, которое нас заполняет, находится одновременно вне нас. Кошмар среди бела дня. Ревность имеет меньшее отношение к любви полов, чем это кажется; разрыв между миром и иллюзией, ревность в узком смысле всего лишь част-

ный случай такого разрыва, удар: мир в согласии с партнером, не со мной, любовь слила меня воедино только с моей иллюзией.

Назову себя Гантенбайн!
(Но окончательно!)

Я представляю себе:

Гантенбайн в роли слепого свидетеля перед судом присяжных, оснащенный очками, и черной палочкой, и нарукавной повязкой, каковые он носит при любом официальном выходе на люди, вообще же не всегда, но в качестве избирателя у воскресной урны, или в загсе, или на суде всенепременно, Гантенбайн в приемной один, палочка у него между коленями, словно ему нужна опора.

Что хотят узнать от меня?

Дело, которому уже несколько недель все газеты отводят по целой колонке, знакомо каждому, кто читает газеты, стало быть и Гантенбайну; сперва оно было только заголовком на щите, который носят на животе продавцы газет,— *Убийство в Зеефельде,* его выкрикивали, сразу же прочли во всех трамваях, потом забыли, а уголовная полиция месяцами вела напрасный розыск, позднее оно стало сенсацией, когда арестовали одного известного общественного деятеля, скандалом, взволновавшим умы, и, наконец, переданное в суд присяжных, грозит стать скандалом уже политическим...

— Господин Гантенбайн,— говорит какой-то голос,— время еще есть, но приготовьтесь.

Что я покажу?

— Сидите,— говорит голос,— я отведу вас, когда надо будет.

Утро последнего допроса свидетелей, я не знаю, кто вызвал Гантенбайна — обвинение или защита; я знаю только, что вердикт, который должны вынести присяжные, общественным мнением уже вынесен, а что касается Гантенбайна, то я знаю, что у него, как у каждого свидетеля, одна цель: сохранить свою роль — отсюда закрытые глаза... На улице одиннадцатичасовой трезвон, а когда он умолкает, опять воркованье голубей, их уютное воркованье, их идиотское воркованье.

Я знаю только одно:

Если Гантенбайн, как свидетель, скажет правду и Лиля узнает из газеты, что я не слепой, Лиля и все мои знакомые, то...

— Вот вода.

По всей вероятности, видно, что я вспотел, но я, конечно, не тянусь к графину и стакану, только слушаю, как наполняет его служитель суда; я, кажется, не первый, кто, будучи вызван в суд как свидетель, чувствует себя как обвиняемый.

— Господин Гантенбайн,— говорит голос,— позвольте вас попросить...

Я поднимаюсь.

— ...но время еще есть.

С закрытыми глазами, чтобы не выйти из роли перед судом, теперь уже с закрытыми глазами, ибо ни в коем случае не хочу снова увидеть обвиняемого, я стою, опираясь на свою черную палочку, я теперь в распоряжении суда. Меня нужно только вести. Я чувствую сильную руку на своем локте, дружескую руку, которая меня не отпустит, покуда я, Гантенбайн Тео, не стану или не сяду у свидетельского барьера.

— Потихоньку,— слышу я,— потихонечку.

Я слышу свои шаги по коридору.

— Осторожно,— слышу я,— здесь ступеньки...

Я поднимаю ногу.

— ...три ступеньки.

Итак, правой, левой, правой.

— Ну вот,— слышу я, в то время как рука отпускает мой локоть.— Подождите здесь!

Я слышу, как отворяется дверь, бесшумная дверь; я слышу вдруг зал.

— Пойдемте!

Снова в сопровождении взявшего меня за локоть, так что мне и правда незачем открывать глаза, я постукиваю черной палочкой по просторной тишине, которую нарушает только мое постукиванье, но тишине напряженной.

— Сюда,— слышу я,— садитесь.

Я ощупью ищу скамейку, которая здесь и в самом деле имеется, и сажусь, покинутый теперь направляющей рукой. Только не открывать теперь глаз! Я слышу бумагу, это, должно быть, высокий голый зал, зал с закрытыми окнами, голуби не воркуют, зал, набитый дышащими людьми; среди них должен быть и обвиняемый. Узнает ли он меня? Прежде всего я слышу или чувствую, будто слышу, как бьется жилка у меня на шее. Больше пока ничего не происходит. Время от времени покашливание далеко позади, спереди шепот, затем снова шелест бумаги; но в общем-то тишина. Что было бы видно, открой я глаза, я знаю: обвиняемый между двумя полицейскими,

позади и повыше председатель суда, где-то прокурор в мантии, может быть, он-то и шелестит все еще бумагами, и юрист в пенсне, тоже в мантии, защитник, который, нагнувшись, как раз передает обвиняемому записку. Затем присяжные, которым уже сегодня надо вынести свой вердикт, ряд переутомленных лиц очень разного происхождения. А вверху, вероятно, классическое изображение богини Правосудия с весами и завязанными глазами... Теперь кто-то читает анкетные данные Гантенбайна, которые я должен подтвердить, потом наставление, что мне надлежит говорить правду и ничего, кроме правды, я слышу эхо своей клятвы, потом кашель, бумагу, шорохи на деревянных скамьях, шаги ко мне, голос.

— Господин Гантенбайн, вы знали Камиллу Губер? — слышу я.— И с какого времени?

Я киваю.

— С какого времени?

Я припоминаю.

— Было ли у вас впечатление...

— Я хочу отметить,— прерывает другой голос,— что свидетель слепой, поэтому незачем, господа, задавать вопросы, на которые слепой под присягой не может ответить, в частности вопрос...

Звонок.

— Я протестую...

Звонок.

— Господа...

Хаос голосов, все напряжено, кажется, до предела; я жду, покуда председатель снова берет слово и, пользуясь тишиной, этим мгновением без гула, передает голосу справа, которого я еще не слышал.

— Вы знали убитую?

Я открываю глаза, но не вижу ее.

— Какого рода были ваши отношения?

— Маникюр.

Смех на трибуне.

— Это правда,— говорю я.

Мне не верят.

— Вы часто бывали у Губер?

— У Камиллы Губер?

— Да.

— Регулярно.

— На предмет маникюра?..

— Да,— говорю я,— на предмет маникюра.

Конечно, я испытываю облегчение оттого, что они явно не хотят знать правды, сказать которую я, как свидетель, клятвенно обещал.

Председатель:

— Чтобы не отвлекаться от сути...

— Я еще раз настоятельно подчеркиваю,— громко говорит в зал другой голос,— что свидетель слепой и, значит, не мог видеть убитую.

Реплика:

— Не об этом речь!

Звонок.

— Слепой не свидетель!

Это, как было сказано, дело, которое волнует умы. Только присяжные сидят с застывшими лицами, а также обвиняемый, но он в отличие от присяжных почти не слушает; его жизнь так или иначе уже разбита.

Что я знаю из газет:

Удушение при помощи шнура для занавесок. Вероятность самоубийства исключается. Убитую описывают как существо жизнерадостное. Убийство с целью грабежа или на почве полового извращения. Ее занятие («дама для известных услуг») и ее предыстория: родилась в городской семье среднего достатка. Подозрение пало на человека, который подарил ей «ка́рман». Еще ряд других косвенных улик, которые, однако, оспариваются; алиби нет. Ее переписка с обвиняемым. Ее объявления с целью вступить в брак. Убийство произошло накануне ее бракосочетания с неким зубным врачом...

Защитник:

— Чтобы вернуться к делу,— спрашивает он,— вы, значит, никогда не слыхали от Камиллы Губер имени обвиняемого?

Прокурор:

— А слыхали вы, хотя бы и без упоминания имени, о клиенте, который годами угрожал Губер в письмах своей ревностью?

Вот что, значит, хотят узнать от меня, и я не знаю, почему я, вместо того чтобы просто качать головой, спрашиваю:

— Что вы понимаете под ревностью?

Магниевая вспышка в зале.

— Отвечайте на мой вопрос.

Не уверенный, что они не заметили, как и Гантенбайн вздрогнул при вспышке, я отвечаю: «Нет!» Но испуг при вспышке лишает мое показание правдоподбия, я это чувствую.

Я вижу обвиняемого:

Господин, которого я иногда видел, когда-то личность, человек образованный, что́ не значит, что я считаю его не способным на такие вещи; я знаю ревность, с которой никакое образование не справится. Наоборот, образование только накапливает ее, покуда она не станет совсем первобытной. Это ужасно, да, я, может быть, понимаю его. Когда-то личность, а теперь он развалина, безупречно одетый, холеный, молчит, только вздрагивают уголки рта, когда заходит речь о шнуре (как в детективном романе). Его нервные припадки, с осуждением отмеченные в газетных очерках, говорят не в его пользу. Почему он не признается? При этом по нему видно, что временами он тяжко страдает от раскаяния; тогда он прикладывает руку ко лбу, жест человека, который уже не понимает самого себя. Одно только опубликование его многолетней переписки с «дамой для известных услуг» погубило этого человека, хотя его письма, зачитанные в зале суда и цитируемые прессой, в сущности, очень, просто необыкновенно хороши; даже напечатанные, они не кажутся смешными, свидетельства страсти, в которой, возможно, и есть что-то смертоносное, но не по грубым угрозам, а по приступам нежности видно, кого он любит. Письмами этими оперирует прежде всего защита, потому что они остроумны в своей неутомимой призывности, трогательны. Как может такой человек, говорит уже несколько недель защита и повторит это в своей речи, пустить в ход какую-то веревку для занавесок? Но это не производит впечатления. Не совокупность косвенных улик, не спорные данные экспертизы об отпечатках пальцев, не история с ключом от лифта, даже не то обстоятельство, что у него нет стопроцентного алиби на те четверть часа, когда слышали крики из ее квартиры, обличают обвиняемого прежде всего, а непроизвольное вздрагивание уголков его рта, его нервные припадки и прежде всего тонкое чувство вины, которое его письма предвосхищают, пронзительность его писем в отношении самого себя и всего, что, наверно, все-таки свято для лица, занимающего руководящее положение. Пропащий человек, пропащий в общественном смысле, голова, обесценивающая речи своего защитника тем, что находит их чересчур примитивными; это видно по нему, даже когда он молчит. А когда он говорит, что случается все реже и реже, он беспомощен, словно ему мешает какой-то опыт, который другие могут извлечь только из действий. Известный как блестящий оратор в парламенте, членом которого был, обвиняемый навлек на себя особое подозрение тем, что не раз, когда на него насе-

дал прокурор, кстати сказать, его товарищ по партии, он начинал запкаться, по-настоящему запкаться. У него нет слов, доказывающих его полную невиновность. Не так это было! Это каждый может сказать. А как же было? Словно не исключая, что он мог это сделать, он уже несколько недель говорит, что он этого не сделал, не сделал. Сначала, как сказано было, скандал вызвало то, что подозрение вообще пало на этого человека. Никто не считал его способным на подобную переписку. Если на первых заседаниях, хотя его уже обличали серьезные улики, представление об убийце проститутки с ним никак не вязалось, то впоследствии ему удалось (в силу его личных качеств) изменить представления на этот счет, так что вердикт, в сущности, предопределен...

Председатель:

— На этом допрос свидетелей заканчивается. Суд соберется сегодня в два часа,— говорит он, понижая голос,— чтобы выслушать речи обвинения и защиты.

Я свободен...

Единственный вопрос, которого я опасался, не был задан, вопрос, видел ли Гантенбайн обвиняемого в ту ночь, о которой идет речь, и в то время, о котором идет речь (00.35—00.50), будь то в названном баре или на улице. Я не знаю названного бара, это, судя по описаниям, заведение низкого пошиба, сомнительное, давно хорошо знакомое полиции, и Гантенбайн мог бы в этом смысле и ответить, потом умолкнуть. Но конечно, этот вопрос вообще не был задан ввиду желтой нарукавной повязки. Другие свидетели, которые были в баре, точно не помнят; иные из них сначала припоминали было, но потом, когда их образ жизни лишал их доверия, теряли уверенность. И теперь, в заключение допроса свидетелей, задать этот вопрос еще и слепому было бы дурной шуткой. Бесспорно, что машина обвиняемого стояла на Фельдегштрассе; соблазнившись вытекающей отсюда возможностью искать свое алиби в названном баре, обвиняемый сам, кажется, не может вспомнить, где он в то время действительно был. После того как защита, уцепившись за его ложное воспоминание, уже несколько недель делала ставку на этот бар, другое алиби вряд ли показалось бы правдоподобным, тем более алиби благодаря Гантенбайну с его желтой повязкой. Мы не раз видели друг друга, когда я ходил на маникюр, один раз в лифте, но, поскольку он-то не знал, что Гантенбайн его видит, мы никогда друг с другом не здоровались, о чем можно пожалеть; а то бы в ту ночь, когда я между двенадцатью и часом, прогуливая своего Пача, бродил по набереж-

ной Уто и видел, как он кормил лебедей, завязался бы, может быть, доказывающий алиби разговор, о котором он мог бы вспомнить и который Гантенбайн мог бы тоже преспокойно засвидетельствовать, не жертвуя из-за этого своей ролью слепого.

Председатель:

— Заседание закрыто.

Голоса вразнобой.

Прежде чем закрыть глаза, я еще раз вижу обвиняемого, дрожанье уголков его рта, словно он давно знает, какая тут на самом деле идет игра: руководство страны, виноватое во многом, в чем, однако, без последующей утраты руководящего положения признаться нельзя, не может позволить себе, чтобы один из его людей, уличенный в постыдном образе жизни и подозреваемый в преступлении, хотя бы оно носило и чисто личный характер, был из-за недостатка доказательств всенародно оправдан; это выглядело бы так, словно не все перед законом равны, и смутное подозрение пало бы на само руководство; такого человека держать нельзя; руководство страны должны хотя бы на высших постах представлять люди, чья личная корректность покрывает все остальное; иначе руководство превратится в диктаторство.

— Господин Гантенбайн...

Я закрываю глаза.

— Здесь ступеньки! — говорит служитель суда, беря за локоть слепого свидетеля, а когда мы выходим на улицу, он спрашивает: — Вы доберетесь?

Я благодарю.

— Вот край тротуара.

Я стучу палочкой.

У каждой роли своя вина...

Я с нетерпением жду вердикта.

Единственная достоверность насчет Лили: такой, какой я представляю ее себе, ее нет на свете; позднее когда-нибудь я тоже, может быть, буду видеть ее, Лилю, со стороны...

Вот я снова стою на борту парохода в последние минуты перед выходом в открытое море, в веселом настроении, несмотря на пасмурную погоду, набивая трубку, в сущности, я просто не знаю другого места, соответствующего этим мгновениям взволнованной удовлетворенности, нельзя же вдруг на-

чать напевать или приплясывать среди народа на палубе; не хочется и докапываться, почему мне так хорошо на борту белого парохода перед отплытием, и одному не только на пароходе, одному в порту, стоять, набивая трубку, которую нет желания закуривать, праздно, в то время как портовые рабочие пытаются снять длинные и тяжелые тросы с железных тумб на молу и трудятся в поте лица, праздно стоять уже сейчас в предвкушении праздных дней на этом судне, которое уже подняло сходни, стоять, стало быть, с трубкой во рту, не куря, руки в брюки; почему мне так хорошо: мне не нужно никому махать рукой, я жду глухого гудка, который пронизывает до костей, второго, хриплого гудка; один раз уже проняло до костей. Я ни о ком не думаю, я опираюсь обоими локтями на поручень, чтобы видеть буксиры в дыму дворнягами на поводках, Неаполь за дымкой. Позднее я пробираюсь на другую сторону, чтобы видеть людей, множество людей, которые остаются на берегу и машут руками, семьи, друзей, невест, всхлипывающую старушку. Я не вижу Везувия. Серый денек, душно, при этом ветрено. А теперь тяжелые тросы плюхаются в темную портовую воду, между бараками и таможнями прокатывается гудок, машут дружнее, платки белеют, как грядка нарциссов; рядом со мной дама, которая тоже никому не машет, в то время как скважина между молом и пароходом медленно расширяется; при этом ощущение, что поворачивается мол, не наш пароход; буксиры дымят и с важным видом разводят пену. Ее лица не видно (какое мне до этого дело!) из-за развевающегося платка. Она просто стоит, руки в карманах макета; ей тоже некому махать. Мы медленно движемся, я вижу, еще без волны. Некоторые на борту все еще машут, машут, машут, но их лица меняются, когда они еще машут; они уже не видят, кому именно машут, а чувства поворачиваются к окружающему, которое пока просто пусто, открыто, легко, несколько озадачивающе пусто. Теперь и черные буксиры дали гудки, отцепляют бурые тросы, бросают их в воду и меняют курс, а мы идем теперь своим ходом, медленно, но верно. Последний мол, черный от водорослей и выбеленный чайками, скользит с маяком мимо нас; там летят брызги от волнорезов, и вот мы свободны — на семь дней — шлейф наших волн, всегда одинаковый, теряется в утре, и в полудне, и в вечере...

Я сижу на палубе.

Скука с видом на море, блаженная скука: не мертв и не обязан жить...

Я пытаюсь читать.

Удавалось ли когда-либо работать на борту судна?

Прогулка от нечего делать в бар...

Мне хорошо, как было сказано, не очень хорошо, но безразлично хорошо; я не ищу разговоров, так называемых встреч; я только, когда пробирался в бар, узнал синий платок, обратил внимание на ее лицо — хорошее лицо, наверно, за тридцать, необычное лицо, но озабоченное, робкое, лицо, которое высматривает людей на пароходе, а само не хочет, чтобы его видели. Я не заговорю с ней, она ошибается, мы только узнали друг друга, двое, которые не махали рукой в Неаполе. И я остаюсь в баре, чтобы почитать свою книжку карманного формата.

Море серое, пустынно-гладкое.

Я осматриваюсь: много итальянцев, есть и американцы.

Я продолжаю читать.

Она сидит спиной ко мне у стойки. Теперь без платка; светловолосая, как бывают светловолосы итальянки, с темными глазами. Ее лицо, которое она окутывает дымом сигареты, я вижу в зеркале. Красивая. Она это знает и старается держаться неприметно; но она бросается в глаза, потому что при всей своей напускной скуке и неподвижности она нервничает. Как человек, откуда-то убежавший. Она (так мне представляется) в отчаянном настроении что-то решила, настроение прошло, отчаяние — нет, решение надо исполнить из уважения к себе; она пьет...

Первый день:

Я оказываюсь за одним столиком с какой-то молодой парой, все довольно натянуто, четвертый стул за нашим круглым столиком остается пустой...

Погода разгуливается.

Во второй половине дня на палубе.

Палермо:

Мы как раз сидим за обедом, молодая пара и я, которого информируют о материальных возможностях в Канаде, и киваем головами, когда она по указанию стюарда садится за наш столик, дама с синим платком, теперь в черном вечернем платье и, конечно, без платка. Она, кажется, разочарована доставшимся ей столиком; мы в этом не виноваты. Она носит жемчужное ожерелье, какое и я однажды уже дарил, ее волосы зачесаны теперь наверх, к тому же она в темных очках, чтобы ничего нельзя было прочесть у нее по глазам. На ее руке (я вижу это, когда она держит большое меню) обручальное кольцо. Чтобы не смотреть больше, я делаю вид, будто в моей рыбе полно костей. Ее итальянский (с официантом) превосходен, но

не родной ее язык. Волосы у нее (я вижу это, когда оборачиваюсь, чтобы подозвать разносчика вин) не светлые, но, может быть, так кажется из-за освещения в этом зале. За бортом Палермо в сумерках, мы все еще стоим на якоре. Уставившись в свою рыбу, работая, как хирург, я даже не поднимаю глаз, когда разносчик вин показывает мне этикетку; целиком занятый костями, которых нет, я вижу только ее руку, которая ломает и крошит гриссини, и ее локоть; ее возраст. Потом молодая канадская пара говорит между собой. Слава богу; кто-то должен говорить. И после того как официант убрал мою тарелку, я гляжу прямо перед собой. Она, наверно, красива; я читаю это по лицам за соседним столом. Можно ли ей закурить, спрашивает она, а потом я снова беседую с молодой парой, чье будущее так определенно. Она почти ничего не ест. Она покидает нас перед десертом, заставляя нас опять кивать головами, забывает, однако, свою сумку; молодой супруг подает ей ее, джентльмен. Ее зубы, когда она улыбается, ее затылок, ее походка, когда она идет через зал, чистя яблоко, я гляжу ей вслед...

Такой могла бы быть Лиля.

(Лиля со стороны.)

Мужчины в баре, когда она входит, втягивают животы, чтобы пропустить ее, почти не задев, и, поскольку красные табуретки все уже заняты, я поднимаюсь. Не обращаясь к ней. И она садится, не кивнув мне. Я понимаю ее презрение к мужчинам и иду на палубу, чтобы осмотреть ночь.

Гибралтар:

Мы несколько часов стоим на якоре в бухте с видом на известную скалу среди копошения качающихся барок, торговцы предлагают марокканские ковры, крик, забрасывают наверх веревки, и нужно только потянуть, а потом положить в корзинку свои доллары, ветер, но все стоят на палубе, мы тоже, дама в синем платке и я, руки в брюки, я даже не помню, как завязался у нас разговор — без вступлений, по-моему, без таких вопросов: «Вы в первый раз пересекаете Атлантику?...» Лиля тоже (предположив, что она Лиля) не покупает сувениров, только глядит на торговлю, руки в карманах замшевой куртки; она, кажется, в хорошем настроении, легка, как чайка.

— Да,— говорю я,— теперь больше никто не сядет на наш пароход.

Мы говорим по-немецки.

— Эти чайки,— говорю я,— хотел бы я знать, это все те же, что кружат над нами с Неаполя?

У нее, кажется, другие заботы.

— Молодой человек за нашим столом,— говорю я, чтобы разговор не оборвался,— утверждает, что это те же самые чайки, они будут сопровождать нас до Америки.

Пауза, поскольку мне больше ничего не приходит в голову насчет чаек, и я выколачиваю свою трубку...

Вот и весь наш разговор!

Уперев ноги в белые, постоянно дрожащие перила, Атлантический океан между моими ботинками, я опять сижу в своем палубном кресле; даже карманную книжку не могу я читать в этом вневременном течении голубой праздности — а в бар я идти сейчас не хочу, потому что она, вероятно, в баре...

Нам нечего друг другу сказать.

К сожалению, она не играет в шахматы.

Как только я представляю себе, что эта женщина — Лиля, или хотя бы задаюсь вопросом, могла ли бы Лиля выглядеть, как эта женщина, происходит любопытная вещь: я понятия не имею, кто она, и знаю, что понятия об этом не имею, и все-таки начинаю разгадывать, о чем она умалчивает...

Женщина, достойная любви.

Я уверен: женщина с этим лицом не только не разбивает вдребезги стаканов для виски, но и делает то, на что Свобода в противоположном случае неспособен: она облегчает ему жизнь, и, поскольку она не подает ему вида, когда ночи напролет плачет, он даже не знает, кому он обязан своим счастьем. Она не обижена, как мужчина. И не болтает; кто видит ее в такие месяцы, ничего не подозревает. Способен ли был на это какой-нибудь мужчина когда-либо? Она выполняет то, что ей оставляет другая, требования супружеских будней, немного дурнеет; но и это облегчает ему жизнь. Она не считается с распадом всякой любви; она верит в чудеса; она не угрожает, что он потеряет ее; она разучивает второстепенную роль. Ее великодушие — не вымогательство. Она почитает его. Она не осуждает другую, только потому что он любит другую. И она не роется в причинах, не мудрствует. Она не подавляет его веселости, когда у него хватает духа быть веселым, и, когда он рассказывает о своей работе, она слушает так, как будто речь идет о самом главном. Она дает ему возможность быть милым; только не показывает себя в ванне, не показывается голой. Она знает, что есть другая, и не хочет знать частностей, которые ее не касаются. Она находит гребенки, которые ей не принадлежат, и убирает их молча. Они показываются втроем. Она не

скупа. Она говорит с другой, как с более счастливой сестрой, которой она восхищается...

Великолепная женщина.

Неужели Свобода не знает этого?

Его соображения:

Природное и никаким равноправием не устранимое различие между мужчиной и женщиной состоит в том, что действует в объятии всегда мужчина. Он остается самим собой, и женщина это знает; она знает его. Она вовсе не хочет знать того, о чем может догадаться. Мужчина, наоборот, совершенно не знает, какова женщина, когда она уходит, в объятии с другим; догадаться об этом он вообще не может. Женщина ужасает своей почти безграничной приспособляемостью, и, когда приходит от другого, она не та же; это при известной длительности распространяется и на ее духовные интересы, на ее суждения и мнения. Когда женщина уходит, она уходит дальше, чем мужчина, и поэтому, возвращаясь, она должна притворяться, даже в разговоре о том о сем; поэтому он хочет знать то, что его не касается; женщина, у которой есть вкус, никогда ему этого не откроет, тогда как мужчина в противоположном случае любит докучать ей своими рассказами. Как будто он может быть, обнимая, таким уж другим! На этом основано великодушие умной женщины, ее невыносимое великодушие, напоминающее нам о нашей ограниченности.

Так считает Свобода.

— Смотрите,— говорю я,— мы уже здесь! — Я показываю ей красные флажки, которые каждое утро бывают воткнуты в большую карту Атлантики, наше местонахождение в синей пустоте, исчерченной меридианами.— Мы продвигаемся.

— Сегодня уже четверг?

— Да,— говорю я.

— Да,— говорит молодой человек, который верит в Канаду.— жаль, послезавтра мы уже прибываем.

Я оставляю их одних.

В своем палубном кресле, упершись ногами в постоянно дрожащие перила, я, в очках от солнца, читаю как раз книжку, которая понравилась бы ей, историю мужчины без атавистических черт; я как раз на главе, где этот мужчина, который любит одну женщину и уже на протяжении двухсот тридцати с лишним страниц знает, что она провела ночь с другим, подает на стол завтрак, завтрак на троих, аппетитны не только еда и напитки — поданы ветчина с яйцом, я читаю, всяческие сыры, черный хлеб, фрукты, все очень аппетитно описано,— но аппе-

титеп и разговор втроем, остроумный, без столкновений и прочих глупостей, без недомолвок, без ссылок на обстоятельства, которые тем самым предстают само собой разумеющимися — и мне любопытно, что будет дальше...

К сожалению, море очень неспокойно.

Предпоследний обед:

У нашей молодой пары что ни день, то меньше поводов что-либо сказать друг другу, прежде всего молодой человек, кажется, уже не считает, что у его молодой жены, которую он переселяет в Канаду, есть повод что-либо сказать...

Вторая половина дня:

Я читаю, что́ там дальше в моей книжке, время от времени пропускаю по нескольку страниц, с нетерпением ожидая сам не знаю чего, смотрю, сопровождают ли нас все еще чайки, те же самые, я плохой читатель: мои мысли как чайки за идущим судном — они летят и летят следом, вдруг поворачивают и улетают в открытое море, но возвращаются, залетают вперед, все те же, отстают, как мои мысли от этой истории, которая неукоснительно идет вперед на всех парах.

Один раз, я вижу, они играют в пинг-понг.

Все еще нет, кажется, краски, которая держалась бы на соленом морском воздухе; три матроса красят постоянно дрожащие перила от Неаполя до Нью-Йорка, а потом опять заново, все белое, словно больное оспой, неизлечимо, краны и лебедки, свистящие вентиляционные трубы, все белое как бы в щербинках, их закрашивают, но снова и снова высыпает желтоватая и бурая ржавчина...

Предпоследний вечер:

Они танцуют, дама, которая могла бы быть Лилей, и молодой инженер. Ее лицо над его плечом — лицо я напрасно пытаюсь описать: достаточно ей опустить веки, перевести взгляд на что-либо близкое или вдаль, поправить рукой волосы за ухом — в профиль, достаточно потом опять-таки ее смеха — анфас, поворота, перемены освещения, перехода от смеха к молчанию, нахмуренного лба, чтобы все эпитеты, которые я собрал, просто-напросто отскочили от ее лица...

Я иду спать.

Последние послеполуденные часы:

Моя карманная книжка прочитана, а больше я вообще ничего не делал в эти долгие короткие дни; почти не разговаривал; никаких идей относительно самого себя, никакой предыстории, никаких планов; я констатирую, что по полдня ни о ком не думаю, и о себе тоже, и наслаждаюсь этим, уперпись

ногами в постоянно дрожащие перила, теперь, не читая, но не задремывая, вижу сейчас молодую супругу, которая ищет своего инженера; я его видел, да, в плавательном бассейне, но там его, по-моему, уже нет; не думаю, чтобы эти два человека упали за борт, может быть, они осматривают машинное отделение, поскольку он инженер, судно — это лабиринт...

Последний вечер:

Она не выходит к столу.

Я обстоятельно (в сущности, для того только, чтобы не подчеркивать молчанием отсутствие нашей соседки, и еще потому, что молодая жена инженера окаменело молчит), обстоятельнее, чем то соответствует моему интересу, беседую с молодым инженером, который не упал за борт, беседую о постоянно дрожащих перилах, о проблеме вибрации, все еще, как я и предполагал, не решенной...

Полночь на палубе, звезды, ветер.

Я беседую с американским священником от кормы до носа и от носа до кормы и хожу рядом с его черным развевающимся сюртуком, киваю головой, когда эти два человека на палубе чувствуют, что их узнали...

Последнее утро:

На борт поднимается лоцман, динамики просят всех пассажиров на трех языках и так далее, суета в коридорах, суматоха, как в растревоженном муравейнике, пассажиры в пальто, нагромождение чемоданов, обслуживающий персонал, постельное белье убрано, чаевые розданы, в комнате отдыха, вдруг оказывается, сидят офицеры Соединенных Штатов Америки и с будничной деловитостью проверяют паспорта, больше чем только паспорта, даже рентгеновские снимки, справки о прививке так или иначе, это продолжается долго, всех пассажиров просят в последний раз, узлы постельного белья в коридоре... Я думаю: надо надеяться, ее чемоданы и сумки собраны! — может быть, она сидит у себя в каюте и причесывается, перед тем как снова повязать голову синим платком. (Какое дело до этого мне, который стоит в очереди с паспортом и справкой о прививке наготове, довольный, что на сей раз не надо ни о ком беспокоиться...)

Она могла бы быть Лилей.

Я больше ее не видел.

Лиля со стороны:

Ее лицо в зеркале, в то время как она расчесывает волосы, склонив голову набок, и когда она поворачивает зеркало; ее

затылок и открытое ухо, теперь, когда она поднимает их; ее распущенные волосы, потом они падают, ее распущенные волосы, обильные, как водопад, она закидывает их за плечо, слышит динамики в коридоре и проводит пальцами обеих рук по скулам и по вискам, потом под сухими волосами за теплыми ушами; крем на пальцах, она чувствует свою чуткую кожу, щеки, мягкие и упругие, потом подбородок, потом снова вверх к вискам, где твердо, потом нежно-тугой нос с его косточкой, ноздри, втирает крем, видя вдалеке берег над близкой водой за иллюминатором — Файер-Айленд, наверно,— а потом опять свое лицо в зеркале, останавливается — нельзя глядеть себе в оба глаза сразу,— останавливается перед своим взглядом, который остается вплотную за стеклом, все прочее остается вплотную за стеклом, ее лоб и ее бледные губы, и ресницы, по которым она проводит щеточкой, это продолжается долго, кожа у нее под глазами прозрачно светится, как шелковая бумага, кожа блестящая, мягкая, синевато-смуглая, как влажные осенние листья, она пудрится, это продолжается долго, потом причесывается, берег приближается, покуда она причесывается, с заколкой в губах, плоский берег со скользящими деревьями и бараками, время от времени бакен, причесыванье тоже продолжается долго, динамики в коридоре уже не просят, она вынимает заколку изо рта и красит губы, выпячивая их над перламутровой белизной зубов, свои мягкие и полные податливо-сильные губы, которые она то натягивает, то надувает, то плотно сжимает, чтобы вычертить линию, тонкую линию между наружным и внутренним слоями кожи, рот, она наклоняется к зеркалу, чтобы лучше видеть, рот, влажный, как мякоть абрикоса, потом она несколько раз проглаживает губу губой, чтобы равномернее распределить помаду, и завинчивает карандашик, глядя на рот в зеркале, она заставляет его открыться, но молча, время подходит, лязг якорных цепей, время синего платка на случай, если на дворе ветер, судно, кажется, уже не скользит, лязг якорных цепей, она ничего не забывает, потому что она одна, и оглядывается, ее тело в зеркале: ее тело со стороны, так, как видит его мужчина, она о нем не думает, покрывая синим платком причесанные волосы, ее тело уже забыло его, она завязывает платок под подбородком, готовая к тому, что через четверть часа ее встретят на пирсе ничего не подозревающие руки, глаза и поцелуи...

Так ли это?

Свобода — вот кто так это видит.

Я стою у поручня, руки в брюки, в то время как матросы

выбрасывают швартовы, чуть ли не последний на палубе, все теснятся к выходу, суматоха прибытия, прохладное утро, sky-line [1] в тумане.

Разве я Свобода?

Испытаниям, которым подвергается Гантенбайн, нет конца: я хлюпаю по воде, один в квартире, вода, она отсвечивает, колышется, что ни шаг, то зыбь, вода чавкает, вода во всю длину нашего длинного коридора, я это слышу, и тут не поможет никакая игра в слепого, колыханье и чавканье, куда ни ступлю, в гостиной тоже, вода из комнаты в комнату, отражающая свет окон, чуть теплая... Не первый раз, боясь опоздать, Лиля второпях забыла закрыть душ; но в первый раз Гантенбайн не заметил этого вовремя... Итак, я хлюпаю по воде, в то время как Лиля стоит на сцене. Понимаю: она думала о своем тексте. Пожелаю ей ни пуха ни пера. Или лучше: закрою душ. Это Гантенбайн уже не раз делал. Без единого слова. Но на этот раз Гантенбайн не поспел. На этот раз Лиля заметит, кто ей выключил душ, и я выдам себя. Что делать? В пальто и шляпе, один, я растерянно стою в затопленной квартире. Получилось так оттого, что Гантенбайн, чтобы сохранить свою роль, никогда ни слова не говорил. Или лучше мне, предоставив душу лить дальше, сесть в качалку, ноги на столик, чтобы показалось правдоподобным, что Гантенбайн, на то он и слепой, не заметил наводнения? Дорогостоящее решение: паркет набухнет. Раньше полуночи Лиля не вернется, и жильцы под нами дадут о себе знать. Или лучше Гантенбайну просто уйти из дому? Выше балконного порога вода не поднимется. Другого решения, мне кажется, нет: надо снова пустить душ и направить его так, чтобы только чуть-чуть лило за край ванны, а самому уйти. Что мне мешает исполнить это: педагогическая сторона дела. А потом, уже готовый выйти, я вижу, как вода своими затейливыми языками уверенно-медленно подбирается к книгам и пластинкам, которым хоть на полу и не место, но там уж они находятся, и тут у меня не хватает духу: я спасаю книги и пластинки, ее шелковые туфли, занавески, уже тронутые осмосом. Как может слепой так действовать? Почему я закрыл душ, еще можно было бы объяснить: промочив ноги, и Гантенбайн это чувствует, и откуда течет, слышит. Но спасение книг и пластинок? И вот я стою, убрав в безопасное место книги и пластинки, босиком, понимая, что должен унич-

[1] Горизонт *(англ.)*.

тожить и воду, чтобы она меня не выдала, причем немедленно, чтобы полы совсем высохли к приходу Лили. От проклятий толку нет, тут не обойтись без махровой простыни, которую я осторожно, чтобы не было волн и маленький потоп не распространялся дальше, кладу на паркет, а потом, когда она пропитается водой, выжимаю в ванной, каждый раз по четверти литра, не больше, и так все время туда и сюда, босиком, сюда, туда и снова сюда, на первых порах не видя никакого эффекта, по-прежнему отсвечивает и чавкает. Через полтора часа дело сделано. Я выкуриваю первую сигарету, глядя на часы: сейчас Лиля в третьем акте. Я желаю ей ни пуха ни пера. Но ковры? В панике я не подумал об этом, о промокших насквозь коврах, я покрываюсь пóтом в растерянности. Придется заняться ими, пусть лишь от злости на Гантенбайна, и вот я стою на коленях и свертываю ковры до судорог в руках и отжимаю. И Пач находит это забавным; я вижу только мутную воду, которую выдавливаю из ковров, а не следы его лап по всей квартире, их я еще не вижу. Еще через час из ковров ничего больше не выжимается. Конечно, они еще не сухие, но остальное я предоставляю сквозняку; я открываю все окна, какие есть. Потом стакан пива. Еще час до полуночи! Затем, в кресле-качалке, довольно-таки измученный, я спрашиваю себя, правильно ли в принципе мое поведение. Но подумать мне не удается; теперь я вижу, как Пач успел наследить по всей квартире грязными лапами, и это требует второго тура с купальной простыней, затем мытья ванны. По счастью, Лиля не приходит в обещанный час, и ковры выигрывают время; наверняка она встретила еще кого-нибудь из тех, кто по праву перед ней преклоняется, а это может продлиться до трех часов, я надеюсь. Сейчас полночь; я ощупываю рукой ковры. Я могу только надеяться, что пойдут еще к Зибенхагену; тогда дело затянется до четырех. Высохнуть ковры не успеют, но я сразу возьму Лилю к себе на колени, чтобы ее ноги не прикоснулись к полу. Она спросит меня, что я делал весь этот вечер.

— Ах,— скажу я,— работал.

Это ее обрадует.

Я усмехнусь.

Но паркет на следующее утро (я только сейчас об этом подумал!) серый, бледный, в пятнах, и я не знаю, как Гантенбайн это объяснит... Я снова растерян. Паркет меня выдаст. Все без толку. Только одно: я опять надеваю галстук, сперва свежую рубашку, затем галстук, затем пускаю душ, причем так, чтобы лило за край ванны, кладу книги и пластинки на

прежние места, после того как наводнение было обуздано, а потом надеваю пиджак и беру черную палочку, чтобы выйти из дому.

И что же?

Лиля не может поверить, что она забыла закрыть душ, несмотря на наводнение. Только я могу быть тут виноват. Таких случаев с душем, говорит она, у нее никогда не бывало. Гантенбайн возражать не может.

Может, Гантенбайн болван?

Гантенбайн в роли отца:

Подводя его к белой кроватке, старшая сестра, с одной стороны, недоумевает, почему слепой этого хочет, с другой стороны, ей кажется трогательным, что отец никогда не узна́ет своего ребенка, никогда в жизни, и, когда при строгом условии, что он не станет ни ощупывать, ни тем более целовать грудного младенца, она наконец приподнимает белую опять-таки кисейку, Гантенбайну незачем притворяться: он в самом деле не видит ничего уникального. Великое мгновение, спору нет, но не для глаз. Историческое мгновение. Что он видит: грудной младенец. Того, что вдобавок сообщает сестра, Гантенбайн видеть не может. Грудной младенец, такой же, как тысячи других. Как и ожидалось; как другого и не ожидалось. Он молчит; Гантенбайну незачем притворяться; это хорошая первая встреча. Он рад, что Лиля это выдержала. Ее крики были ужасны. Сейчас она лежит бледная, со слипшимися волосами, но улыбаясь, и Гантенбайн держит ее влажную руку.

Пусть это будет девочка.

Позднее, один на улице, с черной палочкой, которой он постукивает, и в сопровождении Пача, который ничего не знает о происшедшем событии, затем в городском парке, где он садится, он чувствует первую отцовскую тревогу: о том, что, купая, взвешивая и пеленая младенца, они могут перепутать его с другим младенцем. Он сам, как сказано было, не смог бы это заметить. Охваченный беспокойством, он возвращается в клинику. Чтобы увидеть младенца. Он не дает себя выставить, мало ли что у них там режим, он должен увидеть младенца, и, как ни странно выглядит это желание, когда человек носит на руке желтую повязку слепого, отказать ему нельзя. Лиля спит. И ходить надо на цыпочках. И когда старшая сестра видит, как господин Гантенбайн, слепой отец, стоит у белой кроватки доб-

рых десять минут, она в самом деле растрогана. Конечно, он не спрашивает, действительно ли это его ребенок; такой вопрос был бы понят превратно. В коридоре, поистине кишащем младенцами, старшая сестра ведет его под руку; он чувствует себя в самом деле слепым. Как никогда еще. Его тревога нисколько не рассеивается, когда Гантенбайн снова идет по улице, ведомый Пачем, и вскоре стоит в каком-то баре, чтобы опрокинуть рюмку вишневки. Чтобы обрести разум. А разум состоит в том, что он просто поверит; что он пойдет сейчас в типографию, сняв предварительно очки слепого и желтую нарукавную повязку; ибо ему не все равно, какой шрифт, какая печать, и он хочет как следует рассмотреть образцы, прежде чем заказать веселое извещение:

БЕАТРИЧЕ

Красивое имя...

Беатриче Гантенбайн, как будут звать ребенка позднее, звучит не так красиво, но тут ничего не изменишь, тут выбора нет; отец есть отец, какая бы у него ни была фамилия.

Я представляю себе:

У некоторых, когда они читают это веселое извещение, нет ни малейшего сомнения в том, что ребенок действительно Гантенбайна; другие сомневаются, но, понятно, об этом не говорят. Их-то это, в конце концов, не касается. Они поклонники Лили, им нравится Гантенбайн, они поздравляют обоих, цветов хоть отбавляй. Они уверяют Гантенбайна, что ребенок очень похож на него. Он-то ведь не видит. Как две капли воды! — находят все, и Лилю радует, когда люди у детской коляски, чтобы что-то сказать, говорят это; она-то ведь тоже так считает...

Я представляю себе:

Гантенбайн (когда в один прекрасный день он уже выходит с малышкой, держа ее за руку, и неизвестно кто, собственно, кого ведет, главное — они не попадают под грузовик, оба, ребенок со слепым отцом и Гантенбайн, который ведет ребенка Лили или которого тот ведет), Гантенбайн покупает ребенку мороженое и показывает ему неуклюжих медведей в зоопарке, которые просят передними лапами и пляшут на задних, покуда им не бросят морковку, и Гантенбайн, слепой, бросает морковку ловчее (как и полагается папе)...

Я представляю себе:

Его опасение, что в один прекрасный день ребенок его раскусит и непоправимо разоблачит его игру в слепого также и перед взрослыми, которым она так на руку, его опасение будет расти вместе с Беатриче.

Как долго верит ребенок?

Я знал некогда, в кругу моих друзей, одного ребенка, который, стоило посадить его к себе на колени, хватал очки взрослого и срывал их с лица, блажь, против которой и предупреждения, и даже наказания были так же бессильны, как и юмор; ребенок, тогда четырехлетний, почти не говорил; посреди веселой истории, которую он, казалось, внимательно слушал, он хвать и срывал их снова, очки, не потому, что хотел взять их себе, а просто так, лишь бы долой их.

Я представляю себе:

Гантенбайн, когда он смотрит ее детские рисунки, и в детских этих рисунках есть такая волнующая красота, что невольно веришь в какую-то гениальность, но Гантенбайну нельзя их хвалить, он должен скрывать свое изумление, спрашивая, что же это такое Беатриче нарисовала, но этого-то она как раз и не может сказать, она может это только нарисовать цветными мелками, и Гантенбайн это видит: вот папа, человек с повязкой на руке, а вот изображено все, что он по дороге показывал и рассказывал, все яркими цветами, цирк, пароход с водяным колесом, ведьма, флаги и молнии на фиолетовом небе и зоотик, вывернутый наизнанку, и всё, горы, литавры, которые делают гром, толстый пожарый со шлангом на стремянке, Беатриче и папа с желтой повязкой и палочкой, которой он показывает, и всё-всё, а он этого даже не узнаёт.

Становится трудно.

Позднее первые случаи, когда она лжет...

Беатриче тайком полакомилась — и он видит это по ее невинным губам, которые это отрицают, и по передничку — вареньем, но Гантенбайн не может ее уличить, он может только молчать и усмехаться, Беатриче плачет. Невозможно, кажется, тайком полакомиться, чтобы папа этого не узнал. Откуда только? Все он знает. Или Беатриче засовывала хлеб, которого она просто терпеть не может, под доску стола, причем уже неделями, и Гантенбайн ничего не замечал, а однажды утром все эти сухие корки лежат на столе, и, хотя слепой папа даже не ругает ее, потому что он-то ведь не видит этого неприятного сюрприза, она все-таки краснеет. Все обнаруживается. Лгать нельзя. Господь бог и папа едины — некоторое время... потом Беатриче замечает, что туда, куда Гантенбайн не захаживает, например, в лес, где она кое-что делает с мальчиками, не захаживает и господь бог.

Лгать можно.

Папа знает не все.

Он не знает даже, как выглядит господин Зибенхаген, который иногда играет с Лилей в теннис, и какого цвета его шикарная машина; ему хочется это знать, но господь бог не говорит ему этого — Гантенбайн видит это только на ее детских рисунках: белая мама и белый мяч над сеткой и господин Зибенхаген, который, кажется, носит черную бородку, с белыми ногами и широким шагом...

Я представляю себе:

Хотя у Лили, теперь снова работающей, из-за репетиций и спектаклей (вдобавок гастрольные поездки) времени, понятно, мало, ее любовь к ребенку, ее снисходительность ко всему, что бы ни вздумалось выкинуть Беатриче, совершенно не знают границ. То, что подразумевает под воспитанием Гантенбайн, вызывает у нее отвращение, и от отвращения она умолкает, бросая только взгляд на ребенка. Она и ребенок неразделимы. Кто делает выговор ребенку, делает выговор матери. И уж конечно, это производит впечатление выговора, если Гантенбайн, не делая выговора, требует от ребенка того, чего не требует от себя красавица мать. Вдруг это выглядит так, словно он собирается воспитывать Лилю. Как приучить девочку, чтобы она не бросала свое пальтишко на пол (словно пришла усталая с репетиции, как Лиля)? Поднимает ее пальтишко и вешает его на место в таких случаях Лиля. Чего Гантенбайну еще нужно? Ее терпение, когда дело касается ребенка, неисчерпаемо, а что из этого получается: ребенок, который сжирает все соленые орешки на глазах у гостей, красивый ребенок, и в конце концов гости пришли не ради орешков, Лиля права. Да и у гостей всегда есть чувство юмора. Когда дело заходит слишком далеко, например, если маленькая Беатриче, которой, понятно, скучен разговор взрослых, начинает крошить гаванскую сигару какого-нибудь очарованного Лилей гостя, слепой Гантенбайн все-таки успевает вмешаться:

— Перестань!

Конечно, у гостя, поскольку речь идет не о его ребенке, а о его сигаре, больше юмора, чем у Гантенбайна; однако это, как он констатирует, была его последняя гавана, и он не сразу вспоминает, о чем только что говорили. Пауза. Так о чем говорили? Лиля бастует, обиженная как мать; отсюда ее утешающий взгляд в сторону ребенка, который, в конце концов, еще ребенок...

— Папа нехороший.

Такое бывает.

— Я хочу другого папу.

Это уже чересчур, находит и Лиля, хотя как раз это дает пищу юмору гостей. Теперь одергивает ребенка, причем угрожая наказать его, Лиля. Таких слов Беатриче не смеет говорить. Что она хочет другого папу. За это она платится десертом. В таких случаях Лиля очень строга. И Гантенбайн молча чистит банан — ребенок ведь не так уж неправ: может быть, этот человек, который вслепую чистит банан, действительно не ее папа... Но как бы то ни было: телевидение, вот о чем говорили, телевидение как орудие идеологической промышленности и вообще искусство в технический век, в особенности телевидение, по этому поводу у каждого есть что сказать, кроме Гантенбайна с набитым бананом ртом.

Я представляю себе:

Вообще же все идет прекрасно, Лиля и Гантенбайн с ребенком, устраиваются прогулки, и ребенок есть ребенок, и Гантенбайн с Лилей поднимают его за ручки, чтобы он покачался, и Лиля держит полную ложку и рассказывает историю о возе сена, который хочет проехать в сарай, и, когда ребенок устает, Гантенбайн сажает его к себе на плечи, изображает верховую лошадку, а когда эта пора проходит, появляются другие игры, однажды и коклюш, и настает черед Макса и Морица, и купанье летом, и санки зимой, всему свое время, и Лиля покупает ребенку юбочки с большим вкусом, Гантенбайн рассказывает о всемирном потопе и о ковчеге, они смеются над детскими словечками, а когда Лиля уезжает на гастроли, она звонит, чтобы поболтать с Беатриче, и не забыть, как Беатриче сидела на пони, и появляется флейта и т. д., и так уж много говорить друг с другом Лиле и Гантенбайну не надо, ребенок почти всегда рядом, и, когда Беатриче хочет узнать, откуда берутся дети, ей говорят это так и этак...

Я представляю себе:

Анекдот об их первой встрече в уборной Лили, Гантенбайн в роли восторженного слепого с розами, почти соответствует действительности, но не целиком — как всякий анекдот... Лиля, конечно, жила тогда не без спутника, что, однако, Гантенбайна нисколько не трогало. В этом смысле правильно, что в анекдоте, который Лиля так любит рассказывать, он не упоминается. Этого спутника Лили, который тогда сидел в ее уборной, Гантенбайн действительно не видел. А ведь человек этот все время сидел (хоть и не в анекдоте, но все-таки в действительности), правда не у ее гримировочного стола, однако все же достаточно зримо в единственном удобном кресле, молча, листая газету, в шляпе, широко расставив ноги и не сомневаясь в том, что он

налицо. Так он сидел. Предмет комнатной обстановки. Мужчина во цвете лет, прежде очень влюбленный в Лилю, теперь в стадии зрелой любви, готовый без нетерпения к женитьбе, в шляпе. И когда Гантенбайн проделывал свой очень беспомощный и лишь в анекдоте убедительный номер с розами, он даже не слушал, этот человек в шляпе, который, кажется, знал ее потребность в слепом поклонении. Ему достаточно было только кашлянуть, чтобы испугать слепого поклонника. Не поднимая глаз от газеты, он потом спросил между прочим: «Что это была за птица?» Он сказал «птица», что Лилю чуть-чуть обидело. Как-никак это был восторженный почитатель. Без шляпы на голове. Она промолчала. В пользу Гантенбайна. Он действительно видел тогда только Лилю. Более простого доказательства, что он слепой, он не смог бы сыграть... Позднее он, конечно, узнал, что Лиля жила не одна; но было уже поздно оглядываться; в ее уборной уже никто не сидел. Только кресло, где он, наверно, сидел тогда, было на месте. И в нем сидел теперь Гантенбайн. А там, на сцене, Лиля играла все еще прежнюю роль. Листать газету, покуда в зале не раздадутся аплодисменты, Гантенбайн позволить себе не мог, потому что Лиля верила в его слепоту; она любила его из-за его слепоты. Он видел телеграммы, торчавшие вокруг ее зеркала, поздравления, частью пожелтевшие; он видел себя самого в ее зеркале: влюбленный, который слепо ждет, покуда в зале гремит овация. Так каждый вечер, потом вдруг приходила Лиля: переодетая, вдобавок с чужими волосами, кукла отчасти, красивая, но загримированная для прожекторов, красивая на расстоянии, брови синие, веки зеленые, щеки желтые, ее лицо так огрублено, так красиво огрублено, даже глаза были у нее увеличенные; втайне Гантенбайн каждый раз пугался. Как какой-то птицы. Уборная была слишком мала; Лиля еще на крыльях роли, но без текста. Как прошел спектакль? — спрашивал он, чтобы услыхать ее голос. Только голос был Лилей. Потом она снова выходила на сцену; все еще хлопали. Демонстративно. Словно хотели сообщить слепому Гантенбайну, как великолепна женщина, которую он любит. Так каждый вечер. Он гордился, понятно, и откупоривал тем временем маленькую бутылку шампанского. Гордился чем? Одновременно он казался себе лишним. Гантенбайн не мог хлопать; возможность поклоняться была у него отнята. Он наполнял ее стакан, это было все, что он мог делать. Всякая овация когда-нибудь да стихает, и тогда Лиля радовалась его любви, пила шампанское, Лиля у гримировочного стола, а Гантенбайн сидел в единственном удобном кресле, оснащенный темными

очками слепого. Он видел, как Лиля стирала грим ваткой, Лиля в шелковом халате, Гантенбайн со своей черной палочкой. Так сидел он в ее уборной, слепой, но присутствующий. Лиля как всегда после спектакля: усталая, взволнованная, рассеянная. Она не слышала стука, и господин, который вошел, не дожидаясь ответа, кажется, знал, что Гантенбайн слепой; он даже головой не кивнул. Словно Гантенбайна не было в уборной, словно он отсутствовал. Он мог быть главным режиссером театра, этот господин, который не чувствовал себя связанным какими-либо приличиями. Господин на исходе цветущих лет. Поскольку Лиля его не увидела, ибо как раз закрыла глаза, чтобы стереть грим с век, Гантенбайн сказал: «По-моему, стучали». Но Лиля не слышала стука, а господин, убежденный, что Гантенбайн его не видит, не подавал голоса, когда Лиля бросала в корзинку для бумаг грязные ватки, все более и более готовая к разговору с Гантенбайном. Занятая своими пальцами, которые она чистила тряпочкой, она спросила, куда они пойдут ужинать, и просто не замечала, что в уборной еще кто-то есть. Какие у него, Гантенбайна, сегодня новости? Можно было подумать, что тот, другой, пришел, чтобы вынуть из кармана револьвер и выстрелить в Лилю, но растерялся и молчит, словно это делает его при Гантенбайне невидимым; а может быть, он хотел только поговорить с Лилей. С глазу на глаз. Он был бледный, небритый, утомленный бессонной ночью. Гантенбайн все еще не мог придумать, где бы поужинать, и молча гладил собаку; Пач был неспокоен, насторожен. Все это не продолжалось и минуты, но тянулось бесконечно. Только когда Лиля наклонилась вперед к зеркалу, чтобы рассмотреть свои ресницы, она испугалась, и ее тонкие пальцы, собиравшиеся было потереть виски, застыли перед человеком в зеркале. Она узнала его. Лиля тоже не сказала ни слова, чтобы оставить его невидимым. Ее лицо, которое Гантенбайн видел, не оставляло сомнений: это, значит, был тот человек, которого Гантенбайн тогда не видел. Теперь без пляшы. И показать теперь, что он не слепой и понимает ситуацию, было бы подлостью. Поэтому он гладил собаку. Молчание и с его стороны могло бы его выдать; он стал предлагать, куда пойти поужинать, Гантенбайн, единственный, кто нарушил молчание. Когда Лиля обернулась, тот человек покинул не только зеркало, но и уборную. Без слов. Его приход, показавшийся было смешным, оставил скорее жутковатое впечатление. Ведь Гантенбайн не мог же теперь спросить: «Кто это был?» К тому же он это знал, а что означал этот визит, кажется, и Лиля не знала. Ему было жаль ее: она побледнела от испуга. Но Гантен-

байн не нашелся что сказать; в конце концов он тоже испугался, и его испуг следовало скрыть. Чего хотел тот, другой, было, в сущности, ясно: он хотел вернуть себе свою Лилю. Свою! Вот что придавало ему такой яростный вид, только это немое притязание во взгляде, отчего и возникла мысль о револьвере, а отсюда и растерянность, такая же, как у него самого. Лиля наверняка ни разу не видела его таким. Теперь она поднялась, все еще бледная от испуга, и заперла на задвижку дверь уборной, после чего Гантенбайн, чтобы отвлечь ее, рассказал о новой забавной проделке своего Пача, такой же выдуманной, как все другие, что не мешало Пачу гордо вилять хвостом; но напрасно, Лиля цепенела все больше и больше, наверно от мысли, что тот ждет ее у выхода со сцены, спрятавшись в темном заднем дворе. Это было вполне возможно. Притом револьвера у него, безусловно, не было; у него только вид был такой; он пришел не застрелить ее, а жениться на ней. Слишком поздно... Когда в дверь постучали, Лиля не пожелала отпереть; сделать это должен был Гантенбайн. И он это сделал, удобный случай показать себя мужчиной. Это была всего-навсего костюмерша; она передала письмецо, которое Лиля сразу вскрыла и прочитала, но потом не засунула в раму своего зеркала. Когда наконец накладные волосы были сняты, она внимательно поглядела на Гантенбайна, словно впервые усомнившись в его слепоте, не уверенная, что он действительно ничего не видел, теперь при своих собственных волосах и красивая, явно успокоенная письмецом, избавленная от страха, что ее поджидают в заднем дворе. А потом они пошли ужинать, Лиля и Гантенбайн, который разделывал ей форель, как всегда. А потом они пошли домой. И когда Гантенбайн невзначай спросил, не слыхала ли она чего-нибудь о своем прежнем приятеле, она откровенно сказала, что он возвратился, да, он в этом городе. Она видела его, но не говорила с ним. Ее ответ звучал так же непринужденно, как его вопрос, а то, о чем Лиля умолчала, ее смятение, он видел...

Я понимаю:

Другого надо бросить, решение есть решение, и оно непоколебимо, но этим разрыв еще не приведен в исполнение; привести его в исполнение хочется с достоинством, но достоинство мешает привести его в исполнение; один из партнеров не может понять происходящего, покуда достоинство соблюдается, и любит как никогда; в один прекрасный вечер он появляется снова; уход нельзя привести в исполнение письмами... когда ничего другого не оставалось, Гантенбайн молча целиком согласился с тем, что им надо встретиться...

Это было в феврале.

Лиля за гримировочным столом (на сей раз перед спектаклем) сообщила свою новость почти шутливо, не оборачиваясь, напряженно-небрежно, в ожидании звонка, который вот-вот вызовет ее на сцену, сообщила, впрочем, без всякой нервозности, только уже ни на какой разговор не способная, не в рассеянности, наоборот, готовая к выходу, сообщила походя, пудря нос, коротко, не оборачиваясь, не проверяя, кто именно сидит сейчас в единственном удобном кресле, шутливо: пусть он не напускает на себя из-за этого торжественности, и пугаться ему тоже не нужно, ее недомогания часто нерегулярны... Потом раздался звонок... Лиле было тогда тридцать один год, не девочка неопытная, да и Гантенбайн уже не юнец, впервые сталкивающийся с некоторыми проблемами. Но когда-нибудь да придется об этом поговорить, подумал он, принципиально. Но после того спектакля, после того как Гантенбайн погулял с Пачем, и на следующий день Лиля, казалось, вообще об этом не думала. Зачем же Гантенбайну думать об этом? Но он все-таки думал об этом, впрочем без смятения, порой чуть ли не с радостью, представляя себе, как будет Лиля выглядеть в роли матери, и его удивляло, что Лиля не заикается об этом три дня, четыре дня. В ее беспечности было что-то подкупающее, но не заразительное. Некую мысль, мелькнувшую у него тогда в уборной, пока что удавалось прогонять, некую мысль, связанную с календарем, и на случай, если думать ни о чем не понадобится, Гантенбайн предпочел бы, чтобы у него не мелькнула тогда именно эта мысль. Лиля оставалась беспечна, он это видел, она была счастлива ожиданием потрясающей роли на следующую осень. Когда Гантенбайн под каким-то предлогом (квартирная плата) спросил, какое сегодня число, был март; Лиля испугалась из-за просроченной квартирной платы и вообще: «Как время летит». Это было в ресторане, Лиля в декольте, свет свечей в ее жемчугах, смеясь: «Что ты скажешь, если у нас действительно будет ребенок?» Ресторан был, конечно, не тем местом, чтобы в это поверить; метрдотель, хотя и на солидном расстоянии, торопил с заказом. Они стали молча отщипывать от булки. Подозревать, что она хочет родить ребенка, утаив это от Гантенбайна, было, конечно, нелепо; на пятом месяце и слепой бы заметил. Просто ресторан был не тем местом, чтобы об этом говорить. Даже его предложение, чтобы Лиля сходила к врачу, было воспринято как что-то неуместное, и атмосфера стала натянутой, несмотря на мерцание свечей.

С тех пор молчал и Гантенбайн.

В кругу друзей, прежде как-то, она сказала: захоти она иметь ребенка, ей было бы все равно, кто отец! — возражая одному мистику крови и потому справедливо, в тот момент правильно; люди говорят многое, что в данный момент правильно,— Гантенбайну не хотелось больше думать об этом... Сообщила ему это Лиля в момент, когда он действительно об этом не думал, за три минуты до прихода гостей:

— У нас будет ребенок.

Гантенбайн растерянно промолчал.

— Я была у врача...

Словно в пьесе, раздался звонок. Гости! И случилось чудо: та мысль, связанная с календарем, которой Гантенбайн стыдился, действительно не пришла, Гантенбайн радовался вслепую, приветствуя гостей, которым ничего не оставалось, как принять его бурный восторг на свой счет; кое-кто еще не был знаком с господином Гантенбайном, он видел их замешательство перед слепым, которого им представляли... Тогда она в первый раз рассказала этот восхитительный анекдот о том, как Гантенбайн является с розами к ней в уборную... На следующее утро, проснувшись как от удара обухом по голове, Гантенбайн не помнил о вечере, а помнил только новость насчет ребенка, и счастье, что у Лили были тогда репетиции и она как раз уходила, а то бы он, может быть, спросил, была ли она с тем другим в феврале. Что тогда? Может быть, она сказала бы: «Да». Без промедления, просто: «Да». Или, помедлив и после молчания, дав ему почувствовать всю смехотворность его вопроса, закуривая сигарету: «Почему ты об этом спрашиваешь?» Даже и в таком случае это мог быть ребенок от Гантенбайна; спрашивается только, захотела ли бы Лиля после этого вопроса, чтобы он был отцом ее ребенка; может быть, она никогда больше не говорила бы: «Наш ребенок». Ребенок остался бы ее ребенком... И вот Гантенбайн лежал, проснувшись, как от удара обухом по голове, и, поскольку он был один в доме, вопрос остался незаданным... Может быть, она и сказала бы: «Нет». Пусть помедлив, но потом просто: «Нет». И вряд ли это было бы лучше для будущего, это было бы минутное облегчение, но видеть его облегчение было бы ей противно, ей не захотелось бы поцеловать отца своего ребенка после такого разочарования, может быть, и ребенок не появился бы на свет после этого... Значит, счастье... Выход один: Гантенбайн полагает, что ребенок, ее ребенок, не от него, но никогда не показывает этого, в надежде, что ребенок станет его ребенком.

Я представляю себе:

Ее справедливое тогда возражение мистику крови; теперь Лиля не признала бы, что она могла такое сказать.

Я представляю себе:

Беатриче в ванне, шестилетняя, Гантенбайн в роли папы, который ее намыливает, ее тельце, ее невинная кожа, прежде всего эта кожа, кудряшки в мыльной пене, ее папа ведь не видит, где Беатриче спрятала ножку, но потом он все-таки ее находит, чувствительные к щекотке пальчики, чтобы намылить и их, Гантенбайн в одной рубашке, рукава которой надо к тому же засучить, конечно, это не Беатриче устраивает такие каверзы, а Кризимизи, из-за него эти брызги и всплески, Кризимизи — это существо, которое щекочет папу и прячет мыло, существо для папы невидимое, ведь Кризимизи — муж ведьмы, и, только когда Беатриче говорит с Кризимизи, он слушается, тогда брызги прекращаются, тогда Гантенбайн может намылить ее спинку и ее попку, даже уши, даже подмышки, только ей нельзя выдавать слепому, как выглядит Кризимизи, а потом Беатриче вдруг хочется, чтобы папа увидел ужасную царапину у нее на коленке, и Гантенбайн в самом деле видит ее, эту крошечную царапинку на коленке, он избавляет ее от мыла и припудрит ее и перевяжет, вот только Кризимизи он никак не может увидеть, даже когда снимает очки из-за пара, и поэтому Кризимизи не страшно, когда Гантенбайн ругает его или только предостерегает, и брызги и всплески не прекращаются, покуда наконец Гантенбайн не выпускает воду из ванны, чтобы обдать Беатриче из душа, ее кудряшки в мыльной пене, ее мокрые, блестящие от мыла ручки и бедрышки, ее тельце со всех сторон, нет, матроса из нее не выйдет, о нет, из нее наверняка выйдет девушка, тут не помогут ни брючки, ни ручки в карманах, ни локти вперед, ни любые фокусы на краю ванны, теперь ее прыжок на ковер, это папе следовало бы увидеть, и, когда она, завернутая в белую мохнатую простыню, на минуту притихшая, чтобы сполна этим насладиться, предоставляет растереть себя сильным его рукам, вдруг вопрос: «Это правда, папа, что ты вообще ничего не видишь?» И чтобы это проверить, вскоре потом ее заявление: «Я умею летать!» — в чем папа, будучи слепым, усомниться не может, и поэтому он должен, пожалуй, в это поверить и отнять от нее свои руки, чтобы Беатриче могла сказать: «Не видишь, как я летаю?» И когда он, задумавшись на секунду о том, что Беатриче, может быть, действительно не его ребенок, поднимает ее высоко вверх, вытянув руки, ее ликованье: «Вот видишь!» Ее ликованье: «Ты не видишь меня?» Ее ликованье...

Я представляю себе:

Беатриче, десятилетняя, упала, катаясь на велосипеде, кровоизлияние в мозг, всю ночь страх, что она умрет, общий страх матери и отца, этот страх с открытыми глазами, которые плачут...

Я представляю себе:

Гантенбайн совсем не плохой отец, после того как он постепенно отказывается от своего стремления воспитывать ребенка — из-за своей роли слепого... Если Беатриче просто не делает того, что ей как раз не хочется делать, надеясь, что ведь Гантенбайн этого не увидит, не увидит, например, повешены ли ее платья на плечики или все еще валяются где попало, и если Гантенбайн, заботясь не столько о платьях, сколько о человечке, который, по его, Гантенбайна, мнению, должен ведь когда-нибудь и как-нибудь научиться делать то, что ему, человечку, как раз не хочется делать,— если Гантенбайн вечером спросит, сделано ли это, видя, к сожалению, что ничего не сделано, да, что тогда? Если Лиля, как мать, тогда тоже играет слепую и молчит, чтобы во всяком случае быть на стороне ребенка и помешать как бы то ни было одернуть его,— нужны годы, чтобы Гантенбайн понял, что ребенка нельзя воспитать, если мать этого не хочет, и чтобы он, Гантенбайн, войдя в свою роль слепого и по отношению к ребенку и позволяя обманывать себя в тысячах мелочей, стал милым папой, у которого нет никакого педагогического зуда и который готов помочь Беатриче, когда ее одернет сама жизнь.

Такое бывает.

Такое бывает и забывается от раза к разу, если помочь удается, да, но отец не волшебник; нарез век вследствие непослушания во время кори неизлечим; случай педагогического упущения, легкий случай вины, один из многих, но вина творит отцовскую любовь, и Гантенбайн уже не представляет себе жизнь без ребенка...

Беатриче не анекдот.

Время детских рисунков прошло, и доказать отцовскую любовь игрой в верховую лошадку уже нельзя. Давно уже нельзя. Беатриче борется с латынью, accusativus cum infinitivo, любовь видит перед собой задачи, которые и для Гантенбайна трудны. Чего только не требуют от наших детей и от их отцов! Чтобы притворяться, будто он помнит вслепую все, что когда-то выучил сам, он должен, покуда Беатриче сидит в школе и за ним не следит, сам еще раз тайком пройти курс школы. А алгебра! Зрелый человек думает, что он умеет извлекать корень, а ока-

зывается, ему надо учиться этому заново, человеку с седыми висками, видя перед собой уравнение с одним неизвестным, с двумя неизвестными, с тремя неизвестными и т. д.

Я представляю себе:

В один прекрасный, особенно прекрасный и очень голубой день они возвращаются с прогулки, Лиля за рулем первничает, колонна машин, а в семь Лиля должна быть на аэродроме, чтобы кого-то встретить, кого-то, Гантенбайн не спрашивает, кого-то, кто прилетает один и был бы разочарован, если бы его никто не встретил на аэродроме, тем более что он приезжает ради Лили по делу, наверно насчет какого-то фильма, значит ее дела, Гантенбайн понимает, Гантенбайн в очках слепого, так что он не мог прочесть (вчера) распечатанной телеграммы, знает, кто прилетает в семь двадцать, поэтому он не спрашивает, а сейчас уже шесть, но колонна остается колонной, Лиля в отчаянии, время, всегда время, времени уже не хватит, чтобы сперва завезти Гантенбайна и ребенка домой, а потом уж поехать на аэродром, невозможно, бедная Лиля за рулем, кто-то будет очень разочарован, тем более что Лиля его пригласила, катастрофа, Гантенбайн предлагает хитро сократить путь, не домой, стало быть, а прямо на аэродром, Лиля умолкает, нет, это невозможно, почему невозможно, это значило бы, что на аэродроме будет стоять не одна Лиля, а Лиля с мужем и ребенком, «family style», кто-то был бы разочарован, и если Гантенбайн этого не понимает, нет, но Гантенбайн понимает, Гантенбайн настаивает на том, чтобы сократить путь, подло-благодушный Гантенбайн с трубкой во рту, и Лиля останавливается перед поворотом, сокращающим путь. «Это невозможно,— говорит она,— это не годится!» — словно сомневаясь в слепоте Гантенбайна, и Гантенбайн берет ребенка и вылезает, пожалуйста, среди дороги, сзади сигналят...

Относительно Зибенхагена:

Близок он с Лилей сейчас или был близок прежде, когда еще носил бородку, кто его знает, друзья может быть, но они не сплетничают; может быть, все уже с ней были близки, за исключением Бурри, кто это знает. А если и так! Гантенбайн пожимает плечами. С кем его Лиля близка и с кем нет — этот вопрос ему противен, вопрос, как таковой. А если и так! При всем уважении к ее тайне становится безразлично, господин Зибенхаген тоже или нет. Может быть, вряд ли. И кто это знает действительно, Гантенбайн, во всяком случае, не знает, друзья, может быть, но, может быть, все они ошибаются.

Ребенок — вот что сомнению не подлежит.

БЕАТРИЧЕ

Позднее (а может быть, до этого дело и не дойдет) они сидят в кафе, отец и дочь, которая теперь барышня и в скверном положении; беда, которую надо обсудить, не так уж и велика, провал на школьном экзамене, неудача, надо просто подумать, какие еще есть школы, неудача пополам с пирожным, а Гантенбайн тем временем курит не без гордости, что он существует в мире благодаря этому цветущему существу, которое провалилось на экзамене и нуждается в его помощи и поэтому ест пирожное. Кто не проваливался ни разу в жизни? Гантенбайн в своих очках слепого: он видит свою старую руку на столике, как увеличенный снимок, слыша собственные слова, слова отца, которому тоже хочется, чтобы его поняли, который претендует на товарищеские отношения; в то время как Беатриче развлекается сбитыми сливками, она, которую он считает нужным ободрить рассказом о собственных неудачах, наводящим, однако, на ребенка лишь скуку. Она ребенок, семнадцатилетняя, значит, вполне смышленая, однако никакого опыта у нее нет, поэтому она и ест пирожное молча; только непроизвольное вздрагивание в уголках рта и порой вспышки в глазах выдают ее нетерпенье, когда она слышит сплошные трюизмы, например, что женщине нужно приобрести профессию, чтобы быть независимой, сплошные трюизмы. Зачем эти обстоятельные примеры! Чужие неудачи неинтересны; Беатриче нужно не утешение, а его подпись и деньги на школу получше; ее притязание ясно и просто, это не притязание на товарищеские отношения, и незачем отцу, чтобы втереться в доверие, рассказывать ребенку о собственной жизни и о своих тяжелых ошибках; ребенок их и так видит, улыбаясь, глядя куда-то в парк. Против этого все бессильно, Гантенбайн это видит, против смышлености без опыта. Чего он, собственно, хочет? Его подпись и пирожное — этого достаточно. Как может ребенку, даже самому славному, прийти в голову, что и у отца есть свои беды? Это ведь его дело. Как все, кто сегодня еще делает погоду, он принадлежит прошлому, а настоящее — это не отец с дочерью, а дочь. Еще чего не хватало — отец, который не помогает! Очень уж много он говорит, после того как поставил подпись. Беатриче права, он видит сквозь дым своей трубки или сигары, как она тихонько и холодно усмехается, как краснеет из-за отца, который рассчитывает на товарищеские отношения,— Гантенбайн подзывает наконец официанта и платит; там в парке ждет ее приятель, который берет ее под руку...

Ах, мой ребенок!

Он уж пойдет своим путем...

Нан! ребенок!

Как-то поздно вечером (о чем, собственно, шла речь, так что это излишнее известие оказалось неизбежным?) Бурри говорит, что кто-то сказал ему, будто Зибенхаген сказал, что Лиля сказала, что женщина всегда знает, кто действительно отец ее ребенка, она, например, знает это наверняка, Лиля, по словам Зибенхагена, по словам кого-то, кому сказал это Зибенхаген...

Силетия!

Какое-то мгновение, так мне думается, Гантенбайн воспринимает это как конец; он, правда, всегда предполагал, что так оно и есть, но не ожидал, что тайну о Беатриче, тайну, которую Лиля хранила от него и которую он тоже хранил, она откроет каким-то третьим лицам (Зибенхаген),— какое-то мгновение, потом он не говорит ни слова.

Он не находит нужного слова.

(«Предательство»?)

Ее лицо как всегда...

Поглядите-ка на ее лицо!

Ее лицо ни о чем не говорит...

Силетия!

Может быть, Бурри тоже болтун.

Что дальше?

Гантенбайн на аэродроме: можно подумать, что это бывает каждый день, раз в неделю по меньшей мере, Гантенбайн на аэродроме и всегда в этом зале, он опирается на свою черную палку, чтобы встретить Лилю в своих очках слепого; а ведь это бывает даже не каждую неделю, Гантенбайн знает, это ему только так кажется, будто он стоит всю жизнь, так, как сейчас, всю жизнь на аэродроме, и в этом зале, и точно на этом месте, чтобы встречать Лилю всю жизнь... как сегодня, как всегда: Гантенбайн у киоска, пока не настанет время очков слепого, а потом он идет на смотровую террасу, чтобы следить, как садятся машины всё из других мест, а потом: опоздание из-за тумана в Гамбурге. Гантенбайн слышит это сообщение задолго до того, как репродукторы затарахтят, заскрежещут и затем загремят, а потом, когда это сообщение на трех языках глохнет в собственном гуле и отраженном, Гантенбайн вдруг не знает: это было сегодня, сообщение о тумане, или это было в прошлый раз? И он справляется у information-desk [1], были ли эти оглушительные репродукторы, которые он только что слышал, в действительности или только в его воспоминании — что́, собственно,

[1] Справочный стол *(англ.)*.

для ожидания не имеет значения... Пачу, псу, ожидание дается легче; он не ждет, он пес с навостренными ушами, он все обнюхивает, он весь, от морды до хвоста, сиюминутен, пес без времени, пес постоянно, он подходит к борзой суке, которая очень уж крупна, которую он забывает, как только хозяин сажает его, во исполнение правил, на привязь, забывает и вытягивается на полу, ничуть не скучая.

Псу хорошо.

Скучая от своих мыслей, которые он знает, как подергиванье стрелок на часах, Гантенбайн шагает взад и вперед, он рад узору на полу, расчленяющему время, и не Лилю он ждет с любопытством, а ждет с любопытством, попадет ли он черной палочкой снова в щель между плитами; шагает он как можно медленнее, ибо, чем быстрей он шагает, тем медленней идет время, а по сведениям informationdesk, остается еще не меньше сорока минут до того, как он увидит Лилю, Лилю с ее сумками и журналами, как всегда и всю жизнь. Что такое время? Узор на полу, мысль: чем быстрее Гантенбайн ходит, тем медленней летит самолет, и он пугается, самолетам нужна, как известно, какая-то минимальная скорость, чтоб не свалиться с неба; его терпение — вот что держит Лилю, сила мужчины, который медленно ждет, медленно бродит, медленно, шаг за шагом, медленно туда, медленно сюда, медленно, как стрелки часов, ждет всю жизнь.

(Нужно ли мне придумывать еще и Зибенхагена?)

Лиля приземлилась, и — на́ тебе — Лиля одна, нагруженная сумкой, пальто и журналами, одна-одинешенька.

Что случилось?

Никакой господин не помогает в таможне...

Зачем теперь-то брак со слепым?

Никакой господин не проходит мимо слепого Гантенбайна, не здороваясь,— то есть я хочу сказать: все проходят мимо слепого Гантенбайна не здороваясь, но нет никого, кто пользовался бы слепотой супруга... Еще немного, и Гантенбайну впору будет махать Лиле рукой. Когда Лиля проходит через барьер, ее поцелуй как всегда. Потом под руку как всегда. Только Гантенбайн другой, молчаливый, в то время как Лиля делает вид, что все как всегда. Что озадачивает его: никакой перемены в ее лице... Он забирает у нее тяжелое пальто и сумки. Как всегда. Но безмолвно. По ее лицу не видно, что она не лжет, что она ничего не утаивает. Лицо у нее открытое, как всегда. В машине, когда он все еще молчит, она озабоченно спрашивает, что с Гантенбайном. И сама рассказывает, что всегда рассказывала, только

теперь это чистая правда. Он ей не верит? Он несет ее багаж, как всегда. И когда они сидят друг перед другом: ее радость как всегда, ее радость, что она опять дома. Гантенбайн не рад? Он поражен. Ее радость, что она опять дома, годами Гантенбайн делал вид, что верит в ее радость, и только теперь видит, как совершенна была ее игра, как ни на йоту не отличалась она от сегодняшней подлинности. Это-то, наверно, и лишает его дара речи. Она садится на колени к нему, как всегда. В первый раз он не гладит ее волосы, хотя они те же, что всегда; нет, Гантенбайн поднимается под предлогом, что ему хочется пить. Он несносен. Как можно сейчас хотеть пить, и даже если и хочется! Вот он стоит и пьет воду.

Лиля его не обманывает.

На это у него нет роли.

— Лиля...— говорит он.

— Что случилось? — спрашивает она.

И когда Гантенбайн снимает очки — он делает это не резко, как бывало, и не затем, чтобы, протерев глаза руками, снова надеть очки, а иначе, чем когда-либо: он делает это в последний раз — он улыбается или думает, что улыбается; а у него просто нет больше лица.

— Что все-таки случилось? — спрашивает она.

— Лиля...— говорит он.

— Ну скажи наконец,— говорит она,— прошу тебя, я не знаю, что случилось, я в самом деле не знаю.

Я представляю себе:

Когда вдруг приходит час сцены, которую Гантенбайн представлял себе тысячу раз и на все лады, действительность сперва поражает полнейшей пустотой. И он только головой качает. Но Лиле, конечно, хочется знать, о чем он умалчивает. И Гантенбайн, хотя его не тянет говорить, медленно выкладывает то, о чем годами молчал, пустяки по сути. Ему действительно надо прийти в себя; он не швыряет очки, которые отныне не нужны, и не кладет их в карман, а держит их и разглядывает, как реликвию, как сувенир, и, когда он вспоминает о том, о другом, что его волновало тогда-то и тогда-то, это все мелочи по сути, о которых и говорить-то не стоит... Ну да — по сути, это объяснение в любви, думает он, все, что он сейчас весело-равнодушно выкладывает: что он прекрасно видел и так далее и, наверно, знает не все, что игралось годами, но все-таки много чего, а впрочем, ничего точно, да и ничего он больше не хочет знать точно, и что он-то ведь тоже играл...

Конец:

(Короткий, несоразмерный)

«Уходи!» — говорит она и берет сигарету, потом подносит к ней огонь, в то время как я спрашиваю, что же, господи боже ты мой, стряслось: «Все эти годы!» — говорит она и курит. Что я такого сказал? Сначала были ее рыданья, теперь она только говорит: «Уходи!» — куря. Как так я обманывал ее? Говорят: волосы дыбом становятся. Но это бывает, я вижу это, у нее волосы стали дыбом. Лиля действительно верила, что я слепой? Это, значит, конец. Как так, собственно? Напрасно прошу я прощенья, что кое-что видел. «Все эти годы,— говорит она,— ты меня никогда не любил, никогда, теперь я это знаю, и теперь я хочу, чтобы ты ушел, чтобы ты ушел! — куря, потом крича: — Чтобы ты ушел!»

Пробуждение (как будто ничего не было!) оказывается обманом; всегда что-нибудь да было, только иначе.

Придет день, и меня будут допрашивать.

— Итак,— говорит кто-то, кого это не касается, а мы с ним наедине,— что, собственно, было в вашей жизни, которая подходит к концу?

Я молчу.

— Один мужчина любит одну женщину,— говорит он,— эта женщина любит другого мужчину,— говорит он,— первый мужчина любит другую женщину, которую любит опять-таки другой мужчина,— говорит он и заключает: — весьма обыкновенная история, у которой концы с концами никак не сходятся...

Я киваю.

— Почему вы не скажете без обиняков,— спрашивает он, собрав последние остатки терпенья,— который из двух мужчин вы сами?

Я пожимаю плечами.

— Следствие установило,— говорит он не без угрозы в голосе,— что, например, особы по имени Камилла Губер не существует и не существовало на свете, так же как и господина по фамилии Гантенбайн...

— Знаю.

— Вы рассказываете сплошные вымыслы.

— Я переживаю сплошные вымыслы.

— Ладно,— говорит он,— но что было на самом деле в это время и в тех местах, где вы находились?

Я закрываю глаза.

— Почему вы не отвечаете?

Я молчу.

— Вы забываете, дорогой мой, что есть свидетели.

Затем он отворяет дверь, я это слышу, и, когда я слышу стук каблучков-шпилек, я еще раз открываю глаза, чтобы увидеть, какая тут идет игра...

Я вижу:

Остатки бургундского в бутылке, я это знаю, островки плесени на красном вине, затем остатки хлеба, твердые, как кирпич, в холодильнике корежится высохшая ветчина, мутные остатки компота — абрикосовая тина — плавают в миске, продукты на дорогу для мумии, я знаю, я сижу в пальто и кепке, пахнет камфарой, пылью, мастикой для натирки полов, ковры свернуты, и я сижу на спинке мягкого кресла и играю штопором, не знаю, что случилось, все мягкие кресла в белых чехлах, я это знаю, ставни закрыты, все двери отворены, подниматься мне не нужно, знаю и так...

Я слепой. Я не всегда это знаю, но иногда знаю. А потом вдруг опять сомневаюсь в том, что истории, которые я могу представить себе, не суть и моя жизнь. Я в это не верю. Я не могу поверить, что то, что я вижу, и есть сама жизнь.

История для Камилы:

(После ухода полицейского.)

— Порядок должен быть,— говорю я.— Несколько лет назад был случай, который очень их всполошил. Здесь в городе. Вдруг откуда ни возьмись человек, не пожелавший даже имени оставить после себя, не то что истории. Об этом современнике только и знали, что он жил прежде на свете, это, в конце концов, доказывал его труп, который они однажды утром нашли в Лиммате,— утро было, я помню, прекрасное, я как раз проходил по Гельмгаузбрюкке, чтобы покормить там лебедей. Тогда там стояла большая ива, может быть, и по сей день стоит, плакучая ива в заповедничке для уток и лебедей, длинные ветви которой свисали в зеленую воду Лиммата, струящиеся гирлянды листвы, идиллия с пестрыми, словно из глянцевой бумаги, уточками, вдобавок белое достоинство лебедей, надо всем этим Гросмюнстер, Карл Великий с чайками на короне, одиннадцатичасовой перезвон... там, стало быть, он застрял. Его, наверно, долго еще не смогли бы найти, может быть никогда, если бы с годами не проржавели понтонные бочки, на которых держится ограда для уток. Ведает этим, я думаю, управление подземных сооружений или управление парков, во всяком случае проржавевшие бочки под домиком лебедей надо было когда-то сменить. Сняв прогнившие доски, чтобы получить доступ к облепленным илом бочкам, и увидав облепленный илом труп, они сразу прекратили работу,

сообщили в полицию, каковая вскоре и подплыла на утлой зеленой лодке, во время одиннадцатичасового перезвона, продолжавшегося десять минут,— он принадлежит к самым веселым моим воспоминаниям, этот одиннадцатичасовой перезвон; лучше всего, по-моему, он звучит, когда идешь по Гельмгаузбрюкке, тогда звон со всех башен смешивается над водой... Может быть, поэтому труп именно там и застрял. Конечно, я оказался не единственным, кто захотел посмотреть, что там произошло. Оба полицейских в зеленой своей лодке с гербом города — и тот, что греб стоя, и другой, вооруженный длинным шестом, оба в мундирах и касках, словно им предстояло произвести арест,— заметно нервничали, ведь на них глазело с моста столько людей, и долгое время не происходило вообще ничего. Одиннадцатичасовой перезвон. Умники наверху у перил считали, что труп можно вытащить, если решительно взяться за дело, ибо теперь было известно, что речь идет о трупе, и публика, так казалось, имела право узнать, кто этот труп. Но труп оказался зажат ржавыми бочками. Чем меньше происходило нового, тем сильней возрастало любопытство, тем временем одиннадцатичасовой трезвон отзвучал, и что-то должно было наконец произойти, хотя и не ради трупа, для которого часы уже не имели значения. Другого способа действий, видимо, не было: полицейский с шестом, по совету другого, который вовсю боролся с течением с помощью длинного своего весла, тыкал в промежутки между ржавыми, облепленными илом бочками, не принимая в расчет, что труп, как только он высвободится из державших его годами тисков, сразу же понесет вниз по реке. Так оно и вышло, и зрители на мосту остались ни с чем. Что-то там плыло, труп, медленно, но так, словно у него еще было одно желание, даже одно очень решительное желание: уйти. К моменту, когда полицейскому, усиленно работавшему веслом, удалось повернуть длинную лодку, чтобы пуститься в погоню, у трупа было уже в запасе несколько метров. Лицом вниз, неподвижно конечно, не помогая руками, он плыл, словно только этого все время и ждал, вниз по реке, в сопровождении лодки с гербом города, опасно качавшейся от мощных ударов весла. Между тем любому местному жителю было ясно, что погоня возможна лишь до моста Уранин; никакая лодка под ним не пройдет. Иные зрители побежали вдоль берега, собственно, не побежали, а пошли так быстро, как только можно идти. Большинство, однако, чтобы соблюсти достоинство города, не стало этого делать, а пошло своей дорогой, словно ничего не случилось. с таким же чувством собственного достоинства, как у лебе-

дей, которые растопырили было крылья, но теперь снова сложили их, спокойно плавая. Труп между тем ушел недалеко. Уже у Овощного моста, многоопорного, он снова застрял, причем течение перевернуло его лицом кверху. Это был мужчина. Продавцы цветов, чьи лотки там находятся, видели разложившееся лицо; полиция, у которой как раз там наблюдательный пост, прибыла на место сразу и в достаточном количестве, чтобы направить пешеходов в обход, и по крайней мере на мосту она оказалась хозяином положения, не без того, разумеется, чтобы привлечь к себе внимание, люди здесь не знали, что случилось, а на вопросы полиция не отвечала, и можно было подумать, что весь сыр-бор загорелся из-за цветочных лотков. Но по цветочным лоткам ничего нельзя было определить. Можно было подумать, что в Цюрихе вдруг запретили покупать цветы. И опять долгое время ничего не происходило. Вскоре, правда, появился инспектор полиции, руководитель дальнейшей операции, но распоряжения, которые он отдавал на основании осмотра места, требовали времени. Он курил сигару «Рёсли», ждал, одетый в штатское. Труп был в таком состоянии, что, потяни его за конечности, он вряд ли бы сдался целиком. Тем временем наступил полдень, час «пик», только труп не спешил; лицом кверху, глухой к шуму городского транспорта, он предоставлял тихо бурлившим струям Лиммата омывать налипшие на него космы ила, и казалось, что от всякой мысли о бегстве он отказался. Однако инспектор полиции, человек осмотрительный, велел его тем не менее охранять, а сам пока что не столько курил свою сигару, сколько жевал; лодка была теперь привязана к железной оноре, тоже среди бурливших струй, на расстоянии длины шеста от застрявшего трупа, и полицейский присматривал за ним по долгу службы. Был теплый полдень. Август. На трупе было зимнее пальто, он был в перчатках, но без шапки. Один раз полицейский снял каску, вытер пот и снова надел каску, по-прежнему начеку. Охотней всего, казалось, труп попросту утонул бы, но это удалось лишь голове. Наконец пришло время подъехать черной машине с гробом. Теперь любопытным было на что поглядеть, несмотря на оцепление: гроб еловый, грубо отесанный. Когда понадобилось привязать к этому гробу веревки, инспектор вмешался собственноручно. План стал ясен: подводное положение во гроб. Настолько, видимо, уже разложился труп, настолько оброс илом, и у тех двух полицейских с муниципальной кокардой на касках, которым предстояло, так сказать, вычерпнуть труп гробом, работа была незавидная. Да и дело шло медленно, после того как гроб был спущен на четырех

веревках, и любопытные, сдерживаемые кордоном, видели только инспектора у перил, дававшего указания с моста: он командовал как ни в чем не бывало, деловито и поначалу без волненья, а потом — качая головой; труп, казалось, не следовал его указаниям. Когда любопытные, кое-кто уже в раздражении, поскольку немая полиция по-прежнему на вопросы не отвечала, услышали наконец крик, короткий крик, никто не знал, что случилось; кое-кто, может быть, и посмеялся бы. Инспектор только молча качал головой, и вскоре зеваки увидели, как вниз по зеленому Лиммату плывет пустая каска, а за ней гроб с трупом, а за гробом лодка с одним только добросовестным гребцом, в то время как другой полицейский, тот, что упал в воду, плывет в мундире и сапогах к складу на той стороне, не заботясь о дальнейшей судьбе операции. Ничего другого от лодки и нельзя было ждать; эскорт, каковым она еще служила медленно плывшему гробу, проследовал только до моста Уранни, как и следовало предполагать. Дальше гроб плыл в одиночестве, то ногами вперед, то головой, словно проверяя, что удобнее для долгого путешествия. При этом его относило вправо, так что он вскоре ударился о набережную, причем несколько раз грозя опрокинуться, это было у Вокзального моста, где его не сразу заметили. Не каждый, если он не видит полиции, заглядывает за перила. Оцепления, хотя теперь и ненужного, у Овощного моста все еще не снимали, но зато здесь не было ни одного полицейского, и труп получил передышку, тем более что набережная там довольно высокая; можно было смотреть, как он качается себе в гробу, но вмешаться нельзя было. Ударившись несколько раз о стенку, гроб накренился; одна рука вывалилась. Полицейский-регулировщик, которого вызвали с его вышки, тут тоже ничего предпринять не смог; он снял свои белые перчатки, ему явно было самому любопытно, как он поступит потом, но тем дело и кончилось. Многие отворачивались. Ужасала их, кажется, больше всего рука, потому что она двигалась в воде, хоть и еле-еле, время от времени, но двигалась. Только регулировщик, с белыми перчатками в кулаке, не отворачивался, словно это был его долг перед его мундиром. Его решение позвонить в комендатуру и доложить о случившемся было единственно разумным; труп, казалось, и сам этого ждал. Но едва регулировщик отошел, чтобы позвонить из автомата, маленького завитка в течении оказалось достаточно, чтобы гроб снова тронулся в путь. Не опрокинувшись. Описав плавную кривую, он нашел отверстие под Вокзальным мостом и без промедления миновал этот мост, причем головой вперед, теперь он плыл только головой

вперед; он перестал вертеться, явно обрел решительность и там, у зданий контор, казалось, пошел быстрее, словно хотел добраться до моря уже сегодня. Глядел ли кто-нибудь в конторах случайно в окно, я не знаю. Он задел, правда, за бык нового моста Вальхе, но это задержало его ненадолго; он только один раз повернулся, не опрокинувшись, и поплыл, теперь с креном на другой борт, мимо по-летнему зеленого парка Швейцарского краеведческого музея, теперь снова ногами вперед, качаясь, но неудержимо, и уже складывалось впечатление, что Цюрих его и впрямь не удержит — Цюрих, который возвращался к текущим делам: спокойно-белые лебеди под плакучей ивой у Гельмгауза, высоко вверху чайки на короне Карла Великого, вместо одиннадцатичасового перезвона слышен был теперь беромюнстерский сигнал точного времени, оцепление у Овощного моста сняли, лодку прикрепили цепью к буйку, регулировщик снова размахивал белыми перчатками на своей вышке... Заявление в полицию сделала позднее какая-то мамаша с коляской — по настоянию мужа, который счел, что об этом надо заявить в полицию; они увидали его у так называемой Малой Кузницы, где есть запруда, которая, видимо, его удивила: открытый гроб стоял довольно отвесно в бурлящей воде, труп в нем полулежал.

Камилла сделала круглые глаза.

— Да,— говорю я,— так было дело.

— Жуть!

— А ведь ему это почти удалось,— говорю я, глядя на свои ногти, которые вот и опять в порядке,— почти...

— Что удалось?

— Отчалить без истории.

Как будто ничего не было... Сентябрьский день, и, выходя снова на свет из темных и совсем не прохладных могил, мы щуримся, так ослепителен день; я вижу рыжие пашни над могилами, вдалеке темнеет осеннее море, полдень, все сиюминутно, ветер в пыльном чертополохе, я слышу звуки флейты, но это не этрусские флейты в могилах, а ветер в проводах, под зыбкой сенью оливы стоит моя машина, серая от пыли и раскаленная, адская жара, несмотря на ветер, но уже снова сентябрь; но все сиюминутно, и мы сидим за столом в тени и едим хлеб, пока не зажарится рыба, я охватываю ладонью булку, проверяя, охлаждено ли вино (вердикьо), хочется пить, потом есть, жизнь мне нравится...

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Павлова. Осуществление человека 5
homo Фабер 19
Назову себя Гантенбайн 203

Макс Фриш

homo ФАБЕР. НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН

Редактор *И. Бобковская*
Художник *А. Сапожников*
Художественный редактор *А. Кунцов*
Технический редактор *Л. Пчурова*
Корректор *В. Пестова*

Сдано в производство 21/VIII 1973 г. Подписано к печати 3/IX 1975 г. Бумага 60×84¹/₁₆, тип. № 2. 14,5 бум. л. 26,97 печ. л. Уч.-изд. л. 26,84. Изд. № 15 009. Цена 1 р. 64 к. Заказ № 810 Тираж 50 000.

Издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29, с матриц ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая 28

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Редакция художественной литературы

СЕРИЯ «МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ»

ВЫШЛИ В СВЕТ избранные произведения:

Я. КАВАБАТЫ *(Япония)*
С. ДЫГАТА *(Польша)*
М. ЛАУРИ *(Канада)*
В. КЁППЕНА *(ФРГ)*
В. ЭЛСХОТА *(Бельгия)*
К. ЧАНДАРА *(Индия)*
С. ВЕСТДЕЙКА *(Голландия)*
У. ФОЛКНЕРА *(США)*
Ч. ПАВЕЗЕ *(Италия)*
Э. КОША *(Югославия)*
И. ВО *(Англия)*
В. ХАЙНЕСЕНА *(Дания)*

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ избранные произведения:

А. ЗЕГЕРС *(ГДР)*
К. ФУЭНТЕСА *(Мексика)*
Х. КОРТАСАРА *(Аргентина)*
Р. К. НАРАЙАНА *(Индия)*
О. КЕМАЛЯ *(Турция)*